Леонид Бородин

ТРЕТЬЯ ПРАВДА

Русский Общественный Фонд

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

2002 года

решением Жюри
от 14 февраля 2002
присуждена

ЛЕОНИДУ БОРОДИНУ

**за творчество, в котором
испытания российской жизни переданы
с редкой нравственной чистотой и чувством трагизма;
за последовательное мужество в поисках правды**

ТРЕТЬЯ ПРАВДА

Избранное

Издательство «Русскій міръ»
ОАО «Московские учебники»

Москва 2007

УДК 821.161.1-3 Бородин Л. И.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б83

Серия «Литературная премия Александра Солженицына» основана в 2004 году

Художественное оформление
В. В. Покатов

ISBN 978-5-89577-104-4

Повести

ТРЕТЬЯ ПРАВДА

1

Селиванов шел улицей, вдоль заборов деревни Рябиновки, и притворялся усталым и хромым. Когда нужно было перешагнуть через лужу, он останавливался, ворчал, кряхтел, а занеся ногу, непременно попадал в нее и потом долго охал и стонал, хотя никто того не видел и не слышал.

Селиванов любил притворяться. Он занимался этим всю жизнь. Самодельная березовая трость почернела и потрескалась от его притворства. Он и сам бы не смог вспомнить, когда оно стало его привычкой, потому что вовсе не считал себя притворщиком. А если бы все же признался в этом грехе и попытался вспомнить, то пришлось бы перелопатить в памяти самые свои юношеские годы, когда, промазав на охоте в присутствии отца, он стягивал с себя рубаху и искал несуществующего муравья, который будто бы «цапнул его за волосья под мышкой» во время выстрела.

И ведь все равно получал от отца подзатыльник, а то и смачный пинок под зад, но муравья находил-таки, совал отцу под нос и потом мстительно отрывал муравью голову.

А уж как мог с самого детства разыгрывать из себя дурака или не сведущего в чем-то, притворяться больным или подслеповатым, а как умел пройти мимо соседа и не узнать его, после же оклика извиняться искренне и конфузиться; а в гостях по пьянке надеть чье-нибудь никудышное пальто, свое добротное оставив у гостей, потом же, после обмена, сокрушаться, что вот, дескать, до чего пьянь доводит, до прямого убытку, и надо же такому случиться!

У людей неострого глаза он слыл чудаком; другие, кто догадывался о притворстве, говорили, что Селиванову палец в рот не клади, и опасались его. Но никто, даже отец, с которым Селиванов прошатался по тайге без малого десять лет, даже он не раскусил до конца своего сына, а лишь хмуро косился всякий раз, когда тот выдавал очередную «темноту».

Притом Селиванов никогда не злорадствовал в душе, если удавалось кому-то пустить пыль в глаза, он будто не замечал своей хитрости, не ценил ее и не наслаждался ею. Это была просто потребность, которую он не сознавал. Однако же пользовался притворством часто с большой пользой для себя. Но и без всякой пользы тоже.

Вот сейчас у проулка он увидел девочку, ломающую рябину; подкрался к ней, чуть коснулся тростью плеча. Девчушка вскрикнула, отскочила. Селиванов покачал головой и надтреснутым старческим голосом выговорил ей за небережливость к дереву, которое и краса и удовольствие для деревни. До деревни и до дерева Селиванову было заботы не больше, чем до гольцов Хамар-Дабана на горизонте. Сейчас он притворялся ворчливым стариком, любящим больше печки и завалинки поучать молодежь.

Деревня Рябиновка, полагают, называлась так по рябиновым зарослям вокруг — и в каждом проулке, и в каждой усадьбе. Но было и другое мнение...

На том краю деревни, где почти без перехода рябины уступали место кедрам, старым и кривым, стоял большой пятистенный дом Ивана Рябинина, и не сохранилось в деревне ни одного старика или старухи, которые помнили или знали по рассказам своих бабок и дедов деревню без этого дома и Рябининых в нем.

Сюда-то и держал путь Андриан Никанорович Селиванов. Путь был не короток — с одного конца деревни на другой, но Селиванов не спешил, а, напротив, чем ближе подходил к рябининскому дому, тем чаще останавливался по всякому пустяку, тем суетливее становилась его походка, шаги, однако же, не ускорявшая...

Двадцать пять лет пустовал рябининский дом, и хотя за это немыслимое для хозяйства время не был растащен по бревнышкам (чему были причины, конечно!), но пострадал от бесхозяйственности изрядно и видом и осанкой, в особенности окрестностями: огороды превратились в черемушник и рябин-

ник, двор — в царство крапивы, обнаглевших от приволья репея и лопухов, а колодец просто сгнил и обвалился срубом внутрь.

Каждый новый председатель сельсовета одним из первых своих административных актов провозглашал решение о передаче приусадебного участка в 0,3 га кому-либо из нуждающихся в том жителей деревни, но всякий раз, спустя несколько дней, этот самый нуждающийся публично отказывался от «рябининского пустыря», как его называли, и сам председатель забывал об участке навсегда. Жители Рябиновки многозначительно переглядывались между собой, когда кто-нибудь на улице или в магазине затевал разговор о странной судьбе участка. Дело пахло тайной, а тайна способна придавать значимость всему и всем, кто к ней оказывается причастным. Да и не в тайне одной было дело!

Судьба Ивана Рябинина была недоброй и несправедливой. И хотя ни одну душу не возмутила она так, чтоб подать голос, и ни одну руку не подняла в защиту — только вздохи, покачивания голов да безвольное пожатие плеч, но были все внимание и память — горькой судьбе Ивана Рябинина. А многолетняя неприкосновенность «рябининского пустыря» стала для всех знающих и помнящих Ивана Рябинина не просто оправданием их равнодушия к чужой беде (к своим бедам они притерпелись), а местью всему, что есть судьба, когда она — недобрая, и всему, что за этой судьбой скрывается, неназванному и недоступному. Жители Рябиновки порою даже преувеличивали значимость судьбы трех десятых гектара лопухов, крапивы и рябины в судьбе самой деревни, пытаясь намеками, прищурами, причмокиванием да прикашливанием выткать в воображении своеобразную легенду без слов и содержания, но полную смысла и неведомой мудрости.

Они были бы обижены и даже рассержены, если б узнали, что вся тайна в том только и есть, что мужичок с березовой тростью, бредущий сейчас по деревне к рябининскому дому, появлялся каждый раз перед очередным претендентом на участок с соболем за пазухой (если тот был жаден), или с бутылкой самогона (если был тот человек — человеком), или с парой «теплых слов» ночью у плетня (если тот был труслив). А все бывшие председатели сельсовета так старательно не узнавали Селиванова при встрече, что тоже, наверное, могли кое о чем порассказать.

За те двадцать пять лет, что простоял рябининский дом с заколоченными окнами, сколько игр переиграли деревенские

мальчишки в зарослях участка, сколько влюбленных парочек пересидело на приступке рябининского колодца, сколько кошачьих свадеб сыграно в паутиновых джунглях высокого рябининского чердака, сколько птенцов вывелось и разлетелось по свету изо всех щелей и дыр крутоскатной крыши...

Целое поколение рябиновцев родилось и выросло за период безнадзорности рябининского дома. Да и те, что родились и жили раньше, тоже так свыклись с заколоченными окнами дома на краю деревни и с пребыванием в неведомости самого хозяина, что тем самым утром, когда бабка Светличная ахнула около магазина, хлопнув руками по бедрам, когда она даже присела и выпучила глаза вслед старику с вещмешком за спиной, когда она испуганно прошептала: «Господи, никак Рябинин Иван вернулся!» — и перекрестилась, будто увидела привидение, — вот с того самого утра деревня, более чем неделю, цокала языками, разводила руками и тревожно принюхивалась.

Когда же к ней вернулся дар речи, все заговорили хлопотно и многоречиво, и, конечно, нашлись умники и знатоки, которые, многозначительно покачивая головами, с большим смыслом произносили одну и ту же фразу: «Двадцать пять! Н-да-а!» Те, что были еще толковее, прошедшие без медных труб огонь и воду, поясняли, что двадцать пять — это, по-иному говоря, четвертак! А четвертак — это вам не червонец! И каждый пытался представить себе свои двадцать пять, что прожил, будто их и не было, и не мог представить своей жизни в таком изуродованном виде, и не мог понять прошедшего через то Ивана Рябинина. А потому не шел к нему, чтобы поздравить с возвращением; еще же оттого, что не знал, уместно ли вообще поздравлять человека в таком случае.

Никто не пришел к Ивану Рябинину ни в этот день, ни на следующий, ни на третий. На четвертый он вышел сам, и его сразу увидело полдеревни, и замерли люди, затаив дыхание, словно вышел Иван Рябинин на улицу, чтоб пристыдить всех за что-то или посчитаться с кем-то. Он же прошел в сельсовет, пробыл там не более получаса и вышел так же спокойно, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь.

Теперь деревня вспомнила про него все, что забыла или не вспоминала. И это забытое вдруг обернулось нынче не просто интересной и романтической историей, но историей вообще, как бывают те или иные события, в отличие от всех прочих, непосредственной историей народа, вовсе не обязательно прямо участвующего в этих событиях.

Деревня испытывала угрызения совести, но больше терзалась оттого, что не знала своей вины, и подозревала, что вины этой нет, тем не менее чувствовала себя виноватой, как здоровый — перед калекой. Деревня десятками пронырливых мальчишеских глаз следила за домом на окраине, говорила, молчала, думала. В неожиданном почете оказались все, кто помнил Ивана Рябинина, кто когда-либо в то время, что было отделено от нынешнего двадцатью пятью годами, соприкасался с Рябининым, а в то время, поскольку был Рябинин егерем, соприкасались многие. Они припоминали и не могли припомнить добрых чувств к егерю: напротив, оказывалось, что каждый хоть однажды да сталкивался с непримиримым, упрямым охранником рябиновской тайги.

Морщинистыми лбами старух деревня напрягла память и вспомнила не только мать Ивана Рябинина, хлопотливую, быстроногую женщину, но и отца его, не вернувшегося с Гражданской, откуда-то с «приокеана», где дрался он за красных против двоих своих старших сыновей, мобилизованных каппелевцами и канувших в безызвестность в те прожорливые на человеческие жизни годы.

Деревня вспомнила работящего, всегда хмурого и нелюдимого паренька-сироту, что незаметно для всех превратился в статного, крепкого парня — таежника, а потом и в первого советского егеря. Крепкая задним умом деревня нынче готова была признать, что Иван Рябинин справедливым был егерем, а что если и прижимал кого, так это когда уж тот совсем без меры лютовал в тайге. Но признать такое было нелегко, потому что разве забыть, как недобро смотрел Ивану Рябинину вслед тот, кого уводили милиционеры? Разве забыть, с какой жадной яростью накинулась деревня на таежную благодать в короткий период междуцарствия и как затем радостно и хитро прищурилась она, когда поняла, что новый егерь за бутыль самогона готов не то что полдюжины струйчатых сосен, а целую деляну отвалить и живность любую положить на мушку дробовика без ограничения и меры. Несколько лет таежная мудрость шла по цене самогона, и деревня нагуляла солидный жирок от своего беззакония. Потом уж и сами готовы были одуматься; кряхтели мужики-охотники и покачивали головами, цокали языками и недобро косились на новый дом своего егеря. И долго бы еще косились, если б, смешно сказать, сохатый не затоптал в смертной агонии оплошавшего егеря.

Тогда деревня вспомнила впервые об Иване Рябинине добро. Но воспоминание было коротким, потому что жизнь — не тихая вода, а чаще паводок, и надо суметь жить и выжить. Это же — не просто, когда весь мир, что начинался за границами деревни, оскалился на нее в непонятной лютости, и козни его, казалось, самим сатаной придуманы на погибель мужика...

Вспомнила деревня и то доброе летнее утро, когда на крыльце рябининского дома появилась царевна-лебедь. Она вышла из сеней так, будто только-только появилась на свет, будто родилась с этим тихим скрипом сенных дверей, золотоволосая, с маленькими белыми ножками. И все подтверждало ее чудесное рождение: как прищурилась она на солнышко, а затем закрыла глаза, словно постигая собственную тайну; как озадаченно-изумленно смотрел Иван Рябинин на нее, замерев у поленницы дров с опущенным топором; как потом сошлись они у последней ступеньки крыльца и молчали, не прикасаясь друг к другу.

Теперь уже было не вспомнить, чьими глазами увидела деревня рождение чуда в рябининском доме. Но чтобы бирюк Рябинин отхватил городскую кралю, такого деревня ожидать от него не могла и поначалу даже оскорбилась и поджала губы, готовясь оказать достойное сопротивление дерзкому вызову егеря. А вызов не прозвучал, и деревня поняла, что он ей только померещился в гордыне. Рябинин не торопился показываться на людях со своей молодухой, и она ограду его усадьбы, похоже, принимала не как ограду, а заграду, словно менее всего собиралась выходить за калитку, и в крепости плетня видела свое счастье и удачу жизни.

Тропа, что проходила мимо рябининского дома в тайгу, была не единственной и не самой удобной, но в то лето бабы ли шли по голубику, мужики ли на промысел, мальчишки ли за черемшой, — все выбирали эту тропу, пусть бы пришлось крюк сделать в пару километров, но лишь бы глазом взглянуть на «чужую», языком прицокнуть и посудачить после про то, какой номер выкинул ихний егерь.

Через уйму лет вспоминая об этом, деревня законно могла гордиться, что хорошо отнеслась к чужой, что после того, как привез из города егерь швейную машину, без предубеждения и зависти потащили девки и бабы сундуковые отрезы нэповских времен городской мастерице, и когда получали на руки платья, юбки и кофты не совсем привычного фасона, не фыркали при том и на плату и подарки не скупились.

Прошло немногим более года, и проходящие тропой мужики и бабы уже слышали детский плач в рябининском доме; и деревня не обиделась, что имя своей дочке Иван дал, какого и в помине у них не было, — Наталья.

А когда фигура молодой егерской жены округлилась по второму разу, тогда и появились в деревне милиционеры на конях и увели Ивана Рябинина в город, где пропал он без вести. Казалось, деревня не спускала глаз в тот день и в ту ночь с окон рябининского дома. Когда же утром обнаружилось, что дом заколочен со всех сторон, а калитка даже брусом привалена, все только ахнули. Слухов пошло уйма, нынче большую часть их деревня забыла, но сохранился все же в памяти один упрямый слушок: будто под самое утро следующего дня, как увели егеря, видели на обходной дороге упряжку со скарбом, на котором будто сидела в слезах егерская жена с ребенком на руках, и какой-то мужичишка, подстегивая гнедую кобылу, утешал ее грубыми словами.

Селиванов уже обогнул последний дом, то есть предпоследний, потому что последним за густым рябинником был дом, куда он и направлялся и куда так старался не торопиться.

Что-то не припоминал Селиванов когда-либо в себе такого волнения, что охватывало его с каждым следующим шагом к рябининскому дому. За всю жизнь никакая удача и никакой страх (а страх в жизни знавал он не раз) не трясли так его руки и не схватывали так дыхание, что хотелось сесть на землю. Увидев в стороне от тропы березовую колодину, он шагнул к ней, потыкал тростью, ковырнул прогниль внизу на тот случай, не залежалась ли там гадюка (любит эта тварь гнилые березины), и присел, уже не притворяясь, а захлебываясь одышкой, какую с тихого хода и получить невозможно.

Было бы правильно посидеть здесь и повспоминать, что стоило вспомнить, прежде чем переступить порог чудом ожившего дома. Но Селиванову в этом нужды не было, потому что он ничего не забывал. Сейчас память била его по глазам отдельными, не связанными друг с другом видениями; связь-то между ними была, но где-то отдельно, существовала сама по себе: она, эта связь, была самой жизнью, которую Селиванов знал помимо памяти. И было бы чистой ложью назвать дальнейшее повествование воспоминаниями Андриана Никаноровича Селиванова, потому что воспоминания, даже в самом подробном и добросовестном пересказе, и меньше и больше того, что было в

действительности: не все чувства подвластны слову и не все происходящее доступно чувству; что-то обязательно остается за его пределами, как бы назначенное чувству другого, кто при том присутствовал или присутствовать бы мог.

2

По зимней засугробленной тайге бежали два человека. Один догонял другого. Убегающий был невысокого роста, щуплый, пронырливый и в этой погоне вполне походил на добычу, уходящую от рук настоящего охотника, каковым был догоняющий, — высокий, широкоплечий, кряжистый, силы и выносливости неисчерпаемой.

Со стороны бы взглянуть, погоня на погоню едва ли походила, потому что в походке убегающего, во всех его движениях, даже в ритмическом хлопанье камусов по снегу сквозила озорная уверенность в том, что он уйдет; догоняющий так же был уверен, что догонит, потому что был таежником в том возрасте, когда еще не имел случая узнать предела своих сил, и они ему казались беспредельными. «Беги, беги! — бормотал догоняющий. — Далеко не убежишь, сучок трухлявый!» — «Давай, давай! — хихикал убегавший, озорно оглядываясь. — Ловил рогатый косого, да окосел от натуги!»

Однако при всем том одному из них во что бы то ни стало нужно было уйти, а другой, хоть сто верст бежать, решил догнать, потому что второй такой случай не скоро представится.

Два сезона подряд делал набеги Андриан Селиванов на участок егеря Ивана Рябинина и вот наткнулся-таки на хозяина. Два сезона выслеживал егерь ловкого браконьера и хулигана и подловил наконец с поличным. Это «поличное» лежало в вещмешке, что мелькал теперь перед глазами егеря то в пятидесяти, то в ста шагах, а один раз — так и рукой схватиться... да переломил Селиванов ветку и кинул на лыжню.

Селиванов бежал по целине, егерь — по его следу, но преимущества в том не было: рыхлый снег заваливал лыжню с краев и не давал скольжения.

Селиванов к тому же путь выбирал по мелкому березняку, где сам шел вполунаклон, как мышь проскальзывая под ветвями.

Рябинин прикладом и стволом карабина расчищал путь, не всегда, однако, успевая увернуться лицом от хлесткой пружинистой ветки, а если и боли при том не ощущал, то все же терял

в скорости, наверстывая упущенное на чистом склоне и на твердом насте.

Селиванов надеялся оторваться от егеря в березняке на последнем спуске и уйти в деревню, где по неписаным законам кончалась власть егеря и его права на человека тайги.

Рябинин же, догадываясь о намерениях браконьера, доставившего ему столько хлопот за два сезона, уверен был, что нагонит его в поле перед деревней, и обязан был это сделать, потому что хотя и был его закон главнее закона деревни, и мог бы он запросто взять Селиванова с поличным в его собственном доме, и никто не посмел бы помешать ему, и даже на вражду, что возникла бы следствием этого со стороны мала и велика, наплевать бы мог, — да не в том было дело. Взять Селиванова до деревни и привести его туда за шиворот и, может быть, даже отпустить, ткнув раз-другой мордой в снег — он должен смочь, иначе какой ему почет в его деле? Была еще одна причина особой злости егеря. Селиванов пакостил не везде на участке, а именно в его личных, егерских, владениях. На своих солонцах обнаруживал Рябинин следы Селиванова, в его, егерской, избушке-зимовье внаглую разделал Селиванов запрещенного к отстрелу изюбря и даже следы не замел и не прибрал за собой — точно фигу под нос сунул. Мощные рябининские кулаки давно чесались на Селиванова.

Друг от друга на сотню шагов преодолели они последний небольшой подъем, после чего через километра полтора должен был начаться спуск по березняку, и Селиванов пошел на отрыв. Отмахиваясь прикладом еще отцовского «Зауэра» от веток, пригнувшись в пояс, выбирая самые густые заросли березняка, не оглядываясь, весь собранный для рывка, он, как казалось ему самому, головой шел впереди своих камусов. Спуск начался круто. И он пошел вниз петлями, зигзагами, круче заворачивая повороты и швыряя за собой при случае ветки, чтобы егерь на скольжении вылетал из лыжни. Когда же спуск на время прервался небольшой лощинкой, он, оглянувшись, довольно крякнул: егерь отстал.

Но тут, в этой лощине с метровыми сугробами и в два обхвата поднебесными соснами, судьба сыграла с ним худую шутку. Именно так, потому что сам он никакой ошибки не допустил, сугробовые ловушки обходил верно и завал этот проклятый обогнул в двух метрах, не менее. Но кто мог знать, что какая-то подлая ветка свалилась с сосны по слабому зимнему ветру и,

присыпанная снегом, залегла бечевой-ловушкой внутри наста. Одна нога зацепилась, другая по инерции прошла верхом, и Селиванов, словно в петлю попав, завалился носом в сугроб. Пока поднимался — время, пока отряхивался — время! А попробуй протащить камус назад против шерсти! И егерь уже рядом, хотя и не виден в березняке, только треск веток да шорох по снегу.

В конце концов мог Селиванов успеть: снять вещмешок и закинуть проклятую шкурку в снег или затоптать и отбежать от этого места метров на сто — двести, пока настиг бы его егерь. Но Селиванов сызмальства боялся побоев. В тайге не боялся ни медведя, ни рыси, ни ночи, ни непогоды. Но отцовские побои, но кулаки парней-односельчан и даже случайная зуботычина по пьянке переносились им как болезнь и тела и души. Даже на чужую драку не мог он смотреть без страха и трепета. Может, оттого сторонился людей, может, оттого стала ему тайга милым домом, где пропадал он и лето и зиму.

А сейчас, представив себя один на один с этим кабаном-егерем, который еще мальчишкой один вытащил из болота корову за рога, Селиванов задергался, заметался и, высвободив наконец ногу из плена, кинулся к толстущей сосне.

— Не подходи! — закричал он визгливо, когда Рябинин вывернулся в лощину с последнего поворота. — Не подходи! Шлепну!

— Я тебе! — попридержав дыхание, с угрожающим спокойствием, но громко ответил егерь, и от такого его голоса у Селиванова подогнулись ноги.

— Шлепну!! — крикнул он надсадно и нажал спуск «Зауэра», не целясь и не успев даже прижать приклад к плечу. Отдача кинула его за сосну, и он чуть было не потерял равновесия, а когда выглянул, увидел егеря, барахтающегося в снегу. — Таки шлепнул! — изумленно прошептал он, готовый шагнуть вперед, но из-за сугроба темным зрачком глянуло на него дуло егеревского карабина. Отшатнувшись за сосну снова, он не столько вздрогнул от выстрела, сколько от того, как вздрогнула громадина-сосна, получив пулю в свой промерзший ствол. Он выглянул с другой стороны, и на этот раз пуля, зацепив по краю щепу, осколками хлестнула его по лицу. Он лихорадочно соображал: стрелял в егеря из левого ствола, стало быть, картечью... не целился, значит, если зацепил, то не более одной или двумя картечинами, а может быть, не зацепил вовсе, и тот просто залег, хотя и не похоже на него.

— Эй! — крикнул он не высовываясь.

Ответом снова был выстрел, но на этот раз сосна не дрогнула.

— Да погоди ты пулять-то! — крикнул он громче, пригнулся к самому снегу, снял шапку и выглянул одним глазом.

Рябинин пытался подняться, одной рукой держа винтовку наготове, но вскрикнул и снова упал на снег, провалившись так глубоко в сугроб, что ствол винтовки уперся в небо.

— Зацепил! — прошептал Селиванов, еще никак не относясь к этому факту и лишь собираясь обдумать его. Барахтающийся в сугробе егерь походил на медведя, вылезающего из берлоги, и Селиванову снова стало страшно: он вскинул ружье на руки, но тут же шмыгнул за сосну — дуло выравнивалось, и над сугробом появилась голова Рябинина; даже его лицо, перекошенное то ли от злобы, то ли от боли, успел рассмотреть Селиванов. — Эй, слышь, поговорим! — крикнул он просяще.

— Я те поговорю, гад! — прорычал в ответ Рябинин и выстрелил.

— Чего без толку патроны переводишь? Куды я тебе зацепил-то?

Рябинин молчал, левой рукой пытаясь дотянуться до бедра, в котором где-то застряла (или прошила насквозь) селивановская картечина. Будто спица проткнула ногу и торчала из нее, не позволяя подняться на камусы, ушедшие в снег на всю глубину сугроба.

— Слышь, давай поговорим! — крикнул снова Селиванов. — Куды зацепил-то? Ну чо молчишь! Не убиец же я! С испугу шлепнул!

— Высунешься, и я тебя шлепну! — глухо ответил егерь.

— Встать-то не можешь, что ли? — спросил Селиванов, стараясь придать голосу сочувствие, но поскольку говорить приходилось громко, вопрос прозвучал издевкой.

— И ты не уйдешь! — зло ответил Рябинин, дотянувшись наконец рукой до раны и ощутив кровь.

— Мне-то чего не уйти! — кричал Селиванов. — Так и уйду за сосной!

Сообразив, что, прикрываясь сосной, Селиванов действительно может уйти, егерь от отчаяния выстрелил два раза подряд и заворочался, доставая из подсумка другую обойму. Но Селиванов считал его выстрелы, и не успели щепки упасть на снег, как он выскочил из-за сосны и бросился к Рябинину. Уже

держал егерь обойму в руке, уже опростать успел патронник, но Селиванов опередил. Когда винтовка вырвана была из рук, Рябинин, дернувшись всем телом, вскрикнул и перекосился.

— Гад! — прошептал он, глядя на сидящего в двух шагах от него Селиванова.

— Ежели ты помирать хочешь, твое дело, — спокойно, чувствуя себя наконец хозяином положения, говорил Селиванов. — Если не хочешь, давай уговор делать! И не ерепенься попусту! Не хотел я тебя убивать! Да ведь если б ты догнал меня, все зубы по снегу раскидал! Не так, что ли?

— Чего хочешь? — зло спросил Рябинин.

— Ногу зацепил?

— Чего хочешь? — повторил егерь.

— Чего? Перевязываю тебе ногу, тащу до дома, лечу — как на собаке заживет! А ты мне зла не делаешь.

— Ты меня — картечью, а я тебе зла не делать!

— Оба жить будем, — пожал плечами Селиванов и добавил неуверенно: — Ну, если скажешь еще чего сделать... деньжата у меня найдутся... или чего другого...

Взглянул исподлобья на Рябинина.

— Хошь, служить тебе буду, чем хошь...

— Режь гачу!

Селиванов вскинулся, сбросил с ног камусы, проваливаясь выше колен, подошел к егерю, снял у него со спины вещмешок, растоптал вокруг снег, перевернул его на спину и осторожно ощупал ноги.

— Тут?

Рябинин поморщился.

— Ляжку прошило? А встать-то почему не можешь? Должон встать! — рассуждал Селиванов, деловито и осторожно вспарывая штанину ножом и косясь на красное пятно на снегу. Картечина прошила ляжку наискось и вышла сбоку рваной раной. Рябинин хотел было приподняться и взглянуть на рану, но Селиванов не позволил, легким толчком откинув его на спину.

— У, гад! — еле сдерживая злобу, прошептал егерь, отворачиваясь от Селиванова.

— Ладно, ругайся! — пробубнил тот, разрывая какую-то тряпку повдоль и подкладывая ее снизу на выходную рану. — Оно, конечно, ничего доброго — шлепать своего мужика, да говорю ж, с испугу! Эвон, сравни-ка свой кулак с моим! Тузить бы начал, так печенку отбил бы, кровью, чай, харкал бы! А я тебе

сейчас смоляну приложу, и дырки после не сыщешь... Через неделю козлом прыгать будешь! Терпи, затягивать буду!

Ни на слова его, ни на действия егерь и ухом не повел.

— Рукавицы дай! — буркнул он. — Руки замерзли!

Селиванов хотел было подать рукавицы, что валялись на снегу, но, выщупав их сырость, подал свои. Тот попытался натянуть их.

— Мне твои наперстки знаешь на что натягивать! — и откинул их в сторону, дыша на пальцы.

Селиванов достал из своего вещмешка соболиную шкурку, распрямляя, сломал ее в нескольких местах; делал это с подчеркнутой небрежностью: дескать, плевать он хотел на шкурку. Выгнул ее на обе руки егеря, потом снял с него шапку, стряс снег, надел снова, плотнее прикрыв уши.

— Хоть ты и здоров как кабан, а слабак! — говорил он при этом. — Дырка-то у тебя пустяковая, я б с такой дыркой со следа не сошел! А ты вот валяешься, как колода...

Договорить не успел. Егерь схватил его за полу шубы, одной рукой подтянул, другой перехватил за шиворот, молча дважды ткнул лицом в снег по самый затылок и отшвырнул от себя. Отряхиваясь и отплевываясь, притворно кашляя и чихая, Селиванов отполз подальше и только тогда жалобно и обидчиво заохал:

— А уговор-то как? Тут мордой об снег, а домой притащу — мордой об забор, да?!

Рябинин пытался встать, но что-то в ноге было основательно нарушено, она не слушалась. Зло выругавшись, он снова упал на спину.

— Ну так чего? Будешь драться али нет? — сердито спросил Селиванов.

— Хватит с тебя! Костер пали, замерз я!

— Вот так-то лучше! — закивал довольно Селиванов.

Вытоптав еще полянку в метре от Рябинина, начал набрасывать ветки и щепу, и скоро на этом месте заработал небольшой костер. Егерь потянулся к нему.

— Жилу ты мне попортил какую-то, гад! Не дай Бог, хромать буду!

— Не будешь, — махнул рукой Селиванов. — Сейчас свяжу волокушу и поедем до дому. Корнем тебя поить буду. У тебя-то, поди, такого корешка нету. А ведь ты супротив меня как охотник — хе! Смех! Вот бы мне егерем быть, уж я б мужичкам закон показал! Я сызмальства в тайге, я такое про тайгу знаю, чего ты и не слыхивал и не нюхал.

— Трепло! — уже без злобы ответил Рябинин.

— Ишь ты! — обиделся Селиванов. — А кто два сезона соболя у тебя из-под носа таскал!

— Куда шкурки деваешь? Почему не сдаешь, как положено? — хмуро спросил егерь.

— А кем же положено, Ваня? — прикинулся незнающим Селиванов.

— Властью, кем!

— Как твой отец, не знаю, а мой — так он своего отца помнил и деда, и все они тайгой жили, а власти никакой на тайгу не было! Жили, и все! А потом — на тебе, власть появилась и говорит: «Мое!» А почему это ее, когда прежде всегда наше было? А на эту власть другой власти нету, чтобы право наше рассудить!

— Власти не признаешь? — покосился Рябинин.

— Я сам по себе, власть сама по себе! — прищуриваясь, ответил Селиванов.

— Ну и что, разбогатеть хочешь?

Селиванов ответил вопросом на вопрос:

— А вот ты чего не женишься? Слышал, в Рябиновке девки на тебя никак хомута не сыщут...

— Не твое дело!

— Во! Значит, не каждому про все знать положено!

— Перетрухал, когда в меня пальнул-то? Человека стрелять — не изюбря, а?

Селиванов хитро и плутовато сощурился.

— Мне, Ваня, людишку шлепнуть — это как палец обо...ть. А вот человека, оно, конечно, убивать страшно! Только я ж не в тебя пальнул, а так, со страху. Картечь вразброс пошла, вот тебя и зацепила. Кулаков твоих я шибко испугался. Знаю ведь, какая лютость у тебя на меня имеется! За того козла, что в твоем зимовье распотрошил, за одно это ты бы мне глаз на сучок одел.

— Точно! — уверенно подтвердил егерь. — Для чего пакостил? Или не знал, что за такие дела полагается?

— Сам не знаю, чего охульничал, — не очень искренне ответил Селиванов. — Ну, я пойду волокушу вязать. Да и время уже позднее. Тебя тащить — не мед будет. Торопиться надо!

Нарубив достаточно двухметровых веток, он выложил их ровно на снегу, по середине и по краям перемотал тонкими березовыми прутьями и обрывками веревки, по бокам пристроил рябининские камусы, приспособил веревку-лямку, использовав для того даже ружейный ремень. Закидал костер снегом и наконец подошел к егерю.

— Тронем, Ваня! Одень рукавицы, подсохли, поди!

Он опустился на корточки перед Рябининым, и тот, обхватив его за плечи, вместе с ним поднялся на здоровую ногу. Селиванов закряхтел.

— Ох, и тяжел же ты, не меньше шести пудов! Я вот больше четырех никогда не вытягивал, даже с обжорству...

До волокуши было нормальных два шага, но преодолели они их еле-еле, и когда Рябинин неуклюже, боком, свалился на волокушу, Селиванов, выпучив глаза, вздохнул облегченно.

Положив рядом с егерем оба ружья и закрепив их, он пристроил под голову Ивану оба вещмешка и, звонко высморкавшись, накинул лямку на грудь. Напрягся, рывком сдвинул волокушу с места, остановился и довольный повернулся к егерю.

— Осилю, значит! А будь бы дело летом али на подъем...

Он покачал головой и, согнувшись чуть ли не пополам, двинулся с места. Волокушу тащил вдоль ложбины, в обход березняка, на который вывел егеря в надежде оторваться от него. Теперь березняк был препятствием, по нему не пройти с поклажей, но Селиванов места знал до каждого пня, и вскоре от ложбины вниз открылась не то просека, не то дорога летняя, а теперь — под снегом и без следов. На нее и свернул свой путь Селиванов. Когда же спуск стал крут, скинул лямку с плеча и лишь чуть-чуть подтягивал волокушу, с трудом удерживаясь от скольжения. Волокушу заносило боком, зарывало в снег, несколько раз Рябинин сваливался с нее, и тогда Селиванов бесцеремонно, не обращая внимания на ругань егеря, заваливал его катом на прутья и тащил дальше.

Когда спуск кончился и открылось поле, и деревня завиднелась вдали, взмокший Селиванов остановился, скинул шапку, расстегнулся и сел на снег, охая и постанывая. Егерь тоже облегченно посматривал кругом, морщась от боли, стряхивая с лица снег, таявший холодным потом.

— Это что! — хвастливо залепетал Селиванов. — Вот когда я в двадцатом с Чехардака папаню своего волок с простреленными грудями! Вот тогда была работа, я тебе скажу. Две гривы тащил живого, а две — уже мертвого. Нет, чтобы взглянуть в глаза — пер как дурак. Ведь слышал же, что он стонать перестал, а все тащил. Молодой был совсем, глупый... Уж как обозлился, что покойника тащу!

— Кто это его? — без особого интереса спросил Рябинин.

— Кого?

— Отца, кого еще!

— Его-то...

Селиванов пошмыгал носом, покосился на егеря.

— Да было такое дело...

— Не хошь, не говори! Тащи давай, а то замерзну.

Деревня Лучиха, где жил (или считалось, что жил) Селиванов, была в десяти километрах — ниже по речке Ледянке — от Рябиновки, стоящей немного в стороне, но не на той же дороге. Дорога же шла в Кедровую и далее — на Байкал и Иркутск. Уходя от егеря, Селиванов, понятное дело, шел на Лучиху, хотя до Рябиновки было ближе. Но не в егерской же деревне было ему искать спасения — там местные мужики, как бы ни были злы на своего егеря, за чужого не заступились бы. И теперь, значит, Селиванов тащил егеря в «свой» дом, купленный Селивановым несколько лет назад. Необжитый, не подновленный, как положено, он лишь числился за Селивановым, зиму и лето живущим в своих потаенных зимовьях.

В кооперативе, где приписан был Селиванов, давно махнули на него рукой, в основном рукой председательской, не отсохшей от щедрости рук селивановских. Подслеповатый, хромой, боящийся тайги, как черт ладана, председатель кооператива был дюже силен в бухгалтерии и особенно по части меха. Он не только понимал мех, но питал к нему созерцательную любовь, которую Селиванов презирал, но изрядно поощрял по мере возможности и надобности. Надобность же была простая: чтоб жить не мешали, на участок его не совались, чтоб никому не было до него дела. Потому что вся радость жизни Селиванова состояла в том, чтобы жить по своему желанию и прихоти, ходить в тайге лишь по своим следам или, по крайней мере, чтоб никто по его следам не шатался...

Селиванов любил власть и хотел ее, но не над людьми, чьи души путанее самых запутанных троп. Люди непостоянны и ненадежны, с ними нельзя быть спокойным и уверенным, среди них — будь настороже, а то враз обрушится на тебя, что ненужно и хлопотно.

Другое дело — тайга! После лета всегда осень, а зимой — снег, и никак по-другому. Здесь, ежели по тропе идешь, можешь о ней не думать: не подведет, не свернется кольцом, не вывернется петлей, а если уйдет в ручей на одном берегу, на другом непременно появится, да там, где положено. А язык?! Его среди людей держи в зубах, потому что одни и те же слова

по-разному поняты могут быть, и вдруг прищурятся глаза, губы сожмутся, и вот — уже опасность. Напрягайся, чтоб избежать ее: хитри, ловчи, притворяйся, уступай, не уступай, беги или оставайся, а зачем все это?

В тайге же человек всегда только вдвоем: он и тайга; и если язык тайги понятен, он с ней в разговоре — бесконечном и добром.

В тайге Селиванов пьянел от власти, потому что там не было ничего ему не подвластного, и власть эту не нужно было утверждать каждый раз заново, когда возвращаешься: просто приходи и вступай во владение. На зверя у тебя — стволы, на дерево — топор, на шорохи — уши, на даль — глаза, на красоту — радость, а на опасность — умение.

Когда дорога от людей где-то превращалась в тропу, а тропа, сужаясь, становилась тропой одного человека, ее создателя и хозяина, когда лес за человеческим жильем становился тайгой (а переход этот незаметен и необъясним), Селиванов, обычно до того всегда шедший молча, глубоко и радостно вздыхал и произносил: «Дождя б не было!» или «Ничего погодка нонче!» Говорил он это просто так, не вникая в смысл сказанного, но громко и облегченно, словно получал, наконец, право вольного голоса и свободы.

Давно миновало то время, когда огорчали его неудачи на охоте, когда он даже ружье мог кинуть на землю и браниться вслед ускользнувшей добыче. Теперь о том вспоминать было смешно. Теперь, если, к примеру, белка прыгнула раньше выстрела и ушла по деревьям, уводя за собой собаку, Селиванов улыбался ей вслед и думал о ней с уважением, даже собаку мог вернуть свистом громким и резким и приказать: «Пусть живет, ищи другую! Мало ли глупых-то!» И если даже ценный и нужный зверь уходил от него, все равно не было в том неудачи, потому что это ведь удача — встретить зверя хитрее себя. И в этом — интерес.

Уважая тайгу, признаваясь себе в этом (он просто не знал слова «любовь»), Селиванов не уважал людей. А суету их, что развели они за пределами тайги, в тесном и шумном мире, презирал даже, полагая, что ему лично повезло родиться тем, кто он есть, и там, где он есть, хоть не повезло ему в теле и в росте. Но и то выходило к лучшему, потому что, будь он эвон таким битюгом, как Рябинин, разве удержался бы от соблазна вступать с людьми в спор, не соблазнился бы мощью своих кулаков

да голосом зычным? Ведь честолюбие — грешок этакой — разве не знал его за собой?!

Все так! Но вот Рябинин. Когда Селиванов увидел его впервые, сумрачного и крепкого, как кедр-дубняк, он, этот егерь, заинтересовал его сразу. В интересе была странная ревность, близкая к зависти, и это незнакомое и неприятное чувство начало все чаще и чаще гонять Селиванова на участок егеря; оно же заставляло делать маленькие пакости поначалу, а потом толкнуло уже на открытый вызов и соперничество, которое завершилось теперь селивановской картечиной.

Может, будь Селиванов откровеннее с собой, признался бы, что давно жаждет иметь товарища, которому можно многое рассказать и которого интересно послушать. Но к такому товарищу заранее предъявлял множество требований: должен был он обладать такими качествами, которые в одном человеке редки, а может, и вовсе не бывает таких сочетаний: чтоб человек был силен и добр, верен и надежен, умен и не болтлив, чтобы умел быть близким и не надоедал, чтоб нуждаться в нем, но не зависеть, чтобы не опасен был человек для твоего спокойствия — вот что главное.

С отцом, когда тот был жив и они вдвоем шастали по тайге, было стеснительно. Отец был человек жестокий и суровый, душевности между ними не было, власть его тяготила и сковывала жаждущего самостоятельности и свободы, рано осознавшего себя взрослым Андриана, единственного сына своих родителей. Что-то брезгливое и презрительное было в отношении отца к хилому и худосочному сыну; может, потому не слишком переживал Селиванов смерть его (мать умерла еще раньше), и не только не испугался своего одиночества, но, напротив, обрадовался ему как обретению свободы и великих прав на тайгу, и на жизнь, и на все, что давала жизнь в тайге.

Было двадцать четыре года ему, когда публично осмеяла его рябая девка Настасья, и с тех пор больше никогда не приходила в голову мысль о женитьбе. Как-то так получалось, что каждый раз, если испытывал он мужское томление, бежал в тайгу, и тайга подсовывала ему (точно знала!) такую охотничью загадку, которая выматывала его до полной утраты всех сил, в том числе и мужских; и когда после, уставший и размягченный, засыпал он на нарах в зимовье, баба могла присниться с четырьмя ногами и с рогами изюбра на голове; и он уже никаких иных желаний не имел, как шлепнуть ее из обоих стволов вразнос крупной картечью.

Мудрое и великодушное властвование, которого жаждала его душа, Селиванов осуществлял по отношению к собакам. Их всегда было у него две: кобель и сука. Обученные всем таежным премудростям, прирученные ко всякому домашнему пониманию, всегда в меру кормленные и ухоженные, — они были гордостью его и источником побочного заработка. Щенки их ценились в деревнях на несколько шкурок соболей, а заявки на них Селиванов получал на две вязки вперед. Сколько бы щенков ни принесла сука, он оставлял жить не больше пяти, для сбережения славы отбирая самых крепких и здоровых. Время собачьей любви было для него праздником. Когда подходил день вязки, он забирался с собаками в самое дальнее зимовье, по делам не ходил, кормил, кобеля особенно, до отвала заранее заготовленным мясом, а утром того дня, когда все должно было свершиться, ласков к собакам был по-матерински; и все происходило на его глазах, с его одобрения и при его поощрении; когда же уставшие и довольные собаки, тяжело дыша, расстилались у его ног, он гладил их, и хвалил, и ласкал, и приговаривал что-то такое, что только очень любящие люди говорят друг другу, и то редко. Ну, а во время родов собачьих все человечество могло встать вокруг тайги, во сколько рядов получится, и уговаривать его в один голос прийти и царствовать на земле, — он бы и ухом не повел! Так, по крайней мере, он сам говорил себе вслух, сидя на корточках около рожающей суки.

И хотя человечество не вставало вокруг и ни к чему Селиванова не призывало, тем не менее оно покушалось на таежную тишину, врывалось в нее агонией своей суеты и пустоделицы.

Убили отца. Потом замахнулись на него самого, Андриана Никанорыча Селиванова, но споткнулись. Он постоял за себя. Он выжил, чем не может похвастаться кое-кто другой. И пусть пришлось хитрить, и следы заметать, и прикидываться ихним, и грех свершать тяжкий, а волю себе он все-таки выхитрил и остался как он есть — сам по себе.

Только что говорить: с годами стала нет-нет да заползать в душу тоска. Она-то и свела однажды тропы Селиванова и Рябинина в перехлест и переплет.

Упираясь камусами в снег, тащил он нынче раненого егеря в свой холодный и нежилой дом, и было у него такое чувство, что как плохо ни получилось, все оно к лучшему, и что тащит он к дому не беду, а удачу, почти добычу, о коей мечтал втайне и

домечтался. Рану рябининскую Селиванов всерьез не принимал. Что ему, бугаю такому, какая-то дырка в ноге! Но зато повязаны они будут друг с другом словом и тайной.

— Замерз али нет? — крикнул он егерю, обернувшись, но не останавливаясь.

— Тащи!

— Тащу! — радостно взвизгнул Селиванов.

До дома добраться он рассчитывал потемну, так и получилось. На всякий случай сделал крюк за огородами, чтоб не нарваться на людей. Оставив егеря на волокуше, открыл избу, зашел, зажег лампу, а затем уже вернулся за Рябининым и ахнул, увидев того на ногах.

— Отошло никак, — сказал Рябинин, делая пару шагов к крыльцу. Селиванов подскочил на всякий случай поближе, вытянув руки вперед, готовый подхватить.

— А я чего говорил? Пустяковая дырка! С ей плясать можно. Судорога у тебя была! На крыльце-то осторожней, доска сгнила...

Все-таки изрядно припадая на ногу, Рябинин поднялся на крыльцо, прошел сени ощупью. Перешагивая через высокий порог, егерь покачнулся и заскрипел зубами. Сняв с него заснеженную шубу, Селиванов провел его к кровати, усадил, осторожно стянул с раненой ноги валенок. При этом заглядывал ему в глаза и морщился, будто и сам боль испытывал. На руках его осталась кровь.

— Опять пошла. Сейчас мы ее придавим насовсем. Только теперь уж лежи и не вставай!

Раскрыл громадный, в обручах, сундук, что стоял у печки, достал тряпки, разрезал на бинты. Потом разбинтовал ногу, присыпал рану смоляной пылью, забинтовал и завязал распоротую штанину.

В доме было холодно, как на улице. От дыхания пар стелился по избе и белым туманом тянулся к лампе, которая нещадно коптила сквозь нечищеное, надтреснувшее стекло. Набросав на егеря всяких одежд, что нашлись в доме, сам, не раздеваясь даже, принялся за печь, что никак не хотела разгораться, дымила и шипела, но сдалась упорству хозяина и защелкала полусырой березой. Самовар разжегся гораздо быстрее и охотнее, хотя дыму напустил еще больше.

Изба казалась нежилой, да такой и была. Состояла всего из одной большой комнаты, с русской печью посередине, а все

прочее — громадная кровать с никелированными спинками и фигурными шишечками на них (не иначе как привезенная из самого Иркутска), стол на граненых ногах, сундук, лавка, две табуретки, комод самодельной и грубой работы и даже самовар — все это осталось от прежних хозяев. Ничего за эти годы не привнес в дом Селиванов, а, напротив, отсутствием своим лишил его души, и дом стал вроде не домом, а лишь стенами с потолком и полом да окнами, ставнями закрытыми.

— Как бродяга живешь... — угрюмо сказал Рябинин, осмотревшись вокруг.

— А я и не живу вовсе, — ничуть не обидевшись, ответил Селиванов. — Положено для порядку дом иметь — вот и имею! Говоришь, власть не признаю? Власть не признавать — это что сс... против ветру! Хочет она, чтоб я приписан был, так чего ж, это я могу!

— Тайга тайгой, — с сомнением ответил Рябинин, — а дом домом. Дома не эта власть придумала! В тайге насовсем только зверь жить может.

— А я и есть зверь! — захихикал Селиванов, подбрасывая в печку дрова, щурясь от пламени и греясь в нем. — Ты видел когда-нибудь, чтоб медведь медведя насмерть драл? И я не видел. А вот в Рябиновке болтают, что твой батя против своих сыновей воевал. Может, друг друга и положили в землю... Так чего ж про зверя говорить. У него закон есть, и против этого закону зверь — и захоти — пойти не может, потому как само его нутро по этому закону сотворено, а против нутра не попрешь! А у человека что? Он — сам по себе, закон — сам по себе, каждый норовит свой закон установить. По мне, так пусть бы лучше меня промеж зверей прописали.

Рябинин усмехнулся.

— Ты б тогда царем зверей был!

— И то! — охотно согласился Селиванов.

Ухватившись за ржавое кольцо, он рывком открыл подполье, некоторое время всматривался в его темноту, потом, пружиня локтями, спустился и долго шебаршил там и кряхтел. Над полом появилась его рука с бутылью, потом она же — с банкой, по горлу тряпкой перевязанной, потом возник ломоть сала, не менее восьми фунтов весом, и лишь напоследок обозначилось довольно ухмыляющееся лицо Селиванова.

— Жить не живу, но заначку всегда имею!

Когда в доме стало теплей и уютнее, на расставленных у кровати табуретах они трапезничали, согревшиеся и даже разогревшиеся от перестойного самогона; и никто, взглянув на них в эти минуты, не поверил бы, что всего лишь несколько часов назад были они лютыми врагами, палили друг в друга из ружей и кровь одного из них пролилась на белый таежный снег. Правда, Рябинин был хмур, в голосе держался холод и в глазах, при свете коптившей лампы, нет-нет да вспыхивали гневные огни. Но Селиванов каждый раз беззащитно и простодушно вглядывался в них, и они притухали, уходя вглубь, и холод таял усмешкой. И хоть усмешке и хотелось быть обидной для собеседника, да не получалась таковой, потому что собеседник охотно принимал ее как должное, и даже радовался ей, понимая ее как свою победу, как удачу, ибо разве это не удача, не чудо — получить друга через кровь его! Никакой самый тонкий замысел о дружбе с Иваном Рябининым не мог бы получить такой оборот. А теперь у Селиванова была радостная убежденность, что все свершилось: егерь никуда от него не денется, весь принадлежит ему, потому что он хитрее этого молчуна-бугая и не выпустит его, не утолив своей тоски по другу.

От этой уверенности переполнялся Селиванов желанием не просто услужить Рябинину чем-либо, но быть ему рабом и лакеем, стирать исподнее или загонять зверя под его стволы вместо собаки; он просто горел страстью выложиться до последнего вздоха в какой-нибудь баламутной прихоти егеря. Скажи тот ему сбегать на участок и принести снегу с крыши зимовья, чтобы лишь раз языком лизнуть, — побежал бы радостно, помчался, это ему по силам, баловство такое! Но знал Селиванов, что всегда будет иметь верх над егерем. Словно сильного и благородного зверя к дружбе приручал, а сам обручился с силой его и благородством. Сознавая корысть свою, совестью не терзался, потому что готов был оплатить ее всем, что выдал ему Бог по рождению и что выпало ему по удаче.

— Шибко полезным я могу тебе быть, Иван! — говорил он с откровенной хвастливостью.

— Нужна мне твоя польза, как косому грабли! — отвечал Рябинин тем тоном, который потом уже навсегда установился в его голосе по отношению к Селиванову и который тот принимал и даже поощрял, чтоб сохранить в егере уверенность в независимости и превосходстве.

— Э-э-э! Не торопься! Мужики, к примеру, тебя вокруг носу водят. А как я тебе все их подлости покажу, они козлами завоют!

— Ишь ты! — презрительно ухмыльнулся Иван. — Мужиков не любишь! Чем они тебе помешали, что давить их хочешь?

— Мне, Ваня, никто помешать не может! Только презираю я их. Ни смелости в их нету, ни хитрости — покорство одно да ловчение заячье! Им хомут покажи, а они уж и шеи вытягивают, и морды у них сразу лошадиные становятся! А власть нынешняя — как раз по им. Она, власть-то, знает, какой ей можно быть и при каком мужике, где руки в ладошки, а где и пальцы врастопырь!

— Ты кончай про власть! Не твоего ума дело. А что про мужиков, так ты-то чем лучше? Чего бахвалишься?

Они пили чай смородинный и прикусывали сахар, наколотый селивановским ножом. Селиванов еще косился на недопитый самогон, но егерь интересу более не проявлял, и пришлось себя сдерживать. А способен был Селиванов в тот вечер не у одной бутылки донышко засветить и умом не замешкаться. Накопилось у него в жизни много чего, чем похвалиться можно, да опасная та похвальба была бы, а нетерпение шибче, и вот еще б самогончику для пущего разгону.

— Ты, Ваня, карту смотрел, которая всю нынешнюю власть показывает? Нет? А я видел в сельсовете! Таких, как наша тайга, тыщу раз в ряд уложится! Во сколько завоевали! Какие армии вдрызь разбились об эту власть, сам знаешь! — Хитро прищурился Селиванов, словно к прыжку отчаянному готовился. — Нда... А вот Чехардак, Ваня, всего промеж трех грив размещается, его-то не смогли завоевать...

Он держал кружку с чаем у губ, но не пил, а хитро и многозначительно смотрел на Рябинина.

— Чего?

— Не смогли, говорю, отступились! А ведь, кажись, базу хотели ставить, мужиков понагнали с пилами и топорами! И что?

— Это ты про банду?

Селиванов просто трясся от нетерпения.

— Не было там банды, Ваня! Банда что есть? Дюжина глупых мужиков-хомутников! Для власти — это орешки! Для власти, Вань, это хлеб с маслом, когда мужики в кучу собираются; кучей-то они еще глупее, власть на кучах собаку съела! Будь она умней, так указ бы издала, чтоб мужики не иначе как по дюжине вместе

спали и ели. А вот ежели один, да умишком не худ... Это как мелкая рыбешка: в крупный невод как ни заводи — все пусто!

Рябинин в изумлении поднялся на локтях, вся хмурость с лица спала, ногой раненой шевельнул и боли не почувствовал.

— Неужто ты?!

Селиванов сиял.

— Один?!

— Угу, — отвечал Селиванов.

— Ежели не врешь, знаешь, куда тебя надо за такое дело!

В голосе Рябинина было больше изумления и сомнения, чем угрозы, но Селиванов затрепетал, а остановиться уже не мог.

— Ясное дело, куда — к стенке! Только загвоздочка имеется: у власти тоже своя гордость есть. Думаешь, легко ей будет поверить, что такой мужичишка, как я, ей поперек тропы стал? Доказательства захочет! А где они? Сколько там, в канцеляриях, поди, бумаг про то исписали: дескать, банда такая-сякая, да вдруг ты меня за воротник притащишь! А ежели примут твой наговор, так одна власть другую не то что на смех подымет, а и к ответу призовет!

— Врешь ты все, Селиванов! Трепло ты, не может того быть, чтоб один...

Иван рассматривал Селиванова в упор, словно примерял к тем делам, что сотворились на таежном участке — Чехардаке — несколько лет назад и столько разного пересуду вызвали в народе.

А Селиванов закатился мелким смешком.

— Ага, вот и ты верить не хочешь. Завидно тебе! Ведь тремя пальцами из кулака покалечить меня можешь, да вдруг такое! А власти-то, ей, думаешь, легче поверить? Вот если ты еще, кроме меня, полдеревни назовешь, да самого себя туда же, вот тогда она всех в землю положит и совестью спокойная будет!

— Неужто ты? — растерянно пробормотал Рябинин.

— Знаешь, если как перед Богом, то, конечно, если ты донос сделаешь, то хоть и не поверят, а изведут меня как бы впрозапас. Только не сделаешь ты доноса, не такой ты человек, а расскажу я тебе все как на духу, и, может, по-другому на это дело посмотришь. Только давай еще хлебанем по маленькой, а?

— После чаю только свинья хлебает! — угрюмо ответил Рябинин.

Селиванов схватил с табурета отгрызенный кусок сала, поднял его перед глазами.

— А чего свинья? Свинья — это сало, по-хохляцки — шпик значит. Так я того, похрюкаю... Хрю... Хрю... Ха... Ха... да хлебану, да свиньей же и закушу!

Пока он хрюкал, наливал, пил, закусывал, кривляясь и гримасничая, Иван глядел на него исподлобья и мучался от того, что никак не мог свои мысли к порядку призвать, к тому же нога затекла...

— Я тебе чайку еще сделаю, — предложил Селиванов, дожевывая сало.

Иван не возражал.

— Если по совести опять же, не решился б я на такое дело, если б не оказия... В папаню моего все это дело клином упирается. — Почесал в затылке. — Ты пей, Ваня, чай тебе сейчас как лекарство! Это, значит, как было. Стояли мы с батей тогда, в двадцатом, в этой, в Широкой пади. Под осень уже дело было... Батя-то мой и от красных и от белых отмахался и меня уберег. Пущай, говорил, они бьются промеж собой, а наша правда — третья. Так вот и говорил — третья! Ничего был мужик, ага. В тот день, помню, солонцы мы с ним новые мастерили; только к зимовью вернулись, вдруг собаки — в лай. Чихнуть не успели, а нам в рожи со всех сторон винты! Белые, стало быть! «Кто такие?! — орут. — Партизаны? Красные?» Я — в сопли, батя тоже ростом присел. Требуют, значит, дорогу на Иркутск, к монголам уходить... С Широкой, сам знаешь, любой ручей туда выводит... Чужие, значит, тайги не знают... Батя, когда языком справился, говорит им: «Любой тропой идите — на Иркут придете!» Подходит вдруг такой высокий, с усами, самый главный из них, смотрит на моего отца, как подраненная лосиха, и говорит: «Нам надо за большой порог кратчайшим путем и до темноты. Выведешь... — тут он оглянулся, подозвал мальчишку-офицера, приказал чего-то. — Выведешь, — говорит, — вот это будет твое! Не выведешь — расстреляю!» — Селиванов поднялся, подошел к стене, снял ружье. — Вот это самое ружье и показал бате. У того так глаза и забегали. Через час, — говорит, — за порогом будете, ваше благородие! Главный в меня пальцем ткнул: «Сын? От мобилизации прятал?» Батя ему то да се. Он махнул рукой. «Сын с тобой пойдет! Обманешь — обоих расстреляю». Вывели мы их на порог Березовой падью. Я от страху чуть не помер. Шлепнут, думал, чего им, дело привычное! Ан нет! Пришли. Главный ружье бате в лапы. «Пошел, — говорит, — назад!» Назад шли — пулю в спину ждали... Обошлось! К зимовью пришли потемну. Батя полночи с ружьем этим обнимал-

ся. — Селиванов погладил ложе, провел ладонью по стволам. — Барское ружье! Ишь чего, серебро раскидали, баловство! А батя того и обнимался с ним, что знал будто, что попользоваться не придется... Утром только проснулись, за окнами — собаки... И снова нам винты в рожи. Красные, значит. За теми, белыми... Опять же главный батю за грудки, пистолет в зубы. «Где белые?» Батя трясется. «Не знаю», — говорит по глупости мужицкой. А следов-то вокруг! Папироски офицерские... Выволокли нас на свет Божий... Звездачей вдвое больше, чем белых. Главный в кожанке, глаза опухшие, губы синие — как упырь. Батю трясет, ругается... А мне бугай (вроде тебя) руку вывернул наизнанку и тоже чего-то требует. И повели мы их, значит, за белыми той же самой тропой. А белые за порогом заночевать собирались. Я при случае шепнул бате, дескать, постреляют нас первыми, что те, что другие. Батя молчит, а потом шепнул мне тоже кое-что... — Селиванов отнес ружье на место и, уже не спрашивая Ивана, плеснул в кружку самогон. Глаза его блестели, руки тряслись. — На Березовой, знаешь, когда к последнему повороту выходишь, обрыв по леву руку... черемушник там...

Иван кивнул.

— С этого места весь порог просматривается. Они-то ничего не увидели, красные, а мы с батей видим, там они еще. Батя тут меня под локоть, и мы с ним с обрыва и сиганули. Ей-богу, Ваня, сегодня, когда мой камус за ветку зацепился и я мордой в снег ткнулся, а ты по следу... Два раза в жизни я такой страх имел... До самого низу батя молча бежал, а когда уже ушли, почитай, батя вдруг как заорет: «Попали, ой, попали!» Я к нему. А он стоит на коленях и орет, и ружье дареное обнимает. Потом упал. Промеж лопаток ему пуля вошла. Вот и пер я тогда его по гривам в обход Березовой пади. Мертвого пер. Нет чтоб остановиться да дых послушать... Дурной был. Аж до Листвяной пади пер, чуешь, сколько! Там у нас с им тоже зимовьюха хреновенькая стояла. Там и похоронил... — Селиванов приумолк, грустноватыми глазами покосился на лампу. — Ни хрена не светит! Все стекло закоптилось. Ну вот. Продал я дом батин... Ну, это не к делу и тебе без интересу. Потом кооператив стали сгонять. А потом решили, значит, базу делать. И нашелся же такой сукин сын, что Чехардак посоветовал! Я бы...

— Сам ты сукин сын! — огрызнулся Рябинин. — Я это дело подсказал. Самое удобное место для базы...

Селиванов выпучил глаза.

— Ты!

— Ну, я! Если дело делать, то Чехардак самое место! И не жалею, что сказал!

— Ты! — снова ахнул Селиванов. — Дело? Да какое, Ваня, дело? Тайгу поганить — это дело?

— Чего обязательно поганить! Нужен в тайге продовольственный запас, чтоб не бегать по сезону за жратвой.

— Эх, Ваня! — покачал головой Селиванов. — На три года ты всего меня моложе, а мозгой — на десять лет...

— Ты зато больно умный!

— А ты глядел, как эта база строилась?

— Не мое дело — глядеть. Ну, был я поначалу, когда место искали...

— Ты вот, Ваня, в Бога-то, поди, не веришь? А я хоть тоже не шибко, но иногда думаю: впрямь Он есть. Если б тогда я знал, что это ты... И перекреститься не грех! — Закатив глаза, Селиванов перекрестился и покачал удрученно головой. — Понагнали мужиков-хомутников. Какие безобразия они учинять принялись — я тебе все рассказывать не буду, чтоб совесть твою не тормошить, потому что я ее, эту совесть, своим грехом погасил с избытком...

— Ты мою совесть не трожь, лучше свою поковыряй, там, поди, черноты, что на головешке!

Рябинин захотел переменить позу, заворочался. Селиванов подскочил к нему, начал пособлять осторожно и толково.

— Затекла нога?

— Есть малость.

Селиванов взбил повыше и положил подушку, стянул с гвоздя свой полушубок, ощупал, не мокрый ли, и тоже сунул Ивану под голову. Тот откинулся на спинку и жестом остановил все еще суетившегося Селиванова. Тот лег на скамью, под голову руки подложил.

— Так вот. Где ты им место указал, там поблизости были у меня самые лучшие козьи загоны... А в версте от того места — зимовье, да такое, что справнее иной избы! Ну, пришли мужики! Был там среди них один губастый с зубами стальными, от ж... до шеи всякой дрянью расписанный... А я, значит, от кооператива будто на ту базу сторожем определился. Я ж на Чехардак с другого конца заходил, со своей деревни Атаманихи. А как дом продал, вообще без дома жил, зимой и летом в тайге. К одной бабке забегал два-три раза в сезон. А когда в Лучихе кооператив согнали и тайгу за ним закрепили, я туда подался, буд-

то вообще человек новый, на Чехардак будто случайно напросился. А на базу, значит, сторожем.

Так вот этот, который расписанный и с железом во рту, он меня им жратву варить заставил... Чуть чего — сапогом под зад. Да не в том дело! Вечером костер разжигали, галдели песнями похабными, а потом всех вокруг костра расставлял и велел сс...ть в костер, чтоб погасить, значит! Вань, ты такое безобразие вытерпел бы?! А потом еще чего... Находил дерево, чтоб под ним муравейник был, то дерево велел свалить, залазил на пень и гадил в муравейник и ржал, как муравьи от его дерьма подыхали! А потом решил он, Ваня, учинить надо мной такое, о чем я тебе и рассказывать не могу! Если б это случилось, утром повесился бы! Сбегал я вечером в Березовую падь, поймал там гадюку (они только там и водятся) и подкинул ему, когда он на мху дрых. Она ему в руку, выше локтя, стукнула. К утру подох. Мужики перепугались и вон из тайги. Я было обрадовался, да через два дня все они вернулись, а с ними новый их начальник... И кто, ты думаешь? А вот тот самый, что за главного у красных был, когда мы с батей им тропу показывали. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был, да глаз у того острый. Стал он на меня коситься... И понял я, что уходить надо. А куда ж уходить из своих мест?

После к нему приехали еще какие-то, не мужики уже, а из новой власти, как я понял. С ружьями. Пальба началась вокруг. Били, что на глаз попадает, и все в сторону зимовья моего шастали. Вот тогда, Ваня, и объявил я им войну не на жизнь, а на смерть. — Последнюю фразу Селиванов произнес торжественно, но тут же ехидно ухмыльнулся. — На ихнюю смерть, потому что до моей смерти у них была кишка тонка! И вот теперь, Ваня, я открою тебе свой великий секрет. — Тут Селиванов поднялся со скамьи, подсел ближе к Рябинину, наклонился к нему и заговорил почти полушепотом: — Если стать спиной к тому бараку, что строить начали, то что впереди глаз будет, помнишь?

— Гора вроде...

— Во! А если пойти по тропе от той базы на выход, тропа куда сворачивает? Это помнишь?

— Направо, кажись...

Селиванов довольно хихикнул. Рябинина это рассердило, но он не подал виду, интересен был рассказ.

— А если, Ваня, верст пять топать от базы, что по леву руку будет?

Тут Рябинин ответил быстро:

— Ну скала.

— Память у тебя, Ваня, как золото червоное! Точно, скала! А какая?

— Ну чего пристал! Обыкновенная скала, говори дело!

— Да это же и есть самое дело! Это, Ваня, та самая скала, что против базы гора!

— Чего мелешь-то! — зарычал Рябинин.

Селиванов сиял, как тот бок самовара, что отсвечивал лампой.

— В том-то и хитрость, что тропа от базы направо сворачивает круто, потому как там завал каменный в двух местах, а влево забирает чуть-чуть, то на шаг, а то и менее, зато все пять верст! И получается, что тропа та дает круг и за гору заходит, где она скалой смотрится! Эту тайну мне батя открыл. Когда выйти из тайги надо было налегке, прямым ходом вчетверо короче. Круто шибко, особенно когда на тропу спускаешься с той стороны, зато быстро! Дырка твоя заживет, я тебе этот фокус в натуре покажу! — Селиванов довольно хлопнул по коленкам. — И что же я сделал, Ваня! Батя мой запасливый был, приберег на Гологоре винтовочку с Гражданской да пару лент, что вояки крестом по пузу носили. Гологор далековато, но ничего, я сбегал, принес винтовочку, запрятал на вершинке. Около базы себе балаган построил стенкой к горе, чтоб сквозь стенку пролезть можно было тайно. И чего? Ждал! Герои настрелялись, мяса загрузили на лошадей, сам навьючивать помогал. А перед тем, как отбыть им, водой решил напоить их, дружков милых, чтоб жаждой не мучались! Да вот оступился... — Селиванов подмигнул. — Да и угодил в ручей со всей одежкой! Стреляки посмеялись надо мной и в путь тронулись, а наш главный их провожать поехал. Когда ушли, я при всем народе одежу снял свою, по кустам развесил и в одном исподнем в балаган залез, дескать, подремать. Сам через стенку, чащей да на горку. Как на крылышках взлетел, еще и ждать пришлось! Озяб. Гляжу — едут, руки в боки, языками чешут. Приложился я — не близко это было, напрямую шагов сотни полторы, — и как этот герой в кожанке мне грудью показался, я его и шлепнул. Он, Ваня, как мешок с дерьмом с седла вылетел! Я винтовочку в потайное место да вниз! Поцарапался, правда, страх как! Вылез из балагана, поеживаюсь, одежу сырую одеваю, давай мужикам в деле помогать... Через час они вертаются с трупом! Ну и началось. Один начальник страшнее другого приезжает, нюхает, по тайге с помощниками шарятся, а как домой вертаться, я на горку и —

шлеп! Да самого главного! Потом, помнишь сам, целый отряд заявился, всю тайгу перековыряли, а уходили, я опять главного — шлеп!

Селиванов закатился смехом. Рябинин смотрел на него, как на сумасшедшего, широко раскрытыми глазами.

— Вот только этого последнего я мазанул, руку ему левую оттяпал, он теперь в Слюдянке судьей служит... И чего? Закрыли базу, Ваня! Я будто тоже испугался, перешел будто на Ледянку, а это же рукой подать до Чехардака! А туда носа никто не кажет. Потом, правда, еще ходили отряды, и слышал, поди, слух пустили, будто поймали кого-то... Я их не трогал... Вот она какая, моя история, Ваня, вся как есть! Будешь доносить али как?

Не без волнения задал этот вопрос Селиванов, хотя все еще сиял от радости исповеди.

— Темный ты человек! — угрюмо проговорил Рябинин, но было в его голосе что-то очень похожее на уважение, или, может быть, страх почувствовал он перед мужичишкой, которого час назад сморчком почитал. — По закону надо тебя, конечно, за глотку брать, потому что ты власти враг...

— Нет, Ваня, — заспешил Селиванов. — Это — моя тайга, и твоя, и других, наша правда — третья промеж их правд. Я к им со своей правдой не лез, против их закону не шел! По их закону что сказано? Все для мужика! А что с того закона мужик имеет?

— Чего это ты за мужиков болеть начал? Сам мечтаешь им на горло наступить, — съязвил Рябинин.

— Ты все мои слова на веру не бери! Зол я на мужиков за хомутность ихнюю! Будь они рылом позлее, так ведь любую власть в свою пользу поправить можно! Разве не так?

— Если всякий будет власть поправлять...

— Не! — замахал руками Селиванов. — Я по тайге иду, по сосняку, положим, гляжу, под сосной березка растет, а через лето от ее только прутик сухой. Чего это? А не положено березке в сосняке расти! И нигде это не записано, а само по себе! И ежели живут мужики, так закон меж их сам установляется! Я на твои солонцы идти не моги, и все! Это закон! А кто его писал? Никто! А когда он стал? Того и мой дед, поди, не помнил! Ежели ты дом ставишь, то у моего дома дерево валить не будешь, и мысли такой не придет. Это закон! И чтоб его блюсти, звездача с револьвером на брюхе не требуется! А коли закон такой, что ему соблюдаться нет мочи без револьвера, так он всем, кроме револьвера, поперек! Ты, Ваня, думаешь, что я звездачей со

скалы шлепал из озорства или по лютости? А коли хошь знать, я каждый раз мозгу до ломоты доводил, чтобы свою правду понять в ясности!

— Убиец ты, вот и вся твоя правда!

На Селиванова, казалось, нападало отчаяние. Он уже не говорил, а кричал. По избе начал бегать. Лавка стояла поперек, и он каждый раз перешагивал через нее, кидаясь от одного угла к другому. Рябинин хмуро уставился в спинку кровати, но при всей нахмуренности на его лице были растерянность и тревога.

— Почему это я убиец? — кричал Селиванов. — А на войне все... — он махнул рукой, — они кого, зайцев убивали? И никто их убийцами не называет! А кто больше всех убил, им власть и почет!

— Дурак! — взревел Иван. — Это ж война!

— Я дурак? — досадно замотал головой Селиванов, словно жалуясь кому-то, кто мог быть за печкой. — А война-то отчего бывает?! Один царь другого в карты надул, а другой ему в отместку соплями камзол измазал! Потом взяли и напустили своих солдат друг на дружку. Солдаты друг другу кишки выпустили! Который царь без солдат остался, тот повинился! И вся война!

— Дурак ты и есть! — подтвердил Рябинин. — В эту войну народ с царем дрался за правду, а ты в тайге прятался!

— Сам ты дурак! — подскочил к нему Селиванов. — Твой отец с твоими братьями воевал! Где написана такая правда, чтоб отцу с сыновьями воевать?!

— Не тронь моих, гад, зашибу!

Рябинин приподнялся, сжав кулаки, готовый вскочить с кровати.

— Зашиби! — кричал, почти визжал Селиванов. Ногой лягнул скамью, чтоб не мешала. Скамья опрокинулась, опрокинула за собой оба табурета. Вдребезги разлетелась бутыль с остатками самогона. Кружки, звеня, покатились по полу. — А за что меня зашибешь-то? За правду? — Селиванов был похож на маленькую собачонку, что нацелилась на быка острыми, мелкими зубками. — Пусть моя правда нечистая! А твоя-то где? В чем твоя правда? Я звездачей со скалы шлепал, так это я им войну объявил за то, что они мою правду обгадили! Я тоже имею право войну объявлять! И каждый имеет право, если жизни нету! Убиец тот, кто жизни лишает, чтоб чужое иметь! А я за свое! А мужики? Что им с той правды, за какую друг другу мозги вышибали!

— Одно знаю, — отступая, сказал Рябинин, — для власти ты враг, и дел с тобой никаких иметь не хочу!

— Во заладил! — в отчаянии развел руками Селиванов. — Не враг я власти! *Она* мне враг!

Рябинин молча повернулся спиной и больше не сказал ни слова. Селиванов пометался еще по избе и улегся спать, кряхтя и вздыхая.

Утром проснулся засветло. Затопил печь, принес свежей воды из колодца, поставил самовар, прибрал в избе. Все это делал, поглядывая в сторону спящего егеря. Когда тот проснулся и зашевелился, спросил его о ноге. Перевязал, похвалил кровь, что хорошо скрутилась на ранах, напоил Ивана чаем.

Тот долго молчал. Потом его взгляд будто случайно упал на ружье Селиванова, что висело на гвозде у двери.

— Добрая штука! — сказал Рябинин и, кашлянув, громко добавил: — В общем, я ничего про твои дела не слышал!

— Правильно! — радостно подхватил Селиванов. — Мы вчера с тобой самогону перебрали, а с его, дурного, чего язык не намелет! И вся история! Лежи. Пойду собак посмотрю, не брал их нынче, у соседей в стайке уже неделю живут. Отощали небось!

Вот так это было. Только история была не вся, история еще только начиналась...

3

Сидя на березовой колоде вблизи старого рябининского дома, старик Селиванов, если бы он вспоминал о прошлом действительно в той подробности и последовательности, как это было только что рассказано, мог бы так и сказать: «История только начиналась».

Но он не вспоминал ни о чем в этот поздний час, хотя, несомненно, думы его были о прошлом, и это прошлое в каком-то смысле было воспоминанием. Какие-то сцены, возможно, зримо возникали в сознании, звучали голоса, и свой голос, который всю жизнь не любил он из-за неуправляемой склонности к визгу. Но, может быть, он вовсе и не видел и не слышал ничего, а просто не решался приблизиться к порогу рябининского дома. И, оттягивая решение, думал о постороннем или совсем ни о чем, как это умеют делать только старики...

Это было в... ну, в каком это было году, не важно. Была середина лета, самое доброе время года, самое пустое время для

охотника. Селиванов целыми днями изнывал от тоски и лишь забавы ради мотался по тайге с Иваном Рябининым, пугая браконьеров и всяких случайных людишек с ружьем, способных ухлопать копылуху, прячущую своих глухарят в черничнике, или перешлепать цыплят рябчика, когда они морковками рассаживаются на березах. Таскал он и соль на солонцы егеревы, и сено косил для изюбрей, и зимовье чинил.

Вот однажды, проторчав несколько дней на Чехардаке, дотянул до того, что и сам, и собаки животы подтянули к позвоночникам. К середине дня, по самой жаре, доплелся до Рябиновки и прямым ходом завалился в сельпо.

Еще когда подходил к магазину, увидел в стороне у забора незнакомого человека. Еще тогда усек его глазом, и если не было предчувствия, то ведь зацепился же глаз, не просто скользнул...

В магазине покалякал с продавщицей, еды набрал в мешок, перекусил малость и собакам, что ворвались в магазин, тоже по горбухе подкинул. Потом еще собаками хвалился перед мужиками, что тоже торчали там от безделья. Час прошел, не меньше. Забыл ли о том человеке? Забыл, пожалуй. Но зато когда выходил, сразу стрельнул в сторону забора, и теперь уже екнуло сердчишко. Там было двое: тот же, и с ним высокий, молодой, угрюмый... Смотрели они на Селиванова прямо, взглядов своих не тая, хотя про что взгляды были, не поймешь. Шел до рябининского дома и не меньше десяти раз оглянулся. Никого. За ним не пошли... Но смотрели же! Теперь Селиванову казалось, что знакомо ему лицо одного из них, а может и обоих...

Страх бил куда-то под коленки, ноги подгибались и подволакивались. Он молил Бога, чтоб Иван оказался дома, с Иваном ему сам черт не страшен...

Еще от калитки увидел, что дом на замке, и снова оглянулся. Не открывая дверей, он бегом прошарил сарай, нашел цепь и веревку, привязал собак у крыльца. Да что собаки! Не сторожевую цену они имели. Разве только робкого удержат, а понимающий по холкам потреплет и далее пойдет. Охотничьи собаки. Зимовье сторожить могут, а дому они цену не знают, это все равно, что к любому забору привязать...

С крыльца, подтягиваясь на носках, высматривал через плетень дорогу от деревни, и лишь после того отпер замок, а войдя, заложил сенную дверь на запор. Другая запора не имела, но он вдруг сообразил, что ежели захотят посчитаться с ним мужики

за какие-нибудь егеревские дела, в дом не пойдут, а будут потемну караулить или по дороге в тайгу высмотрят. Тогда не беда! Он дождется Ивана, а до его прихода носу не высунет.

Ставни были закрыты, но щели пропускали свет и даже солнце с южной стороны, так что, немного присмотревшись, он прошел в горницу, зажег лампу и перезарядил ружье картечью в оба ствола. Сел наконец на табурет, смахнул фуражку с головы в угол.

Что-то еще тревожило Селиванова, будто не усек чего-то важного, тревожного... А что, если чека! Вдруг разузнали о его делишках на Чехардаке! И верно, те двое на мужиков не очень-то походили, больше на военных... И сапоги на них, вспомнил вдруг, вроде бы и обычные, да голяшки уж больно прямо... больно в обтяжку... А из-под фуфайки у одного-то уж не френч ли проглядывал?..

Такой оборот дела был пострашней мужицкой мести. И тогда Иван — не заступник, а ежели на него нажмут, так как бы и не проговорился! Тогда, значит, что? Тогда надо в тайгу бежать, да тотчас же, да не тропой!

Он заметался по дому, охая и ахая, даже икать вдруг начал. Искал фуражку — нашел ее наконец. Разрядил и снова зарядил ружье. Потом скинул с места крышку подполья, схватил сала кусок на полпуда, пару банок и выпрыгнул наверх зайцем. Сунулся в буфет, выгреб оттуда все, что было, в мешок, затянул его и закинул за плечи.

В сени вышел, не скрипнув дверью, долго пялился глазом в сквозное отверстие в сенной двери и, никого не увидев, выглянул наружу. Собаки заметались у крыльца; запрыгали, заскулили. Когда закрывал дверь, ключ прятал, собак отвязывал, все время зыркал вокруг, и немного успокоился. Значит, правильно решил — надо уходить сразу, а там уж разыскать Ивана и через него узнать, что к чему.

Собаки радостно вылетели за калитку. И когда Селиванов закрывал ее, одновременно за спиной услышал шаги и голос.

— Андрей Никанорыч, если не ошибаюсь...

Это был один из тех двоих, и точно, из-под фуфайки выглядывал френч, правда, изрядно поношенный...

«Шлепнуть и бежать!» — была первая мысль у Селиванова, но другая пришла трезвее: не успеть ружья с плеча сдернуть! Мысленно простонав: «Ой, пропал!», Селиванов притворно закашлялся, чтобы перевести дух для разговору.

Собаки, сделав круг по ближайшему рябиннику, вернулись и закрутились у ног. Человек боязливо покосился на них и спросил:

— Не кусаются?

«Не чекист! — облегченно вздохнул Селиванов. — Тот если б испугался, спрашивать не стал — пристрелил бы. И не мужик! Самый глупый мужик в собаках толк имеет».

— На то им и пасти дадены, чтоб кусаться! — ответил он незнакомцу, уже спокойнее приглядываясь к нему; и высмотрел одно движение руки, такое ни с чем не спутаешь: наган за пазухой! А все равно не чекист! Это точно! К тому же молодой совсем! Это по хмурости на морде сразу-то не приметил! Совсем парень еще!

— Дело у меня к вам, Андрей Никанорыч...

Селиванов кашлянул и не без важности ответил:

— Я прозываюсь не Андреем, потому как в день моего на свет появления в святцах святого такого не имелось, а прозываюсь я Андрияном. Хоть глупое имя, да мое. А дело-то про что у тебя?

Ох, как осмелел он, даже на «ты» перешел, и нутро все смеялось над недавними страхами. А что у этого в грудях револьвер, так эдаких Селиванов сколько за все годы перевидал!

— С вами хочет поговорить один человек... Мы сейчас к нему пойдем...

— Если кому я нужен, пусть сам приходит... — начал было Селиванов, но вдруг все изменилось. Пока человек стоял от него в трех-четырех шагах, даже в полутора, был он просто человек, и все. Но вдруг подступил к нему и оказался на голову, а то и более выше. И лицо его сменилось, будто маску скинул. Как всегда бывало в таких случаях, Селиванов сразу почувствовал себя маленьким и жалким; и спасовал, как всегда пасовал перед сильными и наглыми.

— Мне плевать, как тебя зовут, понял! — раздельно и внятно процедил сквозь зубы незнакомец. — Мне сказано: привести тебя, и я приведу, а если надо будет, то и дробовик твой об тебя обломаю!

Селиванов съежился, подумал с тоской об Иване, со злобой — о собаках, что путались без толку под ногами, и спросил покорно:

— Куды идти-то?

И хотя незнакомец сделал очень неопределенный жест рукой, Селиванов догадался, что пойдут они низовым рябинни-

ком, в обход деревни, куда-то к другому ее концу. «Эх, был бы Иван, по-другому поговорили бы! — шел и думал он. — Или собаки: сказать бы им «фас», чтоб одна за глотку, а вторая за ж...! Покрутился бы герой! А может, изловчиться и хлопнуть?»

Но сам знал — пустое дело, не получится... Да была еще надежда, что ничего страшного не случится! Кому-то нужен он. Кому — уже догадывался. Значит, не всех еще звездачи извели. Но мысль эта радости большой не доставила. Пустое все это дело... Пуля против нынешней власти слаба, а власть ею крепка! И загадка эта таким вот молодцам не под силу, погуляют и слягут где-нибудь без славы и пользы, только людям хлопоты. Да и какое ему дело до всего этого? Он живет по себе, по своему интересу. Такое уж место ему в жизни выпало, что на него лапу наложить непросто, да и сам он не промах, постоять за себя может!

Но тут вот, на этом месте, схватил Селиванов за хвостик маленького червячка, что похабным рылом своим пробуравил его самоуверенность.

А ведь мог бы этот, за спиной, оказаться чекистом? Мог! Ведь подумал же сначала. Значит, и ранее такую мысль имел в душе, да только в слова ее не допускал. Стало быть, и он, Селиванов, под Богом ходит! Ходит себе и ходит, а где-то, может быть, вылупляется из протухшего яйца беда про него. По крайней мере, кто поручится, что не поджидает его на какой-нибудь тропе колодина, об которую переломать ему ноги...

Между тем шли они действительно нижним рябинником в обход деревни, и тот, сзади, ни разу не поправил Селиванова, дескать, вправо или влево идти. Так куда ж его ведут? Он припомнил по каждому дому весь тот конец деревни и решил, что идут они не иначе как в дом к тетке Светличной, что стоял в глубине рябинника, чуть в стороне от самой улицы. «Ишь ты, кликуша конопатая!» — подумал не без уважения об этой женщине Селиванов. И, странное дело, подумал как о союзнике, которого ранее не разглядел.

Когда он уверенно свернул налево и прошел шагов полста в том направлении, вдруг был схвачен за воротник, да так крепко, что рубаха горло перехватила.

— Откуда знаешь, как идти надо?

Селиванов захрипел (притворно, конечно), а когда был отпущен, упал на землю, схватившись за горло и закатив глаза.

— Ты чего? — испуганно спросил парень, наклонившись к нему.

— Горло ты поломал мне, бугай мордастый! — прохрипел Селиванов, выкатывая глаза на лоб. — Воды дай, скорее, а то помру щас!

— Воды? — растерянно завертел тот головой.

Ох, как знал в себе Селиванов эту неудержимую удаль, что порождалась неизвестно от чего в его хлипком теле! Уж как она тогда сотрясала его изнутри лихорадкой риска! И ничего с собой поделать не мог, когда накатывало такое, потому что было оно сильнее всякого хмеля, что вливает в себя иной, чтобы дерзость в душе познать.

— Воды! — хрипел он. — Вон за тем кустом родничок...

Длинный парень заметался.

— Руки вверх! — завизжал Селиванов через минуту: уже на ногах, и с бойком на взводе. — Вверх руки, г...о коровье, не то разнесу по перышку!

Ну зачем ему это надо было? Ведь пять шагов назад и не помышлял ни о чем таком. Само пришло! В ногах — страх козлиный, душа рвется почудачить...

Парню перекосило рот, но руки поднял, хоть и не высоко, а длиннее стал будто вдвое. Зубы оскалены, в глазах — не приведи Господь!

«Может, шлепнуть, и дело с концом?» — была мыслишка. Но здесь найдут его, дело заведется — не обойдется! Да и любопытство разъедало Селиванова насчет всего этого. Кому он нужен и зачем?

— Тебе чего приказано было? Чтоб меня привести! А за глотку хватать было велено али нет?

Парень стоял и зло сопел — явно искал выход. И такая решимость была в его, как ночь, черных зенках, что Селиванов понял — либо шлепнуть надо, либо сворачивать дело.

— Мы тоже не пальцами деланы! — сказал он хвастливо и почувствовал себя удовлетворенным. — Я и сам понимаю, что ежели кому во мне нужда есть, стало быть, идти надо! А куда идти, это, браток, сообразить не хитро! Тетка Светличная единственно одна живет в том конце, да подход к ей с этого рябинника самый скрытный.

Дальше хоть и говорил тем же голосом, но в коленках маету чувствовал изрядную.

— Ты того, рога-то из глаз убери! Пошутковал я! Да за пушку не хватайся, не понадобится!

Он опустил ружье, парень опустил руки.

— Пошли, что ли...

И снова Селиванов превратился в жалкого мужичишку, да и почувствовал себя таким. Это преображение потушило, или почти потушило, ярость длинного. Он, видимо, еще не совсем пришел в себя, но прошипел:

— Я б тебе пошутковал...

— А кому приятно, если его за глотку хватают! — совсем жалостливо простонал Селиванов, закидывая ружье за плечо.

— Ладно, иди!

Селиванов вытер пот со лба. Машинально то же сделал его противник.

— Ишь ты какой! — зло и удивленно сказал парень. — Смотреть не на что, а подловил меня!

Рыжий кобель тетки Светличной начал заливаться, когда они еще и до огорода не дошли. Селивановские собаки заметались вокруг изгороди. Когда же они подошли к крыльцу, конура оказалась пуста. Тетка перевязала кобеля за сарай. Больно лютый у нее пес был, испугалась, что гостей покусать может. Сама встретила их в прихожей и, увидав Селиванова, всплеснула руками в притворном удивлении:

— Андриян Никанорыч никак!

— Ага. Свататься пришел, — ехидно ответил Селиванов, снимая фуражку и вытирая ноги.

— Да я б с радостью! — запричитала Светличная. — Кто за вас не пошел бы! Охотник вы отменный! Уж как бы я вас обхаживала да голубила! Да куда уж мне, горемычной!

И так она все это пропела, что у Селиванова вдруг мысль промеж бровей проскочила: а может, и взаправду посвататься! Но легкий толчок в плечо быстро привел его в себя, и, еще раз шаркнув ногами, он прошел в комнату.

На кровати, закрытый по горло стеганым одеялом, лежал тот, второй. В ногах у него сидела девушка лет девятнадцати, вся такая беленькая, светленькая, с косой до пояса. Запнулся на ней взглядом Селиванов, потому что не ожидал увидеть такое диво недеревенское, а приглядевшись, догадался, что дочка она того, что лежал в кровати и был больной, потому как жаром горели его щеки и лоб, а глаза нездорово блестели...

— Садитесь, Андриан Никанорыч, стул возьмите и садитесь ближе!

Больной проговорил это тихим голосом с хрипотцой. По манере Селиванов с ходу определил, что перед ним «бывший».

И уж офицер — точно! Он взял от окна стул, сел, ружье меж колен поставил, фуражку на ствол накинул.

Тот, что привел его, стоял в проходе, облокотившись на косяк, и голосу не подавал. Подчиненный, стало быть. Тетка осталась в прихожей.

— Николаем Александровичем меня зовут...

Селиванов культурно привстал.

— А это — дочка моя, Люда... Людмила...

Девушка смотрела на Селиванова спокойно и серьезно, и по ее взгляду он понял, что очень нужен им обоим.

— Не узнаешь меня? — вдруг спросил больной, глядя не на Селиванова, а на ружье.

Селиванов замялся.

— Еще у магазина... это... знакомым показались...

— Заметил, значит. Между прочим, твой отец... мне рассказывали тут... умер он?

Селиванов решил не трогать эту тему и дипломатично пробормотал:

— Царствие ему...

— А ружье это отец твой получил из моих рук!

Селиванов сначала прищурился, потом трусливо опустил глаза.

— Чего молчишь?

— Того, от кого мой папаня это ружье получил, я хорошо помню, хоть и молодой был, так что, извиняюсь, неувязочка...

Больной чуть приподнялся, дочь тотчас поправила ему одеяло, переложила подушку повыше.

— Подарил ружье твоему отцу полковник Бахметьев, а подал я... Подпоручик тогда я был...

Да, верно, вертелся около полковника офицерик, Селиванов припомнил. Значит, и вправду лицо знакомое...

— Тогда, значит, не ушли... — осторожно спросил он. Хотя откуда было знать офицерику, что Селиванов знал про красных, что они с отцом и навели красных на них!

— Ушли. С боем, но ушли. Дочь...

Он посмотрел на девушку, она ответила ему, и в этом обмене взглядами было «что-то» про любовь отца и дочери. Селиванову же про то оставалось только догадываться, потому что некому было на всей земле подарить ему такой взгляд... И опять промелькнула беспутная мысль: не посвататься ли к Светличной? Что с того, что она старше, а дите еще может быть... и, Бог даст, тоже девка, и, может статься, доживет он до той поры, что и на него взглянет так же... Господи! И помереть можно!

— Дочка осталась у меня в Иркутске, год ей был всего...

И снова они смотрели друг на друга, и чуть-чуть повлажнели у обоих глаза.

— Вот и вернулся я... Чтобы на дочь свою поглядеть.

«То есть как это вернулся! — подумал Селиванов и оторопел даже. — Откуда вернулся?! Оттуда, чтобы на дочь поглядеть? Тут надо ухо держать востро! Тут кое-чем попахивает, от чего ноздри могут наизнанку вывернуться!»

— Значит... на дочку посмотреть... — тоном дурачка переспросил Селиванов.

— Семен, Людочка, посидите на крылечке, а мы поговорим...

Просящая интонация относилась скорее к тому, долговязому. Девушка, еще раз поправив подушки, послушно поднялась, и тот охотно (эту охотность для себя подметил Селиванов) шагнул ей навстречу, и руку предложил по-барски, и похабной улыбкой расплавился весь. Но руку его она не приняла, прошла мимо, и это тоже подметил Селиванов, хотя вроде бы и не смотрел в их сторону. В прихожей, когда уже за ними хлопнула дверь, прикашлянула, напоминая о себе, Светличная, но офицер никак не обратил на то внимания, и это означало, что тетка была у него на полном доверии. Цена Светличной в глазах Селиванова подскочила втрое.

Офицер глядел ему в глаза. Не было в них настороженности или подозрительности, просто пытался рассмотреть человека, насколько вообще можно рассмотреть человека по его виду. Селиванов терпеть не мог, чтоб ему в глаза смотрели, потому что никогда ничьего взгляда не выдерживал, и знал, что не в его пользу такая слабость, но разве себя переделаешь!

— Что ты за человек, Селиванов? Совсем ведь тебя не знаю... Вот только Ульяна Федоровна хорошо говорила о тебе... Потому и рискую.

«Женюсь!» — твердо решил Селиванов.

— Власть-то новую признал? Я имею в виду — сердцем?

— Другой власти нету, — осторожно ответил Селиванов.

Офицер устало вздохнул.

— Вижу, хитер... Но выхода другого у меня нет, и буду я с тобой откровенным. Если выдашь меня, Бог тебе судья! Но если дочке скажешь о нашем разговоре...

По взгляду, вспыхнувшему на миг, понял Селиванов, что, верно, из-за нее было все, что хочет он о себе рассказать.

— Болен я. Чахотка. Знаешь, что это такое?

— Неужто?! — ахнул Селиванов, по-новому всматриваясь в его лицо.

— До осени не дотянуть...

Селиванов хотел что-то возразить, потому что невозможно не возразить, слыша такое, но тот махнул рукой. Не хотел соболезнований и утешений.

— Когда узнал, страшно стало подохнуть на чужбине... Нашел людей, русских же, у которых в России дела. Уговорил послать. Не надеялся, что пройду. Мало кто проходил... Но вот, как видишь. В Сибирь поехал дочь искать, а сроки укоротились. Не до дела уже. Хочу последние дни провести с дочкой. А где? Вспомнил твоего отца. Вдруг, думаю, жив? Помог же нам однажды! Теперь вот ты... Можешь спрятать нас в лесу? Это не долго. Слово офицера. Дочь знает, что я оттуда, но не знает про болезнь, думает, простудился. — Помолчал. — Вот я, офицер бывший, дворянин, к тебе с просьбой обращаюсь, к мужику русскому, если ты еще русский... Дай мне умереть на воле. Отплатить тебе не смогу ничем, кроме хлопот лишних да риска...

Умел офицер говорить с мужиком. Растрогался Селиванов до нервности, даже сказать сразу ничего не смог, хотя непременно нужно было ответить. Но он лишь беспокойно заерзал на стуле, жесты непонятные руками изобразил, сам же преисполнился весь радостной готовностью услужить этому человеку, и даже думка не мелькнула более про то, что опасное это дело, если посмотреть по-всякому.

— Да чего ж... — обрел он наконец дар речи. — Тайга — это, так сказать, наше хозяйство! А чего помирать! Я вас в недельку на ноги поставлю! Корешок имею!

Больной грустно улыбнулся.

— На мою болезнь корешка природа не придумала или люди еще не нашли... Так спрячешь?

— Понятное дело! Только как вы туда дойдете? Чтоб надежно, подальше нужно...

— Лошадь бы...

Селиванов с досады хлопнул себя по колену.

— Во дурак! Ну конечно! Будет лошадка и седельце...

— Ты уж извини, — перебил его офицер, — а две не сможешь достать?

— Да он же здоровый, бугай этот! На своих дойдет!

— Я о дочери...

Селиванов снова досадливо скривился и обозлился на себя за непонятливость.

— Понял. Две — это труднее... Но сделаем. А сможет она в седле-то?

— Не галопом же пойдем.

— И то верно, — согласился Селиванов и, наконец, позволил себе вопрос, что уже крутился на языке. — А этот, длинный который, он кто будет, ежели не секрет, конечно?.. Я это к тому, чтобы, как его... ну... это...

Тот помрачнел заметно, кинув взгляд к выходу, ответ обдумывал, а может, надеялся, что Селиванов от вопроса откажется. Но Селиванов делал вид, будто не понимает замешательства и молчания, и дурачком, как это умел, смотрел на офицера.

— Он будет со мной, а потом... уйдет. Если надумаешь выдать его, вспомни, что я тебе этого очень не советовал делать...

«Э... — соображал Селиванов. — Не просто тут понять, кто из них главнее! Ухо надо держать востро!»

— Тогда, значит, что. — Он поднялся, кинул ружье за плечи. — Пошел я насчет лошадок. Как договорюсь, так объявлюсь. А вы будьте готовы, значит. Думаю, завтра поутру двинемся...

И тут офицер закашлялся, да так, что Селиванов каким-то тайным чутьем, ранее не слыхав такого кашля, понял — взаправду перед ним конченый человек, не жилец. Тихо, вполоборота, вышел.

Людмила и Длинный сидели на верхней ступеньке крыльца. Оба встали, как только увидели Селиванова. Людмила тут же скользнула в дверь, а Длинный оказался напротив. И Селиванов вынужден был задрать голову, потому что понял — мимо пройти не удастся.

— Ну, до чего договорились? — спросил Длинный, не очень-то дружелюбно на него глядя.

— Что надо, то и сделаю! Извини, милок, время мало, а делу еще много...

С этими словами он хотел прошмыгнуть с крыльца, но цепко был схвачен за плечо.

— Смотри, без шуток!

Язык затрепыхался во рту от желания сказать молодцу что-нибудь остренькое, но на то мозги и даны, чтоб язык обуздывать!

Изобразив на лице беспредельное послушание и бескорыстие, став еще ниже ростом и выставив напоказ всю щуплость и неказистость свою, Селиванов прохныкал:

— Да чего ж, не понимаю я, что к чему, что ли! Не сумлевайся, мил человек!

Это «не сумлевайся», которое он никогда не употреблял всерьез, подпустил с умыслом, зная силу холопских интонаций. Сильного и глупого ничем лучше не проймешь. Да не забыл, видно, Длинный его «шутку» в лесу, потому тряхнул за плечо и почти скинул Селиванова с крыльца, — лишь ног шустрость помогла не скопытиться на ступеньках. Не уверенный в том, что сможет сохранить на лице что положено, Селиванов, не оборачиваясь, просеменил за дом и шмыгнул в калитку огорода. Пройдя достаточно, чтоб наверняка не быть увиденным, он обернулся и угрожающе пробормотал:

— Еще потолкуем, оглобля двуногая, пошуткуем еще...

С одной лошадью было просто. Егерева кобыла, когда по ненадобности, содержалась в конюшне промхоза или на общем выпасе. Ее и седло Селиванов получил без помех, на то было давнишнее распоряжение егеря. А вот вторую пришлось выклянчивать у конюха. Тот был мужиком своенравным и в зависимости от расположения духа мог оказать услугу, а мог и заупрямиться. И тогда важность свою почитал пуще всяких благ и подарков: чем больше суешь под нос, тем упрямее он становился. И хотя именно на такое настроение нарвался Селиванов, но своего-таки добился и вторую лошаденку получил, правда, без седла, за неимением такого в наличности.

Намахав литовкой пару охапок травы за егерьским домом, он покормил лошадей, поставил им воды и, не раздеваясь, завалился на печь, где обычно спал, когда бывал у Ивана. Сон долго не шел. Селиванов предполагал, что Иван вернуться может ночью. Тогда надо будет врать про лошадей, потому что правды говорить не хотел, и не столько оттого, что не доверял егерю, сколько очень уж захотелось иметь свою тайну, свое дело, о котором всерьез болела голова. Неясные планы и предчувствия ворочались в душе. Азарт разгорался и кидал Селиванова на печи с боку на бок, и играл в жмурки со страхом, что тоже шебаршился где-то за душой, и нет-нет да показывал сердчишко маетой сомнений. «И что я за рисковый человек такой! — хвастливо думал о себе Селиванов. — И чего прусь на всякие рога! Везенье — оно ведь тоже до поры до времени! По-другому опять же, кому суждено, того комолая корова забодать может! От судьбы не убережешься! Еще бы вот жениться! Тогда вся жизнь

в полноте была б». А дальше фантазия так взыграла, что увидел он себя в тайге с сыном: как учит его читать следы, как подзатыльники за глупость дает и по плечу за удачу хлопает... С этой фантазией и заснул.

Пробудился точно: чтоб из деревни выйти потемну, а в лес войти с рассветом. Седло накинул быстро. На вторую лошадь положил фуфайку и одеяло старое и веревку петлей перекинул по крупу — заместо стремян будет, в езде облегчение. Собакам кинул червячка заморить, себе — хлеб с водой холодной и сахаром вприкуску, закрыл избу и тронулся в путь по зарослям рябинника, на ощупь и по догадке выбирая путь.

Когда теткин пес залился лаем, Селиванов обматюгал его как мог. Привязав лошадей к забору огорода, сам пошел к дому и на повороте к крыльцу столкнулся с Длинным.

— Готовы?

— Пошли в избу!

В прихожей заохала Светличная: дескать, куда же такого больного человека увозить, как он там без всякого присмотру будет и чем тут плохо...

Людмила посмотрела на Селиванова встревоженно и тоже, кажется, была против, а уж при виде самого больного и в Селиванову душу сомнение закралось. Щеки и лоб его горели, глаза лихорадочно блестели, а на платке, который он, скрывая, комкал, повсюду виднелась кровь.

Сначала навьючили на одну лошадь небольшие мешки с провизией, так, чтобы не мешали сидеть в седле, а на ту, что была без седла, — тюки со всякими тряпками, необходимыми для зимовья. На дорогу выпили все по чарке, кроме офицера. Людмила, загадав, видимо, под чарку то, что и у всех на уме было, выпила на равных и постаралась не закашляться. Зато все время кашлял ее отец...

Он, прощаясь со Светличной, поцеловать на прощание ее не рискнул, но долго держал за плечи, смотрел в налитые слезами глаза и лишь напоследок сказал:

— Когда направлялся в Россию, боялся уже не встретить в ней людей.

— Куда ж они денутся, люди-то! — чуть улыбнулась Светличная.

— Дай-то Бог! А тебе — спасибо...

В седло устроили Людмилу. Офицер, на мгновение будто забыв о болезни своей, резво вскочил на кобыленку и приосанил-

ся, удаль былую вспомнив, да не тот был под ним конь, и все было не то, и сник он сразу, помрачнел и сказал нетерпеливо:

— Двинемся, что ли!

Селиванов, забрав у него поводок, повел за собой лошадь, выбирая в утренних сумерках проходы по рябиннику.

Он хотел бы тумана, но ясное утро обещало солнечный и жаркий день. Нужно было до полудня прибыть на место, а у таежной лошади, если идет шагом, шаг один — неторопливый, три версты в час, и ускорить его невозможно.

Селиванов долго мотался по рябиннику вдоль ручья (или это ручей петлял?), несколько раз переходили через него, и всякий раз лошади намеревались пить: но лишь шеи успевали вытянуть, как он тянул их и шел далее, зло покрикивая: «Но! Но! Доходяги!» Лошади не обижались, сознавая свою справность и выносливость, встряхивали гривами, косясь на мечущихся вокруг них селивановских собак, и шли дальше.

Наконец вышли на тропу, и Селиванов отдал узду офицеру. По тропе лошади пойдут сами, работа привычная.

Шли на Чехардак, на ту самую недостроенную базу, где когда-то разбойничал Селиванов. Барак он давно уже разобрал, точнее, перебрал и превратил в просторную избушку. В ней он обделывал свои делишки: панты варил, шкурки обрабатывал, зверя разделывал, когда мясом запасался; там же хранил капканы, петли, ловушки да стволы кое-какие... Тропа, по которой шли, была неходовая, по ней и ходил разве что только́ один Селиванов. Шла тропа глубоким черным руслом вдоль мхов, а поперек — на каждом шагу корни, как ступеньки. По обочинам тропы, а то и прямо на ней — маслята таежные целыми гнездами. Скоро птица начала взлетать всякая: то рябчик, то копылуха, то голубь лесной. Собаки уносились далеко вперед, вспугивая все вокруг, радуясь власти своей и свободе.

Офицер стал дремать в седле. Маленький караван шел молча, лишь лошади фыркали да звякали иногда подковами, натыкаясь на выход камня на тропе.

Всю жизнь свою только тем и занимался Селиванов, что входил в тайгу и выходил из нее; и если не было в его мыслях по этому поводу высоких слов, то чувства испытывал он вполне высокие: чем далее шли годы, тем больше смысла чуял он в таком, казалось бы, естественном союзе: он и тайга. Когда выходил на люди и тайга оставалась за спиной, Селиванов думал о ней как о чем-то целом, едином и живом, но от него отделен-

ном, и это отделение воспринимал как вынужденное неудобство, нарушение естественности. Когда же возвращался, тайга переставала быть чем-то вторым по отношению к нему, он снова ощущал себя ее мозгом, и уже не было двоих, но одно — он и тайга; более того, только с его присутствием обретала тайга полноту лица и цельность сути.

Было время, ревновал он тайгу к Ивану Рябинину, но сообразил вскоре, что тот всего лишь «мужик в тайге» — знал много, а понимал мало. Часто испытывал горькую досаду, что не жив отец, потому что именно перед ним хотелось блеснуть своим умением и знанием; понимал он еще, что далеко перехлестнул отца в таежном деле, а все обиды, что от него выносить приходилось, были бы отомщены, взгляни он одним глазом из этого, из того ли мира хотя бы на походку, с какой сын шагает по отцовским тропам! Но так уж устроена жизнь: доказать себя удается только самому себе, а от того радость хоть и есть, да неполная.

Нынче же, ведя чужих людей в тайгу, испытывал он смешение чувств, потому что больно по-разному относился к ним: к офицеру с дочкой и Длинному. И хотя понимал, что никому до него дела нет — один помирать едет, другая — хоронить, третий вообще — темнота да нечисть, все-таки хотелось их чем-то удивить, проявить свою удаль.

В том месте, где тропа петлями пошла на подъем, приотстал он будто по нужде, а затем, как мальчишка хихикая, кинулся вверх по кустам, напрямую, по немыслимой крутизне, и выскочил на тропу, когда те еще и не показались с поворота петли: когда же выехали, дурацкая шалость оказалась напрасной и вогнала его в стыд, потому что никто ничего не заметил и ничему не удивился — все трое были погружены в свои думы...

И Селиванову стало вдруг страшно тоскливо, и тоскливость эта была вообще: про всю жизнь, про ту его жизнь, что уже прошла и осталась в памяти, и про ту, что проходила сейчас, без всякой видимой связи с будущей, которая еще впереди...

Тоски Селиванов боялся. Он, человек тайги, которому слишком часто приходилось смотреть под ноги и редко когда удавалось взглянуть в небо, равнодушный к вопросам веры (просто некогда было думать об том), он, однако, состояние тоски почитал грехом в самом прямом смысле. Тоска была для него врагом жизни, и чувствовал он по себе: единственное, что может сломать его жизнь — это если он уйдет в тоску, как в запой. Тоска — это голос из ниоткуда; тоска, которая есть пусто-

та, в каждом человеке пребывает, как непроросшее семя. Не дай Бог пустить ему ростки. А когда тоска в полной явности проявляется — это и есть смерть. Ее Селиванов видел не раз в глазах умирающего зверя, утратившего уже чувство жизни; тогда, в то короткое мгновение, тоска вырывает душу из тела и уносит ее в никуда, и это ее черное дело есть последнее живое трепетание в уже мертвых глазах. Селиванов всегда старался не смотреть в такие глаза, потому что чутье подсказывало ему, какой опасно заразной может оказаться чужая тоска. В ней все теряет связь, и ни в чем не остается смысла: дерево само по себе, а небо само по себе; зверь под небом и деревом ни с тем, ни с другим душой не соприкасается; а человек оглядывается вокруг — и все против него и он против всех; и тогда начинаешь соображать, что все в мире — от травинки до солнца — совсем другим порядком существует, чем ты думал, и порядок этот к тебе — никаким боком, и выть хочется...

Когда находило такое на Селиванова, давал он волю злу и спасался тем от тоски, потому как никакого другого средства не было от нее, гадины! Хмель (пытался запойствовать) размягчал его до такой отвратности, что он всего себя чувствовал одной большой задницей, и от хмельной сопливости спастись бывало еще трудней. А сорвешь на ком-нибудь злобу — совестно станет, побранишь себя, покаешься и — снова человек! Иногда немного надо: подцепишь собаку сапогом под брюхо, взвизгнет она собачьей болью, посмотрит на тебя Божьим укором, и застыдишься, и жалостью всю черноту души отмоешь. Или хватишь топором по кедру еще несмолевому, а он затрепещет, затрясется и на топоровой зарубке капельки выступят... Тогда ножом смолы соскребешь со старого кедра да замажешь рану, хоть это и дурость ненужная — дерево само себя лечит.

Когда же на человеке срывал злость, излечивался страхом, потому что задирался с тоски обычно на крепкого мужика, и как только до сознания доходил страх побоев, тут же душа очищалась и причащалась к нормальности...

После подъема долго шли по равнине. У ручья сделали привал. Случилось так, что мужики пошли в кусты, Селиванов остался один на один с Людмилой. Она спросила его вдруг:

— Вы человек бывалый, можете сказать, сколько ему осталось жить?

Селиванов захлопал глазами, вспомнив предупреждение офицера. Пытался дурачка разыграть. Она с досадой сдвинула брови.

— Только не притворяйтесь, что ничего не знаете! Я вам доверяю и прошу вас, не хитрите со мной!

От грусти в ее голосе и ему стало грустно.

— А сама-то откуда знаешь? Он же не велел говорить...

— Этот... — Она кивнула туда, куда ушел Длинный. — Да и сама догадалась бы...

— А какой же резон ему был говорить вам?

— Господи! — Она прислонилась головой к стволу кедра, на корнях которого они сидели, и Селиванов не рискнул предупредить ее, что смола попадет в волосы. — Господи! Какое это имеет значение, кто что сказал! Сколько он еще проживет?

А разве Селиванов знал про то?

— Есть у меня корень целебный, будем поить, авось вытянем!

Нет, надежду в ее глазах он не зародил. Они остались грустно спокойными.

— Зачем этот идет? Чего ему надо? — допытывался Селиванов.

— Папин злой гений...

— Чего?

— Борец за идею. Впрочем, не знаю. Может быть, и борец... Но он злой. Вы его не задевайте. Я... — тут она вся съежилась, быстро оглянулась, — я боюсь его!

— Не боись! — затрепетал от радости Селиванов. — Не таких видывали!

Она с сомнением посмотрела на него, он это сомнение понял. Чего там, мужик он не внушительный. Иван бы — другое дело! А вот еще неизвестно, кто из них для девки надежней оказался бы.

— Не боись! — подмигнул он ей. И сам в этот момент ничего не боялся.

Потом что было?.. Устроились в зимовье. Отец с дочкой на нарах, Селиванов с Длинным на чердаке. Бегал Селиванов за корнем, варил отвар, поил больного. Тот пил, морщился и кашлял. Длинный днями шатался по лесу, палил из пистолета в дятлов, спать заваливался рано. А Селиванов часто допоздна просиживал на чурке в углу, слушая разговоры офицера с дочкой, иногда и сам встревал, если уместность была.

Через неделю (долее тянуть уже было нельзя) погнал лошадей в деревню. Конюх крыл его матом и махал кулаками. Иван же, когда Селиванов к нему пришел, за грудки схватил, чуть в воздух не поднял.

— Куда лошадей гонял?

Селиванов долго и убедительно врал чего-то, рвал на себе рубаху, крест на живот клал, что не на черное дело и что отродясь более к его кобыле не подойдет, потому что жрет она без меры, а потом такие звуки издает и вонь, что зверье с тех мест опрометью уходит...

Иван не поверил ничему, но против селивановской брехни долго устоять не смог: ворчал, сверкал глазами и остывал.

На Чехардак Селиванов вернулся утром следующего дня. Не доходя сотню шагов до зимовья, на тропе встретил офицера, встревожился.

— Гуляю! — успокоил тот.

— А где... все?

— Спят. А утро какое чудесное! Устал? Мешок-то какой!

Селиванов, и верно, нагрузился плотно: хлеб, мука, сало, овощи... Светличная позаботилась.

— Посиди, отдохни! — предложил офицер, и Селиванов понял, что поговорить хочет. Скинул лямки, мешок прислонил к пню, выбрал место посуше. Сели. Перед глазами — вершина той самой горы, с которой когда-то так ловко постреливал Селиванов начальников со звездами. Страсть, как захотелось похвастаться (другого случая не представится), чтоб оценили его ловкость по достоинству. Но придержал язык, не до него теперь... А тот между тем молчал. Солнце, отчаявшись вдохнуть в него жизненную силу, будто отражалось от бледности его лица или вовсе обтекало сторонами. В самом лице произошли неуловимые изменения.

— В Бога веришь? — спросил офицер. Селиванов такого вопроса не ожидал, замешкался, соображая, как сказать лучше.

— Не верить грех, а верить мудрено... — пробормотал он и побоялся, что будет уличен в лукавстве, но тот будто не слышал ответа. Он смотрел на вершину селивановской горы, или даже поверх ее, и чуть покачивался.

— Сколько здоровых, сильных пытались проникнуть в Россию и гибли! А я прошел... И если это — Бог, то в чем Его воля, а в чем попущение?

Замолчал. Селиванов попытался развить тему.

— Когда солнце в глаза, тогда про Бога думать несподручно, вот ежели ночью...

— Ты прав, — серьезно согласился с ним офицер. — Солнце делает мир плоским, а ночь дает перспективу... Ночью позна-

ешь суть величин. Свет сквозь тьму... Свет во тьме... Но мне этого уже не успеть понять, хотя жизнь этим начиналась. И была Истина, как будто сама собой... а потом будто дымкой подернулась и превратилась в привычку. А жизнь пошла сама собой...

Селиванов чувствовал себя собакой, когда она вслушивается в речь человека в надежде услышать знакомое слово. Но был он не собакой, а человеком; и потому думал про себя о том, что за всякой мудреностью кроется нечто очень простое и ему давно известное; и что если иной говорит сложно, так то ли потому, что говорить просто не умеет, то ли чтоб цену себе повысить.

— Красивая у меня дочь? — спросил офицер без всякого перехода.

Селиванов изобразил восхищение.

— А ты заметил, как она произносит слово «папа»? Словно учится его произносить, сама его слушает! Так же, как и я... Мы с ней учимся быть отцом и дочерью... Ты заметил, она произносит слово «папа» иногда только для того, чтобы услышать его, ведь раньше, если произносила, так только в мыслях или шепотом... Но ведь, наверное, совсем другое дело, когда на это слово кто-то откликается. Только тогда оно и звучит по-настоящему...

За спиной — шаги.

— Господи! Папа! Я уже не знала, что и думать! Ну зачем ты один уходишь!

На глазах слезы. Причесаться после сна не успела, в платьице, босиком... Опустилась около отца на колени, с осторожной, робкой лаской коснулась его руки. Было в этом прикосновении столько сокровенного, что Селиванов отвел глаза, сотрясаясь от зависти и от досады на самого себя. «Неужели он и вправду помрет?!» — впервые всерьез подумал он, и незнакомое ощущение крадущегося, шуршащего ужаса обнаружил где-то под сердцем, почти в животе. Он, видевший смерть и творивший ее сам, видно, самую жуть смерти не ухватывал, потому что не знал жалости.

— Пойду однако... — растерянно пробормотал он, надевая лямки мешка на плечи.

— И ты иди! — сказал офицер дочери. — А я еще посижу. Поди! Поди! Помоги Андриану Никанорычу с продуктами разобраться да чайком напои, с дороги он...

Несогласная, но послушная, она поднялась и, не говоря ни слова, пошла по тропе впереди Селиванова. Через несколько шагов он заметил, как в беззвучных слезах дрогнули ее плечи.

— Сердце себе не рви и ему боль не усугубляй! — прошептал Селиванов ей в спину. — Отвлекать его надо от черной думы! Черная дума человека подталкивает куда ей надо! Понимаешь?

Она кивнула.

— Забытие про болезнь да корень целебный — одна надежда!

— Мама, когда была жива, рассказывала о нем как о неживом. Я привыкла, что он просто был когда-то... И вдруг — он! Словно воскрес ненадолго, чтобы снова уйти... Я не могу!

Она опустилась на мох и заплакала в голос. Селиванову присесть рядом мешал мешок за спиной, он нагнулся, сколько позволяла тяжесть, зашептал горячо:

— Перестань, говорю! Слышь! Щас же перестань! Тебе Бог, считай, с того света послал дочерность познать! А сколько после той резни сиротами вечными остались!

Она не принимала его слов, потому что не было в них справедливости для нее, а лишь правда, которую она и так знала, и неизвестно, может, лучше б и не знала...

— Как я жить теперь буду! — крикнула она. И Селиванов не нашелся, что ответить, лишь взял ее крепко за плечи и поднял на ноги.

— Услышать может! — потом сказал он.

Это подействовало. Она заспешила по тропе, тревожно оглядываясь и вздрагивая от слез.

Опухший от сна Длинный встретил их у зимовья, подозрительно оглядывая.

— Где Николай Александрович?

— Гуляет, — небрежно ответил Селиванов, задевая его мешком в дверях зимовья.

Что еще было тогда? Была еще летняя ночь, когда Николай Александрович рассказывал о себе дочери и Селиванову. Луна успела перекочевать из одного окна в противоположное, фитиль лампы подрезался трижды, и трижды кипятился чай. В эту ночь кашель отпустил больного на отдых, а думалось — на выздоровление.

Рассказывал он о том, как бедствовал в Китае после перехода границы, как странно погиб полковник Бахметьев, как перебрался в Европу и обучился шоферскому делу, как обретал надежду в среде белого воинства, верного своему знамени, как нашел женщину... И об этом рассказал, хотя и не сказал, как потерял ее.

Чувствовал Селиванов, что разговор этот вроде как исповедь, но не совсем, потому что не живет человек без порчи и греха; об том же больной умалчивал и жизнь свою рассказывал, как сам видеть ее хотел и дочке это видение передать. Интересен был Селиванову его рассказ, да непонятен. Хотел он услышать, что есть «белая» правда, рассказ же офицера был про благородство, а про правду все так, будто она — сама собой; и была для Селиванова она — эта из рассказа лишь проглядывающая «белая» правда — предпочтительней правды «красной» лишь тем, что никак не касалась его самого, на жизнь не замахивалась, пролетала гордым словом где-то много выше его головы, оставляя Селиванову право на его правду «третью». И той недоброй жалостью, какой жалел всех, в землю полегших за правду «красную», той самой пожалел он за «белую» правду полегших мужиков; и папаню своего вспомнил благодарно за то, что сберег сына от чужих страстей; и о себе подумал с достоинством, что не положил себя угольком в чужой костер. Еще подумал о том, что если бы весь российский мужик сообразил так же, как он, кто бы тогда с кем дрался? Ведь красные и белые молотили друг друга мужиком, а если бы он своей правде верен остался, что тогда было бы? И, улучив момент, спросил осторожно:

— Вот когда б мужики не пошли ни за красных, ни за белых, чем бы тогда все дело кончилось?

Офицер посмотрел удивленно, лицо помрачнело. Не сразу ответил.

— Пустое спрашиваешь. Те, кого ты называешь мужиками, народ то есть, он не сам по себе...

Селиванов торопливо перебил:

— А я вот сам по себе, и папаня мой был...

Тот с досадой махнул рукой.

— Случайность. Глушь. Если белым не помогал, значит, помогал красным. Невмешательство — тоже помощь!

Селиванов хотел возразить, но опередила Людмила.

— Но, папа, они тоже говорят — «кто не с нами, тот против нас!»

— И они правы! Кто не с ними, тот против них!

Она с сомнением покачала головой.

— Меня как дочь офицера (мы с мамой не скрывали) в институт не приняли. Работу нашла по знакомству только... Но разве я против них?

Будто сама себе вопрос задавала. Селиванов радостно встрепенулся:

— Я ж то самое говорю! Это *они* против! А мы сами по себе!

Отец отвечал дочери, на реплику Селиванова не обратив внимания:

— Ты комсомолка? Нет! Ты веришь в их собачий коммунизм? Нет! Не веришь ведь?

— Не верю! Они злые! Они друг другу не верят! Но...

— Вот и все! И больше ничего не нужно говорить! Главное, чтоб *им* не верили! Хотя...

Луна в этот момент появилась в другом оконце, и желтый свет упал на его лицо, загороженное от лампы подушкой.

— Хотя неверием долго жить нельзя. Совсем нельзя! Но люди хотят жить и потому способны поверить в нелепое. Я проехал всю Россию... Это страшно и безысходно...

— А я все равно сам по себе! — упрямо вставил Селиванов.

— Если бы так, мне помогать не стал бы!

Селиванов ткнул пальцем туда, где спал Длинный.

— Ему не стал бы! Я *хорошему* человеку помогаю.

— Нет хороших людей! — резко возразил офицер. — Есть правые и неправые!

— А он какой? — Селиванов снова ткнул пальцем туда же.

Офицер явно смутился.

— Борьба ожесточает... Идеалисты погибают первыми...

Это был не ответ, и Селиванов самодовольно хмыкнул. Но весь этот разговор был ему нужен, он укрепил его в *своей* вере и правде. Не только отдельных людей, но и все в жизни привык он представлять для собственной ясности в образах тайги, как бы переводя жизненную многоголосицу на язык ему понятный и доступный. Власть, что царила там, везде за пределами тайги, он представлял себе в образе разъяренного кабана, не только четырьмя свинячьими копытами приросшего к земле, но и всей своей неуклюжей плотью. Опасный зверь, нет слов! Но разве нет на него сноровки да смекалки!

А вот «белую» правду, как она рисовалась со слов офицера, Селиванов видел этаким козлом таежным, с мощными рогами на голове, парящего в вычурном, затяжном прыжке, или склонившим голову в боевой готовности всеми выкрутасами рогов навстречу противнику. Но в высоком прыжке наиболее уязвим он для пули, а рога больно хитро закручены, чтобы быть надежным оружием. Кабан порвал козла! А в кабаньем царстве кем нужно

быть, чтоб выжить? Понятное дело, росомахой! Пакостный зверек, не без подлости. Но Селиванов себя со зверем не путал...

Полная, как диск, луна выставилась в оконце зимовья, и от ее навязчивого присутствия всем стало не по себе. Но никто не решился завесить окно или хоть вслух заметить это, будто боялись признать дурной знак. А так и было...

С той ночи, назавтра и после, все стало быстро и неуклонно свертываться к концу. Селиванов еще раз бегал в деревню за продуктами. Светличная ревела, упаковывая мешок. Собаки на базе вели себя беспокойно. Селиванов держал их на привязи, чтоб не путались под ногами.

Людмила, глядя на тающего отца, сама таяла: осунулась, поблекла, глаза сухо блестели. Угрюмее с каждым днем становился Длинный. А дни стояли солнечные, тихие, ночи теплые; больному же было зябко и днем, и ночью. Его озноб передавался всем, и Селиванов часто ловил на себе такой взгляд девушки, будто и она, и все вокруг тоже должны скоро умереть. Хуже того, Селиванов сам стал покашливать; прикрывал рот рукой, потом внимательно смотрел на ладонь, не появилась ли кровь, хотя ни в какую свою болезнь не верил.

Больше не было долгих разговоров по вечерам, но успел офицер сказать ту фразу, которую ждал Селиванов: «Дочку не оставь!» Сказал ему один на один, и хотя Селиванов лишь мотнул головой, тот мог умирать спокойно, насколько может человек спокойно умирать.

Когда наконец это случилось в середине ночи, собаки вовсе не завыли, как то должно быть по народному наблюдению. Людмила окаменела около нар, Длинный сутуло стоял у двери. Селиванов все еще не верил, все еще гоношился вокруг и никак не мог найти явное отличие мертвого от живого. Когда и живому подтверждения не нашел, растерялся, беспомощно разводил руками и вроде не в силах сообразить был, какое слово требуется сказать в таком случае. Еще что-то совсем незнакомое творилось с его душой, чего вовсе не было, когда умер отец. Если бы кто сказал ему, что это — жалость, он возмутился бы. Но душа его исходила томлением, было ей так нехорошо, почти тошно; и ничего не оставалось Селиванову, как удивляться самому себе.

По рассвету он начал делать гроб из старого запаса досок. Шуметь старался как можно меньше, чуть ли не после каждого удара молотком пугливо оглядываясь в сторону зимовья, словно кто-то мог появиться и устыдить его.

Самым страшным было то, что вокруг будто все смолкло; наступило молчание, когда из тайги ушел всего один голос, меньше даже — кашель... И это было еще одним нарушением прежних представлений Селиванова, главным образом — о самом себе. Что ему эти люди, случайно оказавшиеся на его тропе? Он жил до них и после них будет жить! Разве не так?

А тайга онемела...

Хоронили к вечеру. Неживая бледность появилась на лице Людмилы. Она делала все молча, не глядя ни на кого и, казалось, никого не замечая. Над могилой, которую Селиванов аккуратно обложил зеленым дерном, Длинный произнес речь, не нужную никому, кроме него самого. В тех словах было о борьбе и о чести. Пальнули из пистолета и ружья. Потом уже больше нечего было делать. Людмила сказала, что хочет побыть одна. Селиванов думал схорониться на всякий случай в кустах, мало ли что от отчаяния девке могло в ум прийти, но Длинный повел его к зимовью для разговора.

— Будешь работать со мной.

— Чего работать? — не понял Селиванов.

— Не прикидывайся и про шуточки свои забудь! — угрожающе ответил тот. — Придет от меня человек если, сделаешь, как скажет!

— Какой человек? — передергиваясь ознобом, снова спросил Селиванов.

— Ты дурака не валяй! — еще злее ответил Длинный. — Я тебя из-под земли достану, если что!

Селиванов понял, что самое лучшее — соглашаться. Но не тот он человек, кого повязать можно, кого холуем сделать! Зелен парень! Был бы умен, попросил помощи али совета; может, и не отказал бы. Селиванов прятал глаза, чтобы мысли не выдать, испуг изобразил как умел, весь искривился в притворном холопстве.

— Ее, — Длинный кивнул в сторону могилы, — определю в новое место. Через нее будем связь держать. Племянницей твоей будет.

Селиванов напрягся, как перед очень нужным выстрелом. «И девку с собой повязать хочет... Он дурак! Скоро влипнет и девку погубит!»

Еще за минуту до того Селиванов чувствовал себя наследником. Ему, именно ему, поручил отец свою дочь, как бы передал на усыновление. «А теперь эта оглобля отнять хочет ее на при-

хоть глупости своей... Не бывать!» Решил сперва попробовать по-хорошему:

— Послушай, давай я тебе буду чего хошь делать, а девку-то, может... Ну ее!.. Пущай живет себе...

Тот презрительно взглянул на него.

— Жить! Ее жизнь — месть за отца, продолжение его дела! Для нее другой жизни нет!

— А ты спрашивал?..

— Заткнись! — оборвал его Длинный. «Погубит! Шлепнуть?» — Но понял: не сможет «шлепнуть», что-то действительно повязало его с Длинным, и эту повязку он чувствовал капканом на ногах. — «Думать надо! Думать! Девку не отдавать!»

— Сегодня уйду. Подыщу ей место. Жди меня здесь. Смотри!

— А как же! Конечно! Тут будем, — радостно залепетал Селиванов. «Отсрочка! Глуп! Совсем глуп! Ничего в людях не кумекает!»

Когда говорили втроем о том же, Людмила слушала равнодушно, то ли не понимая, о чем говорят, либо ей действительно была безразлична ее дальнейшая судьба. Селиванов будто нечаянными репликами пытался объяснить ей, чего хочет Длинный, но безуспешно. Она была согласна на все. Длинный ее молчание принял как должное. Он вошел в роль главного, а может быть, он таковым и был. Но только не для Селиванова.

Ушел вечером. Но разговор, на который Селиванов надеялся, оставшись наедине с Людмилой, не получился. Она была как во сне, ничего не слышала, не понимала, сидела неподвижно на нарах, отказывалась от еды. В конце концов Селиванов насильно заставил ее поесть и уложил. Сам лечь на место умершего не решился, устроился на чурке у столика, голову положив на руки, но тоже не мог уснуть, как бывало с ним всегда, когда предстояло наутро действовать рискованно и ответственно. Утром объявил без всяких разъяснений:

— Уходим сегодня! Собираться надо.

Она сначала никак не приняла это, но, кинув взгляд на пустые, аккуратно накрытые одеялом нары, где всего сутки назад лежал ее отец, встрепенулась испуганно и выскочила из зимовья. Селиванов нагнал ее уже около могилы. Она упала на нее и впервые наконец дала волю слезам. И Селиванов облегченно вздохнул. Он отступил за деревья, сел на мох и приготовился ждать.

Спустя час, обессиленную, с перепачканным землей и слезами лицом, поднял он ее решительно и привел к зимовью. Заставил умыться, собраться и поесть перед дорогой.

Собаки подняли скандал. Оставаться без хозяина, но с людьми, — такое они еще могли принять. Когда же выяснилось, что хозяин уходит и оставляет их одних, они, взметнувшись на задние лапы и задыхаясь в ошейниках, завыли на всю тайгу жалобно и пронзительно. Селиванов, замахнувшись, цыкнул:

— Сидеть, стервы! Сегодня приду! Сказал, приду!

Вой перешел в скулеж, который и сопровождал их по тропе до первого крупного поворота.

С главной тропы, однако, Селиванов скоро свернул; пройдя с километр по камням и завалам, он вывел Людмилу на маленькую, еле заметную — скорее звериную, чем человечью, — тропу, что на камнях вовсе терялась, а в высокой траве была почти не видна. Он не хотел рисковать. Вдруг Длинный вздумает сразу вернуться... Людмила выдохлась на третьей версте, потом было еще три или четыре привала. Селиванов не торопил. Почти к вечеру вышли они на Рябиновку, но и тут некоторое время пробирались по зарослям, чтобы подойти к дому егеря, как объяснил Селиванов, с подветренной стороны, чтоб ни одна живая душа не увидела их.

Оставив девушку в кустах, озираясь по сторонам и согнувшись, Селиванов шмыгнул в калитку и досадливо поморщился: Иван был дома.

— Явился, бродяга! — встретил его хозяин.

Селиванов, даже не здороваясь, без всякой подготовки выпалил:

— Дело есть, Ваня!

Тревожно было оставлять Людмилу одну.

— Натворил чего-нибудь? — подозрительно покосился егерь.

— С человеком беда, Ваня, с хорошим человеком! Помочь надо!

Рябинин смотрел на него еще подозрительнее.

— Можно, приведу?.. Потом все растолкую... Помочь надо! Я щас!

Вдруг ему представилось, что Людмила не останется на месте, уйдет куда-нибудь... Бегом вылетел он за калитку, кинулся в кусты и, обнаружив ее, вздохнул облегченно.

— Ну, все в порядке! Идем!

Рябинин настороженно стоял посередине прихожей. С удовольствием наблюдал Селиванов, как расширялись глаза егеря, как забегали руки по рубахе, выпущенной поверх брюк, как да-

вился Иван языком, пытаясь ответить что-то на тихое Людмилино «Здравствуйте!». Он суетился по дому, растерянный, беспомощный, безъязычный, пока не взмолился наконец взглядом к Селиванову: чего с ней делать-то, мол?!

— Ну, ты чо, Ваня, мечешься? — снисходительно, с отеческим укором сказал Селиванов. — Человека покормить надо, пятнадцать верст отмахали!

Хотя и не в себе была Людмила, и устала с дороги, но жалко ей стало этого вдруг ссутулившегося длиннорукого верзилу. И когда в очередной раз загремела у него под рукой посуда, она встала и предложила свою помощь. Он молча уступил место у плиты и жалобно взирал на Селиванова. Еще в тот момент, когда секундой оказались они рядом: она — ниточка серебряная, он — моток пряжи грубой, у Селиванова мелькнула мысль, что, дескать, интересный получиться бы мог узор, если серебряной ниточкой да по сукну... Но это была не мысль, а так, баловство... Длинный рядом с ней куда лучше смотрится!

Вспомнил про Длинного, и засосало под ложечкой. «А может, плюнуть на все, смотаться на Гологор или еще куда, пусть Длинный с егерем стакнутся!» Но знал — не выдюжит Иван против того, уступит, да и прав не уступать не имеет. И от сознания, что он, Селиванов Андриан Никанорыч, единственно может развязать этот колючий узелок, такой к себе почтительностью преисполнился, что даже прикрикивать стал на егеря: не гоношись, мол, попусту, если в своем доме — не хозяин, отыдь в сторонку, а мы уж сами...

Иван взглянул на него недобро и стал листвяком согбенным посередине избы. Селиванов подмигнул ему, и они вышли. На ступеньке крыльца Иван по-песьи взглянул другу в лицо. Очень хотелось покуражиться Селиванову, да времени не было — предстояло еще возвращаться на Чехардак, сегодня же.

— Значит, чего, — сирота она. Отца ее я схоронил на Чехардаке вчера. Деваться ей некуда. У меня, сам знаешь, каков дом. Так что, Ваня, пущай у тебя побудет малость, а там придумаем...

Сказанного, конечно, мало было для ясности, и Иван попытался расспросить, как, дескать, на Чехардак попали и прочее, но Селиванову и некогда было, и лень. Да и лучше, если сама скажет, что нужным найдет...

— А мне, Вань, седни назад переть на Чехардак, дельце одно еще не покончил! Так что ты уж девку не обидь!

Рябинин посмотрел на него, как на идиота, поднялся, и они вошли в дом.

— Дверь не закрывайте, пожалуйста! — попросила Людмила, раскрасневшись у плиты. Иван раскрыл все окна, но и на улице еще не спала жара, в доме прохладнее не стало, хотя и зашевелился приятный сквознячок. Селиванов не заметил, когда Иван переодел рубаху и причесался. Побриться не успел, и теперь то и дело досадливо потирал подбородок. Он уже приходил в себя, хотя прямого взгляда на Людмилу избегал.

«А чего? — подумал Селиванов. — Старше он ее всего годов на двенадцать! Не будь она краля, а он — мужик, глядишь, и сварили бы кашу!» Но как подумал об том, так и смешно стало. «Эвон, как она ручкой поводит, и на цыпочки вздымается, и взгляд у нее совсем не тот, что мужиковскому глазу доступен. Зато об этот взгляд крепко пораниться Иван может».

Вспомнил Селиванов про отцовскую сестру, что жила в Иркутске замужем за мастеровым. Сто лет от нее вестей не было, но, где жила, он помнил. Решил поначалу к ней пристроить, а там видно будет. И чем больше глядел он на егеря, тем крепче уверялся, что скорей надо избавлять его от возможной пагубы.

Иван за стол не сел, хотя Людмила просила настойчиво. «И правильно! — подумал Селиванов. — А то бы начал швыркать из ложек!» Сам же вовсю швыркал. Ему чего! Он мужик есть и будет! А девка-то ишь как суп с края ложки пьет, не толкает в пасть по саму рукоять. Если он так сосать будет, к утру не нажрется! Ох, и хлеба кусочек над ложечкой держит, а он уже и скатерть заляпал, и штаны!

Обтер Селиванов рукавом рубахи рот, брюки, крякнул и поднялся.

— Хорош однако! Шибко нельзя! Тяжело идти...

— Может быть, не нужно идти... сегодня?.. — робко спросила Людмила и с тревогой, понятной только им, взглянула ему в глаза. Своей же тревоге Селиванов волю не давал и ответил так, будто не понял взгляда.

— Собаки у меня ж там! Их на привязи в тайге долго держать нельзя, сбеситься могут!

Иван отвел его в сторону и спросил шепотом:

— Если она здесь... то мне куда уйти?.. Или как?

— Куда уйти! — возмутился Селиванов. — А она одна в доме будет, что ли? Ты чо, Ваня?

Иван замялся.

— Не по-людски как-то... Одна с мужиком в доме...

— Вот то-то, что с мужиком. Это можно. Был бы офицер, тогда другое дело!

Иван понял, обиделся, но не подал виду. Селиванов обиделся тоже. Ведь егерь его на много ль моложе, а ему, Селиванову, и в голову не пришло б увидеть в себе неудобство для молодой девки, да еще из барышень. Медведь же этот вообразил, что она его за что-то другое принять может...

Прощаясь с Людмилой, шепнул ей:

— Ты, того, растолкуй ему... Ну, чего захочешь...

— Когда вернетесь?

Он развел руками.

— Пожалуйста, не ссорьтесь там... Мне ведь все равно куда... Может быть, он прав, мне надо с ним...

Вот этого ее равнодушия Селиванов боялся больше всего.

— Тебе жить надо!

— Для чего?

— Детей чтоб рожать! — зло сказал он.

Людмила не смутилась и не возразила. Только чуть коснулась его руки:

— Я вам благодарна за все! Пожалуйста, постарайтесь по-хорошему...

Ночь прихватила Селиванова версты за три до зимовья, и хоть был он чужд всякой мистики, ночная тайга была для него явлением таинственным. Не то чтобы верил он, а скорее воображал, что ночь есть освобождение всего живого и неживого от бытия, которое по сути — вынуждение и обязанность. Деревья, камни, трава, звери и даже люди — пока живут, все время чего-то им надобно и что-то сами они должны. И если б не было ночи, разве хватило бы сил человеку идти, дереву стоять, камню лежать?! Но она приходит, и, становясь невидимым, все живое и неживое растворяется в спокойное, темное марево, где нет напряженности в различиях и соперничестве. Это состояние есть тайна для глаз. Потому, если идет человек ночью по тропе и глаза его что-то различают, вынуждены деревья, камни и сама тропа приходить в свое дневное обличие, чтоб не столкнулось отдыхающее с бодрствующим.

Когда приходилось идти ночью, Селиванов завидовал и злорадствовал зараз. Завидовал всему, что по сторонам от него пребывало во мраке, а значит, в свободе от своей формы. Зато все,

что было доступно его глазу, вынуждено было срочно возвращаться в свое обличье. И Селиванов ехидно шептал в темноту: «Ну, давай, давай, ишь разнежился, а ну кажись!» И впереди смутными очертаниями, как бы нехотя, неторопливо, вырастал пень или камень. Проходя рядом, Селиванов торжествующе говорил: «То-то!» Но было ясно — не успеет он и пяти шагов ступить, пень или камень снова сонно расползутся в черноту и покой. Знал он и другое: нельзя чиркать спичкой, когда идешь ночью по тропе, — все спящие, растворившиеся могут не успеть обратиться в себя и спросонок перепутать свои обличья; тогда ветка кедра обернется лапой с когтями, пень — медведем, а тропа свернется в клубок.

Или у костра ночью: кинь в него сухую хвою невзначай — взорвется костер пламенем, и какие только чудовища не замечутся вокруг, как застонет тайга, как вскрикнет все ушедшее из себя, застигнутое врасплох в неприличной бесформенности!

А еще бывает! Когда новолунье: тоненький серп висит над гривой — не навязывается на глаза, не затемняет звезды. И в другой половине неба они так ярки, что получается: будто человек и звезды только в своем образе среди мрака и теней. И не то чтобы звезды ближе были, но небо само и есть то место, где живет человек вместе с землей и со всем, что на ней и вокруг нее. И букашка вроде бы, и сын неба!

Сын неба и земли, шел Селиванов ночной тропой к зимовью на таежном участке, прозванном Чехардаком за то, что если с главной гривы смотреть на таежные сопки внизу, похожи они на пьяных мужиков, прыгающих друг через друга в дурацкой забаве — чехарде.

Селиванов шел и вслушивался в ночь и скоро услышал, чего ждал: на базе осатанело выли привязанные собаки. Выли как по покойнику, но на самом деле от страха перед ночной жутью и от обиды на хозяина. А когда тот ворчливо отвязывал их, зашлись в таком скулеже восторга, что даже по пинку получили. Радость их, однако, не убавилась. И не прибавилась, когда хозяин кормил их, потому что не хлебом единым живы собаки...

Сам заварил чайку в котелке, попил без ничего, посидел у печурки и лег на нары, не раздеваясь, ружье к стенке положив, под рукой чтобы...

Расслабился Селиванов. Следовало бы ему встать пораньше. Но получилось так, что, услышав лай, вскакивать с нар не решился: сонная рожа могла сойти за испуганную, а в сумерках

зимовья и настоящий испуг скрыть можно. Про себя же успел подумать, что деловой этот Длинный, за сутки обернулся. Спешил парень, да опоздал!

Расперев руками, ногами и головой дверной проем, Длинный гаркнул с баловством в голосе:

— Подъем!

Селиванов неторопливо поднял голову, приподнялся, сел, притворно протирая глаза. С порога Длинный шагнул прямо к нарам Людмилы, присмотрелся, потом спросил:

— Где она?

— Как где! — ахнул Селиванов удивленно. — Она ж с тобой ушла!

— Что?! — прохрипел тот.

— Да сразу же, как ты пошел, она сказала, что с тобой пойдет, и побежала вдогонку! Разве не догнала?

Голос Селиванова дрожал искренним недоумением.

— Этого только не хватало! — Длинный опустился на нары. — А ты чего?! Почему не остановил?

— Да как же! Говорил! Не стала слушать!

— С ней надо было идти, дурак!

— Так ты ж велел тут ждать!

И здесь Селиванов промахнулся: почувствовал себя победителем и в голосе того не скрыл. Длинный поднялся, подошел к нему, заграбастал в кулак рубаху так, что у того горло перехватило, подтянул с нар к себе.

— Врешь!!

— Да что ты! — прохрипел Селиванов.

Тот хотел видеть его глаза, но в зимовье было сумеречно. Рывком сдернул Селиванова с нар и поволок к выходу. Селиванов зашелся в визге, пытался рукой нащупать ружье, но не дотянулся. Пинком под зад Длинный швырнул его через порог, не выпуская рубахи, тряхнул, поставил на ноги, удавьим взглядом впился в Селивановы глаза.

— Врешь, скотина! По роже твоей вижу, — врешь! Шуточками занялся? — Он все еще надеялся, что Людмила где-то здесь.

— Да говорю ж, за тобой убежала! — уже совсем фальшиво пропищал Селиванов, фальшь свою услышал и затрепетал от страха, но не расслабился. И тот удар, что должен был выбить ему челюсть, пришелся по черепу. Почти потеряв сознание, Селиванов шлепнулся на землю. Даже не боль, а страх и ужас сохранили ему память. Полуслепой от хлынувшей на глаза крови, он вскочил на ноги и со щенячьим визгом кинулся прочь. Но

сзади цыганским бичом щелкнул выстрел. Селиванов упал, не понимая, жив он или мертв.

— Встать! — ударил по ушам окрик. Он поднялся на четвереньки. Ему в глаза уставился махонький зрачок револьвера. — Сюда, скотина!

Селиванов сначала пополз, стряхивая с бровей кровь, потом поднялся и, будто ощупывая руками впереди себя воздух, вздрагивающим шагом стал приближаться к Длинному. Он что-то пришептывал заплетающимся языком. Вблизи зрачок револьвера был таким же крошечным, и в этой крошечности сидело полдюжины смертей. И не только для слабых, но и для самых удачливых, ловких, храбрых. Всех сильнее была эта черная дырочка в железке.

— Сейчас ты мне все расскажешь! — яростно процедил Длинный.

— Расскажу! Расскажу... — залепетал Селиванов, торопливо мотая головой. И вдруг осознал, что действительно сейчас все расскажет и поведет и потеряет... Он не мог вспомнить, что нашел он такого ценного, чего не смел потерять, но было оно едва ли не ценнее самой жизни. — Расскажу... Расскажу... — еще лепетал он.

Длинный сунул пистолет в карман и шагнул. Не страх перед побоями, не страх перед смертью и даже не страх утраты чего-то, а скорее неспособность выбрать между этими страхами наименьший и отчаяние от своего бессилия швырнули Селиванова под руку Длинному. Тот от неожиданности только дернулся. Но Селиванов уже прошмыгнул у него под рукой и влетел в раскрытую дверь зимовья.

— Ах сволочь! — взревел Длинный и бросился за ним. У самого порога острый таран чудовищной силы ударил его, и взорванной грудью он рухнул на траву.

Не только жизнь, но и кровь давно покинули тело, а Селиванов все еще стоял за порогом, держа ружье на изготовку. Лежа, Длинный казался еще длинней. Лежал он так, будто вот-вот вскочит. И Селиванов никак не мог решиться перешагнуть порог. Его колотил озноб, он даже руку не мог оторвать от ружья, чтоб смахнуть кровь, залепившую ему правый глаз, и обтереть губы.

На выстрелы примчались собаки. Не подходя близко, они взволнованно топтались в нескольких шагах от Длинного, втягивая в себя запах крови, который, казалось, заполнил всю тайгу.

— Ой-ей! — простонал Селиванов. Выставив ружье, он одной ногой переступил порог. — Господи!

Приблизясь к лежащему, он стволом пошевелил ногу Длинного. С ружьем на изготовку, обошел его со всех сторон. Он не мог принять случившегося. Ему казалось, что он не хотел, даже не предполагал такого. Сидя на корточках перед мертвым, положив ружье на колени, он покачивал головой. Страх прошел, сменившись апатией. Селиванов бы сел или лег на траву, но ему казалось, что кровь Длинного пропитала всю землю вокруг.

«Правду сказал Иван... Убиец я», — подумал он.

Наконец отложил в сторону ружье, подполз к Длинному и не без робости, коснувшись его плеча, перевернул на спину.

— Надо ж! — воскликнул он. Лицо Длинного было точно таким, как полчаса назад, когда тот был еще жив...

«Что же это происходит с человеком? — думал Селиванов. — Все остается тем же — лицо, руки, ноги, а человека уже нет, только гильза стреляная. Неживой человек — уже не человек, ежели в нем жизни нету! Тогда это что ж получается? Человек и есть жизнь? А жизнь — что она такое, если может быть и не быть? Начаться и кончиться? И куда девается, когда кончается? Ведь — шлеп, и нет жизни! А через день — от человека одна трухлятина! Куда ж уходит все это?!»

Он поднял было глаза к небу, но ощутил досаду, такое оно было синее, яркое и само по себе.

«Может, в землю уходит и там накапливается? Может, когда земля трясется, это значит — там много собирается отлетевшего духа человеческого?»

Тут вдруг заныл, засвербил больно рассеченный лоб, и Селиванов вспомнил и о своей ране, и о своей крови, что залила ему все лицо.

— Ну, ты полежи малость, — сказал он Длинному, — опосля что-нибудь сообразим.

И тут же подумал, что могилу придется копать здоровенную, вон какой дылдой вырос! А что толку? В землю, как и всем! Селиванов спустился к ручью, присел на камень и стал мыться. Ручеек был хилый, кровь с лица и рук окрасила воду. Подбежала собака и начала лакать из ручья.

— Кровь мою пьешь, сука! — Селиванов потянулся было за камнем, но передумал. — Пей, хрен с тобой! Чего ей пропадать!

От холодной воды заломило голову.

«Когда болит что, — думал он, шагая к зимовью, — это, надо понимать, жизнь о себе кричит, уходить из человека не хочет. А кому кричит? Себе самой, что ли? Значит, сама о себе беспокоится. Вот беру нож и смолу с дерева сажу на рану, пото-

му что жизнь моя мне так делать велит! Но жизнь — разве не я сам? А шлепнет меня кто-нибудь, я останусь, а жизни во мне не будет. То есть для того, кто меня шлепнет, я еще буду, а для себя — нет! Был бы Бог, тогда всему объяснение простое: отлетела душа к Богу, а гильза ей уж без надобности! А там или ад, или рай, по грехам судя! Не! Ежели б Бог был и рай тоже, зачем тогда людям тут худо жить, все в рай торопились бы! А коли не торопятся, которые попы даже, — они ведь тоже не торопятся и живут не без греха, — значит, и для них это тоже вопросик неясный!»

Селиванов усмехнулся.

«Если б рай был, так как только человек об том узнавал, тут же и пускал бы себе пулю в лоб, чтоб поскорее туда попасть, пока грехов не насовал во все карманы! И жить тогда зачем?..»

Смола раскаленным железом закипела на ране, Селиванов сморщился, задрал голову, зажмурил глаза. Когда открыл, снова взглянул на небо. Оно было все таким же синим и ярким.

«Оно конечно, какая-то тайна в небе есть! Так в чем ее нет? Все кругом тайна и хитрость, и плутовство; и промеж людей, и промеж зверей, и промеж камней! Смолу на лоб кладу для чего? Потому что под ей кровь сохнет и дырку закупоривает! А почему? И ежели на этот вопрос какой-нибудь ученый лекарь даст ответ, то на тот ответ все равно вопрос найдется, чтоб ему руками развести! А коли самого последнего ответа все равно никто не знает, так что проку вопросы задавать?! Один пусть на десять вопросов ответ знает, а другой — на сто, но если еще можно сто первый задать и он заткнется, так нешто он мудрец? Вот Бог бы был...»

И тут Селиванов очень тихой мыслью спросил себя, хотел бы он, чтобы Бог был? Почувствовав кощунство в самом вопросе, он даже вслух сказал: «Понятное дело!» Но про себя, однако, и почти без страха, подумал, что не хотел бы он, чтобы Бог был, потому что, если Бога нету, он, Селиванов — какой есть — на жизнь свою не жалуется, удовольствие в ней имеет, а после, когда умрет, не будет у него ничего — ни хорошего, ни плохого. А если, не дай Бог, Бог есть, тогда совсем другой меркой обмерится его жизнь. А мерка эта может быть такая, что сидеть ему на том свете вечно по уши в кипящей смоле. А там от мук и подохнуть нельзя, чтобы избавиться!

В поисках смолевого кедра он оказался рядом с могилой офицера. Взглянув на нее, удивился, почему смерть хорошего чело-

века, которому он всей душой хотел жизни, не взбаламутила его так, как та, которую сам сотворил, хоть и против своей воли.

«Поди, совесть растормошилась, ведь как-никак, — а убивать грех!» Селиванову приятно было так подумать, и хотелось еще думать о себе как-нибудь особенно, чтоб было и совестно и гордо. Но деловитость — главная черта его характера — начала выявлять себя. И он уже ничего не мог сказать о себе такого, чтоб со смыслом было. Потому наконец он подумал вслух то, что было уже без всякой мудрости, но очевидно вполне:

— Жарко однако! Скоро вонять начнет! Копать надо...

В рубахе, лишь спереди заправленной под ремень, с засученными рукавами Иван колол дрова. Селиванов, бесшумно подойдя к калитке, некоторое время наблюдал за ним, не решаясь окликнуть. А как Иван колол дрова — Селиванову не понравилось. Уж больно лихо взмахивал он колуном. У Селиванова всегда вызывало неприятное ощущение всякое проявление физической силы, но сейчас дело было не в том. Иван играл полупудовым колуном будто напоказ. И чурки разваливались на все стороны от его рук с какой-то угодливой похотью, как кабацкая шлюха перед купчишкой. Селиванов и сам бы справился с любой из них, но делал бы хитро, разгадывая тайну дерева, присматриваясь и примеряясь, преодолевая их сопротивление и упрямство. Иван же словно плевать хотел на хитрость; и казалось: он лишь замахивался, а чурка уже ахала и трескалась ради него в самом невозможном сечении...

Селиванов еще бы стоял у калитки, но собаки, отставшие от него в километре от деревни (кота гоняли), ворвались в чуть приоткрытую калитку, промчались у Ивановых ног и унеслись за дом. Селиванов притворился, будто только что подошел, махнул Ивану рукой и, не распахивая калитки, протиснулся во двор.

— Чего это ты? — спросил Иван, увидев его лоб.

— Об сучок, мать его... — отмахнулся Селиванов. — Ну, как вы тут? Она как?

Иван мялся.

— Сегодня лучше. Вчера плохая была...

— Про отца сказала?

Иван кивнул и покосился на дверь.

— Не понял я, кто он был-то?

— Из тех, стало быть, — с намеком ответил Селиванов, — кто нынешней власти в ножки не кланяется!

Иван нахмурился.

— Не наше это дело, — сказал он угрюмо.

— Понятно, что не наше! Завтра увезу ее в Иркутск.

— Слаба она еще... — неуверенно возразил Иван, и опять не понравился Селиванову.

— Посмотрим!

Людмила сидела у окна, что выходило на рябинник. Увидев Селиванова, вся подалась к нему.

— Ну слава Богу! Что с вами, вы ранены?!

— С чего ранен-то! По темноте шел, на сучок напоролся!

— А он?..

Селиванов повесил ружье, скинул куртку, вернулся к порогу, протер сапоги и подошел к ней.

— Ты обо всем этом не думай! Вон как тростинка стала. А с ним все в порядке! Договорились! Он сам по себе, мы сами по себе! Уехал в Иркутск. Вместе из тайги выходили.

— Почему же проститься не зашел? — спросила она, вся настораживаясь и бледнея.

— Говорит, дела... Кланяться велел...

Она посмотрела ему в глаза, и Селиванов съежился.

— Вы говорите неправду... Что-то случилось? Да?

Селиванов по-бабьи всплеснул руками:

— Ну чего мне, крест целовать, что ли! Говорю, все в порядке! В Иркутске, сказал, зайдет навестить!

Эта фраза была удачной, она изменила выражение ее лица, и только разбитый селивановский лоб да его глаза, не выдерживающие ее взгляда, мешали ей справиться с тревогой. Молчавший до того Иван вдруг сказал грубо:

— Ну-ка, иди привяжи собак, а то мне весь огород вытопчут!

Селиванов благодарно взглянул на него и поспешно вышел, Иван — за ним.

— О чем речь? — спросил Иван.

Селиванов замялся.

— Да был там еще один...

— Ну?..

— Чего ну! Был, да сплыл... Больше нетути! — зло ответил Селиванов.

— Говори толком!

Селиванов потрогал рукой лоб, взглянул на Ивана.

— А может, тебе не все знать надо, Ваня?

— Все равно узнаю!

«Сходит на Чехардак и догадается! Дождем не пахнет... Кровь на траве... Могилы...»

Он вздохнул и сказал виновато:

— Шлепнул я его!

Иван резко схватил его за грудки.

— Ты еще не нашлепался? Да?

— Не хватай! — обозлился Селиванов. — Я тоже жить хочу! Если б не я его, то он меня... Девку он хотел в свое дело взять, а я не дал! Понял?!

— Какую девку?

— Отпусти, говорю! Какую! У тебя что, двадцать девок в доме?

Иван отпустил, недоуменно уставившись под ноги. Селиванов поправил рубаху, высморкался.

— Это мне он вскользь врезал, и то чуть башку не расколотил. Тебе револьвер к морде не подставляли? А? Ну так нечего за грудки хватать! А то ишь какой справедливый! Тот тоже меня хватал, да отхватался!

Селиванов пошел в дом. Иван за ним. Их долгое отсутствие и нахмуренные лица снова насторожили Людмилу. И пока Селиванов умывался, ел, пил чай, она смотрела на него молча и выжидающе.

— Завтра в Иркутск поедем, — сказал Селиванов. Она не ответила. Ей было все равно, где быть и куда ехать.

— Нешто в городе поправишься! — пробурчал Иван.

Потом они с Иваном перекинулись фразами о том о сем, и когда уже Селиванов совсем было успокоился, Людмила подошла к нему вплотную, так что он вынужден был подняться с табуретки, и потребовала тихо, но решительно:

— Расскажите мне все!

— Ну вот! — ахнул Селиванов. — По-новой бабка пошла курей считать. Я ж говорил...

Но под ее взглядом голос его перешел на невнятное мычание, он замолчал, облизывая губы, умоляюще глядя на Ивана. Тот сидел в стороне, не подымая глаз. Селиванов беспомощно плюхнулся на табуретку.

— Он жив? — спросила Людмила.

Тут бы и подхватить, раз она еще надеется, да сочинить чего-нибудь, но в мозгах — студень бараний.

— Да говорите же!

— Не рви душу человеку, коли врать не умеешь! — угрюмо сказал Иван.

Людмила быстро обернулась к нему, испугом зашлось ее лицо.

— Шлепнул он его! — ответил Иван на ее молящий взгляд.

— Как... шлепнул?!

— У тебя что, язык отняло?! — взревел Иван. — Я за тебя говорить не обязан!

— Ну, это... — виновато заспешил Селиванов. — Бить он меня начал, с револьвера стрелял... он в меня, я в его... ну и... того...

Она как-то странно кивнула головой и отошла к окну.

Он подбежал к ней.

— Погибла б ты с ним! Ни за что ни про что! А какое его дело и правда его какая, про то ни ты, ни я не соображаем! А тебе жить надо!

— Вы тоже недобрый... — проговорила она так тихо, что Иван не услышал.

— О том после судить будем! — Селиванов отошел, надел куртку, кинул на голову картуз. — Дела у меня... к вечеру приду...

Хлопнув обеими дверьми, плюнув на заскуливших собак и пнув ногой калитку, направился он куда глаза глядят, поперек чащи рябиновой. Но скоро понял, куда: к тетке Светличной.

— Андриян Никанорыч! — всплеснула руками Светличная. — Господи! Ну как там?

— Самогон у тя есть?

— Сконча...а...ался! — простонала она.

— Глотка горит! Есть али нет, говори! А то в магазин пойду!

Всхлипнув, она провела его в горницу. Селиванов протопал через кухню и сел за стол, покрытый вышитой скатертью.

— Отмучился, значит! — вздохнула Светличная.

— Кто отмучился, а кто нет!

— Крест-то хоть поставили на могилке?

Селиванов махнул рукой. Отстань, дескать! Она фартуком вытерла глаза, подошла к массивному буфету и вытащила двухлитровую бутыль. Принесла картошки вареной, огурцов соленых, луку. Поставила хлеб, стаканы.

— Помянем!

— Царствие ему то самое! — буркнул Селиванов и выпил, не поморщась. Она тоже выпила четверть стакана. Потом они молча жевали огурцы.

— Лоб-то чем?..

Он отмахнулся.

— Сиротку куды девал?

— Пристроил...

Он налил себе еще, выпил и понял, что бесполезно: сколько ни пей, душе легче не станет...

— А что, если девку за Ивана Рябинина отдать? А?

Пришла же в голову глупость! Он ожидал, что Светличная замашет руками, возмутится, — он даже хотел этого. Но она сказала по-другому:

— Ежели полюбятся, так чего ж! Он мужик надежный!

— Да нешто она за мужика пойдет! Благородиева дочка! Ты — того...

Обидно стало до слез. Он резко отставил бутылку.

— Хреновый у тебя самогон!

— Давешний, — охотно согласилась Светличная.

— Муж-то у тебя хохол был, что ли?

— Хохол, — вздохнула она.

— Не люблю хохлов! — задирался Селиванов.

— Всякие бывают...

— За меня пойдешь? — спросил будто между прочим.

Она покачала головой.

— А чего? Еще и детей будем иметь!

Она потупилась.

— Бесплодная я... Оттого и муженек ушел...

— Пошто ж так! — сочувственно сказал Селиванов, не скрывая разочарования.

— Бог знает...

Он схватил бутыль, налил по стаканам. Выпили и снова молча жевали картошку с огурцами.

— Вот ты мне скажи: человеку добро делаешь, а он тебя недобрым обзывает, почему так? А?

Она склонила голову набок и, покачиваясь, тоненьким голоском тихо затянула песню:

Не пойду сегодня в церковь,
Будут милого венчать...
Я не выдержу, заплачу,
Будут люди замечать...

— Нет, вот ты скажи: человеку добро сделал, смерти в рыло глядел, а он тебе говорит: недобрый, дескать...

Зазвенели колоколы,
Мил с другой венчается!
Ой, подружки вы, подружки!
Жизнь моя кончается!

— А другой и ухом не повел, а в добрые попал! Это как, а?

— Обидел тебя кто?

— Кто меня обидел, тот... увидел! Чего с тобой толковать!

Он навалился грудью на стол и то ли песню замычал какую-то, то ли просто заскулил по-пьяному. Так и заснул за столом. И когда Светличная волокла его на кровать, сапоги стаскивала и на бок заваливала, даже голосу не подал. Сама она залезла на печь, задернула занавеску и долго в темноте плакала...

Утром, отказавшись от чая, побитой собакой выскользнул Селиванов из дома Светличной и почти побежал к Рябинину. Там его ждала оплеуха. Сначала Иван не очень уверенно предложил Людмиле пожить еще несколько дней у него. Селиванов не обратил внимания на его слова. Но потом! Людмила сказала коротко и определенно:

— Не поеду!

Иван от радости залился краской и стал противен Селиванову до нетерпения. Он плюнул, кинул за спину мешок, ружье — за плечи и, не прощаясь, ушел. В тайгу.

В его отсутствие и случилось то самое утро, когда кто-то из деревенских, проходя тропой мимо рябининского дома, увидел на крыльце светловолосую царевну, а около крыльца — онемевшего, ошалевшего егеря...

4

Совсем стемнело, а старик Селиванов все еще сидел на колодине вблизи рябининского дома. Но вот в фигуре его наметилось какое-то движение: он фальшиво закашлялся, заохал, неохотно поднялся. И вдруг решительно, твердо направился к дому, в единственном освобожденном от досок окне которого уже мерцала желтым светом лампа.

От того места, где когда-то была калитка, в сплошных зарослях кустарника и сорняков появилась прорубленная, вскопанная и плотно утоптанная дорожка до крыльца, тоже чуть подправленного, ровно настолько, чтобы не переломать ноги.

Селиванов постучал сначала рукой, приставив ухо к двери. Затем — рукоятью трости. Когда послышался скрип внутренней двери и шаги, он отступил на шаг и сгорбился сильней прежнего. Дверь подалась внутрь. Селиванов ахнул и отпрянул на самый край первой ступеньки. На пороге стоял седобородый старик.

— Чего? — спросил он спокойно и равнодушно. Селиванов зашмыгал носом, делая непонятные жесты руками, но и слова не вымолвил, пораженный видом Рябинина.

— Ну?

— Не узнаешь, Иван? Это я, Ваня! — сказал он наконец тихо и взволнованно.

Рябинин смотрел спокойно, и не понять было: то ли вспоминал, то ли не хотел вспомнить... Но вот отступил внутрь, не убирая руки с двери.

— Заходи!

Селиванов притворился, что не понял ответа, и дождался, пока тот повторил.

Он тщательно вытер ноги и прошел через сени в избу. За порогом, снова пораженный, замер. Посередине такой густой черноты стен, потолка, пола и воздуха, что даже лампа ее не рассеивала, в центре, словно принявшая в себя всю слабую силу керосинового пламени, висела или, вернее, парила икона, а лик на ней (что и привело Селиванова в онемение) был писаной копией того, кто впустил его в дом и кто был некогда Иваном Рябининым. Степень сходства могла быть и плодом воображения пораженного Селиванова, к тому же Рябинин раньше бороды не носил. Но само сходство, несомненно, было. И в черных сумерках еще не ожившего дома казалось, что вокруг нет ничего, кроме лампы, висящей в черной пустоте, и двух ликов. Селиванову стало не по себе. Он вдруг перекрестился, но, не завершив креста и будто спохватившись, стал поправлять пиджак. Смущение его и суету хозяин дома заметил, но не отозвался. Он стоял возле стола, рядом с лампой и образом, словно для того, чтобы Селиванов уловил жутковатое сходство. На нем была рубаха навыпуск, перекрытая белой бородой, серебрившейся в свете лампы каждым волоском. На голове — необычный расчес волос, во всей фигуре — особый уклон плеч. Но главное — лицо. Оно было не просто спокойное, а как бы нездешнее, несущее в себе такие тайны, которых ни касаться, ни разгадывать было нельзя.

— Проходи!

Будто и не раскрыл рта Рябинин — усы и борода скрыли движение губ, а голос как из-за спины его вышел. Селиванов трусливо крякнул и засеменил к столу, не отрывая взгляда от хозяина; наткнулся на скамью и, как слепой, нагнувшись, обшарил ее руками.

— Садись!

Селиванов покорно присел, виновато улыбаясь.

— Жив, значит!

— Да, вот... жив... — сказал он, словно сокрушаясь об этом. После паузы добавил: — И ты, Ваня!..

Имя же произнес так, будто сомневался, что перед ним действительно Иван Рябинин, его таежный друг, будто допуская возможность, что под обликом его кто-то другой объявился, кто мог бы и не признать Селиванова или знать его только понаслышке.

А Рябинин стоял прямо, и так же прямо смотрел на него, теперь — сверху вниз, ни одной морщиной, ни одной черточкой лица не выдавая своих дум. Селиванов растерянно забегал глазами.

— И домишко-то... жив... — пролепетал он и совсем жалостно, по-собачьи заглянул Рябинину в глаза. Тот ничего не ответил, обошел стол и исчез в темноте дома. Селиванов и обернуться не посмел. Там, за его спиной, послышался стук посуды, что-то передвинулось, что-то открылось и захлопнулось. Потом Селиванов увидал руки Ивана, через его плечо поставившие банку тушенки и стаканы. Правая рука, чуть задержавшись на столе, через мгновение мягко легла на его плечо и пробыла ровно столько, чтобы Селиванов начал шмыгать носом.

Пальцами робко коснулся он этой руки. И было мгновение, когда все вокруг поплыло тоскливой, счастливой каруселью. Селиванов, не стыдясь, всхлипнул и тоненько сказал: «Ва-аня!» А когда рука друга ушла, плечо долго еще благодарно ощущало ее.

На столе уже стояли тарелки и сверкали новенькие вилки и нож, купленные день или два назад; они были точь-в-точь, как в столовке зверопромхоза. Селиванов взглянул на них (не для охотников такое!) и вытащил из кармана поллитровку. Он попривык уже к сумеркам и смог рассмотреть, что все вокруг чисто и к месту прибрано. И хотя следы полного разграбления дома (куда их денешь?) вопиют о себе, но в доме — человек, и дом оживает, даже с заколоченными ставнями (кроме одного окна), приобретает зрение и дыхание. Но сырость, запах тварей, ползающих и летающих, бродячих кошек и собак, запах земли, что подступила ко всем прогнильям пола, вместе с чадом лампадки перед иконой (Селиванов все не мог рассмотреть, как она закреплена, будто в воздухе висит) напоминали ему чье-то отпевание (может, и деда), что сохранилось с детства самой потайной памятью. И потому, когда разливал водку в стаканы, почудилось, что на поминание разливает.

Пододвинув Ивану стакан, он поднял на него глаза и взглядом спросил, можно ли ему радость свою показать и выразить лицом и словом. Иван перекрестился, без важности, а как в порядке вещей, сел на скамью напротив Селиванова, взял стакан в руку, но не поднял, а долго смотрел то ли на него, то ли сквозь. И Селиванов успел разглядеть его пальцы, будто обрубленные по половинкам ногтей, сплющенные и грубые настолько, что вроде бы и сгибаться не должны. Таежное дело — тоже грубость, но тайга так руки не уродует. Когда стаканы подняли наконец и сдвинули без тоста (Иван молчал, а Селиванов не решился) и пальцы их соприкоснулись и оказались рядом, он затрепетал перед теми годами и дорогами, которые прожил и прошел его друг. И подумалось ему, до чего ж он, Селиванов, везучий, и трижды «Господи» в уме произнес без всякой конкретности, но означало это, что благодарит он судьбу свою за то, какая она есть.

Выпили, поморщились, вяло пожевали тушенку.

— Рассказывать чего, али сам все знаешь? — спросил Селиванов. И опять побоялся Ивану в глаза посмотреть. Уж, кажется, совесть его чиста была, — более того, имел все основания для благодарности со стороны Ивана, а в глаза глядеть не мог по той вине, какая может быть между живым и мертвым, удачливым и неудачливым, прямым и горбатым. Но нужен был ответ Селиванову, потому взглянул Ивану в лицо и увидел в глазах тоже страх. Иван боялся услышать правду, которая, будучи незнаемой, была надеждой; и ею можно было жить всю жизнь, и даже жизнь продлить ею можно, когда каменья градом сыпятся. А правда? Она что? Она — факт! И может оказаться последним камнем на шее...

Рябинин сглотнул слюну так, что борода дернулась, и сказал глуховато, вроде и без волнения:

— Ничего не знаю. Говори! Да не шибко длинно...

Это означало, что если ничего хорошего сказать не можешь, не тяни резину. Селиванов так и понял.

— Дочка у тебя есть, Ваня, и внучок...

Снова дернулась борода Рябинина. Спокойные до того момента глаза словно напряглись изнутри — не то болью, не то радостью, не поймешь... И еще глуше спросил Иван:

— А жена, значит...

Селиванов опустил глаза, сжался плечами, пальцы забегали по краю стола.

— Давай рассказывай... налей сперва...

Выпил он, не дожидаясь Селиванова, перекрестился, словно храбрости просил у Бога, и грузно навалился локтями на стол.

— Говори, не тяни душу!

— Ну, значит... — спохватился Селиванов и отставил невыпитый стакан, — как тебя повязали, я поутру еще, до петухов, с телегой подкатил, погрузил их, вещички прихватили кое-какие... на окна да на двери — кресты, и обходом на Кедровую, а оттуда в Иркутск, к тетке моей, по отцу которая. Она еще в двенадцатом годе за фабричного вышла... Боялся я, Ваня, что Людмилу твою пометут за происхождение, как дознаются... У тетки их пристроил с дочкой, а сам — назад, разведать, за что тебя-то. Был слушок, что тебя тоже в Иркутск увезли...

— В Иркутск, — мотнул бородой Иван.

— Во! Я так и сказал ей, дурья моя голова, что здесь где-то Иван, в централе, может. Она в ноги: поди, говорит, узнай, из-за меня, говорит, пострадал Ванечка! Ну а куда я пойду, ты сам теперь рассуди! Кто чего сказал бы мне? А она руки целует, иди, говорит. Ну, я по Иркутску пошлялся, вернулся, говорю: узнал, тут он, разбираются, можа, по ошибке повязали, отпустят... Ты, говорю, подожди недельку, если не отпустят, я снова пойду...

В горле у Селиванова пересохло, он прикашлянул; вспомнив про водку, почти залпом проглотил, что в стакане было, и на закуску не взглянул.

— Тут, конечно, я виноват, Ваня, и можешь ты меня казнить, как хочешь... только оставил я ее у тетки и сбегал в тайгу на пару дней, дела были, пропади они пропадом, да ведь кто знать мог... Только, когда в Иркутск приехал снова, Людмилы уже не было. Тетка — в страхе, дите у ней на руках в слезах... Сказала она, что идет Ваню выручать, и пропала... И все...

Иван грохнул кулаком по столу так, что Селиванов подскочил и от стола отодвинулся. Но взял себя в руки Рябинин, только глаза закрыл. И так, с закрытыми глазами, сказал:

— Дите ж должно было быть... сына ждали...

Селиванов виновато молчал.

— А дочь?

— А дочь... все в порядке, Ваня, — заговорил тот быстро и облегченно. — Вырастили! Нужды она не знала, сама тебе скажет! Выучилась она на учительницу, замуж вышла, за учителя тоже... Ничего мужик...

Последнее Селиванов проговорил не очень уверенно и, поймав вопрос в глазах Рябинина, поторопился разъяснить:

— Муж он ей хороший, ей-богу, не обижает... Шибко партийный он только, у меня с ним разговору не получалось...

— Дурак, что ли?

— Чтоб сказать дурак, оно вроде и нельзя! Сам увидишь! Людишки так вокруг все поизменялись... Жить-то полегче стало. И оно понятно! Ежели один будет пахать с утра до вечера, то другой грабить будет не успевать... Да и власть вроде в лютости поостыла, а мужик ей тут же гимну подпоет под ее ж трубы... А людишки, они теперь, окромя взаправдашних дураков, безглазые какие-то... Смотришь им в зенки, а там только большой кружочек да малый. Малый туда-сюда бегает... А жизни в ем нет! Глядишь на человека, а человека не видишь! Ему сс...ь в глаза, а он тебе про культю личности...

— Не мели! — с досадой перебил его Рябинин. — Дочь-то про меня знает?

Селиванов опять глазами забегал.

— Ты ведь, Ваня, того, враг народа... Как бы ей жить-то? Пытала она по детству, где, мол, мамка да папка... Ну, говорил, мамка, дескать, померла по болезни, а папка, ну это... пострадал, мол, безвинно.

Увидев страдание на лице Ивана и белеющий в костяшках кулак, он снова заспешил:

— Но худого слова про тебя не было, Ваня, сама тебе скажет!

— Как она скажет, — простонал Рябинин, — если не ждет меня! А если объявлюсь, каким глазом посмотрит на меня, каторжника!

— А как я ей скажу, так и посмотрит, и никак по-другому! — вдруг заносчиво вскинулся Селиванов.

— Ты?!

Селиванов смутился.

— Баловал я ее, Ваня. Любит она меня, сукиного сына! Я ж ее мехами, как королеву, разукрасил! А в Иркутск без гостинца не приезжал! Все мои стволы на ее работали! Да и я к ней прилепился сердчишком...

Тут ему показалось, что наболтал лишнего, и поторопился загладить болтовню.

— Но ты на меня ревность не имей, Ваня! Я ведь, если по правде, и сам тебя уже не ждал... А теперь я ее тебе передам, как в рамочке! Когда скажешь, и поедем! Хоть завтра. А?

— Поедем... — неуверенно ответил Иван. — Кончай банку!

Селиванов разлил по стаканам остатки.

Электричка моталась, дергалась и будто спотыкалась о каждый километровый столб. Защелка в двери купе не работала, и дверь со скрипом елозила туда-сюда. Мимо купе все время сновали люди: кто сходил, кто садился, кто бегал из вагона в вагон. И в купейном вагоне не было спасения от суеты и шума. Ягодники с горбовиками и ведрами понабились в тамбуры, и оттуда в вагон клубами шел дым и гомон с непременным матом и анекдотами.

В купе несколько раз заглядывали, но увидев двух насупившихся стариков, проходили мимо. В соседнем купе бренчали на гитаре и орали какую-то дребедень. Все это мешало и думам и разговорам.

— Если тебе десять дали, пошто так долго был?

Рябинин смотрел в окно, ответил не сразу:

— Тяжко было. В побег ходил.

— В побег! — удивленно воскликнул Селиванов. — Так чего ж сюда не прибег?! Кто тебя здесь нашел бы?! Жил бы как царь таежный!

— Досюда добраться надо! — угрюмо ответил Рябинин. — Три раза я из лагеря уходил, и в первой же деревне вязали!

Селиванов хлопал глазами, корежась от стыда за друга.

— Да как же ты давался им? Неужто никто не уходил!

— Уходили, — вздохнул Рябинин. — Да только с кровью... А я того не хотел!

Наткнулся на непонимающий взгляд Селиванова, пояснил:

— Я себе воли за чужую жизнь не хотел! Не понять тебе...

— Точно! Не понять! Ни за что ни про что хапанули человека, загнали в загон, да чтоб за свою волю глотки не рвать — я того понять не могу! Ты уж извини, Ваня, только так вам и надо, стало быть, коли волю ценить не умеете. Хомутники!

Он раздраженно стучал ногой по полу и барабанил пальцами по столику у окна.

— А на что она, воля, — спокойно возразил Рябинин, — когда без облика человечьего останешься? Она — звериная воля получается! Я на зверей насмотрелся...

— А что полжизни в яме провел, это ты облик сохранил, да? А на что ж тогда жизнь? И на кой хрен бежал, если уйти не надеялся? Сроку себе прибавлял?

Рябинин поморщился досадливо.

— Говорю, не поймешь! Невмоготу было... Иной раз скажешь себе: нынче на все пойду! А не получалось! Из зоны уйдешь, на дороге мужика встретишь и знаешь: сейчас побежит и расскажет, и найдут по следу... А все думаешь, может, не выдаст, рожа у него человечья, а почему бы душа — нет?

Селиванов хлопнул ладонью.

— Я этого не понимаю и понимать не буду! Но вот, не в обиду будет сказано, ты в Слюдянке напервой в церковь потопал, попу ручку целовал... Бог-то, Он чем тебе в яме помогал той?

— Помогал, — ответил Рябинин. — А чем, про то ничего сказать не могу... Не потому, что слов нету, а потому, что ты этих слов не знаешь.

Тот раздраженно хмыкнул.

— Не тебе Он помогал, ежели Он есть, а мне, и потому я своей волею жизнь прожил и никакая стерва меня с моей тропы не согнала! А ты для воли своей руки не хотел марать...

— Души, а не руки! — поправил Рябинин. — Руки — что!

— Ну, пусть души! А чего ж Он тебе не помог уйти, чтоб и душу соблюсти, и воли не терять?

— Не надо об этом, Андриан! — попросил Рябинин. — Ни до чего мы не договоримся! Ты свое прожил, я — свое! Чего меряться-то?..

Селиванов налег грудью на столик.

— Так ты что, жизнь свою не жалеешь нисколько?!

— Жалею! — вздохнул Рябинин. — Но, кроме жалости, еще и другое понимаю кое-что, в другой раз поговорим... Невмоготу мне сегодня! Сам знаешь, куда еду!

Неспроста задирался Селиванов на разговор. Конечно, он был рад возвращению Рябинина, но с его возвращением что-то хрустнуло в жизни Андриана Никанорыча, и не только в жизни, но и в теле. Вдруг поясница заговорила, и ноги отяжелели, в руках — дрожь, как у алкашей совхозных. И это все сразу, почти в несколько дней. Самое худшее: вдруг потерял интерес к тайге. Неделю занимался устройством дел Ивана, дом чинил, участок приводил в порядок, обшивал и одевал друга, чтоб как все люди, — и за эти дни даже не вспомнил про тайгу. А когда вспомнил, затрясся от удивления: не тянет его туда! Тогда поступил вопреки желанию: отсрочил поездку в Иркутск (хотя до того сам торопил Ивана, никак не решавшегося показаться дочери), а сам побежал в тайгу на Гологор, где обитал последние годы. И там прихватила его простуда, чего отродясь не бывало, чтобы

летом к тому ж. А и дел-то всего — ноги в болоте промочил! На третий день вернулся и провалялся у Рябинина несколько дней, так крутила и вертела его болезнь. Стыдно было перед Иваном. Когда окреп, снова побежал в тайгу, словно проверял себя. Гульнул с бичами* на базе, а когда вернулся в зимовье свое, то понял: кончилась для него таежная жизнь. Отлетела тайга от души и стала где-то рядышком, особняком.

Было и другое. Иванову дочку и внучонка до недавних дней считал своими. И хоть зятя не любил, побывка в Иркутске, пусть два, пусть три раза в году, была его душе отрада. Теперь, с возвращением Ивана, кто он им? Пусто стало. Больно. Да и вся его жизнь (разве не гордился ею?) вдруг стала задавать Селиванову вопросы о себе: дескать, что она есть, к примеру, перед Ивановым Богом? Ведь если для Ивана Бог есть, а для Селиванова Его нету, то Иванов-то Бог на селивановскую жизнь тоже со Своей колокольни посмотреть может! И как же она ему при том покажется? Селиванов возмущался. То есть как она еще может показаться?! Кто больше сделал добра — он или Иван? Кто офицерскую девчонку спас? Кто Ивана осчастливил? Кто ему дом сохранил? А мешок денег, что накопил Селиванов за годы, они, деньги эти, на кого теперь пойдут?

А что Иван сделал за свою жизнь путного? Он, вишь, души марать не хотел! А при всем том у него свой Бог имеется! А чем он Его заслужил?

Селиванов путался в своей обиде, словно кляча в порванной упряжке. Все годы до исчезновения Ивана он жил тайным превосходством перед ним, оно никому не шло ни во вред, ни на пользу, у Ивана ведь тоже было свое превосходство перед ним! Даже тогда, когда Иван женился на офицерской дочке, когда она, эта благородиева, невзлюбила Селиванова, когда своим розовым коготком провела царапину по их дружбе, когда появилась в доме кричащая малявка и Ивану вообще было не до него, — тогда самое главное оставалось на месте. А теперь, когда и жизнь-то уже доживается, когда Селиванов почти готов к тому, чтобы плюнуть на всякие превосходства и вздыхать одним голосом с другом, пришедшим с того света, теперь вдруг закачалась, зашаталась стволина его уважения к себе. Или другое что произошло в душе, но стала она болеть, как поясница перед непогодой...

---

* Бродяги. — *Ред.*

Еще представлялось Селиванову в те годы, когда думал он о старости своей, что когда придет она (куда от нее денешься?), то будет он за свою жизнь мудростью и спокойствием души награжден, когда на все смотрится с высоты прожитого и ничто возмутить дух неспособно. Так и видел себя: с прищуром и спокойной усмешкой ко всему — к словам, делам, суете всяческой. Правда, старость не приходила, хотя года обступали так плотно, что все скучней и скучней становилось считать их. До недавних дней и вовсе не ощущал старости, а когда вдруг взглянул ей в очи, оказалось, что никакого спокойствия нет, а, напротив, думы — одна больней другой, а душу скребут те чувства, которые к лицу сопляку неоперившемуся, а не ему, Селиванову, жизнь свою прожившему с понятием обо всем, что в жизни понимания достойно...

— Слышь, Ваня, заметил ты, этот ханыга с фотоаппаратом уже третий раз заглядывает? Чего это?

Рябинин равнодушно пожал плечами и не оторвался от окна, в которое смотрел или просто отвернулся, чтобы с мыслями наедине побыть.

А молодой человек в свитере не по сезону, в туристических брюках, с фотоаппаратом и большой планшеткой на боку снова заглянул в купе и на этот раз задержался в дверях, осматривая обоих стариков.

— Извините, я не помешаю вам, если сяду здесь?

— Места не закуплены! — не очень-то радушно ответил Селиванов. Но парень сел именно рядом с ним, правда, на почтительном расстоянии. — Турист? — спросил Селиванов, не скрывая недоброй интонации.

— Художник я... У вас, кажется, был тут серьезный разговор... Я не решался помешать...

Рябинин взглянул на него бегло и снова отвернулся.

— Извините меня, пожалуйста... — неуверенно продолжал тот, обращаясь как раз к нему, — я художник... мне нужен типаж... то есть я хочу сказать, если позволите, я попробовал бы рисовать вас...

— Вань, слышь! — окликнул Рябинина удивленный Селиванов. Тот пожал плечами и тоже удивленно посмотрел на парня.

— Зачем тебе?

— У вас, как бы это сказать, лицо очень характерное... для художника находка...

— Ишь ты, находка! — ревниво откликнулся Селиванов, и, уловив эту ревность, художник поспешил объяснить, чтобы предупредить неприязнь.

— Всякий человек по-своему неповторим, но мне для работы определенный типаж нужен...

— Рисуй, коли он тебе понравился! — прервал его Селиванов. — Только все ли твой глаз подметить способен?

Торопливо раскрыв планшетку, парень вынул чистые листы, подложил картонку, достал два карандаша и тем, что потоньше, сразу черкнул несколько кривых линий. Электричка дергалась и моталась, и руки его напрягались. Селиванов же отодвинулся, показывая, что его это баловство нисколько не интересует. Но какое-то беспокойство мешало ему сохранить равнодушный вид, и он то и дело зыркал глазами на карандаш, торопливо бегающий по бумаге; но что там происходило, видеть не мог, потому что далеко отодвинулся.

— А ты бы все ж объяснил мне, темному человеку, чего это ты именно его рисуешь?

— Ну, я не только его, я многих рисовал. Если хотите, покажу! — Он было полез в планшетку, но Селиванов махнул рукой.

— Кого ты там рисовал, это твое дело! А вот он тебе чем приглянулся? Борода, что ли, понравилась?

— И она тоже! — улыбнулся художник. — Когда-то с таких лиц писали святых...

— Слышь, Иван, к святым тебя причислили!..

И Селиванов залился нервным смешком. Рябинин не то чтобы смутился, но почувствовал себя неудобно и нахмурился, косо взглянув на художника.

— Значит, облик тебе его понравился? — язвительно хмыкнул Селиванов. — А где он этот облик заработал, не хочешь знать?

— Андриан! — одернул Рябинин.

— Да молчу, молчу! Это я так...

Но парень перестал рисовать и, вопросительно взглянув на Селиванова, уставился на свою модель. Потом сказал задумчиво:

— Мой дед по матери тоже... заработал, как это вы сказали, облик. Только совсем другой... У него тоже была борода... А под бородой — страх...

— А у него что ты видишь под бородой? — съехидничал Селиванов.

— Теперь уже не знаю, — тихо ответил парень, взглянув на листок. — А сначала... все наоборот...

— Да уж будь уверен, — гордо заявил Селиванов, — мы не из того дерьма вылеплены, что твой дед! Мы сами кого хошь на страх возьмем!

— Ну почему же, — возразил художник, — мой дед — из старых коммунистов! С бандами воевал, коллективизацию проводил. А вернулся оттуда в страхе и умер... почти от страха... Я его, конечно, не сужу, там не курорт...

— Не верю, что сможешь нарисовать! — категорически заявил Селиванов. — Докажи, что можешь! Рисуй! А то уже Иркутск скоро!

— Почему вы не верите? Вы же не видели...

— Рисуй, потом поговорим! Во! К нам еще пассажиры!

Животом проталкивая впереди себя громадную корзину, полную, видимо, ягод и поверху закрытую листом осины, в купе втиснулась полная низенькая женщина лет пятидесяти, в мужском пиджаке, юбке чуть ли не из солдатского сукна и в резиновых сапогах. И хотя Селиванов довольно приветливо встретил ее, она усаживалась и устанавливала корзину с таким видом, будто отвоевывала принадлежащее ей по праву, но присвоенное кем-то. Красными, слезящимися глазами враждебно осмотрела всех, поджала губы и уставилась в точку между художником и Селивановым. Поезд дернулся.

— У, гад! Будто не людей везет, а скотину! — проворчала она зло.

— Ягодку собирала? — елейно спросил Селиванов.

— А чего ж еще! Будь она проклята! — ворчливо ответила женщина.

— А кто ж неволит-то?

Она насупилась.

— А ты попробуй на мою зарплату пожить, потом спрашивай!

Глаза ее сильней покраснели и заслезились.

— А у нас тут вот художник... — Селиванов кивнул на паренька, — хошь, он твой портрет накатает во всей красе?

— С жиру бесятся! — отрезала она, отворачиваясь с обидой.

Художник удивленно взглянул на нее, на Селиванова и снова на нее.

— Почему же? Это моя работа...

— Работа! — презрительно хмыкнула женщина. — А ты бы попробовал за прилавком десять часов простоять да три тонны картошки перевешать! А тебя еще кто хошь облавкает как собаку! А домой придешь, там свой паразит нажрется как свинья, и обмывай его!..

— А ты прогони его да работу полегче найди! — посоветовал легкомысленно Селиванов.

— Дурак старый! — закричала она, всхлипывая. — Такие, как ты, баб до сроку в гроб и загоняют! Убивать вас надо, паразитов!

— Зачем шумишь? — сказал спокойно Рябинин. — У каждого своя беда.

— Да у тебя-то какая?

Но, взглянув в лицо Рябинина, сникла, швыркнула носом и замолчала. И все молчали, пока в окне не блеснула слюдою Ангара. Поезд прибывал в Иркутск. Ни с кем не прощаясь, женщина, водрузив корзину на живот, выкатилась из купе.

— Ну, покажь, что намалевал!

— Не успел! — буркнул художник.

— Э! Так не пойдет! Покажь! — потребовал Селиванов.

Рябинин тоже поглядывал на листок. Селиванов взял рисунок, и лицо его помрачнело. На нем был Иван, всякий узнал бы. Но еще больше там был тот самый святой, чей образ висел в доме Рябинина. И Селиванову стало так тошно, что он, не показав рисунок Ивану, сунул его художнику.

— Убери свое малевание!

Парень пожал плечами.

— Спасибо! До свидания! — сказал он холодно и выскользнул из купе.

— Тебе ни к чему видеть было, — угрюмо пояснил Селиванов. — А то начнешь на лопатках крылышки выщупывать! — Он покачал головой. — Надо же! Сопляк совсем, в мозгах понос, а рука умная! Как это так может быть, чтобы рука умней головы была? И ты вот что мне скажи, Иван: почему люди своим хомутам преданы? Вот эта баба. Пошто терпит и мужика своего, и каторгу? Я бы повесился! Как можно жизнь терпеть, когда она нестерпима?! Ведь баба волчицей стала с такой жизни, а за хомут держится! Ты приглядись, Ваня: все злы, как волки, а все пашут и пашут, и копытами не взбрыкнут! Зверь и тот умней, он ищет, где лучше! Пасти обидчикам рвет! Ведь вот заяц, к примеру, на что трусливая тварь, а если коршун его на пустыре берет, так он на спину хлопается и когтями коршуну кишки выпустить может! А с людьми-то что сталось? Промеж собой хуже волков, а с волками хуже зайцев!

— Приехали... — Иван поднялся и снял с верхней полки чемодан.

Селиванов вздохнул и тоже поднялся. Они вышли последними.

— На трамвае поедем?

— Ты что, рехнулся? — гордо вскинулся Селиванов. — Я по тайге всю жизнь мотался, чтобы на этой трясучке ездить? — И потащил Рябинина к стоянке такси.

— Куда поедем, диды? — весело спросил парень-таксист.

— За Ушаковку! — важно ответствовал Селиванов, разваливаясь на сиденье. Рябинин, покосившись на счетчик, как на ползучего змееныша, тоже устроился удобнее, а откинуться на сиденье его заставил лихой рывок таксиста.

— Ты помягче, помягче! Нам прыть ни к чему, — проворчал Селиванов.

С ангарского моста открылся вид на Иркутск. Иван вздохнул без сожаления.

— Не узнать города!

— Причесали! — согласился Селиванов. — Погляди, как людишки одеваться стали! А ты костюм одевать не хотел! Все свое потомство перепугал бы в том виде!

— И так, поди, перепугаю!

— Не боись, Ваня! — успокоил тот. — К своей родной дочке едешь. А отец, он ведь всегда — отец! Кровь — она главнее всего, она всегда свое слово последним скажет!

— А все одно тревожно на душе! — вздохнул Рябинин, запустив пальцы в бороду.

— Давно дочку не видел? — спросил шофер, не оборачиваясь, но в зеркальце встречаясь взглядом с Рябининым.

— Давненько, — ответил он неохотно.

— Понятно! Бывает.

— Ишь ты, понятливый какой! — усмехнулся Селиванов.

— А чего ж тут понимать! Не первого такого везу! И поразговорчивей бывали! Так что соображаем, что к чему!

— И чего ж хорошего рассказывали те, что говорливые?

— А мы чужих разговоров не пересказываем! — со значением ответил шофер, в зеркальце подмигивая Рябинину. — Из каких будете-то? Из «высоких» или из простых?

— Что?

— Это он спрашивает, из мужиков ты или из звездачей! — пояснил Селиванов. — Из мужиков он!

— Понятно! И много вас там было?

— А сколько осталось, не интересуешься?

Шофер обернулся, удивленно посмотрел на Рябинина.

— А чего, разве не всех выпустили? По культу-то?

— Во! — довольно крякнул Селиванов. — И у этого в мозгах понос! А ты, поди, думал, что у тебя вся правда на ладошке? Направо давай! К новым домам!

Шофер торопливо закрутил баранкой, съезжая в море грязи и спотыкаясь всеми четырьмя колесами на невидимых выбоинах. Рябинин в зеркальце видел его сумрачное лицо.

— Ко второму дому, последний подъезд!

Когда Селиванов расплачивался, шофер спросил:

— Останетесь тут или подъехать, когда скажете? Это я могу...

Селиванов расчувствовался.

— Спасибо, милок! Только сам не знаю, как дело обернется.

— А вы тоже там были?

Селиванов показал кукиш...

У самой двери Иван взял Селиванова за рукав.

— Погодь! Отдышаться надо... Может, сперва один зайдешь, скажешь: так, мол, и так...

— Ага! — язвительно закивал Селиванов. — Так, мол, и так: за дверью папаня ваш стоит, можа, пустите в дом?

— Не понимаешь ты...

— Чего не понимаю, того Бог не дал понимать! Мне своего понятия хватает! А ты свое понимай! Ты ни перед кем вины не имеешь! А пусть мне покажут, кто перед тобой не виноват! Пошли!

И он нажал на звонок.

Взяли длинную, на палец разведенную пилу и распилили человека повдоль, и осталась только половина человека!

Знать бы Ивану, как дело повернется, да разве стал бы он приставать с законом к этому гаду бровастому? Да шут с ним! Пусть бы настрелялся вдоволь да смотался в город. И ничего бы не было... Ничего бы не было? Только подумать, ничего бы не было! Как подумаешь, выть хочется по-звериному и колотиться головой, бить и крушить все подряд! Но ни бить, ни крушить нельзя. Можно только выть негромко, и мотать головой, и царапать ногтями стриженую голову...

За шиворот схватил он в тайге браконьера, не первого за свою службу, зато последнего. Чином оказался! И «пришили» террор и связь с бандой... Закричал Иван в суде лихим голосом

о правде, позорно это было: здоровенный мужик орет, выпучив глаза; и непонятно — то ли растерзать всех готов, то ли на колени упасть... И то и другое мог сделать, да не дали. Торопились.

Распилили человека пополам, душу распилили в день цветения, в день радости. И рвал на себе рубаху Иван, и говорил себе сурово, что так ему и надо, что — слишком большое счастье, не по себе отмерил! Не зря долго поверить не мог, не зря же ночью просыпался и свечу запаливал, чтобы увидеть лицо жены на подушке рядом: она ли, мол, не приснилось ли?!

Первый год в неволе каждый день отсчитывал, как жизнь кончилась. После просто годовщины отмечал: что было в этот день два, три, четыре года назад. Тогда-то вот в этот же день, во столько-то часов зашел Селиванов в дом, а за спиной его *ОНА* стояла; а в такой-то день и в такой-то час, когда сидит он теперь в пересылочной камере, сказал он ей тогда языком корявым, что, дескать, может быть, поживет она у него еще малое время. А потом, это было в час вечерней поверки, тогда сказала она ему, что хороший он человек! А четыре года назад в эту ночь... Господи! Да было ли это? Уж пусть бы лучше не было! Пусть кто-нибудь скажет, что не было, хоть в шутку скажет, что не было ничего этого, что придумал, что с рождения и по сей день горизонтом ему запретка, а все остальное — приснилось!

Но у всех, с кем ни заговори, было такое же, и все разрезаны пополам, мыкаются друг с другом полулюди и рвут друг другу души своими горестями.

И сколько вокруг их, людей! Из одного места — в другое, оттуда — в третье, и везде люди, и вокруг них проволока! Господи! Да остался ли кто еще там, по ту сторону? А может быть, той стороны уже и вовсе нет? А вся земля — одни круги и квадраты заборов и запреток!..

Но нет! Из щелей пересылочного вагона видна жизнь. Да разве легче оттого, разве не больнее?

А еще были запахи! От запаха пошел Иван в первый побег и срок себе удвоил. Слыл он тихим мужиком. Вел его солдат одного по лесу, и вдруг на пути — рябинник, да как ударит знакомым запахом: голова закружилась, дыханье замерло, в глазах — туман. Кинулся на штык, вырвал винтовку, разломил ее пополам об дерево и побежал... И выбежал... на соседнюю зону.

И потом еще сколько раз, чаще ночью, вдруг наплывали запахи: то домашние, то таежные, но еще тошнее — запах тела женского! И на глаза тьма опускалась от бровей, руки кусал, чтобы выбраться из омута.

На воле снов не знал. А тут пришли, да все про самое главное и потаенное. То поперек таежной тропы на колючую проволоку натыкался, пытался обойти ее, а ей нет конца — она сквозь деревья, пни и скалы проросла поперек жизни; или жену пытался целовать, а губы судорогой сводило; или из дому пытался выйти, а дверь с улицы заперта, на окнах решетки, а в двери дырка для кормушки; или медведя брал на мушку, а ствол тряпкой оказывался, а убежать не мог, ноги стопудовые стали. Это были сны страха. А были сны слез. Вдруг с крыльца барачного подпрыгивал он в воздух и взлетал над зоной, и вылетал из нее, а козырек на вышке мешал солдату стрелять, и солдат выл от злости, что улетает его внеочередной отпуск. Или вдруг, опустившись на колени перед нарами в поисках чего-то упавшего туда, обнаруживал под нарами лаз потайной, спускался туда и шел долго, а потом, ступеньками вверх, оказывался в подполье своего дома в Рябиновке, поднимал крышку руками над головой и видел радостное лицо жены и дочку-крохотульку, на него пальцем показывающую.

Просыпался в слезах и не презирал себя за них.

Сколько лет прошло, когда стала сивой дымкой подергиваться прошлая жизнь, потом — туманом, потом — стеклом заиндевелым, а потом стала эта прошлая жизнь будто и не его вовсе, а кого-то другого, за кого душа лишь стонала иногда, но не болела. И тогда душа стала рождаться заново. Среди людей и нелюдей встретились люди другого мира, и он потянулся к ним, к их спокойствию и невысказываемой мудрости. И не понятием, и не принятием, а чувством познал их истину. Оттаяло замерзшее стекло, и открылся мир без конца и края, без начала и конца, и всякий человек за спиной в том мире отражался лишь добром своим и всем тем, что едино у людей. Вокруг было много объясняющих, рассуждающих, злобствующих и поломанных. Раньше он всякого пытался понять применительно к своей судьбе, но у каждого был свой язык и свои слова, а судьбы — разные, и были все чужими. Теперь же каждый открылся единой бедой и страданием, а в утешении и помощи становился братом.

Не гладок и не ровен был путь Ивана Рябинина и после того, как пришел к вере. Были срывы, сомнения хватали за горло, душили приступами отчаяния. Тогда взрывался он бесовской силой и совершал поступки дикие и нелепые. А как тому не случаться, когда изнасиловано естество человеческое, поруганы душа и плоть, когда сам облик людской искажен силой неправ-

ды! Но после, когда приходил в себя, каким чистым светом озарялась душа и высвечивала в себе всю темноту неизжитую...

Однако с неволей не смирился, никогда, ни единым словом не благословил ее, потому что если и понимал ее как благодать для прозрения, то не от добра, не от хорошей жизни объявилась для него нужда в этой благодати. Не может человек благословить боль, когда ножом вскрывает загнившую рану, чтобы предотвратить смерть.

И потому уходил в побег. Уйти или дойти уже не надеялся, но именно потому и уходил, что боялся привыкнуть к неволе. Боялся не срока, боялся забыть подлинный облик свой, облик человека, для свободы рожденного.

Первую прибавку к сроку принял как беду непоправимую. На вторую — вздохнул тяжело. Третью — не почувствовал. А когда помер самый главный начальник всех лагерей и когда начали выпускать безвинных, а его это не коснулось за то, что убегал и терпения не проявил к судьбе, тогда был самый тяжелый для него год, когда чуть было не порушил веру в себе, чуть руки на себя не наложил с отчаяния. И потом, когда опомнился, не обнаружил уже в себе жизни обычной, что состоит из надежд и грез, и всем внутренним взором обратился к той жизни, которая есть истинная правда обо всем и про все. По-новому зазвучали для него слова молитв, а каждое слово такую тяжесть в себе выявило, что произносил его одно, а высказывал в нем тысячу. Душа зацвела новым цветением, и радости мира, коих лишен был неволей, пережились многократно и полно, и полнее потому, что, отрекшись наконец от жизни внешней, открыл себе глаза на жизнь, что в нем пребывала неуслышанной и неувиденной. Познал гордыню в себе и то, какую радость она удавливает в человеке. Когда в первый раз на минуту лишь испытаешь, каково пребывать в простоте сердца, после того гордыня горбом покажется! Воистину горбом, потому что при отречении от нее полностью — вся плоть в человеке вопиет противностью.

Однажды, без особой мысли об том и без всякого лицедейства, вдруг взял и простил обидчика. Раньше тоже, бывало, прощал, но всякий раз, как в табель заносил норму выполненную. А тут вдруг почувствовал, что не по долгу перед Богом простил, а просто обида сама ушла, будто ее и не было. Невелика была обида, да разве в том дело! Дело в светлости на душе, словно в затхлости карцера глотнул воздуха послегрозового. А после забыл и об обиде, и об обидчике, но весь словно замер, постигая

в себе новое состояние тихого и радостного мира. Будто заходил он в домик, видимый со стороны всеми своими стенами по причине малости, заходил, — и оказывался домик внутри громадным и светлым дворцом, с бесконечным числом залов, лестниц и коридоров. И когда, вызываемый снаружи голосами суеты, возвращался и со стороны жизни суетной видел все тот же маленький домик, то трепетал сердцем оттого, что знал его тайну — внутри он больше всего того мира, в котором до того жил и страдал. Открылась главная правда. Мир радости человеческой необъятен в сравнении со всеми горестями, что могут выпасть по судьбе. Но нужно только найти к нему дорогу и каждый раз заново преодолевать каверзы ее, чтобы узреть свет иного мира.

Прежде сколько сил тратил он на притирку к людям: как бы доброго не обидеть, злого не разозлить, чужого не приблизить, близкого не утратить! Люди оказывались такими непонятными и непонятливыми, а с ними нужно было жить, и уживаться, и приспосабливаться к ним. Страдал от голода, и холода, и от лихоимства, — от чего только не приходилось страдать? — но самые большие обиды бывали от людей. Людьми страшна неволя, — так он думал еще недавно. Но все изменилось. Получилось, что вроде бы совсем думать о людях вокруг, то есть гадать, перестал, а просто принимал их теперь, какими они были сами по себе, без его мнения о них. И перестал ошибаться, и более того: как это получилось, понять сам не мог, но больше вокруг него оказалось хороших, а не плохих людей. И тогда изменилось отношение к нему. И не годы были причиной тому, что чаще стали называть его то «папашей», то «отцом», то по имени-отчеству. А он-то его, это отчество, и сам, казалось, не знал, только и вспоминал, бывало, что на перекличках этапных.

Освобождение (хотя знал свой день) оказалось неожиданным. Тревога вошла в душу утром этого дня; потом, когда выкликали на вахту, когда прощался с людьми, скорбя за них, когда оформляли последние бумаги, тревога росла, обращалась в беспокойство; а там и смятение пришло, когда оказался за проходной и на все стороны открылись дороги, ведущие никуда и ни за чем.

В Рябиновку? Осталось ли что от дома? Вспомнил Селиванова, давно уж его не вспоминал. Первые годы все присматривался к новым этапникам, почему-то уверен был, что не мино-

вать и Селиванову доли невольничьей. Думалось почему-то, что не выдержать ему этой судьбы, что сгинет непременно; и оттого со временем будто похоронил друга, вспоминая его как уже неживого.

А теперь подумалось, что, может, и уцелел Селиванов, больно уж ловок и хитер был.

Ни о жене, ни о дочери, ни о том, кто еще должен был родиться и теперь уже, наверное, вовсю жил, — ни о ком из них не думал или старался не думать; да и какой прок, если даже они для него стали чужими, а он-то для них трижды забыт и похоронен и новой жизнью, как оградкой кладбищенской, отделен... Нет, к жене своей бывшей он и не хотел, захоти она того, вернуться. Для чего?! Те три весны, что прожили они вместе, три бревнышка в основании целого сруба, разве не ушли они под землю, не осели под тяжестью разлученных лет, разве построишь на них, откопанных, теперь хотя бы жалкую хибарку? Не выдержат! Другое дело — дочка и сын (или тоже дочь)... Но об этом и вовсе думать не следует.

Так в Рябиновку? Что в Рябиновку, что в любое другое место, одинаково было Ивану. И поехал в Рябиновку, потому что другое место просто и на ум не пришло.

Дверь открыл мужчина лет тридцати и, увидев Селиванова, приветствовал его дружелюбно и по-свойски.

— Наташа! — крикнул он. — Андриан Никанорыч! Встречай!

С запозданием откликнулось сердце Рябинина на имя «Наташа».

«Господи! Дочь!» — мелькнула мысль, и сам удивился, будто до сей минуты не верил в эту встречу.

— Я нынче с другом, — предупредил Селиванов, выталкивая Ивана вперед.

— Проходите, рады будем! — ответил молодой человек, не без любопытства рассматривая Рябинина, и Ивану это разглядывание было небезразлично.

Полудевушка, полуженщина кинулась к Селиванову и крепко обняла его. Увидев же Рябинина, смутилась и вежливо поздоровалась.

— Мой давешний друг, Иван Михайлович!

— Вот тебе на! — всплеснула руками Наташа. — Давнишний друг, а мы его первый раз видим! Чего же так?

— Сам его долго не видел! — ответил Селиванов. — Зато теперь — прошу любить и жаловать!

— Да чего в дверях-то! Проходите! А вы, Андриан Никанорыч, нас обманули! Вы когда обещали быть?

— Не получилось!

Рябинин не знал таким Селиванова. «Что в нем незнакомого?» — подумал он. И ответил себе сам: не он, Рябинин, отец этой красивой женщины, а Селиванов. Наталья не походила на мать или походила очень мало. Но кого-то она напомнила Рябинину очень.

— Эх, Ваня, она же вся в тебя! — словно подслушав его мысли, сказал Селиванов. И Рябинин побоялся, что не сможет сохранить глаза сухими.

— Внучок где? — спросил Селиванов.

— Бегает! — ответил отец.

«Чей внучок? Мой, что ли? Или его, Селиванова? Господи! Не зря ли я пришел в этот дом? Им и без меня хорошо! Ах, поспешил! Поспешил!»

В небольшой комнате оказался накрытым стол. «Добротно живут! — подумал Рябинин, рассматривая обстановку. — Ишь, напридумали! Такую мебель в деревенскую избу лишь на потеху ставить, а здесь смотрится. Светло».

Он бегал глазами по стенам, по мебели, на окна косился, и все лишь для того, чтобы не встретиться взглядом с дочерью, потому что чувствовал на себе ее взгляд, ее любопытство, — и ничего ведь более! «Это хорошо, — думал он, — что она не очень похожа на свою мать! Могла бы оказаться как две капли... как бы я тогда...» Он нарочно старался думать все вокруг да около, чтобы спокойствие сохранить, а ведь уже руки еле сдерживал от дрожи, а внутри где-то дрожь маетой подбиралась к сердцу, а как до сердца доберется, слез не удержать...

— Сашок, ты, того, сбегай-ка за внучонком!

— Да чего за ним бегать, сам скоро придет!

Улучив момент, когда Наташа ушла на кухню, Селиванов взял за рукав ее мужа и шепотом объяснил:

— Ты, того, не обидься, сходи погулять с часок! Разговор у нас с Натальей будет! А тебя к нему опосля подключим! Будь мил, не обидься, погуляй!

— Какой разговор! Я могу, конечно!

— Вот и смоги! Ага! Тайн от тебя нету, но теперь так надо! И внучка покарауль, чтоб повременил... Серьезный разговор...

Пожав плечами, сделав равнодушное лицо, но очень плохо скрыв недоумение и обиду, он накинул пиджак, потоптался немного и буркнул: «Так я пошел!»

— Ага! Ага! — заторопил его Селиванов, услышав шаги Натальи.

— Ты куда это?

— За внучком! — успокоил ее Селиванов. А как только щелкнул замок двери, взял Наталью за плечи и посадил на стул напротив Ивана. — Разговор будет, Наталья! Сиди! Сиди! Такой разговор сидя говорить надо! Пока... А там сама вскочишь!

И тут Рябинин впервые услышал грусть в голосе друга.

«Отцовство свое передает мне! А есть ли у меня право на него?!»

— Такое, значит, дело, дочка...

Селиванов запнулся на этом слове и растерянно заморгал глазами.

— Я, стало быть, дочкой тебя называю, потому как... жись так сложилась... то есть как дочка ты мне была...

— Да чего это вы, Андриан Никанорыч! — не вытерпела Наталья, больно уж дрожал голос Селиванова. И Рябинин тоже прикашлянул, горло того потребовало.

— Твоя девичья фамилия... как она была?

Она смотрела на него удивленно, но тоже сжалась вся, предчувствуя то ли недоброе, то ли ненужное.

— Рябинина, сами знаете!

— Вот! — вздохнул Селиванов. — А против тебя сидит Иван Михайлович Рябинин, и он тебе есть отец родной! Такие дела...

Медленно перевела она глаза на Рябинина, а тот опустил их, будто уличенный, будто виноватый.

— Правда? — спросила она тихо.

Он поднял глаза, знал, что в них слезы, но что поделаешь! Вытер их рукавом и кивнул.

Селиванов взял стул, поставил его сбоку и, прокашлявшись, сказал:

— Вот ты так сиди и смотри на него! А я тебе буду сейчас рассказывать про отца твоего, про мать, про деда твоего, про жизнь буду рассказывать, которую тебе до того не было нужды знать!

5

Утро другого дня хоть и было понедельником, электричка оказалась забитой до отказа ягодниками, орешниками, рыбаками и охотниками. Честные отпускники едва ли составляли четверть этой шумной и пестрой толпы. Оттого, что большинство пошло на риск, то есть сбежало с работы, проявив хитрость,

ловкость и проворство, в поезде господствовало настроение лихости и шального веселья. Всех слегка лихорадило. Люди жаждали активного общения, гоготали, суетились в невообразимой толчее и без конца извинялись друг перед другом. Они нещадно курили, подпаливая друг другу волосы, пиджаки, стряхивали пепел за шиворот и на головы низкорослым. Преобладали мужчины. В тех же местах, где оказывались женщины (к тому же нестарые), веселье выплескивалось через край — в разбитые и раскрытые окна тамбуров вагонов.

Ни злобы, ни ругани, ни оскорблений. Все это придет с избытком потом, на обратном пути, когда усталая, разочарованная толпа ринется назад, в город, в объятия скучной повседневности.

И для Селиванова, и для Рябинина толпа, да еще такая активная, была как Божье наказание, потому что Рябинин отвык, а Селиванов терпеть не мог, когда ему наступали на пятки и загораживали видимость. Однако Селиванову невмоготу было сейчас оставаться один на один с Иваном. Он был им недоволен. Едва уговорив его переночевать у дочери, утром удержать его он уже не смог, и отъезд их был сверх меры тяжелым.

Селиванов разрывался от жалости к Наталье, презирая себя за это чувство, по его убеждению вовсе не нужное; какое ему дело, в конце концов, до Иванова баламутства! Иван, видишь ли, считает, что зря они все это затеяли и что, мол, языка ему с дочерью не найти; что не отыщет она к нему чувств дочерних, а лишь тяготиться им будет... Откровенно говоря, Селиванов и жалел Наталью, и серчал на нее. Как-то по-другому все ему виделось; она же какая-то каменная стала — слезы лила и каменела. А у муженька ее, сукиного сына, и глазенки, глядишь, забегали, когда узнал, откуда тесть прибыл. Про какую-то «ребилитацию» ляпнул! Иван аж бровями дернул. А внучок, как ни подталкивал его Селиванов к Ивану, так и не подошел, косился лишь, упирался да сопел...

Еще чувствовал Селиванов, что больно все Ивану; и выходило, что затея эта одной болью для всех обошлась, и, может, правильно предлагал Иван: нужно было сначала походить ему около, посмотреть на всех издали, а после уж решать, объявляться ли, нет ли...

Но если по-честному: отчего торопился Селиванов? Разве не оттого, что хотел скорее отдать Ивану то, что отдавать — мочи не было, будто пальцы себе отсекал на руках! И что ж теперь получилось? И Ивану вроде б не отдал, и себе уже не оставил...

Они так и не протиснулись в вагон, выкрутили себе уголок у двери тамбура, уперлись руками в металлическую перекладинку на двери, спинами сдерживая напор толпы. Селиванов всем видом изображал, как он сердит на Ивана. Тот не замечал, думал о своем, вид у него был грустный, и как-то жалко он выглядел теперь в новеньком костюме, неподогнанном и коробящемся. Белая рубашка высовывалась из рукавов, лишь подчеркивая грубость и морщинистую желтизну Ивановых рук. «Старее он меня с виду! — подумал Селиванов без удовольствия и без сочувствия, а так, как на ум пришло. — Вот и дожили! Он — в клетке, я — на воле, а старость что мне, что ему...» Нет, это была неправильная мысль, несправедливая, и Селиванову хотелось подумать об Иване как-то так, чтобы в той думе была не жалость (ну ее к свиньям!), а понятие об Ивановой судьбе, особой и не для каждого. Ведь вот он сам себе такую судьбу даже нарисовать в мозгу не может и содрогание во всем теле испытывает, когда пытается представить только!

По тому, как дернулась борода, Селиванов понял, что Иван говорит что-то, и весь подался к нему, почти уткнулся в бороду лицом, чтобы в гвалте различить слова.

— Я говорю, если б отпустили меня сразу, через год, а я пришел бы, а жены нет и дитя на руках, поломался бы я тогда душой! Насмерть поломался бы!

Когда Иван начинал судьбу свою оправдывать, Селиванов скрежетал зубами. Это — по-бабски, когда мужик на беду с благодарствием крестится! Трудно поверить ему, соплями это дело пахнет!

— Не поломался бы! — крикнул он Ивану в бороду. — Покуролесил бы малость да выпрямился! Жись сильнее всего!

Иван покачал головой.

— Видел же ты, какая она была, Людмила моя! Зоря! Сколько прожил с ней, ни единым утром не верил, что моя, что не уйдет! За дверь выходила — в окно смотрел, не пошла ли к калитке! Не понять тебе, бобылю, что такое жена красивая, по первым годам особенно, когда в цвете вся и в ласке... Да вдруг — нету ее! Канула! Да по чужой вине!

Опять покачал головой.

— Поломался бы! Если б сама ушла, может, не поломался. Знал ведь, что залез с кирзовой мордой в хромовый ряд! А когда по чужой...

— Все равно б выжил! Выжил, говорю! — крикнул Селиванов, оттирая плечом какого-то мужика, что втискивался между ним и Иваном.

— Ну, куды прешь! — прокричал он зло.

— Терпи, папаша! — отозвался мужик, вывертываясь обратно. — Вишь, тут одна красуля все норовит своим ведром мое хозяйство подчерпнуть!

— Нужно мне твое хозяйство! — крикливо отозвалась женщина, по голосу не из молодых. — Я от своего кобеля сбежала едва!

Мужики в тамбуре загоготали, и Селиванов нетерпеливо пережидал, когда они затихнут.

— А меня она не любила, Людмила твоя, хоть, кроме добра, ничего ей не сделал!

Старый упрек, не высказанный в свое время по адресу, был перекинут Ивану, но без обиды, а так, к слову пришлось. Очень хотелось Селиванову, чтобы Иван разуверил его, чтоб возразил. Хоть и не поверил бы ему, а приятно было б. Но Иван кивнул угрюмо.

— Их поймешь разве! Не могла она тебе простить, что шлепнул ты дружка ее!

— Дружка! — возмутился Селиванов. — Шатуну он был дружок, а не ей!

Иван пожал плечами, а Селиванов, захлебнувшись от ожившей обиды, отвернулся, поджав губы.

С полдороги в тамбуре начало легчать. Людишки разбредались по полустанкам, каждый знал свое особое — грибное или ягодное — место, обязательно потаенное. И вскоре уже можно было поискать сидячее место в вагоне, что Селиванов и сделал, оставив Рябинина в тамбуре. Через минуту вернулся довольный.

— Хватит ноги ломать, пошли сядем.

Сели на краешках сидений, друг против друга, соприкасаясь коленями.

— Да нет, — продолжал Иван будто только что прерванный разговор. — Зла она на тебя не имела... И благодарность знала, — это поверь мне!

Селиванов махнул рукой: дескать, ладно, чего там, сам все знаю, Бог ей судья! А про себя подумал о том, как жизнь она свою кончила, много ли мук испытала? Неужто ей выпало столько же, сколько Ивану! Ведь не мужицкая была — благородиева!

— Слышь, Иван, а какой она была фамилии по девичеству? Я ее отца только по отчеству да имени знал! А про фамилию так ни разу и не спросил! Неудобно было.

— Барская у ней фамилия была, дворянская. Говорила она, что на всю Россию их фамилий и дюжины не будет. Оболенская называлась.

— Чего? Оболенская?

Селиванов замер, пораженный чем-то.

— Не слыхал таких фамилий? А я вот в лагере слыхал и такие и еще всякие — из бывших.

— Я тоже, того, слыхал... — сказал Селиванов испуганно. И больше до самой Кедровой не проронил ни слова.

Было договорено еще поутру, что поедут они к Ивану, но в Кедровой Селиванов вдруг вздумал поехать в Лучиху, вспомнив дело какое-то. Иван ухмыльнулся добродушно, вспомнив пристрастие друга в былые времена к тайным делам. Прощаясь, он положил руку ему на плечо, посмотрел в глаза мягко и добро.

— Спасибо тебе за все! — Голос его дрогнул.

— Чего там... — смутился Селиванов, не избалованный в прошлые времена Ивановой сердечностью.

— За дочь спасибо и за все... Должник я у тебя неоплатный!

— Ваня! Чего говоришь! — взмолился Селиванов, испугавшись дрожи в теле и влаги в глазах. Иван задумчиво глядел на него.

— Никогда тебя не понимал... Странный ты человек! Может, врал ты мне, что в Бога не веруешь? А?

Тот недоуменно пожал плечами.

— Не может того быть, чтоб не веровал! Во имя чего тогда добро творишь? — продолжал тихо Рябинин больше для себя, чем для Селиванова. — Неверующий если и творит добро, то во имя свое!

— И я во свое имя! — пробурчал Селиванов, тяготясь Ивановыми рассуждениями.

Иван решительно мотнул бородой.

— Врешь! Не поверю! Коли не веруешь, значит, образ в себе сохранил!

— Да ну тебя с образами! Али забыл, сколько людишек за свою жизнь к твоему Богу до времени отправил! Убиец я! Сам говорил! Забыл, что ли!

— Не забыл, — ответил Иван, — оттого и не понимал тебя!

— Кончай, Ваня! Не люблю я эти разговоры!

Его уже корежило: болтлив Иван стал к старости!

— Давай иди на автобус, а я — на попутке... К вечеру жди, прибегу. Собак покормить не забудь! Зачахнут собаки без тайги, непривычные к веревке...

— Накормлю. А завтра давай в тайгу... Пора мне! Сперва не тянуло в лес, а нынче — надо.

— Сбегаем, Ваня, куда хошь, сбегаем! Хреновину ты пер тот раз, что тайга тебе чужая! Дыхнуть ее тебе надо! Беги, автобус!

Селиванов пошел к развилке, откуда шла дорога на Лучиху, а Иван — к автобусу; тот уже показался из-за поворота.

В автобусе оказалось много рябиновских. Они рассматривали Ивана. Те, что помоложе, — открыто и нагловато, другие — украдкой, но с еще большим любопытством. Мест свободных не было. И вдруг — нашлось, рядом со скрюченной бабкой.

— Здравствуй, Иван! — сказала она, когда он сел рядом. — Не узнаешь, конечно!

Рябинин присмотрелся.

— Светличная никак!

Она горько вздохнула.

— Девку прогнала, чтоб поговорить с тобой! Сами-то место уступить не догадаются! Что хорошего видел, Иван, в далеких местах?

Он удивился такому вопросу. Ведь знала же, где он был! Может, оговорилась? Но нет. Светличная хотела знать, что *хорошего* бывает в *плохом* месте.

— Да как тебе сказать...

А сказать, и верно, нелегко. Что хорошего?! Да ведь ничего, если меркой человеческого счастья примеряться.

— Да-а-а! — протянула она, будто поняла, как нелегко говорить ему. — Похоже, не озлобился ты?

— Не знаю, — честно ответил он. — Когда кажется, что не озлобился, а когда — нехорошо на душе бывает, оно вроде бы не злоба, а нехорошо...

— В Бога уверовал там?

— Откуда знаешь?

— Вижу.

Он посмотрел на нее с любопытством.

— Я вот с церквы еду, из Слюдянки. Батюшка проповедь читал, говорил, тайгу беречь надо, костры попусту не палить, потому как тайга есть Богом данное благо людям! О жадности говорил, через которую тайге порча бывает... Хороший батюшка!

Рябинин кивнул. Да, не все так просто было для него в этом деле. Привыкший чувствовать Бога через силу молитвы, через волю свою, боялся он церкви, где тесно и душно; а главное, боялся услышать из уст священника что-нибудь непрямое и не-

правое, боялся обиду получить за Бога, если нечистоту увидит в святом месте. Один на один с иконой — это привычно, икона чиста и свята, в ней образ Божий Божьей благодатью запечатлен!

Ту икону, что теперь повесил в доме, подарил ему один мученик за веру, хранивший и прятавший ее несколько лет, как потом хранил и прятал ее Рябинин, правда, недолго — меньше года оставалось ему до выхода. По закону ничего нельзя уносить на волю, что в неволе нужнее. Неписаный закон. Но старец велел спасти икону, потому что доносы были и искали ее уже по всем возможным тайным местам. А не так уж их много в лагере... Через подкупного надзирателя вышла икона за проволоку, и унес ее Рябинин.

— Скажи, Ваня, — зашептала Светличная ему в пиджак, — ты больше моего видел да слыхал, власть-то нынешняя, она что, антихристова али как? Всяка власть от Бога опять же... А эта?

— А сама-то как думаешь? — только и нашелся ответить Рябинин.

— Так по-разному понимать можно! Поначалу вроде бы ясно было. Против Бога бунт... А ежели так, то больно долго что-то, и не понять, то ли бунт, то ли власть... Батюшка о том не сказывает! Говорит, против Бога не ропщите, дескать, все в руце Его! А может, антихрист уже и крылья расправил, и клюв почистил, а Богом уже меч занесен для Суда! Господи, хоть бы помереть успеть!

— Успеешь! — усмехнулся Рябинин. — Антихрист или нет, про то ничего не знаю, только не на короткое время времена наши! Дай Бог внукам разобраться, что к чему!

И сразу вспомнил внучонка своего, что пугался одного его вида. И ничего ни в нем, ни в родителях внучонка, ни в единой черточке мира ихнего не намекало Ивану на то, что суждено внуку Ивана Рябинина понять самую главную тайну из всех тайн человеческих. Но опять же, кто знает пути? Они неисповедимы...

— Что говоришь-то? — прослушал он слова Светличной.

— Про Андрияна говорю, дружка твоего! Берег он дом твой. Ждал тебя. Смятенный он человек, помоги ему!

Рябинин промолчал. Наверное, потому, что не уверен был, нуждается ли Селиванов в помощи. А еще — сомневался в том, что хоть и обрел он веру в Истину несомненную, да тверже ли сам на ногах стоит, чем его «смятенный» друг. Словно и не

пригнулся к старости пройдоха Селиванов, а напротив — росту в нем вроде прибавилось, по крайней мере, в глазах Рябинина.

— Сама-то как прожила? — спросил он Светличную.

Она хлопнула безресничными веками, шевельнула высохшими губами, повела острым плечом и виновато взглянула на Рябинина.

— Не знаю... Не заметила, как прожила! Какая жизнь у бабы одинокой? Да ведь живешь-то не в лесу, люди кругом, с людьми без дела не проживешь. Может, заглянете ко мне с Андрияном? Он-то заходил ко мне. Тоже бобыль... Шибко убивался он, что женку твою не сберег! Я ведь ее тоже знала. Ранее тебя. И отца ее...

— Знаю, — ответил Рябинин. — Добрая ты женщина! Заходи и ты ко мне, рад буду!

Показалась деревня. Рябиновцы проталкивались к выходу. Рябинин со Светличной поднялись тоже. Он взял ее тяжелую сумку. Приноравливаясь к ее старческому шаркающему шагу, проводил до дома, зайти, однако, отказался и заспешил через рябинник к себе.

Из недалекой густоты леса доносились до него звуки и запахи, волнующие и тревожные. Он понял, почему не спешил в тайгу, почему лишь косился с крыльца в ту сторону, даже не вглядывался как следует, будто одергивал себя. Понял! Не уверен он в себе, в ногах своих, в руках, столько лет ружья не державших, в глазах, — кто знает, какое зрение его нынче, не проверялся ведь. А что может быть страшнее неспособности к таежному делу!

И вот теперь только, хотя и остались страхи, нестерпимо потянуло на старые места, на полузабытые тропы, в заброшенные зимовья. Первые годы в неволе сколько ночей пробродил он тайгой, сколько мысленно шагал привычными таежными путями, припоминая каждый поворот, и дерево, и камень на повороте, и ручей, и камешки на его дне...

Так он и дошел до своего дома — глазами в тайгу, даже шея устала. «Завтра!» — решил от твердо. И собак кормил как положено — за день до серьезного таежного дела, и разговаривал с ними, обещал им волю вволю, а собаки понимали, волновались и ели плохо.

Селиванова ни разу не видели в Лучихе при таком шике — при костюме, в белой рубашке да еще в полуботинках. У знако-

мых (а незнакомых там не было), что здоровались с ним, округлялись или суживались глаза, в зависимости от природы каждого, и смотрели ему вслед, и меж собой переглядывались, если их оказывалось двое или более. Последние годы как виделся Селиванов людям? В старье, с тростью, кряхтящий, охающий. Понимали, что притворяется, но привыкли к притворству. И вдруг он шпарит, как молодой, по деревне, разодетый, как фраер, без всяких тростей, а на лице — будто дичь нагоняет!

Сам Селиванов видел, какое он производит впечатление, но только ухмылялся про себя довольно и забывал тут же, потому что голова его трещала от мыслей таких трудных, что даже в затылке заломило.

«Что ж это такое?! — думал он. — Неужели Ивану Рябинину еще не все кары небесные отпущены! Неужели мало еще! Пусть этого не будет!» — твердил он искренне, но так же искренне хотел знать правду.

Что мог он вспомнить о том парне, на поиски которого кинулся в Лучиху? Появился он в промхозе лет пять назад. В первую же неделю ни разу не пришел трезвым на работу. Так слышал Селиванов. Хотели уволить его, но сначала не было замены, а потом обнаружилось, что в той куче металлолома, которая именовалась промхозовским трактором, он разбирается толково, и что нетрезвость есть его нормальное рабочее состояние. Оказался парень в общем-то покладистым и уступчивым, по пьянке слишком не задирался, хотя и тогда уже зубы у него были наполовину выбиты. Что до синяков, всегда присутствующих на лице, то получал он их от трактора: была у него редкая способность непременно хоть раз да стукнуться обо что-нибудь лицом, а уж когда лез в тракторные потроха за капризом, то матюговые его проклятия какому-нибудь магнету были громче тракторной пальбы, и появлялся он на свет с большим прищуром на один глаз или с лиловым рогом на лбу. Не парень это был, а умора куриная! Лично Селиванов его даже как-то за живое существо не принимал, а как прикладность к трактору, тем более что и тракторист и трактор одинаково жили на горючем.

Баламут, тракторный балда, как он жил, где жил, откуда взялся, никто толком не знал, да и никого это не интересовало. Никто не называл его по имени, говорили просто: «Где этот, с трактора?» Отвечали: «За трактором валяется!»

На лице его всегда была глупая улыбка и похоть до водки. Похоже было, что ничего его в жизни более не беспокоило кро-

ме того, где еще выпить. И ни о чем он долго не мог говорить, чтоб не вспомнить, сколько «давеча» «зажрал» и где б еще малость... Работал он ровно столько, сколько нужно, чтоб всегда иметь на выпивку. Не работая, он только спал. А если не было работы в промхозе и не было калыма, то ходил и навязывался, то есть гонял трактор по деревням, предлагая привезти, увезти, вспахать, раскорчевать или просто покататься.

Всегда в рванье, всегда в мазуте, он был ходячим анекдотом. Селиванов, собственно, только раз имел с ним дело, и кончилось тем, что этот балда отстрелил себе палец из его мелкашки. Фамилия тракториста тоже была анекдотом. Он прозывался Оболенским. Зная, какое впечатление производит на людей, особенно чужих — дачников и туристов, — представлялся всем и без надобности. Теперь его фамилия оборачивалась для Ивана Рябинина болью. Селиванов успел. Трактор стоял на лужайке напротив конторы. Оболенский валялся на траве рядом с трактором. Увидев Селиванова, ошалело приподнялся.

— Селиваныч! Никак, жениться собрался?

— Куда наряд? — быстро спросил Селиванов.

— Никуда пока. А чего?

Глаза его забегали — калымом пахло. Селиванов опустился перед ним на корточки. От Оболенского перло профессиональным перегаром алкаша. Селиванов поморщился.

— Дело есть!

— Полбанки! — тут же откликнулся тракторист.

— Будет тебе столько полбанок, сколько захочешь!

— Не! Сперва полбанки, а после — разговор!

— А если сперва по шее? — дипломатично спросил Селиванов.

— Но-но! — чуть отодвинулся тот. — У меня шея не казенная!

— Тебя как зовут?

— Меня-то? А чо? Ванька!

У Селиванова захватило дух. Он зажмурил глаза и так, с закрытыми глазами, спросил еще:

— А по батюшке?

— Гы! — удивленно отозвался Оболенский. — Иваныч!

— Родители-то где живут?

— Да иди ты! Чего пристал? Детдомовский я... Говори дело и гони полбанку!

— Со мной пойдешь, — сказал Селиванов, подымаясь и разминая затекшие ноги.

— Куда идти-то?

— К тебе сперва. Переоденешься, умоешься. Дело будет чистое.

Оболенский онемел от изумления, потом замычал:

— Не-е-е! Украсть, да? Я это дело в гробу видал!

Селиванов презрительно осмотрел его с головы до ног.

— Да нешто ты украсть можешь! Чтоб красть, мозги надо иметь!

— У тебя больно много мозгов! — обиделся тот. — Кончай темнить, говори дело!

— Я и говорю. Дело чистое. Помочь человеку надо. А в таком виде тебя разве в дом пустить можно?!

— А чо трактор? — никак не мог взять в толк Оболенский.

В барак, где он жил, Селиванов не зашел, присел на завалинку и остался ждать, пока оболтус приведет себя в порядок, если это возможно.

Думы, одна печальней другой, как медленные волны, наплывали, и откатывались, и наплывали снова. Может быть, не нужно ничего этого делать? Что путного выйдет? Ивану — лишняя боль... Нет, это только подумать, как судьба обошлась с Иваном! И за что бы? А что ж Иванов Бог? Где ж Его мудрость к человеку! Если бы так случилось с ним, Селивановым, куда ни шло... А с Иваном — нешто это справедливо? А может, не надо...

Селиванов поднялся с завалинки. Еще мгновение, и он бы отказался от затеи, но появился Оболенский. Был он в чистых мятых брюках, в такой же рубашке. Но вид его, хоть он помылся и даже причесался, едва ли изменился к лучшему. Чувствовал он себя не в своей тарелке, а руки его вообще не отмылись, и он не знал, куда их девать. Только непреодолимое желание получить «полбанки» принудило его совершить над собой такое насилие.

— В Рябиновку поедем! — сказал Селиванов.

— А трактор?

Без трактора он не мыслил себя.

— Пойдем к одному человеку, — продолжал Селиванов. — Сколько раз матюгнешься там, столько раз потом по шее получишь! Понял!

Оболенский скис.

— Если не матюгнешься ни разу и никакой хреновины пороть не будешь, пою тебя неделю.

Тот оживился, хотя не без сомнения и тревоги. Они пешком дошли до развилки на Рябиновку, километра полтора. Шли молча. Молчали и в попутке. Молчали в магазине сельпо, где Селиванов взял бутылку, чем разочаровал Оболенского до меланхолии. Через всю деревню прошли к рябининскому дому.

— Дело есть, — буркнул Селиванов на вопросительный взгляд Ивана. — Приготовь закусь.

Оболенскому налил полный стакан, себе и Ивану чуть-чуть. Выпили и закусили молча. Селиванов все никак не решался начать разговор, косился на Ивана и ежился.

— Значит, как, говоришь, тебя зовут по имени-отчеству?

— Да ну тебя с отчеством! — весело огрызнулся парень.

— Говори, коли спрашивают! Постарше тебя люди сидят!

— Иван Иваныч! Гы!

Представлять себя в имени-отчестве ему было искренне смешно.

— А фамилия твоя, стало быть, это, фу ты, черт! Заклинило в мозгу!

— Ну Оболенский!

Мельком взглянув на Ивана, Селиванов увидел, как побелели его губы и помертвели глаза.

— Мамку с папкой не помнишь, значит?

— Я ж тебе сказал — детдомовский!

— А место рождения как в паспорте указано?

— Написано — в Иркутске, только я там и не бывал. Детдом в Заларях был, а курсы в Черемхово кончал, после сюда послали...

Он кидал взоры на недопитую бутылку, но Селиванов делал вид, что не замечает.

— Пьешь давно?

— А чо! Я на свои пью, не на ворованные! Кому плохо?!

— Когда пить начал, спрашиваю?

Голос Селиванова был угрюмым, Оболенский вертелся под его взглядом, а в сторону Рябинина даже не смотрел.

— В детдоме пили... — ответил он робко.

— Чего, там все, что ли, пили?

— Ну, не все... — и не вытерпел: — Ну чего с допросом пристал! Говори дело!

— Пойдем! — Селиванов встал. Они вышли во двор, Селиванов осмотрелся вокруг. — Вишь поленницу? Нехорошо стоит. Надо к тому забору перетаскать, чтоб ветер не порушил. Литр за мной, как сделаешь!

Оболенский даже рот раскрыл от удивления.

— Ты чо, Селиваныч, того? Зачем мыться заставил?

— Какое твое дело! — закричал Селиванов. — Хошь литр иметь, — делай, что говорят!

И вернулся в избу. Рябинин сидел, обхватив голову руками. Когда Селиванов сел рядом, поднял голову, спросил тихо:

— Неужто правда, Андриан?

— Вот какая штука, Ваня! Пригляделся я к нему сегодня... Похож он на мать. Испохаблена морда свинской жизнью, а все равно похож! Только пошто ж она ему свою фамилию прописала? Хотя опять же: твою-то еще хуже — враг народа... — Покачал головой. — Вот какая она, жизнь наша! Да чтоб я перед ей башку склонял?! Надо думать, Ваня, Бог твой, ежели Он правильный, когда-нибудь пошлет на ее потоп смертельный, потому что не жизнь это, а б... Когда война была, тут кое-кто шипел: дескать, вот кара идет... Я и тогда понимал: не человеческого ума дело — судить эту жизнь, потому что сотворена она не руками человеческими!

Он сердито взглянул на икону над Ивановой головой.

— Ну что делать, Ваня? Ведь можно его еще вернуть к человеческому облику! Ведь того не может быть, чтобы порода напрочь протухла в человеке?

— Ошибка, может? — без всякой надежды сказал Иван и сам же отмахнулся от этой мысли. — Неужто сына нашел? А если нашел, так ведь это ж сын! Мой и ее... Открыться надо!

— Не спеши. Не сразу это делать надо. Видишь, алкаш он... Попробовать бы оторвать от него бутылку сперва.

— Постой! — встрепенулся Рябинин. — А годов ему сколько? Когда родился? Ему нынче сколько должно, а? Двадцать пять? Так?

Селиванов громыхнул табуреткой и выскочил во двор. Вновь перепачканный смолой и берестой, Оболенский таскал поленья от забора к забору и как попало складывал их.

— Слышь ты! Ты какого года рождения будешь?

— Чего?

— Сколько лет, говорю?

— Двадцать пять! А чо?

— Ничо! Поленницу кладешь, как дите молокососное!

Селиванов повернулся и хлопнул дверью. Снова сел рядом с Иваном.

— Значит, он?

— Он, Ваня!

— Что он там делает?

— Поленницу таскает с места на место.

Иван положил ладони на стол и выпрямился.

— Какой ни есть — сын мне! Стало быть, объявиться надо!

— Ну, не спеши, говорю! Давай сбегай в тайгу пока, а я с ним повожусь, присмотрюсь, авось отскребу что путное в душе! Не может порода пропасть вчистую!

— Так разве... — заколебался Иван.

— А я что говорю, — подхватил Селиванов. — Все равно парня подготовить надо!

— Пойдем посмотрю на его еще!

— Посмотри, — ответил Селиванов, поднимаясь.

Поленница, которую складывал Оболенский, приобретала такой отвратный вид, что Селиванов не удержался, чтобы не сплюнуть:

— Во бестолочь!

И вдруг испуганно взглянул на Ивана. Ведь отец! Придержать язык надо. Но никак не привязывался этот баламут к Ивановой бороде. А к жене его — лебедушке, какой помнил ее Селиванов, а уж к деду-офицеру (и подумать только!)? Срамота одна! А те, в городе, разве признают его за родственника? Ничего себе братец для сестрички выискался! Хоть бы поленница не рухнула, пока все перетащит! И понял — рухнет. Еще две-три охапки — и непременно рухнет!

— Хорош! Кончай! — крикнул, не скрывая зла. — Отработал! Кончай, говорю! Оставь эти на месте!

Оболенский пожал плечами. Глядел недоуменно на стариков. Иван спустился с крыльца, подошел к нему вплотную, печальный, суровый.

— Спасибо!

— А я не за спасибо! За спасибо медведь вкалывает!

Иван смотрел на него все так же печально, и парень сник малость.

— Да нет, я могу и так... подумаешь, полешки таскать...

Не очень искренне это прозвучало, но Селиванов заметил, как оттаял взгляд Ивана. Даже в фигуре легкость появилась... А вообще-то с какой стати парню чужому дрова таскать?..

— Спасибо! — еще раз сказал Иван и пошел в избу. Проходя мимо Селиванова, взглянул как-то виновато.

Селиванов вынул десятку из кармана, подал Оболенскому.

— Сколько даешь-то? — засопел тот.

— Червонец.

— А за что червонец? За три полена?

— А ты сколько хочешь?

Парень плюнул, выругался.

— Иди ты... Не надо мне ничего. Темнишь! Мыться заставил... Теперь червонец за три полена даешь! Чо тебе надо от меня?!

Селиванов немного растерялся.

— Видишь, хороший человек один живет! Четвертак ни за что отмотал! Дрова понадобиться могут или еще что... Будешь катить мимо на тракторе, загляни...

— Так бы и говорил сразу, — успокоился Оболенский, нетерпеливо захрустев десяткой. — Это можно! Я в Рябиновку каждый месяц хоть раз, да катаюсь! Будет дед в ажуре! А как это — четвертак ни за что? — усомнился он.

— Гуляй, — махнул Селиванов. — Будет сухо в глотке, приходи ко мне, размочу!

— Иди ты! — расплылся в удовольствии Оболенский. — Но ты даешь! А все говорят, что ты жмот!

— Говорят, — зря не скажут! Гуляй!

И он выпроводил его за колодец.

Рябинин пошел в тайгу один. И как ни отговаривал его Селиванов, пошел на свой бывший участок, хотя знал — участка по сути нет, по самой его сердцевине ведут высоковольтную, а это значит: зверье вон, и тайге язва, порежут не только угодья и тропы, но и ручьи и роднички! Ветер-сквозняк да вонь машинная...

Шел как во сне, в том постылом лагерном сне, когда ночь не отдыхом бывала, а пыткой. И сейчас казалось, что спит и непременно проснется в тот миг, когда останется десять шагов до какого-нибудь зимовья, или когда ружье вскинет на добычу, или просто на душе радостно станет от встречи со знакомым местом. И до того сильно было это ощущение сна, что иногда останавливался Рябинин поперек тропы и говорил что-нибудь громко, чтобы голос свой услышать, но все равно слышал его будто со стороны, как раз как во сне и бывает, качал головой удивленно и шел дальше. Останавливался как вкопанный, если вдруг узнавал камень или — еще того чуднее — пень (ведь сколько лет прошло!); и наоборот, чуть не бегом бежал, когда догадывался, что впереди поворот тропы направо или налево, а

там спуск малость или подъем, и когда все так и было, говорил себе: «Ага! Ишь ты! Помню!» Хмурился, если попадалась незнакомая развилка. Это значит, тропа, что поменьше — молодая, без него уже вытопталась, и неприятно это было, и ревность просыпалась к чужому, кто ходил здесь без него, как будто на то прав не имел.

Не нашел одного родничка, другого. Пропали... Это бывает в тайге. Зато появились другие, но он из них не пил. Ко всем голосам тайги прислушивался особенно, они ведь ни в чем не изменились, и он узнавал их все, и каждую тварь голосящую называл вслух ее именем.

Было самое начало осени, первые дни ее, и матерой тайги она еще не коснулась; лишь чуть вялой стала трава на редких лужайках, и не было зноя, и небо чуть утратило яркость; а во всем живом и растущем чувствовалась не то чтобы сонливость, а скорее покой и тихая созерцательность, когда после долгих и важных хлопот выпадает наконец желанное время, чтобы осмотреться благодушно и доброжелательно вокруг и сказать себе: не так уж все плохо вокруг, и сам не так плох, а впереди, кто знает, еще, возможно, немало доброго и радостного.

Бывший участок Рябинина не был кедровым. На сопках преобладала сосна, по вершинам — листвяк, червяком изъеденный, в распадках — мешанина из хвои и листов, и лишь вдоль ручьев из сплошного ковра бадана поднимались кедры-дубняки в два, а то и в три обхвата, часто с обломанными верхушками. Ветви их щедро были обсыпаны шишками. Никакой колот не стряхнул бы их, даже дрожь от удара не дошла бы до ветвей. Потому кедры эти человеком не трогались, а шишки висели до первых морозов и до первого сильного ветра (если не прилетала птица-кедровка, конечно). По ветру шишки падали в снег и сохранялись до весны подарком для белок и бурундуков, а то и для охотника, — кто откажется пощелкать орешки весной!

В дубняках у ручьев всегда в полдень отдыхал глухарь. Не вспомнив о том, а лишь по неутраченной привычке Рябинин, подойдя к одному из таких мест, снял с плеча селивановский «Зауэр». Но не взорвалась тишина свистом и шумом глухариных крыльев. Лишь бурундук пискнул где-то в камнях у ручья. Участок был пуст.

Рябинин облазил песчаную полоску вдоль ручья — ни одного следа не обнаружил. А за этим ручьем и начинался его бывший участок. С первых шагов по нему понял он, что зря не по-

слушал Селиванова и пошел сюда. Еще до того, как попалась ему на тропе обертка от сигарет, а затем и кострище с безобразием вокруг, мысли Рябинина уже покинули тайгу и вернулись ко всему, от чего он надеялся укрыться хоть на несколько дней в таежных сумерках. Дочь, внук и... сын. Почему вышло такое? Что делать? Как жить дальше? В такой последовательности, потом в обратной, и наконец вразнобой прокрутились в голове думы. Отчего не может он принять решений? Почему смятение? Может, вернуться, поехать в Слюдянку в церковь, потом пост наложить строгий? И вот разумом уже знал, что именно так и надо поступить, но когда это понял, в тот момент и пошел дальше — угрюмый и поникший. И началось все к одному: человеческое беспутство в тайге; усталость в ногах; машинный шум за гривой; боль в спине; разграбленное зимовье, а вокруг пни — на полста шагов. И схватила жажда за горло, да так, что язык к небу прилип.

Ручеек, что когда-то любовно обложил он камнем, не то иссяк, не то вытоптан: еле-еле пробивается струйка тоненькая из-под кочки, и вода болотным застоем отдает. А вокруг — банки консервные, бумага, тряпки и вся человеческая нечистота. Но и этого мало. Дали какому-то выродку рода человеческого топор в руки, шел и сек одно за другим деревья из ненависти к красоте и свободе: на каждом, что устояло, засека хулиганская. Смолевыми слезами тихо плакала тайга, беззащитная, обезображенная.

Рябинин стал на пороге своего зимовья, окинул взглядом развороченную печь, переломанные нары, выбитые окна и — отступил. Прислушался к машинному шуму за гривой. В той стороне тоже была у него зимовье-землянка, где когда-то Селиванов, желая ему насолить, разделал изюбря, да и попался; оттуда гнался за ним Рябинин и получил картечину в ляжку. Эта нога теперь более всего ныла. Но не в картечине было дело.

Еще раз спустился он к бывшему роднику, черпанул ладошкой, чтоб губы смочить, и пошел в сторону машин — своими глазами захотел посмотреть людскую волю, словно испытать себя истязанием надумал. Вышел на вершину гривы и уже с нее увидел просеку, стрелой уходящую в горизонт, отвратительную в своей прямоте, будто острой косой — да поперек спины... Но возмущения в душе не было, а лишь печаль... Прямо под ним два бульдозера елозили в тупике просеки, надсадно взвывали, словно одичавшие, голодные псы. Людей было не видать, и оттого жуть исходила от железных собак.

Рябинин пошел на них. И чем громче становился рев, тем сильней стискивал он зубы. До ломоты в скулах.

Появился он в самом тупике просеки. И люди онемели, увидев его. Это были мальчишки, сопляки примашинные, что рождаются в мазутных запахах, вырастают в лязге дизелей и посвящаются машинам на пользу человечества. Потому что оно без машин и шагу ступить уже не может.

Когда ребята подошли к Рябинину удивленно-радостные, они показались ему сыновьями. И вот уж воистину чудо: он, не почувствовавший в Оболенском свою плоть и кровь (или так ему показалось?), вдруг ощутил родственность к этим чужим мазурикам. Ему захотелось сделать для них что-нибудь хорошее, сказать что-то доброе, чего не сделал и не сказал он сыну своему. Но он не знал, что надо сделать и сказать, и потому стоял и улыбался.

— Вот это да! — воскликнул один, коренастый и широкомордый, щедро показав крепкие, редкие зубы. — Ты откуда, дед?

— Из Рябиновки. А вы?

— А мы с Тунки. Высокий вольт гоним. Тридцатый километр уже! — Парень оглянулся на своих и произнес восхищенно: — Вот это дед!

Другой, видимо, старший из них, протянул Рябинину руку.

— Дед, ты случаем не из сказки?

— Точно, — сказал Рябинин, пожимая мазутную руку. Хотелось добавить: мол, не дай вам Бог в эту сказку самим попасть, да ни к чему это было.

— Когда-то мой участок был, — сказал он, окинув взглядом соседние гривы. — Промышлял тут...

— Теперь твоему промыслу хана! — сказал один из парней с полным сочувствием.

— А ты не от избушки идешь, что там, за горой?

— Оттуда.

— Во! Мы сегодня туда переберемся, а то прежний балаган больно позади остался! Слушай, дед, приготовь нам жратву, ну, в смысле тушенку свари, а мы придем и вместе пир закатим, горючее имеется, спиртяга, значит, а? Сказку нам расскажешь! Мы сегодня рано кончим, план перевыполнили, а это дело, сам знаешь, отметить надо! — И, не получив еще ответа, крикнул: — Генка, тащи тушенку!

Рябинин не только согласился, но обрадовался даже. И когда в его рюкзак натолкали банок, а на лямки навешали котел-

ков, он, звякающий и гремящий, бодро направился назад, к разгромленному зимовью, забыв про усталость и ломоту в спине, хотя груз за спиной оказался изрядным. Рябинин теперь знал, чего он хочет от этих мазутных парней: расспросить о сыне. И не важно, что они его не знают, он спросит их о том, о чем сына спросить хотел. С ними ему будет свободно. Ведь они живут — значит, есть у них что-то, что к жизни их побуждает. У них есть ум, значит, они думают, у них есть родители, которые их любят.

Последняя мысль вдруг обернулась ознобом. Не выходит ли так, что ему надо учиться любить по-родительски? Многих людей он любил, но не подходит та любовь ни к сыну, ни к дочери с внучком, ни даже к Селиванову. И Бога он любит. Правда, всегда любил Его умом, но случалось, что любовь эта таким чувством оборачивалась, что одной только памяти об этом хватало на месяцы, чтобы трепетать от счастья пережитого...

А сын? Алкоголик, почти идиот... Должен он его любить? Но как? Слово «сын» крутится по кругу в голове, но никак с круга того в сердце не срывается.

А дочь? Это слово давно в сердце есть и никогда не покидало его, — оттого боль, и обида, и еще какие-то чувства, к которым и присматриваться не хочется... Тянутся от него и к нему нити, тоненькие, слабые, и путаются от первого прикосновения и рвутся, и приходится их распутывать и связывать наново... И во всей этой работе — великое напряжение и смятенность. Господи, как тяжело! Прости, Господи, там было легче!

Знает Рябинин, что мысль эта греховна и сутью своей неверна. Не может такого быть, чтоб человеку в своем уме — в унижении и неволе легче было... Но какая смятенность! Ведь не было ее там!

Там ведь как думалось? Вот кончится срок, а с ним испытание кончится. И радости воли — наградой будут. А мудрость понадобится на то, чтобы радость спокойно принять. Да разве так получается? Вроде и нет ропота на Бога, но смятение... А что есть смятение как не ропот?!

Первым делом насобирал дров, перекладину соорудил, котелки с водой повесил над еще не зажженным костром, чтобы потом только спичкой чиркнуть. И занялся зимовьем. Сколько всякого хлама выволок изнутри — тошнота сплошная! Нужно было чинить нары, топорик же взял с собой маленький, с рези-

новой рукоятью, много ли им нарубишь! Но нарубил; перестелил и укрепил нары. Берестой заделал одно окно, чтоб сквозняка не было. Дверь навесить не удалось — петли проржавели. Вырубил пазы в проеме, чтобы можно было дверь вставить изнутри; жилье без двери — не жилье! Притом думалось даже, что другим летом поставит новое зимовье, просторное и светлое. Прогонят просеку, протянут провода и — уйдут. Зверье вернется. И хоть останется в тайге шрам, так и со шрамом живут!

А зимовье он поставит такое просторное, что в нем вся его семья летом жить сможет. Разве вырастет человек нормальным, ежели таежным воздухом вскормлен не будет! Он и лечит, этот воздух, и молодит, и все в человеке к спокойствию и серьезности приводит.

Рябинин стал припоминать самые красивые места на участке, чтоб и родник, и сухость, и сосняк добрый. Там и будет зимовье ставить. Продумывал, как короче конную тропу туда проложить, чтобы кирпича завезти для печки и прочие необходимые материалы. А лес на избу нужно валить не иначе, как в километре от места, чтобы зимовье будто от корней ближних сосен вырастало, чтоб ни один пень не досаждал глазу; хорошо бы рядышком две-три лужайки, где сенца подкосить для лошадей и для зверья таежного, да и запах сенный близ зимовья — всегда радость человеку. От селивановской суки щенков взять...

Вот опять же Селиванов! Рябинин все откладывал думу о нем, потому что много и крепко нужно было думать. А если много не думать, то не для него ли сберег Господь Селиванова — единственную душу родную! За такую мысль было стыдно, но разве могло такое случиться без воли Божьей, чтоб двадцать пять лет человек верность хранил другому человеку, кого уже и в живых не считал! Нечем рассчитаться ему с Селивановым... И тяжко стало за сухость и строгость свою ненужную. Но ведь и не виноват он, что больше удивлялся Селиванову, чем радовался. Все понять его хотел, а надо было не понимать, принять сердцем... Сам-то, поменяйся они с Селивановым судьбой, как жил бы?..

Колючая была мысль. Знал: взяли б тогда вместо него Селиванова, ведь, чего доброго, и отрекся бы от него? Было за что брать его. Сам осуждал, да и сейчас не одобряет, но уже и не судит. И за что ж так прилепился к нему Селиванов? Не за что!

Рябинин закрыл глаза, стал прямо и, как раньше, когда нельзя было открыто сделать крестное знамение и молитву вслух произнести, сказал в уме те слова, какие означали благодарность Богу за все, что на благо свершается.

Когда открыл глаза, голова закружилась и на миг в сердце непорядок возник... «Устал!» — подумал он, прислушиваясь к рокоту машин на просеке. Как они стихнут, так и костер запалить надо. Тушенку сготовить долго ли... Подойдут — и готово будет.

А того момента, когда костер палить, он ждал с волнением, потому что знал, что принесет ему запах костра. За те годы приходилось не раз костер палить, похож он был на таежный, волновал и мучил, но лишь по похожести. У таежного костра аромат особый, и он никогда его не забывал, как и многие другие запахи жизни.

На ближний пень, каркнув, села кедровка, стукнула потрескавшийся и пожелтевший срез пня длинным клювом, трепыхнулась крыльями. «Дуреха, — сказал Рябинин, — заблудилась, что ли! Здесь тебе делать нечего! Лети в распадок, там кедрач-дубняк!» И махнул рукой. Кедровка взлетела и, сделав полукруг над поляной, исчезла в сосняке.

Не приспособлен человеческий язык для таежных голосов. Можно, конечно, натренироваться, учинив насилие над глоткой, но далеко не все звуки тайги передразнишь. С молодости это занимало Рябинина. Ведь у птицы — голос и у человека — голос, услышал — повтори, и заговоришь с птицей! Но нет, предел дан. И, наверно, для того, чтобы птица, да и всякая голосистая тварь, свободу свою охранять могла. Человек потеснить тварь может, закабалить, даже убить, — но не душой овладеть. Значит, ему это не положено!

Рябинин пытался вслушаться в голоса тайги, но сейчас все, что еще оставались на этом участке, подавлялись отдаленным шумом машин. Ему даже показалось, что рев бульдозера стал сильнее...

Он придирчиво осмотрел зимовье, вошел внутрь, поискал, чего б еще починить, но все требовало ремонта серьезного: печь, потолок, пол. Он вышел и замер в недоумении. Машины ревели громче и, что было странно, — ближе, теперь уже без всякого сомнения. Вой бульдозеров словно накатывался в его сторону. Что-то страшное, непонятное наплывало на сердце так, что оно должно было работать сильнее, будто защищаясь от наката грозных и опасных сил.

Рев, казалось, уже шел с самого верха гривы. Рябинин ощущал трепетание земли и деревьев. Рев подкатывался к горлу диким взвыванием моторов, и казалось: то ли чудища ревут, злобствуя, то ли земля кричит в отчаянии... Он все еще не мог сооб-

разить, что бы это значило? Истуканом стоял у двери зимовья, и борода его вздрагивала в ответ сердцу, потерявшему ритм. И вдруг все впечатления дня, как в фокусе, сошлись — его озарило. Он ахнул и схватился за голову. Потом метнулся, нашел топорик и побежал изо всех сил. Он бежал туда, где в это мгновение сам антихрист, веками таившийся и подличавший в невидимости, выпрыгнул из мрака и спешит с ненавистью разрушить на земле все живое в коротком времени Божьего попустительства. Он бежал вверх по гриве, не ощущая, что сердце не поспевает за ногами, не замечая веток, хлеставших по лицу, камней и моховых ловушек. Бежал поперек завалов, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал. Когда же взлетел на гриву, сердце взлетело еще выше и потянуло за собой ввысь. Чтоб не улететь, он обхватил руками тонкую сосенку, припал к ней и с ужасом глядел на то, что свершалось внизу, у него под ногами.

Маленькие, дерганые бесы оседлали бесов могучих и яростных и рвались к вершине, сокрушая все на пути, оставляя за собой два нетленных следа смерти!

Рябинин увидел:

оборванные, грязные люди рвали на куски издыхающую лошадь, судорожно жевали, толкались и били друг друга кровавыми кусками мяса;

падающие деревянные опоры и глыбы земли рушились на людей, давили их, ломали ноги и руки, сплющивали головы;

в полутемном бараке в клубок сплетаются десятки тел, крики, кровь, мелькают ножи, выстрелы из окон, собаки...

Картины мелькнули перед глазами, ослепили, обожгли и вырвали с корнем сердце...

А было: парни на бульдозерах прорывались к зимовью. Они хотели торжественно появиться перед таинственным дедом, как древние муромцы на могучих конях. Круша все на своем пути, они вошли в такой азарт, что походили на малых детей, зарвавшихся в игре. Но зла в их душах не было. И когда перед ними вдруг появился старик с обезумевшими глазами, весь в ссадинах и крови, они застыли.

Взмахнув топором, Рябинин кинулся на ближайший бульдозер.

— Ты чо, дед?! Ты чо?! — заорал водитель, торопливо дергая рукояти.

— Бесы!! — крикнул Рябинин так, что услышали его на втором бульдозере.

— Псих! — крикнул кто-то, и всех как ветром смело с бульдозеров. Топорик с резиновой ручкой отскакивал от металла, пока не попал на стекло. Вместе с осколками рухнул на землю Иван Рябинин. Рука с топором скребанула по земле и замерла.

6

Селиванов стоял на краю дороги, махал руками и бранился. Бортовая машина притормозила, но он отмахнулся: ему нужна была легковая. А частник проскакивал мимо, не глядя на Селиванова. И когда он, отчаявшись, выскочил на середину дороги перед черной «Волгой», та остановилась. Из нее, не торопясь, вылез здоровенный детина. Потянувшись и поиграв бицепсами, он шагнул к растерявшемуся Селиванову и спросил беззлобно:

— Чего хулиганишь, божий цветочек?

У Селиванова кровь отлила от лица, но он сдержался.

— В Слюдянку... обратно... в Лучиху... обратно... полста...

— Иди ты! — усомнился парень. — Это по старым деньгам, что ли?

Селиванов вынул из кармана новенькую пятидесятку. Тот почесал в затылке и посмотрел на часы.

— А что — рискнем?..

Селиванов шмыгнул на заднее сиденье, забился в уголок, чтобы шоферу не было видно его в зеркальце.

— Куда в Слюдянке?

— В церкву.

— Иди ты! Помирать собрался или в грехах каяться?

Селиванов не вытерпел:

— Твоим языком бы да хлев чистить!

Парень загоготал и врубил на полную мощность приемник. Селиванов поерзал, подтянулся к уху шофера и прокричал зло:

— Ежели так всю дорогу, то вези меня прямо в морг!

Тот снова загоготал, убавил радио, а к Селиванову больше не приставал.

Священник оказался молодым, высоким, красивым и голоса приятного, что несколько смутило Селиванова.

— Извиняюсь, значит, помер человек, друг мой... — он поперхнулся, — верил он в Бога вашего... Надо, чтоб все по закону...

— Где жил покойный? — спросил священник.

— Жил? — И вдруг в оба глаза накатило по слезе. Селиванов смахнул их. — Жил далече, где вам не дай Бог... А лежит он теперь на столе в доме своем, в Рябиновке, значит... — И предупредил жест священника. — Машина у меня... заплачу, само собой, как положено...

Они помчались в Рябиновку. Шофер косился в зеркальце на священника, приемник выключил совсем и лишь подсвистывал иногда.

— Вы, как я понял, в Бога не веруете? — деликатно спросил священник.

— Не могу я в Него верить, потому как ни мудрости, ни доброты в Ем не нахожу! — ответил Селиванов угрюмо.

Священник покосился на него, но спорить не стал. Селиванов снова заговорил:

— Один человек всю жизнь грехом живет и даже занозу в палец не получит, а другой... собаку за всю жизнь ногой не пнул, а на него — все беды, какие только ваш Бог придумать может...

Священник молчал.

— Дескать, на том свете зато рай! А кто это доказать может? А я хочу знать, за что мой дружок Ванька Рябинин на этом свете страдал? Молчишь, Божий слуга?!

— Нет доказательств, — ответил тот спокойно. — А ответ вам только вера дать может.

— А если мне, чтоб поверить, ответ сперва нужен? В чего мне верить, если я главного ответа не слышу!

Вдруг он заплакал и стукнул кулаком по колену.

— Не хочу говорить ни о чем! Треп это все!

Около дома священника встретили старухи. И откуда их столько набралось, — будто со всего света съехались! Руководила всеми с запухшими от слез глазами Светличная.

— В Лучиху! — скомандовал Селиванов шоферу.

— В Лучиху так в Лучиху!

И рванул с места.

— И сколько этим Богом будут людям мозги зас....ть! На кой хрен этих попов держут до сих пор!

— Мяса на тебе много, потому ума мало! — ответил Селиванов.

— Слышь, дед, я на твою полсотни плевать хотел! Выкину тебя в кювет и поползешь на своих!

— Ну и выкинь! Выкинь!! — заорал Селиванов, приподнимаясь на сиденье и швыряя на колени шофера ассигнацию. — Останови, я сам выйду! Только если у тебя в мозгах понос, так вонь свою держи в закрытости! Останови, говорю!

— Ты чего деньгами раскидался! — обозлился шофер. — Богатый шибко! И выкину вместе с деньгами твоими!

Селиванов грудью влип в спинку переднего сиденья, — так резко сработали тормоза. Выпрыгнув первым, он подскочил к окошку шофера и крикнул:

— Понос!

Шофер догнал его в полста шагах от машины, схватил за плечо и влепил ему в ладонь ассигнацию.

— Ну, старик, счастье твое, что ты старик! Забирай свои деньги и мотай отсюда!

— А я не помотаю! А я вот тут стоять желаю!! — орал Селиванов.

Он хотел швырнуть деньги в лицо шоферу, но тот перехватил его руку. Селиванов охнул и разорвал ассигнацию пополам, потом вчетверо и, воспользовавшись шоком парня, швырнул в него обрывки. Шофер поднял с земли клочки, рассмотрел и сказал глухо:

— Ну чего распсиховался! Деньги рвать... Поехали в твою Лучиху... Сам же говорил, что Бог того...

Селиванов затих.

— Худо мне, паря! Страсть как худо! Жить неохота!

— Ну чего, понять можно... друг помер...

Он подошел к Селиванову, положил руку на плечо.

— Поехали, а то начальник мой спохватится...

Селиванов выпотрошенным кульком поплелся к машине, вполз на сиденье, откинулся и закрыл глаза.

За конторой промхоза в прицепной кузовок трактора грузились двухсотлитровые бочки. Оболенский вертелся возле хмурый и чумазый.

— Со мной поедешь! — крикнул Селиванов еще на подходе.

— Не! — замотал головой Оболенский. — На базу. В Широкую падь иду, бочки вон...

— С... я хотел на твои бочки! Со мной поедешь, говорю! Машина стоит!

— Ух ты! — восторженно откликнулся тот, заметив «Волгу». — Не могу, Селиваныч! Начальник и так орал уже...

— А я на начальника, знаешь, что положил! За шиворот потащу!

И он потащил.

— Э-э! Ты куда его! — заорал вывернувшийся из-за кузова мужик, начальник участка Широкой пади. — Ты что, Андриан Никанорыч, сдурел, что ли! У меня в тайге тонна черники киснет! С кровью трактор вырвал у начальника!

— Забирай трактор, а мне этот нужен! — крикнул Селиванов, таща за собой упирающегося Оболенского. Мужик кинулся в контору. Когда Селиванов с Оболенским уже подошли к машине, с крыльца конторы сорвались в их сторону двое начальников — Широкой и промхоза.

— А ну стой! — крикнул начпромхоза. — Ты чего безобразничаешь, Селиванов! Чего командуешь! А ты — марш на трактор!

Селиванов схватил Оболенского за штаны и оттащил назад к машине.

— Не ори! В милицию его везу! Убийство он совершил! Понятно?

— Чего?! — завопил Оболенский, выпучив глаза.

— Лезь в машину!

Он нагнул голову Оболенского и коленкой поддал под зад. Начальники растерянно переглянулись. Селиванов прыгнул в машину, хлопнул дверью.

Машина рванулась с места.

У крыльца рябининского дома стояло такси, и Селиванов догадался, что приехала Наталья.

— Андриан Никанорыч! Ну как же это так! Почему?!

— Я виноват, — ответил он тихо, уже который раз за сегодня смахивал слезу. — Не должен был его одного в тайгу отпускать! С непривычки сердцем надорвался! Сказывают, упал, и все! Легкая смерть, и тому порадуйся! Хоть смерть легкую заслужил...

— Мы даже не поговорили! Господи! И встретили его нехорошо!

— Не плачь! Кто знает, может, и лучше так для него! Не плачь!

Он пальцем вытер ей глаза, а она вся тряслась и захлебывалась от слез. Легко отстранив Наталью, Селиванов вернулся к порогу, где стоял поникший тракторист. Он ввел его в комнату, где посе-

редине на столе лежал в гробу Иван Рябинин. У изголовья стоял священник. Грустно и задумчиво смотрел на умершего.

Растолкав старух, Селиванов сказал громко:

— Ну-ка, подите все на двор, подышите воздухом, родные прощаться будут!

Старухи неохотно попятились к двери, крестясь и перешептываясь, — Селиванов нарушал обычай.

— Видишь, кто помер? — сурово обратился он к парню.

— Ага! — кивнул Оболенский. — Это тот дед, который...

— Отец твой!

— Какой отец! — вдруг осипшим голосом почти прошептал тракторист.

— Твой, говорю, родной, которого власть упрятала в чертово логово, когда ты еще родиться не успел! И мамка твоя, родив тебя, сгинула в том же логове ни за что ни про что. И ты вырос мазуриком чумазым, потому что не было у тебя ни матери, ни отца, а одна только власть народная! Хотя и при том мог бы человеком вырасти!

Священник с тревогой слушал Селиванова. Оболенский смотрел на покойника широко раскрытыми глазами. Сзади послышались шаги и всхлипывания. Подошла Наталья, перехватила руками горло. Черный платок размотался у нее на шее и сполз на плечи.

— Ну вот, — сказал Селиванов, взяв ее за локоть и обращаясь к Оболенскому, — а это сестра твоя, а он, значит, брат твой родной!

— Что? — простонала она.

— Иваном его зовут! В честь отца мать назвала, да уж лучше б не делала того.

Оболенский и Наталья смотрели друг на друга в ужасе.

— Селиваныч, это — правда?! — прошептал Оболенский.

— Хуже правды... — ответил тот печально и, обойдя гроб, стал у изголовья, рядом со священником.

— Ваня, Ваня... — покачал он головой. — Нынче понимаю я, за что тебе жизнь такая выпала! — Он помолчал. — Это ты все мои грехи взял на себя! И расплатился, и помер за меня раньше времени! Я всю жизнь думал да гадал: чего леплюсь к тебе, чего цепляюсь? И сам не знал, подлец, что душу чистую приблизил для спасения своего!

Священник тихо возразил:

— Каждый за свои грехи сам ответ держит!

— А у кого их нет, тот чужие на себя берет!

Священник перекрестился и промолчал.

— И муку за ваши грехи, — кивнув Наталье и Оболенскому, продолжал Селиванов, — и эту муку он тоже взял на себя! И, видно, еще что-то, больно много ее было, муки той, для одной чистой души! А чем отплатим ему?! Ваня! Ваня!

Закричав, бросился вон Оболенский. Наталья выбежала за ним.

— Не нужно отчаиваться! — сказал священник. — Жизнь Богом дана, и Он знает, зачем...

— Бог знает, да не говорит! Ведь даже тебе не говорит! А мне уж и подавно не услыхать!

В окно было видно, как подъехала к дому грузовая машина, отделанная черным крепом. Из машины выпрыгнули мужики и стали выбрасывать еловые ветки...

— Ну вот! Выстелят тебе, Ваня, сейчас последнюю твою дорожку хвоей таежной... Мне бы, что ли, помереть уж заодно...

7

Был закат. За деревней все лежало уже во мраке, зато она золотилась и сияла, как чудо-град в море-окияне. Особенно светились рябины. А сквозь их листву полыхали кострами окна. Все преобразовалось, даже проржавевшая рукоять рябининского колодца и та будто позолотой покрылась.

Селиванов сидел на ступеньке крыльца, и ему казалось, что он — один большой, немигающий глаз, видящий все вокруг, наблюдающий за всем, но никак не участвующий в жизни. Через час-другой стемнеет, люди, что воют песни в доме, разбредутся, и он останется один на один с ночью.

Собаки, привязанные около дровенника, встретившись с его взглядом, чуть шевельнули хвостами, но он никак не ответил им. «Продать их надо!» — подумал он. И то, что такая невозможная мысль пришла ему в голову, не удивило его. Ведь как было: когда засыпал могилу, в земле камень оказался, а когда он по гробу стукнул, Селиванов в груди боль от удара почувствовал, потому что хоронил и самого себя. А когда гроб из дому выносили, почему он подумал: «Зачем такой длинный?» — Потому что на себя примеривал! А когда гроб опустили, он долго не мог команду дать, чтоб засыпали... Разве не подумывал рядом лечь? Почему ворчал, что узка могила, — поленились мужики?

Но было в душе и нечто другое, что никак мыслью не оборачивалось и мешало додумать вопрос о своей жизни.

Шатаясь, вышел из избы Оболенский. Его перед тем вымыли, постригли и переодели. Пока рта не раскрывал, казался вполне приличным. Но ведь, сукин сын, матюгнулся, когда гроб в сенях углом зацепился за наличник. Снес бы ему башку, не держи он гроб...

Увидев Селиванова, проковылял к нему, остановился в двух шагах.

— Я на тебя, Селиваныч, теперь всю жизнь зло иметь буду!

— Ишь ты! — удивился тот.

— Пошто сразу не сказал, что отец он мне? Какое право имел?

— А ты какое право имел балбесом вырасти? Из детдома сколь хошь людей выходит, а ты свиньей выполз! Тебя отцу родному стыдно показать было! Да он, может, от тоски с твоего вида в тайгу помирать подался!

— У меня вся жись поломанная! — хныкнул Оболенский.

— Каждый свою жизнь сам ломает и чинит! — буркнул Селиванов и махнул рукой. — Иди, лакай самогон! Праздник тебе, нажраться можешь до синих белков!

— А мне, может, он сегодня в горло не лезет! Я, может, тоже помереть хочу!

— Ты-то! — презрительно сплюнул Селиванов и вдруг встрепенулся. — А может, и взаправду помереть хочешь! А?

— А чо! Запросто... — не очень уверенно подтвердил Оболенский. Селиванов вскочил.

— Слушай, паря! Нету здесь нам с тобой простору! Айда в Слюдянку! Там ресторан! Музыку закажем такую, чтоб Иван оттуда услышал! Душа-то его теперь над всем миром летает, все слышит, все видит! Нешто здесь с ней поговоришь!

Он схватил парня за рукав, и они почти побежали от дома в сторону тракта.

Громадный скотовоз заглотнул их в свою кабину и помчал прочь от солнца, которое перед заходом цеплялось за вершины сосен.

Они ехали и орали похабные песни, старик и сопляк, а шофер сначала было насторожился, но потом загоготал и стал подпевать. В тряске Селиванова развезло, он то и дело замолкал и тупо вопрошал: «Куды едем?» Оболенский орал шоферу: «Куды едем?» Тот ржал и кричал: «В вытрезвитель!» На полдороге их захватили сумерки. Шофер включил фары. Когда в их лучах рисовалась встречная машина или мотоцикл, Селиванов хватал шофера за рукав и кричал: «Дави! Дави его, гада, чтоб не отсве-

чивал!» Оболенский стал клевать носом, Селиванов бил его локтем в живот, тот вскрикивал, стукался лбом о дверку кабины, матюгался и снова засыпал. Селиванов же словно боялся остановиться в лихости своей и балагурстве, будто страшился собственного молчания и покоя.

Криком встречал и провожал он все, что пролетало мимо них в сумерках. Когда же дорога была пуста, бранил громко шофера и его машину.

Слюдянка вывернулась из-за поворота огнями. В кабину хлынула прохлада байкальского вечера и чуть утихомирила Селиванова. Очнулся Оболенский и невнятно замычал.

— Куда выкинуть вас? — спросил шофер.

Селиванов сказал:

— В церкву! — и сам удивился.

Оболенский икнул и дернулся. Машина проскочила по открытому переезду, обрызгала грязью несколько палисадников и прохожих, рыча проползла по хиленькому мосту и остановилась у церкви. Щедро отвалив шоферу, Селиванов вытолкал из кабины икающего Оболенского и выкарабкался сам.

— Где ресторан-то? — спросил Оболенский.

— Жди здесь! — крикнул Селиванов и направился к церковной калитке. Над крыльцом горела лампочка, на двери висел пузатый замок. Селиванов качнул его туда-сюда, почесал в затылке.

— Тебе кого? Батюшку? — раздался за его спиной старушечий голос. — Так вон же дом! А служба кончилась, — охотно пояснила старушка. — Иди, иди! Постучись. Собачки там нету...

«Собачки! — подумал Селиванов. — Сам ищу, кому бы глотку порвать!..» Он поднялся на двухступенчатое крыльцо, постучал в дверь и почти сразу услышал шаги; в сенях заскрипела задвижка. «Ишь, не боится поп, не спрашивает. А ежели я с дубиной?»

— Вам что? — спросил священник, не узнав Селиванова в свете слабой лампочки.

— Это ж я!

— А-а! Не признал. Заходите!

— Нет, нет! — поспешно ответил Селиванов и замялся. — Это, значит, поминаю я друга свово... — И вдруг сунул руку за пазуху, вытащил пачку мятых денег и протянул священнику.

— Что вы! — отступил тот. — Вы и так дали более, чем следовало!

— А я не за то! Я хочу за поминание! Вечное! То есть, сколько денег хватит... Чтоб каждый день...

Священник покачал головой:

— Не могу! Не положено... У нас казначей есть, он квитанции выписывает...

— А я не ему хочу! Тебе! Не возьмешь, порву и вокруг церкви раскидаю!

Священник испугался.

— Но я не имею права!

— А я имею! Не хошь — твое дело! Раскидаю! Твой Бог поймет, потому я по совести...

Селиванов двинулся с крыльца.

— Постойте же! — крикнул священник в отчаянии.

— Берешь или нет?

— Сколько вы даете?

— Я не кошка, в темноте не вижу! Сколько даю, столько бери!

— Хорошо, я сосчитаю и все оприходую и сообщу вам...

— Не священник ты, — сказал Селиванов, — а бухгалтер с мясокомбината! Я тебе толкую, что жизни мне нет, душа из тела выпрыгивает, а ты меня оприходываешь...

Он выругался, ткнул ему деньги и, размахивая руками, зашагал к калитке. Но не дойдя, остановился и бегом вернулся назад.

— Слушай... и за меня там чего-нибудь, ну, чего полагается... Я — человек порченый, но ты словечко замолви... на всякий случай...

Священник сунул в карман деньги, шагнул вплотную к Селиванову, перекрестил его.

— Благословляешь? А на что? Когда сосунком был, мать таскала меня на это дело, чтоб, значит, жизнь свою праведно прожил! А теперь-то чего, когда жизнь прошла...

Священник перебил его:

— Будете в Слюдянке, заходите! В любое время! Пожалуйста!

— Поздно мне обращаться! Бывай здоров!

— Ну что? — заскулил Оболенский. — В ресторан-то пойдем?

— Без ресторана нынче никак нельзя! — сказал Селиванов. Но пройдя немного, вдруг остановился около одного дома. У двери светилась табличка. Освещенные окна были закрыты занавесками, по ним плавали тени.

— Надо же! — с удивлением и злобой процедил Селиванов. — В две смены работают! А пристроились-то — у самого Бога под боком! Стой тут! — приказал он Оболенскому.

За первой дверью был маленький коридорчик. Вторая дверь — заперта. На видном месте — кнопочка розовая. Селиванов нажал. Открыл ему высокий молодой человек в сером костюме, с галстуком, справный и подтянутый.

— Тебе что, дед? — удивленно спросил он.

Селиванов ссутулился, скособочился, морщины на лице собрал.

— Да я это, как его, то есть, значит, огепеу тута располагается?

— Что? — изумился тот.

— Я говорю, огепеу...

— Ты с луны, дед, свалился? Огэпэу уже сорок лет как нет!

— Ишь ты! — поразился Селиванов, всплеснул руками и присел даже. — Нету, стало быть! Да не может такого быть, чтобы нашей власти народной без огепеу жить! Обманываешь старика?!

Чуть похолодев лицом и заложив руки в карманы, молодой человек снисходительно пояснил:

— Когда-то было огэпэу, а теперь называется — Комитет государственной безопасности, кэгэбэ.

— Кэ-э, гэ-э, б-э-э... — протянул задумчиво Селиванов. — Ить-то имечко какое себе подыскали! Бодучее!..

— Тебе что надо, дед?!

Это прозвучало уже совсем холодно.

— Дык, значит, до начальника мне бы! Дельце неотложное имеется. Он за какой дверью помещается-то?

Тот непроизвольно взглянул на дверь слева, и Селиванов тотчас направился к ней. Холеная, белая ладонь преградила ему путь.

— Начальник занят. Говори. Я передам.

— Оно можно, конечно, — жалобно простонал Селиванов. — А ты в каком звании состоишь, извиняюсь?

— Старший лейтенант.

Селиванов выпрямился и с презрением оглядел его.

— Лейтенант! — сказал он возмущенно. — И я тут с тобой время теряю? Тьфу!

Обойдя его, он толкнул дверь плечом и закрыл за собой.

В комнате, в торце длинного стола, сидел в кресле мужчина лет сорока, тоже в костюме, при галстуке, и что-то писал. Не дав ему рта открыть, Селиванов торопливо заговорил:

— Извиняюсь, конечно, шел мимо, гляжу, свет горит, сообразил, что во вторую смену работаете, вот удача, думаю, изви-

няюсь, конечно, но вопросик мне требуется один выяснить, потому как для жизни моей он самый первый вопрос есть! Так что не гоните старика!

— В чем дело? — сурово спросил начальник.

— Значит, знать необходимо мне, это... власть наша, советская которая, как долго она, родимая, еще нами править будет?

— Как фамилия?

— Фамилия-то? — Селиванов широко улыбнулся. — Мы свою фамилию завсегда говорим! Значит, Селиванов я, Андрей Никанорыч! А ваша, извиняюсь?

— Пьян? — отрубил начальник.

— Есть малость! — охотно согласился Селиванов.

— Документы при себе?

Селиванов будто ждал этого вопроса и тут же подскочил к начальнику с паспортом. Тот бросил взгляд на первую страницу, на прописку и вернул паспорт.

— Иди проспись, а завтра мы поговорим с тобой о советской власти.

Селиванов будто бы даже и не услышал угрозы в голосе.

— Завтра? Это можно! А не обманете? Дозарезу мне надо...

— Пошел вон! — рявкнул начальник и грохнул кулаком по столу.

Извиняясь и кланяясь, Селиванов попятился к двери. Выходя из дома, он услыхал, как начальник крикнул: «Каюров!» И косым взглядом увидел кинувшегося в кабинет лейтенанта.

Из мрака выплыл Оболенский.

— Ну чо?

— Пошли! Время уже много, а нам надо успеть нажраться до свинства!

Оболенский захохотал.

— А чего ты там делал, Селиваныч?

— Спросил, когда их власть кончится!

Оболенский будто язык проглотил — долго-долго молчал.

У дверей ресторана тусовалось с десяток парней и девок. На стекле висело объявление: «Мест нет». Селиванов пробился к двери и затарабанил. В стекле появилась важная физиономия швейцара в ливрее, похожей на собачью упряжку. Селиванов придавил ладонь к стеклу. Лицо стража вытянулось, а руки резво зашевелились на дверном крючке. А когда магическая ладонь со стекла легким шлепком перекочевала на ладонь швей-

цара, тот остолбенел, но ровно настолько, чтобы Селиванов с Оболенским протиснулись в приоткрытую дверь. Они поднялись на второй этаж. В зале нещадно грохотал оркестр, на небольшом пространстве между рядами столов тряслось несколько пар. Официантки белыми ромашками сновали сквозь пестроту и задымленность зала. Оставив Оболенского у двери, Селиванов шмыгнул за столики. И там свершились какие-то замысловатые комбинации, в итоге которых обнаружился свободный столик с двумя стульями.

Селиванов махнул рукой. Оболенский шустро подскочил к столу. В этот момент снова рявкнул оркестр. Ударник так колотил тарелками, что казалось, будто он хлопает потолком об пол, сплющивая присутствующих в немую кашу. Оболенский обалдело крутил головой. Селиванов сидел хмурый, стучал вилкой по столу и шевелил губами, неслышно обкладывая все, что попадало на глаза. За соседним столиком сидели трое парней, почти мальчишки, и одна девица того же возраста. В ритм ударнику они дрыгали всеми своими конечностями, пялили друг на друга помутневшие глазенки и подталкивали друг друга локтями: время от времени они хватались за руки. Оболенский смотрел на них с завистью, Селиванов — с отвращением. Те не замечали их вовсе.

На столе появились графинчики с заказанными коньяком и водкой, биточки-котлеты, салаты и даже салфетки: их Селиванов брезгливо отодвинул подальше, на край стола.

Когда наполнили рюмки, Селиванов хотел произнести тост, но, открыв рот, выругался, встал и направился к оркестру.

Оркестр словно нотой подавился и тихо заскулил про бродягу, который бежал с Сахалина. Только неслыханная щедрость Селиванова могла заставить оркестрантов решиться на этот подвиг.

— За друга моего, за твоего отца! Пусть ему будет после этой смерти другая жизнь, чтоб не ушел он весь в землю, а над ею поднялся и улетел от этой земли к ... матери!

Оболенский живо глотал котлеты-биточки. Глядя на него, жрущего и чавкающего, Селиванов сказал угрюмо:

— А ведь тебя тоже Иваном зовут, а вот назвать тебя Иваном не могу! Ванькой только если! У мамки в пузе ты был больше Иваном, чем сейчас!

Тот улыбался, жевал, хватал графин и наливал снова. Он на глазах раскисал и весь расползался. И вдруг заплакал.

— Все равно всю жись зло буду иметь! Пошто не сказал про отца?

— Заткнись! — буркнул Селиванов.

— Я с тобой, знаешь, что сделаю! — пьяно залепетал Оболенский. — Я на тебя трактором наеду и поворот включу и буду тебя гусеницей в землю втирать! Во чего я с тобой делать буду!

— Балда, — вяло сказал Селиванов.

— Я тебя трактором...

Селиванов налил ему еще.

— Я петь хочу! — заявил он.

— Пой, дура!

Оболенский вскочил, выпучил глаза и заорал дико, обращая на себя внимание соседей:

Ох, милка моя,
Шевелилка моя!
Сама ходит-шевелит,
А мне пощупать не велит!

Больше он ничего вспомнить не мог, крикнул: «Э-э-эх!» — и затоптал на месте, перебирая ногами: он плясал. Парни с соседнего столика окружили его, хлопая в ладоши, закатываясь в хохоте и подмигивая друг другу.

— Селиваныч! — завыл Оболенский. — Я угостить их хочу!

Тот молча достал из кармана пиджака четвертак и бросил на стол.

— Всех напою! Имею право!

Мальчишки обнимали его, хлопали по спине, перетащили за свой столик, посадили на колени к девчонке, которая щекотала его и разрешала себя лапать.

Селиванов мрачно сидел в одиночестве, пил и не пьянел. Еще один четвертак улетел из его кармана за соседний столик, откуда визги и крики соперничали с оркестром. Появился администратор и что-то говорил парням, показывая рукой на дверь.

Селиванов поднялся, кинул на стол еще четвертак, подошел к компании и стащил Оболенского с девчонки. Возражавших парней утихомирил коротко: «Цыц, щенки!» Те злобно переглянулись, но смолчали.

Придерживая Оболенского, он вышел с ним из ресторана. Было темно и холодно. Оболенский вырывался, кричал: «Не хочу!», получал тумака и всхлипывал.

— На вокзал пойдем, покемарим до автобуса... Не получились поминки по другу моему! Да иди ты, балда! Надоел ты мне...

Лампочка над входом в ресторан, еще несколько на столбах, а дальше — темнота. Они плелись медленно, на ощупь. Торопиться было некуда. В конце проулка, около вокзала, на кривом телеграфном столбе светилась чудом уцелевшая лампочка. И здесь вот они нос к носу столкнулись с мальчишками из ресторана. Девки с ними не было.

— Ну-ка, дед, вытряхай карманы! — прошепелявил один из них, толкнув Селиванова.

— Чего-о?! — Голос перехватило. Мигом очнулся Оболенский, отступил в темноту.

— Карманы вытряхай! — повторил другой, понижая голос до баса.

— Ах вы щенки блохастые!! — задохнулся от ярости Селиванов. — Это вы — на меня?! Да вы знаете, кто я есть? Да вы, мокрицы, такого в кино не видали! Ванька!

Но Оболонский растаял, как привидение. А парни стояли, криво ухмылялись и шевелили руками в карманах.

— Выворачивай карманы, старый хрыч, а то схватишь по геморрою!

Селиванова затрясло.

— Пугаешь, сопля косматая?! Да меня чекисты пугали и в землю полегли! Власть пугала, да утомилась! А вы... А ну брысь отседа, недоделки!

— Санька! — с радостным изумлением завопил один. — Он — против власти! А ну врежь!

В глазах Селиванова сверкнуло. Его отбросило, но он не упал. Второй удар был по голове. Кто-то обхватил его сзади, кто-то шарил в карманах...

— Есть?

— Есть!

— Выблядки!! — заорал Селиванов. — Перешлепаю!!

— Санька, ковырни гада, чтоб не хрюкал!

От острого удара в бок Селиванов прогнулся в коленях и — отпущенный — упал.

В проулке никого не было. Боль мешала подняться. Он дотронулся до бока и ощутил мокроту. И вдруг понял: ударили ножом. Конечно! По бедру потекло. И запах. Он знает этот запах...

— Это что же? — спросил Селиванов. — Они меня убили? Они? Щенки?! — Обида заглушила боль. И вдруг сказал с об-

легчением: — Ну и слава Богу! Какого мне хрена жить! Вот и подохну сейчас под забором. Как мне и положено...

Он хотел лечь по-человечески, пока не потухнет сознание. И подохнуть спокойно. Он лежал посреди проулка, зажимал рукой рану, глядел в небо. И представлял себе: утром пройдет кто проулком, увидит его труп, испугается...

«А хоронить-то некому будет? — Мысль пришла внезапно. — В Иркутск ведь никто не сообщит... Вот до чего дожил! — Он тихо всхлипнул. — Господи, как обидно!..»

А смерть не шла. Не шла, сука! Помучить хотела: чтоб не от раны, а от обиды помер; чтоб жизнь свою проклял; чтоб умолял ее, смерть подлую, поторопиться; чтоб благодатью ее назвал!

Черноту хлебом не корми, дай ей о себе светлое слово услышать...

— Ай, Ваня! — шептал он. — Если ты есть где-то, радоваться должен: свидимся скоро! Хотя навряд — в разных местах находиться нам с тобой... Может, замолвишь словечко? Ведь тебе-то одно добро делал! Ту картечину что считать! От ее и следа не осталось. В ногу — это не в бок. Мне вон в бок, а и то терпимо...

И тут примерещилось ему, что он смех Иванов слышит. А Ивана не видать...

Разве справедливо Ивану смеяться над ним, когда смерть ему в глаза глядит?..

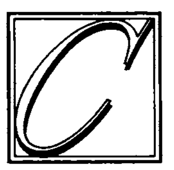
Спина меж тем заныла. На земле были камешки. Да и холод от нее шел. Селиванов поежился. И вдруг сообразил: «А рана-то, может, и не смертельная вовсе...»

Не успела мысль эта сквозь мозг пройти, как он уже был на ногах. В боку резануло, защипало, заломило. По ноге, до самой пятки, ручеек потек. Но разве ж это смерть?!

— Во жизнь собачья! — сказал он громко. — Помереть и то по своей воле не дадено...

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой рану и поспешно заковылял к вокзалу.

ЛОВУШКА ДЛЯ АДАМА



он, с которого все началось, был о маме. При жизни я не знал ее такой, не видел, не помнил, не понимал. А этот долгий сон состоял из одного печального ее лица. Меня самого тоже не было в сновидении, мой разум лишь присутствовал как нечто бестелесное и вовсе без личности, без прав и желаний, но с единственной функцией восприятия.

Итак, было одно печальное лицо моей мамы, и оно разговаривало со мной своей печалью. Слов не было. Это потом, проснувшись, я перевел все в слова и смыслы. Это потом, вернувшись в собственное «я», разум мой ужаснулся или, точнее, сообщил ужас моим чувствам, и они затрепетали, то есть это я затрепетал, и слезы... и зарыдал бы, если бы дал себе волю. Но сжал зубы и кулаки, тем предотвратив постыдные конвульсии груди, горла и всего прочего, что воссоздает и сотворяет жалкое состояние — плачущего мужчину.

Ничью материнскую любовь не поставлю под сомнение и даже сравнивать не решусь, но, видимо, бывает исключительное и в этом, самом несомненном и достоверном, видимо, бывает, если она, мама моя, смогла, сумела прорваться ко мне оттуда, из небытия, и войти в мое сновидение не буйством и бредом бесконтрольных чувств, а живым и реальным образом, лицом и словом печали, которое я понял и пониманием этим обязан теперь пересмотреть всю свою жизнь, как человек, предупрежденный о предстоящей катастрофе, предпринимает необходимые меры к ее предотвращению.

При жизни у нас были сложные отношения, но, как это и бывает, лишь в утрате познаем мы подлинную ценность утра-

ченного, и попробуй разберись, пошлость или мудрость в этом опыте, ведь он никого ничему не научает, и всякий, будь он умней меня или глупей, познав смысл утраты, готов себе или другим повторять высказанную мной истину, как свою собственную, а раз так, то, возможно, следует говорить о банальности человеческого опыта и о мудрости существования человеческого рода, ведь, если никто ничему не научается из рода в род, значит, в том есть некий великий смысл видимой бессмыслицы.

Я вот сказал, что были у нас с матерью сложные отношения. Ох уж эта любовь к обкатанным фразам! Ведь порой как кошка с собакой жили. Все старались что-то исправить друг в друге. Мне простительно, молод был да глуп. А она-то как могла не понимать, что пустое это дело — поправлять собственный ген. В обиде на меня ушла из жизни, что не смог откликнуться на ее отчаяние.

Но было же предчувствие, что недалеко ушла, что пребывает где-то в пределах досягаемости, проще говоря, не было ее в небе, когда пялился в небо, и мистика здесь ни при чем, просто любой, утративший близкого человека, иногда без всякого особого замысла обращается к нему словом или мыслью и, разумеется, не получив ответа, остается спокойным, а то и обретает покой и без волнения через минуту забывает и о мысли, и о слове, опускает взор на землю суетную и ныряет душой в суету, как в единственную среду обитания.

А у меня же все не так! Всякое вспоминание матери, ушедшей в бесконечность, заставляло отчего-то оглядываться по сторонам, и это нелепое оглядывание порой раздражало и сердило, но ничего не мог с собой поделать и не вспоминать не мог, это же нормально — сыну вспоминать о матери. Так вот и было: вспоминал и оглядывался.

И был сон и ЕЕ до разрыва души печальное лицо, говорящее со мной языком печали. Потом пробуждение и понимание всего ею сказанного... И ужас...

Оказывается, бедная моя мама за грехи свои потусветным судом была отправлена прямехонько в ад. Только ад этот — вовсе не котлы с кипящей смолой и не чертовы сковородки, дыбы и прочая инквизиторская дребедень. Приговорили мою маму пребывать ежемгновенно как бы за моей спиной, видеть не только все мои поступки, но и мысли, видеть мои мысли и поступки и одновременно все последствия их и страдать, и стыдиться, и корчиться в муках от бессилия и невозможности по-

мочь, предупредить. И ни одного мгновения в отдых. Даже сны мои обязана была просматривать. И, как я понял, все это навечно. То есть, сколько бы ни продлилась моя жизнь, завтра ли сдохну или через полста лет, судьба моя как бы закольцована для мамы, обречена она вновь и вновь рожать меня, переживать мою жизнь, хоронить, и всякий раз все сначала без права на привыкание, когда на каждом очередном стыке кольца все пережитое изымается из чувств и памяти и начинается заново от рождения до смерти.

Когда я по-настоящему понял смысл приговора, вот тогда-то и охватил мою душу ужас, тогда-то и затрепетал, заметался в отчаянии и сострадании. Воистину же изуверское наказание! За что же ей такое? Ведь не хуже других была и жизнь прожила без особых радостей... А с другой стороны, ведь не известно, что случается с худшими и что может случиться со мной.

Паника охватила. И первая мысль была: да ну ее, эту жизнь! Но спохватился. Для мамы ничего не изменится. Сузится диаметр кольца — и только. Галопом пробежался по тому отрезку своей жизни, что прошла без мамы, припомнились всякие мелкие гадости, что сотворял походя, мысли мерзкие, что приходят в голову, казалось бы, сами по себе, без заявки на них, и... ах! бедная, бедная! Она бы умерла от стыда за меня, если бы не умерла по болезни. Тогда впервые понял, что это значит — жалеть человека. Это такая, оказывается, маета, что нигде и ни в чем спасения нет. Что-то там, в груди, где сердце, будто мягким обручем сжимается, и боль, настоящая физическая боль — и это поразительно, ведь ну что такое сердце? Биологическая насосная станция, грубая материя. Но каким-то образом сопрягается она с чувствами, не имеющими функционального жизненного смысла. Жалость! Она скорее уж помеха нормальному жизнеобеспечению, то есть никакого реального смысла и значения нет в этом чувстве... Любовь — куда ни шло, фокусы инстинкта продолжения рода. Но жалость... или стыд, к примеру, раскаяние, — они, эти нематериализующиеся чувства, тоже ощущаются физически, и опять все там же, в границах нехитрой насосной станции.

Всезнайка-лекарь скажет снисходительно, дескать, сужение, там, или расширение сосудов, отсюда и реальность ощущений. Но причина сужений или расширений — мысль! Подумал о маме — и боль. В каких же измерениях нематериальное — мысль! — стыкуется с клетками и волокнами? Такое ведь по оп-

ределению невозможно. Но вот она, боль, она здесь, где сердце, сжимает его невидимый обруч, искривишься весь в гримасе, головой замотаешь и поспешишь куда-нибудь на люди, где нужно быть сдержанным и однозначным, потому что никому нет и не может быть дела до твоих проблем, как и тебе, то есть мне, тоже нет дела до чьих-то проблем... мне бы со своими справиться...

Я решаюсь быть предельно рациональным. В этих целях привожу форму в соответствие с содержанием. Рационально мыслящий человек, по моему представлению, прежде всего лишен неряшливости во всем: в одежде, в мыслях, в поступках. Это некий педант с прохладным взором, без суетливости в движениях, без навязчивости в контактах, иными словами, человек оптимального режима поведения — мой потаенный и недостижимый идеал. Однако все, поддающееся описанию, в какой-то мере достижимо, потому я привожу в порядок свою одежду, а это значит облачаюсь в «тройку», какую теперь уже давно никто не носит, подбираю галстук, простой и строгий, домашние тапочки выпадают из образа, потому чищу до блеска и надеваю выходные туфли, правда, при этом руки оказываются в ваксе, и приходится мыться осторожно, как если бы мину обезвреживал, чтобы не забрызгать рукава сорочки и костюма... Но не позволяю себе иронию по поводу всех этих действий. В детстве мама часто говорила, хмурясь: «Не кривляйся, пожалуйста!» Я не кривляюсь. Я действительно готовлю себя к серьезным и ответственным размышлениям, и она СЕЙЧАС это видит и понимает.

Глава 1

> «У нас с тобой еще не было более верного дела, — говорил я, глядя ему в глаза, — провернем и осядем на дно. Решайся же!» Я знал, что он не откажется.

Странное оно, это понятие — Закон! Интересно, с чего оно взялось? Возможно, был какой-то КОН, черта, предел, за который переходить было нельзя.

Итак, сначала было правило, правильность, правда, потом появился закон. А когда появилось право? И если правило — это правда, то зачем нужно право? Для того чтобы расширить объем правила, то есть нарушить старый закон и сотворить новый в чьих-то определенных интересах. А если, например, в моих? Кем я должен стать в глазах человечества, чтобы оно признало мое право на нарушение закона? А может, это условие из-

лишне, если я с какого-то момента перестаю уважать человечество, ведь оно — всего лишь некое количество, простая арифметическая сумма, и я, как личность, как известное качество, имею полное право игнорировать его. Моя жизнь — это только моя, и ничья больше, она у меня одна и другой не будет, и если эту мою единственную жизнь окружающее меня человечество делает несносной, я просто обязан перейти за кон, за черту дозволенности, которую мне почему-то определили, моего мнения при том не спросив.

Некий мудрец, по прогулкам которого законопослушные граждане ближайших кварталов сверяли часы, изобрел формулу хорошего поведения: прежде чем что-либо совершить, представь себе, что так же поступили все, и сразу увидишь, хорошо твое намерение или дурно. К примеру, я собираюсь бросить окурок мимо урны и тут же представляю, как все человечество закидывает окурками место общественного пользования, представив такое, смущаюсь и отказываюсь от нехорошего действия.

Для меня совершенно очевидна шизоидность формулы, потому что, если и существует какая-то ценность личности, так она только в том и может заключаться, чтобы поступать так, как всему остальному человечеству и в голову не взбредет, — а иначе — муравейник. Вот там закон торжествует во всей прелести. Муравейник — это и есть идеальное правовое общество, и не зря же всегда ловишь себя на желании взять палку, поворошить хорошенько, полюбоваться паникой и прошептать злорадостно: «Ишь, забегали!»

С Петром Лукиным я познакомился давно, еще будучи аспирантом, месяца за три до того, как меня вышибли, и мама тогда была еще жива. Он ей тоже понравился. Я же был просто влюблен в него, черта, и по сей день не разочаровался, хотя случается — грыземся, как два раздраженных пса, скалимся, косимся, вздыбливаемся холками, но потом все равно плечом к плечу за добычей...

Он не выше меня и не шире в плечах, но если я — типичная славянская морда, то он южанин, и этим все сказано. Я ему интересен, как носитель генофонда, он мне — всем тем, чем я обделен, хваткой, например, она у него не то чтобы мертвая, просто она всегда по существу, воздух не хапает, по крайней мере, и если кулак разжимает, там непременно что-нибудь есть нужное или полезное. Он щедр, терпим и вынослив. И он не

циник! Его слабость — женщины, тут он частенько прокалывается, а я тогда торжествую.

Самые прочные и долговечные знакомства происходят случайно. Подрабатывал на разгрузке на сортировочной станции. На перекуре оказался вместе с бригадой составителей поездов. На него обратил внимание, потому что держался независимо и интеллигентно, — мало говорил, не похабничал, что и для интеллигента редкость, и, самое главное, конечно, заметил меня, точнее, отметил меня своим пролетарским вниманием и первым пошел на разговор. Не было обычного прощупывания, заговорили сразу о чем-то простом и существенном, захотелось встретиться еще и встретились, раз, другой, а потом, когда меня вышибли из аспирантуры, закрутились наши с ним дела, и повязались так, что и захочешь — не оторвешься...

Мы ровесники, но я старше его, потому что он воспринимает наши игры с жизнью серьезно, я же участвую в них исключительно корыстно, а корысть, как известно, это непропорциональный сплав жадности и трусости, оба эти чувства я переживаю в полноте, то есть в постоянной готовности к раскаянию и покаянию, и при этом еще умудряюсь придерживать в резерве пару извилин для рефлексии по поводу всего происходящего.

Петр любит блюз — саксофонные сопли, и утверждает, что во всей мировой музыке это единственный монолог личности, наплевавшей на каноны коллектива и напрямую говорящей с Богом. Еще он увлекается шахматами, хотя считает их национальной еврейской игрой, стимулирующей адаптационные способности, когда выживание зависит от качества интриги и уменья просчитывать ходы. Он вообще большой любитель формулировок, кратких определений и всякого рода резюме, и это не удивительно, если учесть, что у него за плечами четыре курса логики и психологии, два курса матмеха, а еще ранее — какое-то геодезическое ПТУ и тьма мелких технических профессий.

К своей нынешней профессии составителя поездов Петр относится исключительно серьезно. Несколько дней я поболтался с ним на станционных путях. Он продемонстрировал, как состав, к примеру, из сорока вагонов рассортировать по адресатам с минимальным количеством «ездок». Был он небрежно величествен, когда специальными сигналами приказывал кишке из вагонов, платформ и цистерн то выползать за стрелки, то пятиться назад, разрываться пополам и на части и воссоединяться

вновь. При этом он постоянно нырял под вагоны, чего-то там сцеплял и расцеплял и выскакивал из-под вагонных сочленений одновременно с первыми рывками состава. В безропотности, что демонстрировала особым образом организованная груда передвигающегося металла, было что-то противоестественное, сюрреалистическое, особенно ночью, когда один лишь взмах фонаря — и немедленно скрежет колесный, и все куда-то поползло, поехало, потащилось, набирая скорость, обрастая грохотом и визгом, и кажется, не остановить, пока не врежется в темные контуры сооружений у поворота, но вот пара круговых взмахов фонаря — и дикий, почти жалобный вой тормозов, и натыкающиеся друг на друга сочленения металлической кишки вот-вот вздыбятся, крушась и разваливаясь... Но человечек рядом со всем этим, бахвалясь и выпендриваясь, опять чего-то изображает своим фонариком, металл отвечает ему свистком понимания и согласия и группируется для исполнения...

Если Петр хотел произвести на меня впечатление, то это ему удалось вполне. Однажды я приблудил на станцию по собственной инициативе, Петр обрадовался, увидев меня, и пообещал показать нечто, о чем не пожалею. Он заканчивал разборку очередного состава. Подцепив к тепловозу желтую цистерну, одиноко стоявшую до того в маневровом тупике, жестом подозвал меня и пригласил в кабину тепловоза, где мне охотно и дружелюбно жали руку машинист, мужичок с достоинством, и его помощник Олег, вихрастый, подвижный, лукавоглазый, в затертых до дыр джинсах, голый по пояс и с пионерским галстуком на шее. Убедившись, что я тронут его экипировкой, взял меня за пуговицу.

— Вот, как свежий человек, соображай быстро и гони резолюцию. Наше депо имени Павлика Морозова. Я у-ва-жа-ю депо, потому как видишь! — пальцем в галстук. — Сергей Иваныч, мой начальник, говорит, что если я хочу соответствовать, то должен для порядку приложить своего папаню или чьего-нибудь другого. А я говорю, что это формализм и буквоедство. Главное — «Будь готов!» И я тут же, пожалуйста: «Всегда готов!» Так сказать, по существу! Служил я на флоте. Учили нас топить вражеские подлодки. Мы же их не топили. Но готовность была, дай Бог! То есть по существу! А?

— Твоим бы языком да коровий помет соскребать в дощатом хлеву, — резонно заметил машинист, выявив редкостную по нынешним временам осведомленность в проблемах сельского хозяйства.

— Нет, ну ты согласись, — теребил меня Олег, — принципиальная готовность заложить кого угодно — это же поценнее будет, чем один раз сгоряча или с опохмелку...

— Диалектически подходишь к вопросу, — согласился я.

— Поехали, мужики, — возвестил Петр. — Время — деньги.

Тепловоз дернулся и лихо помчался прочь от станции.

— Кстати, о деньгах, — опять вцепился в меня голопупый пионер. — Секу раскинем?

— Не советую, — быстро откликнулся Петр.

— Вай нот! — возразил я и был понят.

Между прочим, сека — самая блефовая игра из тех, что я знаю. Три карты в руке, а весь характер как на ладони. Если ты трус, или жмот, или плут, или простак, или воля у тебя, как у прирожденного лидера, — все выявится за пять-шесть раскладов. Опасная игра, чертовски опасная! Чистой воды мазохизм подтолкнул меня согласиться. Не раз пробовал, унижает меня эта картежная провокация, знаю ведь, а нарываюсь...

Станция, пакгаузы, мачты высокого вольта — все разом подевалось куда-то, и оказалось, что тепловозик наш мчится, заваливаясь набок на виражах, по глубокой канаве, обсаженной елками так плотно, что никакой видимости по бокам, и лишь развал серого неба над головой да серые нитки рельсов, то и дело исчезающие в поворотном нырке. Сзади чуть пригрохатывала цистерна... Что-то бесовское было в самом движении или в настроении моем, а уж партнер мой карточный с наколками на руках и пионерским галстуком на шее — сплошная антисоветчина — почти что булгаковский персонаж... И какая-то лихость нездоровая...

Я продувался. И не оттого, что играл плохо, просто не мог заставить себя расслабиться, раскрыться, заиграть по характеру своему, обнаружиться боялся и проиграть не деньги — мелочь на кону, — но нечто большее, ведь постарше я его, бойкого и ловкорукого...

Между тем тепловоз вырвался наконец из канавы на открытое пространство и через несколько минут с надсадным свистом влетел на обширную площадку с несколькими рельсовыми нитками, ручными стрелочными переводами, с полдюжиной вагонов на крайней боковой тупиковой ветке. Приткнулись посередине, и Петр выскочил наружу. Некоторое время мотались туда-сюда. В итоге цистерна, что была сзади, оказалась впереди тепловоза, и, толкая ее перед собой, мы вкатились наконец на ту колею, на которой стояли вагоны.

Тотчас же справа и слева из-под елок стали появляться люди весьма странного образа, в каких-то замызганных плащах, в грязных пиджаках, Бог знает в какой обуви, а физиономии — одна карикатурнее другой. Помощник машиниста Олег, к тому моменту завершивший опустошение моих карманов, с удовольствием пояснил:

— Такого не видел? Перед тобой заслуженные алкаши нашей орденоносной области! Элита! Лучшие из лучших!

— Откуда они взялись? Здесь...

— Из города. Сегодня понедельник. Приползли опохмеляться.

— Чем?

— Коньячным сырцом. Пошли!

На тепловозе остался только машинист. Петр отвел меня в сторону и сказал: «Стой здесь, смотри и постигай!» Сам подошел к сцепному устройству между тепловозом и цистерной, что-то там проделал и, отступив на пару шагов, махнул рукой.

Свистнув, раскрашенный тепловозик рванул с места и, как щитом, прикрываясь цистерной, лихо помчался на состав вагонов на другом конце маневрового пространства. Вдруг резко, со скрежетом затормозил, цистерна оторвалась от него и точно нацеленным снарядом понеслась на вагоны. Я не успел ни удивиться, ни испугаться. Ну, что грохот — это само собой. Из цистерны вырвалось желтое пламя, метра на три, не меньше, вырвалось и зависло на мгновение, потом ринулось вниз и потекло желтым по желтому. Пламени не было, был коньячный сырец, и запах его не только до меня волной докатился, но и до тех, что стояли под елками, они издали дикорадостные возгласы и кинулись к цистерне, где им тут же перегородила дорогу команда тепловоза.

— Назад, ханыги! — звонким голосом возвестил мой друг Петр, и ханыги послушались, остановились и даже попятились к обочине, изъявляя полную покорность своим благодетелям. Странных полулюдей к тому времени набралось уже около двух десятков, они, как грибы-поганки, вырастали из-под елок и скапливались у обочин, некоторые тряслись и дергались, кого-то не держали ноги, и тот опускался на колени, заваливался на бок, но желтой сморщенной шеей тянулся в сторону раскупоренной цистерны с алкогольным зельем. Еще, это я заметил не сразу, почти у каждого из них через плечо висела сумка, сумки были разных фасонов, все — жуткое старье, но они были не пусты...

Машинист и помощник с полиэтиленовыми канистрами полезли на цистерну, Петр вернулся ко мне.

— Крышка цистерны закручена четырьмя длиннущими болтами, их можно перепилить, но это же работа, к тому же оставляющая следы умысла. А при ударе жидкость вышибает крышку, сам видел как. Я рассчитал необходимую силу удара, минимальную. Иногда, правда, сцепка летит, но не ошибается тот, кто и так далее...

— Но это же...

— Да ну?

— Понял, — сказал я и совсем по-новому взглянул на своего друга, на его красивое лицо не то терского, не то кубанского казака.

Алкаши меж тем дисциплинированно выстроились в очередь около тепловоза. Сумку теперь каждый держал в руках, лица оживлены, некоторые даже вполне симпатичны, и вообще вблизи они уже не производили того жуткого впечатления, что на расстоянии, так что расхожее — лицом к лицу лица не увидать — вполне опровергалось в данном конкретном случае, по крайней мере, большинству из них можно было сочувствовать...

Каждый из страждущих сначала вытаскивал из сумки какую-нибудь старую книгу, потом пол-литровую банку, которая наполнялась алкогольным зельем и выпивалась иногда, как говорится, не отходя от кассы. Книги в основном были Библии конца-начала века, учебники, томик Лескова запомнился в приличном состоянии, опись дворянских усадеб, уставные грамоты Московского государства, еще что-то. И лишь однажды мы с Петром одновременно ахнули, когда в его руках оказалась книга настольного формата с золотым тиснением — «Трехсотлетие Дома Романовых»! Этого мужика, явно не знавшего цену своему подношению, после принятия им «похмелька» Петр отвел в сторону, торжественно и щедро влепил ему в ладонь четвертак, поощряюще похлопал по плечу на зависть всем остальным и сказал искренне:

— Я б тебе, сердешный, еще пару банок накапал, да ведь помрешь, вон какой ты весь скособоченный, но ты запомни, моя душа тебе открыта, если еще что-нибудь такое приволокешь, буду поить, пока в горячке не загнешься. А сейчас давай топай в ельник, отоспаться надо, так?

До сих пор ведь помню эмоции, коими душа моя была переполнена в тот день. Как же это приятно, знать себя честным че-

ловеком, как это возвышает тебя над прочими, над самыми ближними и особенно над ближними, в дальнего не ткнешь перстом, не дотянешься, дальнему не взглянешь в глаза пристально и многозначительно, не скажешь великодушно: «Я, конечно, тебя понимаю...» Да и кто, наконец, кроме ближнего оценит твои моральные устои? Какой-то мудрец сказал: «Когда я оцениваю себя, я скромен, но когда я сравниваю себя — я горд!» Прекрасно быть честным человеком! Хоть в чем-нибудь, в ерунде какой-нибудь, чтобы хоть на одном клочке души можно было поставить пробу и пометить его знаком качества. Нельзя только ни с кем вступать в разговоры на эту тему — сплошной гололед, запросто утратить достойность позы, потому что черно-белые тона — это область морализующих гипотез, а в реальной жизни — спектр, и тебе его тут же продемонстрируют во всем великолепии. Мой друг Петр элементарно доказал мне, что либо я уважаю общество, в котором живу, и тогда я ничтожество, потому что в уважаемом обществе я сам просто обязан находиться на уважаемом месте, если я вообще личность, либо я не уважаю общество, и тогда я непоследователен в поведении по глупости или по трусости — на выбор.

Предложенный выбор мне не понравился, я определенно дал ему это понять, и он был очень доволен.

Этот разговор происходил еще во времена Порядка. А когда с Порядком было покончено, то я полностью избавился от чувства дискомфорта, которое, несмотря на твердость мною принятых решений, все-таки затаилось где-то между душой и желудком в виде крохотного, вяло шевелящегося змееныша. Я радостно выблевал его вместе с остатками гражданского чувства и захлебнулся воздухом свободы...

Мы с Петром стали грозой Центросоюза — была такая организация в государстве, которая якобы руководила якобы кооперативным движением. С некоторых пор на адрес этой организации стали регулярно поступать контейнеры с дефицитом: дубленки, сапоги женские импортные, куртки кожаные, невиданная бытовая техника и еще уйма чего. Причем доставлялось это все добро исключительно на обкомовский пакгауз, где и исчезало бесследно, никогда не появляясь в магазинах. Это Петр установил самостоятельным расследованием. И когда установил, тогда и приостановил бесперебойность поставок, то есть это мы с ним объявили партизанскую войну Центросоюзу посредством систематических разграблений контейнеров, проя-

вив при этом столь изощренные приемы и способы, что безнаказанность прямо-таки захмелила наши замудреные мозги. Конечно, это была игра для взрослых людей, прежде прочего желавших утвердить свою волю в доступной им области действия. Мы, таким образом, считали себя экономическими диверсантами, имеющими законное моральное право на компенсацию за риск в инициативе.

Когда Порядок рухнул, у нас появились конкуренты, люди неинтеллигентные, грубые и безыдейные, мы обзавелись «пушками» и устроили наглецам такой пиф-паф, что все «органы» вокруг встали на уши и в такой неэстетичной позе пребывают и по сей день.

Вихри враждебные разгулялись по необъятным просторам Родины, а мы с моим другом Петром выстроили бастиончик, крепостишку фундаментом к небу, крышей в землю, и все было прекрасно, пока в мой сон не пришла мама...

Было лето. А лето в нашем областном городишке превосходное, если не считать тополиного пуха, коим бывают периодически завалены не только улицы, но крыши, подъезды, квартиры, балконы, а также волосы, глаза, уши, карманы и даже ширинки, и зуд от этой заразы... И никто толком не знает, откуда это взялось, потому что раньше не бывало такой аллергической провокации со стороны прекрасных, ветвистых старинных городских тополей, которыми мы любовались и гордились. Для мальчишек забава: они сметают в углы громадные кучи пуха, утрамбовывают их и поджигают — сущий порох эта белая пыль.

Лично я влюблен в мой городишко, как в женщину или, точнее, как я хотел бы любить женщину — нежно! Осмотришься и улыбнешься радостной и чистой улыбкой, потом эту улыбку, как маску, можно снять с лица, повесить на стенку, смотреть и верить, что ты вполне даже хороший человек, если можешь сотворять мускулами лица такую светлую и беспорочную гримасу...

Он объективно хорош, наш город, счастливо обойденный всеобщей индустриализацией. К нам приезжают вздыхатели по старине и безжалостно терзают диафрагмы своих фотоаппаратов и кинокамер. Еще бы! Целые улицы старых деревянных домов. Расшиперится перед одним из таких какой-нибудь столичный русопят и ахает, и головкой лысой покачивает, и бородой метелковой помахивает, а глазками по сторонам — туда-сюда, все ли, мол, граждане данного исключительного города осознают, как им подфартило проживать в богоохранной местности. Я

как раз в таком доме проживаю. Потому иногда подойду к туристу и спрашиваю: «Нравится?» Сияет и руками разводит. «Махнемся?» Тут же глазки вподзакат, дескать, рад бы, всей душой, да вот только там, в опостылой столице дела... дела... Так бы и дал по роже!

Объективно хорош наш город. Но чего бы он стоил, не расположись он на берегах Озера, чистого, прохладного, уходящего за горизонт синей гладью и соединяющегося там, за горизонтом, с синей гладью небесной, словно ковер дивной красы изпод ног до горизонта, вверх и назад к нам, над нами и за спину до другого горизонта. На тех, дальних берегах, что от города не видны, горы и скалы, так что и по берегу не везде пройдешь — дикость первоприродная. Из-за труднодоступности не загажены эти места, где рыбы, дичи, грибов и ягод, если не тьма, то уйма, по крайней мере, нам, знающим подходы и проходы, хватает.

Это ему, Озеру, обязан город прохладой в летние дни и умеренностью морозов в морозные зимы. Пространственно они едины, город и Озеро, и я влюблен в это единство, как в женщину, как хотел бы влюбиться в женщину — с нежностью!

И в этом вопросе мы сошлись с Петром, только в отличие от меня он — настоящий романтик. Иногда я готов поверить, что он гений. Уже много лет он конструирует какую-то особую землеройную машину, которая будет ходить под землей, как червяк, причем даже сквозь твердые породы, правда, медленнее. Я видел чертежи, что-то он пытался мне объяснить, я ничего не понял, по крайней мере, ему так сказал, потому что немного испугался за себя, что тоже увлекусь, поверю. Но кое-какой опыт по части веры у меня уже был, и что бы там ни молотили философы, я убежден, что вера — все равно во что — это особый вид мозгового заболевания. Потому не поверил в его железного червяка и не поверил, что сам он гений...

И правильно сделал, потому что теперь, в связи с новыми обстоятельствами в моей жизни, мне придется поступиться многими увлечениями, а Петр — самое азартное мое увлечение и безусловно порочное...

Об этом и думал, когда шел к нему кривыми прибрежными улочками, и радовался, что Петр живет неблизко, что между нашими домами нет соединяющего нас транспорта, и если не спешить, у меня еще достаточно времени, чтобы внутренне подготовиться к нелегкому разговору.

Глава 2

> «Так я и знал, что мы влипнем», — сказал Петр и умер, падая затылком в черно-коричневую грязь. Я побежал...

А перед тем снова был сон. У мамы было заплаканное лицо, но его выражение в этот раз удивило и встревожило. Смотрела она на меня, но при этом будто прислушивалась к чему-то, звучащему за ее спиной... Или за моей спиной... Или вообще где-то вне пространства... Ведь там, где она, пространства существовать не должно...

Иногда взгляд ее оживал, тогда чуть-чуть начинали подрагивать брови, я помню, так бывало, когда она чего-то боялась, но старалась скрыть страх.

В сопляках был я ужасным гордецом. На мать посматривал лишь искоса, от ласк отбрыкивался, до бесед не снисходил. Теперь же, во сне, мог смотреть прямо в лицо. Когда из разных миров — можно смотреть не отрываясь, как на фотографию. К тому же я хотел что-то угадать в выражении ее лица, кажется, это было очень важно — угадать, не пустячок же, но информация с Того Света, возможно, вообще уникальный случай в истории. К сожалению, тот факт, что все это происходит во сне, тоже осознавался и сковывал, то есть там, где было мамино лицо, я вроде бы и не присутствовал вовсе, но только сознание мое без тела, без голоса и, ей-богу, даже без глаз...

Кажется, моя мама не была красивой женщиной, но все же в ее лице было нечто такое, мимо чего не пройдешь, не оглянувшись. Многие оглядывались, я помню это даже из детства, а если поднапрячь память, то... она, похоже, была жуткая кокетка... но не более того, потому что вся ее сознательная, а возможно, и досознательная жизнь регулировалась одним всеопределяющим свойством характера — самолюбием. Или гордостью? Вот ведь как язык коварен! Уверен, она себя не любила, то есть не считала себя лучше других, и не гордилась собой по той же причине, но при том была и горда и самолюбива, и никак по-другому не скажешь, если не обращаться за помощью к Фрейду, или Фромму, или Вейнингеру... Я принципиально не хочу иметь дело с этими сексоманьяками, распространившими на все человечество свои личные комплексы, уверен, что именно так и обстояло дело, потому что хотя бы вот я лично никакими эдиповыми пристрастиями не страдал и даже не подозревал, что

таковые существуют, пока не прочитал... Помню, когда прочитал, было ощущение, будто налакался помоев... В жизни этот самый Фрейд наверняка был грязный тип с мокрыми толстыми губами и глазками туда-сюда...

Пожалуй, я даже не обожал маму, никогда ею не восхищался и вообще никогда не задавался вопросом, красива ли она, потому что само слово «красота» соотносилось в моем детстве только с природой и девочками. Маму я уважал. Еще побаивался. Крута бывала на руку в раздражении. Сочувствие к ней познал впервые во время ее болезни. В иные времена в сочувствии она не нуждалась из гордости и самолюбия... Но, возможно, ошибаюсь? Возможно, в действительности она была именно такой, какой я видел ее в моем странном сне: страдающей, но утратившей защитную маску, которую при ее жизни я не смог ни рассмотреть, ни понять. Вот ведь во сне сердце мое разрывалось от сочувствия, и мог бы заплакать, как иногда плачется... Но этот мой сон необычен. Это сновидение, видение посредством сна, и моя задача разгадать его, иначе зачем бы все это мне было дано...

Итак, в этом втором моем сновидении мама была встревожена. Еще мне показалось, что не я причина ее тревоги. Она будто высматривала что-то за моей спиной. Или прислушивалась к чему-то... Может быть, к моим мыслям? Поступки можно контролировать, а мысли? Попробуй! Они, как тараканы, разбегаются во все стороны, и рад бы передавить, да не успеваешь. Но похоже, что если я серьезно намерен облегчить мамино наказание, мне придется заняться проблемой контроля за мыслями. Могу предположить, что я не хуже любого условно среднего человека, и притом я знаю, какие пакости проговариваются в моем мозгу порою просто так, без потребности в них, а как бы по привычке... Значит, первое дело — понять суть этой привычки. Не исключено, что так называемое самоусовершенствование и начинается с контроля за мыслями, потому что где дурные мысли... Но стоп! Так можно договориться до банальностей...

Дом Петра по внешнему виду ничем не отличается от прочих в общем ряду сохранившегося деревянного пригорода. И это момент его игры. Мог бы в теремок превратить — руки золотые и фантазии не занимать, но нет же, мы не хотим бросаться в глаза, ценностям пребывать внутри нас, и лишь избранным да особо доверенным откроемся богатством своим! Я, между

прочим, далеко не с первого раза удостоился приглашения, но придерживался на подходе, и лишь когда дела наши с Петром завязались в искусный узелок, тогда лишь распахнулись для меня весьма обшарпанные двери его дома. Внутри дом — воистину терем, «а-ля рюс», выполненный с завидным вкусом и с некоторой иронией к собственному стилевому пристрастию. Технические новинки цивилизации, коими дом насыщен весьма, удивительным образом вписываются в интерьер деревянной резьбы, вышивок, тряпичных ковриков, старинных комодов, сундуков, самоваров, притом во всех трех комнатах просторно и светло, тепло и мягко, то есть уютно... Впрочем, предполагаю, что уют — дело рук матери и сестры Юльки, которая, кстати, влюбилась в меня с первой попойки, потому что пьяный я на целый порядок лучше себя трезвого. Я знаю это и горжусь. Пьяный я щедр, добр и любвеобилен. Не в пошлом, разумеется, смысле слова, когда возникает этакая падкость на все шевелящееся, но в христианском, когда буквально переполняешься любовью к ближним, потому что, во-первых, обнаруживаешь в них массу ранее не замеченных достоинств, а во-вторых, как-то по-особому понимаешь вторичность их недостатков...

Законной гордостью Петра является подземная комната. Сруб три на четыре из обожженных и просмоленных бревен он обмотал парниковой пленкой и опустил в огромную яму, которую выкопал вплотную к дому. Зашпаклевал, заштукатурил, покрасил, соединил с домом лестницей, замаскировав ее панелью со старинными, неработающими настенными часами. Снаружи — обычный погреб. Даже соседи, на глазах которых вроде бы все это исполнялось, не успели сообразить, куда подевался сруб, торчавший чуть ли не полгода из-за высокого дощатого забора. Уличный вход в «погреб» чужому взгляду тоже ничего не открывал, кроме крохотного закутка, пригодного лишь для размещения курятника.

Обстановка подземной комнаты поражала воображение. Двенадцать метров полезной площади Петр превратил в райский уголок, где дышалось, пилось и спалось с фантастической легкостью и комфортом.

Будучи от природы нетворческим человеком, способным исключительно на подражание, я возжаждал учинить нечто подобное и со своим жилищем, но увы! на полутораметровой глубине у меня проступила вода. А дом Петра, хоть он тоже на приозерной улице, но на холме. Этого пустяка я не учел и лишний раз приговорил себя к вечной посредственности.

Дверь мне открыла Юлька. Прищурилась, как всегда щурится на меня, — такой у ней способ скрывать влюбленность, — кто это, мол, к нам пришел такой, что в упор не узнаю. Потом равнодушно протяжное: «А-а, это ты...» — «А, это я», — сказал я и напрямую к настенным часам, за которыми потайной спуск в потайную комнату.

Вся команда была в сборе и в приподнятом духосостоянии. Мое появление было воспринято как некий восклицательный знак в конце торжественно-праздничной фразы, и мне стало стыдно того намерения, с которым я нынче появился в этом доме.

«Зав. транспортным отделом» настоящий «русский Вася», светлоликий, открытоглазый, как и положено, в меру курносый и в меру губастый, именно за эти внешние качества особо ценимый Петром, по имени, представьте себе, Вася — никак не походил на бандита-налетчика, каковым, в сущности, был, как и вся наша достойная компания. Он возмечтал «купить в аренду» один узкий, но достаточно длинный залив нашего прекрасного озера, разводить там толстолобика и еще какую-то водоплавающую тварь, разумеется, перегородив залив особой дорогостоящей и нервущейся сетью... Об этом японском изобретении он говорил, как Дон Жуан о Донне Анне в исполнении Высоцкого — с хрипом и восторгом... Сеть стоила много дороже аренды. Вася копил капитал, предоставляя для наших «мероприятий» грузовой транспорт в виде ЗИЛа, на котором зарабатывал на пропитание, и легковой транспорт в виде лично собранного ГАЗ-69 с усиленным мотором, усиленной проходимостью, то есть вообще усиленного настолько, что можно было по бурелому уйти от любого преследования.

Вася был безусловно ценный кадр, но не ценнее другого, типичного «Митрича», прилизанного, остроносого мужичка с бегающими трусоватыми глазками, с вечно шебуршащимися руками и на редкость подвижными шейными сочленениями, способными, я уверен, при необходимости развернуть шарообразную голову нашего ценнейшего кадра на сто восемьдесят градусов. Фамилия его была — Каблуков. Возраст — под сорок. Все обращались к нему только по фамилии, и похоже, ему это нравилось. Он был нашим «начальником разведки». Это от него, диспетчера на «сортировочной», мы узнавали о поставках контейнеров с предположительно ценным товаром, его информация еще ни разу не дала сбой, потому его процент от прибыли

был равен проценту самого Петра. На какое озеро копил деньги Каблуков, нам было неизвестно, да и без интереса...

Еще была в нашей команде одна бойкая бабенка, обеспечивающая сбыт. Ее Петр содержал в такой глухой конспирации, что даже я не знал ее позывных и в глаза не видел. Пара «молотков на подхвате» — те ни на какие «сборы» не допускались, получали от Петра мизер для поддержки штанов, но притом преданы были Петру до тупости, именовали его «шефом», что, как я мог заметить, ему льстило, и ради «шефа» всех нас прочих могли уложить на рельсы хребтами поперек...

Юлька спустилась вслед за мной, демонстративно обошла бедрами, стала собирать со стола тарелки со следами чего-то изысканно вкусного, чего я автоматически лишался по причине опоздания и теперь мог рассчитывать только на коньяк и чай с чем-нибудь сладким. По-европейски низенький столик мог собрать вокруг своей эллипсоидной поверхности не более пяти человек, а если без напряги, то четверо — самый раз. Присаживаясь, я как бы завершил композицию не только по форме, но и по содержанию, что немедленно сказалось на позе Петра, развалившегося в кресле цветной обшивки, в то время как все прочие задницы довольствовались круглыми, весьма жестковатыми стульчиками-табуретами, по конструкции не позволявшими, к примеру, забросить ноги на стол или хотя бы расслабиться настолько, чтобы подчеркнуть свою персональную значимость, но обязывающими сидеть прямо, высвечивая тем самым действительную роль хозяина дома...

В другом углу бункера стоял такой же столик с тремя такими же креслами, что под Петром, но в тот угол, обставленный всяческой заморской техникой, гости приглашались лишь после официальной, деловой части, и попытки продолжить проблемные разговоры в условиях расслабленности пресекались Петром категорически...

По выражению физиономий я понял, что «проблемные разговоры» в самом разгаре. Суть проблемы, уже известной мне, была такова: ожидалось поступление контейнеров с румынскими дубленками для областной номенклатуры. Контейнеры должны были прибыть не на платформе, как обычно, а в пломбированных вагонах или в одном вагоне — эта часть информации подтверждения пока не получила и потому оставляла в планах Петра некоторый опасный люфт. От сортировочной станции продукцию предстояло отбуксировать в тупик, что под са-

мыми окнами диспетчерской, а затем после соответствующего переоформления оттащить в подземный обкомовский пакгауз в сопровождении приемщика, мужика нам в общем-то хорошо известного, но неподкупного, поскольку он давным-давно уже был куплен соответствующими официальными органами, а всем известно, что нет более опасного субъекта в таких делах, чем некто суперчестный, кому за честность заплачено...

Мы с Петром обсуждали приватно эту тему еще тогда, когда в мои сны не приходила мама. Вопрос моего участия не обсуждался, оно подразумевалось само собой, и теперь мне предстояло нанести своему другу форменный удар в спину, поскольку каждый из нас в операции был незаменим. В своем решении начать новую жизнь я был непоколебим, у меня просто не было выбора, и если в течение последующего разговора я поддакивал Петру, то исключительно потому, что не видел возможности вклиниться в деловое обсуждение своей, чужими глазами глядя, смехотворной проблемой без того, чтобы не быть неправильно, а то и оскорбительно понятым. Увлеченный тактическими и стратегическими выкладками, Петр не замечал моего состояния, немногословность мою принимая за готовность и согласие. Еще как-то пакостно подействовал коньяк — потащило, потащило... Мысли скисали, едва вызрев, лень опутала душу, и я поплыл, словно в поддавки играя сам с собой. Юлька подвернулась под руку, мысленно я отсек руку, соблазняющую меня, и почувствовал сильную боль, правда, в затылке, потому что в действительности рука моя проделала нечто неприличное с Юлькиным задом, и она треснула меня чем-то подручным по голове... Впрочем, это было уже за другим столиком, то есть после того, как завершилась деловая часть встречи, были приняты нужные решения, и я принятию этих решений никоим образом не воспротивился, то есть струсил, поленился и безусловно усугубил ситуацию, так как теперь не рано, а именно поздно должен был поставить Петра в известность о своей новой жизни...

Юлька — влюбленная душа, почувствовала мое состояние, и когда я не очень уверенно поднялся за ней по лестнице в кухню, спросила, глядя в упор своими хорошими, несовершеннолетними глазами:

— Ты сегодня чего это такой?

— Тебе когда восемнадцать?

— Через два... полтора...

— Долго...

— И давно ты такой правильный? У нас, между прочим, на весь класс четыре девственницы.

— И ты в том числе?

Как-то уж слишком многозначительно посмотрев на меня, поправила на моей рубашке воротничок, тряхнула челкой, отвернулась.

— Все эти ваши дела с Петькой плохо кончатся. Да? Каблуков упырь, Вася — мешком стукнутый... Сплошной дурдом... Петька вчера пистолет смазывал... Допрыгаетесь... Со мной тогда что?

— Богатой невестой останешься, — вот уж воистину сморозил я.

— Не надо, — прошептала она. — Ты ведь в общем-то хороший человек...

Однажды уловив брошенный на меня взгляд Юльки, Петр сказал коротко и определенно: «Сестренка — табу!» Он так это хорошо сказал, что я начисто перестал воспринимать ее как существо женского пола. Сейчас «пол» врезал по моим проконьяченным мозгам, и не будь я озадачен первостепенной проблемой выяснения отношений с Петром, поддался бы и дров наломал поленницу, и бедную мою маму не вспомнил бы, вот ведь напасть какая — «пол» — скотство и постыдство...

Ангелы небесные, не содрогающиеся нутром от зова животного инстинкта продолжения рода, как же легко парится вам в космических эфирах, как светло думается, как вольно дышится, как страстно любится вами Отец ваш Пресветлый! Разве совместима подлинная любовь с инстинктом, разве возможна она для двуногого лукавого существа, именуемого человеком?

С другой стороны, насколько мне известно, не сохранилось в истории восторженных отзывов о духовных качествах кастратов и скопцов, так что воздержимся от зависти к ангелам и попробуем если не обуздать инстинкт, то хотя бы взять его под контроль, или я не венец творения!

Спускаясь за Юлькой назад в комнату-бункер, я чувствовал себя подлинно нравственным человеком, которому не чуждо ничто человеческое и вместе с тем открыто и доступно наслаждение искусством остепенения того самого человеческого, чем не грешны и замечательны ангелы небесные, пускай себе витающие в иных измерениях, то есть подальше от нас.

Ритмы мамонтовой эпохи грохотнули по стенам и потолку и чуть не сшибли меня, неустойчивого, с последней ступеньки, не наткнись я головой на Юлькину спину, не обхвати ее... Ду-

рочка неправильно поняла меня, одеревенела, застыла, не оборачиваясь, такая теплая, такая ручная, только я уже не тот, что был минутой раньше, не просто гомо, но еще и сапиенс, я просопел ей в ухо: «Пардон!» — и оттолкнул от себя.

Где-то в пространствах черных дыр мама благодарно улыбнулась мне.

Ритмы вдруг прервались, как заткнулись, это Петр, увидев меня, приветствовал ловкими махинациями с кассетами, и через мгновение комната заговорила лунным языком, когда-то подслушанным и записанным великим косматым немцем. Ну, как после всего этого мне с Петром объясниться! Ведь не просто друг, но истинное двуголосие, симфония душ, по фантастической случайности оказавшихся однажды в одно время, в одном-единственном месте, на одном квадратном метре между квазиквадратов пустынь, где хоть глотку надорви воплем отчаяния, кроме эха ни хрена... Тогда я обязан ответить на два вопроса: что есть с точки зрения абсолютной, именно так — абсолютной морали мое намерение отказаться от участия в намеченной НАМИ акции? Это первый вопрос. И первый ответ: предательство друга. Предательство, потому что мои аргументы, выскажи я их, Петром не могут быть ни поняты, ни приняты. Предательство друга — преступление против морали, к тому же абсолютной, то есть пребывающей во все времена неизменной и не зависящей ни от каких социальных раскладов. Вопрос второй: что есть та самая НАША акция, от которой я намереваюсь слинять? Уголовное преступление, пусть последнее, но не первое — против закона, однажды кем-то установленного, в верности которому мы с Петром не клялись и не присягали, но лишь принимали до поры до времени, пока закон не вступил в противоречие с нашими интересами и желаниями.

И наконец, я, человек, пребывающий в самой глубинной глубинке государства-монстра, разве я ощущаю какую-либо органическую связь между собой и этим монстром настолько, чтобы иметь по отношению к нему какие-то моральные обязательства, учитывая притом полное отсутствие тщеславия, способного подтолкнуть меня на общественную активность? И тем более теперь, когда все, вчера еще дышавшее мощью и претендовавшее на вечность, рушится на глазах, корчится в агонии в сопровождении зловония и диссонансов?

Юлька, душа чистая и непорочная, влюбленная в меня, преступающего закон, сохранит ли влюбленность, когда предам своего друга и ее брата?

Ну, а мама, моя бедная мама, приговоренная к мукам созерцания моей нечистоты, она должна понимать, что я перед выбором, которого не избежать, что муки выбора — это уже что-то в мою пользу... Попросить бы ее потерпеть, пока не вырвусь из ловушки, пока не порву путы обязательств... Новая моя жизнь не за горами, и вся она будет освещена и посвящена ей, несправедливо приговоренной, в том цель моей жизни, до того бесцельной и бессмысленной!..

Все эти соображения прокрутились в мозгу в течение первой части «Лунной». Вторую, бравурную, часть я слушать не стал, дал сигнал Петру, щелчком он вырубил музыкальный фон и предложил «по маленькой» за успех, за жизнь по вольным правилам, за то, «чтоб они сдохли», — этот крамольный тост пришел к нам из столиц много лет назад и теперь уже не был актуален, потому что «они» не только сдохли, но и провоняли на всю страну, и что-то большее имел в виду мой друг, повторяя банальность столичных протестантов в аудитории, едва ли способной оценить его глубокомысленность.

Оживился «Митрич» Каблуков, в течение симфонической паузы изображавший интеллигента смыканием век и поджатием губ, облегченно вздохнул Вася, будущий владелец рыбразводзавода, да и Юлька, как курочка, встрепенулась перышками и волоокими зрачками на меня, дескать, будем проще и быстрей поймем друг друга. Впрочем, Петр не настаивал на серьезности тоста, он настаивал лишь на его исполнении... Он попрежнему не догадывался о моем состоянии и тем слегка разочаровывал меня. Спроси он для формы хотя бы: «Все о'кей?» — я сумел бы переключить его на свои проблемы, и тогда, возможно, состоялся бы серьезный разговор с должными последствиями для всех присутствующих и для меня в первую очередь. Но увы! Друг мой пребывал в непробиваемой эйфории. Хуже того! Вот уже который раз он бросал будто случайный взор на телефон, спаренно выведенный в бункер, затем так же, будто машинально, — на меня, этак вскользь, и это означало, что подступает к нему известная «кудрявая фефела», что она уже «ржет навеселе», что по автоматизму привычек должен я звонить кое-куда и кое-кому, всегда готовому откликнуться на зов «фефелы», и подготовить мой дом полухолостяка, полуразведенца для радостей постыдных... Всегда в общем-то тактичный Петр называл мой дом «трахтенхаузом», чем, не подозревая даже, обижал меня, но отчасти был прав, потому что с отъездом отца и его

сестры, хлопотливой и шумливой тетки, а тому уже шестой год, запустил я домовое хозяйство до безобразия... А впрочем, вру, это я сегодня впервые обиделся, сейчас, вспомнив, как Петр обзывает дом, где когда-то была хозяйкой мама. Не за себя, за нее обиделся. Обиделся и порадовался, что именем и памятью мамы прозреваю и переосмысливаю окружающий мир, вещи, слова и поступки, что постепенно, но неотвратимо происходит мое преображение, накопление некоего качества, за которым последует взрыв, после чего начнется жизнь глазами к небу, то есть туда, где мама... Подмигнув Петру и делая вид, что не замечаю подозрительного сверкания Юлькиных зрачков, я подался наверх. «Обеспечение фефелы» требовало обстоятельного изучения записной книжки и весьма деликатных и продолжительных телефонных переговоров.

Глава 3

> «Сволочь ты, — говорила Надежда, блуждая своими длинными, гибкими пальцами в моих космах, — сволочь и гад! Знаешь, что я не шлюха, и что без мужика не могу, тоже знаешь и пользуешься, паразит... Ну, когда-нибудь тебе отольются мои слезки... Ох, отольются!»

Телефон Надежды набрался случайно. Несколько менее случайно она оказалась дома. На этом случайности кончились, и пошли сплошные закономерности.

Мы с Петром не какие-нибудь ханыги и забулдыги, мы с ним интеллектуалы областного масштаба, потому подруги наши — это я так интеллигентно выражаюсь, — не какие-нибудь официантки или продавщицы, но тоже, разумеется, подвижницы культурного фронта, других не держим, да оно и неудивительно, поскольку одинокая женщина не имеет социальной приписки, одинокая женщина есть везде, одинокая женщина — это жертвенная свеча в сумерках житейского мельтешения, это родник, не всегда прохладный и не всегда прозрачный, но всегда желанный для мужчины, не озабоченного семейным творчеством, или уставшего от такового, или потерпевшего крах на этой многотрудной и неблагодарной ниве бытия. К тому же, и это я утверждаю без цинизма, одинокие женщины в большинстве своем прекрасны каким-то внутренним светом мудрости, они начисто лишены чванства замужних и устроенных женщин, в их глазах и только в них прочитывается порою

та самая эсхатологическая тоска, что, в общем-то, щедро разлита по миру, но исключительно небесного происхождения, и сколь бы ни были корыстны мои рассуждения на эту тему, именно в ней, в этой теме, я сам себе кажусь наиболее искренним и последовательным, потому что не могу жениться на всех одиноких и, следовательно, не должен, то есть не обязан жениться вовсе...

Петр более поэтичен в отношениях с женщинами, но, как ни странно, и более корыстен, и это сочетание поэзии и корысти для меня загадочно, потому в нашем дуэте всякий раз, когда он играет «на повышение», я забавляюсь сбрасыванием его с пьедестала, что иногда весьма коробит его, но вполне устраивает, ибо своей «заземленностью» я рельефнее высвечиваю возвышенные тенденции тоже достаточно хитроумно устроенной души моего друга.

Откровенную зависть прочитал я в его глазах в тот момент, когда знакомил с Надеждой, когда представлял ее, перспективную актрису областного драмтеатра, в ее собственной, современно благоустроенной квартире, с роялем в углу зашторенной залы, с не моей, но любящей меня дочерью ее, черноглазой попрыгуньей Люськой и, как положено в приличных домах, с кудлато-патлатой собачкой, которую сам я, откровенно говоря, терпел лишь по причине интеллигентности моей натуры. Собака, запрыгивающая на белоснежную, хрустящую, благовонную, на священную постель, — это зрелище и по сей день вызывает у меня сладостное видение — стриженая шавка с визгом вылетает через форточку... Петр же пришел от всего представленного в такое умиление и благостное расположение духа, что, начав с рыцарского целования руки, закончил телефонным звонком в единственный более-менее респектабельный в городе ресторан и сделал заказ с доставкой на дом на такую сумму, что моя скуднооплачиваемая актрисочка побледнела носиком и щечками и защебетала жалобно и восторженно о чем-то, не имеющем отношения к факту... Я, хотя и был встревожен произведенным на нее впечатлением, но одновременно чисто мазохистски настроил контрольные приборы ревности на деловую волну проверки, и объект исследования в итоге ничуть не разочаровал меня.

Но все это случилось и было давно, еще в начале нашей стыковки с Петром, когда я, как паразит по призванию, сутками не снимал с себя пестрого, долгополого халата, заласканный, занеженный, закормленный, обнаглевший в благополучии, но соскучившийся по Петру, вызывал его телефоном на десерт, и

разнообразил свое паразитическое существование беседами о возвышенном, и демонстрировал ему свое жалкое умение извлекать из благородного инструмента неблагородные созвучия. Уже потом, много потом была злополучная премьера, в которой Надежда заимела наконец главную роль — роль городской шлюхи, встретившей на своем шлюшьем пути человека коммунистической нравственности и под его преобразующим влиянием, и особенно вследствие его исключительно коммунистического утопления при спасании на водах, конечно же ребенка, превратившейся в девственницу, честно желанную для всякого советского человека. Большей туфты и дешевки мне зреть не случалось. Так и сказал... Понимал, что нельзя, но сказал. Догадывался, чем рискую, но, возможно, это был чисто мужской риск, когда некто от избытка благополучия карабкается на Эверест, или ныряет в беспросветные пещеры, или ищет приключения на темных улицах, провоцируя тем самым судьбу, столь податливую на провокации.

Не зная подоплеки, Петр учуял ситуацию и дерзким ястребком пошел на перехват, но получил такой впечатляющий щелчок по носу, что долго не высовывал его из недавно отстроенного бункера. Юлька, стерва лукавая, только-только вступившая в комсомол, обрывала мне телефон с требованием явиться немедля и спасти ее любимого братца от хандры и алкоголя, а когда явился, необоснованно долго висела у меня на шее, выдавливая из глаз слезинки и размазывая их по моему мохеровому кашне.

Агония наших отношений с Надеждой длилась еще полгода. За это время она успела получить новую главную роль, на этот раз — многомудрой, но еще юной учительницы-новатора, отважно сражающейся с консерватором директором и бандой зловредных и замшелых пауков из гороно. Познавать школьную действительность Надежда отправилась в образцово-показательную школу города, откуда и была выловлена и загружена вниманием к Петру Светланочка — учитель словесности, славная, милая тридцатилетняя одинокая женщина, надолго затмившая всех прежних женщин Петра воистину кошачьей (в хорошем смысле слова) ласковостью и редкой для ее коллег информированностью в предмете преподавания. На осенней волне моего романа с Надеждой мы успели вписать в наши биографии несколько замечательных вечеринок, где были стихи, музыка, танцы и любовь, любовь...

Потом и у Петра отчего-то все рассосалось, расползлось, растерялось, были встречи без продолжений, звонки без встреч,

совсем, как у меня. Появлялись и исчезали женщины — но наступил пик наших поездных авантюр, от которых мы хмелели больше, чем от женщин. И лишь когда лично меня брала за горло «фефела» и не было времени для вольного поиска, я обращался за помощью к Надежде, и она мне оказывала ее, возможно, потому, что сама нуждалась... Как-то это неприлично смотрится в словах, но в жизни... нормально...

И вот сегодня случайно набрался номер телефона Надежды, клянусь — случайно! — и нечто ностальгическое постучалось в мою не первой свежести душу. Тогда возжаждала душа чистого чувства или хотя бы не очень грязного, такого, когда бы присутствовала в его объеме память о подлинном и настоящем, достойном ностальгической слезы, ведь что бы ни произошло сегодня, а потом еще и завтра ночью, о чем еще думать и думать утром с похмелья (с Петром уже не поговорить!) — все это, как лебединая песнь, — для меня, а для мамы моей, обреченной на просмотр прощального паскудства, мука и страдание, закольцованные в вечности, с единственным утешением, что скоро, совсем скоро волею моей разорвана будет цепь свинства, и в кольце страданий появится сегмент радости и отдохновения, и чем больше будет отпущено мне жизни, тем длиннее будет сегмент, а в случае долголетия, проживи я, положим, лет девяносто, то две трети кольца радости против одной трети страдания — это же почти рай, во всяком случае, уже не ад, и в моей воле изменить небесный приговор, что фактически равнозначно соучастию в Творении...

Дух захватило и пусть бы не отпускало, но набрался номер Надежды, и голос ее после третьего гудка, такой вдруг родной, ласковый — особый! Все сошлось удивительно. Перезвонив через пять минут, Надежда сообщила, что и Светланочка в наличии и тоже готова встретиться, потому что пребывает в тоске и унынии, то есть четыре разных человека в одно и то же время оказались в одинаковом состоянии духа, одинаковостью потянулись друг к другу, откликнулись и устремились... В устремленном состоянии расставание с «соратниками по борьбе» прошло несколько скомканно, особенно Вася недоумевал, чего это вдруг, когда все было так славно по-мужски, и на тебе, разбегаемся, в сущности, даже не добрав до нормы, торопливо ладошку в ладошку, и топай пыльной улицей в постылые берлоги! Вася был сконфужен и обижен. «Митрич» держал марку делового, но тоже прятал глаза, отдавливая пальцы в демонстративно крепком рукопожатии. Нам же с Петром — катись они оба!

Юлька, вздернув подбородок и прищурившись, вылила мне на голову цистерну презрения, а на попытку по-братски облапать ее, прошипела в шею:

— Заработаешь СПИД, не смей дышать в мою сторону!

— Прибежали в избу дети, — назидательно ответил я и, изловчившись, все-таки чмокнул куда-то.

— «Мне холодно, знаешь, мне холодно, слышишь!» — декламировала Светланочка, вперив волоокий взор в Петра, расслабленного, размякшего, похорошевшего под поощрительное хлопанье ресничек учительницы словесности. Божественно выглядели наши любимые! Надежда имитировала слушательницу Бестужевских курсов, самое начало века, — платье «макси» в талию до умопомрачения, шея, украденная у Нефертити, подчеркнута лишь на одну пуговичку расстегнутым воротничком в кружевах, и руки ее прекрасные тоже в кружевных манжетиках, и прическа — «княжна Мэри», словно только для ее головки и придумана... Светланочка же, напротив, — волнующее декольте черного, но синевой мерцающего платья неизвестной мне материи, и что-то вольное, но вдохновенное с ее волосами, как принято говорить, пшеничного отлива, а на скульптурных ножках золушкины туфельки, только черные, но тоже сверкающие... Не иначе, как у Надежды завязался блат с костюмершей театра. А рядом мы с Петром в протертых джинсах, в рубашках не первой свежести развалились в креслах, задрав заношенные тапочки с протертыми гуттаперчевыми подошвами. Им бы оскорбиться, милым, да послать нас подальше, хамов и нерях, но нет же, любят они нас таких вот, и за что, спрашивается, и что оно такое — их любовь, возможно, и не любовь вовсе, а одна лишь тоска бабья, и тогда это должно быть оскорбительно для нас, и тоже — ничего подобного, не утруждаем себя соображениями на этот счет, наслаждаемся, все принимая как должное...

— «...Но я закричу в эту серую слякоть, чтоб крик поднимался все дальше, все выше: «Люблю тебя, знаешь! Люблю тебя, слышишь!» — на выдохе умолкает Светланочка, потупив глазки, порозовев щечками. И как это ей удается так трогательно умолкать — Петр заерзал даже?! Тренируется, поди, чертовка! Надежда натаскивает?

Блондинка и брюнетка. Ольга и Татьяна! Мне нравится это сравнение. Оно мне льстит. Но с Петром я не делюсь, на подолострадальца Ленского он уж никак не похож. И если я не тяну на Онегина, то Надежда — в своей наследственно господской

квартире — само собой, но даже здесь, у меня на «трахтенхаузе», — она, ей-богу, в чем-то лучше Татьяны, может, как раз тем, что вот она у меня здесь без зауми и предрассудков, понятна и доступна, и мне не нужно перед ней «входить в образ», а наоборот, могу распуститься и даже сыграть на понижение, а в итоге все равно получу ее...

Оглянулся на Петра. Так и есть, он тоже уже не против получить... Но красавицы наши, они не торопятся, они умницы, они знают наше скотство мужское, когда так обхамишься, что не считаешь нужным даже подыграть им, более прочего нуждающимся в игре, именуемой общением любящих сердец. Им нужно время, чтобы суметь забыть, кто мы такие в действительности, то есть самцы-гедонисты, не озабоченные проблемой продолжения человеческого рода, в сути — уроды, рабы своего уродства, трусы и лентяи, играющие в так называемые мужские игры, им, красавицам и умницам, не нужные совершенно. Ведь подозреваю же, что где-то на самом глубинном уровне сознания или, наоборот, на самом высшем этаже его должны они презирать нас небывалым презрением, способным испепелить нас, дай они ему волю, но не испепеляют, а потакают нашему гордому эгоизму и хамству. Значит, так тому и быть!

В соответствии с избранным стилем Светланочка падает на колени Петру. В том же полном соответствии Надежда грациознейшим образом опускается на пол перед моим замызганным креслом и нежнейше прислоняется головкой к моей руке на ободранном подлокотнике. Слава Богу, пол у меня чистый. Другой рукой я бережно глажу ее волосы, в движения руки вкладываю всю нежность, на какую способен, и не без огорчения замечаю, что Петр в выигрыше, поскольку по условиям предложенной игры может позволить себе большую вольность в выражении чувств. Они попросту целуются. Я же вынужден изображать из себя Онегина, снизошедшего до проблем Татьяны. Чтобы уравнять шансы, бережно отстраняюсь, на столике, что напротив нас, обеспечиваю полноту бокалов, раздаю оные персонально. Тост не произносится, потому что — пошлость. Теперь наши дамы-красавицы на полу промеж кресел, обнявшись, поют «Не пробуждай...». Светланочка, как положено, неумелым, но приятным и достаточно сильным первым, Надежда — вторым голосом. В этом давнем дуэте, отработанном еще во времена параллельных наших романов, Надежда в роли старшей сестры, поощряющей младшую. Своим красивым, постав-

ленным голосом она как бы выправляет мелодию, обеспечивает ей ровное звучание и глубину, выказывая то редкостное чувство меры, что от природы присуще русскому голосу, когда голоса, сколько бы их ни было числом, сливаются в нечто единое, объемное и пространственное... Впрочем, эту мысль я додумал тоже еще в те времена...

Дамы захотели потанцевать. Что поделаешь, вечер вырисовывался по полной программе. Поковырявшись в полураздавленном тройнике, я сумел-таки подключить корейский кассетник, и музыка нашлась подходящая, хотя не оказалось свеч, и пришлось довольствоваться ночником. Мы самозабвенно танцевали, если можно назвать танцем топтание и раскачивание.

— Ты сегодня подозрительно хорош, — шептала Надежда на ухо. — Тому есть причины?

— Есть, — отвечал я серьезно. — Очень важные причины, но ты не будешь спрашивать о них.

— Не буду. Я ведь тоже, согласись, сегодня в форме.

Я поцеловал ее в ушко и подумал, что потом, возможно, ближе к утру у меня может появиться желание кое-что рассказать ей, ведь не подозревает даже, на каком рубеже стою, за какой порог ногу занес. Но поймет ли?

Светланочка радостно взвизгивала от Петровых ласк, он тоже что-то там постоянно ворковал, и оба они, игриво возбужденные, даже несколько быстрым передвижением по комнате словно оттеняли глубокий минор наших с Надеждой чувств, их партия была неким легкомысленным фоном, на котором мы с Надеждой как бы отрабатывали сцену встречи и возвращения друг к другу, и система Станиславского торжествовала в нашей талантливой и искренней игре. В эти минуты я знал, что подруга моя — хороший человек и великолепная женщина, что едва ли мне еще когда-нибудь повезет с сочетанием этих важнейших качеств, что по высшей справедливости она мне — подарок ни за что, а я ей — вовсе не подарок... И много еще красивых и правильных мыслей выстроилось в очередь, но одна, пришедшая последней, вдруг растолкала всех прочих и нарисовалась в моем мозгу с поразительной отчетливостью: я хочу эту женщину и в то же время никогда не хотел на ней жениться, и чем больше я ее хочу, тем абсурднее сама мысль о женитьбе. Через минуту-другую мы исчезнем с ней в летней комнате, где уже все готово для любовного торжества, но и в мгновение высшего земного

счастья, что отпущено природой мужику, — даже в балдеже, когда, Бог мой! чего только не наговоришь и не наобещаешь, — и тогда не пожелаю я продлить наше общение далее утра или полудня, и, расставаясь, еще неизвестно, за что буду больше благодарен, — за то, что пришла, или за то, что уходит.

Раньше плевал бы я на все подобные несуразицы в собственных ощущениях, раньше была реальность, которая всегда права. Теперь же, когда мысли мои и поступки, как перед кинокамерой — пред взором мамы моей, обреченной на мной сотворяемые для нее страдания, — явная извращенность, нечистота и пакостность поведения...

— Поднимем бокалы, содвинем их разом! Да здравствуют девы! Да скроется разум! — возвестил Петр, подтаскивая всех нас к столику.

— Налей! Выпьем, ей-богу, еще! — басом согласился я.

— Какой обед там подавали! Каким вином нас угощали! — слегка фальшивя, пропела Светланочка.

— Хочу произнести речь! — неожиданно громко заявила Надежда, и все притихли. — Я утверждаю, что мы с вами — хорошие люди. Хо-ро-ши-е! Потому мы должны хорошо жить, мы обязаны хорошо жить! Достоевский считал, что нужно хорошо жить, потому что есть Бог. И неправильно! Если Бога нет, то тем более нужно жить хорошо, если после жизни — ничего... Какой ужас!..

Она схватила мою руку, обхватила ее, прижалась... Глаза — космические блюдца!

— Страшно! Где-то жизнь, и ее так мало. А где-то — «ничего»... Я не хочу об этом знать, но откуда-то знаю, и вынуждена жить с этим знанием, как с приговором. Мальчики, Светка, ну, чем бы таким заняться, чтоб не знать и не думать, чтобы жить, а не двигаться в никуда...

— Ну, чего это ты вдруг? — не без досады прошептал я ей.

— Для себя лично, — нерешительно откликнулась Светланочка, — я придумала, это ерунда, конечно, то есть невозможно, конечно...

— Поделись, милая, ведь проблема одна на всех!

Петр влепил ей в щечку звончайший поцелуй.

— Я бы, — потупясь, продолжала она, — ушла бы в монастырь... Только в мужской...

Петр аж присел от хохота. Надежда гневно зыркнула глазами, прикусила губу — знакомый признак обиды. Но Светланочка бросилась к ней, обняла.

— Нет, нет, я серьезно. Ведь в монастыре не умирают с голоду, а едят, хотя и умеренно. Потому что так природой устроено. А мужчина... Это же тоже для нас от природы так... Я бы встречалась, ну... раз... во сколько-нибудь дней, как бы от голода, ведь если от природы... главное, чтобы не злоупотреблять, как обжорством... А все остальное время молилась бы, а есть вообще могу мало... А молитва, это я точно знаю, она что-то такое дает, когда становится не страшно, а совсем наоборот. Я пробовала, честное слово!

Мы с Петром упали на пол и, дрыгая ногами, заходились хохотом. Надежда в кресле сотрясалась так, что начала крушиться ее великолепная прическа. Над нами стояла Светланочка, преподаватель великой русской литературы и великого, могучего, того самого, что в дни тягостных раздумий... и показывала нам язык, точнее, язычок, затем топнула ножкой и, нагнувшись над нами, дурнями, закричала:

— Я имею право предположить, что в монастырских уставах допущена ошибка? Имею право или нет? А может, из-за этого все и происходит не как надо! Религиозный кризис, и революция, и перестройка эта дурацкая!..

— Я за! Стопроцентно за! — орал Петр. — Но поскольку в чужой монастырь со своим уставом ни-ни! — создаем свой! Берусь подыскать место и обеспечить первоначальный капитал. Ой, девочки, на севере нашего Озера процветает такая глушь, самолетом не долететь, сесть некуда...

Смешливость из меня как метлой.

— Это точно, что есть такое место? Ну да! Конечно! А почему мне ни разу не захотелось смотаться туда в отпуск...

Мы лежали с Надеждой в уже несвежих, уже мятых простынях и молчали. Светало, и мы больше не были нужны друг другу. Ничто нас больше не интересовало друг в друге, и в этом факте не было ни добра, ни зла, был один голый факт, более голый, чем мы оба. Где-то там, в черных или светлых провалах ненашего измерения, тихо плакала моя мама...

Глава 4

> «Подстрахуйся, — сказал я Васе, — мало ли что, если ключи в замке, три минуты в кармане». Вася колебался...

Бугристая, укатанная проселочная дорога и фары с галогенными лампами, мотор, как часики, тормоза — хват, и музыка на

полную мощность, так, что вибрация в ушах — бесовской ритм, ахающий и чвакающий, а сквозь ритм штопором или шампуром сакс — мировая тоска, опережающая движение, забегающая дорогу. Но когда она мировая, то все наоборот, она — как рожа паяца, ржать над ней до животных колик и бесноваться от восторга, потому что на мировую-то как раз наплевать, на рожу нарисованную — наплевать, количество — в качество, и нет тоски, но только лихость и счастье внутри стального коня поперек пространства...

Вековая мечта человечества — движение поперек, наискосяк, куда глаза глядят, куда душе хочется, и чтоб лихо, и чтоб дыхание вподзахват, и чтоб мысли всякие — куда, мол, и зачем — кубарем на обочину и с глаз долой...

Вековая мечта человека по имени Я — нестись вот так средь ночи по хорошей дороге в хорошей машине в какую-нибудь очень хорошую сторону, о которой ничего не знаешь, кроме того, что она хорошая. Ах, если бы еще можно было на подъемах не терять скорость, но взлетать и опускаться по желанию, не тарахтеть колесами на дощатых мостах, а перепрыгивать через речки и ручеечки, и лес матерый по сторонам, луна бычьим пузырем над головой, в голове сквозняк оздоровительный, освежающий, в руках колесо поворотов налево, направо, налево, направо, и не потому, что дорога так диктует, а потому, что сам стопроцентно согласен с ней, с дорогой, именно так и хочу — налево, направо, налево, направо!

В отличие от прочих умников я знаю, что такое счастье, — это состояние восторга, но не всякого, а лишь такого, что не поддается переоценке. Женщина, к примеру, — самый доступный источник восторга, но в условиях некоторого сна разума — отбалдел на пике страсти в мозговой отключке, и через минуту реле — щелк! — женщина перед тобой та же, а мысли о ней в лучшем случае нормально добрые, а могут быть никакие, а может быть и тоска до следующего взбрыка...

Но, положим, забрался на вершину, что вершиннее других, и — восторг! Стоишь и качаешься, и мозги при этом в полной трезвости. Можешь стихи читать, думать о земле или о космосе, ни о чем не думать, а лишь стоять и качаться от восторга, и, спускаясь, никакими разочарованиями атакован не будешь, потому что и очарования не было, а было только счастье, что не разложимо по составным, его не проанализируешь, но только помнишь.

А если ночь, луна, машина, скорость и музыка бесовская, педальку лишь чуть-чуть ногой — и взмываешь на лесистый холм, а затем вниз, в бездну, куда фары еще не пробиваются, да с визгом тормозов на поворот неожиданный, но угаданный, и снова вверх — вот это счастье! Настоящее счастье, потому что в нем нет никакого смысла, то есть ни пользы ни вреда, но только дух захватывает, петь и кричать можешь, или ругаться самыми последними словами, или стиснуть зубы, вцепиться в баранку, слиться с металлом в единое, несущееся поперек пространства существо, и плевать на всякие смыслы и значения, что где-то сзади завихрились проселочной пылью и пропали в темноте, зато в реалиях все то же: ночь, луна, машина, скорость!

Я уходил на север. Но разве ж я первый? Сколько было до меня таких же, убегающих, куда глаза глядят и куда не глядят, но душа просится! Но я и не претендовал на оригинальность, я просто убегал, уходил, исчезал, не оставляя следов и завещаний. В темноте за спиной оставалась моя неуемная жизнь, а поскольку она оставалась сама по себе, а не кому-либо в наследство, то можно сказать, что в действительности в темноте за моей спиной не оставалось ничего, кроме завихрений проселочной пыли, которая осядет на дорогу и придорожные кусты, и никому не узнать, кто в очередной раз промчался из прошлого в будущее без оглядки и покаяний. Не было вопроса: правильно поступаю или нет. Все, что произошло и случилось до того момента, когда я включил зажигание и нажал педаль движения, оценке не подлежало, оно просто случилось и произошло, то есть был факт или количество фактов, а смысл моих действий пребывал за или вне, осуществление смысла началось с включением зажигания...

Нас кто-то кому-то подставил. Кто были эти черные тени, оплевавшие нас свинцом, «органы» или конкуренты, никто понять не успел. Шансы у нас у каждого были равные. Но я жив, я мчусь на север, и дороге не видно конца, указатель уровня бензина лишь на миллиметр отклонился влево, проселочная дорога высушена недельной жарой до плотности асфальта, до рассвета еще добрых два часа, — Моисей, выводивший евреев из Египта, и мечтать не мог о таких благоприятных условиях побега. Понимаю, конечно же понимаю, что мне просто повезло. Это мама! Не знаю, как, но это она. Ей доступны мои мысли, она знала о моих подлинных намерениях на самое ближайшее будущее, она дала мне шанс не только на новую жизнь, но и на

жизнь вечную, если под вечной жизнью понимать отсутствие вечных страданий ТАМ, в ненаших измерениях и горизонтах. Не сомневаюсь, что сделала она это исключительно ради меня. Но ведь и ради нее же! Умри я этой ночью на маневренном пятачке между рельсов и шпал, кольцо моей жизни обернулось бы непрерывной цепью страданий для мамы. Я должен был, обязан был остаться жить, и сознание этой обязанности тоже, возможно, сыграло некоторую роль в моем, по существу, чудесном спасении. Все прочее, помимо цели выжить, было вторичным, и я без конца буду подтверждать эту вторичность каждым следующим шагом своей жизни. Сейчас, когда я только бегу на север, — это еще не жизнь, но только поиск условий, территории, общества, наконец, с минимальным фактором влияния на мои мысли и поступки.

Больше того, шестым чувством знаю, что бегу в единственно нужном направлении, хотя дорога для побега была одна, на всех других дорогах я мог быть легко перехвачен... Похоже, я уже вписан в программу, мной только утвержденную согласием на нее, и оттого в душе окрыленность, лихость и даже нервная дрожь порою, особенно когда выжимаю до конца педаль газа, и машина бесстрашным боевым конем устремляется в неизведанное, вышвыривая далеко впереди себя копье победы — прожектор с импортными галогенными лампами. И музыка не наша, не российская, она не вписывается в пространство, но вспарывает его, как копье-прожектор, разваливает на части по краям дороги, отшвыривает на обочины, конвульсирующее и кровоточащее, с торжествующим небрежением.

Справа по ходу в мачтовых разрывах сосняка уже сочится пока еще серой слизью рассвет. Но лишь едва. Прямо по курсу полноценная ночь, значит, не менее часа праздника побега, затем нырок в глубину таежных сумерек и отдых, вовсе не обязательный, но тем не менее предусмотренный программой во избежание случайных встреч...

Впервые рассвет не обрадует меня. Сил еще полна коробочка, мчаться бы да мчаться, но тайна вращения планет больше моей тайны и, наверное, важнее, и не роняя достоинства, я подчинюсь, как подчиняюсь жизни и надеюсь в свое время подчиниться смерти, ибо в искусстве подчинения есть высокая мудрость, не меньшая, чем в бунте, к примеру...

Впрочем, мудрость я проявил гораздо раньше, когда, не дождавшись полного рассвета, нырнул в тайгу по каменистому

ручью. Урча, как медведь, и переваливаясь с колеса на колесо, ну совсем как медведь, машина моя всемогущая проковыляла полсотни метров и выбралась из ручья на крохотную полянку, затоптанную зверьем таежным, которое если и пребывало в те минуты где-нибудь поблизости, то наверняка разбежалось в ужасе не столько от моторного рева, сколько от рева и визга африканских ритмов из усиленных динамиков, искусно вмонтированных в дверцах вездехода, когда я эти дверцы щедро распахнул на обе стороны. Выйдя из машины, огляделся окрест, и хоть никакого окреста не было, кроме предрассветной мглы и деревьев разнопородных, я все же почувствовал себя этаким конквистадором, явившимся в мир дикой гармонии с некой цивилизаторской миссией, ибо, воистину, зачем еще являться такому, как я, в такие места, как эти!

С завтраком никаких проблем. Транспортное средство было укомплектовано на все случаи жизни. Единственно, костер развести не решился, а может, поленился, обошелся хлебом, консервами и водой из ручья. Затем вырубил музыку и некоторое время привыкал к тишине. Вытащил из машины кучу всякого тряпья, укутался им и заставил себя заснуть, то есть не обращать внимания на осмелевшее, а потом и озверевшее в тишине таежное комарье. Все получилось. Спал долго. Засыпал безоблачным рассветом, проснулся в пасмурный полдень. Прислушался к настроению души, оно явно было на прежнем тонусе. Сны, если и были, не помнились. В обойме моей «макаровской пушки» остались невостребованными три патрона. Судьбу четырех отчетливо восстановить не мог, помнил только вытянутую руку свою... сам вполуоборот к мечущимся вдоль вагонов теням... и все это на бегу... прочь... в обратную сторону... к машине... К этой самой, самой прекрасной в мире машине... Я проснулся, а она еще спала, потому что заслужила продолжительный сон на благо следующего бодрствования...

Решил прошвырнуться вдоль ручья, полакомиться ранней голубикой или смородиной, что попадется. А повезет, так и подстрелить что-нибудь съедобное и бесцельно существующее в диком изобилии. Кланяясь голубичным кустам, несколько раз ронял «пушку» из кармана. Два рябчика, что встретились, не пожелали ждать, пока я выполню процедуру прицеливания, презрительно обсвистали. Промочил ноги, и заели комары. Вернулся на привал. Напротив машины по другую сторону ручья на пологом камне сидел Вася, зав. транспортным отде-

лом. Был он грустен и нечист лицом, и вся одежда забрызгана черно-коричневой грязью.

— Привет! — сказал я.

Он вяло кивнул. Спросил без особого энтузиазма:

— Как машина?

Свою машину он никогда не называл «тачкой».

— Отлично, — ответил я, любовно погладив капот.

— Еще бы! — хмыкнул он самодовольно и снова погрустнел. — Теперь она твоя по закону. За маслом следи...

— Повезло мне, конечно, — извиняющимся голосом бормотал я. — Подбежал, смотрю, ключи в замке. Завелась с полуоборота...

— Еще бы! Только дорога эта тупиковая, километров сорок, и упрется в Озеро...

— Знаю. На лодке ходил до того места...

— Чего ж так все неправильно получилось, а?

— Подставили нас...

— Жалко... Я же сеть заказал за десять кусков, сельсовету три штуки кинул... Все на мази было...

Он опять покачал головой сокрушенно, поднялся и стал мыть сапоги в ручье. Взглянул на мои.

— Грязь в машину не таскай.

Я тоже стал мыть сапоги, грязь на них засохла, отскребал ногтями. Головами мы чуть не сталкивались с ним. Но вот он распрямился, вышел из ручья. Рукой потянулся куда-то за спину, нахмурился.

— Знаешь, так больно было...

— Конечно... — прошептал я.

— Долго было больно...

— Но сейчас же... нет?..

— Сейчас нет. А тогда будто электросваркой насквозь... Ползу, а нутро все горит... Долго полз... К машине... Слышу, завелась... С полуоборота, да?

— Сразу...

— Зверь машина! Завелась, а я отключился...

— Я видел, как ты упал...

— Упадешь тут... Ладно, пойду я. Машину не жалей, она этого не любит. Нагрузку любит... Так что знай газуй...

И он потопал вдоль ручья, куда я ходил только что. Комарье таежное словно со всех болот слетелось и сплелось над его головой венцом туманным. Вася уже исчез за деревьями, а венец

этот будто сквозь деревья еще долго был виден, пока глаза мои не заслезились.

Больше на этой поляне мне нечего было делать. Я не хотел оставаться здесь ни минуты, покидал в машину тряпье, упаковал остатки жратвы, проверил уровень масла, там было все в порядке, завелся, развернулся и, как советовал Вася, не жалея машины, сумасшедшими прыжками помчался вниз по ручью. Выскочил на дорогу и так поддал газу, что аж влип в спинку сиденья. Покрутил ручку приемника, наткнулся на какую-то воющую ведьму и — на полную мощность! Боже, как она визжала, эта иноземная стерва! Я так и видел ее, полусогнутую, с разинутой пастью, глаза навыкате, на шее все жилы вздулись, одна рука засовывает в пасть микрофон, другая зажимает развязывающийся от натуги пупок! Но как заразителен этот сатанизм! Я почувствовал, как напряглись мышцы моих рук, пальцы в мертвой хватке на баранке, и я весь, нависший над баранкой, — зверь в полной готовности к боевому прыжку, губы расползаются в оскал, того и гляди — залязгаю зубами. А из горла хрип звериный, шипенье змеиное, горготание дикарское! Ох, совсем немного нужно человеку, чтобы встать на четвереньки! А машина — вверх, вниз, вверх, вниз... Влево, вправо, влево, вправо... И вниз...

Дорога шла параллельно Озеру в обход его болотистых берегов. Когда-то там, где она заканчивалась, был центр леспромхоза, по-стахановски уничтожавшего приозерные леса. Потом вырубка была запрещена, а дорога, добросовестно проложенная по холмистым окрестностям Озера, сохранилась и кем-то даже поддерживалась в терпимом состоянии. В сухую погоду она была лучше асфальтной, в дожди по ней пробраться можно было только на машине усиленной проходимости.

Скатившись с холмов, я уже почти подбирался к тупику. Последняя часть дороги шла по болоту. Рытвины и провалы сменялись бревенчатыми настилами, где скорость при всем желании не разовьешь, и я вынужден был расслабиться, соответственно — слегка придушить все еще надрывающуюся в визге иноземную ведьму. «Ну, ты, сучка нечесаная, — процедил с властной интонацией, откручивая влево регулятор громкости, — уймись-ка слегка! А то, не ровен час, выскочу из колеи!» И вовремя. Впереди нарисовался метров на сорок бревенчатый настил с двумя рядами изрядно прогнивших досок-пятерок. Под тяжестью прогибались доски и бревна, положенные прямо

на плавун, между бревнами пузырилась болотная грязь, в эту грязь прыгали в обе стороны перепуганные лягушки, и даже одна узорчато расписанная змея соскользнула в воду и затерялась в пузырях. Заброшенность места рождала в душе тревожную маету... В самом конце гати взметнулась в воздух копылуха, рев мотора не заглушил вопль ее крыльев. Петляя между полугнилых берез, она ушла влево к Озеру, провожая взглядом ее полет, я чуть было не сошел с колеи, чертыхнулся и аккуратно выбрался-вполз на небольшой холм, откуда сквозь пожухлую листву серебристым мерцанием уже просматривалось Озеро.

Я выкатился к Озеру, как Иванушка-дурачок к золотому крыльцу дворца царя-батюшки. Разве ж это было то самое Озеро, что под городом? Одного взгляда, одного вздоха хватило, чтобы понять, что попал я в то единственное место на Земле, где счастье и радость растворены в каждой клетке и молекуле, в каждом атоме материального вещества, и более всего в воздухе и воде. Вдыхаешь воздух — вдыхаешь счастье, пьешь воду — упиваешься радостью! И преображаешься, и очищаешься... Я еще не испытал этого, но предчувствовал, догадывался... Я попросту знал! Нужно было только начать жить здесь. То есть сказать громко и решительно: я хочу, я буду жить здесь! И с этими словами жизнь начнется сама собой, просто и естественно. Но я не торопился сказать эти волшебные слова. Я хотел настроить себя на должную тональность, точнее, совпасть с тональностью открытого мною мира и отряхнуть прах суеты мира оставленного. Для этого нужно было напиться воды, надышаться воздухом, подготовить горло к произнесению чистых и искренних слов.

Из онемевшей машины я буквально выпрыгнул, но к воде шел медленно и трепетно, как к причастию. Высмотрел большой камень в метре от берега, запрыгнул на него, лег и потянулся пересохшими губами к воде...

В это время впервые за день появилось солнце, отразилось в воде и ослепило меня. Я переместился на камне таким образом, чтобы тень от моей головы упала на воду, и когда это случилось, увидел, что вся поверхность воды у камня и дальше, в глубину, усеяна какими-то букашками, живыми и неживыми, и сор какой-то от деревьев, возможно, и что вообще вода у берега вовсе не столь уж чиста, как это виделось на расстоянии. Руками пытался разогнать сор, но со дна поднялась муть, и желание пить, упиться, утолить жажду ослабло, если не пропало вовсе. Раздо-

садованный поднялся, и с высоты своего роста опять увидел чистую воду чистого Озера, но теперь уже не обманулся.

С камня на камень пропрыгал вдоль берега до ближайшего поворота. На каменной россыпи, что клином вдавалась в Озеро, на последнем в глубину, покатом скальном обломке сидела Светланочка в светлом платьице. Руками она обхватила колени, в них же упиралась подбородком, чуть покачивалась с закрытыми глазами в такт едва заметного колыхания водяной глади. Я подобрался к ней вплотную, и моя тень упала на нее. Она обернулась, прищурилась.

— А, это ты...

Я покрутился на камне, пристроился рядом.

— Знаешь, о чем я думала? Мы считаем, что мир стремится к гармонии, к созвучию. А все как раз наоборот. Мир стремится к противоречию, к диссонансу. А мы гоношимся, гоношимся...

— Неправильно, — возразил я, — мы всего лишь не совпадаем.

— Не совпадаем, — согласилась Светланочка. — А ведь это так больно! Иногда так больно, что нет мочи терпеть. Хочется голову запрокинуть и кричать и выть по-звериному.

Плечом она чуть прислонилась к моему плечу и тихо подрагивала, как на сквозняке.

— Я не понимаю смысла жизни. Вообще. Зачем все это? Я вот такая... Почему именно такая... Почему я родилась именно от моей мамы, а не от какой-нибудь другой женщины? Знаешь, как иногда представляется: стоит где-то самый главный с большой корзинкой, полной человеческих душ. Ему каждую секунду сообщают, что в таком-то месте Земли рождается ребенок, тогда он, этот главный, встряхивает корзину и, как лотерейный шар, не глядя, вынимает одну душу и забрасывает в тельце, и тогда ребеночек издает первый крик личности. Может быть, крик протеста... Не бывает же так, чтобы родился и заулыбался. Обязательно кричит. Потому что обидно...

— Чепуха! Просто больно...

— Но это же одно и то же! Как ты не понимаешь! Петр меня не любил. Мне было обидно и больно. Это одно и то же.

Я попытался отстраниться, но она еще сильней прижалась ко мне и еще сильней задрожала. Ее дрожь передавалась и мне...

— Вот ты можешь мне сказать, почему он меня не любил? Ведь я ему нравилась. Я же хорошенькая, разве нет? Вы друзья, тоже сплетничаете, нас обсуждаете... Говорил он тебе что-ни-

будь? Понимаешь, это очень важно знать, почему тебя не любят! Исправиться можно, если бы знать, в чем дело...

— Мы с Петром женщин не обсуждали, — ответил я, почти не погрешив против истины.

— Но это ужасно! — прошептала она. — Это еще хуже. Значит, вы без нас о нас вообще не думали. Мы не были для вас интересным предметом для разговора. Пьяницы вот, они же любят рассказывать, где и сколько они выпили, хоть уши затыкай, все об одном и том же...

— Мы не пьяницы и не сплетники, — возразил я с достоинством. — Женщины для нас — это сугубо личное. Даже странно слышать от тебя. Только подонок может обсуждать женщину, с которой спит...

Она рывком развернула меня к себе. Глаза в глаза. В ее глазах слезы.

— Ну, ты хоть слышишь, что говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Ты считаешь, что женщину можно только обсуждать? А говорить о ней? Говорить! С которой спишь, да? А которую любишь? А может, вы просто несчастные создания, не умеющие любить? Знаешь, пьяницы, они богаче вас, у них хоть страсть есть. Дурная, но страсть. Они каются и грешат. И снова каются. И страдают от своей страсти. Они душевные гиганты в сравнении с вами, деловыми да отважными. Их жалеть можно.

— Вот Петра бы и пожалела, — проворчал я, отворачиваясь.

Светланочка отстранилась, уткнулась лицом в колени.

— Опять ты мимо. Пожалеть можно пьяницу. А я жить не хочу без него... Скажи, он умер быстро?

— Он не мучился...

— А ты... ты не мог его спасти?

— Не мог.

— И я не могла... Значит, он жил в мире совсем один, если никто не мог его спасти. Ты «Гранатовый браслет» читал? Как думаешь, Куприн выдумал эту историю или подсмотрел? А, не важно! Такая история обязательно где-нибудь случалась. Или Квазимодо... Да я бы ноги мыла...

— Сначала, может быть, и мыла. Поначалу все стелятся...

— Ой, посиди уж лучше со мной молча. Пока мужик молчит, про него мечтать можно... — Светланочка вдруг оказалась не рядом со мной, а совсем на другом камне. В полупрофиль...

Светленькая, остроносенькая, подбородочек... такой изящный... милый, можно сказать... И вся легкая... хрупкая...

Вдруг уже не на этом камне, а еще дальше. Стоит на берегу, а кажется, будто в воздухе... Я вскочил, побежал к ней, скользил на камнях, последние метры вдоль берега по воде...

— Подожди, — крикнул, задыхаясь, — подожди! Есть идея!

Наверное, я бежал как сумасшедший, потому что у ног ее свалился без сил в судорогах одышки. Она опустилась рядом, погладила мою руку, скребущую песок. Поднялась, подошла к Озеру, ладошками зачерпнула воду и ко мне.

— Ну, скорей!

Вода в ее ладошках была такая чистая и прозрачная, что я сначала и не увидел ее. Один полный глоток вернул спокойствие моему дыханию, но не хотелось отрываться от ее ладоней, и я уткнулся в них лицом, целовал, целовал...

— Понимаешь, — зашептал, — мы с тобой здесь не случайно! Я, кажется, догадался! Мы должны быть вместе... Мы можем, а?..

Ни одной женщине я не смотрел в глаза с таким волнением, с такой собачьей надеждой, и, наверное, никто никогда не видел такого выражения на моем лице, как в этот момент.

— А как же Надя? — спросила она тихо.

— Но ее-то нет здесь! Нет! Нигде! Ты есть, а ее нет!

Она улыбнулась грустно, покачала головой.

— Я здесь, потому что умер Петр.

— А я тогда почему? Нет! Слушай, я, кажется, могу тебя полюбить, как ты хочешь! Кажется, это уже есть во мне где-то... Я чувствую! Ну, правда же! Сейчас все зависит от тебя, пожалуйста, посмотри на меня... по-другому! Может быть...

Все поплыло у меня перед глазами. И так уже лежал на земле, а казалось, что падаю, падаю, проваливаюсь в бездну, и сердце мое падает быстрей меня, не догнать его, не вернуть на место, но только падать вместе с ним...

Я был один. Я был почти Адам. Не знаю, что было вокруг Адама в момент, когда он обнаружил себя в Божьем мире, но вокруг меня было все, что человеку может быть обещано самым добрым божеством: голубое небо, щадящее солнце на небе, а на земле — земля с ее прекрасными запахами жизни, лес и скалы, и Озеро — первоисточник и охранитель всего живого, и тысячи чудесных мелочей, из которых каждая со своим смыслом и предназначением, и все, что было вокруг меня, было ДЛЯ меня, потому что все видимое и осязаемое рождало во мне ответ — принимаю и радуюсь! И еще — благодарю! «И приветствую звоном щита!»

А ведь когда-то, впервые прочитав известные блоковские строки, искривился, помню, в недоверии, усомнился в том, что человеку века двадцатого доступны подобные настроения.

Но, значит, доступны! Во все времена! Но не всем, а лишь некоторым, и вот я попал в это избранное число, причем не случайно, а исключительно в награду за...

Я не хотел ни пить, ни есть, я даже женщины не хотел, и если желание вообще — это недостаток чего-то, тогда в том смысле у меня не было никаких желаний, но одна лишь только радость жизни.

Пели птицы, стрекотали кузнечики, жужжали какие-то мелкие твари — мир был полон звуков, и когда подошел к машине, грязным капотом уткнувшейся в траву, насупившейся, осиротевшей, — такая жалость, такое сочувствие накатили на душу, — к человекам не помню подобного, и по самой нелепой и кощунственной ассоциации вспомнил о маме. Я гладил руками пропыленные плоскости джипа и говорил тихо, но проникновенно: «Вот, видишь, началось необратимое, может быть, уже вот с этого момента тебе больше не придется страдать, глядя на меня. В кольце моей жизни начался новый сегмент, который высушит твои слезы. Я постараюсь жить долго, чтобы этот сегмент был длинным, я, собственно, и остался в живых ради этого, ради тебя, мама, потому что, если говорить честно, не имел я права оставить в своей «пушке» три патрона неиспользованными, но если хоть на минуту задержался бы там, в маневровой ловушке, то не успел бы к машине, и не вырваться бы мне тогда из того мира, где невозможно жить так, чтобы тебе не стыдиться и не страдать из-за меня. Я разочарую, я обману Того, кто приговорил тебя к вечным страданиям. По Его законам справедливости Он, может, и справедлив, но по моему пониманию, поскольку другого мне не дано, ты заслужила всего самого райского».

Ключи сиротливо болтались в замке зажигания. Было желание прикоснуться к ним, только прикоснуться, но она, машина, могла неправильно понять мое прощальное движение, она, для движения сотворенная, без движения обрекалась на долгую смерть, на вечное умирание, она могла не знать, что кто-нибудь и когда-нибудь еще обнаружит ее здесь и оживит любовным прикосновением, я на это надеялся, и мое прощание с ней не было трагичным, но только грустным и благодарным.

Откуда-то я знал, что мне надо идти дальше на север, куда нет дороги, а только одно направление берегом Озера. Я выта-

щил с заднего сиденья рюкзак, проверил содержимое, его было достаточно для нескольких дней безбедного пути, вспомнил и поблагодарил Васю, предусмотревшего все варианты, кроме, увы, своего, уже коротко, по-мужски попрощался с джипом — всего лишь жестом, и торжественно, да, именно так, — торжественно двинулся в путь, а попросту потопал вдоль берега полный сил и самых прекрасных намерений. И верил, что где-то за моей спиной и над мама улыбается мне улыбкой благословения.

Прекрасен мой край! Прекрасен, потому что мой. Но не исключено и по-другому: мой, потому что прекрасен! Почему бы мне так не думать? Каждому с рождением дается какой-нибудь аванс, и мне, допустим, вот этот ломоть первозданности, чудом сохранившийся на севере нашего Озера, где обречен я на свершение подвига личного преображения. С каждым шагом, сделанным по благословенной земле, утверждаюсь во мнении, что можно человеку жить хорошо и правильно, что в нем самом полно всего необходимого для того, нужно только умно распорядиться собой, ведь и ума для этого у каждого от рождения достаточно. Ловлю себя на соблазне сочинить теорию счастливой жизнеорганизации, мне кажется, что она, эта теория, почти что у меня в руках, но вовремя вспоминаю, сколько таких сочинителей знает история, и трезвею.

А продвижение на север между тем становилось все более затруднительным. Я приближался к группе высоких и отвесных скал, и по мере приближения каменные завалы все чаще преграждали путь, на их преодоление тратил до получаса, это каких-то сорок — пятьдесят метров, а сил уходило как на километры. Пора было делать привал, но решил дотянуть до скал, они уже были близко, или так казалось, к тому же не терпелось выяснить, есть ли там береговой проход, издали казалось, что скалы торчат из воды.

Усталость вроде бы и ощущалась, но «райские» ощущения ничуть притом не ослабевали, а, напротив, глубже укоренялись в душе, потому что, совсем как в раю, то вдруг кулик сядет на камень в метре от меня, меня вовсе не замечая, то пара кабарожек спокойно продефилирует мимо в нескольких шагах, дружно взглянув в мою сторону, бурундук взвизгнет, взметнется на кривую сосну и уставится на меня удивленно и безбоязненно. А у самых скал уже — и совсем чудо! — когда-то зимовье стояло, место позаросло малинником, и муравейник чуть ли не в полу-

рост человека, и над ним медведь, не шибко большой, но впечатляющий. Во мне проснулся было инстинкт потомков Адама, хватанулся за «пушку», но вспомнил с радостью, что я не потомок, но самый что ни на есть Адам, и тогда, лишь чуть-чуть напрягшись, ну, самую малость, прошел мимо хозяина тайги деловым шагом ходока и так и не понял, был им замечен или нет...

Ах, если бы вот так всю оставшуюся жизнь — идти да идти по райским пространствам! А накопленную радость оставить в наследство потомкам! На несколько поколений хватило бы!

Тут подозрительным показался мне собственный оптимизм, и заставил думать себя о реальном, о том хотя бы, что если бы шел не по самому берегу, а чуть в стороне от него, комары за час похода превратили бы меня в ненавистника природы, или если бы дождь с утра до вечера да с северным ветром, как это частенько бывает в наших местах... А зимой! Не дай Бог зимой оказаться здесь!..

Скалы, наконец, восстали надо мной во всей своей каменной гордости, нависли над головой. Солнце, уже заметно сползающее к западу, услужливо подсвечивало их оскаленные вершины, а сосны на уступах искривились в самых невероятных позах, рассматривая меня, такого лихого и самоуверенного. Я же, хотя и смотрел снизу вверх, ни завистью, ни дерзостью обуян не был. Цель моего похода не посягала на устоявшуюся иерархию камня, дерева, земли и неба, моя цель была во мне и только во мне, и не понадобилось никому этого объяснять. Добро добру не соперник. Я был призван к движению, а все, что вокруг меня, — к покою, мы были не просто союзниками, мы были гаранты друг друга. «Хороши!» — сказал я скалам. Скалы с достоинством промолчали.

При всем том берегового прохода под скалами не оказалось. Обход исключался. Оставалось одно: раздеваться и водой преодолевать скальную часть берега в надежде, что путь будет не слишком долог, вода не слишком глубока, а дно не слишком каменисто. Разулся, разделся, увязал шмотки с рюкзаком в один узел, попробовал воду рукой. Нормально. Но как только ступил ногами, взвыл утробно, и брань непроизвольно посыпалась в воду из перекошенного рта. Так неожиданно было это отторжение меня Озером, так было оно несправедливо, незаслуженно, что не сработала во мне обычная человеческая реакция, то есть я не выскочил из воды, как любой другой на моем месте, но с воплем и бранью продолжал двигаться вперед. Тысячи

ядовитых игл воткнулись в икры, сотни ржавых гвоздей — в ступни, судороги молниями пронзили тело до шеи и затылка. Сам я, наверное, походил на сумасшедшего или одержимого, когда, взметая гроздья брызг, спотыкаясь о подводные камни, пер и пер вперед, то по пояс в воде, то по колено, то по грудь, с воздетыми к небу руками и промокшим узлом в руках. Сколько длилось это истязание, полчаса или полжизни, когда наконец оказался на песчаной полосе, определить не мог. Кровь тихо сочилась из порезанных ступней, икры противоестественно вздулись, колени посинели. Когда оглянулся на пройденный путь, поразило притворное спокойствие Озера, обидело равнодушие скал, повернувшихся ко мне спиной, хотя скалы были ни при чем...

Порезы ступней, к счастью, не были глубоки, скорей, царапины, боль утихала, и ноги оживали. Развязал узел. Джинсы изрядно подмокли, рубаха, носки, сапоги меньше. Оделся, сотрясаясь ознобом. Подошел к Озеру, попробовал воду рукой. Нормальная. «Ну и сволочь же ты!» — сказал я ему без угрозы, а так, по потребности высказаться. К тому же впереди, сколько глаз видит, берег, в каменных и древесных завалах, но все же берег, а то, что позади, оно уже позади, и билет у меня, как известно, только в один конец.

До темноты я надеялся пройти еще много. Чем больше пройду, тем меньше останется. Меня уже начинала волновать цель похода-побега, я ведь о ней еще ничего толком не знал, кроме того, что она есть. Первые сотни метров еще прихрамывал, потом разошелся, приходилось преодолевать всякие береговые препятствия, вошел в азарт, обсох на ходу, заранее радуясь предстоящему привалу с костром, в одиночку под звездным небом.

Но, похоже, тому не суждено было состояться. Чуть ли не за полкилометра увидел на отмели, заваленной топляком, людей, троих, по крайней мере, рассмотрел сразу. Они сидели на стволе громадной сосны, заброшенной штормом на вершину завала, с удочками. Судя по пестроте одеяния, туристы. С краю — женщина, девчонка, скорее всего... Лодки, однако же, нигде не увидел.

Не жаждал я общения, но когда признался себе в этом, было уже поздно. Меня заметили. Девчонка махала рукой. Я ответил, но шагу не прибавил, все еще прикидывая, как бы уклониться от компании. Однако за полсотни шагов увидел, что

девчонка — это Юлька, рядом с ней Петр, а дальше, вот уж кого не ожидал встретить здесь, — мать Петра и Юльки. Признаться, не сразу вспомнил, что зовут ее Марией Васильевной, и неудивительно, в доме Петра она была этаким добрым духом, всегда пребывающим то в другой комнате, то на кухне, то во дворе. Не помню, перекинулся ли я за все время знакомства с Петром десятком фраз с его молчаливой, несуетливой и застенчивой матерью.

Юлька пребывала в своем типичном щебетливом состоянии.

— Бери мою удочку, — заявила решительно, как только я освободился от рюкзака, — скоро клев начнется.

Петр сосредоточенно смотрел на поплавок и лишь жестом откликнулся на мое появление. Как только я пристроился с удочкой на обглоданной волнами сосне, Юлька тут же втерлась мне в бок и защебетала на ухо.

— Все рыбаки — шизики! Стопроцентные! И еще — садисты. Ждут не дождутся, когда бедная рыбка их подлый крючок заглотит. Вот посмотри-ка на Петрушу моего, как он потом будет крючок выдергивать! Торжеством засветится весь! И плевать ему, что ей больно... Сам бы разок попробовал зацепиться и отцепиться... Послушай, ей же должно быть жутко больно, особенно если внутрь заглотнет...

— Селяви, — ответил я многозначительно, чем только подстегнул ее говорливость.

— Иди ты со своими «селяви», все вы...

— Не хочешь заткнуться, а? — буркнул Петр, а я увидел, что поплавок его вздрогнул, раз... другой... Петр весь напрягся, подался вперед, кончик его удочки подрагивал над ярко-красным поплавком, который снова замер без движения. Чуть подождав, Петр вздернул удочку, проверил насадку и закинул снова так, что теперь три одинаковых поплавка оказались на одной линии на равном расстоянии друг от друга.

— Боль есть субстанция жизни, — сказал Петр серьезно. — Где нет боли, там смерть.

— Но смерть может быть результатом боли как симптома болезни, — возразил я.

— Нет. Смерть — это результат непреодоления болезни, а соответственно и боли.

— Какие вы умники, слушать противно! — заявила Юлька.

— Что ж это тогда за субстанция жизни, которую нужно преодолевать? — настаивал я.

— У тебя дискретное мышление. Это, между прочим, серьезный недостаток, — наставительно ответил Петр. — А все в общем-то просто. Боль, преодоление и жизнь — три ипостаси одной сущности, как Отец, Сын и Дух Святой. Отец первичен, но Он и в Духе, и в Сыне, и Они в Нем, и понимать это надо диалектично.

— Заткнитесь, а! — зашипела вдруг Юлька, тыча пальцем в мой поплавок. Что-то определенно сидело на моем крючке, и я рванул удилище. Серебристый хариус в пару ладоней взметнулся от моего рывка высоко в воздух, там, в воздухе, сорвался, шлепнулся в воду у самого завала, метнулся змейкой и пропал в темноте глубин. Юлькин визг вовсе не походил на сострадание рыбьим проблемам, я не упустил это подметить, она ущипнула меня за локоть и прошипела в ухо:

— Раз-зя-ва! Тебе зубы дергать, а не рыбу подсекать!

— Пусть живет и радуется!

— Ну да! С оторванной губой!

Она покосилась на Петра, он тоже возился с крючком, потянулась к моему лицу, я чуть отпрянул.

— Хочу губу тебе прокусить. Можно, а?

— Лучше прикуси себе язык. Вкуснее будет. И полезнее.

Обозлился ли я на Юльку или на сорвавшуюся рыбешку, но чего-то разозлился, взял и пересел от Юльки к Марии Васильевне. Она даже улыбнулась мне благодарно.

— Не знал, что вы любите ловить рыбу...

— Ловить рыбу? — спросила она удивленно. — Никогда в жизни не ловила. Много чего делала, а этого нет... Вот Петруша да, бывало, засаливали даже, как натащит... И вчера вот, сказал, на ночную рыбалку едут, и до сих пор нету...

— Кого... нету?.. — спросил я, ощутив за воротником противный холодок.

— Да Петруши, кого еще. Юля искать пошла, и тоже нету... А ты, значит, не ездил с ними?

— С кем?

— С Петрушей и Васькой... Васька такой лихач... Баламутный... Как по улице летит, того и гляди, курей передавит. Всякий раз в калитку норовит врезаться... Смирный, но баламутный...

— Вернутся... — пробормотал я и вовсе похолодел нутром.

Она даже не взглянула в мою сторону, только покачала головой.

— Как год был ему, с тех пор трясусь, что день каждый. И все цыганка подлая... Не дала я ей, чего просила, так она пальцем в

Петрушу годовалого ткнула и говорит: «Мне жалеешь, его потеряешь». И как не было ее, ведьмы. А я ведь верно, пожалела, платок она канючила, а я пожалела, с чего это, думаю, платок ей отдавать, и году не ношенный... Куда они нынче поехали, не знаешь?

Я тихо отодвинулся от нее, воткнул удилище в отверстие соснового сучка, выбрался на песок, упал лицом вниз. Мутило. Кружилась голова. Рядом зашуршал песок. Я перевернулся на спину. Петр сел рядом.

— Клева нет. Наверное, к шторму.

День между тем уже скатывался к вечеру, солнце к западу. Запад начинался за другим берегом Озера, и над ним, над другим, едва видимым берегом висело теперь порыжевшее, остывающее солнце. Оно было как раз посередине между матерью и дочкой, что застыли в неживых позах на концах сосны-топляка, выброшенной на берег еще весенним штормом. Оно хоть и угасало, но еще слепило, заставляло щуриться, и в прищуре, если б не знал, не отличил бы, которая мать, которая дочь, так одинаковы были их позы.

— Матери ничего лишнего не сказал? — тихо спросил Петр.

— Слушай, кто нас подставил?

— Каблук. Больше некому. Перекупили, видать. Думал, угадаю, почувствую, если гнить начнет. Ловчей оказался... А ведь с самого начала по этому делу маета была. Шибко крупный кусок отламывался. Не надо было мне тебя слушать...

— Меня?!

— Хотя, с другой стороны, взять по-крупному и осесть на годик-другой, насколько хватит, а может, и вообще заняться нормальным бизнесом... Купил — продал, продал — купил... Скучно, зато с гарантией... Да, кроме Каблука некому... Грешил бы на «ломовиков», да они первыми легли. Видел, в решето их, падали и дергались, как в боевиках... Похоже, я зацепил одного, но горячился, обойма автоматом ушла, а потом только щелк да щелк... Тут и приложили... Ты везучий оказался, а я думал, что я везучий. А впрочем, каждый, наверное, так думает. Ладно, пойду удочки смотаю, толку сегодня не будет.

Он ушел на солнце, а фигура слева на топляке зашевелилась, выпрямилась, двинулась ко мне. Юлька опустилась передо мной на колени, склонилась.

— Ты будешь очень жалеть.

— О чем?

— О том, что ушел один, а не со мной.

— А как же мать? Она с кем?

Юлька прищурилась и долго смотрела в спину Марии Васильевны, сидевшей без движения все в той же позе, в какой я оставил ее.

— Но я же совсем молодая... — не очень уверенно проговорила Юлька. — А без меня у тебя все будет не так, может, даже плохо...

— Не каркай...

— Ты и теперь не поцелуешь меня?

— Я люблю другую.

Как от стенки горох! Тянется губами, тянется грудью. Но вдруг заметил или показалось... Не дурачилась она. Не было в глазах обычного озорства девки-скороспелки, но тоска зрелой женщины, и даже не тоска любви, а что-то, напомнившее мне взгляд мамы в самом первом моем сновидении, когда задохнулся от жалости и сострадания и бессилен был в чувствах своих, потому что сам в том сновидении не существовал, а только присутствовал сознанием. И это не ее, Юльку, обнял я вдруг нежно и крепко и уткнулся губами в щеку... А она почему-то прошептала на ухо: «Спасибо!» И отстранилась от меня тихо и благодарно... А должна бы обидеться, девки рано знают толк в поцелуях. Юлька поднялась, загородила солнце, уже осевшее на горизонт.

— Ты ведь ни в чем не виноват... перед Петрушей?..

— Я? Почему это? — Как-то нехорошо перехватило горло... И голос противный, будто и вправду в чем-то виноват. Взорваться захотелось, вскочить, сказать...

— Я так и знала. Не зря же я тебя с шестого класса люблю. Люблю и люблю, и сколько еще любить буду, неизвестно. Долго, наверное. Потом, может, ты меня полюбишь, а я уже устану любить, знаешь, как это трудно каждый день любить кого-то...

Повернулась, ушла на бревна, села рядом с матерью, обняла ее за плечи, и застыли обе на фоне разгоравшегося заката. Петр неторопливо сматывал лески, разбирал по коленам удилища, связывал. Нестерпимо красный горизонт слепил, раздражал. И усыплял...

Проснулся я от холода и грохота. Проснулся словно без глаз, такая беспросветная темень была в мире. Глаза можно было не открывать, собственной руки не увидишь, но я пялился и пя-

лился в темноту, пока наконец не уловил слабые мерцающие свечения, что, возможно, исходили от древесной гнили, скопившейся вдоль берега. Глазам, как и ногам, нужно непременно во что-то упираться, чтобы человек мог воспринимать себя как реальность. Только тогда включится в работу мысль, и сможешь вспомнить, что находишься на берегу Озера, что на Озере шторм редкой силы, что грохот вокруг — это не только волны, но бревна-топляки, они колотятся друг об друга и об камни, не в силах ни в воду уйти, ни на берег выброситься...

Повезло, что случилось уснуть дальше от воды, потому что, сделав наугад несколько шагов, зайцем отпрыгнул назад, побитый мелкими брызгами, колючими и ледяными. Долго ползал и шарил по песку, но нашел-таки рюкзак, достал телогрейку, торопливо напялил, снова сунулся в рюкзак, попался остаток уже черствого батона и еще раздавленная луковица. Не съел, а зажрал, и тогда жажда принялась иссушать горло, и я ничем не мог ему помочь. Вода была рядом, ее хватило бы на все население всех мировых пустынь, но между водой и пустынями где-то в темноте шарахались бревна, способные в штормовой истерии ежемгновенно переламывать кости десяткам жаждущих, и, продлись шторм до утра, человечество сократилось бы на тысячи или на миллионы... Но если в течение часа я не получу несколько глотков, человечество сократится на меня и на мою мысль о человечестве. А что такое человечество без моей мысли о нем?!

Озеро поставило передо мной задачу собственного спасения, и я должен был решить ее, ведь оно, Озеро опять же, наверняка оставило мне шанс, его нужно только найти, и побыстрее, потому что горло горит, губы пересохли и слабость вот-вот поразит тело. Или, возможно, сначала разум? Галлюцинации всякие начнутся... Ведь не в пустыне же пропадаю, а рядом с водой, от одного этого можно «двинуться» быстрее, чем в пустыне.

Целлофановый пакет из-под хлеба! К счастью, он остался в рюкзаке, я не отшвырнул его небрежно, как очень даже мог... Теперь камни... Я шарил по песку, камни были под песком, я выковыривал их, складывал в карманы телогрейки. Потом, натянув телогрейку на голову, пополз к Озеру. Когда водяные брызги застучали по телогрейке, расстелил пакет, придавил углы камнями и откатился назад ровно на десять оборотов. Лежать было холодно, но сдвинься я на полметра, и можно не найти пакет. Досчитав до пятисот (а собирался до тысячи), покатился и на десятом повороте губами ткнулся в мокрый пакет.

Три глотка и снова десять оборотов от Озера. Я его перехитрил, да и вообще, после шести глотков показалось, что все это испытание жаждой было не очень-то серьезно, зато холод, от которого уже не спасала промокшая телогрейка, пусть не был смертоносен, но и простуда ни к чему. В темноте можно было только прыгать на месте, и я прыгал, приседал, махал руками и таким дергунчиком встретил первое процеживание сквозь ночь рассветных полос с восточной стороны. С рассветом утихал шторм. Зато ветер, породивший его где-то у других берегов, достиг моего берега, стало еще холоднее, и, не дожидаясь полного рассвета, закинув пустой рюкзак за спину, я потопал дальше, в ту самую даль, что лежала на севере Озера и почему-то ждала меня с тем же нетерпением, с каким я стремился к ней.

Глава 5

> «Человек может приказать своей душе родиться заново, и она родится. И Господь признает ее новорожденной, чистой и непорочной. И благословит!»
> Он сказал. Я поверил.

С какого-то момента моего похода-побега стал я ощущать в себе прирастание сил, причем усталость оставалась усталостью, голод — голодом, а силы тем не менее прирастали необъяснимым образом, а я не спешил делать выводы, которые, ну, просто напрашивались на язык. И много другого странного происходило со мной. Шел ведь берегом Озера, низиной, в сущности. А казалось, будто шагаю вершинами, и земной шар по обе стороны от меня щербатыми плоскостями заворачивается книзу, что он вообще не столь уж велик, шарик наш, элементарно досягаем и постигаем, и вообще вторичен в сравнении с чем-то иноприродным, вступившим в благотворный контакт с моей душой. Казалось, что если бы захотел, то мог бы со всем миром, живым и неживым, говорить на равных, как два единственно реальных субъекта — я и мир, если мир — это все то, что не я.

Еще представлялось, что, шагая сейчас по миру, я оказываю ему честь, которой он как-никак достоин. Хотя мог бы, положим, перелететь или переместиться каким-то иным способом туда, где должен рано или поздно оказаться, и все прочие мои соприкосновения с миром совершенно необязательны для меня и являются всего лишь итогом моей доброй воли, потому что мне это отчего-то еще просто нравится. Нравится шагать по песку и береговым камням, перепрыгивать с одного на другой,

нравится смотреть на небо и на воду, камешек иной подобрать и швырнуть подальше, понаблюдать за расходящимися от него по воде кругами. Дышать чистым, прохладным воздухом — это тоже мне нравится, а не дышать можно, но неинтересно.

Мне даже нравится быть уставшим и голодным. Никто меня не погоняет, захотел — отдохнул. А голод — нужно только озадачиться, как ночью с жаждой, но еще интереснее — провериться на выносливость и в том и в другом...

Берег петлял и извивался, и я вместе с ним. Старался идти ближе к воде, особенно где песок, чтобы следы мои были видны из космоса всякому, кто мог оттуда заглядеться на землю в неземной тоске. В поисках божества люди задирают головы к небу, а попавший туда пялится вниз. Вот уж, воистину, глупость человеческая! Об ЭТОМ я сейчас знал больше всех, и если соответствующим мыслям не давал ход, так только потому, что еще не время. И не место. Определится МЕСТО, придет и ВРЕМЯ. Сейчас же я только рождаюсь для нужного времени и места, и за спиной моей лишь одно мое небытие, из которого я объявился на Озере с великой целью: волей своей вмешаться в круг мирового зла, то есть моего личного зла, что — одно и то же, пресечь его и спасти человечество, то есть мою маму, что одно и то же, от вечного страдания. И я на это благословлен! И ни слова больше!

Был полдень, становилось жарко, и пора было подумать о привале и еде. Вокруг все было красиво, но остановиться хотелось в особенно красивом месте, и я его высмотрел. С пологого холма к самому берегу спускалась рать прямоствольных сосен. Но три из них спустились ниже дозволенного и оказались в полосе воздействия штормовых волн. Волны вымыли из-под них песок, обнажив корни, и на этих корнях-ходулях они стояли теперь, обескураженные собственным легкомыслием, искривленные тщетными попытками взобраться назад на холм. Под ходулями самой большой из них можно было устроить неплохой балаган, чем я и занялся. Берег завален был сосновой щепой иногда метровой длины, этими щепками я сначала перекрыл солнечную сторону и получил теневую площадку, по бокам, со стороны Озера оставил вход, через который затем проник в убежище и развалился на еще не остывшем песке. Тогда напомнил о себе голод. Я начал выворачивать рюкзак, набралась полная ладонь хлебных крошек, перемешанных с явно несъедобным мусором. С целью отделить зерна от плевел, вы-

полз из балагана, и в этот момент кто-то ощутимо ткнул меня в спину. Я дернулся, развернулся и замер пораженный... Передо мной стояла обыкновенная домашняя коза и, склонив чуть набок свою рогатую башку, умнющими глазами смотрела на меня.

— Слушай, ты, хрущевская корова! Откуда ты тут взялась? — спросил я и ткнул пальцем ей в лоб промеж рогов. В ответ она потянулась губастой мордой к моей другой руке, в которой, сжав кулак, я сберегал последние хлебные запасы. Как только разжал пальцы, рогатая тварь мгновенно слизнула своим шершавым языком хлебные крошки вместе с мусором и мотнула мордой, не выказав при этом особого удовольствия.

— Ну, падла, — сказал я угрожающе, — за это я сейчас сначала отдою тебя, а потом пристрелю и зажарю.

Коза поняла меня с полуслова, символически боднула в плечо и кинулась прочь вприпрыжку в обход соснового холма, я за ней, на ходу выковыривая из кармана куртки «пушку» с тремя неиспользованными патронами. Трудно сказать, были ли мои намерения столь серьезны, зол я, однако же, был, потому и не сразу заметил, что бегу по тропинке не ахти как утоптанной, но очевидной. Короткий козий хвост мелькал впереди меж кустов багульника, и всего лишь через минуту преследования мы, то есть коза и я, оказались на небольшой полянке перед жалкой зимовьюшкой, сколоченной из жердей, с односкатной крышей, покрытой все той же сосновой щепой. Примитивная вставная дверца валялась рядом с еще дымящимся кострищем, сооруженным из камней, на камне — котелок с торчащей из него деревянной ложкой. Картинка была — что подарок золотой рыбки! Я приближался к кострищу, как Али-Баба к сокровищам разбойничьей пещеры. С «пушкой» в руке опустился на колени, и запах настоящей ухи привел в благостный трепет всю мою физическую сущность. И тут из зимовьюхи появился человек. Когда, перешагнув через порожек, он разогнулся, я даже ахнул от удивления, столь необычен внешностью был этот владелец наглой козы. Не будучи специалистом в разного рода церковных причиндалах, я, однако же, сразу зачислил незнакомца по этому, ныне вновь обретающему популярность, ведомству. Он был не в одежде, но в облачении, весьма скромном, скорее всего, в рабочем варианте облачения, но ведь не спутаешь. Ликом человек был, как и положено, светел. И с этим тоже не ошибешься. Человека, не свершавшего в жизни ошибок, узнаешь, как самого близкого родственника. Ох уж эти счастливчики-безошибочники, отличники жизни! Никогда им не завидовал.

Не без раздражения ждал я, когда он начнет вещать типично проникновенным голосом, и был весьма ошарашен, услышав, во-первых, очень низкий тембр, а во-вторых, почти грубость.

— Стрелять-то ведь не умеешь. Зачем с оружием таскаешься? Оружие не для таких, как ты!

Теперь только заметил, что он молод, возможно, не старше меня, что, должно быть, очень силен. Даже хламида свободного покроя не могла скрыть атлетичности его фигуры, и отчего-то я не спешил расставаться с «пушкой».

— По-моему, тебе сейчас сподручнее в руке ложку держать.

Ах, как он был прав! Я сунул «пушку» в карман, поднялся.

— Будем знакомы! Меня зовут...

— Не важно. Садись и ешь, пока уха совсем не остыла.

Согнулся пополам и исчез в избушке. Я посчитал, что церемониальная часть так или иначе выполнена, и в течение нескольких минут бездумно наслаждался ублажением моего обидчивого желудка. Хозяин появился, навис надо мной с берестяным туесом в руках. Я поднялся и принял от него. Молоко. Конечно, от той самой, что привела... Она, между тем, стояла отдаль у края поляны, пялилась на меня и задумчиво жевала.

— Бывай здорова, рогатая! — пробормотал я вместо «спасибо».

И тут мой благодетель улыбнулся нормальной человеческой улыбкой.

— Хлеба, к сожалению, нет. Не сеем, не пашем.

— И давно... не сеете и не пашете?

Пристально посмотрел на меня, ответил уже без улыбки:

— Со дня Второго Пришествия.

— Вот так, значит? — уточнил я. — Последнее время газет не читал, не в курсе. Можно пить?

— Конечно.

Подлая утроба моя торжествовала по мере насыщения козьим нектаром. Благость распространялась от горла по всему телу, тело сладостно постанывало, голова хмелела, точнее, мыслящая субстанция в мозгах пришла в этакое прибалдежное состояние, когда все мысли в обнимку друг с дружкой, и никаких тебе антиномий, окромя всеобщего со-голосия... Забыв о своем кормителе-поителе, пошатываясь, отошел подальше от кострища, сначала на колени пал, а затем развалился на траве, раскинув руки так, словно весь мир хотел заключить в благодарные, дружеские объятия. Какие-то ленивые сомнения заползали в

душу и лениво окапывались там с моего ленивого согласия. Мир физических предметов терял причинные связи: деревья свободно перемещались по холмам, Озеро облаком проплывало над землей, кролики гипнотизировали удавов, люди расходились друг от друга в разные стороны, и для каждого находилась сторона...

Потом грани вещей стали исчезать, вещи растворяться в вещах, так что остались одни цвета, но взимопоглотились и они, мир превратился в одноцветный экран, на котором медленно начало вызревать изображение самого главного, ради чего весь мир пожертвовал своим разнообразием. Сначала руки... Да, сначала это были руки, и долго были только они, а я уже трепетал, потому что узнал их. Руки были на лице. Сквозь неплотно сжатые пальцы я видел мамины глаза, а в ее глазах был ужас! Она смотрела на меня, то есть, без сомнения, я как-то присутствовал перед ее взором, ведь ни с чем не спутаешь обращенный на тебя взор. Но ужас... Словно не меня она видела, а мой разложившийся труп. Я же был жив, я не просто был жив, я был жив новой жизнью, в сущности, сейчас я был несоизмеримо лучше того, кого она родила когда-то, и если б я был таким от рождения, потусветный приговор обернулся бы для нее вечным раем, вечным блаженством... Раздражение охватило меня.

— Какого черта, мама! — закричал я, и это было ошибкой. Экран потух. Наступившая темнота была похожа на небытие, из которого меня выдернули людские голоса. В том месте, где тропа выходила на поляну, на границе зарослей багульника и поляны мой благодетель разговаривал с мужиком, что был ему по бороду, не по-таежному цивильно одет, а на фоне баса хозяина козы его голос слышался почти что бабьим визгом и показался мне знакомым. Заметив, что я встал, гигант в церковном облачении сделал какой-то жест, и его собеседник, торопливо кивнув, засеменил по тропе в сторону Озера. И тут я узнал его.

— Стой, сука! — взревел я, выхватывая «пушку» из кармана.

Вместо выстрела — щелчок. Патрона почему-то не оказалось в патроннике. Передернув затвор, я кинулся к тропе и на бегу успел пальнуть пару раз в мелькавшую меж кустов спину, но был как скалой перехвачен...

— Убийства жаждешь?

— Это «Митрич» Каблуков! Он нас всех подставил, гад! Из-за него... Не мешай!

— А ключи помнишь? — спросил громоподобно «святоша», и голубые молнии сверкнули в его небесных глазах.

— Какие еще, к черту, ключи?! — хрипел я, задыхаясь яростью.

— Ключи в замке зажигания! Об этом ты помнишь?

— При чем здесь ключи? — взвыл я вдруг осипшим голосом.

— Но ты же помнишь о них?

Я пятился, а он наступал, словно загонял в угол. Боже мой! Как он был велик и прекрасен! Почти на голову выше меня, а я — выше среднего... Легким касанием длани своей, что величиной со сковородку, он бы мог запросто сломать мне шею или... зашвырнуть на небо. Меня вдруг охватил соблазн застрелить его, не пристрелить, а именно застрелить, чтоб заткнулся и потух глазами-сверлами, и так велико было искушение, что запихал торопливо «пушку» в карман и куртку застегнул на все оставшиеся пуговицы. Опустился на траву рядом с козой, которая на радостях миролюбиво боднула меня в бок.

— Пришли великие времена, — басил надо мной ее хозяин, — а ты суетой обуян, намерениями жалок и оттого слаб душой и телом.

— Мои намерения...

— Они мне известны, — отрезал.

— Вообще бы и познакомиться не мешало, — пробормотал я, окончательно пасуя.

— Зови меня отец Викторий. А про тебя все знаю. Пошла прочь! — Это он козе, которая лезла целоваться. Покорно вякнув, она отпятилась от меня на пару шагов и вперилась в хозяина заискивающим взглядом.

«Не уступи, не подчинись!» — вопила моя душа. «Не упорствуй, не упрямься, не капризничай!» — настаивал мозг. «Шли бы вы все...» — отвечал я.

Как небо посерело, не заметил. Как солнце затянули серые тучи, просмотрел. Как умолкли птицы и ветер зашелестел в травах, прослушал. И лишь когда первые капли дождя упали на шею и закатились за шиворот, закрутил головой в замешательстве.

— Пойдем в жилище, — сказал отец Викторий.

Если бы в этом так называемом жилище он вздумал выпрямиться во весь рост, то высунулся бы из крыши, как минимум, по грудь. Даже сидя на голом жердевом топчане, он почти касался головой потолочного перекрытия из тех же как попало набросанных неошкуренных жердей. Лампадка замысловатой

конструкции горела бойко, издавая слабый, но какой-то противный запах. Стол — чурка. И стул — чурка. Мы сидели друг против друга, наблюдая игру теней на наших лицах. По крыше забарабанил дождь, и я ждал, что вот-вот где-нибудь обязательно закапает, но, видимо, крыша была сработана добротнее, чем казалось с виду. Дверь, щитом вставленная в неряшливый дверной проем, убедительно изолировала нас от непогоды, лишь иногда под напором дождя и ветра издавая едва слышимое дребезжание. В мерцаниях лампады можно было вообразить, что находимся не в избушке посередине земли, но в отсеке ковчега, скользящего сквозь мировое ненастье в поисках вершины спасения, а напротив меня — прародитель нового человечества, обреченного на счастливую вечность... Если бы не вонь от лампады...

— Божий мир бесконечен, — заговорил отец Викторий своим красивым низким голосом. — Твоему представлению доступно такое понятие?

— Худ умишком, но к уразумлению сподвижен.

— Не ёрничай! — сурово сказал он. — Обязан вникать в мои слова, кои ни от кого более не услышишь. Бесконечен он, то есть без начала и конца. В каждой точке творения смысл всего мира, и весь мир — во имя единой души понят может быть, и оттого всякая душа право имеет почитать себя наиглавнейшей во всем мироздании. Нет близких и дальних, поскольку бесконечно Творение. Всяк вправе почитать себя наипричастнейшим Творцу, потому что душа одного с прочими душами не соприкасается, но только знает о них, и не верит другой душе, и не любит другую душу...

Я вздернул руки над головой, насколько позволил потолок.

— Стоп! Прошу прощения, но проповедь я не заказывал. Уха — да! Молоко — да! Проповедь — нет! А если принципиально, то мне больше нравится: «Возлюби... как... себя!» По крайней мере, есть чему позавидовать. Я романтик, дорогой отец...

Тут он запрокинул голову и заржал громоподобно и заразительно, абсолютно по-человечески, в лампадных бликах сверкнули слезы, и он вытирал их своими руками-лопатами. Никогда не слышал более приятного, да нет, чего там, — более прекрасного смеха, — этакий громила, облачение, лик, глас — и хохот, к которому так и хочется пристроиться хихиканьем!

Вдруг он словно маску снял, вперился в меня с прищуром, потом как-то весь осел, куда-то подевались величие и осанка,

лика тоже будто не было — обычный мужик с приятной физиономией и с предложением разговора по душам.

— Значит, возлюбить ближнего, как самого себя?

— Ну, допустим, — осторожно согласился я.

— Тогда для начала расскажи мне, как ты любишь самого себя!

— Чего рассказывать... Нескромно... И не обязан...

— Конечно, не обязан!

Пододвинулся ко мне, насколько позволяло расположение топчана и чурки, на которой я сидел. Наклонился так, что я мог, не протягивая руки, схватить его за бороду. Упер локти в колени и на уровне моего лица скрестил ладони.

— За что же ты любишь самого себя? За ум, за честность и порядочность, за трудолюбие? Назови свои достоинства, кои рождают твою любовь к себе.

— Не хуже других... — проворчал я, улавливая намеренную издевку в его голосе.

— Лукавишь! Не можешь ты любить себя, потому что всего себя знаешь. Оттого и довольствуешься сравнением, дескать, не хуже других. Это не любовь! Любовь исключительно превосходными степенями вызываема. Если любишь женщину, значит, она наикрасивейшая из всех других, с кем сравнить можешь. Мать любишь — так она единственная из всех тебе жизнь дала, и оттого важнее всех прочих. А себя-то, помилуй, за что тебе любить, просто жить хочешь по инстинкту всякого живого, ублажаешь материю свою... А материя смертна и к смерти стремится. Она не жить хочет, а прожиться скорее и исчезнуть. Чревоугодие, к примеру, что есть? Ублажение желудка, сокращающее сроки его жизни. Или сладострастие? Это как если бы не пешком шел к пропасти, а бегом бежал. Если бы ты действительно любил себя, то себя бы и соблюдал на пользу жизни и соображения имел бы такие, что приближали бы состояние материи твоей к духовной сущности. Не можешь ты любить себя, поскольку не исключителен, а всего лишь не хуже других, но ведь хуже некоторых! Это ты тоже знаешь! Разве нет?

— Без пол-литры не разберешься... — бормотал я, чувствуя, как безнадежно портится настроение.

— Разберешься, — серьезно возразил он, — потому что разум твой лукав, суть подвижен, способен постигать противоречия...

— А мне это надо?! — зло спросил я.

— Вчера, может, и не надо было. А сегодня уже не пройти мимо, как не прошел ты мимо меня. А ведь мог бы? Так я завершаю мысль: не можешь ты любить ближних, как самого себя, потому что не знаешь любви к себе.

— Выйти хочу воздухом подышать, коптилка ваша воняет... Какую гадость заливаете туда? — Я наклонился над лампадкой в форме шестилепестковой розы и отшатнулся в отвращении. Даже голова закружилась.

— Что ж, — согласился отец Викторий, — дождь утих, можно выйти. К ночи ясность будет в небе и полнолуние.

Дверь он не открывал, а просто вышиб ногой. Дневной свет ослепил, как солнце, но солнца не было. Пасмурность еще низко висела в воздухе серыми клочьями и сгустками. Зато воздух! И тишина! И лишь одна-единственная птичка где-то рядом засвистывалась до одури, да Озеро сдержанно рокотало за кустами и деревьями. Я сделал несколько шагов по мокрой траве к кострищу. Котелок был полон воды, и деревянная ложка плавала в нем. Вспомнил про свой рюкзак и телогрейку, что остались на берегу в наспех сооруженном балагане. Все промокло, поди... Теперь сушись до вечера... Ночевать придется здесь... Эта мысль не радовала, словно терял темп движения, а вместе с ним и ясность цели...

— Как я вас понял, я должен паче прочих возлюбить самого себя, дабы уметь любить этих самых всяких прочих, ближних и дальних. Тогда уж объясните, как мне приступить к самовозлюблению!

Из-за моей спины послышался его басистый говорок, в котором снова зазвучали проповеднические нотки.

— Любовь не поблажка. Любовь — требование. Любить себя — требовать. Любить ближних — требовать. Если быть не хуже других, можно жить где угодно. Живя где угодно, себя не полюбишь, оттого что вокруг такие же. Мир грязен, и сам грязен. До любви ли, когда кругом равенство во грехе. Чтобы отринуть заразу, надо возненавидеть мир, то есть ближних, оттолкнуться в презрении и сказать себе: «Я в мире один! Я спаситель мира. Я грязен, и мир грязен. Я чист, и мир чист!» Чтобы отвратиться от своего греха, надо сначала возненавидеть его в других, в других он виднее. Осуди ближних, приговори их к мукам, муки других содрогнут твою душу, и тогда она начнет очищаться. Так начнется твой путь к ближним — через любовь к себе и ненависть к ним.

Я резко развернулся к нему, выхватил «пушку».

— А может быть, мне просто всех этих ближних пиф-паф, чтоб проблем не было, и возлюблюсь на отстрелянном пространстве!

Его взгляд штыком вонзился мне меж бровей.

— А разве это уже не произошло?

— Что? — разом охрип я. — Я никого не убивал...

— Но кто-то убит?

Мне во что бы то ни стало нужно было сесть. Но не на что. Пошатываясь, я крутился по поляне, не заметил, как отец Викторий вынес из избушки чурку, увидел ее у кострища, дотащился и сел. Я сидел, а он стоял надо мной, упираясь головой в небо.

— Ты, кажется, стал доставать меня, святой отец...

— Нет еще, — отвечал он спокойно, — мыслью ты ленив и характером упрям. Но достану. Мнишь себя ящерицей. Тебе на хвост наступают, а ты тешишься, что оторвешься, когда захочешь. Оторваться же не можешь, а только разорваться. Но до того дело не дойдет. Давно, поди, уже догадался, что с некоторых пор ты не просто кто-то, а некто... Догадался?

— У меня есть цель. Моя личная цель. Без подробностей. А больше я ничего не знаю и знать не хочу.

— Но разве ты знаешь, куда идешь? — вкрадчиво спросил он.

— Иду, куда приду...

— Нет, — отрезал он, — придешь, только если узнаешь, где тебе нужно быть. Сейчас иди на берег на свое место. У меня время говорить с Небом. Придешь, как стемнеет. Тебе нужно отдохнуть. Иди!

Я действительно устал. Усталость вырастила горб на моей спине, он пригибал меня к земле, вдавливал в землю, по тропе брел, шаркая, не отрывая ног, благо сосновые корневища нигде не переползали тропу. Дурная это была усталость, гнетущая, и накопилась она не в ногах, а где-то в затылке, а в ноги лишь сваливалась по позвоночнику.

Озеро, увидев меня, выходящего из распадка, угрюмо заухало, заахало, зашипело волнами по песку, словно предупреждало кого-то об опасности моего появления. «Чьи-то страсти, — бормотал я, — сошлись на моей биографии. Я этого хотел? Мне это надо? Лично моя проблема одна — мама! Откуда наползло остальное?» Подошел к воде, с трудом присел на корточки. «Может, ты мне скажешь, мокрая субстанция, кому и что от меня нужно?» Волна откатилась от моих ног, на расстоянии де-

сятка шагов вздыбилась, как кошка на собаку, кинулась с шипением и, хотя я был за пределами досягаемости, изловчилась-таки ужалить в лицо почти ледяным взбрызгом. Я не на шутку обиделся, вытер физиономию рукавом, хотел камень кинуть, но не было сил, еле поднялся с корточек. «Разберемся, — пообещал многозначительно, — это все интриги! Никто нас не поссорит!»

В моем скороспелом балагане оказалось почти сухо. Чуть подмок рюкзак, я вывернул его сухой стороной, подложил под голову, телогрейку постелил, ей же и прикрылся и упал в сон, как в небытие.

Проснулся от холода и тревоги. Озеро все так же занудно ахало... Я тоже ахнул, когда выполз из шалаша. Эллипсоидная луна громадным золотым подносом висела над Озером, сверкающая золотым отливом лунная дорога, где-то начинаясь, заканчивалась у моих ног. Мне оставалось только шагнуть, а потом шагать и шагать... Это была откровенная провокация, это была примитивная провокация! На что расчет? Что на золото падок? Да, по мне, век его не видать! Да и вообще, луна — это больше по женской части, это у женщин с луной психология повязана. Мужику солнце подай, а коли ночь, то меньше, чем на космос, не соблазнится...

На береговых отрогах лунной дороги я демонстративно проделал все известные мне физические упражнения по разогреванию, разогрелся и, сделав ладошкой «чао» желтому подносу над Озером, потопал в распадок на свидание с отцом Викторием. Тревога, с которой я проснулся, более похожая на страх, усиливалась по мере приближения к поляне, откуда уже докатывался до меня запах костра. В костровом подсвете отец Викторий, сидящий на чурке, походил на шамана, готового к магическому действу. Хотел понаблюдать за ним из темноты, но чертова коза не хуже сторожевой собаки учуяла мое присутствие и вынеслась на меня с идиотским блеянием. Я приблизился к костру походкой бездельника, проходящего мимо и заглянувшего на огонек. Отец Викторий поднялся навстречу и сразу же сделал жест следовать за ним. Я думал, в избушку, но мы обошли ее, и когда она полностью перекрыла нам костер, он остановился и задрал бороду к небу. Затем длань свою длиннущую простер туда же.

— Видишь бледное созвездие, пауку подобное? Теперь чуть левее красноватая мерцающая звезда. Видишь?

— Вижу. Красноватую и мерцающую...

— Еще несколько дней назад ее не было на небе...

— Представляю, какой балдеж у астрономов...

— Две тысячи лет назад вот так же в небе появилась звезда... И началась новая история человечества.

— Понял. Сейчас она кончается. Так?

Отец Викторий опустил руку, но продолжал стоять, вперившись в небо. У меня устала шея, и я остался присутствовать при созерцании. Когда мне и это надоело, он повернулся ко мне. Я почти не видел его лица, какой-то объект за спиной перекрыл луну, и тень, скорее всего от дерева, падала на нас, стоящих друг против друга, только теперь я задирал голову, потому что отец Викторий подошел вплотную.

— Он идет к людям... Он идет в люди... Что это значит, ОН ИДЕТ? И тогда, две тысячи лет назад, никто с неба не спускался. ОН рождался на земле человеком, по-человечески рос, от человеков неотличимый до поры до времени, а потом объявился людям с истиной, которую от рождения вовсе не знал, но познал опять же по-человечески. Героем себя не мнил, к жертве не стремился. Улавливаешь мысль?

— Не очень...

— ОН и сейчас здесь!

— Где?

— Об этом и будем говорить с тобой.

— Ну да! — возликовал я. — Дурак, но понял. ОН это вы! А я кандидат на первого апостола! Я должен возвестить человечеству о вашем пришествии.

Развернулся и потопал к костру, продолжая теперь уже кричать чуть ли не во весь голос:

— Благодарю весьма за честь! Но в этом доме отчего-то я не хочу ни пить, ни есть, ни слушать глупых анекдотов! Но даже если бы это не было анекдотом, так тем более, Священное писание почитывали и на арену со львами не жаждем!

Отец Викторий шел за мной, обогнал и перегородил дорогу с другой стороны костра. По внешнему виду, по крайней мере, он сошел бы за пророка или кого-нибудь еще поважнее, и никак не хотелось думать, что просто псих, потому что за такого психа в определенных условиях можно и голову положить...

— А то, что с тобой случилось за эти дни, на анекдот похоже? Ты, — он простер руку над костром, — не я, а ты, обычный из обычных, возжаждал чистоты души и мысли, ты ушел от мира в пустыню и доподлинно зрил тех, кого уже нет в этом мире,

тебя я ждал здесь, среди камней и деревьев, три дня и три ночи, и ты пришел и не мог не прийти, потому что взором молитвы я не только сопровождал тебя в пути, но и направлял по мере сил моих, ибо так было определено Небом...

— Приехали! — спокойно констатировал я. — «Вялотекущей» здесь уже не отделаемся! Значит, повторнопришелец — это я!

— Словами не озорничай! Скромна моя задача: только подготовить тебя к тому, что откроется тебе скоро и покажется ношей непосильной, но когда откроется, ответ на главный вопрос уже будет у тебя в душе, а моя миссия на том и кончится.

Я подкантовал чурку ближе к костру, уселся сперва грациозно, но чурка была низковата и более удобна для позы мыслителя, каковую я и принял, отставив локоть левой руки, а на правую подбородком в ладонь водрузив свою «забубенную» голову. На фоне затухающего костра я, наверное, был хорош и киногеничен, и апостол, возвышающийся надо мной по ту сторону костра, мог бы и затрепетать, но смотрел на меня сурово и скорбно, как многомудрый отец зрит своего шалопая-наследника. Голосом уставшего мудреца я вопрошал его:

— Скажи, отец Викторий, отчего человеку свойственно периодически посягать на судьбу всего человечества? Отчего не мирится он с участью щепки, заброшенной в водоворот судеб? Почему то и дело тужится он и тщится провозгласить некий главный вопрос бытия, чтобы ошарашить и озадачить род человеческий и увидеть его перед собой рядами с открытыми ртами и выпученными зенками? Откуда, наконец, у отдельного индивидуума появляется потребность объявить себя равным соборному человеческому разуму и вещать от его имени? Как рождается в человеке смелость на то и дерзость, и тяжко ведь, такую грыжу души можно схлопотать, но нет же! То тут, то там возникает некий отщепенец, и человечество забрасывает дела по хозяйству и спешит на площадь побалдеть, утром вознести, а вечером разнести на кровавые кусочки очередного мессию!

Скрестив руки ниже пояса, уложив бороду на грудь, стоял отец Викторий с закрытыми глазами и провоцировал своим видом рабскую дрожь в моем теле. Не будь он «с приветом», остался бы я при нем, пас бы козу его, мыл ему ноги, добывал пропитание, иногда убегал бы в мир и возвращался с искренним покаянием и тяжким трудом и смирением вымаливал благоволение его. Это же надо! Первый человек в моей жизни, которому мне хочется подчиниться, и у него не все дома... Думал я так, а

говорить продолжал о другом, потому что не хотел тишины между нами.

— Помните, отец Викторий, вы говорили, что одна душа другую не знает, не верит... Если изменить акцент, то именно тут можно попытаться выкопать зарытую собаку... Как только человек пробует пристально всмотреться в свою душу, он начинает сомневаться в реальности других душ, потому что его собственная разрастается до размеров космоса, а космос один и един, и легко соблазниться, что все тебя окружающее — лишь интерьер... Вот небо, к примеру, синяя плоскость со звездами, луной и солнцем — это же в действительности нечто совсем иное, чем то, что видим. Обычный глаз видит только декорацию...

Увлекся я, что ли... На тлеющие угли засмотрелся. Глаза поднял, а его нет. За спиной стук. Всмотрелся — дверка в избушку закрыта. Вот так! Не вынес блаженный моего словесного поноса, ушел в затвор. Стыдно стало. Подошел, поскребся в дверь. Оттуда, как из глубокой пещеры, с резонансом уверенный голос:

— С рассветом иди дальше, куда шел. Встретишь людей, которые тебе нужны. С ними останься и жди!

И все. Не меньше пяти минут стоял я еще под дверью. Ни слова. И мои слова, что обязан был хотя бы из приличия произнести на прощание, не сложились, завязли в зубах, выплюнул их с досадой, когда брел к берегу Озера. Уже светало, хотя Озеро еще лежало во мраке. Утренняя прохлада не корежила тело, а напротив, выпрямляла меня, наливались упругостью мышцы, бред, засевший в мозгах с прошлого вечера, выветрился, голова стала легкой, все нормальные человеческие чувства и ощущения обрели готовность воспринимать мир, как им и положено, и ноги запросились в работу. Затолкав в пустой рюкзак телогрейку, закинул его за спину и уже тронулся было, но остановился, вынул из кармана «пушку», зашвырнул в кусты и тогда только, воистину обновленный и вполне счастливый, потопал вдоль берега, еще сумеречного, но уже неопасного движению.

Если бы на этих первых метрах моего шагания меня остановил кто-то, искренне сомневающийся в смысле жизни, я б ответил ему задорно и кратко: жить — это ранним утром идти куда-то. И все! И пусть бы он потом разочарованно смотрел мне вслед, но ведь это он смотрел бы мне вслед, а не я ему, и этим все сказано! Вообще, что такое — хорошее настроение? Спро-

сил — ответил: совпадение биологических ритмов человека и природы, что вокруг. Раз! Совпадение намерений. Это два! У природы нет злых намерений. В природе нет умышленного зла, природа нравственна по структуре и функциям, и она в гармонии с человеком, когда он чист помыслами... Или наоборот, чистый человек изымает из природы дурные намерения и сотворяет гармонию ритмов... Или еще как-нибудь... Когда хорошее настроение, куча прекрасных мыслей в голове, и радостно выстраивать их одну за другой, безбоязненно перетасовывать тезисы с антитезисами, и наслаждаться тем, что, как ни жонглируй словами и значениями, в итоге нарисуется умная или не очень, но непременно добрая мысль, и никакая другая, а ведь слова те же самые, из каких и злая мысль составляется, но вот нет! Хорошее настроение так тебе расположит слова и смыслы, что будто зла в них вообще не предусмотрено! Чудесно это и таинственно, тем более что все это в человеке, а не вне его...

Сзади человеческий крик, и это так не к месту. Отец Викторий нагонял меня. Я остановился с досадой и пошел навстречу ему. Он протянул мне «пушку».

— Возьми. Это тебе еще пригодится. Все другое, что окажется под рукой, будет хуже... Возьми... пожалуйста...

С шизиками не соскучишься. Всю ночь апостольски вещал, а сейчас в глазах мольба, и в голосе сквозь бас хрипотца робости, и даже ростом чуть меньше стал... Я взял «пушку» за ствол, покрутил в руке, подкинул...

— Знаешь что, дорогой дядя Витя, тебе не удастся испортить мне настроение. Нет! Не получится! Что-то есть в тебе не от мира сего, но это есть в каждом шизике, в тебе просто поболее... Я даже готов признать в тебе всякие провидческие и пророческие качества, и думаю, что неспроста суешь ты мне в руки эту штуку, но посмотри-ка, что я делаю!

Размахнулся — и «пушку» в Озеро. Да так далеко, как такого же веса камень ни в жизь не закинул бы. Шлепок с брызгами, и чиста озерная гладь.

— Ты понял, да? Я свободен. И свободою велик. Что будет, то будет, но моей волею, а не твоим вещанием. Так что, бывай здоров и не чихай! Это мой путь, а не твой, сам пошел, сам дойду...

Ничего не осталось от его «лика». Жалкий, испуганный мужичок. Сгорбился и потопал назад. Не знаю чем, но чем-то я сломал его, согнул, во всяком случае, и тихое торжество посетило мою душу...

Глава 6

«Идешь к женщине, бери кнут», — так говорил, кажется, Заратустра и был ну до смешного не прав!

Это место я узнал сразу. И не потому, что оно по всем признакам походило на конец пути, когда скалы, те самые, что уже были мне однажды поперек, а потом отступили от берега, здесь снова вышли на берег и перегородили его, и не потому, что берег, плавно изгибаясь влево, незаметно превращался в берег той, другой стороны, сначала видимой, а южнее исчезающей в запоздалом утреннем тумане. Признаков конца пути было полным-полно, да только были они вторичны.

Стоило только вывернуться с последнего поворота, тут же и ахнул радостно и удивленно, пригнулся, короткой пробежкой достиг огромного покатого камня у самой воды, упал на его шлифованную грань и, выглянув из-за ребра грани, как из засады, зашелся восторгом... Так вот, наверное, ветхозаветные евреи обмерли однажды, увидев на горизонте очертания земли обетованной...

Жадным глазам моим открылась лазурная бухта и скалами окаймленная долина, не долина даже, а просто очень большая поляна, и посередине ее — жилище, настоящее жилище, в котором, как говорится, жить да жить, да добра наживать, и добро это было въяве: лодка на берегу, сеть на кольях, сытая корова на траве — не паслась, но возлежала по-хозяйски, куры неторопливо выписывали круги у крыльца, с типично куриным самодовольством подергивая шеями, собака на крыльце — лайка сибирская, хвост кольцом...

А уж сам-то дом — мечта хозяйственного горожанина, не иначе, как из кедра сложен, бревно к бревну, что стена крепостная... Под одну крышу все постройки сведены: коровник, или как у нас говорят — стайка с сеновалом, дровенник, и все это сделано стройно, опрятно, любовно. Господи! Счастливые и свободные люди живут в этом доме, в этом месте, на этой отдельно взятой поляне у Озера!

Я перевернулся на спину, раскинул руки и уперся зрачками в небесную голубизну, которая не была где-то в вышине плоскостью, как обычно, но заполняла все пространство вокруг объемно от камня до космоса, и в глаза мои проникла, затекла мгновенно, а я каждой клеткой почувствовал в себе прибыток спокойной, доброй энергии или просто жизненной силы, что в действительности, наверное, не что иное, как любовь

к жизни, когда нравится жить, быть живым, нравится — и все тут!

Сейчас я уже не сомневался, что всю свою жизнь стремился попасть, оказаться в таком вот месте, что ничего другого не было уготовано судьбой, что был ею ведом от первого шага по земле до этого последнего, когда подбежал и упал на камень, задыхаясь от счастья. И все, что случалось и случилось со мной от первого шага до последнего в том, другом мире, не было собственно моей биографией, но лишь предысторией, которая не в счет, о ней можно не помнить, ее не нужно принимать всерьез, и оттого я, объявившийся здесь, чист более, чем новорожденный, ибо заново рождена душа, а может, и вообще — я ее только что впервые получил вместе с энергией синего пространства, что надо мной и вокруг...

Я не приходил сюда, я объявился здесь. Иначе как объяснить, что лайка, эта суперохотничья тварь, не почувствовала моего появления, но достаточно было сказать самому себе твердо: «Все. Иду!» — и лишь приподняться из-за камня, как она пушистым вихрем сорвалась с крыльца и, зайдясь лаем, понеслась навстречу. Десятка шагов не успел сделать, а она уже крутилась вокруг, демонстрируя белизну клыков и работоспособность глотки.

Кусать же в ее обязанности не входило, и я знал об этом. К лайкам всегда относился с почтением. Есть в этих наших сибирских собаках редкостное чувство собственного достоинства — знают себе цену труженики тайги, всякую дрессировку на человеческую потеху презирают — даже лапу не выпросишь, потому что баловство, да и только.

Я шел к дому, она же носилась кругами и сообщала миру, что я иду. Шевельнулась дверь, и на крыльце появился мальчонка лет пяти. Был он заспан, ладошками протирал глаза, а когда протер наконец, радостным изумлением осветилась его курносая мордашка. Он так шустро протопал по ступенькам, что я испугался за него.

— Здравствуйте! — крикнул звонко, набегая на меня.

Бегущего его я перехватил, подкинул на руках, а его ручонки сомкнулись на моей шее.

— Вы к нам в гости, да?

— В гости, если не прогоните!

Мысль, что гостя можно прогнать, показалась мальчишке такой смешной, что смех его колокольчиком рассыпался по всей поляне-долине, даже лайка заткнулась от зависти.

— У нас давно никто не был в гостях, — сообщил он мне, когда я поставил его на землю.

— И когда же в последний раз?..

— А по весне, как лед сошел, научник приплывал на моторке.

— Научник?

— Ну, это который всякую науку пишет про деревья или про траву, а еще про грибы, бывает, и про рыбу... А ты кто?

— Я Адам.

Как это вырвалось у меня, сам не знаю. Но придумка понравилась. Да, я Адам, и это очень удобно. У Адама не может быть прошлого, только настоящее и будущее. Отлично придумано!

— Тот самый? — прошептал мальчуган, вытянув шею.

— Какой тот самый?

— Ну, который Бога не слушался... Мама читала...

— Ясненько! Нет, я не тот. Я другой, который слушался. Так меня зовут. А тебя?

— Вот здорово! — качал он головой и пялился на меня, как если бы я был Иваном-царевичем или Змеем Горынычем. — А я Павлик!

— Надеюсь, уж точно не Морозов...

— Чего?

— Это я так... Имя у тебя отличное. А мама с папой...

— По сено пошли. — Он махнул в сторону неглубокого распадка, что угадывался промеж скал на другой стороне бухты. — А где твоя лодка?

— Я пришел по берегу.

Это сообщение его просто поразило, он даже присел и ручонками за голову схватился.

— По берегу! К нам еще никто по берегу не приходил! На вертолете прилетали, а по берегу... ничего себе! — Обошел меня вокруг. — И без ружья, да? Ничего себе! А чего же ты ел?

— Было кое-что с собой...

— Есть хочешь?

— Не отказался бы...

Он схватил меня за руку и потащил к дому.

У крыльца о специальную железную скобу я добросовестно отскреб свои в общем-то чистые сапоги. У порога еще протер их на коврике, и это произвело впечатление на гостеприимца. Прошли через большие сени с квадратными оконцами к входной двери, утепленной и обитой брезентом. Я не ошибся, изба из кедровых стволов. Но по берегу кедр мне не встречался, значит,

доставлялся из прибрежной тайги, и дело, должно быть, было нелегкое, каждая бревешка чуть ли не в полметра диаметром...

Просторная кухня и большая комната перегорожены хорошо отструганными досками и русской печью, небеленой, но исключительно аккуратно обмазанной коричневой глиной — впечатление почти шоколадное. Стол-самоделка, табуреты-самоделки, полки, подставки какие-то — в кухне из мебели не увидел ничего цивилизованного, даже тряпки хозяйские были с остатками ручных вышиваний. В углу икона Спаса в старом киоте и лампадка на резной подставке. Все по программе! По собственной инициативе заглянул в комнату и разочаровался, надеясь увидеть самодельные варианты кроватей, комодов, сундуков или чего-либо подобного. Увы! Кровать еще более-менее антиквариат сороковых, металлическая, сверкающая, с шишечками и завитушками, но шкаф, комод, этажерка, стулья — ужаснейший ширпотреб родного областного производства, и только скатерти, наволочки, занавески и опять же полочки, подставочки... Икона в углу. Одна. Никаких излишеств. Да еще цветы в горшках! И цветы такие, и горшки такие я помнил с детства, когда была еще в моем детстве бабка, страстная любительница зеленых комнатных посадок. Тогда я знал название каждого растения, ожидал их цветений и радовался вместе с бабушкой всякой завязи, а поливание цветов — это же был ритуал!

Мальчишка, между тем, мне уже по второму разу рассказывал свою биографию. Он умеет ловить сорожку, собирать грибы и ягоды, умеет читать и рисовать всяких животных, лучше всех корову и собаку, умеет прятаться так, что даже папка не может его найти, ходит на лыжах, может грести веслами, запросто развести костер, он не боится змей, ящериц, ос, клещей... Он не любит, когда лес горит, когда корова болеет, когда земля трясется, когда мамка плачет... Малыш сидел спиной к лесу и не видел, а я не торопился реагировать на появление блаженных хозяев благословенных мест. Лишь когда шорох полозьев волокуши стал слышимым, Павлик оглянулся, мячиком подпрыгнул на месте и кинулся навстречу родителям.

Я же, лишь приняв более приличную позу, продолжал сидеть на крыльце, и как только стали различимы лица появившихся, сказал себе с тихим торжеством, что все правильно, что я там, где надо, что с этого момента можно уверенно отсчитывать время моей новой жизни.

Бросив волокушу на середине поляны, они шли ко мне, точнее — мальчишка вел их за руки, то и дело вырываясь вперед, оглядываясь на них, недовольный, что они идут, а не бегут. Я неторопливо сошел с крыльца и ждал.

— Вот кто у нас! — провозгласил Павлик, ткнув мне пальцем в живот. — Ни за что не угадаете, как его зовут! А-дам!

— Правда, вас так зовут? — спросила женщина наиприятнейшим голосом. Пораженный ее красотой, нет, красота — шаблон, банальность...

Пораженный светлоликостью ее — вот так именно! — я не сразу обрел дар речи, но, преодолев горловые судороги, пробормотал, что да, на это имя я намерен откликаться с некоторых пор...

Ответ получился замысловатый, и возникла было пауза, но подал голос мужчина... Вот ведь тоже — моложе меня, но парнем я бы не назвал его, парень — это тот, кто в данный момент мельтешил между нами, заглядывая в глаза и дергая за руки всех поочередно. Отец же его был мужчина и даже не «молодой человек» — и эта распространенная кликуха особей мужского пола не подходила к нему. Высок, темно-рус, жилист, с усами и короткой курчавой бородкой, словно сошедший с экрана из фильма про русских молодцев, был он мужествен и прост, и сколько бы я ни напрягал свои извилины, никаких других слов не придумал бы и не вспомнил, потому что, возможно, лучших слов вообще не существует по отношению к людям такого типа, тем более что тип этот в обычной жизни практически уже не встречается...

— В армии знал одного, он латыш был...

— Адам Смит, Адам Мицкевич... — начал я перечислять мировых Адамов, но мальчишка, перебив меня, буквально завопил:

— Он пришел по берегу!

— Правда? — не скрывая удивления, спросил отец, но спохватился и, обняв за плечи жену, что была ему по плечо, сказал, даже будто извиняясь: — Ксеня. А я Антон. Познакомились.

Господи, ежу понятно, что иначе, чем Ксенией, эта женщина называться не могла. Хотя если сам он отрекомендовался бы Русланом или Добрыней, я бы ничуть не удивился. Впрочем, Антон — это тоже что-то! С сыном же, по-моему, они все же дали промашку, и я еще придумаю ему подобающее имя.

Тут как раз из-за крыльца выкатилась лайка, Павлик обхватил ее за шею и сообщил, что собаку зовут Джек. Безусловно, в

том была большая честь для всяких разных англоамериканцев — в благословеннейшем месте планеты другу человека присвоено имя, столь принятое среди народов, погрязших в цивилизации...

Я изъявил желание помочь завершить проблему сена, Павлик — открыть двери сеновала, Ксения — приготовить обед, Джек никаких желаний не изъявил и лишь одобрил наши снисходительным покачиванием закольцованного хвоста.

Сеновал по типовой конструкции располагался над стайкой вторым этажом, куда вилами и нужно было закидать сено, надышавшись запахом которого, я почувствовал себя сущим богатырем. И когда, высмотрев технологию заброса, воткнул свои вилы в копну, был безжалостно осмеян.

— Не подымешь! Не подымешь! — закричал и запрыгал вокруг меня мальчишка.

Я уже и сам понял, что замахнулся на невозможное, но, в сущности, именно невозможным был достаточно избалован за последнее время и, натужившись так, что потемнело в глазах, вознес над головой чуть ли не добрую треть копны. Малыш присел на землю от изумления. Два полных шага нужно было еще проделать с этим немыслимым грузом над головой, а затем зашвырнуть его на потолочное перекрытие. И я свершил это! Грыжа не выпала, пупок не развязался.

Антон выдал одобряющий жест, но соревноваться со мной не стал и в несколько приемов закидал остатки сена. Потрясенный моим подвигом Павлик сидел на земле и никак не мог справиться с отпавшей челюстью. Небрежно отряхиваясь от сенной пыли, я наслаждался своим триумфом, пока Антон, забравшись на сеновал по откидной лестнице, перебрасывал сено в глубину стайки.

Когда полчаса спустя после водных процедур сели за стол, возникло замешательство. Хозяева, причем все трое, смущенно закрутили головами, и лишь через паузу Ксения произнесла робко:

— Помолимся?

Икона оказалась именно за моей спиной. Торопливо разворачиваясь, чуть не опрокинул табуретку, пошумел, в общем... Молитву прослушал, нервно припоминая, с какого плеча на какое кладется крест. Память руки оказалась крепче мозговой, и все, кажется, обошлось. Подан был грибной суп с черемшой, по старым моим понятиям — сочетание немыслимое. Но чего стоили здесь мои старые понятия!

— Тропа через Чертов мыс худая. Кто-то ее показал вам? — спросил Антон.

Ну да, вспомнил, действительно, скальный участок берега так именовался. О тропах не слышал даже.

— Я берегом шел.

— Но там же скалы прямо в воду...

— По воде и шел.

Все трое перестали есть и уставились на меня.

— Это же километров десять...

— Сколько?

Теперь я чуть не выронил ложку.

— Нет, не может быть. Откуда же десять?

— Конечно, никто не мерил, но на моторе, считай, полчаса, больше, чем десять, однако...

Это была критическая минута. Усомнись они хоть в одном моем слове, и все пропало!

— Настроение было хорошее... Погода... На камень залезу, погреюсь и дальше... Показалось, не больше пяти... Бывает, наверное... Главное — настроение...

— Точно, — подтвердил Антон, — сам сколько раз. Кажется, вышел и пришел. А солнце уже с другой стороны. Но здорово, что по берегу. Если от самого города, по прямой километров полтораста, а берегом верняком еще два десятка набежит.

Ложка не дрогнула в моей руке, но нутром похолодел. Машиной я преодолел менее четверти пути. На ногах, значит... О, Боже! И эти десять километров водой! Да когда же это я успел! И как я это смог! На всесоюзной карте наше Озеро величиной с тараканьего детеныша, на областной — с ивовый листок. А восточный берег, и верно, словно пьяная рука вычерчивала. В пути же я был... Полных два дня, так получается... Сгинь!

Гостеприимцы же мои меж тем спокойно постукивали ложками, изредка лишь кидая на меня благожелательные взгляды. Потом ели жареную картошку со свежим луком. Огород, кстати, мне на глаза не попадался. Впрочем, за домом я видел дикий черемушник, а он перекрывал северную часть поляны. Там, наверное, и огород.

За чаем смородинного происхождения я скупо рассказывал, точнее — импровизировал на тему моей биографии. Вранье получилось скромным и правдоподобным, суть которого состояла из некой личной трагедии, служебных разочарований и решимости на лоне девственной природы привести в порядок рас-

строенные нервы разочарованной души, что означало мою готовность осчастливить их своим достаточно долгим присутствием. И они, все трое, взглядами и улыбками одобрили мое благородное намерение, и послетрапезная молитва, произнесенная Ксенией, звучала почти торжественно, тем более что сам я теперь уже без малейшей оплошности вписался в их семейный ритуал.

— Благодарим Тя, еси Господи, — радостно ворковала очаровательнейшая хозяйка центра мироздания, — что насытил Ты нас земных Твоих благ, и не лиши Небесного Твоего Царствия!

— Аминь! — ахнули мы в четыре рта и еще добрую минуту улыбались друг другу. Крупнейшие радары мира зафиксировали странный звук, пришедший словно ниоткуда, похожий на вздох женщины... Я знал, кто это вздохнул облегченно на всю вселенную.

Из-за черемушника первым оглядом я не увидел не только огорода в двадцать соток, но и старого дома метеоролога и метеостанцию. Но как только я увидел дом, это когда повели меня осматривать владения, тотчас же решился и последний, третьестепенный вопрос крыши над головой. Ненужный нынешним хозяевам дом тем не менее содержался в порядке, то есть все было на месте: окна и двери открывались и закрывались, пол не проваливался, крыша не текла, печь топилась — идеальное жилище для человека, не заслужившего даже землянки.

Я сказал просто:

— Возьмите меня в работники!

И когда сказал, их чуть кондрашка не хватила. Но объяснил кратко и вразумительно, что очень хочу пожить здесь, тунеядцем же быть не намерен, но честным трудом готов отрабатывать пропитание, коим, к сожалению, сам запастись не имел возможности по причине экстремальности ситуации. Иными словами, каждый день я должен получать конкретное задание с одним, безразлично каким, выходным днем в неделю. Сам же обязуюсь освоить все виды трудовой деятельности, диктуемые местом пребывания.

Сказано все было в таком ультимативном тоне, что любая форма несогласия или возражения исключалась. Антон в конце концов хлопнул меня по плечу и сказал, что прокормиться в этих местах запросто можно, если кое-что уметь и кое-что

знать, что они так-то уж рады новому человеку, что им вообще везет, и за три года плохие люди сюда не приходили.

Подрастающее поколение тут же изъявило готовность научить меня всяким полезным делам или одному, по крайней мере — ловить сорожку на древесного червя, а я пообещал во что бы то ни стало освоить...

Приведение моего будущего жилища «в божеский вид» превратилось в семейный праздник. Каждый внес лепту в благоустройство, и, разумеется, более других Ксения. С истинным вдохновением она мыла, скребла, протирала все, имеющее хотя бы мало-мальские плоскости. На полу появились коврики, на окнах занавески, на подоконниках цветы. Антон подмазал печку, смастерил полочки для ламп, навесил умывальник, подтянул сетку кровати и даже смазал чем-то ее металлические сочленения, чтоб не скрипела.

Сам я только крутился между ними в полной бесполезности и слегка устал от восхищений их гостеприимством и комментирований: отлично! здорово! высший класс! нет слов! Запас слов благодарности скоро иссяк, и я уже только разводил руками, прищелкивал языком, закатывал глаза и ахал. Чем больше ахал, тем больше им хотелось угодить мне, и я засомневался, существуют ли вообще пределы благоустройству.

К счастью, подступил вечер, возникла идея ужина и оттянула на себя благоустроительные силы. На короткое время я был предоставлен самому себе и смог наконец отдышаться от суеты, поваляться на застеленной кровати и даже вздремнуть минут двадцать.

Разбужен был призывными возгласами отрока. Он вытребовал меня на улицу и продемонстрировал приготовленное для меня орудие лова уже известной сорожки — трехколенную удочку с катушкой и снастью и настойчиво посоветовал именно завтра на утренней зорьке испробовать ее в деле. Заготовку наживки он по-деловому брал на себя.

После гостевой чарки разведенного спирта и превосходного ужина пошли с Антоном прошвырнуться по берегу. Озеро рядом затаенно шелестело, словно подслушивало нашу сумеречную беседу.

— В армии после отбоя, — рассказывал Антон, — засыпал под одно и то же: живу в горах, не один, конечно, кругом скалы и тайга, а у меня избушка у ручья, встаю рано, ложусь рано, веселая работа и жена веселая, какая будет, не знал, воображал

только... Но верил, что найду такую, чтоб ушла со мной. Ксеня — первая, какую встретил. Такой и оказалась. Повезло, да?

— А почему обязательно в горы, в тайгу? Почему не в город?

— Не знаю. Так будто что-то особенное хочу услышать, а люди и машины всякие — они шумят, а смысла жизненного в шуме — просто крошки какие-то... Ну, это, может, и не главное. А воля? Это только в нашем государстве такое можно или в Америке еще? Чтоб хоть сто, хоть двести километров иди, и никто тебе не скажет, что нельзя... — Остановился, повернулся ко мне: — Просто некому сказать!

И так хорошо захохотал, что и я каким-то образом подключился, но мой смех не был столь же хорош, потому что он только смеялся, а я еще и вслушивался в его смех и завидовал...

— Через сто лет так уже не будет... Но я и не хочу жить через сто, а ты?

— Два раза пожить — почему бы нет?

— Лучше один раз, но долго, — серьезно сказал Антон. — Так, чтоб устать и уйти, как на отдых... Только я не верю, что устану. Ведь на сто километров не хожу. Незачем. Все тут да тут. Гадал, когда надоест видеть одно и то же вокруг. Через год? Через два? Три уже прошло — нормально! Ксеню спрашивал, отчего? Говорит — я «надоедку» потерял! У всех есть, а я потерял! Это, говорит, в душе такое устройство, как аппендицит, только вырезать нельзя. А потерять можно.

— А что с ее «надоедкой»? — вкрадчиво спросил я.

От моего вопроса он немного опешил, замешкался.

— А знаешь, я как-то и не спрашивал... Сегодня спрошу...

«Ох уж этот наш мужской эгоизм!» — подумал я, пряча в сумерках ухмылку. Решил копнуть глубже.

— А вера? Сам дошел, или от Ксени?

— Совпадение. У нее родители верующие. В Тобольске живут. А я... Не знаю... Всегда жить нравилось. Думал обо всем этом. Читал немного... А когда Ксеня появилась, если честно говорить, это же почти чудо... Стал, знаешь, чувствовать, ну, вот будто есть все время кто-то за спиной, дышит в затылок... добрый, можно не оглядываться... Так что я больше спиной верю, чем головой! Смешно, да?

Мы дошли до того камня, из-за которого я подглядывал за своим будущим жизнеобиталищем. Почти стемнело.

— Посмотри, — сказал я, — вон туда, по руке смотри, видишь, созвездие, будто паук? А теперь левее — красная мерцающая... Говорят, недавно еще этой звезды не было...

— Откуда ж взялась-то?

— Может, как раз наоборот, была всегда, а теперь ее не стало, взорвалась, гибель видим, все, как у людей... Жил, не замечали, помер — оценили и слово сказали... Но вот один мой знакомый... он говорит, что эта звезда перед концом света появилась...

— Это он тебе ночью сказал? Точно! Днем такого не скажешь. Днем этого света столько, что куда же он денется! Ночью нормально спать надо, так человеку положено. Ночь для мышей, для совы и еще всякого зверья, а для человека — день. Держи режим, и с головой будет все в порядке. Не знаю, кто как, а я вот уже три года засыпаю, чтоб скорей проснуться и жить. Разве не правильно?

— Оптимизм — признак отсутствия информации... — пробормотал я, поворачиваясь к дому.

— Что? И верно, идти надо. Корове сена еще подброшу да курятник проверю. Какой-то зверек повадился, по следам не разберусь. Похоже, не местный... Ты случайно в следах не волокешь?

— Откуда ж! — рассмеялся я. — Своих-то следов нигде не просекаю! Как будто всю жизнь по воздуху ходил.

— Слушай, — зашептал он, — у Ксени есть такая молитва... Вообще, я тебе скажу, мы думаем, что умные, а там про нас уже все сказано... А в молитве так: Господи! отыми от меня праздность духа, погубляющую время! Здорово, по-моему! А?

К своему дому я пробирался уже при лунном свете. На полочке над столом горела лампа. Рядом спички. На столе стакан молока. Залпом выпил. Парное. Не понравилось.

В доме было душно от протопленной печи. Сырость нежилого дома вышла из стен, пола и потолка и квасилась в воздухе, заполняя ноздри раздражающими запахами. На улице почти не замечал комаров, здесь же косился на них, роящихся вокруг лампы, как на врагов народа. Спать хотелось или не хотелось, не понять. Прошарился на крыльцо из двух ступенек, сел, как упал.

Темнота сожрала весь мир, оставив лишь тени от него и небо. Вспомнилось: праздность духа! Конечно, только праздному духу приятно общение с небом. Еще вспомнил ломоносовское: открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне — дна. Вот образец откровенно предметного, количественного отношения к миру! До хрена звезд и пространства, и да здравствую я, заметивший это! И не будем признаваться, что унижает нас,

превращает в жалких козявок объем Божьего мира, что задрать башку хочется и завыть по-человечьи от обиды на ничтожество наше, поскольку воистину червь аз есьм, будь я хоть негром преклонных годов! Тысячу раз прав он, тутошний контролер погоды: ночь противопоказана человеку, ночью разум должен спать и бредить дневными впечатлениями.

Умываться не стал... Где он там, этот умывальник... Упал на кровать в одежде, даже куртки своей любимой и грязной не снял и заснул со стоном. Именно так: слышал собственный стон словно со стороны и сильно-сильно пожалел себя.

Когда проснулся, в мире был свет, а в доме был отрок Павел, и он нагло тряс меня за плечо. Мысленно щелкнул его по лбу средним пальцем с оттяжкой, чтоб отстал, но он не отстал, а пристал еще упорнее, и я сдался.

— Один уйду, — пригрозил он, и я вспомнил про рыбалку.

— Натощак рыба не ловится, — проворчал я и заткнулся, увидев на столе ломоть хлеба, яйцо и кружку. Пока умывался и обливался водой, фыркая и ахая, он стоял рядом с полотенцем в руках. Когда перекусывал торопливо — сидел напротив и пялился на меня. Только приподнялся из-за стола, он нахмурился и ткнул пальцем в направлении моего лба.

— Лоб-то перекрести, нехристь!

Я прямо-таки упал на стул.

— Ну, ты даешь, парень!

Сменив гнев на милость, он популярно объяснил мне, что если не молиться, то можно и не умываться, особенно когда вода холодная, потому что душа тоже должна быть чистой, а не только тело, и что чем больше будешь думать о Боге, тем больше Он будет думать о тебе, а тогда о самом себе можно вообще не думать. Потрясенный и униженный праведностью сопляка, я кое-как воспроизвел с его подсказки послетрапезную молитву, заслужил одобрительный кивок и с видом посрамленной дворняги молчаливо выслушал инструкции относительно технологии отлова хитрой и смышленой рыбы сорожки.

Было пять утра, но, как я узнал из того же источника, корова уже подоена и отогнана «в траву», куры «общупаны» и, которые без яйца, отпущены во двор, Ксеня сняла утренние показания приборов, а Антон именно в эту минуту передавал очередную сводку в город Читу, где, как уверил меня отрок, без папкиной передачи «в погоде ничо понять не могут».

Утро было смурное. Небо и солнце над восточными скалами затянула сизая пленка, Павлик уверял, что это самая рыбалоч-

ная погода и что к полдню хмурь уйдет и день будет солнечным и жарким, потому рыба и торопится до жары нажраться и пораньше смотаться в глубину, где ей прохладно. Но пока что прохладно было мне. Тропинкой прошли через полосу черемушника, а у крыльца хозяйского дома нас встретила сияющая, светлоликая Ксения. Я надеялся, что она хотя бы для приличия пожурит своего сыночка, что поднял меня «ни свет ни заря», что, мол, дяде отдохнуть и отоспаться надо бы, но ничего подобного. Наоборот, она радостно закивала головой и подтвердила, что погода клевая, и нам надо поторапливаться, и даже, как спалось, не спросила для приличия... Но зато на крыльце лежали два бушлата. Крохотный для мальчишки и не меньше пятьдесят четвертого размера — для меня. Я радостно занырнул в бушлат, сунул руки в карманы, запахнулся так, что лишь нос торчал из воротника, но чертов отрок тут же сунул мне в руки удочку и сумку, и я вынужден был принять вид лихого добывальщика пропитания.

Озеро не проявило никакого интереса к нашему появлению. Оно пребывало в абсолютном покое, и не хотелось нарушать его ни взмахом удочек, ни всплеском поплавков. Мерзкие, скользкие червяки выкручивались наизнанку и никак не хотели насаживаться на крючки, а крючков было целых три, и пока обрабатывал один, два других цеплялись за рукава и полы бушлата, приходилось выковыривать их из ваты, накалывая пальцы... Когда наконец закинул удочку, был основательно разъярен... К тому же громадная коряга, на которой мы устроились, чтобы поглубже закинуть, была скользкой от утренней росы, и, заняв относительно удобную позу, я всей душой надеялся, что мой поплавок никем не будет потревожен, и я смогу слегка подремать... Но увы! И пары минут не прошло, как мой напарник приглушенно взвизгнул и выдернул из воды серебристую ленту. Сумка, висевшая на моем боку, ожила и, должен признаться, оживила и меня, и я уже не столь равнодушно посматривал на свой поплавок. Еще несколько раз взвизгивал рыбачок-с-ноготок, и моя сумка приобрела вес. Я почувствовал, что начинаю нервничать и слегка раздражаться, как вдруг мой поплавок исчез. Инструкция предусматривала лишь подныривание поплавка и мгновенную реакцию на подсекание... А мой... попросту исчез... С перехваченным дыханием я кивнул в сторону моей лески, испрашивая разъяснений у специалиста.

— Зацеп, — сердито сказал Павлик. — Щас всю рыбу распугаешь. Давай уж тяни, что ли!

Я потянул. Удочка изогнулась и затрепыхалась в руках. Поднапрягся и... о чудо! На всех трех крючках у меня извивались рыбешки!

— Ничего себе! — закричал Павлик. — Тащи тихо! Сорвутся!

Бросив свою удочку на корягу, переполз ко мне, перехватил леску. Рыбы исполняли пляску смерти и в руки его трясущиеся не давались. Но до чего ж цепкие и тренированные были его крохотные пальчики! Справился. Равно пораженные случившимся, мы некоторое время сидели с ним на коряге друг против друга и ахали, и головами покачивали, и языками прищелкивали.

— У папки две попадались, но чтоб три! Здорово!

Из почтения к моей удаче он насадил наживку на мои крючки, на каждый плюнул добросовестно и дал команду на продолжение дела. Беспокоясь о его самолюбии, я небрежно заметил, что, мол, дуракам, то есть новичкам, им бывает, что везет. На что получил серьезный и спокойный ответ, что везет везучим, и если я везучий, то это для всех хорошо.

— Откуда знаешь? — спросил я, шокированный старческой рассудительностью этого шустрого эмбриона.

— Кому везет, того, значит, Бог любит. И надо не гордиться, а благодарить Бога...

Тут он снова нормально взвизгнул и выдернул из воды рыбку. А я, приняв прежнюю позу, углубился в размышления по поводу целесообразности религиозного воспитания детей в изолированной от общества обстановке, а если честно, то пытался осмыслить, отчего испытываю внутреннее сопротивление укладу семьи, во власти которой оказался. Сопротивление не было активным, и я как бы заранее знал, что уступлю и буду уступать по всем позициям. Но отчего речь шла об уступке, а не о добровольном и радостном вовлечении? Почему, разумом голосуя «за», душой или инстинктом лениво упираюсь и капризничаю? Решил так: если добросовестно посмотреть на дело и если признать реальную причастность верующего человека к некой высшей истине, то все мои бултыхания справедливо могут быть определены комплексом неполноценности по отношению к истине. Тогда сопротивление — детская болезнь кривизны сознания. Но если религия только умными людьми умно придуманная игра в правильную жизнь, то какие бы положительные феномены ни рождались игрой, как бы они ни преобразовывали жизнь в добром направлении, — в этом случае мое сопротивление есть не что иное, как справедливое нежелание играть в чужие игры, когда лишен возможности привнести в

них нечто от собственной индивидуальности. Тогда-то именно и о правах человека можно поговорить, и о приоритете личности над обществом и вообще над любой формальной структурой. О многом можно поговорить, и говорить хочется, и уйму интересного и оригинального можно высказать, и поразить высказанным кого хочешь.

А тут тебе молочнозубый птенец тычет пальцем и приказывает: «Перекрести лоб, нехристь!» Тогда, спрашивается, зачем я Канта Иммануила с двумя «м» почитывал и о Пикассо с двумя «с» рассуждал с прищуром и придыханием?

Когда вернулись с рыбалки, возбужденные и довольные собой, Антона не застали, ушел, как было сказано, на деляну. Отрок тут же пояснил мне, что это такое место в лесу, где заготавливаются дрова на зиму. Я огорчился было, потому что жаждал приступить к обязанностям работника, но Ксения, восхищенная нашей рыбацкой удачливостью, категорично объявила мой первый день пребывания нерабочим, заверила, что Антон тоже скоро вернется и что вообще сегодня — баня.

Банный сруб, загнанный под общую крышу хозпостроек, как оказалось, был первым опытным сооружением Антона. Он установил его на месте ледяного подземного источника, очень гордился этой придумкой, хотя по неопытности наделал массу технических ошибок и на исправление их потратил потом времени больше, чем на сооружение сруба.

Во времена Порядка планировалось соорудить в этом благодатном месте туристическую базу. Понавезли строительного леса, сопутствующих материалов всяких — от оконных переплетов до дверных ручек, скоб и гвоздей. Деньги на идею были отпущены немалые... Деньги исчезли раньше, чем окончательно была похерена идея... Собаки рвали дармовое мясо. Утробный рык хищников вздыбливал шерсть зависти у млекопитающей среды... И никому уже не было дела до бездорожных природных благодатей...

Антон со своей молодой женой, закончив годовые метеокурсы в Свердловске, получил, как и хотел, назначение в место, не знавшее ни Макара, ни телят. На рыбачьем баркасе пристал он к пустынным берегам (метеоролог, что был до него, сбежал, не увольняясь, двумя месяцами раньше) и объявился на берегу с женой, трехгодовалым сыном и тощей коровой, купленной за ничто у одной последней обитательницы вымершей деревни западного побережья Озера.

Ксения уверяла, что не было у них страха перед полчищем проблем обживания. Я тому не очень верил, потому что не мог представить себя на их месте. Правда, им немного повезло. В это же лето высадились на берегу два работоспособных мужика, по рассказу Ксении — сущие ангелы. Один с диссертацией про всякие лечебные травы, другой — про грибы. В один голос заверяли они Антона, что раньше, чем через десять лет, ничьи руки не дотянутся до тутошних мест, и уверениями подбили его на капитальное строительство. Этой командой и отгрохали, в сущности, за лето и осень форменную усадьбу, оговорив единственное условие сотрудничества — право приезжать в отпуска с семьями. Были мужики-научники форменными идеалистами, поскольку семей их Ксения с Антоном так и не увидели. Не до отпусков стало работягам-бюджетникам. По одному прилетали, приплывали — удавалось вырваться на недельку. Жаловались, охали и улетали, уплывали. Через них обжились курами, запаслись кое-чем...

Ксения чистила рыбу и рассказывала, а я сидел тут же на крыльце, слушал и рассказ ее воспринимал как правдоподобную выдумку, сочиненную исключительно для того, чтобы объяснить необъяснимые причины моей личной удачи. Ведь я прибыл сюда на готовенькое. Словно кто-то заранее просчитал все ходы моей судьбы, обо всем заблаговременно побеспокоился и устроил все вот таким наипрекраснейшим образом. Я просто переполнялся благодарностью, жаждал немедленно приступить к компенсированию затрат и усилий всеми доступными мне способами, и вообще, какие-то великие, не имеющие названия чувства просились на волю из моей груди. Хотелось петь, или читать стихи, или обнимать кого-то крепко... Мой рыболовный инструктор к тому времени как раз покончил с распутыванием лески своей удочки (на последнем закидывании зацепил за куст) и появился у крыльца, а я вскочил, схватил его, подкинул вверх, поймал и давай кружиться с ним, вопия что-то невнятное, с трудом удерживаясь, чтобы не повредить его хрящики энергией объятий. Малыш сначала слегка испугался моего взбрыка, но потом обхватил за шею и зазвенел колокольчиком...

— Ну вот, — сказала Ксения, улыбаясь, — сразу видно, что вы человек семейного склада.

— Да откуда ему взяться, складу такому? — возразил я, отдышавшись, но не отпуская мальчишку с рук. — Мать умерла рано, отец сошел с орбиты. Женщины тоже не встретил такой, чтоб...

— Вот этому уж не поверю! — отмахнулась она. — Вы такой красивый мужчина...

И зарделась. Я же, отпустив Павлика, встал перед ней бревном.

— Я красивый?! Даже обидно, ей-богу!

Она вдруг всполошилась, взглянула на часы, схватила тряпку, стала протирать руки.

— Чуть не просидела! Мне же надо сводку готовить. Хотите приборы наши посмотреть?

И затем в течение получаса, пока шли до метеоплощадки, пока она с блокнотом и карандашом крутилась вокруг приборов, — все ворковала, ворковала, рассказывала про арумбометры, барографы, гигрометры, пихрометры, про паропилоты — это шары они такие запускали с Антоном в прошлом году, пока у них были запасы калия и серофилиция, из чего они делали в баллонах водород, заполняли им специальные шары и запускали в атмосферу, а теодолитом определяли направление, скорость ветров на разных высотах, еще зимой замеряли снежный покров для расчета запасов воды и в Озере температуру и уровень... Что восемь раз в сутки надо сводку отправлять в Читу, и потому они с Антоном вдвоем не могут отлучаться куда-нибудь дольше, чем на три часа, что зарплату им вообще не платят, на книжку кладут, а при случае отправляют консервы, муку и сахар в аванс, и еще не известно, как они потом будут рассчитываться, потому что цены выросли, это им известно, а про зарплату ничего...

Возвращались чуть ли не бегом. В комнату, где рация, приглашения мне не последовало, и я предложил Павлику пойти встретить отца, что было принято с восторгом. Прокричав в раскрытую дверь о нашем намерении и, видимо, получив согласие, он вприпрыжку помчался в сторону распадка. Я потопал за ним.

Отчего-то заклинился на фразе о моей «красивости». Безусловно, это была чушь. Знаю, что не урод, но рядом с тем же Антоном — сущая дворняга. Отчего же, однако, не могу проглотить фразу, отчего не списывается она по разряду добрых комплиментов доброй женщины? Почему было бы лучше, если б она не прозвучала?

День меж тем разошелся вовсю, куртку свою бессменную из кожзаменителя я забросил на плечо, расстегнул рубашку уже даже не второй свежести и от сапог избавился бы с удовольстви-

ем, но напомнили о себе мелкие ранения ступней, что схлопотал, устанавливая рекорд по преодолению водных препятствий. Как только покинули зону приозерного сквозняка, объявились комары, пауты, осы. У мальчишки, похоже, был иммунитет к жужжащей сволочи, потому он прыгал впереди меня чистеньким, в то время как я шел в ореоле кусающихся тварей, но принципиально не отмахивался, мазохистски констатируя каждый укус. Восхищенный собственным мужеством, уверился, что если продержусь пару километров, таежная нечисть отстанет и от меня, ибо вовсе не жажда крови движет комарами и паутами, но одна только пакостность их малоклеточной натуры, имеющая целью своей предельно досадить высокоорганизованному существу и удовлетворить тем самым потребность в самореабилитации... Эти мои превосходные соображения были прерваны явлением впереди по тропе полноправного хозяина окрестностей — именно таким предстал передо мной Антон — в солдатском кителе, перепоясанном патронташем, с десантным в ножнах кинжалом на поясе, с двустволкой за плечами. Герой дикого Севера (по аналогии с диким Западом!), он был не просто великолепен, он был потрясающе великолепен! Темнорусые волосы, утратившие порядок прически, придавали его облику удостоверенную опытом лихость, проверившую мир на прочность и знающую цену и миру и себе. Пружинистая походка, тоже знакомая по боевикам, не казалась нарочитой и даже не казалась приобретенной, хотя в домашних условиях я ее не замечал. И выражение лица — спокойное, уверенное и в то же время открытое нормальным человеческим чувствам, что немедленно подтвердилось, как только увидел нас, сначала сына, потом меня. Руки распахнулись приветствием, лицо улыбкой.

— Папка, — закричал малыш, подбегая к отцу, — ты не поверишь, Адам сразу на три крючка три сорожки поймал! Раз — и три сразу!

Лишь через мгновение вспомнив, кто такой Адам, я внутренне покривился от мысли, что вот, мол, еще одно простецкое подтверждение старой как мир истины относительно пророка и Отечества. Ему бы, попрыгунчику, остановиться как вкопанному перед героем-отцом, ткнуть в меня пальцем и спросить: «А ты можешь, как он?» А я бы тогда развел руками в пасе и заискивающе улыбнулся истинному образцу мужчины. Но не я, Антон смотрел на меня с доброй завистью и признавался, что, мол, две сразу — это бывало, а три — это здорово повезло, это

надо, чтоб три рыбы одновременно подошли, одновременно взяли и дернули... С Павликом он еще продолжал обсуждать мою небывалую удачу, хотя уже и я и Павлик увидели за его спиной целую связку рябчиков, и рюкзак за спиной был плотно набит чем-то... Я, откровенно говоря, начал подозревать, не разыгрывают ли они меня видимостью серьезного разговора и не потешаются ли над моей невписанностью в реальность, ведь сам-то именно это и ощущал — иноприродность образу их жизни, неприспособленность к нему, и только лишь желание освоить, обучиться, стать равным, наконец, если это возможно.

Представил, придем сейчас домой, и жена даже не заметит охотничьей удачи мужа, а то и поворчит, что рябчики не должной зрелости и упитанности. Но или я оскудел воображением, или с людьми столкнулся непредсказуемыми, только все произошло иначе. Увидев мужа, Ксения от крыльца кинулась ему на шею, чем, похоже, озадачила и мужа и сына. На рябчиков всплеснула руками, ощупывала их восторженно, при этом кидая взгляды на меня, словно приглашая вместе повосхищаться и мужем и рябчиками. Я с удовольствием присоединился к ее восторгам, признав, что стрелять еще кое-когда случалось, но попадать — только в консервную банку не далее, чем за десять шагов, а уж о движущейся мишени и говорить не приходится. Мне показалось, что она осталась довольна моими признаниями и в течение какого-то времени словно забыла о моем существовании, помогая мужу избавиться от патронташа, ружья, рюкзака, и даже сапоги изготовилась помочь снять, но Антон пришел наконец в себя и, замечательно расхохотавшись, схватил ее за плечи и спросил напрямую:

— Ксюша, ты чего это сегодня шебутная такая?

И она тоже словно очнулась, сначала замерла, глядя в глаза мужа, затем приложилась своей статуэточной головкой к его груди и сказала:

— Переоденься. Пропотел весь. Хочешь, полью?

— Вот еще! — притворно возмутился Антон. — А Озеро на что. Мужики! Идем купаться! Потом топим баню! Паримся — купаемся — расслабляемся!

Мы бежали к Озеру. Первым, конечно, Павлик. Я замыкал. Оказалось, что бежим к лодке. На бегу Антон пояснил, что купаются они в глубине, там вода теплее, менее волнами переболтанная, понырять можно, а у берега мелковато, пока по грудь зайдешь, замерзнешь. Лодка была затащена на песок в микробухточке, возможно, искусственного происхождения, и длин-

ной цепью закреплена за валун. Сначала разделись до трусов, потом, избавившись от цепи, стаскивали лодку на воду. В лодкоплавании я более-менее толк знаю, потому напросился за весла. Смазанные уключины не скрипели, лодка-полушлюпка отлично скользила по воде. Если не считать мелкой синей ряби, что порой полосами пробегала поперек бухты, Озеро пребывало в покое от берега до берега. Не меньше сотни метров отгреб я в хорошем темпе, пока не получил команду Антона:

— Хорош! Суши весла!

— Я первый! — закричал Павлик, и я еще не успел толком закончить торможение и забросить весла, как он зайцем выпрыгнул из лодки и оглушил нас радостным визгом. Бог знает, какая там была глубина, но Антон тревоги не выказывал и, лишь приподнявшись, с одобряющей улыбкой наблюдал за бултыханием сына вдоль борта. Когда мальчишка с визгом и брызгами завершил круг и снова оказался у кормы, Антон единым, явно отработанным рывком выдернул его из воды и водворил на заднее сиденье. Чтоб у меня не осталось сомнений о его способностях, Павлик заверил, что запросто может три круга дать и сам в лодку залезть и что на спине может, но только где мелко.

Антон, не вставая на кормовую доску, ящерицей выпрыгнул из лодки. Даже не раскачав ее и демонстрируя неплохой кроль, пошел на большой круг. Не столь блестяще, хотя и не дурно я воспроизвел его способ ныряния, но в первые же секунды погружения был буквально ослеплен болью, пронзившей тело от затылка до пальцев ног. Я прыгнул не в воду, а на осколки стекла, или на канцелярские кнопки, или на семейство ежей, — я погрузился во враждебную мне среду, которая словно только и ждала, чтобы немедля наказать меня за вторжение. Не закричал я, вынырнув, только по причине паралича голосовых связок. Но хрип, в котором буквально задохнулся, привлек внимание Павлика, он свесился ко мне с борта, рискованно наклонив лодку и лишив возможности уцепиться за борт. Меня убивали? Глупая эта мысль сковала волю к сопротивлению, но я не погрузился, напротив, всем вопящим от боли телом почувствовал выталкивающую силу, вышвыривающую силу, и, как оказался в лодке, не помнил и не понимал решительно.

— Судорога, да? Судорога? У меня тоже один раз... Надо ущипнуть, вот так... Пап! У Адама судорога!

Появился в лодке встревоженный Антон, а я позорно валялся на дне и никак не мог прийти в себя, хотя боль исчезла так же мгновенно, как объявилась.

— На сегодня все, — сказал Антон и сел за весла. Я с трудом заполз на кормовое сиденье.

Потом была баня.

В бане все было, как в бане. И после бани — как после бани. Преподнесенное мне чистое нижнее белье, правда, было слегка великовато и грубовато, а жареные рябчики отдавали дичинкой, но руки, творившие сие добро, заслуживали самых пылкопочтительных рыцарских поцелуев, и лишь внезапно объявившееся благоразумие удерживало меня весь вечер от поступков, способных без должной подготовки поразить милейших гостеприимцев разнообразием моих душевных качеств. И без того я весь вечер, как говорится, был на манеже. Мальчишке показал несколько простеньких фокусов и пообещал научить им. С Антоном достаточно грамотно пообщался на тему роли десантных войск в современных локальных войнах. Хозяйке же читал стихи, читал хорошо, не читал, а раскрывался тайнами...

Черты жемчужинками в море
Я для тебя искал, мечта.
Мне обошлась в громаду горя
Твоя последняя черта.
Ошибся раз — и стан твой гибок.
Ошибся два — и ты умна.
Ты из цепи моих ошибок
И заблуждений создана.

По традиции безалаберного бытия готов был продлить посиделки до бесконечности, до утра, по крайней мере, и не решились бы добрые люди осадить меня. Но кроме меня у них была еще и работа. Подошло время очередного осмотра метеоприборов и, соответственно, радирования результатов куда положено, и был я тактично прерван в своем вечернем вдохновении, но от вдохновения тем самым отнюдь не избавлен. Потому невозможно было просто пойти и опрокинуться на кровать. Словно заведенный на вертикальное существование, как ванька-встанька, не мог я, не поломавшись, упасть тональностью ниже, потому, испытывая потребность в продлении своего «взведенного» состояния, решил прошвырнуться по сумеркам и

прохладам и постепенно подготовить себя к беспорочному соитию с Морфеем.

К Озеру отчего-то идти не захотел. Побрел к камню моего счастья, где уже был вчера с Антоном. Оттуда не просматривалось Озеро, но освещенные окна Жилища видны были прекрасно, и мне хотелось быть лицом к ним. Солнце уже завалилось за горизонт, но небо, накопившее свет, добросовестно делилось им с землей, и оттого на земле еще не было темноты, но только сумерки. Слабый сквознячок из распадка бодрил и трезвил одновременно. За полсотни шагов до камня увидел, что на нем кто-то есть. До конца не избавленный от жажды общения, ускорил шаг, но лишь подойдя вплотную, узнал человека, сидевшего ко мне спиной. Это был Петр. Чуть потеснив его, сел рядом. Петр был мрачен, и я не решался заговорить. Вот он словно очнулся, пошевелился, легко толкнул меня локтем в бок.

— Знаешь, я, кажется, нашел объяснение несоизмеримости человека и Вселенной. В том ведь самое большое бревно на пути к вере, правда?

Я согласился с ним, тем более что сам не раз пялился на небо в недоумении и раздражении.

— Чтобы получить такое качество, как Жизнь, нужно чудовищное количество материала и жуткое пространство для равновесия. Все, что видим за пределами живого и о чем догадываемся, это не просто отходы производства, как раньше думал, но и части механизма. Мы говорим — это Вселенная, как что-то вне нас, и неправильно. Оттого и не понимаем. О взаимосвязи планет мы догадались, а сами как бы остались в стороне, как наблюдатели... Неправильно. Все есть наш дом, для нас построенный. И когда мы уходим... Понимаешь, мы уходим из дома... И я думаю, куда мы уходим? К кому? Может, как ручьи в море? Ручей становится морем? Тогда «Я» должно исчезнуть. А что появиться? «Мы»? Как в толпе? Тогда душа — осколок мирового разума? И почему мы так ценим свое осколочное состояние? Цепляемся за него? А уход рассматриваем как трагедию?

— Противоречишь, — заметил я.

— В чем?

— Если дом построен, то с какой-то целью. Не ради же его самого! Если я осколок, то для чего-то, а не просто так, чтобы потом слиться... Зачем тогда было разделяться на осколки?

Петр оживился, повернулся ко мне.

— Ага! Значит, тоже думал!

— Не помню...

— Тогда получается, что в роли осколка я что-то должен совершить, а вернувшись, привнести с собой в мировой разум, чего у него не было раньше? Но это противоречит главному положению всех религий, что Он — совершенен! И вообще, тогда я, как осколок, всего лишь инструмент Его эгоизма... Где же ошибка? В федоровский бред о всеобщем воскрешении я никогда не верил. На хрена, спрашивается, умирать, чтобы потом воскресать в виде обновленных осколков! Тавтология! Либо от части к целому, либо наоборот. Третьего не дано. Не бывает!

— Но там же полно еще всяких шифров.

— Например?

— Например, любовь. Бог любит человека. Человек должен любить Бога. В этом же тоже что-то запрятано...

Петр пожал плечами.

— По-моему, банально. Человек любит Бога, то есть высшее качество, и стремится к нему. Возникает обратная связь. Образ воздействует на сознание. Это все уже было. Кажется, у Платона. Я же хочу знать — зачем я был! Элементарно! Имею право?

— Почему был? — тихо возразил я. — Ты есть...

— Оставь! Все, может быть, проще и суровее. Страшно подумать! Что если, как Вселенная — условие для жизни, так и миллиарды людей — условие для отдельных, для единиц, которые действительно что-то свершают?! Единицы! А все остальные — только отходы производства! Но тогда-то я, понимаешь, я же знаю, что не свершал ничего! Это я стопроцентно знаю. Тогда я точно — в отход...

— Кончай...

— Нет! Надо честно следовать логике. Ведь возможно, что эти Единицы появляются раз в сто лет. Раз в пятьсот лет! В тысячу. И тогда даже шанса нет, чтобы присмотреться, догадаться, КТО и стать рядом хотя бы. Как в тумане... Может, наше с тобой время — сплошные отходы. А может, наоборот, этот кто-то был рядом, на расстоянии шага, а я не узнал, потому что обречен на вторичность...

— Если бы был рядом, ты узнал бы... — возразил я и поморщился от собственной неискренности. Между им и мной возникала, возрастала стена пустоты, которую видел и чувствовал только я, а он лишь бился об нее головой. Я же был не честен с ним, потому что имел очень странную информацию как раз о

себе, но поделиться ею с Петром не мог, хотя бы потому, что сам лениво закинул ее за плечи и оставил на потом... А ведь не зря, не случайно завязался весь этот разговор!

— Ты вот про любовь заикнулся, — продолжал Петр устало, — да, конечно, догадываюсь, что есть в этом что-то многозначное, в слове именно, в шифре. Умом догадываюсь. Но во мне-то нет ничего похожего даже! Досада одна. Разве я виноват, если любви нет, а досады — хоть выблевывай!

— Ну, чего ты порешь! — возмутился я. — И мать ты не любишь, да? И Юльку? И я для тебя прохожий?

— Ты-то при чем! — взорвался Петр, вскочил. Лица его я не видел, потому что темнота воцарилась полная, видел только нависшую надо мной фигуру его.

— Ты!

Замер вдруг. И была странная пауза. Потом Петр развернулся и быстро пошел прочь. Так быстро, что в темноте растворился через мгновение. Шаги его я еще некоторое время слышал, но скоро полная темнота соединилась с полной тишиной, и соединением этим отделился я от всего живого и неживого и то ли вознесся куда-то, то ли провалился, но из мира выбыл или выпал. Были только я и камень, который выщупывал руками, чтобы не потерять равновесия, чтобы не обмереть от страха перед пустотой...

Потом было медленное возвращение. Крик ночной птицы, шорох Озера и шорох ветра в дальних зарослях, мое порывистое дыхание, наконец. Затем была возвращена и возможность движения. Поднялся с камня, оглянулся. Там, где Жилище, — темно. Люди спали. В небе не было луны. И хорошо. Я не хотел свидетелей. До своего дома добирался ощупью не менее получаса. Руками выщупал ступеньки, дверь, стол в комнате, спички на столе. И лишь когда лепесток желтого пламени сформировался в дрожащее сердечко, аккуратно водрузил над светильником стеклянный саркофаг. Сел за стол. Голову на руки. Смотрел на огонь или в огонь, словно хотел постичь тайну горения. В действительности — не хотел. Я хотел жалеть Петра. Но вот этого как раз и не мог. Не жалелся он. Никак! Совсем другие чувства просились к свободе. Например, очевидное мое преимущество перед Петром. В отличие от него я знал любовь, причем в самом таинственном значении этого слова-шифра. Петр перемудрил, в то время как тайна любви в бескорыстии, только и всего! С первого моего шага на север всю свою жизнь

я подчинил любви к маме. В подчинении не было насилия, но не было и корысти. Я ушел от прежней жизни радостно и свободно. Пусть некоторые точки, что я расставил над прошлым, были похожи на кляксы, но они там и остались — в прошлом. Ничто из брошенного мною за мной по следу не бежало. Бескорыстие мое подтверждалось еще и тем, что я сознавал: мама моя — вовсе не пуп земли, и при желании можно было бы отыскать более значимые цели посвящения жизни.

Оказавшись в другом мире, я искренно и, опять же, бескорыстно полюбил людей этого мира, хотя это несколько иной уровень любви, да и любить их легко, скорее даже, их невозможно не любить, поскольку они сами переполнены любовью, и остается только отвечать взаимностью. В итоге я, одержимый любовью-жалостью к одному близкому человеку, оказался в мире или пусть даже в мирке любви всех ко всем. И провалиться мне, если я в этом смысле не оказался Избранным... Однако последнее, мысленно произнесенное слово вздернуло меня на ноги, и я затопал туда-сюда, искоса поглядывая на взволновавшееся сердечко в ламповом стекле.

Тот психопат в облачении, с ним не чисто и не ясно... Его бред имел смысл, вот только должен ли я докапываться до смысла? Разве он не сказал — иди и жди? То есть живи, как живется, а остальное приложится. Но что оно — остальное? Может быть, прорыв моей мамы ко мне и действия мои в этой связи подвинули меня на какой-то иной уровень, который я не могу постичь по причине, как говорил Петр, «осколочного» характера моего сознания? Тогда действительно остается только плыть по течению, чего проще!

Я понял, что мне совершенно необходимо снова «увидеть» маму, чтобы убедиться, что все правильно, все хорошо, что, главное, ей хорошо...

Мамы в эту ночь я не «увидел». Зато приснилась Надежда. Как бывает во сне, у нас с ней что-то происходило или не происходило, я любил ее или вроде не любил, мы что-то выясняли мелочное, пустяковое, но была похоть, это я помнил, когда проснулся.

Уже третий день вкалывал как проклятый на деляне. Про проклятость — это я уж так, для красного словца, потому что в действительности все наоборот: не знал и не предполагал, что физическая усталость может восприниматься как счастье. Срабатывал ли фактор «свободного труда», когда знаешь, что дела-

ешь и для чего, настроение ли тому причина, только работником я оказался на славу.

В начале лета посетивший эти места научник прихватил с собой по заказу Антона пилу «Дружба», и Антон на радостях навалил сушняка на две зимы, навалил и нарезал на чурки, но повытаскивать на деляну не успел. Первый день я этим и занимался. Стаскивал чурки со всей округи, иногда с расстояния до полукилометра. С утра до сумерек шарился по буреломам и завалам, но, похоже, повытаскивал все, хотя и сам Антон не мог сказать, сколько и чего накромсал он в те дни, пока бензин не кончился.

Потом я занялся превращением сосновых, березовых, кедровых чурок в дрова-поленья. Откуда-то из Закарпатья, где служил в десантниках, вывез Антон идею топора с удлиненным топорищем. Здесь реализовал ее и утверждал, что величина траектории падающего топора прямо пропорциональна силе удара и обратно пропорциональна силе приложения. Дело нехитрое, и опыт у меня был, но пока приноровился к длинному топорищу, изрядно накрутил руки и плечи. Освоил, однако ж, и к вечеру намахался до темноты в глазах.

Общие заботы были на совете распределены разумно. В то время как я был назначен на дровозаготовки, Антон с Ксенией пробавлялись сетями. На совместную работу им отпускалось не более двух с половиной часов, и за один заход они едва успевали добраться на лодке до рыбообильных отмелей и поставить сети. Вторым заходом в той же спешке затащить сети с уловом в лодку, и только потом, после очередного сеанса передачи сводки рыба, успевшая основательно позапутаться в сетях, уже на берегу выковыривалась из ячеек и сразу же обрабатывалась: чистилась, просаливалась и укладывалась в объемистый погреб-подполье, затоваренное льдом еще с зимы.

Ревизия продуктовых запасов диктовала необходимость поездки на «материк», и вечером в сарае в подсветке двух ламп Антон приводил в рабочую готовность казенный мотор «Вихрь», которым пользовался только в исключительных случаях, подобных нынешнему, по причине бензинового лимита. Объем предстоящих закупок, точнее, возможная стоимость их, привела меня в смущение, и я торопливо начал импровизировать по поводу возможных займов, если Антон возьмет меня с собой, но и займы, и мое участие были безоговорочно отвергну-

ты, а из потаенных углов Жилища были извлечены на свет две шкурки соболя...

Я чувствовал себя паразитом и дармоедом и оттого утром следующего дня поднялся вообще с рассветом и, наскоро перекусив, потопал на деляну с твердыми намерениями утереть нос всяким гераклам с их прославленными подвигами.

С девятиголовой гидрой я покончил еще до того, как солнце выпуталось из сосновых сплетений на восточном склоне. Из немейского льва я настрогал поленницу почти в собственный рост. Передохнув самую малость и окунув физиономию в ручей, что сочился сквозь камни у края деляны, принялся за кентавров и управился с недоделками до наступления полуденной жары. Какого-то быка-психопата я укротил походя, но результатами своего труда так обложился к тому времени, что ни ногой ступить, ни топором размахнуться. Пришлось приступать к расчистке конюшен, и это была неинтересная работа, потому что имела много правил. В частности, по указаниям Антона, поленница должна стоять, как говорится, мордой к ветру, спиной к дождю, она должна быть достаточно высока и устойчива. Были мне сообщены и некоторые хитрости, обеспечивающие качество выполнения работы, половину из которых я конечно же позабыл и, приступая к этому делу, вынужден был самоуверенно убеждать себя в природных способностях, кои упредят возможные ошибки и промахи.

Для богатыря, каковым я был с этого утра, работа, конечно, была унизительной, но, учитывая, что, в отличие от Геракла, я не имел дело с вонью, и дрова, простите, это все же не дерьмо, я справедливо полагал, что мне опять крупно повезло, что мне просто надо переквалифицироваться в масона и озадачиться построением храма-поленницы, и если это дело выгорит, и храм простоит и не обрушится до зимы, то пришедшему по сему случаю Антихристу я, обернувшись взад Гераклом, запросто обломаю рога, чем блистательно и завершу цикл исторических подвигов...

Праздный треп с самим собой был внезапно прерван появлением Ксении с корзинкой в руке и с восторгами на лице, которые выразить она толком и не успела, потому что на вершине дровяного завала появился шустрый ее детеныш, и вопль восхищения содеянным мною огласил окрестности так, что окрестности просто обязаны были содрогнуться. Сам выбравшись из завала поленьев, я с видом скромного труженика подошел и

встал рядом с Ксенией и в скромности устоять не смог, поскольку был воистину шокирован объемом проделанной работы.

— Ну, зачем же вы так... — робко пролепетала Ксения, а я, как и подобает, не обратил внимания и деловито спросил:

— До дому-то потом на чем доставлять дрова будем?

— На волокуше, — отвечала она, — зимой по снегу это легко, здесь же все время под горку. Полдороги сами едут, еще и притормаживать приходится. Проголодались?

Всерьез раздосадованный тем, что не сообразил сам, тем более что уже видел в работе это нехитрое приспособление для безлошадников, крикнул для порядка Павлику:

— Эй, слезай давай, пока ноги себе не переломал! — И, не надеясь на исполнение, сам стащил его с завала. Когда стаскивал, он обнял меня за шею, прижался и прошептал, что ему без меня скучно, что он бы и сам пришел на деляну, но одного его не пускают, а он хочет... Я благодарно тиснул его и хотел опустить на землю, но он еще сильнее прильнул ко мне и затих... Отчего-то это встревожило меня, оглянулся на Ксению. Она распаковывала корзину. Вынула кастрюлю, обмотанную шерстяным платком, потрогала.

— Щи. Еще теплые. Пожалуйста... А ты отцепись! — Это она Павлику. — Дядя Адам вон сколько дров нарубил, а ушел-то на голодный желудок, да? — Это уже мне. — С приборами возилась, не заметила, когда встали... А может, на сегодня хватит? А то завтра спины не разогнете...

— Конечно, хватит! — взвопил мальчишка. — Папка никогда столько не нарублял!

Уже привычно перекрестясь, хотя и без молитвы, я накинулся на щи с геракловым азартом. Мать и сын сидели рядом на траве и смотрели мне в рот. По мере насыщения и физического роздыха ко мне как бы стали возвращаться нормальные человеческие чувства, или, по крайней мере, одно из них — восхищение сидящей передо мной женщиной. Где же это, думал я, поглядывая на Ксению, и в каких семьях рождаются и вырастают такие вот чудесницы? Красавица? Не скажешь. Но прекрасная! И отчего-то это не одно и то же. Красавице можно, положим, подмигнуть, и плевать на реакцию. А этой руку поцеловать хочется, а потом пойти куда-нибудь и где-нибудь какой-нибудь подвиг совершить и к ногам ее кинуть-бросить, небрежно заметив, дескать, вот шел мимо, увидел, совершил. Может, пригодится на что-то? И ведь, в сущности, — простоволоса, никаких

тебе соболиных бровей вразлет, правда, есть в лице нечто от породы, но что это такое — порода? Классицизм черт? А кто эту классику определил? Не Господь же! Но уверен, пройди она по улице, что лопух, что бабник затасканный — заметят, оглянутся, встревожатся. Явление!..

Похоже, я насытился пищей по потребности, потому что, как говорится, и оглянуться не успел, как мои мысли о Ксении стали сползать с восторженно-торжественного уровня на уровни, скажем, несколько иного порядка, и эта гнусная диверсия моей физики возмутила меня и оскорбила, словно пребывало во мне два сознания, и лишь одно из них я мог контролировать, другое же, демонстрируя суверенитет, сколачивало в моем мозгу фракцию из гадких мыслей и желаний. Далеко, впрочем, дело не зашло. Мне всего лишь захотелось коснуться рукой ее лица, но я ж не новичок и не лопух, мне известна логика прикосновений. Пронаблюдав, как рука моя вкрадчиво положила ложку и, подрагивая, замерла над ней, сказал, разумеется, мысленно: «Смотри, сука, отрублю!» И представил, как кидаю руку похоти на чурку, в другой руке топор, хрясь! и отрубленная кисть корчится пальцами на траве в судорогах раскаяния. В конце концов, я царь или не царь! То-то! Фракция вытекла из мозгов туда, откуда вылупилась. Восторжествовавшая чистота помыслов вскинула меня на ноги и провозгласила:

— Все! Спасибо! Гудок зовет на подвиг. Приду до комаров.

— Может, все-таки хватит на сегодня? — робко спросила Ксения. И отрок вторил ей пискляво:

— Дядя Адам, пойдем домой, а? Покупаемся...

— Делу — время. Потехе час, — сказал я назидательно. И содрогнулся при мысли о купании...

Личико ее светлоокое погрустнело, а светлоокость задержалась взглядом на моем лице чуть дольше должного. Оттого что не успел бдительно прищуриться, заслон выставить, что-то переплеснулось из ее глаз в мои и проникло в душу, и душа застонала, застонала... И средство неизвестно... Душа — не желудок. Не выблюешь! Еще продолжал демонстрировать жажду мускулов покорять природу чурок и поленний, но как только мать с сыном исчезли в просвете тропы, соломенным матрасом рухнул на траву и давай кататься по ней, ну, что конь перед дождем... Накатался вдоволь, уткнулся лицом в траву и лежал без чувств и мыслей с одним лишь сознанием присутствия в мире. Угорев от травяного дурмана, приподнял голову и увидел в паре метров от

себя изящно сверкающие женские сапоги, черные с блестящей металлической окантовкой и темно-золотистой шнуровкой по бокам. Медленно поднимал глаза. Ноги... коленки... выше... С дыханием непорядок... Но, слава Богу, юбка замшевая, нет, всего лишь юбчонка. Лежи я метром ближе, глаз не поднять... Широкий пояс с готической бляхой, зеленая блузка с демократическим распахом на груди... Грудь — вызов... Шея... Темные волосы, счесанные на плечи. И, наконец, лицо! И это не кто-нибудь! Это Надежда! Это моя вчерашняя Татьяна Ларина!

— Ты что, сдурела! — зарычал я, поднимаясь. — Ты на кого похожа!

Довольная произведенным впечатлением, Надежда проковыляла вокруг меня той похабной походкой манекенщицы, какой ни одна нормальная женщина отродясь не ходит, разве если только не спрячет между ног что-нибудь ценное, чего ей никак нельзя обронить. А накрашена! Губы как у вампира, только что оторвавшегося от шеи младенца. Вокруг глаз темнота, будто три ночи не спала, гвардейскую дивизию обслуживала, и скулы красные — об небритых мужиков терлась! Чисто уродина!

— Говори, — потребовала, — похожа я на так называемую женщину легкого поведения!

— Вылитая шлюха, — добросовестно подтвердил я. — Та, которую ты когда-то играла, просто монашка в сравнении...

— Ты был прав. Та пьеса — туфта. Только теперь поняла, когда настоящую роль получила. Мы ничего не знаем об этих женщинах. Ничего! Там драма длиною в жизнь. Понимаешь?

— Еще бы!

— Не понимаешь. А вот он...

— Кто?

— Автор новой пьесы! Интереснейший мужик! Не чета вам, циникам и потребителям.

— А он что, импотент?

— Почему?

— Не потребляет? Или гомик?

Посмотрела на меня с сожалением и превосходством.

— Между прочим, принято считать, что общение с природой облагораживает. Но, видимо, бывают и исключения. Да? Но все равно! Мне поговорить надо. Знаешь, я, кажется, нашла нерв, то подсознательное и нереализованное, доминанту, что ли... Там по сюжету героиня встречает того, кого искала всю жизнь. Но поздно. Предпоследний клиент заражает ее СПИДом...

— Ужас!

— Ну, подожди!

Высмотрела место, села на траву. Я пристроился рядом.

— Она понимает это как возмездие, но как несправедливое. И бунтует... Такой монолог! Карамазовский! Знаешь, если после него я не увижу в первых рядах слезы, я брошу театр. Я решила! Но я сумею, правда? Я сказала Роману: или зал будет плакать, или я разревусь на сцене от отчаяния.

— А Роман — это и есть...

Смутилась, но подбородок вздернула.

— Да. Автор. Из Москвы. Там его знают все. Он выбрал наш театр. И если хочешь, да, он мне нравится, и очень может быть, что у меня все переменится. Ты же не злой? Ты хочешь мне добра?

— Хочу.

— Тогда пожелай...

— Желаю.

Она потянулась чмокнуть меня в щеку, я отшатнулся от ее кровавых губ. Не обиделась. Отмахнулась.

— Между прочим, — сказал я, — это весьма симптоматично, что советские драматурги вспахивают сейчас целину темы проституции, насколько знаю, твой Роман не первый... Психологически им должна быть очень близка эта тема именно в профессиональном смысле...

Покосилась на меня.

— Хочешь какую-то гадость сказать?

Я только плечами пожал.

— По-моему, я ее уже сказал. Раньше мы понимали друг друга с полуслова.

Повернулась ко мне, и мы долго молча смотрели друг другу в глаза.

— Ты такой умный, да? Тогда скажи, почему мне хочется ударить тебя? За все, за все!

— Ударь. И будешь права.

— Пусть лучше это сделает какая-нибудь другая. Следующая... Пусть и за себя и за меня... Ладно?

— Вот и пообщались, — сказал я, поднимаясь. — Работы сегодня уже точно не будет.

В завале поленьев отыскал свою рубашку, надел навыпуск. Прибрал топор в нужное место, осмотрелся. Самый занудный гераклов подвиг переносился на завтра. И правильно. Растянем

удовольствие! Проходя, сказал, не поворачиваясь: «Бывай!» У края поляны оглянулся. Надежда все так же сидела на траве, но вслед мне не смотрела. Когда с тропы оглянулся, ее уже не увидел.

Глава 7

> Услышанное звучало так: «Число есть тайна и смысл. Смысл и тайна числа в полноте его. Изыми от числа ничтожную часть, и другого числа не возникнет, а лишь разрушится прежнее, и исчезнет тайный смысл его, как будто не было вовсе». Едва ли я понял...

Снилась темнота и горький, горький плач в темноте. У плача было стереофоническое звучание. Он был как бы со всех сторон. Плачем заполненная темнота разрывала мои глаза. Как и прежде, своего присутствия где-либо я не ощущал, только глаза... Ими я воспринимал плач, ими же пытался разорвать темноту, но тщетно. Я знал, что плачет мама, но не хотел признавать этого, и так упрямо не хотел, что даже не сочувствовал и не сопереживал и лишь упрямо пожирал глазами темноту неубывающую и неприбывающую... Пропитанная, пронизанная плачем темнота получала способность к сопротивлению, глаза не выдерживали его и обретали боль...

Я не понимал, я не мог примириться с несправедливостью, я хотел кричать и возмущаться, но глаза не умеют этого делать, когда они слепы. Жажда крика была сама по себе, а глаза сами по себе скреблись о толщу темноты, озвученной безысходным плачем. Причем это не были рыдания. В рыданиях есть интонация, по ней можно о чем-то догадаться. Рыдания близки к истерике, их можно переждать... Но плач, тем более когда он везде! — это невыносимо! Я возжаждал немедленно проснуться и проснулся, а глаза мои оказались в слезах.

Я определенно решил, что это был сон. Обычный сон, и к прежним моим сновидениям он никакого отношения не имеет, не может иметь, потому что у мамы нет причины для слез, но масса причин для радости, и рано или поздно, может быть даже следующей ночью, я увижу ее такой, какая она обязательно должна быть с момента моей новой жизни и моего нового рождения.

Однако здравые рассуждения лишь частично властны над настроением. И было настроение этим утром испорчено и помрачнено маетой души, понимающей мир по-своему, по-женски интуитивно, да еще со склонностью к капризу... Дух — другое дело. Дух — мужчина. Душа — женщина...

Такое сопоставление показалось мне весьма перспективным, я дал себе слово при случае подумать об этом с напряжением и, глядишь, почти отвлекся, как оттолкнулся от впечатлений ночи.

Этим утром Антон отправлялся на лодке за продуктами «на материк». Я, как всегда, слегка запоздал с подъемом. Заботливая Ксения и в этот раз сумела бесшумно пробраться в мои апартаменты и выставить на столе завтрак. Но из открытого окна со стороны Озера уже слышался рев «Вихря», и я, торопливо плеснув в лицо холодной воды, поспешил к Озеру, на ходу зажевывая неслыханной вкусноты свежеиспеченную лепешку.

Антон гонял лодку по кругу, проверяя мотор на разных режимах. Озеро было неспокойно, а небо подернуто мутной пленкой, и я нечисто порадовался, что не мне плыть... Но за Антона не беспокоился, потому что для Озера он был свой, в том легко было убедиться, наглядевшись, как он управляет лодкой и как управляется с волнами. Лодка под его командой вообще казалась равноприродной Озеру, неспособной вступить в противоречие со средой движения... Одним словом, я любовался Антоном...

Вот он с крутого виража на скорости нацелился на крохотную бухточку-стоянку и вошел в нее изящно, вовремя погасив скорость и выключив мотор.

— Порядок! — сказал он и поощрительно похлопал мотор по бензобаку.

— Похоже, погода портится?

— Не серьезно, — отвечал Антон, даже не взглянув на небо. — Ведь я кто? Метеоролог! Про погоду я все знаю.

— Приборы не ошибаются?

— Кроме приборов еще уйма чего в природе есть! Мы тут такие приметы заприметили, что никакому научному объяснению не поддаются. Спроси Ксеню, расскажет. А сегодня к обеду будет дождик нешибкий, и ночью небо слегка посопливится, а завтра будет солнечно и прохладно. Вот и проверь!

Когда вернулись домой, Антон провел меня в комнату к стенду с ружьями.

— Кое-где жимолость поспела, ягодники могут объявиться, к ним иногда всякая шелупонь прибивается, так что имей в виду, «тулка» заряжена, в «тозовке» только патрон дослать. Давай уж, смотри тут. Я за три года первый раз спокойно поеду. А то раньше, пока до дому доберусь, всю морду исцарапаю, это у меня нервное, чуть что — лоб начинает чесаться, такая придурь!

Появился сонный Павлик, хныкнул было, чтоб отец с собой взял, но вразумлен был в несколько слов, дескать, дядя Адам человек здесь новый, не все знает, и без него, шустрого и догадливого, никак дяде Адаму не управиться. Я же только руками развел, выказывая полную беспомощность и абсолютную нужду в помощнике и советчике.

В глазах Ксении тревога. Меня это даже насторожило. Подумал, может быть, они разошлись во мнениях о погоде. Спросил. Погода ее не волновала. Но суетливость — этого раньше за ней не замечал. И морщинки меж бровей... И руки все норовят лишний раз прикоснуться к Антону. Коснется его и на мгновение застывает, умолкает на полуслове. Антон взял ее за локти, наклонился.

— Ну, ты чего? Послезавтра к вечеру буду дома. А может, раньше.

— Конечно! — ответила, как очнулась. — Список не потеряй. С деньгами осторожней, в автобусах такие ловкачи...

— Ну да! А я лопух неотесанный, так, что ли?

Тут мы все дружно рассмеялись, и Антон громче всех, потому что достоверно знал, что не лопух. Я же все более убеждался, что судьба свела меня с уникальным по нынешним временам человеком. Что, в сущности, есть наши слова? Одежда! Я могу, к примеру, напялить на себя пиджак с плечами в косую сажень и на кого-то произвести впечатление. Но разденусь — и разоблачен. И слова, что произносим, тоже часто всего лишь — косметика сути, оттого и рекомендовано по делам судить. Антон в этом смысле исключителен, о нем можно судить по его словам, да еще с допуском положительного коэффициента, и не потому, что он скромен, вовсе нет, просто он не знает настоящей своей цены, и его слово о себе неэквивалентно...

Прощание на берегу не было долгим. Подошло время утренней обработки метеоданных, и Ксения спешила на площадку. На берегу не стояла, платком не махала, лишь перекрестила торопливо водяную борозду с ревом уносящейся лодки. Антон еще и за мыс не успел уйти, а мы трое уже топали от берега.

Хмурь на небе сгущалась, и мир вокруг серел на глазах. Заметил, что в таких случаях первыми цвет теряют хвойные: сосна, ель, листвяк, если не считать Озера, оно сереет первым. Дольше прочих держатся молодые березы. Чистую зелень их листьев в такую именно пору и замечает глаз, особенно, когда первые капли дождя глянцем раскатываются по ним и высвечи-

вают каждый в отдельности так отчетливо, что хочется пересчитать их и число непременно записать где-то среди прочих важных и нужных для человека сведений о жизни. Ведь даже цветы иные в хмурую погоду теряют яркость, синий, к примеру, — за пять шагов можешь и не заметить тот же колокольчик или ирис. Желтые и красные цветы тоже блекнут, а бордовая саранка вообще теряется в разнотравье. И чтоб не потеряться самому, так важно опереться глазом на что-то упрямое не из упрямства, а по неведенью, по неумению приспосабливаться, по незнанию нужды выживания. Просто выживать — в этом есть что-то недостойное... Коварен язык! Чтобы выжить самому, надо выжить кого-то? Выживать или жить вопреки? А вопреки? Что за слово? Откуда взялось? В упреке? Жить в упреке? Нет, это тоже плохо. Жить поперек? И того хуже. Жизнь не должна быть противостоянием, принципиально ей ничто не противостоит, даже смерть, потому что она — не конец, и мама моя доказала мне это.

— Вы же говорили, что ваша мама умерла?

Боже мой! Оказывается, я проборматывал все это, сидя на ограде метеоплощадки. Ксения, к счастью, только последнюю фразу услышала. Делая последние заметки в журнале, она подошла ко мне, участливо взглянула в глаза.

— Я своим раз в полгода пишу и стараюсь не думать о них часто. Как подумаешь, что может случиться, хотя они у меня еще не старые, но все равно, как подумаешь, хоть вой. Потому я вас очень хорошо понимаю. Это ужасно — потерять родителей. Пусть далеко, но где-то... И вдруг нигде! Страшно! Вот ведь и муж у меня, семья, в общем, а без них все равно стану сиротой... Вы очень любили ее, да?

Участливость ее достигала опасного предела, я увидел это по руке, робко протянувшейся ко мне. Отшатнулся, но только мысленно, и потому рука ее достала мой локоть, коснулась, и я почувствовал, что ранен, что поврежден, что мне срочно нужна помощь рассудка и воли, и она пришла, эта помощь из резерва, именуемого цинизмом.

— Жалость — это подаяние. Благодарю за копеечку!

Но провалиться мне, если я не переиграл. Не дрогнула ни рукой, ни глазом. Рука ее с локтя моего сползла к кисти, а кисть предательски вывернулась ладонью, и ладони наши вспыхнули. Она лишь опустила глаза и тихо высвободилась. Отвернулась.

— Мне кажется, что я все про вас знаю. Нет?

— Нет. Но про меня и не нужно ничего знать. Со мной все в порядке... Мне у вас нравится...

Нужно было срочно отступать. Причем не показывая спины. Захотелось взять в спокойные ладони ее слегка порозовевшее личико, поцеловать в лоб и сказать с достоинством старца: «Иди и живи с миром, красивая! Не искушай айсберг теплом семейного камина. Жалобно прошипишь и погаснешь!» Но когда первые капли дождя упали на мое лицо, то, ей-богу, зашипели... Ксения, сунув журнал регистрации под кофту, крикнула озорно: «Бежим!» И мы побежали к дому. К моему, понятно, он был ближе. Что-то подобное я точно видел в кино, только там это было естественней, потому что по сценарному замыслу исполнялся настоящий ливень. Здесь же были налицо лишь первые совсем некрупные капли дождя, и не было нужды бежать, да еще так быстро и с переглядкой... Уверен, что она тоже видела этот фильм... Вторая часть сценария не состоялась вовсе, поскольку, когда, запыхавшись, вскочили на ступеньки моего крыльца, были совершенно сухими, дождевая вода не сбегала по нашим лицам, не нужно было отжимать подол платья, тем более что она была в брюках, а рубашка, если и прилипала к моему телу, так только от пота. Чуть было не затянулось противоестественное наше стояние друг против друга, но находчивость — разве не моя черта!

— Антон говорил, что вы тут всякие погодные приметы освоили...

Раньше нужно было произнести имя, потому что Ксения мгновенно очнулась, и улыбка, осветившая ее светлое лицо, мне уже не предназначалась.

— Да! Это как чудо! Антон первый заметил. Вот, например, видите скалу, нет, не из этих, дальше в распадке и сосны на вершине, видите? Так вот, если перед закатом там висит маленькая черная тучка, а небо пусть все чистое-пречистое, с утра начнется дождь, и будет он почти без перерывов не меньше двух суток. А барометр может ничего не показывать. Необъяснимо! Или вот с курами, я же с ними вожусь, а заметил Антон! Вечером прихожу, это зимой, а они все скучились в левой части курятника, вы же видели, курятник большой, мы хотели двадцать штук завести... А тут они все в левом углу и петух в середине. И что думаете? Ночью обязательно усилится мороз. Что в кучке, это еще понятно, но почему всегда только в одном месте? Ой, да много всего такого интересного! Антон вообще...

Детским озорством вспыхнули глаза, когда прошептала:

— Антон вам свое хобби не показывал?

— Нет.

— Хотите посмотреть?

— Конечно.

Почему-то мы снова побежали. Теперь к их дому. Когда пересекали полосу черемушника, тогда только слегка подмокли головами и плечами, но все равно вызвали законное удивление Павлика, идущего нам навстречу. Он посмотрел на небо, на нас и сказал деловито:

— Если папка поехал, значит, сильного дождя не будет, потому что, если сильный, он лодку зальет, и она потонет. Папка-то выплывет, а лодка?

— Лодку не зальет, потому что сильного дождя не будет, — успокоила его Ксения. — Пойдем с нами. Я кое-что дяде Адаму покажу, а ты папке не рассказывай, а то он сердиться будет.

Присутствие между нами Павлика оказалось подарком моменту. Сама она поняла это или нет, не знаю, но рада была определенно, иначе зачем бы дважды останавливаться и тискать сына... Павлик стеснялся ласк ее и капризничал.

Мы зашли в дровяник, в котором я уже бывал не однажды или, по крайней мере, заглядывал в него. Двухметровая поленница, как оказалось, перекрывала внутреннюю часть сарая, где, к моему удивлению, обнаружилась настоящая мастерская, и, конечно, первое, что бросилось в глаза, — полуметровая деревянная статуэтка.

— Это мама! — торжественно провозгласил Павлик, но мог бы и промолчать. У Антона был талант, и я даже поежился от неожиданности открытия. Всеми прочими способностями Антона я восхищался искренно и бескорыстно, то есть без зависти. Мы же не завидуем обонянию собаки или зрению кошки. У них свое, у нас свое. Теперь же был не просто уязвлен и обескуражен, но всей мощью самолюбия узрел посягательство на нечто, исключительно мне принадлежащее, чем я будто бы просто еще не успел должным образом распорядиться. Злая, гадкая ревность стекла с моих губ.

— Очень даже неплохо...

— Правда? — радостно откликнулась Ксения. — Ой, знаете, я не могу смотреть, как он делает! Сначала просто полено, а потом из полена начинает вылезать голова... Или рука... Я не могу смотреть, дрожь появляется где-то под сердцем. Смешно? Но

что-то же есть тут... Перекреститься хочется... Я глупая? А вот посмотрите!

Она отодвинула в сторону лист фанеры, и я обмер. Не меньше десятка статуэток разной величины — и все это была Ксения. И ни одного повтора... Ксения сидела, шла, стояла, лежала почти что в позе гойевской махи... Но одна из этих... Я подошел и взял в руки. Здесь Ксения сидела на корточках и рассматривала что-то... Так она могла сидеть у грядки или у воды...

Это был шедевр. Я не хотел верить, что передо мной произведение рук недавнего десантника, выпускника годичных метеокурсов... Он что, с неба свалился, этот парень? Откуда он может знать пластику жеста? Кто мог ему объяснить, что достаточно ковырнуть дерево особым образом в нужном месте, и жест оживет, и лицо оживет, фигура получит движение и энергию, что вообще исчезнет материал и возникнет иное, с материалом не сопрягаемое?.. Невозможно! И потом, какими инструментами ему удается воспроизвести тонкость черт лица, гибкость руки, изящество пальцев? Я хотел видеть набор его инструментов, словно тем разоблачилась бы его неискушенность в сфере искусства... Ксения подслушала мои намерения.

— А вот, Адам, его главный фокус. Смотрите, чем он все это делает!

В картонной коробке из-под вермишели лежали рядышком четыре маленьких топорика разной конфигурации. И все! Я взял один из них в руки.

— Осторожно! — предупредила она. — Сама видела, как он им брился. Чуть в обморок не упала.

— Жутко острый! — подтвердил Павлик и аж напрягся весь, когда я пальцем коснулся острия. — А я боюсь, когда он поправляет. Я тогда кричу ему: «Не стругай маму!» А он только смеется.

Рассматривая фигурки, каждую в отдельности, я сделал еще одно оскорбительное для себя открытие. Антон знает и понимает о Ксении такое, о чем мне никогда б не догадаться, не подскажи он мне своими самодельными топориками. И даже подсказанное все равно останется для меня не понятым до конца, потому что его знание — знание сердца, а мое понимание — всего лишь тренированность ума.

За моей спиной Ксения вскрикнула, засуетилась. Оказалось, чуть не пропустила время радирования. Павлик выскочил за ней, и я остался один на один с Антоном и его любовью к сво-

ей жене. А точнее, я остался один на один с болью, что поселилась во мне где-то между горлом и желудком и грозила прожорливым червяком выгрызть и поглотить мерзким нутром атом за атомом весь резерв моего оптимизма и благорасположенности к миру, в котором оказался. Мог ли я позволить...

Я начал рассуждать! Я всегда любил этим заниматься, знал толк и имел опыт. Теперь пришло время использовать опыт в самозащите. Канва рассуждений выстраивалась в соответствии с им присущей логикой, когда все начинается хладнокровным упреждением досады.

Как интеллигент, то есть человек, подготовленный образованием к творчеству, я не состоялся. Во мне не отыскались таланты к частному. Ни художнического, ни писательского, ни музыкального, ни даже технически-импровизационного даров. Не отыскались, потому что попросту не были заложены природой. Иными словами, я человек, лишенный страсти. Плохо это или хорошо? Как посмотреть. А посмотреть можно по-разному. К примеру, так, что человек, лишенный страстей, подлинно свободен. Кому неизвестно, что прибуксовывается к таланту! Зависть, соперничество, жажда признания, злоба современников, хмель зазнайства. Талантливый человек — раб своего таланта. Чем больше талант, тем крепче рабство. И вот я от всего этого свободен, моя жизнь цельнее и полнокровнее хотя бы уже тем, что я понимаю свое преимущество перед всеми, кто погряз в соперничестве с человечеством за свое место под солнцем. В каком-то смысле я счастливый дикарь. И возможно, именно по этой причине со мной произошло то, чего ни с кем не случалось: я получил шанс прервать одну, всего лишь одну, но конкретную цепь зла и страдания. И мне известен прецедент подобного избранничества в истории. Авраам и его народ только потому и оказались Богоизбранными, что были на момент истории самым безобразно диким племенем, не зараженным никакой культурной традицией, их свободный дикий разум был открыт к восприятию факта существования высшей истины, которую постичь они так и не сумели, но послужили проводником Божественной воли в мир. Вот и я! Почему бы нет? Пусть мое дело — пылинка в космосе. Но зато какова! Иными словами, я более особенен, чем любой талант, который всегда можно поставить в строчку с ему подобными.

В мастерскую Антона я вошел одним человеком, а вышел другим. Оставалось только разобраться с моим отношением к

Ксении. Бесспорно, по мирским меркам Антон, как личность, на целый порядок выше меня в силу присутствия в нем настоящего творческого импульса и отсутствия такового у меня. По этим же мирским законам тяга Ксении ко мне (а таковая налицо!) говорит не в ее пользу. Поскольку об испорченности речи быть не может, то может быть речь только о ее, увы! — глупости, пороке для женщины не столь уж тяжком, в известных случаях даже милом, но всегда весьма опасном. Но возможно и другое. Возможно, чистотой сердца своего чувствует она то особенное, что подкинула мне судьба в биографию, и тянется теперь, как дикарка к дикарю. Оттого быть мне трижды бдительным, тем более что, чего греха таить, дикарка воистину прекрасна, взгляда ее прямого мне минуты не выдержать, прикосновения — секунды, и если качнусь однажды легкомысленно навстречу, быть космической беде, именно таковой, и не менее.

Трезвость и здравомыслие суждений выпрямили мою спину, и таким вот — прямоспинным — шествовал я по двору под мелким дождиком...

К вечеру похолодало, и Ксения решила протопить печи. Она решила, а я охотно исполнял. Затопил у них и у себя. Бегал от дома к дому, ворошил, подкидывал, ощупывал печные плоскости и радовался быстрому проникновению тепла в кирпичную кладку. Иногда останавливался между домами и любовался работой дымоходов. Что говорить, дым из трубы над крышей дома — это всегда как-то по-особому приятно, тихая, утробная радость переполняет душу, хочется по-кошачьи ластиться к кому-то, и мурлыкать, и оценить бытовой уют по действительному достоинству его.

Когда на улице уже совсем стемнело, мы все трое сидели на опрокинутых табуретках около раскрытой печи и в красно-синих углях пекли картошку. Лампу не зажигали, и романтический полумрак жилища закосноязычил наши речи до примитивнейших реплик и восклицаний, особенно когда очередная вытащенная из печи картошка перебрасывалась по ладоням — то-то визгу было и воплей нечленораздельных, — кому удавалось удержать ее, раскаленную, тот и съедал на зависть остальным, и если б не благородная доброта отрока, мне б ничего не досталось, не умел, как они, перебрасывать из ладошки в ладошку, непременно ронял... Все перемазались, зажгли лампу, по очереди сунулись физиономиями в зеркало и хохотали до упаду — чумазые, усатые, довольные, сытые. Потом умывались, по очере-

ди поливая с крыльца на руки уже почти в полной темноте, бежали в избу, смотрелись в зеркало, в общем, просуетились еще с полчаса, а когда стало ясно, что мероприятие закончено и что мне надо уходить куда-то к себе, тоска петлей обвилась вокруг горла. Павлик прощально завис на моей шее, и я обнял его крепко, как своего, сердцем чувствовал биение его сердчишка, и этот взаимный перестук взволновал меня необъяснимо... А рядом стояла светловолосая нимфа и улыбалась мне... И от нее я тоже должен был уйти в темноту, туда, где никого, кроме меня, не будет... Что-то такое прочитала она в моих глазах, засуетилась, протянула руки, чтоб забрать Павлика, и не без труда оторвала его от меня. Им же от меня и загородилась в смятении и тревоге. Это теперь уже я прочитал в ее глазах. Развернулся и выбежал вон.

Темнота черной тряпкой хлестнула по глазам и обмоталась вокруг головы. Ни малейшего просвета или свечения. Спичек в кармане тоже не оказалось. Выставив вперед руки, ногами выщупывая тропу, пробирался я к своему дому. Черемушник преодолел в полусогнутом состоянии, опасаясь нарваться лицом на ветку, и поклялся завтра же с топором пройтись по этому месту и полностью обезопасить его для подобных ситуаций.

Со стороны моего дома слышались какие-то странные, ни на что не похожие звуки. Я замер, вслушиваясь. Потребовалось время, чтобы понять, что звуки — человеческие, и что в них не таится опасность. К крыльцу, однако, почти что подкрадывался, и когда, судя по звукам опять же, был уже шагах в пяти, понял, что на моем крыльце кто-то тщетно пытается справиться с рыданиями, что там попросту кто-то плачет. Тогда сознательно шумно сделал несколько шагов и спросил-потребовал:

— Кто здесь?!

Сначала был шорох, затем чиркнула спичка и осветила чье-то лицо. Чтобы опознать его, подошел вплотную и наклонился.

— Я это.

Ну да. Это был он. Вася. На его грязном лице от глаз к щекам и губам пролегали полосы от слез, а одна, последняя, еще висела на скуле и целое мгновение светилась потом, когда погасла спичка.

— Почему ты ее бросил? — спросил он зло.

— Я не бросил. Я ушел, потому что уже поздно... Ты о чем?

— Мне это невозможно видеть! Кругом жизнь, а она одна стоит мертвая, фарами в землю! Ты обманул меня!

— Про машину, что ли?
— Ты предатель! Тебя расстрелять мало!
— Заткнись! Машина — это металл.
— А ты кто?
— А я человек.
— Ты тоже — молекулы!
Я нащупал его плечо, сжал.
— Вася, ерунда это все. Мне нужно было идти дальше. Дорога кончилась. Не на себе же мне ее тащить... Кто-нибудь ее найдет обязательно! Начнется ягодный сезон, люди попрут, а в ней еще полбака бензина...
— Ты тупой! — стряхнул мою руку с плеча. — Я душу в нее вложил и тебе передал, а ты бросил! Душа умерла! Я же видел, я видел! Она больше никогда не будет живой! Сука ты... Через тебя все мертвые...
И он зарыдал, издавая такие нелепые звуки, какие и не предположить за человеческим горлом. Не подозревал я ранее в нем способности к подобным чувствам, потому не на шутку сконфузился.
— Давай-ка в дом! — попросил я. — Посидим...
— Пошел ты! — заорал он. — Пошел ты, гад!
И даже ступеньки крыльца сотряслись подо мной, когда он сорвался...
— Сука! Гад! — крикнул он теперь уже из темноты. Эхо вопля заглушило шаги, и показалось, что он не убежал, а улетел по воздуху.
Лампу зажигать не стал. Прокрался на кровать, рухнул и шептал одно и то же: «Мама, ты же знаешь, все ради тебя! Оно все стоит того, чтоб ради тебя... Ничего другого во мне нет, все пустотой оказалось, только ты... Я справлюсь. Верь! Ради тебя со всем справлюсь... Ради тебя...»

Утром ушел на покос. Как и предсказывал Антон, день начинался солнечно и прохладно. Для сушки сена самое то, как говорил Павлик. Тропа, что вела на деляну, через километр раздваивалась, и левая тропка еще через километр выползала на небольшое болотце, где между кочек, кустов и полугнилых берез накашивал Антон сено для коровы. Перед вчерашним дождем было собрано оно в две остроконечные копешки и перекрыто кусками рваного толя. Нужно было заново раскидать его по выкошенному пространству и по мере высыхания ворошить и переворачивать.

За час раскидал все. Еще у меня было задание набрать моховиков, что росли прямо на обочинах тропы. Ксения хотела к возвращению Антона приготовить грибной подлив. Пакет я закидал грибами еще до слияния двух тропок, но далее не прошел и сотни метров, как навстречу по тропе выметнулся наш пес Джек, а еще через минуту показалась Ксения с двустволкой за плечами. Увидев меня, заторопилась, и я поспешил ей навстречу. Оказалось, что пропала корова. Такое случалось и ранее, когда по причине прохлады и восточного сквозняка исчезали комары и пауты. Когда этой нечисти полно, корова обычно держалась открытых мест и практически всегда была на виду... Ксения торопливо объясняла мне все это, нервно поглядывая на часы. Ничто не могло быть причиной опоздания с метеосводкой.

— Иди к южным скалам, — советовала Ксения, — там сырые места, трава хорошая. Как до них дойдешь, начинай прочесывать с юга на север петлями... Сколько раз хотели с Антоном ботало достать, ну, колокольчик на шею... Некуда ей особенно деваться, а заблудиться может. Джек с тобой пойдет, если залает так, ну, радостно, что ли, догадаешься, значит, нашел. Сам только не заблудись. Южные скалы желтые, северные серые... Да по солнцу... Ружье на всякий случай...

Снова взглянула на часы.

— Побегу! Времени совсем ничего...

И побежала. Собака кинулась было за ней, но я свистнул, и Джек послушно вернулся к моим ногам.

Что ж, это была вполне мужская работа. А ружье за плечами — так славно! Рука на ремне, как при деле непустячном, и тяжесть ружья квалифицирует шаг, придает ему особый смысл, а я безусловно найду этот бродячий комбинат по переработке дикорастущих, эка невидаль!

С тропы шагнул как в неизвестное. За все время своего пребывания здесь — впервые. До того все по тропкам топал. Два десятка шагов — и тайга. Вокруг все одно и то же, сплошная мешанина из сосен, листвяков, осин. Слева завал, справа завал — очень некультурный лес, но это и есть тайга, а не лес. Пни, муравейники, камни, между камнями провалы-ловушки, как две осины, так паутиновая сеть, не всегда увидишь ее, и тут же облепит лицо, ослепит, зло и брезгливо высвобождаешься и ногой проваливаешься в мховую ловушку — в общем, работа!

Через каждую сотню метров останавливался и высматривал вершины южных скал, они почти отовсюду просматривались и

были действительно желтыми. Скорее всего, по прихоти освещения... Закрученный хвост лайки мелькал меж травы и камней, и получалось, что это собака спешит к южным скалам, а я лишь следую за ней... Выводок рябчиков взметнулся справа, сердчишко мое занырнуло в желудок, а рука скинула ружье с плеча. Парочка рябчиков уселись на сухих ветках листвяка в пределах видимости, и был велик соблазн опробовать двустволку. Но всего два патрона, что в стволах... Не для пернатых было передано мне оружие, но «на всякий случай», и здесь случай был явно не тот.

Уверенность моего шага рождала странные мысли, которые словно наплывали со стороны или выныривали из подсознания, так что я толком не успевал их переосмыслить, упорядочить и оценить... Человек с ружьем... Мужчина с ружьем... С оружием! Извечное призвание... Оружие — продолжение мужчины... Мужчина — истребитель себе подобных... Или не подобных... Регулятор численности... Ассенизатор человечества... А в войнах... лучшие ли погибают? Может, наиболее агрессивные? Разумного оправдания войнам нет и никогда не было, потому что задним числом всегда виден вариант компромисса, но только задним... Кровопускание когда-то было чуть ли не единственным медицинским средством... Выпускалась дурная кровь, что препятствовала обновлению, застаивалась в артериях... И вон ее! Разумная потеря крови — прием оздоровления... Был кто-то первый, кто додумался до такого... И он безусловно был циник, ведь кровь — ценность... Но взял нечто острое, воткнул в живую ткань, просадил вену и не ужаснулся красной струе, а сказал: «Выпускаю кровь, и это хорошо!» И если человечество — организм, подверженный застою, то войны... Кажется, что-то подобное я уже читал или слышал. Или всегда знал, и лишь потребовалось ощутить прикосновение оружия к плечу, к плоти, чтобы дух оружия проник в нервы и оживил мертвым грузом таившийся в подсознании инстинкт мужчины, призванного всегда быть готовым к величайшему медицинскому действу — коррекции числа...

Через час примерно я достиг южных скал. Они впечатляли. Они походили на пачку средневековых замков, стащенных в одно место и заброшенных, одичавших, притворившихся скалами. Они перекрывали солнце, и в тени их тайга обретала жуть, способную заставить ежиться, оглядываться, вздрагивать

от всякого звука и шороха и даже слегка вспотеть ладони на плоскости ружейного ремня. От скал я сделал полсотни шагов к западу, то есть к Озеру и потопал в обратном направлении к тропе. Такими зигзагами намеревался прочесать все пространство между южными скалами и берегом, но уже на третьем заходе почувствовал, что задачка эта не для моих нетренированных ног, и лишь из упрямства и самолюбия, насилуя всю свою физическую природу, шагал и шагал, через три часа уже не веря ни в какую корову, будто бы где-то в этих древесно-каменных кружевах поджидающую меня. Четырехногая крючкохвостая тварь с англосаксонским именем нагло демонстрировала мне свое превосходство, обегая меня, бредущего, кругами, унижающе сочувствуя, поджидала, пока я переползу через завал камней или деревьев, и, убедившись, что я еще на ходу, уносилась вперед, или в сторону, или просто мгновенно исчезала, как проваливалась. По мере того, как выдыхался, свирепели мысли. Корова в моем сознании превращалась в этакое тупое уродище, общение с которым унижает человека, превращает его в раба, а человек не должен быть рабом, но только господином, и от всего порабощающего обязан освобождаться... Поклялся, что не прикоснусь более к молоку... Но как про молоко вспомнил, пить захотелось нестерпимо, казалось, бидон выпил бы и не поперхнулся...

Что темнеет, понял не сразу. Но как только понял, сказал себе, что видал корову в гробу, тотчас же воспрял духом и с новыми силами рванул напрямую к Озеру, очень надеясь, что подлая корова нашла проход в скалах, а за скалами ее сожрал медведь. Суровый кинокадр выстраивался перед глазами: тупое жвачное бредет по тайге в поисках, где бы еще пожрать и пожевать, поперек ее тупости — хозяин тайги, вздыбившийся на задние лапы, взмах лапы, и в мертвых коровьих глазах вечная тоска о недожеванном! Вот так! Не будешь по тайге шляться, грязнохвостая!

В сумерках потерялся ориентир — южные скалы. Шел на прохладу. Взбирался на камень и лицом угадывал направление сквозняка. Дело это было ненадежное, и уже почти полностью стемнело, когда наконец вышел в долину. Ноги — что протезы. Собачка, еще недавно шустрая, теперь тоже вяло плелась рядом. Но вдруг сорвалась и с лаем метнулась вперед. Я уже видел огни дома и кроме них не видел ничего и видеть не хотел. А через десяток шагов наткнулся на корову. Сдержанно, но со

страстью высказал ей все, что о ней думаю, ткнул в зад стволом ружья и такими периодическими тычками гнал подлую до самого крыльца, на котором тут же, жужжа механическим фонариком, появилась Ксения. Луч фонаря, лишь скользнув по коровьей спине, вонзился в мои глаза, я заслонился ладонью, и в то же мгновение Ксения повисла у меня на шее. Это было такое крепкое объятие, что я зашатался.

— Прости, пожалуйста! Прости, ради Бога! — шептала она мне в ухо, сразу же и промокшее от ее слез. — Надо же быть такой дурой, послать тебя... вся извелась... Прости, пожалуйста! Господи, уже все передумала! Да пропади она пропадом, эта корова!

Грохотнула сенная дверь, вскрик раздался, и теперь на мне висел еще и Павлик. Он не мог говорить! Он рыдал. Я шатался под тяжестью их необъяснимой и незаслуженной любви ко мне. Я обнимал и целовал их по очереди и без... Павлик оторвался от меня, кинулся к корове, закричал:

— А ну, пошла в стайку, гадина! Пошла, говорю!

И лишь когда он снова вцепился в мой локоть, я осознал, что целую Ксению... в губы... целую, как... О Боже! И она! Попытался отстраниться и почувствовал сопротивление. Ее грудь...

Павлик дергал меня за локоть.

— Дядя Адамчик, мама тут по поляне бегала, из «тозовки» стреляла, только «тозовка» тихо стреляет, в лесу не услышишь. А корову ты где нашел, гадину?..

Пока Ксения суетилась с ужином, я сидел за столом, упираясь взглядом в солонку, и пытался осознать, что именно произошло минутами раньше. Смущенной Ксения не казалась. На нее взглянуть, так ничего и не произошло. Вся сияет, светится радостью! Отчего, спрашивается? Оттого, что за столом в ее доме вместо мужа сидит чужой, посторонний человек, о котором она ничего не знает, кроме дурацкого выдуманного имени?

Когда ел, не давился только по причине голода. Ксения сидела напротив за столом и, подперев подбородок руками, неотрывно смотрела на меня. Так иногда смотрела на меня мама, но мама при этом могла думать о своем, а если обо мне, то, помню, всегда уверен был в таких случаях, что прикидывает она мою судьбу или отца вспоминает, на которого я был похож более, чем на нее. Но о чем может думать Ксения? Взгляд ее чист, беспорочен, но я откликнуться на него не могу, не смею, в моем

опыте нет такой заготовки. Если подниму глаза и уставлюсь, произойдет что-то чудовищное... «Ну и пусть», — говорю себе и поднимаю глаза и впериваюсь... А в ответ только чудесная улыбка. И это улыбка любящей жены. Не любовницы и не влюбленной женщины — жены. Откуда-то мне известно такое. Дикость ситуации парализует, мне бы тоже просто улыбнуться в ответ, сказать что-нибудь бесхитростное и доброе, но смотрю, и смотрю, и жду, когда она сама поймет неправильность всего и словом или жестом отшвырнет меня на должную дистанцию, чтоб отлететь мне, больно удариться каким-нибудь уязвимым местом, застонать и... образумиться...

Но поскольку ничего такого не случилось, я бросил ложку и кусок хлеба, буркнул: «Спасибо!» — и с шумом выбежал на крыльцо. Она за мной. У крыльца мы опять друг против друга. Свет лампы из кухонного окна освещал ее лицо... Кажется, я, наконец, застонал.

— Не вкусно? — спросила Ксения с обидой в голосе, я же воспринял это как издевку, не сознательную, конечно, потому и не схватил ее за плечи и не тряхнул, да и не смел... Спросил глухо и жестко:

— Что происходит?

— Не знаю, — ответила она, не опуская глаз.

— Я пойду...

— Подожди, я возьму фонарик...

Ее не было минут пять, хотя, помню, фонарик лежал на кухонном столе. Появившись на крыльце, с минуту стояла, медленно спустилась.

— Я провожу тебя, мне скоро на площадку идти, фонарь понадобится...

Механическая светилка жужжала и спасала от разговора. Шли, не касаясь друг друга. У моего крыльца она не остановилась, первой вошла, зажгла лампу, села на стул около печки. Я остался в дверях и смотрел на нее.

— Как ты пришел, с того дня и не знаю, что происходит...

Это прозвучало так серьезно, так по-взрослому, что я будто впервые увидел перед собой зрелую женщину, а не девочку-жену, какой она виделась мне все время. Ситуация приобретала знакомые очертания, сама собой упрощалась, и я почувствовал себя много уверенней.

— Мне уйти?

— Ты слышал, как кричит кулик? Так и закричу, если уйдешь.

— А вместе?

— Тогда точно умру... Про сына не говорю... Я же Антона до слез люблю, так люблю, что по ночам плачу, когда спит... Плакала...

— Ты понимаешь, что он во всем лучше меня?

Встала, подошла. Волосы ее пахли травами...

— Этого я, кажется, не понимаю.

Я сказал себе: «Все!» Я три раза так сказал себе и последний раз чуть ли не вслух. Все! То есть, сколько же можно! Я что, «каменный гость?!» Или монах?! Или враг себе?! Передо мной женщина «с единственным лицом во вселенной», и, может, вся моя жизнь ничего не стоит без этого лица, и я сам себе не нужен без него, и мне больше ничего не нужно, пусть завтра подохну, пусть завтра вообще не наступит, а жизнь моя — вот она, это мгновение, когда ее лицо рядом, а вся она — лишь часть меня самого, требующая немедленного воссоединения! Мне больно, мне физически больно от невоссоединенности! Все!

Я схватил ее, как свое по праву, и не ошибся! Она была моя, и она ВСЯ сказала мне об этом! Был бред и неистовство. Я обцеловывал ее лицо, как голодный заглатывает пищу! Я чувствовал себя великим животным, могучим чудовищем, обретшим крылья для воспарения, но не взлетал, а проваливался в прекрасную бездну и трепетал от восторга падения! Я становился тем, чем был задуман Богом, — великим, мировым Инстинктом, единственной правдой Мира! Да чего там! Какой Мир?! Мир — это я, и ничего больше!..

Вырвалась она внезапно. Как потерявший опору, я стоял и качался, задыхаясь. Кажется, пытался протянуть руки, и с руками действительно что-то происходило, они шевелились сами по себе, и губы дрожали, но главное — я не мог рассмотреть ее лица, она собой загораживала лампу, и вообще перед глазами горячий колыхающийся туман.

— Что? — с трудом прохрипел я наконец. Она всхлипнула, такая маленькая, хрупкая, но уже отдельная от меня, уже не моя...

— На площадку... скоро сеанс... мне надо...

Я ничего не понял из того, что она сказала. Каждое ею произнесенное слово было из какого-то варварского, дикого диалекта, который я тоже, кажется, знал когда-то, но не мог заставить себя вспомнить... Разве на этом языке мы общались с ней

мгновение назад? Разве не свершилось наше взаимное преображение?! Я не хочу назад... Вот! Она тоже сопротивляется! Странный звук издало ее горло, если б звук продлился, был бы похож на рыдание, но он раздался и замер, словно она им захлебнулась... Я должен был сделать шаг или два, но лишь попытался, меня откачнуло назад, спиной на дверь, откройся она, и я бы упал... Вдруг она застонала. Громко, громко. Оглушила меня. Я снова прохрипел:

— Что?

— Пусти, пожалуйста! — прорыдала она.

— На площадку? — спросил я и удивился нелепости вопроса. — Ты вернешься?

Она как-то присела, стала совсем маленькой, совсем девочкой, голосом больно раненной птицы крикнула: «Нет!» и кинулась на меня, оттолкнула, распахнула дверь и исчезла.

Я сполз на пол, откинулся головой на косяк и приготовился умереть, ведь ничего другого не оставалось, я просто должен был погаснуть, как язычок пламени в ламповом стекле, что заметался, заколебался, закоптил, на глазах утрачивая яркость.

Я смотрел на мечущийся язычок пламени, и казалось, что сам иду на угасание с опережением, я хотел именно так, чтоб свет еще был, когда уйду, я не хотел уходить в темноте, с кем-то или с чем-то мне нужно было попрощаться, прошептать банальное, но неподменное: прости и прощай! Распахнутая Ксенией дверь захлопнулась сама, язычок пламени отчаянно метнулся, выдал струю копоти, присел к фитилю и затем уверенно превратился в светящееся сердечко. Замер. Все принуждалось к продолжению...

«Ну, и что?» — спросил я себя спокойно и без особой строгости. Сорвался? Дал слабину? Только головой покачать, чего чуть-чуть не натворил! Но не натворил же! А всего лишь именно дал слабину. И это не смертельно, слава Богу! Утром осмею себя изысканно, как умею, заштукатурим трещину, женщина она чуткая, поймет, пожалеет и простит, тем более что все случилось не без ее подачи, этот последний пунктик выделим курсивом...

Пить захотелось нестерпимо. Облизнул губы. Странный, знакомый привкус с неприятными ассоциациями. Коснулся ладонью, посмотрел, ахнул. Кровь! Только этого не хватало! Кусал я ее, что ли! Будем надеяться, что не шибко. Подумать только, как меня скрутило! Ничего удивительного — женщина-

то какая... Следовало заранее знать, что, коли попал в заповедник, все будет на порядок выше, потому никакой воли чувствам и воображению, если хочешь вписаться в монастырь со строгим уставом. Пить!

Поднялся, словно только что присел по безделию. Чуть не полный ковш зачерпнул. Вода вчерашняя, теплая, но пил жадно, до захвата дыхания. С последним глотком снова почувствовал привкус крови. Зашвырнул ковш в ведро. Дневная усталость, как будто до этого момента лишь зависавшая над моей спиной, вдруг вошла в меня вся, растеклась по телу до кончиков пальцев, придавила к полу, согнула спину, искривила шею, прогнула ноги в коленках. Доплелся до кровати, не раздеваясь, не разуваясь, медленно завалился, раскинув руки. Сердце покачалось на качелях и ушло из ощущений. Надо было бы загасить лампу, учитывая дефицит керосина, но где взять силы... А перед глазами уже какие-то тени или образы, тени и образы разговаривают, и я напрягаюсь, чтобы рассмотреть и расслышать, я вовлекаюсь в сюжет, я уже там, в другой жизни, воссоздаваемой мозгом, отпущенным на вольные хлеба импровизации...

Что-то исключительно интересное происходило со мной. Я совершал великолепные поступки, блистал способностями, вознаграждался благодарностями и захлебывался любовью ко мне всех соучастников моего сна. Я ходил по воде и летал по воздуху, проходил сквозь стены и скалы, разговаривал с рыбами и собаками. Я повелевал и благотворил. Причем я знал, что это сон, и не хотел просыпаться.

Но кто-то вошел в мой дом, еще сквозь сон я услышал шаги. Сонным сознанием я проследил их звук от двери до кровати. Кровать качнулась. Кто-то сел с краю у ног. Чья-то рука коснулась моего плеча. Я застонал, перевернулся на спину и немыслимым напряжением разомкнул веки.

— Ксеня?

— Ты не узнаешь меня?

— О Господи! Юлька! Ну, чего тебе здесь надо? Я хочу спать! Я полудохлая собака...

— Прости, я не хотела заходить, но ты так громко разговаривал, я под окном слышала... Давай, я сниму сапоги! Смотри, ты же всю простыню изгадил!

В доме полусумрак, я не мог рассмотреть ее лица. В лампе кончалась заправка, пламя было в четверть пятака. Настырная девчонка вместе с сапогами чуть не повыдергивала мне ноги.

Она и раздеть меня пожелала, но это я пресек решительно. И вообще был зол.

— Не сердись, — сказала она требовательно, — я, может быть, последний раз тебя вижу.

— Оставь, мир тесен...

— Это тебе он тесен, все бежишь куда-то. А мне как раз.

— Ладно. Пришла, разбудила, тогда давай рассказывай!

— Что?

— Почему любишь меня не по возрасту и до неприличия.

— А почему ты меня не любишь? — спросила тихо, но вызывающе. Пальцем я ткнул в ее остренький носик и внятно ответил:

— Потому, что ты еще эмбрион, заготовка, тебя еще не за что любить.

— Врешь, — прошептала она грустно. — Врал бы хоть, чтоб не обидно было. Меня любят, есть кое-кто не хуже тебя.

— Так в чем дело?

— Будто не знаешь...

— Тогда расскажи, почему ты любишь именно меня.

Помолчала, потом осторожно, боязливо даже положила свою руку на мою.

— Когда Петр первый раз привел тебя к нам, помнишь, ты стоял посередине комнаты и был тогда такой, какой есть. Я все про тебя поняла. Что ты хороший, что ты добрый и нежный, что совсем не выпендрон, как после представлялся, что если кого полюбишь по-настоящему, тому светло жить... У тебя руки хорошие и глаза, а это самое главное... Нет, не это главное... Даже стыдно, но все равно скажу. Мне рожать захотелось... Девчонки в классе... они даже думать об этом боятся. А я вот так... Это как тебя увидела...

Я приподнялся на кровати, вглядываясь в ее лицо. Лампа вот-вот должна была издохнуть, и стекло закоптилось, но зато глаза присмотрелись. Лицо девчонки было печально, губы подрагивали, в любую минуту могла заплакать. Я и сам расчувствовался, но чувства эти были братские и не более того.

— У вас в семье южные крови, южные женщины созревают раньше...

Она резко отдернула свою руку от моей.

— Нет, подожди, я хотел сказать, что ты, может быть, права, и я не очень плохой человек, мне сейчас важно услышать такое, даже не представляешь, как важно. И если у тебя пока никого другого нет, ты меня люби, пожалуйста, и думай обо мне хоро-

шо. Знаешь, это нужно, оказывается, хоть в чьих-то глазах быть хорошим. Я только сейчас понял, как это нужно. Это как аванс, как точка опоры. Может быть, ты для меня великое дело делаешь. И поверь на слово, в моей жизни теперь такое закрутилось, что, дай Бог, выкрутиться... Чего тебе еще сказать... Не знаю... Но ты, может, единственный человек, перед кем я не виноват ни в чем...

— Ты давай, спи, — сказала она тихо, — а я еще посижу немного, можно? Ложись! Отвернись и спи!

Я так и поступил. Думал, все равно не засну, пока не уйдет, но заснул и, как уходила, не слышал.

Была вторая половина серого, пасмурного дня, когда наконец проснулся. В доме сумрак, в душе пакость, в желудке голод. Глянул на стол, где обычно поджидал меня по утрам завтрак. Стол пуст, и сразу не захотелось жить. Глянул на подушку, ахнул — вся кровью перемазана. Вскочил, сунулся в зеркало. Боже! Да что такое было со мной вчера? Озверел я, что ли! А Ксения? Сегодня же Антон приезжает! Догадается ли придумать что-нибудь?

Сдернул наволочку с подушки, сунул под матрац. Мылся, как отскребался. Есть хотелось, хоть руку отгрызай. Но идти туда... Или ждать, пока сама не придет? Или мальчишка... Ну и влип! Исчезнуть бы сейчас отсюда! И это невозможно. Ничего невозможно! Доигрался! Если Ксения до сих пор не пришла, значит, дело совсем плохо, и не остается ничего другого, как уходить.

Но только представил себе путь, однажды проделанный, мурашки по спине побежали. Я не смогу его повторить! Это я знал.

Я сидел на крыльце, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, стонал и охал, и тоска охватывала небывалая. Даже там, в маневровом тупике под пулями конкурентов или ментов я не испытывал такого отчаяния, как сейчас на крыльце дома, приютившего меня в поиске Долины Счастья. Опохабил! Осквернил! Испакостил! Как я смел так расслабиться? Ведь все, казалось, под контролем. И цель — чистая жизнь — во имя чего?! Ради мамы... Боже! Об этом лучше вообще не думать! Надо думать, как все исправить. Шибко уж худого ничего не случилось. Я раскаиваюсь, и это важно. Я противен себе, и меня можно простить...

В гнетущей тишине сумеречного дня со стороны Озера до-

неслись звуки, от которых затрепетал. Это был мотор лодки Антона. Все! Варианты упреждения отпали. Теперь только сидеть и ждать.

Тишина вокруг становилась зловещей, зло вещающей. Птицы как пропали, ни единого свиста. Кузнечики, их же на полянке перед домом уйма обычно, — попередохли, что ли... Ни комара, ни паута, ни мухи паршивой... И тишь... Может быть, мир умер или замер, или время остановилось, чтоб вусмерть замучить меня ожиданием... Полоса черемушника, перекрывающая южную часть бухты, казалась отсюда, с крыльца, границей, откуда вот-вот грянет на меня кара и суд человеческий, а до того приговорен я к трусливому высматриванию границы и безропотному ожиданию возмездия... Обреченность моего положения вдруг возмутила и оскорбила меня. В конце концов, не подонок же я, в самом деле! Если я и совершил нечто дурное, то это всего лишь проступок, но не преступление, и потому недостойно прятаться, ведь тем только усугубляю...

Встал решительно, изобразил смелость взора и уверенно зашагал навстречу судьбе. У самого черемушника, правда, замешкался, здесь я еще был невидим, но стоит пересечь, тотчас же предстану... И обратного пути уже не будет...

Пересек. Около дома не было никого. Даже собаки. По времени Антон уже должен быть в доме. Что там? Еще не знал, осмелюсь ли зайти или буду ждать у крыльца. Когда поравнялся с дровяником, с грохотом распахнулась входная дверь дома и на крыльце появился Антон. За то мгновение, пока он, казалось, в одном броске пересекал расстояние между нами, я даже не успел как следует испугаться. Перекошенное яростью лицо его воздвиглось надо мной, присевшим, значит, все-таки от страха, — нависло, оглушило рычанием...

— Ты! Ты!

Руки-клещи его вцепились-вонзились в отвороты куртки, она затрещала где-то в плечах, плечи мои податливо хрустнули, а сам я вознесся на уровень искаженного злобой лица Антона.

— Ты-ы!

— Ничего не было... — успел я прохрипеть, не сопротивляясь и не желая сопротивляться, но уже понял, что лечу... Головой ударился о поленницу, в глазах потемнело. Антон ворвался в дровяник, и я снова был вздернут его ручищами с побелевшими косточками пальцев. В ярости он, видимо, забыл, что может бить, он просто тряс меня, тряс так, что голова моя беспомощно моталась, через раз контактируя с поленницей. Он вытрясал

из меня душу, и я сам готов был помочь ему в этом. Боли не чувствовал, лишь боялся за шейные позвонки и ждал почти с надеждой, когда он начнет бить меня по-настоящему. Но он тряс, и хрипел, и задыхался хрипом. Голова моя не могла выстоять против поленьев, и чувствовал, как по шее под рубашку потекла кровь. Затошнило, я испугался, что облююсь ему на грудь, такого позора мне не пережить, потому крикнул ему в лицо, уже расплывающееся перед глазами:

— Да бей же ты, что ли!

И тут в дровяник влетела Ксения. Половиной оставшегося зрения я увидел ее и вот тут-то чуть не потерял сознание. Вздувшиеся, будто разбитые губы, шея... милая шейка ее испоганена, и на груди в вырезе кофты...

— Не надо! — закричала она моляще. — Прошу тебя, Антон! Он не виноват! Прошу тебя! Ну, пожалуйста!

И откуда-то сбоку, откуда, уже не видел, — истошный визг:

— Папа! Не бей дядю Адама! Не надо! Дядю Адама! Не бей! Я не буду тебя любить! Не бей!

Антон замер, и я замер, провис в его руках. Пытался прошептать что-то Ксении, но не мог поймать ее взглядом... Сплошная желтая паутина перед глазами. Он швырнул меня на поленницу. На мгновение я все-таки потерял сознание. Когда очнулся, был уже один. Ни боли, ни сил. Тошнота одна. Пополз за поленницу, туда, где мастерская Антона. Валялся на полу, ждал, когда снова почувствую тело. Сколько прошло времени, не знаю. Сел. Напротив, на уровне глаз — Ксения на корточках что-то азартно рассматривала под ногами. Наверное, меня. Я прислонился к ней, деревянной, и заплакал. Не подозревал даже, сколько слез накопилось в моих глазах или где там еще. Выплакивал все, что сэкономил за жизнь. Плакать все же старался тихо, а хотелось реветь на всю вселенную. Сзади услышал шорох. Замер. Кто-то вошел в сарай и стоял у меня за спиной. Медленно поворачивался, всем телом, стараясь не шевелить шеей. Это был не Антон.

— Кто ты? — спросил.

Человек одним движением развалил поленницу, перекрывавшую свет. Свет хлестнул мне по глазам, и они полностью прозрели. Передо мной стоял отец Викторий. Все предусмотренные природой ощущения возвращались ко мне, по мере того как всматривался в его лицо, светящееся торжеством.

— Так! — сказал я, сдерживая дрожь голоса и тела. — Святой отец пришел получить по счету или уже получил?

Он осмотрелся, нашел чурку, подтащил ее к стене сарая и торжественно уселся в пяти шагах напротив меня.

— Ну, давай, начинай вещать! — Ненависть в голосе я уже не мог скрыть. — Только будь добр, обдумывай слова, потому что меня только что побили, и я не прочь на ком-нибудь отыграться.

Не то презрение, не то снисходительность на его лице. Понять можно! Такого громилу разве только танком повредить можно. Но я могу стать и танком...

— Вспомни, — начал он низким, чарующим голосом, — я показывал тебе звезду в небе. Помнишь, конечно. Так вот, ее больше там нет!

Он вздернул бороду гордо и вызывающе, словно я даже права не имел усомниться в том, что это его работа.

— И что, — спросил я, — мне радоваться или огорчаться?

— Тебе радоваться, — многозначительно ответил он. — Я обязан был прийти и объяснить смысл твоего подвига.

Я осторожно пощупал затылок, посмотрел на пальцы в черной крови, поморщился.

— Что ж, учитывая возможное, за свой подвиг я еще очень даже легко отделался.

— Не знаю, — пожал он плечами, — дальнейшая твоя судьба мне не нужна и не интересна. Ты свершил, что было тебе предначертано, и дальше сам по себе...

— Покончим с преамбулой, — попросил я, — валяй про мой подвиг, я согласен слушать тебя, потому что никто до конца не знает, на какую пакость он способен...

— Какой сейчас год, знаешь. Но это ошибка. Ее совершили астрономы и математики. В действительности, — он вознес палец, — сегодня началось третье тысячелетие. Его могло не быть у человечества, его не должно было быть, но ты! Знай же, ты подарил человечеству продолжение!

Мне было больно смеяться, но разве удержишься тут!

— Браво, святой отец! Какие времена пришли! Всего лишь шишка на затылке, и никакого тебе распятия. Во дает прогресс!

— Замолчи ты, паяц! — гаркнул он так, что из-под ног его пыль взметнулась в воздух. — Конец Света, Второе Пришествие — вот что ожидало человечество вчера! ОН, тот, кому вы поклоняетесь на словах, но не верите на деле, ОН уже шел в ваш мир, чтобы свершить суд, Страшный Суд. ОН уже шел, потому что пришло ЕГО число. Ты же, как и все вы, в сущности, нехристь! Вы не ЕГО, а наши, в нас тоже на деле не веря-

щие, но нам плевать, мы в вашей любви не нуждаемся, мы бескорыстны...

Он откинулся спиной на стенку сарая, задрал бороду, издал странный звук, близкий к медвежьему рыку. Я вздрогнул, подумал, а вдруг он эпилептик, сейчас грохнется, задергается, изойдет пеной, а я и сделать ничего не сумею, разве справишься с таким шкафом... Но что-то еще, другое тревогой заползало в душу...

— ЕГО число, оно сошлось, вопреки нам... День в день сошлось. Ты ведь и числа ЕГО не знаешь? Не знаешь! Сто сорок четыре! Всего-то — сто сорок четыре! Ради них ОН должен был прийти, потому что это число — последнее неделимое ядро ЕГО истины. Оно непобедимо никаким намерением. Мы бессильны против него.

Вскочил вдруг, ко мне кинулся, упал на колени. Ко мне, отшатнувшемуся, лицом к лицу.

— ОН, так называемый Отец ваш любящий — и только ради ста сорока четырех! А остальные! Что им уготовано, миллионам! Знаешь? «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них»... Не убивать, но мучить будут пять месяцев, и мучение подобно будет мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Молнии, громы и голоса сотворят такое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Это не я, это не мы, это ОН грозил и обещал, а вы не верили. Вот ты, ты... — палец его уперся мне в лоб, — ты хотел бы такой участи для близких своих и для неблизких и для чужих? Говори!

— А может, заслужили! — зло и упрямо ответил я, не отводя глаз.

— Что?! — взвыл он. — Вот она там, за Озером, страна твоя, одуревшая от свободы, ничего доброго еще не познавшая, кроме свободы ненависти, там сейчас толпы ходят на толпы и в толпах убивают и мордуют, а другие, корыстью изъеденные, тащат и грабят, в чем они виноваты, когда такие, какие есть? Ты не хочешь дать им время перебеситься? Пусть корчатся от яда скорпионова? И никакого шанса? Это ОН так решал и хотел! А ты был избран, чтоб помешать ЕМУ и разрушить число, и ты сделал это!

— Да что я сделал, черт тебя побери, космач проклятый!

Отпрянул. Поднялся с колен. Пыль отряхнул. Вернулся к чурке, сел.

— Значит, еще не понял? Ты можешь быть горд. Очень горд. Все те, в столицах мировых, важные и озабоченные, они дума-

ют и полагают, что вершат... А история свершилась здесь, на диком берегу жалкого озерка. Все они, громогласные и могущественные, — только пыль у твоих ног. Так не понял, значит? А все просто. Те, к кому ты спешил по камням и воде, они были в ЕГО числе. И ты разрушил число. ОН больше никогда не придет, и человечество ЕМУ более не подсудно! Свобода! Ты теперь — самый великий революционер в истории!

Сарай огласился мерзким хохотом.

— Понимаешь, Великомудрый перемудрил! Минимальное число людей, живущих по ЕГО законам, — ОН сам изобрел это число, как знак и время ЕГО пришествия. В Сыне ОН приравнял себя к этому числу, и сам стал числом, как когда-то Иисусом из Назарета. И стал уязвим. Ты вроде и сделал-то всего — бабенку одну совратил по простоте душевной, но распалось ЧИСЛО, и больше нет Сына, нет посредника, теперь ОН сам по себе, а люди сами по себе, то есть воистину свободны! И все — благодаря тебе. Возгордись же!

И снова хохот торжествующий.

Одной половиной сознания я не верил и не воспринимал, и вообще будто только присутствовал третьим при беседе двух посторонних. Но другая половина моего сознания сотрясалась ужасом в каждом атоме своем...

— Так, — с дрожью в голосе резюмировал я, — меня послали совершить пакость и пакостью спасти человечество от ЕГО справедливости. Я правильно изложил?

Отец Викторий гадко ухмыльнулся, подмигнул.

— Вот и неправильно. Тебя не посылали. Сам пошел. С добрым намерением. Только так можно было справиться с числом. Я бы не смог тебя заменить. Диалектика!

— Диалектика... — повторил я машинально. — И верно, все просто. Не нужно убивать Авеля, предавать пророка, продавать душу, достаточно быть самим собой на уровне инстинкта и, глядишь, спасешь человечество... от Бога. Кстати, о числе. Читывал кое-что. У тебя тоже есть число?

— У нас тоже есть число! — ответил он глухо, но торжественно. — Оно совершенно и неповредимо. Пред НИМ оно не рушится, а лишь отступает, подпираемое человеком. Оно прекрасно, наше число, и гармонично, оно постижимо и непостижимо одновременно, и всяк пожелавший найдет себя в нем без насилия над своей природой. Не то, что у НЕГО!

Вдруг боль в сердце, острая, как штыком насквозь. Схватился руками за грудь, опрокинулся, скорчился.

— Что с тобой? — холодно спросил отец Викторий.

А я знал? Я вообще не знал раньше, где у меня сердце. Мама когда-то сказала... Мама! Ма... ма! С трудом приподнялся, сел. Собрался с духом.

— А мама? Что это было? Тоже ты?

— Ах, оставь! — И он выдал жест, исполненный такого небрежения, что в глазах у меня потемнело от ярости. Он не заметил, не догадался о моем состоянии и продолжал: — Твоя мать — это всего лишь какая-то женщина, тебя родившая. Твоя любовь к ней эгоистична и неглубока. Ты любишь ее не как личность, а как сосуд, именно тебя взрастивший, в сущности, колыбель свою наделяешь чувствами, достойными лучшего приложения. С ней ОН разберется по ЕГО справедливости. Предоставь...

— Заткнись! Ты!

Он вздрогнул, насторожился, вперился в меня испытующим взглядом. Боль от сердца переползла в голову, я сжал ладонями виски, боль поддалась и перетекла в пальцы, пальцы сжались, застыли, затвердели в судороге кулаков. Я отдышался и как мог вкрадчивей спросил:

— Ладно. Сменим тему. А ты сам... Ты кто? Дух или как там, не знаю, какие у вас ипостаси?

Не так уж и светло было в сарае, но даже на расстоянии пяти шагов я увидел, как он побледнел. Мгновенно. Лицо вытянулось. Губы сжались. И он проявил очевидное усилие, отвечая мне.

— Я есть плоть и кровь. Ты это хотел узнать? Я таков же, как ты и та, что случайно родила тебя...

— А если я сейчас встану, подойду и дам тебе по морде, с мордой будет как обычно? Как у всех, кто получает по морде?

— Если есть намерение, свершай.

Но он трусил, я же видел, он трусил, такой громила и бледный, глаза-пятаки, пальцы на коленях когтями... Но и красив! Как же он, сволочь, красив! Стоп! Да он же нейтрализует меня своим видом... Ну, нет! Я вскочил пружиной... Упал мешком. Ноги не держали, подкосились, не успев выпрямиться. У него же лишь усы дрогнули едва, и мне привиделась уже знакомая снисходительная усмешка.

— Ясно, — простонал я в отчаянии, — Викторий — значит победитель. А я дерьмо, червяк, насадка использованная! Так?

— Как подумаешь, так может и быть.

Но что-то не было в его голосе торжества. Наоборот, скорее, подрагивал басишко, и сидел все так же напрягшимся истука-

ном. Достану! Я перевернулся через спину, рукой попытался вытащить полено из полуразрушенной поленницы. Не справился. Судорожно шарился вокруг и наткнулся на что-то... Этим чем-то была Ксения. Я сжимал ее деревянное горло, замахнулся было, но отчетливо услышал ее стон и разжал руку. Уже почти сдался, когда под рукой снова оказалось нечто, исключительно для руки удобное. Ужасом взорвалось лицо отца Виктория. Это я увидел долей секунды раньше, чем то, что летело в него от моей руки, — один из топориков Антона, которыми он высказывал мертвому дереву свою любовь к жене...

Вскрикнули мы одновременно, но даже удвоенный крик не смог изменить траекторию. Мой голос потонул в реве раненого гиганта. Отец Викторий опрокинулся с чурки на спину, барахтался у стены сарая, потом поднялся на колени, руками перехватив живот.

— Топо-о-ор! — хрипел он. — О-о! Я же просил тебя не выбрасывать пистолет! Я же просил!

Громоподобный стон его был невыносимее плача ребенка. Скуля, на коленях я подполз к нему. Он выл, задрав голову, закатив глаза.

— Я знал! Ты... Поймешь ли, как это страшно — все знать!

Он закачался, привалился спиной к стене сарая. Сквозь пальцы рук, прижатых к животу, сочилась... Я не мог смотреть! Я не хотел видеть! Но он приказал:

— Смотри! Понимай! ОН, тот, вас любящий! ОН думает, что только ОН может! Смотри! ОН знал, что воскреснет. Что ЕМУ! А мы не воскресаем! Мы все по правде! Это мы за человека! За свободу его! О! Муки! Вокруг НЕГО был народ... А потом легенды... А я! Тебе никто и не поверит. О-о!

Страшный стон его, казалось, поколебал опоры сарая, я даже шею втянул, ожидая обрушения.

— Ве-ли-кий! — заорал он. — Дай мне силу! Не здесь же!..

Медленно, не переставая стонать, он поднимался, сначала одной ногой, подтянулся, подставил вторую, как костыль, не отрывая ног от пола, сделал несколько шагов к выходу и весь белый свет заслонил собой...

«Великий», к которому он обращался, похоже, дал ему силу, забрав ее у меня, потому что я вдруг рухнул на дощатый настил лицом вниз и не мог уже пошевелить ни одним мускулом.

Сколько так провалялся без сил и мыслей, не знаю, но сознания вроде бы не терял и краем глаза увидел, как в дверях сарая появился Джек, умная лайка сибирская. Он подошел ко

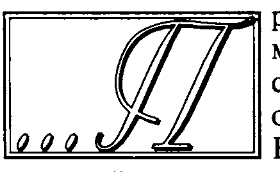
мне, обнюхал и начал лизать мой разбитый затылок. Воспротивиться не мог. А когда показалось, что оживаю, Джек лизнул меня в лицо и убежал. Я поднялся, разминаясь. С порванным животом отец Викторий далеко уйти не мог. Я должен найти его. На пыльном полу следы, как две лыжни. Крови не видать... Но за порогом ничего. Стараясь не попасться на глаза хозяевам дома, я на полусогнутых обегал, обследовал все вокруг. Ничего. Поплелся к Озеру.

Всего случившегося за последние два дня, кажется, было более, чем я мог вынести. Оттого, возможно, эмоции словно выдохлись в недавнем накале, сменились апатией, равнодушием, но притом без вялости, напротив, я чувствовал возвращение сил и... возвращение голода. По берегу добрел до лодки. Антон не успел разгрузить ее до конца, не до того было... Банку свиной тушенки я вскрыл отверткой из ящичка с инструментами. Заглотнул разом и сразу воспрял.

Странно! Я знал, что мне нужно делать! Мне нужно плыть! Перегнулся с кормы лодки и осторожно дотронулся пальцами до воды. Вода была что надо. Но я уже знал коварство Озера. Разулся и попробовал воду ногой. Порядок! Снял куртку или то, что от нее осталось, зашвырнул, разделся до трусов и без всяких пауз пошел в воду. Озеро приняло меня! А когда поплыл, то, ей-богу, почувствовал заботливую силу глубины, словно кто-то мягко подталкивал меня в живот, оберегая от погружения. Я вспомнил свой, когда-то не до конца выученный кроль и теперь с удовольствием демонстрировал его Озеру. Сотню метров или полторы отмахал, когда решил оглянуться. Берег был жалок. Он словно обиделся на меня, присев масштабом. Когда другой раз оглянулся, увидел выбегающие на берег три человеческие фигурки. Через несколько взмахов оглянулся еще и увидел только две. Третья возилась у лодки...

А что, подумал, если все это чепуха, и число вовсе не разрушилось! Ведь это же ЕГО число! И тогда... тогда ничего еще не поздно...

БЕСИВО



редосенняя хмурота тошна всякому. Потому что в природе, как вообще в жизни, есть свои хорошести и нехорошести. Хотя, опять же, с другой стороны, всё правильно. Но правильность и хорошесть, если к человеческой жизни применить, часто вразрез. Взять, к примеру, умного или глупого, богатого или бедного, работягу или охламона последнего — одинаково. Приходит время, и умирают. По природе правильно. А что хорошего?

Ползут ниже неба серые тучи, ветер холодный лист на дереве треплет, а лист уже не цветастый, как днем раньше, а тоже серый, как тучи. И ни в чем человеческому глазу радости нет. Одна обида на душе. И вовсе не на осеннюю хмуроту обида, а на жизнь, в которой все правильно, да не все хорошо. А то и вообще ничего хорошего. И стоит только человеку сказать хотя бы и не вслух, что ничего хорошего нет в его конкретной жизни, как тут же тоска прочь, а заместо тоски та самая хмурота, что в природе, она самая, сперва в душу вползает, злость глаза сощуривает, челюсти стискивает, через горло, опять же, назад в тело сплывает, и вздуваются жилы во всем теле недоброй силой. Тут тебе и готов человек к злому делу. А злое дело — оно всегда под рукой, к нему ума не требуется — одной охоты хватает.

Так или, скажем, почти так начала Валентина Андреевна рассказывание истории братьев Рудакиных, бывших ее соседей по ныне вымершей деревне Шипулино. Теперь-то не шестидесятые и даже не девяностые, а вовсе запредельные времена. Попробуй-ка в сей день отыскать человека, любящего и знаю-

щего толк в говорении, — чтобы со смыслом и интеллигентному уху отрадно. Присмотришься иной раз к какой-нибудь почти распутинской старухе или к почти беловскому старику, подкатишься-подмылишься на разговор, да и нарвешься на такую неоригинальную матюгатину, что хоть в запой уходи от тоски.

Отчего, кстати, русский интеллигент периодически, а иногда и систематически пьянствует? Да все оттого, что ему то за державу, то за народ обидно. Великая причина для великой тоски. Однажды, правда, слышал признание очень интеллигентного человека, что пьет он исключительно по причине сучьеподлючей сути экзистенции, от каковой только в запое и есть спасение. Что ж, спасаться никому не запретишь, если жизнь — сплошная тягомотина.

Но мне, однако ж, повезло. В деревне Шипулино, к тому времени чуть ли не полностью скупленной полуновыми-полурусскими, я оказался случайно. По рыбачьим делам.

Еще при въезде в деревню глаз подметил густо заросшее крапивой и прочими сорняками давнее пожарище на самом краю деревни. Что-то нетипичное было в этой печальной картинке. Не тронуто пожарище — вот что. Стены кирпичного пристроя — ни малейших признаков прикосновения. И это в нашето время, когда, что бы плохо ни лежало, рано или поздно убежало. Добротный забор на задах припал к земле, но целехонек каждой слегой, каждой доской. И мощная русская печь по центру пожарища с обвалившейся трубой примерно по чердачному уровню — как надгробие...

В коротких общениях у колодца я попытался выспросить, что да почему... И был заинтригован многозначительными ухмылками или хмурыми отговорками. Любопытство мое поначалу не имело ни малейшей литературной корысти и было спровоцировано исключительно вынужденным бездействием и той самой «хмуротой» меж землей и небом, что начисто ломала мои планы.

1. «Олигарх» и другие

Судья и один из народных заседателей померли с разницей в год. Зато второй народный заседатель, ныне гражданин свободной и независимой России, здравствовал. И не просто здравствовал, но даже и вполне процветал, насколько можно процветать в районном городишке, что в стороне от железной дороги и на несудоходной реке.

Всякий, кто живал в подобном месте, знает, что время там тянется-движется не по законам физики, но исключительно по правилам метафизики, если у этой самой метафизики (по народному пониманию — просто чертовщины) вообще есть какие-либо правила.

— Ну прямо чертовщина какая-то! — говорил мне бывший директор восьмилетки, а ныне почетный учитель на пенсии Федор Кондратьевич Лытов, он же единственный в городишке член областной писательской организации, принятый в сей интеллектуальный орден не столько за таланты, сколько для «обхвату периферии». — Я ж его до восьмого классу учил. Олух царя небесного! Лодырь и засоня. Рисовал, да! С первого класса. На заборах. Всякую похабщину. По-нормальному, на уроках рисования имею в виду, куб нарисовать не мог, не то что чайник, положим. А теперь-то что!

Федор Кондратьевич, изображая изумление, распрямлял тысячу морщин на желтом от старости и курения лице, глаза выпучивал до признаков базедовой болезни, по-актерски вздымал руки над головой...

— А теперь он народный самородок, художник-примитивист! Ведь слово-то какое! Чисто оскорбительное, не иначе. Примитивист! То есть попросту — дебил! А? И на нем, представляете, нынче вся экономика района держится. Нет, вы поговорите с этим самородком! Ничего, кроме мычания и кряканья, не услышите. В словарном смысле он, с тех пор как его этот проходимец Черпаков сделал знаменитостью, полностью деградировал...

Меня-то как раз интересовал «этот проходимец» Черпаков Сергей Иванович, единственный оставшийся в живых из судейской троицы, еще совсем недавний бывший народный заседатель в скандальном процессе над фермером Андреем Рудакиным из деревни Шипулино. В столицах теперешние превращения людей, конечно, тоже весьма чудесны, но их чудесность чаще всего несколько абстрактна. К примеру, вчерашний лаборант становится министром. Ну так этого лаборанта в лицо и лично знали единицы. Незнавшие имеют право предполагать, что он был суперлаборантом, потому и стал министром. Или осветитель второстепенного театра оборачивается миллионером. А его кто знал? Только пожарник. Остальные, и рядом будучи, в упор не видели. Отчасти отсюда и покойники. Смотрит один превращенный на другого и говорит: «Да ты кто такой?

Вот я себя знаю, а тебя, нахалюгу, отродясь...» И — бах! бах! И для форсу контрольный в самую думалку.

В районном городишке, тем более где ни поездов, ни пароходов, там все иначе. Кто такой народный заседатель районного суда? Ни к суду как к процессу, ни к народу как к обществу — никакого отношения. Полнейший ноль. Все его знают и понимают, как ноль. И вдруг этот ноль вроде пластилиновой мультяшки начинает обретать формы одна другой чуднее. И что откуда берется?! Сперва берется движение. Начинает мелькать. То вдоль улицы, то поперек. Потом берется голос. Никто ведь даже не подозревал, что умеет говорить. Люди рты разевают от удивления, а ему, чебурашке, того и надо. Через рот в два раза слышнее, чем через уши. «Дам!» — говорит опассионаренный ноль. «Ам!» — отвечает естественным рефлексом удивленный народ. Не верит, презирает, но рефлекс первичнее веры и презрения. И в том не специфика районного народа, но особенность географическая: городок без транзита, где человечий интерес весь внутри себя, где в каждом квартальчике свои, остающиеся не известными миру шекспирианы, не востребованные не только литературой, но зачастую даже милицией...

Мы встретились с Федором Кондратьевичем Лытовым, пенсионером и районным поэтом, в крохотной прихожей редакции «Знамя ленинизма» по предварительному звонку, когда после заверения в моей безусловной патриотической политориентации он и назначил время и место встречи. В свои шестьдесят пять Федор Кондратьевич был весьма крепок, костист и даже кудреват. Борцовые качества крепко впечатались в чертах его угловатой физиономии. Он был определенно симпатичен, и, когда жал мне руку, как товарищу по борьбе, я испытал угрызения совести, поскольку мой интерес к нему носил откровенно корыстный — литературный характер.

— Вот! — сказал он торжественно, впечатывая мне в ладонь листки со стихами. — Сегодня они у меня не отвертятся!

Кивнул злорадно в сторону кабинета редактора газеты.

— Ну объясните мне, тупому провинциалу, как это: некто, в сути ничтожество, ничего не имел, ничего не создал и не изобрел — и вдруг миллионер, олигарх, говорит: надо уметь делать деньги, и все с ним соглашаются, жмут руку, про политику советуются... Нет, может, я просто не в курсе? Какое-нибудь приличное объяснение такой факт имеет или нет? Вы ж там, в Москве... это ж все у вас на глазах... Ну есть объяснение, чтоб я

на этих олигархов смотрел не как на воров обыкновенных? Ведь если я смотрю как на воров, я же справедливо хочу, чтоб их всех к ногтю, а мне, может, неприятно хотеть кого-то к ногтю! Так как мне быть? Ну хамство! Высшей меры хамство! Они ж даже не оправдываются. Считают, что я, как говорится, ноль без палочки, на мое мнение и понимание им чхать с колокольни! Я для них быдло завистливое. Я же — нет! Я просто понять хочу! Имею право наконец! Если все дело в экономических фортелях, которых я не понимаю по необразованности, тогда будь добр, объясни, я необразованный, но не дебил, пойму! Или как? Как у Блока? «В заколдованной области плача...»? Так вот: плача в заколдованной области экономики, уж поверьте, народ знает цену своим слезам...

Внезапный страстный монолог Федора Кондратьевича поверг меня в истинное смятение и смущение. Чтоб собраться с мыслями, уткнулся в стихи, отпечатанные на плохой машинке в один интервал, вникнуть, конечно, не мог, понял, что стихи про них, про этих самых олигархов, где достается им от автора на орехи... Автор меж тем притиснулся к моему уху и шептал многозначительно:

— Ладно я — старый и безопасный. А если кто помоложе, да с такими же чувствами, это рано или поздно — что? Знаете ведь! Бунт! Но с классиком я не согласен. Беспощадный бунт, но не бессмысленный, это где-нибудь в Африке бунты бессмысленные, в России же матушке всегда со смыслом. В том, может, и наша трагедия историческая, что не постигаем вовремя смысл бунта народного, а? У меня, если хотите, концепция на этот счет...

Я не хотел концепции, я хотел информации про бывшего судебного заседателя, к тому же местный член творческой гильдии имел весьма тяжелое дыхание, предпочитая, видимо, пищу с чересчур ароматическими приправами. Я уклонялся, а он прислонялся, придерживая меня за локоть.

— Как происходит? Злость накапливается дискретно, как дождевая вода в лужах. Пока дискретно, неопасно. Так думает власть. Всегда так думала. А если чем-то острым да канавку через все лужи по спуску? А? Чтобы злость заработала, нужна провокация. Сейчас откуда хошь провокацию жди. Шахтеры, положим, или эти, неофашисты, или супердемократы какие-нибудь. Заметьте притом, восстания и не надо. Простых массовых беспорядков достаточно, чтоб всеобщая злость вдруг заработала. Именно вдруг!

Крайне возбудившийся, Федор Кондратьевич потянул меня за локоть к себе, вырывая при этом из моих рук листки со стихами.

— Это правда, что олигархи держат наготове самолеты?

— Не знаю... Не видел...

Отпустил меня, выпрямился, взгляд осудительный.

— Э...э! Зачем же тогда в Москве живете, если ничего не знаете. С каждого москвича нынче особый спрос. Особый! Нет, мне, конечно, приятно, что наша мелочовка кого-то заинтересовала, как говорится, весь к вашим услугам, информацией владеем, обстановку сечем и тэ дэ. — Глянул на часы, постучал ногтем по стеклу. — И что? А согласно информации не далее чем через четверть часа интересующее вас лицо, наш самодельный местный благодетель, наш новоявленный Фома Описькин, именно так, Описькин, должен собственной персоной объявиться в сем помещении для личного общения со свободной демократической прессой. О свободе и демократии я вам опосля разъясню.

В это время из дерматиновой двери с табличкой «Гл. редактор» вышел, надо понимать, хозяин кабинета, невысокий, плотный мужичок лет этак сорока, не то с угро, не то с финской, не то еще с какой скуластостью на загорелом до черноты лице. Увидев Федора Кондратьевича, он с таким откровенным притворством изобразил радость встречи, что я даже искоса глянул на своего «путеводителя» — не оскорбится ли? Нет, не оскорбился, но и навстречу не шагнул.

— Рад приветствовать великого правдолюба в стенах продажной прессы! — воскликнул «гл. редактор», раскинув руки с широченными ладонями работяги.

— Самокритика — это хорошо, — со значением отвечал Федор Кондратьевич.

— На том стоим, дорогой вы наш, матерый поэтище! На том стоим.

— Ну, положим, не стоите, а лежите. А если и стоите, так уж, простите за выражение, раком-с! — источал ехидство «матерый поэтище».

Я глянул на «гл. редактора» — не оскорбится ли? И он не оскорбился, а напротив, разулыбавшись до шевеления ушей, шагнул в нашу сторону с протянутой для рукопожатий рукой. Тут они и сошлись, и руки отжали вполне по-нормальному, и мне легче стало. Уж больно не хотелось присутствовать при

скандале. Федор Кондратьевич был чуть ли не на голову выше «главного». Но, знать, тот так крепко стоял на ногах, что не почитал зазорным задирать голову, чтобы глядеть «правдолюбу» в глаза. Не разжимая пожатия, сказал:

— А я все ж допытаюсь рано или поздно, кто у меня тут в редакции, так сказать, двойной агент. Ведь пронюхал о визите, да?

— Не собачка, не нюхаю, — с достоинством отвечал Федор Кондратьевич, — а информацию имею, не перевелись еще людишки...

— Ясненько, ясненько, — перебил его «главный», взял под руку, головой почти прислонился к широкой, но впалой груди «матерого поэтища». — И что? Будем публично обличать криминальный капитал или как?

— Повезло тебе нынче, — говорил Федор Кондратьевич, отстраняясь, — не во мне нынче дело. А вот у товарища из Москвы к твоему любимому олигарху есть пара вопросов.

Тут все добродушие как метлой с физиономии «гл. редактора», и в мою сторону встревоженный и недобрый взгляд, каковой я немедля торпедировал смущенной улыбкой и взмахом рук, намекающим на мою абсолютную неопасность для расстановки политических сил в данном, отдельно взятом районе с некоторых пор принципиально независимой Российской Федерации.

— Все проще, — успокаивал я «главного», — как вы его называете, этот самый ваш «олигарх» был народным заседателем в районном суде, и меня интересуют некоторые подробности одного не столь давнего дела. Только и всего, — развел я руками.

Но нет, не успокоил. Набычившийся «главный» смотрел подозрительно и сближаться не спешил.

— Вы что, корреспондент?..

— Да Бог с вами! — отвечал я торопливо и даже с обидой в голосе. — Нешто похож?..

Тут вмешался Федор Кондратьевич, явно раздосадованный моим миролюбием, объяснил, представил, кто я таков.

— Ну как же, читал! Давно, правда. Даже ваша книжка имеется. — «Главный» слегка отмяк, бдительности, однако же, не утрачивая. — А в этом, ну, давнем деле, там что-то было не так? Какие-то проблемы?

— Насколько мне известно, никаких. Имею интерес к подробностям. Интерес исключительно писательского характера.

Только теперь «главный» двинулся мне навстречу. Руку жал некрепко и недолго, потому что, как я догадывался, бдительность ко всякого рода столичным баламутам была частью его профессиональных обязанностей. Вглядываясь в меня все еще с подозрением, но уже взламывая скуластость лица улыбкой, он говорил, то ли оправдываясь, то ли все еще тестируя меня:

— Нынче, знаете ли, в моде всякие независимые расследования. Хлебом иного писаку не корми, дай что-нибудь порасследовать независимо. А я спрашиваю: а как это? Принц Флоризель... Помните фильм с Олегом Далем? Он принц. Он мог независимо. Или Шерлок Холмс. За каждый сыскной принюх пожалуйста — чек. А наши демократические пинкертончики — им-то кто оплачивает хлопоты, притом, как правило, пустые хлопоты? Кто? Как есть — предмет для расследования...

— Ага! Боишься! — Взлохмаченный Федор Кондратьевич сущим Мефистофелем возник над «главным».

— Тревожусь, — спокойно согласился тот, — мне газету сохранить надо.

— И свое место при ней? — светясь сарказмом, вопрошал «правдолюб».

— А как же! Свое место всякому дорого. Только, дорогие мои, с минуты на минуту должен прибыть наш благодетель. По нынешнему делу с ним у меня ни от кого нет секретов, так что желающие могут присутствовать при условии, так сказать, корректности поведения...

Федор Кондратьевич весь распрямился, еще выше вознесясь над коротышкой «главным», и изготовился для произнесения очередной убийственной реплики. Но в это время...

Пребывая в коридорчике, мы и не заметили, как в единственном оконце потемнел белый свет. И когда артиллерийским раскатом разразился громище — да так, что и все здание вздрогнуло, мы все вздрогнули вместе со зданием, разом повернувшись к окну. А там полыхнуло-громыхнуло повторно, и косые полосы ливня начисто перечеркнули всю предметную объективную реальность, что секундой назад просматривалась сквозь не шибко чистое стекло.

— У Господа Бога нервы не выдержали, глядючи на цинизм прессы! — победоносно констатировал Федор Кондратьевич.

— Не богохульствуй! — недовольно буркнул «главный» и... перекрестился.

— Ах ты ханжа преподлый! Ты ж, если не ошибаюсь, до сих пор даже партбилета не сдал! — От возмущения у Федора Кондратьевича дыхание перехватило, ко мне повернулся, апеллируя жестами, но, не обнаружив солидарности, снова воззрился сверху вниз на «главного», который вроде бы и засмущался, но скорее передо мной, а не перед ведущим районным «правдолюбом», и, внимания на него не обращая, предложил (в основном мне):

— Так в кабинетик... приглашаю... там продолжим общение... А?

И тут стала понятна забота «главного» о сохранении «своего места»: еще бы! Место было под него создано. Под его фигуру: строго квадратный кабинет — этак семь на семь, массивный квадратный стол; квадратное кресло и даже картины на гвоздях, где недавно висели политвожди, и они — почти квадратные пейзажи... А когда «главный» воссел на свое место — кресло с прямой спинкой, прямыми подлокотниками, прямыми, прочными ножками, когда сел и вписался в интерьер, последний получил исключительное завершение и даже приобрел некую эстетическую воплощенность в стиле раннего «кубизма»...

Поклонник строгих пропорций, соответствия нормы и формы, я тотчас же подумал: если человек знает свое место, то по основным параметрам жизни он должен быть хорошим человеком. Предположить человека хорошим — это ведь всегда приятно. Предположил — и самому себе плюс поставил в ряду множества минусов — последствий ошибок и сшибок, коими столь богата жизнь любого общительного существа.

Федор Кондратьевич меж тем застрял в раскрытой двери, как в частушке поется, с выраженьем на лице, прикидывая, возможно, на данную ситуацию известное положение о блаженности мужа, не идущего на совет нечестивых. Блаженностью, в конце концов, решил поступиться и вошел, но не сел на предложенный «главным» стул напротив, куда охотно сел я, а «правдолюб» отшагал к окну, за которым внезапно налетевшая на городок грозовая тучка уже истощилась влагой и теперь, торопливо скатываясь на горизонт, устало попыхивала остатками электричества.

Стол «главного» не был, как это бывает у других «главных», завален бумагами. Бумаги лежали аккуратными стопочками по краям стола, что тоже произвело на меня хорошее впечатление: я вообще хотел нынче иметь только хорошие впечатления, это

ведь так просто — стоит только настроиться должным образом и тотчас же все объекты вашего внимания представятся вам своей доброй стороной, а таковая есть всегда. Ну или почти всегда.

Корысть моего присутствия в данном служебном месте диктовала установку на благодушие. А как иначе? Нынче такие времена, что, куда пальцем ни ткни, тотчас же вскроется животрепещущая проблема, мгновенно сам проблемно затрепещешь, оглянуться не успеешь, как по уши в социальной склоке... А когда романы писать? Оно понятно — писать романы в остропроблемные времена аморально, что легко доказуемо иммануило-кантовским императивом: представьте, что все вместо того, чтобы спасать Россию, занялись писанием романов, что б тогда осталось от Москвы, от Расеи? Но лукавство ума беспредельно. Говоришь себе: умом, как известно, Россию не понять, попробуем понять ее образами — нарисуем, обобщим, глядишь, и вылупится нечто, прямолинейной логикой упущенное... А главное — никакой ответственности: я так вижу, и будьте добры...

Разумеется, ни о чем таком я не думал, сидя напротив редактора местной газеты с типовым названием минувших времен. Я думал об оригинальности настроя служебных структур. Ведь вот, пока «главный» не сел в свое квадратное кресло, в редакции — словно ни души: ни одна дверь не хлопнула, ни один человек не встретился в коридоре... Но как только сел — будто ключ зажигания вставил, даже стены ожили, обнаруживая за собой роение человечьих энергий или, по меньшей мере, имитацию вышеупомянутого роения. Некоторое время уже нигде не служащий, я мог позволить себе кое-какие философско-риторические вопросы. Например: каков вообще коэффициент полезного действия структурного человеческого роения? Должно быть, столь ничтожный, что неприличен и оскорбителен сам по себе его подсчет. Отсюда, возможно, вечная и бесплодная тяга к природе, к земле, к вигваму и тамтаму... Знаменитые пустынники в отличие от обыкновенных бродяг — они на этот счет много чего умного могли бы сказать да поведать измученному рефлексией современному человеку. Но современность — она на то и современность, что убегать от нее можно только по кругу, а диаметр круга настолько мал, что иной раз можешь увидеть собственную спину и разбить нос о собственные лопатки... В том и есть тщета...

Дверь в кабинет приоткрылась, и сперва объявилась фигура атлета от плеча и ниже, затем атлетическая голова... В том смысле, что от нее все отлетает, не причиняя вреда... Голова поработала глазами и вместе с фигурой отступила в коридор, пропуская в кабинет полного мужчину в прекрасном костюме светло-серого цвета, в остроносых штиблетах, опять же светло-серых и на бесшумных подошвах, поскольку от двери до стола фигура продвинулась совершенно беззвучно, и только у стола, в метре от вышедшего навстречу главного, одновременно со вскинутыми для дружеских объятий руками с толстыми, но не рыхлыми пальцами зазвучал и голос весьма даже приятного тембра:

— Извиняюсь за припоздание, но причина небесная, в смысле такой ливень, что пришлось остановиться и пережидать. Не иначе как знак. А к чему знак, это мы сейчас и погадаем, а?

Раскинутые для объятий руки, как я понял, изображали только расположенность к объятиям, так сказать, проект намерений, рукопожатия же, если и изображали великую дружественность, то делали сие весьма искусно.

Так вот он каков, олигарх районного масштаба и вчерашний народный заседатель, — сама простота, плоть от плоти народной, ибо, как всем известно, народ, он тоже прост, поскольку состоит из простых людей. Но слово «прост» — скорее всего от слова «порост», значит, увеличение в количестве. Так же, как и «народ» — «нарождение», то есть все больше и больше... А если наоборот, все меньше и меньше, то, может, уже и не народ, а только население. И тогда не «нарождение», а «вырождение», и «олигарх» — продукт сего процесса. Короче, как хочу, так и перетолкую. Невообразимые горизонты распахнулись в наши времена для политической публицистики. То-то их и развелось... Публицистов... А свобода, то есть безнаказанность, не только стимул, но и дрожжи... Что и говорить, весело жить в смутные времена, кому есть на что, и не шибко ясно, ради чего! Ведь когда налицо это самое «ради», то жить не весело, а весьма даже тяжко.

А в это время «олигарх» будто только что заметил присутствие в кабинете Федора Кондратьевича, изобразил на кругленьком лице радостное изумление и ручки врастопырь: дескать, кого я вижу! И, головой покачав с укоризной, ласково выговорил «правдолюбу»:

— Как это вы, дорогой мой, прописали в нашей областной газетке, что, мол, я в целях личной наживы прихватизировал — эвон как! — кирпичный завод и прекратил выпуск простого кирпича, а запустил облицовочный для «новых русских». Нехорошо! А нет чтобы на заводик этот, вчера полудохлый, да собственными ножками топ-топ, да с работягами потолковать, да в расчетные бумажки глянуть. И то будто не знаете, что любому сдохшему производству нужны стартовые позиции... А что касается вашего вопросика в конце статейки, дескать, сколько капиталу я вывез за границу, отвечу вам, дорогой Федор Кондратьич, исключительно приватно. Немного. Но вывез. То есть положил в энный буржуазный банк под приличные проценты. А почему? Да так вот, на всякий случай, знаете ли. На тот случай, очень, заметьте, подчеркиваю, очень маловероятный, но принципиально не исключенный. А это тот случай, если наша родимая Россия-матушка еще один фортель выкинет — коммунистам вашим шансик подкинет, коротенький такой шансик, и, честно признаюсь, может, даже и по справедливости, эвон чего натворилось вокруг... Но сколь ни коротенький шансик, экспроприацию провернуть успеют, прежде чем по новой прогорят. Так что признаюсь: страхуюсь, хотя и не верю в этот самый ваш шансик, потому как экономическая машина в другую сторону запущена...

Быстрехонько, и даже не присев, «олигарх» прочел еще более похмурневшему Федору Кондратьевичу кратенькую лекцию по экономике переходного периода, а я слушал и дивился возможностям человечьих метаморфоз. Опять же, если в слове покопаться, «морфозы», насколько я помню, — это наследственные изменения организмов, так сказать, генетические штучки. А «мета» — уже из области мистики. Или не мистики? Когда, как, по какому импульсу вчерашний народный заседатель вдруг однажды понял, узнал, догадался, что пришло время, что можно брать — брать все, что плохо лежит? По каким признакам он определял плохо лежащее? А цепкость рук, она как объявилась? Сразу? Вдруг? Какое количество в какое качество... это если по диамату?.. А теперь представим, что не случилось «перестроек», и он, теперешний «олигарх», так бы и прожил всю свою жизнь незаметным, непризнаваемым, неопознаваемым человечком. Сейчас, на него глядючи, я и вообразить его не могу в роли того самого «простого советского человека»... И сколько их! И как они должны боготворить эпоху! И как они

будут защищать ее от посягательств со стороны тех, с кем опять же по таинственным причинам никаких метаморфоз не случилось? И как они уживутся друг с другом, «морфозные» и «не морфозные» — инопланетяне друг другу?

Вот он, у окна, Федор Кондратьевич, человек другой планеты. Слушает «олигарха», но ведь не слышит, а лишь накаляется, ликом розов более нормального, для него «олигарх» — нечисть, сатанинское отродье, объект справедливого отстрела. Но если и к «олигарху» приглядеться да в интонацию вслушаться, то сопящий Кондратьич для него — имущество динозавровой породы, соцреликт, обреченный на вымирание, в сущности, не опасный и не стоящий ненависти, какового тем не менее надо иметь в виду до той самой поры, пока он сам из виду не потеряется. А лекция про стартовые позиции в рыночной экономике не для динозавра, а для меня да «главного». Не успевший еще к тому моменту нас познакомить «главный» — вот он не что иное, как «прослойка» промеж «динозавром» и «олигархом», и где-то он мудрее их обоих, потому что обоих по-своему пользует во благо чего-то третьего, что моему определению никак не поддается, потому что а сам-то я кто? Наблюдатель? Приглашенный Всеблагими на пир по поводу роковых минут мира? Божьего мира? Поэт явно перемудрил. И я, скромно пристегиваясь к упряжке, тоже мудрствую лукаво, и некому меня в том лукавстве уличить, потому как я будто бы имею право на художественное видение и кулаками махать мне не к лицу, но уместно мне стоять над схваткой и схватку в образы воплощать: и этот оригинален, и тот непрост, и третий не лыком шит...

Только-только начала противнеть ситуация, как «главный», воспользовавшись паузой, поторопился представить меня «олигарху». Сергей Иванович Черпаков — так именовался местный пассионарий, начавший свое восхождение на районный экономический Олимп с того, что ловко раскрутил никому не известного художника, «мазилу» по характеристике Федора Кондратьевича, превратив его в народное дарование, чьи полотнища, сбытые за границу, и составили первоначальный капитал будущего «олигарха». Дальше, как можно догадаться, скупка по дешевке, по блату, по взятке всего, что оказалось плохо лежащим окрест пространства, а когда сие экономическое пространство спохватилось, то обнаружило себя перечисленным в соответствующих бумажках с печатями и подписями в аккуратных папочках с тесемочками. По нынешним време-

нам — это «обыкновенная история», где необыкновенным должно быть признано единственное — что сам герой жив до сих пор, несмотря на наличие при себе, как я понял, всего одного охранника.

Что ни думай, как ни суди, но, ей-богу, оторопна та храбрость, с каковой проживают день за днем теперешние наши бизнес-гении. Положим, пожарник, рискующий жизнью, спасает ребенка из огня... Понятно. Я могу представить себя на его месте. Или циркач под куполом... Труднее, но все же представимо. Милиционер или тем более солдат — тут тоже своя логика храбрости. Но он, который деловой, ему в чем крепость от страха, когда сезон отстрела деловых круглогодичен? Каждый отмеряет по себе. Положим, мне повезло. Ухватил, отхватил, прихватил, закарманил — и что? Да я лишний раз носу из дому не высунул бы. А высунувшись, паралич лишь схлопотал бы, оглядываясь по окнам, чердакам да чужим «тачкам»! И в свою, четырежды пробронированную, нырял бы сусликом, потому как ну что может быть нелепее, чем смерть за «бабки» независимо от их количества! Ведь даже не деньги, но «бабки». Деньги — это что-то законно умеренное, справедливо отмеренное и удостоверенное, наконец, соответствием труда и вознаграждением за него. А все эти «бабки», «баксы», «капуста» и как там еще — лишь продукт-отход человечьего бесива.

Рассуждать, однако ж, таким вот образом мне проще простого, потому что сам я, в сущности, пролетарий. Я больше чем пролетарий, потому что у меня даже цепей нет... Уместно вспомнить бы два основных постулата русской классической литературы, лучше всего отчеканенные народным поэтом. Первое — богачу, дураку, и с казной не спится! Красиво сказано! Но — увы! — более чем спорно. Не дурак, и спится ему, этому Сергею Ивановичу Черпакову, судя по ухоженной физиономии, вполне по-человечьи. И второе — бобыль гол как сокол, поет-веселится. И где ж оно, это веселье нынешнее?

Тем временем типичный «сокол» нашего времени Федор Кондратьевич навязал-таки диспут «олигарху» на тему расхищения общенародного добра. В ход уже шел Радищев...

— Что оставляем мы крестьянину нашему? — вопрошал он гневно и отвечал тихим трагическим рыком: — Воздух! О-ди-ин токмо во-о-здух!

Красив гневом человек — суждение богопротивное. Таковым оно остается, даже если уточнить: праведным гневом кра-

сив человек. Так по догмату. Но вот вам две картинки: Сын Божий, смиренно приставляющий отрубленное ухо стражнику, и Он же, в праведном гневе изгоняющий торговцев из храма. Что ближе и понятнее душе чисто эстетически? То-то же! Социалистичен человек по природе и породе, а божественная ипостась, как ни крути, иноприродна и инопородна, и то же смирение, в породе не заложенное, всегда готово пониматься как лицемерие. А то, что так называемый праведный гнев способен с легкостью обращаться в демагогию с далеко идущими социальными последствиями — в разуме такое понимание имеется, но разум всю историю позади чувства, что тоже правильно, потому что двум господам служить способен.

А теперь восстановим-ка ситуацию в ее, так сказать, акцентном смысле. В некоем помещении некоего учреждения находятся четыре русских человека. Будь хоть один из четырех «инородцем», все акценты мгновенно стусовались бы в простейшую и примитивную схему.

Вот он, Федор Кондратьевич, борец за правду-матку, по-народному крупнопороден, крупнолиц, крупнорук... Скульптор-передвижник так бы и запечатлел его стоящим у окна со вскинутой к потолку ручищей, с росплеском благородного гнева в очах.

Напротив него, Федора Кондратьевича, его персональный контрапунктик, скульптурно явно проигрывающий, фигурно посредственный, политически сладкогласый, идеально вписанный во всю социально-общественную ситуацию, — отсюда и сладкогласие, от вписанности, от нее же и беззлобие в карих глазках, но сплошное снисхождение к обреченному на вымирание антропоуникуму. Он настолько силен соответствием эпохе, что готов почти по-христиански любить своего безопасного врага, готов помочь продлиться ему в его физическом существовании ради ощущения полноты бытия.

На второй, чуть утемненный план художник-передвижник поместил бы «главного», схематично записав его квадратную фигуру в квадратный стол, где передние ножки стола воспринимались бы как завершающий фрагмент самой фигуры. Но лицо высветлено, а на лице тревожно-рабочее бдение без малейшей тени личной корысти, но только одна забота: консенсус! Нет, это не синоним согласия, договоренности или, положим, перемирия. Консенсусов до перестройки не существовало. И даже знаменитое народное: ты мне — я тебе, это тоже еще

не консенсус. Консенсус, если хотите, — это обоюдовыгодный сговор со взаимоприемлемой подлянкой обеих сторон. Пример: ты мне — тухлый товар, я тебе — фальшивые деньги. Консенсусно делаем вид, что ни фальши, ни тухлости не видим. Главное — и то и другое быстро запустить в оборот, то есть сбыть с рук. Что в экономике, что в политике — суть одна, потому что консенсус — он и в Африке консенсус.

Итак, на первом плане передвижнического полотна на фоне окна в мир Божий — правдолюбец со вздернутой к запотолочным небесам рукой, напротив него — лукаволикий герой нашего времени — пассионарий экономики; на втором плане... кто? Рискнул бы сказать — фарисей в хорошем смысле слова (если таковой допустим), этакий компромиссант... И не станем кривиться, потому что, возможно благодаря присутствию именно такого типажа на всех ступенях соцлестницы, мы все еще никак не можем решиться начать рвать пасти друг другу.

Ну и, наконец, на дальнем плане — хотел бы, чтоб на самом дальнем, в этаком полуштрихе — я собственной персоной. Желательно в роли наблюдателя-соглядатая. Только художник-реалист с моим пожеланием посчитался бы едва и наверняка наделил бы меня чертами пресловутого Пилата, не забывающего всякий раз добросовестно отмывать руки и щедро пользовать дезодорант для прочих частей грешного тела. Душу, как опять же известно, дезодорант не берет.

Мне роль Пилата обидна, я о себе лучшего мнения, потому у всей взаимно честной компании прошу прощения, дескать, проблемы ваши мне не по уму, а по уму всего лишь пару пустячных вопросов Сергею Ивановичу задать, причем после решения вопросов непустячных, в коих я, жалкий писака, ничегошеньки не смыслю, но лишь без пользы отсвечиваю в стекольной раме полотна, что на противоположной стене, живописующего глубокообразную природу данного района все еще необъятной Родины.

Я ухожу, и, как ни странно, все расстаются со мной с откровенным сожалением. Впрочем, понятно: уходит аудитория. И не какая-нибудь — столичная. Уходит, не высказавшись, то есть себе на уме. Такое всегда неприятно. Федор Кондратьевич из-под своего бровохмурья смотрит мне вслед, испепеляя мой след презрением бойца, израненным брошенного на поле боя.

В приемной еще полчаса назад за пустым столом — секретарша, в целях экономии сокращенная на полставки, а все три

кабинетика в коридоре, что за приемной, приоткрыты, и в приоткрытости — лики сотрудников газеты, лики молодые в основном и соответственно по-молодому заинтересованно встревоженные явлением в их задрипанную газету самого главного районного «олигарха» собственной персоной. Да и сам я, хоть и не при фраке, но личность для них неизвестная. Всякая неизвестность пожилого тревожит, но молодого — хмелит, и суть всякого молодежного оптимизма в том, что хуже не будет, а если и будет, то даже интересно...

С доступной мне важностью прошагал я мимо полураскрытых кабинетов, не кинув глаза ни в один, и наконец оказался на улице городка, какового, ей-богу, не узнал!

Не знаю ничего более прекрасного, более милого и уютного, чем маленький районный городок после незатяжной, но проникновенной грозы. Пыль районная в грязь превратиться не успела, но обрела блеск чистоты, давно крашенные домики превратились в свежекрашеные, а палисаднички раззеленелись по-весеннему, и птички всякие, пусть бы и воробьи, расчирикались на ветках, пушистясь, и ни одной тебе вороны, куда ни глянь. Ворона, конечно, птица, природой предусмотренная, но когда не коробит уши их стаевое карканье, ушам отдых и им же, ушам, доступны тогда иные, более благозвучные голоса — и малых птах, и тихое шуршание редких, но еще сохранившихся дерев вдоль улиц, да и человечьи голоса в послегрозовую пору добрее и мягче звучанием, потому что малая гроза никогда не во вред, но всегда на роздых дыха, вроде дармового, нежданного чуда со всякими причудными воркованиями и громыханиями.

Вот в притворной тревоге выскочила на улицу женщина и давай прощупывать простыни, развешанные по проволоке на прищепках через метр. Вижу, головой качает и даже бранится будто бы, но знаю, невсерьез, потому что, во-первых, уже и солнышко над головой, а потом гроза без низового ветра — то ж вернейшее полоскание и особый аромат белья после просушки, это я с детства помню. А все, что я помню с детства, до сих пор понимается по преимуществу правильным. Я и жизнь свою прожить собирался не иначе, как правильно. Как дерево, например. Не знаю ничего правильнее дерева. И ведь не без чуда. Подойди к дереву, ладонью поскреби рядышком — земля. И в ней никакой жизни. Но из этой самой нежизненной земли и вырастает живущее дерево. Всем понятно — корни и прочее... Но где-то там, глубоко, самый тоненький корешок кончается и

соприкасается с той же обыкновенной неживой землей. И как, объясните мне, неживое становится живым. И вовсе не нужно хождений людишек по воде и летаний по воздуху, потому что под каждым деревом и каждой травинкой чудо, и никакой разучёный биолог до самого конца так и не разъяснит мне, как земля превращается в тополь, в крапиву или в картошку. Да он и сам, биолог этот, не знает, он только думает, что знает. То есть — что после чего... А вот как?

Люблю думать о мире хорошо. Хорошо думать о мире в целом. Потому что в целом мир непостижим, таинствен и будто бы заведомо правилен по своей высшей, и опять же, слава богу, непостижимой сути. Непостижимость — это замечательно. В ней главный источник оптимизма.

Как тонюсенький корешок впитывает в себя из обычной земли нечто, что дает ему жизнь роста? Как Господь Бог вершит бытие мира? Два этих вопроса для меня равны своей чудесностью. Не знаю! И это прекрасно! Говорят, знание — сила. Да как раз наоборот! Незнание — источник силы. И воли к жизни, между прочим.

Но зато я, к примеру, знаю, как устроен двигатель внутреннего сгорания. По крайней мере, мне кажется, что знаю. И потому с этим якобы знанием я по-свойски подхожу к сверкающему «БМВ» и, касаясь сверкающей, но еще сыроватой от недавнего ливня поверхности капота, говорю парню-водиле, как равному по знаниям:

— Отличная тачка. Но литров пятнадцать кушает за сто?

Водила не шкаф и не мордастик, нормальный парень, и отвечает по-человечьи, а не по-новорусски:

— Когда как. Когда по воле идет, не больше двенадцати.

— Воля — где-то от ста сорока?

— Примерно.

Охранник «олигарха» стоит у входной двери и присматривает за нашим общением. Водила же отвечает за «тачку», а не за «олигарха», к тому же он, похоже, не столь давно в своей роли и потому на разговор идет как бы назло забронзовевшему в бдительности охраннику.

— А это ваша? Да?

Кивает головой в сторону моей ливнем отмытой зеленой «Нивы», каковую я приткнул в самом конце бордюра, окаймляющего фасад редакционного здания.

— Это мой личный рэкетир, — отвечаю с гордостью.

— Понятно, — кивает водила, — крестовины летят через три тысячи, рулевые — через девять, раздатка — через пятнадцать. Так?

— А вот и не так! — торжествующе тычу ему пальцем в лицо. — Раздатка у меня полетела через двадцать тысяч!

Парень разводит руками.

— Ну, отец, считай, что тебе крупно повезло. Не иначе как тачку твою собирали в присутствии президента.

Отличный парень!

— Раньше кого возил?

— Командиров.

— А этот... «командир»... как? — киваю на окна редакции.

— Да ничего, — пожимает плечами, — не шебутной. Не жмот.

— А случайно в прицел попасть? Не боишься?

И этот мой вопрос его не смущает.

— Бывает маета... Но, похоже, они тут еще до меня отстрелялись. Теперь вроде бы все по понятиям... Как говорят, шеф потолок держит, ну то есть не высовывается. А «Нива» у тебя... Рыбак, поди?

— Любитель, — отвечаю скромно.

— А чо, ближе под Москвой пусто?

— Мелочь... Да электроудочки... Всего крупняка переглушили...

— С шефом знаком?

— Только что познакомились. Дельце пустяковое к нему. Договорились. Подожду.

— Ну, если с шефом у тебя нормально, могу как-нибудь в блатное место свозить. Карп под три кило, знай тащи! Сам, как ты говоришь, любитель. Только вот времени...

Тут как раз краем глаза замечаю, что охранник у подъезда сперва сунул к уху сотовый, а потом шмыгнул в подъезд. Через пару минут из подъезда выдавилась вся компания: первым все тот же охранник, для порядку шеей покрутив, за ним степенно «олигарх», «главный», слегка забегая дорожку, и только через паузу независимо, будто сам по себе, Федор Кондратьевич, но, как можно было приметить с расстояния, уже без прежней смурности на лице, что, видимо, было для него непривычным, и он делал вид, что солнышко на полусклоне чересчур отмыто недавней грозой и глазам в ущерб...

В том же порядке компания приблизилась к машине, процесс рукопожатий и раскланиваний занял еще две-три минуты,

и конечно же наш «правдолюб» не был бы сам собой, если б не отмочил: излишне крепко пожимая руку «олигарху» и вперив в него свои огромные, словно от природы злые глазища, истинно зловеще улыбаясь при этом, прохрипел отчетливо:

— Ну что ж! С паршивой овцы хоть шерсти клок!

Помню, я чуть в капот не вжался в ожидании неминуемого скандала. Но «олигарх» только ахнул от крепости рукопожатия, ладонью потряс и сказал будто никому конкретно:

— Ничего себе клок! Истинно паршивая овца на этот клок на Канарах месяц отбалдеть могла бы. Но вы, — это уже конкретно Федору Кондратьевичу, — поскольку вы у нас в районе главный народный заступник, таким и будьте, непримиримым, а то мы, враги народа, вас и разлюбить можем. А это нам нежелательно, нам желательно грехи замаливать и в первую очередь любить противников своих. Так что уж извольте держать марку! Ну надо же, чуть без руки не оставил! Хорошо, успел нужные подписи поставить.

Получив эти самые подписи, «главный» только хихикал да подмигивал нам с водилой, довольно потирая руками бока.

— А вы, — кивнул мне «олигарх», — как я понял, писатель и хотите порасспросить меня о днях минувших? Или это только повод, чтобы ковырнуть день сегодняшний? По-честному?

— По-честному, — отвечал я со спокойной совестью, — про сегодняшний — ни гугу.

— Даже странно, знаете ли... Тогда так. Я сейчас еду к нашему городскому дарованию... Не слыхали про такого? Ну как же! Мое открытие и приобретение. Творения его клешней ныне в десятке европейских музеев. Между прочим, бывший ученик нашего дорогого Федора Кондратьевича...

— Чем я отнюдь не горжусь, — хмуро отреагировал бывший учитель, — и вообще мне ваше общество...

Махнул ручищей и потопал прочь. «Главный» тоже засуетился, в полном смысле откланялся и, потирая левой рукой левую часть своего квадрата-туловища, противоестественно для его комплекции засеменил к дверям редакции.

— Мне ехать за вами? — спросил я «олигарха».

— Так вы на машине... А может, со мной? В дороге поговорили бы. А пока я буду разбираться с «дарованием», вас вернут сюда. Как?

— Машины у вас тут не угоняют?

— Обижа-а-ете! — улыбался «олигарх», усаживаясь на заднее сиденье и приглашая меня. — Городок наш, конечно, захолустный, но пропорционально масштабу мы ничем не хуже других. Непременно угоняют. Но вы можете не волноваться. Что у вас — «жигуль», «Москвич»?

— «Нива».

— Сидайте и не волнуйтесь. Конъюнктура под контролем.

И какой русский не любит прокатиться на иномарке?

Спросил — отвечаю. Многие. Сколько угодно знаю индивидуумов, решительно равнодушных к автодвижению вообще. Пред такими я, зараженно-пораженный автопрогрессом, всегда слегка комплексую. Но что поделаешь, если для меня искусственно скоростное передвижение в пространстве, то есть не на своих двоих, — тоже что-то вроде чуда. До этого чуда я дорвался лишь в хвосте жизни, а до того столько натопал, что, полагаю, норму выполнил.

2. Пост модерниста

Разговора в машине конечно же не получилось. Без конца пищал сотовый телефон. «Олигарх» давал какие-то малопонятные ц/у. Звонил сам, задавал, как правило, один и тот же вопрос: «Ну как у тебя там?» Выслушивал ответ и на все давал «добро». Из чего я должен был понять, что дел у районного бизнесмена много и идут они как положено, то есть хорошо, что по-новорусскому означает «о’кей», что, в свою очередь, в переводе с новорусского имеет несколько значений в зависимости от интонации произношения: «так держать!»; «смотри у меня!»; «ну-ну, посмотрим!»; «пусть так, если лучше не можешь!» и т. п.

Походило на то, что господин Черпаков имел свои планы относительно предстоящего нашего общения, о чем и сообщил категорично, когда машина начала притормаживать и выруливать в паркоподобный квартал.

— Сперва заглянем к нашему народному живописцу. Не пожалеете.

Районное дарование представлялось мне этаким продолговатым, кудлато-мохнатым, в худшем случае, как ныне модно, мохнорылым существом, с красными и слезящимися от режимного похмелья глазами, или, наоборот, расплывшимся в кубическую форму от обжорства и опять же пьянства, непременно с кривыми ногами, но также мохнатым или мохнорылым... Сра-

ботал в сознании телевизионный образец — там что ни «дарование», то по внешности чистый придурок-кривляка. Антистандартизация — так это называется, уход от образа «простого советского человека».

Страсть как люблю неожиданности. Приватизированный районный Дом пионеров — двухэтажное белокаменное здание с двумя сверкающими колоннами у входа — был теперь полноправным владением «олигарха» Черпакова. Но только в столицах можно преспокойненько оттяпать домик в десяток этажей у общественности или государства и не поиметь при этом никаких неприятностей. А близживущим о своем жилье хватает и забот, и тревог. Кто-то, конечно, кинет косой взгляд на новую вывеску, сплюнет зло на асфальт и тут же и разотрет на всякий случай, чтоб на собственном плевке не поскользнуться. С образованием нового государства на весьма урезанной «одной шестой суши» для личностей, взятых, так сказать, в отдельности, опасность скольжения при перемещении на местности увеличилась пропорционально увеличению их гражданских прав, торжественно зафиксированных в новой конституции нового государства.

Районный же городишко — здесь всяк всякого знает и лично, и по месту жительства, и по биографии, где запросто кому хошь можно малую пакость сотворить при наличии пассионарности, говоря по-ученому, а по-простому говоря, всегда может найтись этакий «апофигист», каковому взять да плюнуть в рожу публично известному человеку — раз плюнуть, то есть запросто. И олигарх районного масштаба просто обязан соизмерять свои желания, потребности и в особенности возможности с непредсказуемостью окружающей его среды.

Именно таков Черпаков. И на здании бывшего Дома пионеров потому не красовались таблички с разными злобно звучащими аббревиатурами, но по порталу метровыми буквами с соответствующей круглосуточной подсветкой значилось ни больше ни меньше: «Дом народных талантов», где на первом этаже платный класс компьютерного обучения, и ведет его не кто-нибудь, а один из разработчиков первой русской программы — так называемого «лексикона», изгнанный в свое время из команды за «левый калым», спившийся было, но случайно и счастливо подобранный Черпаковым буквально в московской подворотне и возвращенный в жизнь посредством московского же ведьмака-антиалкоголиста, возвращенный прочно, но за такое «доро-

го», что, к жизни возвращенный, пока что отрабатывает олигархом вложенные в него деньги. Впрочем, и сыт, и одет...

В одной из деревень района все он же, Черпаков, отыскал полуслепую бабулю, умевшую вязать дивные свитеры и чуть было не утратившую свой дар по причине отсутствия, а точнее, внезапно немыслимо подорожавшего исходного материала, то есть шерсти. Теперь эта бабуля в другой комнате первого этажа «держит» конечно же платный курс вязания. Один вариант продукции «индпошива» Черпаков сумел навязать российской команде альпинистов как элемент формы со знаком фирмы: на спине свитера в виде вязальных спиц изображение островершинной горы, и не нарисовано, а именно вывязано. Стоимость одного комплекта покрыла затраты на борьбу с конкурентами. Специально нанятый дизайнер разрабатывает теперь форму для всяких чокнутых на северных прогулках...

Еще в одной комнате первого же этажа класс фортепьяно. Платный. Для детей районной элиты. Тут никаких талантов. Чистая коммерция.

Зато весь второй этаж — мастерская «дарования», куда после краткой лекции о продуктивном сочетании коммерции и добрых дел при правильном понимании ситуации мы наконец и поднялись по «тыловой» деревянной лестнице, поскольку центральная лестница была ликвидирована указаниями Черпакова, дабы обособить и воссоздать необходимые условия для творчества народного художника Максима Простакова. Сей псевдоним — личное изобретение олигарха. Изобретение — я тут же это признал — гениальное.

Если бы мне предложили определить на глаз профессию стриженного под «спецназ» русобрового, курнастого парня лет двадцати пяти, валявшегося на явно антикварном диванчике, самое последнее в перечислении мной известных профессий могло бы прозвучать: художник. А скорее всего и не прозвучало бы вовсе, как и некое другое, — например, солист балета или чемпион по тяжелой атлетике.

Он даже не шелохнулся при нашем появлении, вперил в своего благодетеля сперва вроде бы жалостливый взгляд, затем похмурнел, насколько возможно похмурнение такого типа физиономии, отроду, похоже, к хмуроте не расположенной и не приспособленной.

Зато в другом конце мастерской с кресла под антресолями бодро вскочил и двинулся нам навстречу мужичок лет пятиде-

сяти, от шеи до ботинок весь в «джинсе» не по возрасту и не по комплекции, почти лысый, коротконогий, носасто-губастый, с не то прокуренным, не то пропитым лицом. Сие выразительное лицо крупными своими чертами за пятнадцать спешных шагов от кресла до, надо понимать, хозяина — Черпакова — исполнило целую гамму чувств. Как-то: радость, робость, озабоченность, деловитость, еще раз радость и снова озабоченность, с нею и предстало пред...

— Ну как он? — спросил Черпаков джинсового чудилу.

— Да худо, Сергей Иваныч! Совсем худо. Просто вые... ну, выкаблучивается парень, спасу нет. Водки требует. Бабу опять же... Говорит, это... Щас...

Из накладного карманчика куртки достал бумажку, развернул.

— Ну да... Я записал... Говорит, без бабы у него сублимация не получается.

— Чего?! — хохотнул Черпаков. — Откуда ж он такое слово сколупнул, модернист хренов?

— Известно откуда, — зло косясь на парня, отвечал мужик. — Прошлый раз-то, помните, фуфырки из Москвы приезжали. Вконец заслюнявили, от ихнего писку люстра звенела. Вот и накачали всякой х... короче, сам не понимает, чо лопочет. А с другой стороны, опять же, в его-то годы лично я ни дня без бабы. Если только для дела надо... Вам видней. Хотя для простого понятия баба никакому делу не помеха.

— Ладно, разберемся, — отвечал Черпаков, продолжая похохатывать, щурясь на молодого гения, каковой принципиально отвернулся ото всех и только скулами поигрывал. — Давай-ка, Андрюха, замастрячь чайку своего...

Взял меня за локоть.

— Вы уже сориентировались, ху из ху? Этот вот, капризный, на диване позднего русского барокко, — мною открытый и мною же раскрученный исключительный самородок. А почему самородок? А потому, что в живописи он, по-ученому говоря, табула раса. Но цвет чувствует, будто с другой планеты. Ну это вы сейчас сами оцените. А Андрюха... Просто мой человек. С биографией, скажем так. В энном месте с ограниченным передвижением научился он особый чаек заваривать. Я вот, знаете, в Японии был. То, что они там церемонно отсасывают из чашечек... Не хочу плохого слова употреблять. У всякого народца

своя придурь. Нас же, русских, опять же коснись, какой только дуроты не отыщешь, если чужим глазом... А! Да и своим тоже... Может, дурней нашего и народу нету, вон чего уже сто лет как вытворяем. Ну пошли, пообщаемся с гением модернизма-примитивизма.

С нашим приближением парень неохотно скинул босые ноги с дивана, сидя, как попало заправил-позапихал зеленую атласную рубаху в черные шаровары, всей хмуротой погляда, однако же, утверждая, что задницу отрывать от дивана не намерен принципиально.

— Так что, Максимушка? Говоришь, сублимации тебе не хватает? А как насчет экстраполяции плюс электрификации всей страны? Тьфу, зараза! Язык аж спиралью загнулся. Кто такие слова придумывает, их надо с конфискацией, чтоб годик поторчали в метро с единой фразой: «Подайте жертве филологической дискриминации!» Жванецкий, если чудом в метро окажется, оценит и подаст.

Взял меня под руку, подмигнул:

— А еще сейчас одно модное слово появилось, вообще хрен выговоришь, только если по слогам: само-и-ден-ти-фикация! По-нормальному если, так нехитро ведь: осознай, кто ты есть сам по себе, сформулируй и зафиксируй. Главное-то что? Зафиксировать. Тогда слово как должно звучать? Опять же по слогам... Само-и-ден-ти-фиксация? Так? Нет? А «фикация» — это уже что-то про фикалии. Или фекалии? Один хрен. Смысл такой: обгадиться и убедиться, что дерьмо не чье-то, но исключительно собственное. Подозреваю, что кто слово это талдычит, именно к тому и призывает. А ну их! Ну-ка, ты! Гений хренов! Перед тобой люди стоят... Мигом стулья!

Похоже, что «мигом» парень отроду ничего не умел... Но встал на свои не меньше сорок пятого, с оттопыренными большими пальцами ножищи, прошлепал нам за спину, приволок тяжелые стулья с кручеными ножками и явно ручной работы резными спинками. На диван шлепнулся после того, как мы сели.

— А теперь расскажи... Вот писатель из Москвы... Интересуется, почему уже полгода известного народного художника Максима Простакова ни на каких тусовках не видно. И что это с ним приключилось? Аль холсты закончились, аль кисти колонковые подорожали, али талант исчерпался?

Парень глянул на хозяина вопросительно, потом на меня, снова на хозяина, но, видать, не понял, всерьез разговор или так, по хохме...

— Ну, это... Автоавария... Сотрясение мозга... Конкуренты...

— То-то! — строго ответствовал Черпаков. — Покушение на народного самородка. Это вам не то, что, положим, в запой ушел или в психушку попал. Покушение! Даже западные радиостанции сочувствие выказывают и ладошки потирают от нетерпения, когда ж наконец объявится по новой... И какие в творчестве перемены ожидать следует после того, как мозги на место встанут. А перемены-то будут непременно! Конъюнктура просчитана. Самое время, чтоб сквозь мазню куполки шатровые проглядываться начали. Дескать, о вечном мыслишки стали посещать, что означает помудрение по причине сотрясения... Куполки должны этак ненавязчиво, будто невзначай и наперекосяк, будто с особым осмыслением... Сейчас чайку попьем и смотреть будем, какие достижения по этой части. А ну дуй, помоги Андрюхе стол оборудовать!

Когда парень отшлепал в сторону кухни, что в правом крыле мастерской за перегородкой, Черпаков подмигнул мне лукаво:

— Припомнил я книжку вашу, читал, давненько, правда, когда еще все читалось... Вы человек серьезный. Я по-своему тоже очень серьезный человек. У вас, как я понял, хобби — рыбалка. А у меня вот этот... Поначалу, конечно, был чистый бизнес. Долго рассказывать. Что есть бизнес по-нашему, по-новорусски, сами знаете. Чистое жульничество. Все так начинали. А теперь вот! Картины моего мазилы — в четырех европейских галереях. Имя его — в двух мировых каталогах. А если с кем из московских художников знакомы — многие могут похвастаться такой мастерской? А?

Тут, знаете, одна чокнутая бабуля из бывшего РОНО повадилась детишек водить на просмотр творчества моего мазилы. Поприсутствовал однажды. Полный абзац! По ее ученой теории выходит так, что все художники прошлого лишь фиксировали действительность в статике, чем в итоге и спровоцировали изобретение фотографии. На этом их заслуги закончились. Первые, эти, как их... экспрессионисты устыдились и подались в сторону модерна. Вот с них и началось вообще искусство живописи. Искушение не копировать, а открывать невидимое

простому глазу. Искусство живописи, по ее теории, — это анатомирование предметного мира, выявление функций живых и неживых организмов... А цвет — это как бы расшифровка функции... Это что запомнил. Да, что она еще... Когда экскурсию приводит, требует, чтоб мой Максимушка на горизонте не отсвечивал, потому что он сам не знает, что творит, и знать не должен, потому что через его деревенские лапы душа мира соизволила приоткрыться понимающим, а он тут вообще ни при чем. Каково, а?! В добрые советские времена ее бы не то что к детишкам — к телятам не подпустили бы. Всю жизнь прожила в конспирации, если в РОНО работала, а нынче дорвалась... А может, поехала мозгами, кто знает, только...

В этот момент из кухни выдвинулась процессия: «джинсовый» Андрюха катил в нашу сторону изящнейший столик на колесиках, сзади плелся Максимушка все с той же хмуротой на роже. По краям столика четыре прибора: блюдце-чашка, а в центре литровая алюминиевая кружка, сверху по рукоять укутанная-закутанная чем-то меховым. Черпаков с азартом пояснял:

— Ага, значит, в чем смысл Андрюхиной заварки. Чай только забрасывается в кипяток, но ни в коем случае не кипятится, чтоб не выявились дубильные вещества. Герметика обеспечивает самонасыщение раствора. Ну и порция чая соответственна должна быть, чтобы компенсировать некипячение. И никакого сахару. Причем имейте в виду: то, что мы будем пить, не имеет ничего общего с так называемым чифирем, так что одно удовольствие и никакого банального балдежа. Правильно толкую, Андрюха?

Напомню, что Андрюхе за пятьдесят, потому смотрится откровенным холуем, и холуйство свое он демонстрирует соответствующей ухмылкой, ужимками, подмигиванием — в общем, крайне неприятен, если вглядываться... Он мне неинтересен, потому не вглядываюсь...

С торжественной осторожностью меховая нахлобучка снимается с кружки и небрежно отшвыривается в сторону. С клубами пара чайный аромат мгновенно заполняет пространство вокруг, все, в том числе и я, одобрительно и восторженно восголошаем нечто междометийное. Используя специальную на то рукавицу, Андрюха аккуратно разливает чай по чашкам. Максимушка в это время подтаскивает к столику еще пару стульев, хотя рядом диванчик, но, как я понимаю, стулья — часть риту-

ала. Пробуем одновременно. Я чай без сахара не пью, оттого вынужден изображать восхищение напитком, хотя, если откровенно, с души воротит, потому что, если это не чифирь, то что тогда чифирь, когда от одного глотка во рту словно веник зажевал...

Говорение, надо понимать, какое-то время также неуместно. В Японии я не бывал, но, думаю, предпочел бы их церемонии. То, что японцы пьют, то хоть проглатывать можно без ущерба для пищевода... Кроме меня, у всех выражение лиц одинаковое — наслаждаются. В поиске выхода из ситуации, закрыв глаза, чтоб зрачки не выдали муку, сделал третий глоток, затем с кружкой в руках поднялся, будто бы выявляя интерес к интерьеру мастерской, и тихо этак, с крайне интеллигентным выражением на физиономии приблизился к стене, что напротив, увешанной иконами, церковной медью и бронзой. Иконы нынче везде, без икон нынче никак. Небольшой спец, угадал, однако же, — с полдюжины икон не старше семнадцатого века. Бронза и медь — католическая вперемежку с православной... Притом высматривал место, куда бы незаметно выплеснуть...

В левом торце мастерской два аккуратных ряда с полотнами Максимушки. Ряды не просто рама к раме, но с переборками из поролона. На виду же вообще ни одной работы. Мольберт пуст. Рядом с ним столик с красками и кистями — разложены в порядке, смысл которого мне не понять. Не похож Максимушка на аккуратиста. Скорее всего, то работа «джинсового» Андрюхи.

В гостях у творцов цвета я не впервой, и если чифирный аромат на какое-то время перебил запах красок, то уже за десяток шагов от источника чифировони краски снова брали свое, для меня волшебное, потому что в рисовальном деле бездарен от природы, и, как всякое недоступное и умению и должному пониманию, аромат красок для меня таинствен, порою до головокружения. Всю жизнь до боли завидовал тому, к чему неспособен, и перед способными имел тайное преклонение. Тайное, потому что люди творческие — хищные пожиратели поклонения и преклонения, и оглянуться не успеешь, как начнут по плечу похлопывать, я же панибратства терпеть не могу, потому что — всего лишь шаг до хамства, а на ответное хамство я легко провоцируем.

Конечно, пытался. Изучал закон или правила перспективы, и Флоренского про преимущества перспективы обратной по-

читывал, а на основании почитывания трудился понять иконопись. Но, как объяснили умные люди, всякое понимание во вред чувству, что, дескать, путь к снобизму... Тогда успокоился, решив, что чувством все же не обделен, чем и следует довольствоваться, а рассуждений станем избегать, поскольку ничего стоящего и уместного словами выразить не сможем.

За столиком меж тем церемония чаепития завершалась, судя по скрипу стульев, а я как раз изловчился и выплеснул остатки чая в угол между какими-то ящиками-тарой, что у стены за деревянной лестницей на антресоли.

— Ну, теперь давай, неиспорченное дитя природы, демонстрируй, как ты переосмыслил бытие человеческое после сотрясения мозгов посредством автопокушения подлых и завистливых конкурентов по живописному цеху! — громко возгласил «олигарх» Черпаков. — Посмотрим, созрел ли ты для явления народу-потребителю.

— А чего? И запросто! — отвечал Максимушка. Новым звучанием голоса его я был удивлен, обернулся и ахнул даже. Чифирок явно пошел ему на пользу. И ликом посветлел, а глаза засинели-заискрились, и головка этак набок с вызовом: дескать, не пальцем деланы — могем! И вялое телошевеление куда только девалось! Метнулся за пустой мольберт и на вытянутых руках извлек из тайника и торжественно представил шефу-повелителю новое свое творение. Я поспешил оказаться рядом...

Ну конечно же — мазня! Однако ж притом глаза будто прилипали к небрежно обрамленному клоку полотна... Ум ухмылялся, а глаза уму вторить не спешили. Без сомнения, мазня имела некую внутреннюю структуру, обеспеченную сочетанием цветов...

— Вот то, что я вам говорил, — Черпаков взял меня за локоть, — зелень, как бы заплывающая в фиолет, а красное — в чернь... В природе такого нет, природе такие сочетания противоестественны, а главное, заметьте, ни следа деланья, а так, будто мимо проходил и махнул туда-сюда, чистый экспромт, что в наши экспромтные времена ценится весьма. А вот и моя подсказка, видите, именно так, кривыми небрежными штрихами, будто между делом, на подсознании — полускелет храмового купола, не сразу и заметишь, и так и должно быть! Так! Представляете, сколько материала для мудрых суждений наших полусумасшедших искусствоведов, особенно женского полу.

Их хлебом не корми, дай загадки творчества поразгадывать да поперетолковывать так и этак... Стоп! А это что! Ма-кси-и-мушка! Это что такое? Это что за фортель?! А?!

В левом углу, в глубине светло-зеленого, — темно-зеленые очертания... Не подскажи — не заметил бы. Но зорок глаз шефа-вдохновителя. Если приглядеться, не что иное, как женская промежность, правда, весьма скромно и робко...

— Что это? — сурово вопрошал Черпаков, пальцами вцепившись в плечо Максимушки. — Это что за банальность?! Да знаешь ли ты, убогий, что сегодня девяносто процентов всех мазил твоего толка двинуты на сексе. Первый сигнал первой сигнальной системы!

— Да так как-то, — смущенно оправдывался Максимушка, — нечаянно получилось... Щас замажу...

— Стоп! Я тебе замажу!

Черпаков правой рукой взял себя за подбородок, застыл в задумчивости, однако же не отпуская левой рукой плеча мазилы.

— Знаете, — это уже мне, — у позднего Пикассо есть рисунок. Задница наклоненной женщины. Но подписано не «Задница». Подписано: «Женщина». По идее, всякие там феминистки могли бы и возмутиться, но ведь не возмущаются, а мочатся в колготки от восторга. И то, что классик к концу жизни слегка шизанулся на известной теме и по известной причине, — это им нипочем... Классику все можно. А молодому гению? Как думаете?

— Если честно, никак.

— Понял. Беру на себя. Оставляем. Первая дуреха, которая обнаружит, объявит эксклюзив на толкование, а там, глядишь, и толковище... Оставляем! Я ведь, — это опять мне, — за эти годы стал отменным знатоком всей мировой живописной халтуры. Знаю всех придурков поименно. Причем не только кто как мажет, но и, — а это главное, — кто сколько стоит. А бухгалтерия в этом деле, я вам скажу, презабавная, непредсказуемая. Короче — хобби! Это вам не уклейку подсекать в час по штучке.

— Ну почему же обязательно уклейку, я больше по карасям да карпам...

Но Черпаков уже меня не слушал.

— Значит, так, Максимушка. Срочно штампуешь с десяток вариантов, недельку, думаю, тебе хватит. И сохрани тебя Бог от

повторов. Сделаешь все в масть, как положено, через неделю разговляемся, прикрываем пост, объявляем тебя народу, и гуляй душа. Второе явление Максима Простакова — мне кайф, тебе — разгул и разврат. С Танюхой твоей, кстати, третьего дня общался по телефону. Обещал, что скоро, вот-вот... Как гипсы снимут, так я ее к тебе запущу. Просьбы по быту есть?

— Есть просьбы! — вдруг зло отвечал Максимушка. — Уберите от меня этого держиморду!

И чуть ли не прямо в глаз ткнул Андрюхе. Тот аж отшатнулся.

— Во сучонок неблагодарный! — возмутился Андрюха. — Я ему только что ширинку не застегиваю...

— А нет у меня ширинки! На вот! Нету! Шаровары хохляцкие. С самого Киева подарок! Хохлы вообще стоя не с...! У их такой национальный обычай, понял!

— Цыц! — гаркнул Черпаков не очень-то грозно. — Разорались тут! Во-первых, ты, Андрюха, запомни: Максимушка не сучонок, а народный талант, и ты с этого таланта свои бабки имеешь. А плюс с моими немалые по нынешним временам.

«Олигарх» нежно и хищно приобнял Максимушку.

— А ты, простакиша хренова, брось капризничать. Если ты мне надоешь раньше времени, отпущу на вольные хлеба. Тогда и посмотрим, сколько ты на плаву продержишься. Так есть вопросы?

— Таньку пришлите. Я на ей жениться буду.

— Ишь ты! Серьезная заявка... Это стоит обмозговать. Народный самородок и эстрадная крикунья... В этом что-то есть! Обещаю в ближайшее время... Короче — записал, думаю. Подождешь самую малость? А? Подождешь!

Снова обнял парня.

— Я ж тебя люблю, дурила ты этакий. Только знаешь, как в ненародной песне поется? «У любви, как у пташки, крылья...» Так что ты мою любовь цени, а я, как стоящую цену тебе оформлю, конечно же отпущу. Не век же тебе у меня за пазухой. Короче, терпи, казак, атаманом будешь, тем более что шаровары уже при тебе!

И вдруг расхохотался-расхихикался.

— Слушайте, братцы! Тут вот час назад редактор наш бумажку мне показывал, по почте пришла без подписи. Отзыв на наше дело с Максимушкой. Это, значит, так:

Черпанул Черпаков Простакова
Из деревни-села Мудаково.
Ни Париж, ни Берлин, ни Москова
Мудака не видали такого!

— Во козлы поганые! — всерьез обиделся Максимушка.

Зато Андрюха злорадно хихикал в рукав и злобно оплывшими глазенками зыркал.

— Подозреваю, — протирая слезинку смеха, комментировал Черпаков,– что сей поэтический опус — дело корявых мозгов и пальцев нашего отставного коммуняки Лытова Федора Кондратьича, которого никакая кондрашка не берет потому, что шибко борьбой со мной занят. И нехай себе живет, сколько борьба позволит! Я за демократию. И демократия, похоже, за меня.

3. Жизнь

Дом семьи Рудакиных вовсе не всегда был крайним в деревне Шипулино. Оставшиеся старожилы говорят, что помнят, по крайней мере, еще два дома дальше по невысокому, покатому косогорчику, и фамилии тех семей тоже помнят. Но вообще, говорят, когда-то здесь чуть ли не середина деревни была, но в какие времена было такое, не помнит никто. Знать, издыхание деревни началось давно, хотя ничего, что для жизни деревни необходимо, за те же годы не уменьшилось. Скорее, наоборот. Река-речушка поменяла русло и прибавила луга, и земель вокруг видимо-невидимо. То есть сами земли видимы, а на них, кроме дурнотравья, ничего доброго. Сперва куставьем, а потом и мелколесьем поросли бы, как это обычно бывает. Но время от времени откуда-то поступали приказы, и тогда, опять же откуда ни возьмись, — вся деревня удивлялась, откуда взялись, — появлялись трактора и вспахивали все до самых косогорных горизонтов. Затем завозились горы каких-то удобрений, но так и оставались горами, пока их частично не растаскивали, а дожди да половодья не размывали в ложбины и низины.

Старожилы помнили семью Рудакиных, когда это была еще семья. Семья была дурная, по крайней мере, с момента памяти о ней. Семья, как и рыба, гниет с головы. Так вот, Мишка Рудакин зачудил сразу, как с войны пришел. И в правлении посидел, и в бригадирах побывал, но только тошно было ему с первых дней среди глупости деревенской, потому что на войне, а особенно после войны — год в проклятой Германии, в неболь-

шом неразбомбленном городке порядок наводил — насмотрелся он таких разностей жизни, что от одного погляду на нищету да суету шипулинскую душу блевотиной выворачивало. Так и кричал в правлении, когда особенно поддавши бывал, так и кричал в председателеву рожу: «Это жись? Это не жись! Ты ж даже до Польши не дошел! А спроси, кто за Польшей побывал, любой скажет, как жить можно. Если с разумом...»

С первого фортеля упекли бы Мишку Рудакина куда следует за враждебность настроения, но ведь мужик, ни разу не раненный и к крестьянскому делу приспособленный, и, как мужику положено, только пришел, тут же и детей начал делать одного за другим — год через год два парня. А девка, еще довоенная, уже на ферме вместе с матерью наравне... В общем, долго возились с Мишкой Рудакиным всякие местные начальники. Еще потому, что по всякому личному делу угодить умел и имел чем. Напривез он из Германии некрестьянского добра уйму. Специально машину гоняли на станцию за сто верст, чтоб добро доставить. Один аккордеон подарил председательскому сыну, к музыке способному, и не зря подарил — стал сын музыкантом, когда Мишки Рудакина уже в живых не было, а деревня еще была, клуб свой имела и даже почту, приезжал, три часа шипулинцы слушали разную музыку и даже Мишку покойного добром поминали.

Парторгу колхозному вообще дивную вещь подарил: такую посудину, в которой горячий чай не стынет, хоть целые сутки его там держи. Называлась эта штука по-иностранному — термосом. Мишка хвалился, что выменял его у американца. А парторг-то — рыбак заядлый, подарок в самую точку. А всяких губных гармошек, коротких и подлиннее, с десяток раздарил кому попало. А какие отрезы крепдешинов, и креп-жоржетов, и шевиотов в сундуке держал на посмотр да на показ, бабы только ахали. Но недолго ахали. Как запоем поболел Рудакин, все спустил по дешевке, и лишь девке своей, Галинке, кое-что пошить успела жена рудакинская, сама всю жизнь проходившая почитай в отрепье, потому что шибко работящая была. С первых дней, как еще до войны выскочила радостно за балагура колхозного, сразу в домашнюю работу впряглась под командой свекрови и после свекрови, когда та померла от грыжи, весь дом рудакинский на себе тянула. И в колхозе, само собой... Уже до войны они были разные. Надька, жена Мишкина, трудяга-работяга, а он больше придумщик да балагур. На войну уходил с первыми призывами, уходил, как на

праздник, за наградами да за славой, да с надеждой, что через месяц-другой, фашистов разгромив, паспортишко в руки и ноги в руки — да в город какой-нибудь, где жизни больше. А вернулся через шесть лет, не по воле вернулся. Когда б всем по воле, кто б колхозы подымал... Деревня, хотя войны и не знала, но обхудилась вконец. Недельку потряс медальками на груди Михаил Рудакин, а дальше, будь добр, впрягайся без просвету...

Первыми начали невзлюблять Мишку колхозные вдовушки и девки-перестарки. Он, этот чудила, любовные дела исключительно со своей костлявой Надькой имел, а всем прочим, кого бабья тоска до болезней доводила, одни подмигивания да намеки неприличные, а дела — никакого. Потом начальству надоел со всякими бесполезными придумками. У начальников тогда еще не было ни машин, ни мотоциклов, так уговорил купить рысака и коляску на мягком резиновом ходу, а сам как бы извозчиком. Ухнули добро на рысака, а он побегал по колхозным дорогам колдобинным, да и поломал ноги, а как списывать?

Мужиков деревенских, целых и калеченых, тоже на всякие глупости подбивал. Уговорил речку их, мелководную и чернодонную, что протекала наискось деревни и утекала в другую речку, что чуть больше, перегородить в узком месте, с дальних озерец карасевых мальков натаскать, вот тебе и своя рыба в деревне. В воскресные дни да по вечерам сооружали мужики, да и бабы тоже, дамбу из земли и глины, и соорудили, но пустячка не учли, что в том самом месте сток с фермы. По весне особенно стекало дерьмо коровье в речку, разбавлялось само по себе течением, и ничего, скупнуться можно, и даже пескари водились, иные ладошки покрупней. А как перегородили, первой же весной, еще до всяких мальков, такой вонятиной поперло на деревню, с подветру, значит, что какие там мальки, если даже утки только крякали противно, а в это озерце вонючее не лезли. И когда разобрали и воду вроде бы спустили, дерьмо осело по берегам да на дне и все лето смердило.

Кажется, после того сдвинулся в запой Мишка Рудакин и в рабоче-человечье обличье так и не возвратился. По похмелью перевернулся с трактором и шею себе сломал смертельно.

Надька, жена его, неделю ревьем ревела, работала и ревела, и ничья жалость в пользу не шла, пока сама не успокоилась и на парней-безотцовщину душу не направила.

Рудакинские сыновья еще с мальцовского возрасту уже разнились постороннему глазу. Старший, Андрей, тот, без спору, в

мать пошел. И работящий, и ко всякому крестьянскому делу сообразительный, к дому заботливый. Как Галинка-сестра замуж вышла в деревню, что через деревню, почти рядом с районом, так стал Андрей первым помощником матери, которая по смерти мужа тощала с каждым годом, но вкалывала, как и прежде, без передыху.

Младший, Санек, Сашок и просто Саня, тот не иначе, как весь с отца скинулся. В школе — в деревне в ту пору еще школа была четырехкласска — учился лучше брата и ни в одном классе по два года не просиживал в отличие от Андрея, за что и имел поблажку от матери по домашним делам. Но проказничать начал, как только путем говорить научился. Дома проказничал с разными прикидонами. С теми же курами. Их было с десяток да петух-красавец. Какая задача была? Прежде чем в школу убегать, Андрей по корове ответственный — в стадо отогнать. А Санек? Ему надо кур общупать. Какая с яйцом, ту в курятнике оставить, какая — без, та гуляет. Общупать — это курицу под мышку хвостом вперед, палец засунуть, откуда яйцо вылупляется, если яйцо есть, палец не ошибется. Однажды решил придурнуть, сделал вид, что по ошибке, и петуха прощупал, засунул ему палец в задницу, да так глубоко, что сперва петух перья начал терять, на кур только вскакивал без всякой пользы, а потом совсем зачах, пришлось рубить голову и в суп. Конечно, соседский петух соседей в обиде не оставил, только чужой — он и есть чужой. Пока нового цыпленком взяли, пока дорос до своей работы — одни потери.

Или корове в сено белены поднакидал, посмотреть, что будет. С человеком известно что. Иной пацан нажрется опять же для интересу и сперва вроде человек человеком, только щурится все время, будто вшей высматривает, потом, значит, вши ему и вправду чудятся, начинает со всех снимать и ногтями давить. Если мало выжрал, на том дело и кончается, но если пережрал, так диковать начинает, только хватай да связывай. Молоком отпаивали. Как отпаивали, не помнит, но гордится. Еще бы! Лишнего молока ни у кого. Лишнее в сметану, потом на масло, а масло — на сдачу государству. Попробуй не сдай что положено! А тут — отпаивали!

Но эта мода быстро прошла. Отцы и матери, кто без отцов, приемчик такой придумали: прежде чем отпаивать, «беленному» секли ремнем задницу до кровяных полос, а потом уже за молоко... Тут шибко не погордишься.

А корова? Корова не человек, она умная, в ней ум весь как есть на жизнь настроенный, а не на всякие фокусы, — жевнула пару раз да выплюнула. Мать в сене белену нашла, Саньку пытала, в стайку накидал или на сеновал. Санька признался, что только в стайку. Собрали, сожгли.

Еще вот ведь какое диво. Рудакин-отец песни любил распевать и по пьянке, и по трезвости. Но вместо голоса перла у него изо рта сплошная хрипота, чувства на песню не имел, и когда в компании, все его упрашивали, чтоб лад не портил. Зато у Рудакиной-матери голосок был суще ангельский, только пела она очень редко, а когда муж помер, никто не помнит, чтобы пела даже в застолье. Так вот, по природной причуде, весь в отца вылупившись, Санька только голосок ее и поимел в наследство. И что? На пользу?

Отец разные песни пел, в том числе и хорошие тоже. Санька же, ну ведь совсем шкет был, а запомнил от отца одни гадости. Залезет, случалось, на крышу, это когда матери дома нет, и на всю деревню мамкиным голоском такую вот похабень:

На позицию девушка,
А с позиции — мать.
На позицию честная,
А с позиции б...

Кто из соседей пристыдит, он хохочет только. Но тоже нарвался однажды. Пололи картошку, мать в одном конце огорода, мальчишки с другого конца ряды вели. Санька возьми да и запой:

Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь...

Тут мать, будто сама белены объелась, глаза вширь, руки с пальцами врастопырь вперед, налетела, как коршун, и давай лупцевать любимца своего почем зазря. Ни до ни после пальцем ни одного не трогала, а тут Андрейке вмешаться пришлось, за подол потянул, на землю, на ботву картофельную опрокинул. Потом оба утешать замучились, выла страшно, без слез...

Но, пожалуй, неправда, не один только голос унаследовал Санек от матери. С общего женского погляду, Рудакин-отец лицом был так себе, все крупно, будто одно другому мешало, ноги к тому же коротковаты и кривоваты. Хвастался, что из казаков бывших...

И тут опять природная причудь. Андрейка, что характером, да повадками, да трудолюбием — весь в мать, лицом и фигуркой — отец родимый. Зато Санек — черты лица тоньше, и постройней, и мастью... Отец и мать — оба русовласые, да с разницей. Санек материнскую разницу поимел. Девчонкам нравился. А уж они ему! Со второго класса под подолы шарился, и по рукам получал, и по носу, но обиды по себе не оставлял, прощали. Потому что был еще и добрым. Кусочек хлебушка в тряпочке, чтоб на перемене съесть, — хочешь? На. Запросто отдавал. Игрушки какие — на, поиграй. Поломал? Ну так, для порядку — слегка по шее.

Андрейку же все считали жмотом. Он таким и был, бережливым, рассудительным, если что нес, то только домой, а никак не из дому. Девчонки в школе его не любили, мальчишки только уважали, потому что если дрался, то до полного уморения. Впрочем, по-одному братья дрались редко. А редко дрались, потому что вдвоем что троих, что четверых побить могли, — к ним не нарывались на драку. Разве что чужие, пришлые.

Скоро Санька обогнал Андрейку по классам, который остался на второй год в четвертом, и по тогдашнему закону о всеобщем семилетнем был определен в интернат в районном центре, куда Санька по сентябрю с радостью умчался на ЗИСе, прихватив с собой один из двух привезенных отцом с Германии аккордеонов.

С этих дней Андрейка все больше и больше начал чувствовать себя хозяином дома и всего домашнего хозяйства. По мелким домашним делам заменял мать охотно, от школы отлынивал по всякому поводу, и мать не знала, радоваться ей, что сынок такой домашний, или плакать, что неучем останется. Так вот и жила, радовалась и плакала. Но радовалась больше, потому что хоть и не на каждый воскресный день, но приезжал-таки Санек, школьными успехами хвастался, иногда и аккордеон прихватывал и новую разученную песню играл, соседи слушать приходили, нахваливали. Андрейке тоже нравилось, как братан справляется с такой громадной гармошкой, но не завидовал ничуть, потому что знал: завтра брат умотает к себе в район и он снова останется сам по себе хозяином...

Однако ж, как ни придурялся Андрейка в школе, на третий год оставлять его в четвертом классе учителя никак не хотели и выперли-таки, всучив свидетельство со сплошными трояками.

Три несчастных года провел он в районном интернате. В районе со школьными делами строже. В пятом классе пару лет отсидел. В шестом вообще начал косить на тупость. Сперва опять оставили на второй год. Но потом, чтоб лицу школы не вредить, комиссию придумали на дурака проверять. Тут им Андрейка — всей душой в помощь. Забраковали-таки. Бумагу какую-то сочинили, что, мол, хватит на такого тупаря государственные деньги тратить. Оказалось, к великой радости Андрейки, что по бумаге ему и в армию можно не идти. Это он, правда, позднее оценил. Теперь же, переждав немного по возрасту, подался на курсы трактористов.

Мать к тому времени вконец истощалась, с фермы ушла, работала на подсобках и лишь огород держала в исправности да живность всякую выкармливала, чтоб сыновьям было что подкидывать на их постоянную недоедалку, — не баловали жратвой в интернатах по тем временам.

В последнюю зиму трактористской учебы Андрейки сгорел крайний дом в деревне Шипулино. Прежний крайний сгорел двумя годами раньше. Теперь крайним стал рудакинский дом, и, вернувшись домой, Андрейка, теперь уже и не Андрейка, а Андрюха, крепкий, мускулистый парень, ни в какие дурные приметы не верящий, наоборот, оценил новое положение их дома-хозяйства как выгоду, какую надо только использовать с толком. Перво-наперво разобрал по кирпичикам русскую печь погорельцев и цельные кирпичи штабельком уложил на задах от лишнего взгляду. Заплот, что разграничивал огороды недавних соседей, передвинул вплотную к пожарищу, прихватив таким образом пять-шесть соток. Другие времена наступили, никому уже не было дела до лишних соток. Колхоз укрупнялся, деревня худела хозяевами и уже приняла первых дикарей-дачников аж из самой области, что за полтораста верст. Дома отдавались считай что задарма со всем хозяйством. На центральной усадьбе колхоза коровий комплекс придумали, и местная ферма опустела, и хотя ее тут же с пользой растащили, урон для деревни был ощутим. Корма-то откуда брались? Коров начали продавать, потому что не всякая семья могла накоситься на зиму, хотя трав добрых вокруг — коси не хочу. В общем, деревня хирела, а крайний дом рудакинский Андрюхиными руками, уже и без материнских рук, почитай, точно соком наливался, обрастая пристройками да огородом ширясь во все стороны.

Колесный трактор с прицепушкой, на котором Андрюха работал на колхоз, при доме. Утром умчался, работу переделал колхозную без всяких перекуров и пораньше — домой, на главную свою работу, а ее сколько ни делай — не переделаешь. Баню заново отстроил, все подсобки, что по каждой весне кособочились в разные стороны, на кирпичный фундамент поставил, о пристройке подумывал, потому что высмотрел вроде бы подходящую девку для жизни, а для беготни по чужим шибко много времени требовалось.

Когда брат Санька, окончив десятилетку, объявился, не только дома не узнал, но и на братана дивился, причудно шевеля матушкиными бровями. Его мысль про женитьбу обхохотал, конечно, но голосом по отношению к брату поменялся — не мог не зауважать за работяшность и серьезность ко всему домашнему. Самому же Саньке Андрюхино хозяйство побоку. Нацелился в геологический институт, чтоб по свету бродить и всякую неизвестность собственными глазами видеть. И поступил ведь! И пропал из виду, лишь открытку, не письмо даже, картонку с картинкой и со словами благодарности присылал регулярно после каждой посылки, отправленной братом на адрес общежития.

Стала зато сестренка старшая, с двумя детьми уже, наведываться в дом родимый, с матерью обоплакаться-пошептаться. К Андрюхе ластилась. Восхищалась и только вздыхала странно, муженька своего поминая при случае. Пил. Обычное дело.

Когда после школы в деревне и почту закрыли, сестренка как раз и стала почтальоном. Два раза в неделю на велосипеде прикатывала, разносила газеты да редкие письмишки, дома отсиживалась, и потемну уже назад, в свою деревню, а это немало — семь километров, если тропой напрямик буераками, минуя ближнюю деревню.

Потом много годов прошло. Андрюха женился, и жену угадал правильно. Домашняя. Девку и сына родила. Мать померла. Тихо, как жила. Занедужила— то болит и это болит, да не шибко. Привозил Андрюха врача, тот всяких лекарств навыписывал. Пила. Как-то к вечеру вдруг расстоналась, расстоналась, Андрюха загоношился, хотел трактор завести, отговорила, рядом попросила посидеть да помолчать. Сидели. Андрюха — с одной стороны, жена — с другой. Вдруг глаза ее раскрылись, будто по-особому, будто для жизни по новой, да только как по-

текли из этих глаз слезы, прямо ручейками по лицу. Лицо спокойное, вроде светлое даже, а слезы текут и текут. «Ты чо, мам? Ты чо?» — взвопил Андрюха. А ничо. Померла.

Разрезать мать Андрюха не дал. Да не шибко и хотели. Похоронили по-хорошему, деревней. Кто остался.

То по ранней весне случилось. А по поздней весне объявился Санька. В одном только и каялся, что мать не хоронил. А что с последнего институтского курса выгнали за хулиганскую драку, это ему плевать. Все равно почти геолог. Уже и в партию геологическую записался куда-то к чертям на кулички.

Съездили в район, и Андрюха по-честному половину с книжки снял и всучил брату. Тот брать не хотел, стыдился, но взял. И все. Исчез. Как пропал.

Потом опять были годы обыкновенной жизни, хотя обыкновенность жизни тоже бывает разная. Деревню Шипулино, словно крадучись, обступали леса. Леса знали, кому они были нужны. Они нужны были чужим людям, которые поселялись в домах бывших шипулинцев, поселялись, чтобы не жить всерьез, а только поживать с весны до осени и, за зиму глазом отвыкнув, по весне приезжали на машинах и радовались, потому что им только и дано было заметить, что, положим, тот вон косогорчик, когда дом покупали, пуст был и гол, а теперь — глянь!

Правда, леса, которым радовались дачниковы глаза, — дрянные были леса: ольха да орешник, береза — редкость, хвои вообще ни ствола. И грибы в этом лесу — одни полупоганки. А дачникам — им что, им не грибы нужны, а собирание грибов, и едят полупоганки не по вкусу, а из принципа. Но если по-доброму, то дачник дачнику рознь. Иные вроде бы и на отдых приезжают, а вкалывают на своих сотках с утра до темноты, парники напридумывали и понастроили, у местных огурцы только завязь пустили, а дачник иной сидит на крылечке и знай похрустывает...

Андрюха Рудакин не гордец какой-нибудь. В чем уверен, по-своему делает, но к чужим придумкам впригляд. Отгрохал теплицу под стеклом и с подтопкой. Помидоров кучный сорт, тот, что рассаду высаживают не прямо, а внаклон, освоил, и когда «Иж»-«каблучок» купил, на малые местные рынки, а то и в район — нате вам помидорчики свеженькие, когда везде прошлогодние — мятые и полугнилые. Картошка-скороспелка, клубника — особый сорт, огурцы разных сортов — и в салат, и в маринад...

Власть к тому времени властвовать все уставала и уставала. Прежнего контролю, что против достатка, уже не было, да и с любым контролем по-хорошему договориться можно — знай себе хозяйствуй. А люди из деревень уходили и уходили. Иные в пьянь, как в омут. Иные, детей отпустив, хирели, старились не по годам, хозяйство — вразвал... Глядишь, уже и дом заколочен. А по весне в нем уже дачник шуршит, машина блестящая перед домом, а из машины на всю тишину деревенскую барабаны да визг нерусский. Благо, дом рудакинский с самого краю — едва только «бум-бум» доносится.

Андрюху в деревне не любят, но уважают. Не любят за жадность к хозяйству и вообще за жадность. Бруска, положим, косу подточить и не проси. Не даст, потому что, дескать, сам должон иметь... А уважают... Опять же за ту же самую жадность к хозяйству, но еще и за трактор. Кому чего вспахать, отвезти, привезти — ради бога, выкладывай, сколь положено, и получай услугу. Планы у Андрюхи — аж дух захватывает. Андрюхин дух, конечно. Жена, хоть и домашняя, и дом держит, как положено, с годами характером портиться стала, особенно когда детей в район в интернат отправили. Иной раз изворчится вся, что и телевизор толком не посмотришь, и к родным не съездишь, как захочется, и вообще «жись будто мимо»... Это Галинка-сестра вредит. Почти старая, уже сутулая вся, а по-прежнему почтальонит, только теперь не на велосипеде по дохлым деревням раскатывает, а на мопеде. Приедет, усядутся где-нибудь особняком, в теплице чаще всего, и час-другой молотят о чем-то. Жена потом до ночи, губы поджав, ходит и только буркает, если муж чего спросит. А в кровати сразу мордой к будильнику и не дотронься — дернется задом и отодвинется.

Знать бы заранее, что как раз с нее, сестры Галинки, вообще вся жизнь переломается... Да не дано...

Возможно, из-за этих самых жениных капризов — хлопнуть дверью да уйти куда-то — сошелся-подружился Андрюха с дачником-соседом, что напротив наискось у первого деревенского колодца. Сергей Иваныч, по возрасту почти и не старше, но рассудительный не по годам, обо всем говорит толково и со смыслом. А к Андрюхиному трудовому усердию — с почтением, хотя сам и вся семья его свое деревенское житье понимать хотят только как отдых и если копошатся на грядках и недоразумения всякие выращивают за лето, то только для получения разнооб-

разия в жизни. Две дочки-выпендрючки по деревне царевнами ходят и голыми пупками сверкают...

Чаще всего чего ради переходил дорогу Андрюха и шел к соседу? Да чтоб так, будто за разговором, пожалиться на жизнь, не вообще на жизнь, конечно, а на конкретности некоторые. На жену — нет, это позор. А вот на земляков, что смотрят косо и говорят меж собой, что, мол, обжадился вконец Андрей Рудакин, зимой снега не выпросишь. А на хрена ж тебе, спрашивается, снег зимой от соседа, когда свой с крыши скинуть лень? И вообще...

Сергей Иванович в районе бухгалтером в каком-то КООПе, а по совместительству и по уважению еще и в судейских делах на должности. Он всякую заботу с корня рассматривает.

— Тут, понимаешь, Андрюша, не с «вообще» начинать надо, а с частности. Но с главной! Смысл крестьянского труда... Понимаешь, нет его. Потеряли. А смысл — он ведь не в том, чтобы просто выжить или нажить. Крестьянин, он раньше даже и рабом будучи, а все равно высоко понимал себя. Не умом понимал, ум — что крыса, знай дыры прогрызает, где не надо. Вот мне в детстве бабка моя сказочку одну читала в стихах, стихи, как песенка, запоминались легко. Дак там такие строки были... Начало не помню... Значит, та-та-та...

...не на небе, на земле
Жил старик в одном селе.
У крестьянина три сына...

Та-та-та... Не важно... А, вот:

Братья сеяли пшеницу
И возили в град-столицу.
Знать, столица та была
Недалече от села.

Это ж потрясающе! Ты что-нибудь понял? Ничего ты не понял. Разъясняю! Не село недалеко от столицы, а столица недалеко от села. Опять не понял? Ну как же тебе втолковать... По крестьянскому пониманию — не село при столице, а столица — при селе. Это к вопросу, что первично в крестьянском сознании. Если спросить, то есть по уму, то, конечно, столица — там царь-батюшка, что всех главнее, и тэ дэ... А вот если как бы помимо ума, а машинально, тут-то и самая тонкость: «Знать, столица та была недалече от села»!

Ну, то есть имел к себе крестьянин уважение, хотя и не понимал его. И в том было его особое счастье и источник трудолюбия. Конечно, не все так просто... И всякие салтычихи бывали, и колхозы — по четыреста грамм зерна на трудодень. Но крестьянин был при Земле с большой буквы, значит, и сам... Ну как вроде бы гегемон... Не понимаешь? Слышал, ты и семилетку не закончил? Да нет, я не в укор. Какие-то знания, конечно, школа тебе бы дала, а ума едва ли прибавила. Ум — от природы. И он у тебя, Андрюша, в наличии. Сказал бы даже — в соответствии. И если земляки тебя не понимают, это потому, что их ум уже не в соответствии, так сказать, с окружающей средой. Умом они все уже не здесь, а в городах. А там, братец, совсем другая диалектика жизни. Хуже? Не скажу. Другая. Рыбе лучше в воде, а птице — в воздухе. А представь, что какой-нибудь карась воробью или вороне запозавидовал. Прочие караси ему — что? Да одно раздражение. Во тупые, дескать, им бы все с утра до ночи по водорослям шарахаться. А птичка — раз! — в небо и какнула с высоты на кого хошь! А то, что у птички своих забот по самый клюв, то завидливому карасю не просечь...

Андрюха говорение своего соседа понимал через раз, по натуре болтлив сосед, оно же видно, однако ж всякий раз уходил на свою сторону улицы и ободренным, и словно на сантиметрик-другой ростом повыше, и на земляков-соседей уже с прищуром, и если кто в такой вечер рискнул подвалить к нему с просьбой дать «на банку», мог и дать — хошь скотиниться, ну и скотинься на здоровье, коль по-человечьи жить не умеешь, кишка тонка.

Кажись, вечность прошла... Дети уже вовсю женихались и невестились, а вожди государственные помирали один за другим... И объявился Санька-братан. Не откуда-нибудь объявился, но из тюрьмы, где по хулиганскому делу отсидел хотя и недолго, зато с надзиранием милицейским и строгой припиской к деревне Шипулино, какую покидать хоть на сутки — ни-ни! Иначе назад, за решетку. И раз в неделю на центральную усадьбу в «ментовку» к участковому на показ. А за непоказ — опять же назад...

Голенький объявился, без рубля в кармане, зато — и это диво! — с аккордеоном, все тем же, отцовским. И как он эту гармошку сохранил, не пропил, не проиграл, даже и не понять. И вся жизнь его непонятная, а хвастался ею, что ни вечер. Про та-

ежные приключения, про Камчатку, где вулканы и всякие исподземные чудеса, про людишек, которые будто бы отысканы были в тайге, куда ушли от советской власти еще бог знает когда и одичали, но выжили без всего остального народу. И медведя-то он, Санька, брал чуть ли не голыми руками, и самородок золотой в пол-яйца находил и пропил, и баб переимел тьму, дважды от дурной болезни излечивался из-за этих самых баб.

Жена с сестрой Галинкой дых теряли, слушая Санькин треп. А он после трепа и лишь бутылку дожрет, аккордеон в руки, да как растянет чуть не до спины, как даст по клавишам, как врежет танго, глаза с мутнотой вширь, а из глаз слезы, как у матери, когда помирала... Тут и жена с сестренкой такой взрыд устраивают, что и Андрюхе защитить свои мозги от тоски-заразы невмочь. На музыку да на хандру соседи сползаются опять же с бутылками — не прогонишь. И за полночь вой да крик на всю деревню.

Санька басы бросит, левой рукой Андрюху обнимет и шепчет на ухо: «Вся жизнь, братан, обида одна, ни в чем смысла путного нету! Проверено!»

Тут снова по басам вдарит и голосом надрывным: «Есть только миг между прошлым и будущим...»

Андрюха, однако ж, нет, не согласен, но не возражает: чего с пьяным спорить — пустое дело. Но как играть-то научился, башка пьяная, а руки трезвые, будто сами по себе в клавишах да кнопках разбираются, и звучит музыка не на весь дом будто, а на весь мир, и чуется Андрюхе от этой музыки опасность всему миру... Окна б закрыть надо... Но понимает — сам пьян, хоть и пил мало. Да почему ж и не поддаться слегка и разок соплям волю не дать, они ж, сопли, тоже природой предусмотрены.

Поутру голова у Андрюхи в дуроте, будто колпак железный на ней с железной застежкой где-то под затылком. И это хорошо, что Санька до полудня в пристрое дрыхнет. К полудню истончается злоба на него, и приходит жалость. Ведь лысеет уже, а ни семьи, ни дома, ни дела — одна гармошка.

Когда жена обкармливает Саньку обедом, он еще будто вину чувствует — тихий, глазами в стол. Жратву нахваливает. А через час-другой, за Андрюхой потаскавшись по хозяйству, наглеет, с разговорами пристает. И чего ради, дескать, пашешь с утра до вечера...

— А чтоб тебе было опохмелиться на что, — хмурится Андрюха.

— Я ж серьезно. Ну не понимаю. Скажи честно, или воли не хочется?

— Это за решетку, что ль?

— Кончай, братан. Поговорить-то можем? Я такого в жизни повидал, есть что вспомнить.

— И чего? — ехидничает Андрюха. — Теперь до конца жизни и будешь вспоминать? Не притомишься?

— Если притомлюсь, то повешусь. Ты думаешь, я что, гулял только? Я, брат, вкалывал почище твоего. Ради чего вкалывать — вот я о чем.

— И ради чего ты вкалывал?

— Ради воли. Все лето, да, я — вол. Зато зимой — рысак. И монету я такую в руках держал, куда тебе!

— А тебе куда? Монету твою?

— Да... — печалится Санька. — Не понять нам друг друга. Только ты не думай, на твоей шее сидеть не буду. Не из таких. Дело я себе найду. Только уж извини, по навозной части — я мимо.

Злобой вскипает Андрюха, но, на брата глянув искоса, думает, что да, запросто братан повеситься может, какая-то смертельная микробина сидит в нем, заразная микробина. Беречься стоит да приглядывать...

Дело для Санька нашлось само собой. Выскочила замуж старшая дочка соседа Сергея Ивановича. Этакий смазливый недомерок. За первого районного комсомольца выскочила. Дело известное, перегуляла, комсомольцу же биографию стеречь положено. Так говорили, прошептывали. Но, может, и любовь, кто знает. Да и потом, если партейный закон с народным совпадает, что плохого? Все правильно: обрюхатил девку — женись!

Отгуляли в районе свадьбу на уровне и в деревню прикатили с повтором на природе. Тут-то и затребовался Санькин аккордеон. Свою душеньку отвел и всем прочим на душу пришелся. С тех пор и пошло. Где какая свадьба в районе, какая б музыка при том ни была, Саньку — за «пожалуйста» да за такие денежки, что живи — не хочу! Санька это дело как работу понимает, потому без отказу и капризу, с одним только условием: привези, отвези. Это если издалека заявка, конечно. А еще как издалека случалось — совсем с другого края района, про какие места в Шипулино и не слыхивали, большой район-то, с конца в конец до пары сотен километров наберется. Но бывало, что и

Андрюха возил брата на своем «Иж»-«каблучке», и тогда, понятно, на свадьбе сиживал и дивился Санькиным талантам. Иную песню и не слышал раньше, чуть напоют лишь, а он уже тут и мехи враскат. С половины свадьбы, как обычно: молодежь — отдельно, со своей музыкой, что лишь молодым ушам выносна, а старики, да старухи, да кто по возрасту близко к тому — они где-нибудь в сторонке, сами по себе. Вот там с ними и Санька с гармоникой. За войну песни он все назубок, что после войны — тоже. У иной песни, случалось, и слова-то подзабылись, тут тогда Санька, всем на радость, от первого куплета до последнего. Зацеловывали.

Такие люди за Саньку заступ выказывали, чтоб всякий надзор с него сняли начисто, и участковый отстал от него по поводу трудоустройства и будто бы тунеядства. И правильно сделал, потому что талант Санькин народом признан как нужный и полезный. И надзирать нечего, и возраст не тот, чтоб по пьянке буянить, и по плану жизненному, хоть для Андрюхи и противному, — дом замечтал братец купить у самого Черного моря, чтоб из окна волну слышно было, — а что? Полное право имеет. Если корня в родном месте не выросло, а к семейной жизни да к хозяйствованию душа не лежит. В таком возрасте, как Санька, человека уже не переделать.

Поняв это, Андрюха принял братана как он есть, тогда ж и все душевные придирки, что в душе скапливались, растаяли, и в душе освободилось место для других чувств.

Годы, как часики, протикали еще сколько-то, и, как только у Андрюхи заимелся первый внучок, в тот самый год началось то самое странное шевеление в стране, которое потом все так расшевелило вокруг, что вскорости начали люди понимать, будто шевеление — оно и есть жизнь, а до того словно и жизни не было, а только одна ожидаловка жизни. Все, кто так думать стал, они как бы в одну шеренгу встали против другой, кто попрежнему жить хотел, а не шевелиться. И споры теперь меж людьми не по мелочам, а всё за политику, иной и говорит вроде бы по-русски, а понять — никак, потому что слова все новые, неслыханные и к легкому произнесению непригодные.

Тот же Сергей Иваныч, сосед. С ним теперь хоть вообще не общайся. Без пользы. Заумнел, заважничал. Послушать его, так он будто не из городка (на карте через раз найдешь) приехал, а прямым ходом не то что из Москвы, но из самого Кремля, где

со всеми новыми за ручку, а кой-кому и пару пальцев заместо ладошки, потому что вошь самозваная и большего недостойна.

За советом к соседу теперь и не суйся — мелочовка, в упор не видит. Однажды посадил в свою «семерку» и покатили в сторону города, где кирпичный завод, когда-то на всю область славный. Правда, давно...

— Ну как, Андрюха, — спрашивает, когда оглядели производственное запустение, — пригодится в хозяйстве заводишко?

— В каком смысле? — оторопел Андрюха.

— А в том смысле, — отвечает Сергей Иванович важно, — что заводишко теперь как бы ничейный и будет чейный, кто сможет по новой дело поставить. Вот мы с тобой и поставим!

— Так он же государственный...

— Ты мне сперва государство покажи, нарисуй, чтоб я его рассмотреть мог без напряги... Короче, мозги не насилуй. Это моя работа. А твоя будет другая, растолкую, когда время придет. Короче, купим мы его.

— Кого? Завод? — Андрюха голосом присел.

— Да ты ж видел, какой это завод. Бардак. Нешто это кирпич? Сам же рукой ломал в крошки. Приватизируем. Вот только деньжат подсоберу. Сколько-то ты подкинешь... Есть ведь на книжке? Знаю. Есть. Только в наши времена на книжке ничего иметь нельзя. Сегодня книжка есть, а завтра — только корочки. Нынче, Андрюха, все копейки надо в вещи переводить. У вещей всегда цена будет. Хотя вещь вещи рознь. И для того глаз нужен. Мой глаз. А мой глаз — что ватерпас! А про государство да про всякие законы, как мы их видели, — ничего этого уже и нет и не будет, жизнь враскат пошла, каждый должен себе новое место находить, из этих новых мест и государство само по себе состоится, когда в нем нужда появится. К людям присматривайся, а вот людишек всяких в упор не видь. Выморочь это. По совести, их бы жалеть надо. Невинны. Только всех не пережалеешь, потому сперва дело видь. В городах уже, слышь, таких, вроде нас с тобой, с презрением «деловыми» кличут. Только это не презрение, а зависть и слабина, а слабина — в том, что понять не могут, что нынче уже запросто можно, а что можно будет завтра. Люди же есть, кто не то что про завтра — про послезавтра все знают. Вот к ним и будем носом по ветру...

Проморгаться Андрюха не успел, как его уже в фермеры записали, и кредит с помощью шустрого соседа получил с рас-

срочкой на невидимое время, и что от колхозной фермы осталось — ему же и досталось. Руки тряслись порой. Не от жадности — от непонимания, с чего начать, — хоть разорвись. Техники полон двор, а работать некому. Жена не в счет. Братан ко всему с презрением: дескать, в гробу он видал шипулинский рай, всего ничего осталось поднакопить-то — тогда прощай, навозные ароматы, и здравствуй, морской прибой!

Дети, они тоже сами по себе. Сын аж в Москву пробрался — и квартира, и прописка. И дело у него тоже какое-то мутное: ваучеры мешками скупает у кого ни попадя и что-то с ними проделывает — не рассказывает. Да и что за рассказ по телефону. В деревню же носу не кажет.

Потому иным вечером в Андрюхину душу странная маета вползает. Ну построит, ну поднимет... А на фига, спрашивается, если в подхват ни души. Если сосед дома, к нему за советом. У Сергея Иваныча все просто. Так говорит: можно с удочкой сидеть на бережку и ждать, когда малек клюнет, а можно бредешком вдоль бережка. Принцип жизни важен. В нем самом и смысл, его почувствовать надо. Не почувствуешь — пропащий человек, потому что никакого простого объяснения у жизни нету: зачем родился, зачем крестился, для чего долго ль, мало ль жил? Только принцип, как игра азартная, — другого смысла у жизни нет.

И не диво ль? Ведь и братан Санька по пьянке почти то ж самое в ухи шептал: «Вся жизнь — обида одна, ни в чем путного смысла нету. Точно проверено!»

Жена в религию ударилась. Теперь уж ей не до телевизора. К вечеру вся работа побоку. Платок на голову и в Рыхлино за четыре километра, там церковь восстановили. Оно и досадно, мало ли дел вечерних, но и прок налицо: спокойная стала, ласку вспомнила, а то ведь до того дело доходило, что пришлось одно время Андрюхе к одной местной бабенке по темноте шастать огородами. Противно, да и ласка не та — одна утробность...

Недолго, однако ж, продлилось то время, когда о всяких смыслах мозговать мог Андрюха промеж дел... Да и за делами тоже. Как мина залежалая, вдруг взорвалось все... Впрочем, не вдруг — просто одно на одно сошлось, совпалось, и только потом уже, ну да, взрыв... По бревнушку да по кирпичику... И все началось с сестры Галинки...

4. Взрыв жизни

С Галинки началось — это если судить чисто по семейному факту. Но прежде того был факт государственный. Все, что закладывал братан Санька на сберкнижку, глупую свою идею в башке, как диковинный цветочек выращивая...

«Замечтательную идею в уме имею», — вышептывал, когда слегка под градусом бывал.

Ну да! И уважительная сумма, кстати, накопилась на его «замечтательную»...

Так вот, вся эта сумма разом прихлопнулась. Была живая, стала мертвая. И книжка в руках, и аж на третьей страничке на последней строчке цифра — дай Бог каждому, но уже неживая. Добрый такой покойничек нарисован в полной готовности, чтоб оплакивать горькими слезами. И ведь сосед Сергей Иванович предупреждал и через Андрюху, и Саньке лично намекал, чтоб рублики либо в дело, либо в валюту да в чулок... Так ведь нет, не верил, подозревал Санька, что хочет сосед не мытьем, так катаньем втянуть его, крылатого, в дела муравьиные, — презирал он Андрюхино стяжательство-стянутельство, что затеяли они на пару с «болтуном» — это так о Сергее Иваныче с отмашкой, — что не дают им покоя чистые рублики Санькины, от всякого соблазна законно оформленные и за семью замками хранимые для серьезного потребования, когда потребованию время придет. Пришло! Дождался!

Очумел. Глаза то дикие, то жалобные. Смотрит на «покойничка» — циферку пятизначную, пальцем прокуренным тычет в нее и к Андрюхе с бесполезным допросом: «То ись как? То ись как это «заморозить»? А я что? Меня нет конкретно? Мне теперь что — в петлю?..»

— Не ты один... — Что еще можно сказать на братаново горе. — Не пропадем, поди. Не чужие.

Но Санька уже пьян и не в разуме. «Я убить хочу, — шепчет. — Кого мне убить, чтоб душе легче?! Где этот твой деловой, он все знает, пусть мне фамилию назовет. Конкретно! Я им не корова в стойле! Всю жись сдачу давал, никому не спускал... Они там думают, что я спущу, а вот — хренушки! Не таков Санька Рудакин! Больно убивать буду...»

Еле с женой уложили братана на диван да еще руками придерживали — трепыхался, уже и говорить ничего не мог, только слюну пускал да мычал по-звериному. Еще бы, чуть не литров-

ку выжрал почти без закуси. Сутки спал — так изнемог в горе своем. Назавтра и вообще с того дня — бледный, глаза незрячие, спина горбом, ноги заплетаются... Как-то Андрюха заглянул к нему в пристройку и обмер. Стоит Санька напротив стола, на столе аккордеон с растянутыми мехами, а у Саньки в руках ружье-двухстволка, и целится он в свою гармошку... Успел, отобрал. Потом запрятал ружьишко подальше. Но когда отобрал, Санька на пол сел и заплакал, слезы по небритости — в два потока. «Тунеядец я теперь, — говорит-хнычет, — ничего делать не хочу. Тошно. Ты, — говорит, — ты, братан, выгони меня, с чем я есть. Может, с голодухи да холодухи и захочу работать. А как тунеядец — не захочу. Обжирать тебя буду внаглую. Я теперь что скот последний».

Сидели на полу два мужика, обоим за сорок, один хныкал, другой головой качал, и ничего путного друг другу сказать не могли. Это, что называется, зажрались, потому что по всей остальной стране, да и хоть в любой соседней деревне, оторопь в людях, а телевизор послушать, так лучше и вообще не слушать, потому что вроде бы и не война, а все друг с другом воюют, и по-военному, и по-бандитски, — гибнут люди. А другие вопят, почти что как в войну, — жрать нечего. И тут же кнопку переключи, в этой же стране, только будто в другом месте, люди с жиру бесятся, миллионы хапают и, хапая, не запыхиваются, а все говорят, говорят... И откуда только в людях такая говорливость взялась, если еще недавно без бумажки и не высовывались даже.

И в сравнении со всем, что в стране творится, Рудакины почитай что жируют. На отстроенной ферме — коровы. Молоко, масло, сметана — Сергей Иваныч навел на одно бандитское гнездо под видом санатория — все туда, наличка — в руки. Туда же — и часть картошки, что с десяти соток, остатками колхозных удобрений ухоженных. Два трактора с полным набором прицепов для разных работ. Подвалище отгрохал Андрюха для овощного хранения — что тебе бомбоубежище. Три весны и три осени уже бичи из района вкалывают на хозяйстве, двое постоянные — понравилось. Не обижает Андрей Батькович и рублем, и жратвой. В помощь жене на ферме местная тетка, похоронившая сперва мужа от пьянки, потом обоих сыновей: один в Чечне пропал без вести, другой, что в «крутые» намылился, пулю схлопотал в городе Туле. Тетка теперь как член семьи. Но

чего там, ни бичи, ни тетка не в убыток. Не знает Андрюха такого слова — «убыток». Хлопоты не о том, хлопоты — как прибыток от налогов спасти. Благо, сосед всезнающий под рукой, да и от поборщика дешевле отмазаться, чем неизвестно куда рублики сносить будто бы по закону.

Наезжать пытались всякие охламоны на Рудакиных. По первому разу братья вилами отмахались, а второго разу уже и не было. К тому времени сосед Сергей Иваныч в районе такую силу заимел, что все законное районное начальство с ним за ручку. Чем не жизнь! Главное, как опять же Сергей Иваныч учит, нынче всяк за себя. Никому не завидовать и никого не жалеть. Потому что захоти — каждый может. Но одни не умеют, а другие боятся, хотя хотят все — и это их проблемы.

Ничего, пережил бы Санька свою потерю, смирился бы, не в петлю же взаправду соваться, позапойничал — оклемался, угомонился, с горя, глядишь, женился бы... Если б не старшая сестра их Галинка. Хотя какая, к чертям собачьим, Галинка, если уже на пенсию села. Села, да только не осела. Какие-то рубли, что на книжке держала, сгорели, как и у Саньки. Мужик от нее ушел-пропал, дети разбежались и не шибко щедрили в помощи. Потому, хотя уже и спина горбом, и ноги опухают к непогоде и погоде, должность свою почтальонную решила не оставлять, пока вконец не загнется или пока не прогонят. Андрюха ей пред тем как раз уже третий мопед купил, рижского производства, что чуть получше украинского, но тоже — грех на колесах, мотоциклетный недоделок. Люди деревень, по каким почту развозила, потешаться устали, глядючи на старуху на мопеде, — кино! Шапокляком прозвали.

Чтоб в дом не заходить, время не тратить, она приткнется у калитки и давай газу накручивать, чтоб сами вышли да почту забрали. Иная хозяйка своему мужику или ребенку так и скажет, бывало: «Слышь, Галька рудакинская распе...лась под забором, письмо, поди».

Теперь не две, а четыре сдыхающие деревни обслуживала Галина, и всякий раз сама всю почту просматривала, чтоб куда впустую не ехать. Так и было на этот распроклятый раз. В деревню под названием Колюшка — ни писем, ни газет, ни пенсий. Значит, маршрут особый, не то что дороги — все тропы знала в окрестности, где ее недоносный мотоциклет проскочить может.

Но каким бы путем ни ехала, в Шипулино к братьям обязательно, даже если и сумка уже пустая. К братьям обязательно. Обычно к вечеру, если летом. Зимой пораньше, стала в старости темноты бояться, хотя глазами зорка осталась, дай Бог иному молодому.

В тот день заявилась аж до полудня. Встрепанная. Не только сапоги-резинухи, но и одежка глиной перемазана... Увидела Андрюху во дворе, подмигнула, рукой подмахнула, горбунком не в дом, а в баню проскочила, из двери выглядывала, Андрюху зазывая.

Когда он пришел, дверь плотно закрыла и сначала, губы поджав, молча пялилась на братана и на его расспросы — дескать, упала, что ли, или с мопедом чего — только лицом кривилась... Потом зашептала:

— Селюнинский овраг знаешь?

— Ну.

— Так вот, в этом овраге машина «бобик» кверх колесами. В машине два покойничка с шеями переломанными, а при покойничках-то знаешь что?

— И что?

— А вот что!

И достает тут она откуда-то, чуть ли не из-под подола, бумаженцию. Да непростую. А сто долларов значащую.

— И много там это?..

— Много. Чемоданчик ихний лопнул, когда в овраг кувыркались, так что обсыпь сплошь...

Андрюха вспотел от разных мыслей, которые одна за другой друг дружку всшибку, а Галинка, что ведьма, вперилась в его глаза, зрачками в зрачки впилась и ждет, что брат скажет да что решит.

Селюнинский овраг — он один только и есть окрест. Да и то это не овраг. Когда-то для кирпичного завода начали было там глину черпать, а она, глина селюнинская, при строгой проверке с тухлятинкой оказалась, примеси какие-то... Карьер забросили, так и остался — не то карьер, не то овраг. По весне и до половины лета в нем вода неглубокая стояла, потом — только грязь желтая до самых заморозков. От района туда никакого подъезда, но меж деревнями проложилась, хотя и не шибко укаталась дорога — по ней в основном на машинах всякий крадеж перевозили: комбикорм, удобрения разные, лес, нарублен-

ный внаглую... Как туда эти попали? Загадка не по уму, по уму — никакого резона быть там да еще в овраг сверзиться чужим людям, а что чужие — факт, своих Галинка всех знает...

И «бобик»... — так милицейские машины в прошлые времена обзывались...

— Еще кому сказала?

— Да ты что!

Долго молчали.

— Надо же, как назло, Сергей Иваныч раньше субботы не будет...

— На что он тебе? Опасный он...

— Умный он. В какую дырку совать палец, а в какую не след, в том он волокет без промаху. Ладно, щас Санька подыму, дрыхнет еще, и поедем смотреть... За посмотр не сажают.

— Ой, не надо бы Саню... Шебутной...

— Ну да, а ты не шебутная... Брат он, а это первей.

А Санька уже под умывальником башку полощет-выполаскивает со вчерашней пьянки. Объяснять ему ничего не стал, сказал: надо в одно место сгонять. Завел свой «Иж»-«каблучок». Галинку рядом с собой, Санька — в коробок, там на такой случай старое сиденье от ЗИСа.

К оврагу пробирались крадучись. Вдруг уже кто-то подвалил, и не дай Бог — милиция. За последним поворотом Андрюха остановил машину, выскочил, сквозь орешник высмотрел место. Пусто. И тихо. Все равно решил не подъезжать, чтоб следа от резины не оставить. Подошли, глянули — все так. Уазик вверх колесами, из левой дверцы — башкой в землю мужик. Или парень.

— Ты где спускалась-то? — спросил Андрюха сестру.

Галинка указала на той стороне оврага пологость, и что скользила вниз, — след ясен.

— А подымалась там вон, где кусты. Везде склизко.

— Надо же! — только подивился Андрюха, глядя на горбатость сестры. — Шустрая ты, однако.

Брат Санька не в курсе, говорит, милицию вызвать, да и все.

— С милицией чуть погодим. А, сеструха? Погодим?

— Вы — мужики, вы и решайте, — с важностью отвечала, дескать, я свое сделала, а вы уж тут кумекайте, как быть.

— Пошли, Санек, посмотрим. А ты тут стой. Отлазилась уже. Теперь глазей по сторонам и сигнал дай, если что.

Но Санька вдруг закрутился, что тебе собака-ищейка, туда-сюда вдоль обрыва.

— Интересная картинка получается, ты посмотри, Андрюха, они не сами туда сверзились. Скинули их. Вот резина и вот резина, разницу чуешь? Не шибко разбираюсь, но уазик сшибли в овраг джипом забугорным, ишь протектор-то какой фигуристый, а уазик, ты посмотри, он на тормозах сколупнулся. Только тормозить поздновато начал. Чо они все здесь делали, а? Уазик убегал, запетлять надеялся по бездорожью, только против джипа не попрешь, у него лошадей-то раза в три-четыре поболе, а проходимость вообще...

— Ишь ты! — дивился Андрюха. — Тебе прямо в знатоки...

— Ну да, а ты думал, я чурка с глазами? Пока ты тут кулачничал, я такого навидался — до смерти хватит. Так что и лазить туда нечего, и так все ясно.

— Все, да не все. Про главную загадочку ты и не знаешь.

— Ну да?

— А в том загадочка, братан, что скинуть-то скинули, а вот почему сами не спустились...

— А на фига им...

— Полезли, увидишь эту самую фигу.

Картинка братьям открылась не для слабонервных. Два мужика с расколотыми черепками, рожи у обоих навыворот, кровища кругом. Только на все то погляд был — раз мигнуть. На другое зыркалками зависли.

— Ничего себе! — выдохнул Санька. — Валюта! Зелень! Ну сдохнуть мне, чистая зелень! Это ж сколько тут? Не трожь! Отпечатки, слышал про такое. За что трогались, все стереть. Пришьют — не отвертишься. Им лишь бы раскрывуху запротоколить, а через кого раскрывуха, на то им, ментам поганым, нас...ть.

Андрюха меж тем одну бумажку подобрал, другую, третью — те, что без крови.

— Это ж надо, Гальке повезло, она одну прихватила, и сотенную. А здесь, смотрю, больше двадцатки да десятки. Не так уж и много, поди.

— Ничего себе, немного! — как-то нервно оскалился Санька. — Тут, брат, на несколько лет жизни припеваючи! А на домик в Сочах вообще без проблем. Слушай, если их скинули и не спускались, значит, не за деньги умочили? Так? Значит, про зелень не знали!

— Получается так, что не знали, — согласился Андрюха. — Только, если эти не знали, другие какие-нибудь точно знали. Искать будут. Как только узнают про овраг, а денег не окажется, что? А то, что местных шерстить начнут...

— А может, на ментов запишут, если сперва прибрать тут, а потом ментам анонимно стукнуть, мол, так и так, в овраге... С другой стороны, а вдруг менты в деле, нынче это запросто...

Оба, однако, машинально собирали бумажки. Елозились осторожно, чтоб кровью не замазаться. У каждого в руке уже по пачке... И тут Санька вдруг гоготнул самодовольно.

— Знаю! Знаю, чего делать надо! В кино-то как? Сверзилась тачка, и тут же — что? А то! Бабах! Понял?

— Понял, чо не понять, — с сомнением отвечал Андрюха, — только не по-людски... Людей хоронить положено, родственники, поди, есть...

— Да какие люди! Рвань это! Бандиты. Зато все чисто! Сгорели на фиг, и все дела!

Андрюха с сомнением качал головой, подсчитывая, что насобирал.

— Документы... Пошариться бы, да ведь перемажешься...

— Да плевать... Как насчет бабах? Оно бы и так, да повезло, бак не разбило... Представляешь, как рванет? Только подлить чуть-чуть!

— Ладно, — согласился Андрюха, — давай собирай тут, а я полезу откачаю ведерко. Ведерка хватит?

— Запросто!

— Ну, чего удумали? — спросила сестра, когда Андрюха объявился над оврагом.

— А то и удумали. Щас увидишь.

Когда спускался с бензином, два раза чуть не кувыркнулся вместе с ведром — сплошная склизь. Санька уже стоял в сторонке, в руках пакет полиэтиленовый.

— Вот, тару нашел. Не поверишь, здесь четыре бутылки пива лежали, и только одна разбилась, и то потому, что вылетела из пакета.

— Получается, бутылка крепче башки. Держи, а я полью как надо.

Потом они долго и безуспешно пытались хотя бы размазать следы на спусках, свои следы и Галинкины. А след от ее мопеда, с ним вообще ничего не поделаешь. Тогда решили, что сест-

руха и позвонит в район, мол, так и так, в овраге машина горит. Нормально. Все знают, что она этой дорогой ездит. И только когда все оговорили, Андрюха примочил бензином тряпку, обернул ею камень, поджег Санькиной зажигалкой и кинул. Рвануло сперва пламенем, потом черным грибом дым вздыбился над оврагом. А когда добежали до машины и усаживались, по новой рвануло, что тебе бомба: ихний бак взорвался.

В деревню — не сразу. Покрутились проселками, на областное шоссе выскочили, потом уже в другом месте снова ушли на деревню. Галинка пересела на мопед и поехала в Селюнино, где телефон ближе всего. Андрюха наперво растопил печь в бане, где и пожгли на всякий случай резинухи, хотя чего там, штамповка, у всех след одинаковый.

Только потом заперлись в бане и вывалили из пакета добычу. Андрюха рванул за грудки Саньку, чуть в рожу не дал. Больше половины бумажек в крови.

— Да отмоем! — орал Санька. — Сам отмою, просушу да утюжком еще. Как новенькие будут.

Андрюха брезговал прикасаться к замаранным, и Санька начал считать, ему кровь по фигу. Засохшая к тому же. Мелочовки не хватило до двадцати тысяч. Знать, двадцать и было. Почти все выбрали. Сотенных — всего девять штук. Двадцатки больше. И чего теперь с ними делать? Решили, пока ничего. Пусть полежат — жратвы не просят. А там решится, как поделить, Галинке сколько и как. Если в области поменять на рубли...

Другой день, как раз когда милиция по оврагу елозилась, Андрюха специально поехал будто бы посмотреть — уже в деревне все знали, — а в натуре на всякий случай след своей резины узаконить, кто их знает, вдруг менты окрест шариться надумают. А Санька весь этот день отмывал деньги, сушил и гладил, и лишь несколько штук пожег — будто пропитались кровью, как ни три — пятно.

Андрюха что увидел в овраге — аж замутило. Трупы выгорели, но человеческое — оно все равно остается, сколь ни жги, и от этого, что остается, никак глаза не отвести, просто самомучительство какое-то. Ментов понаехало три машины, да еще «скорая», да еще из деревень ближайших машин с полдесятка, над оврагом толпища — какие там следы. Менты орут, чтоб отошли, да кто ж такое зрелище упустит, когда трупы потащи-

ли наверх, в «скорую». А гаревая вонища кругом, хоть нос затыкай, — горелое железо вперемежку с паленой человечиной и резиной.

Нет, никакого милицейского шороха по деревне Шипулино не произошло. Никого никуда не вызывали. Даже Галинку, и ту не тронули. Знать, похерили дело. Оно и правильно, так и весь народ рассуждает: бандиты бандитов «мочат», и пусть себе на здоровье...

Андрюха, когда еще только начинал жить по-человечески, в подполе дома, в боковом венце, что почти в обхват, тайничок выскоблил на всякий случай — от городской шпаны, что на машинах моталась по деревням, высматривая, кого бы грабануть. И случалось, подчистую выскребали, если иной шустрый мужик кой-чего поднакопить успел, да не успел спрятать. Слава Богу, в Шипулино не заглядывали. Может, слава не Богу, а тому же Сергею Иванычу, который не только в районе силу заимел к тому времени, но и в области с ним всякая бандитская шелупонь считалась.

В этот тайничок и упрятал Андрюха бандитскую валюту — сроду не найдешь. Брату не показал, незачем, да он и не напрашивался.

Только спустя несколько деньков вдруг запросился Санька в город, дескать, по свадебным делам больше невмоготу, а в городе, глядишь, какая-нибудь работенка по душе отыщется. На его просьбу Андрюха рассуждал так: пусть братан помотается, ничего путного в его годы уже не найти, разве сторожем... На такое не пойдет, гордость еще не потерял. Помотается и вернется. Глядишь, и отговорить удастся от «сочинских затей». Ну купит он там домишко, а жить на что? Даже если и все бандитские деньги возьмет — все равно мелочовка... Никуда не денется, пристроится к хозяйству. Ведь нужен, еще как нужен... Деньги Санька брал от брата смущаясь. Приговаривал: да хватит, хватит, ну куда мне столько...

Кой-какое подозреньице мелькнуло в Андрюхиных мозгах, да, знать, шибко быстро промелькнуло, потому что тут же и забылось, мозги в досаде, что опять один, хоть разорвись на части. Не поднять одному все, что валяется под ногами... Ждал приезда соседа, теперь только от него видел помощь.

А тот не появлялся. Уже и самая середина лета прошла, а — никого. Каждое утро, как на улицу выйти, первый взгляд сквозь

калитку. Нет, замок как висел, так и висит. Палисадник зарос бурьяном, и по калитке уже крапива шарится вовсю.

С женой — вообще беда. В такую богомолицу превратилась, хоть с самой икону пиши. А разговоры? Батюшка то сказал, да батюшка этак сказал. Не до коровы по утрам — некогда, теперь на утренние службы убегает. А постится — иссохла вся. Для мужа готовит — губы сжаты, на роже гримаса, будто не мясо режет, а дерьмо из дерьма. Как баба — вообще ноль. И на Андрюхины гулянья по задам — тоже ноль.

Один! Совсем один. Дети — дочь с сыном — и носу не кажут. Второго внука в глаза не видел. Порой руки опускаются. На хрена все это, все, что делает? Вот только нравится... Нравится, и все тут! Худой трактор выменял на хороший считай подарму — радость. Кормов раздобыл по блату — радость. Картошку в конце июля копнул пару кустов — по десять, двенадцать картофелин на кусте. А в прежние времена если шесть штук — и то добро. Теплица опять же...

Так решил для себя: делай, что нравится да что удается, и никаких вопросов себе не задавай, чтоб как жизнь: рождается человек не по собственной воле и живет, потому что жизнь дана. А как лучше прожить и все такое, то — другие вопросы. Жить или не жить, никто себя не спрашивает. Значит, делать или не делать, таких вопросов тоже не должно быть.

Только в середине августа объявился сосед Сергей Иваныч. Так случилось, что в ту сторону смотрел Андрюха и видел, как с дальнего бугра сполз к деревне знакомый «жигуль». И того дивней, что подкатил он прямо к Андрюхиной калитке.

Сергей Иваныч вышел и прямым ходом в калитку. Андрюха навстречу, успел распахнуть. Руки отжали.

— По делу я, — сразу сказал. — По твоему делу.

Присели в тень на скамью, что у веранды.

— Про своего брата, шалопая-перестарка, ты, как догадываюсь, не в курсе.

— Чего опять? — только ахнул Андрюха.

— Худо дело. В области он, в СИЗО сидит.

— СИЗО?

— Следственный изолятор. Дебош в ресторане. Сопротивление милиции. Вилкой мента пырнул. Крепко пырнул, с опасностью для жизни. Червонец как минимум, потому что рецидивист-хулиган. Конец твоему братцу.

— Ну и черт с ним, недоделанным! — вскипел Андрюха. — Сколько можно! С детства дуростью мучился... Все чего-то особого хотел, паразит! Пусть теперь сам, как хочет!

— Оно, может, и так...

Сергей Иваныч на спинку скамьи откинулся, глянул на Андрюху со значением.

— Планида... Есть такое слово про судьбу человеческую... Только тут такое дело... Нынче мои руки и до области доходят, значит, и до меня кое-что доходит. Дошло: болтает твой братец про какую-то валюту чуть ли не в миллион, что, дескать, братан, то есть ты, если надо, всех купит, потому что нынче все покупную цену имеет...

— Это кому ж он, сучонок...

— Не следователю, конечно. В камере. По секрету! Бывалый вроде бы, не впервой... А болтает... А тут как раз недавно у вас поблизости история одна случилась. Разборочка некрупная... Совпадение? Только так...

Сергей Иваныч ладонь ребром выставил, голову набок, на Андрюху из-под бровей глянул строго.

— Я только один раз спрошу. И на ответ не напрашиваюсь. Без обиды! Слово! Так что — хошь говори, хошь не говори, между нами все как было, так и будет... Добрые соседи.

— Да скажу, конечно, — заспешил Андрюха, — понимаю, коль Санька трепаться начал, большой шорох может быть. А мне на фиг... Про миллион — туфта. Двадцать тысяч там было. Около того... Если кто по-мирному... могу отдать... хоть щас... Пропади они!

— Я так и думал, — улыбался Сергей Иваныч, — ну откуда тут миллион... Так и думал, мелочовка какая-нибудь. Хотя смотря для кого. Такие, значит, дела... Н-да...

— Как скажете, так и сделаю, — Андрюха вздохнул с облегчением в душе, — я и без их, слава Богу...

— Да это понятно. Ты и без них человек. А скажу так: пусть лежат, потому что отдавать, похоже, некому. Тут, как я в курсе, такая история. Одна шпана прищучила другую, примочили кой-кого. Одна компашка погналась за другой — отомстила. А валюта в деле сбоку. Как говорится, без востребования. Но братца твоего надо утихомирить. Это сделаем через адвоката. Брат твой — он слегка прав. Времена идут, рынок называется, купи-продай... укради-продай... Вся ловкость жизни. Кто на эту

ловкость не настроится, шансы — ноль. А брату твоему я заказал адвоката, вчистую он его не отмоет, конечно, но, что можно, сделает. Значит, двадцать штук, говоришь...

— Хотите, — робко и отчего-то шепотом спросил Андрюха, — я их вам отдам?..

— Э, нет, дружок! — покачал пальцем перед Андрюхой. — По крайней мере, не теперь. А-по-сля! Найдем применение, не пропадут. У меня же сейчас дело прозрачненькое, и неплохо раскручивается... Я ведь еще вот по какому делу примчался. Халупу эту свою продать нацелился...

— Да зачем же? — встрял Андрюха с обидой в голосе.

— Другие планы, н-да... Другие. Ни к чему мне нынче эта деревяшка. Так что просьба к тебе. Будут люди приезжать смотреть. Покажешь? Ключик оставлю. Мне теперь не с руки сюда мотаться.

— Деревяшка! — совсем обиделся Андрюха. — Уж кирпичато потеплее будет. Настоящий... Из кедры ведь! А привозили-то откуда? У нас же тут отродясь кедра не росла. На всю деревню два дома из кедры...

— Во! Про это и будешь говорить покупателям, венцы покажешь, ну и прочие достоинства. Короче — посредник. А посреднику полагается, не обижу.

— Чего это вы так? — вконец обиделся Андрюха. — Или не соседи?

— Соседи. Обязательно соседи. Только тебе это первый урок по новой жизни. Всякая услуга имеет стоимость. Рынок! Учиться видеть надо, где, что и сколько поиметь можно. И стесняться тут нечего. Всякие стеснения — нынче пережиток. Весь мир, друг ты мой, давно так живет, и, как известно, живет лучше нас.

— Ну и хрен с ним! Пусть живет. А мы уж как-нибудь...

— Во! — Сергей Иваныч аж пальцем прищелкнул от удовольствия. — Ты ж сейчас самую русскую истину изобразил! «А мы уж как-нибудь!» Вот так мы всю свою историю и прокакали, в лаптях ходючи.

— Прямо уж в лаптях...

— Не прямо. Переносно. В космос летали, всякие ГЭСы отгрохивали! А народишко, если с какой-нибудь Швецией сравнить, как был нищим, так и остался. Я имею в виду — потенциально нищим. Государство подачки подкидывало, чтоб не

сдохли. А если сам, без государства — что есть каждый? Да ничего! Ноль!

— Зачем же без государства...

— Во! Это и есть наша родимая менталитуха! Без государства я — никто! Так?

— Не знаю, — отмахнулся Андрюха, — замутили вы мне мозги. Может, и правы, только как-то без радости...

— И опять правильно. Свобода — это не радость, это, братец, обязанность. Если хочешь, перед Богом обязанность личность свою утвердить, чтоб не только люди, но сам Бог тебя уважал, что без его и государственной помощи ты человек человеком...

— А что ж я? Не человек, что ли?

— Ты — человек. Потому с тобой и говорю всерьез. С кем бы еще из вашей деревни я так бы говорил? Да ни с кем. Потому что тихо издыхают, сил своих знать не желая. А тебе твоя сила интересна, потому ты и хозяин, а не батрак. И мне моя сила интересна: а вот так или этак смогу? Говорю себе — смогу! Что, я пальцем деланный? Смогу! А все не смогущие — пусть себе! Даже жалеть некогда. К тому же, как известно, жалость унижает человека. Максим Горький сказал. Только он еще сказал, что всякого не жалеть, а уважать надо за то, мол, что он на двух ногах ходит и что-то про себя думать умеет. В отличие от коровы, к примеру. Но это типичный литературный треп. Сам-то в такие шишки выбился, что всех прочих только по плечам похлопывал. Я ведь, знаешь, уже который год в народных заседателях хожу. Между прочим, считай на общественных началах. То есть по воле. И кого же мы теперь судим? Смех один. Мужик бабе морду набил, другой из ларька бутылку водки спер и коробку конфет на закусь, третий внаглую соседскую корову отдаивал каждый вечер. Заманивал к себе во двор, когда с пастбища уже сама... без пастуха, хвостом обосранным махая... Я даже стишок сочинил... А что в государстве-то происходит, слышишь, поди?.. Всяк, кто с мускулатурой, это самое наше вчерашнее советское непобедимое через коленку пробует! И такие, братец, куски отламываются, что иной раз, веришь, даже у меня дух захватывает! Свои силы знать — хорошо. Только еще важнее не зарываться. Нынче самая дипломатия в том. Не зарываться. Брать по силенкам и чужим силенкам не завидовать, а признавать, что, мол, такой-то покруче будет, и дорожку ему перебе-

гать не стоит, потому что, как с врачами ни дружи, жизнь все равно одна и прожить ее надо... Впрочем, это уже из другой песни. Что, умотал тебя разговорами?

— Есть маленько, — с продыхом ответил Андрюха.

— Добро. Пои меня чаем, и помчусь обратно. У меня сегодня день длинный будет. Зелень-то надежно спрятал?

— Что? А... Ну да... Я ее в этот...

— Стоп. Сие меня не касается. Ставь чайник.

* * *

В одном Саньке, Александру Михалычу Рудакину, повезло. Как рецидивиста направили его на «спецуху», то есть в специальную камеру для рецидивистов. Их всего-то в местной областной тюряге три штуки, на третьем этаже. И место было свободное, а не было бы, запихнули бы в общаг, где полста вместо двадцати, пришлось бы со шпаной тереться, а место — уж точно у параши.

Свободной шконки и тут, на спецу, тоже не было, но это нормально. На полу, пока кого-нибудь не переведут на «осужденку» или не угонят на этап. Тоже в основном молодежь, но к себе с уважением, в камере чисто. Параша надраена. Домино, шахматы, книги. Хоть в этом повезло. Теперь одна задача — убедить сокамерников, что он не «наседка». А убедить непросто, если «следак», то есть следователь, таким вот образом поломать задумает. Просто делается. Сперва на допрос вызывается кто-нибудь, кто в глухом отказе. Когда приходит, все спрашивают, как дела, мол... И через какое-то время, чаще прямо в обед, вызывают, кого хотят подставить. Держат недолго, и назад. Всякому подозрительно: чего это дергали на десять минут? Значит, отчитался, про что в камере базарили... Сперва косяк будет, а потом и выживать начнут. По-хорошему и не по-хорошему. И тогда хана! Ни в одной камере жизни не будет, хоть вешайся или вправду колись до задницы.

Правда, Саньке колоться не в чем. Взяли-скрутили с поличным, с вилкой в руке, а рука вся в ментовской кровище... Как всегда, все получилось глупо, тупо... Позорно. Вдвойне позорно, потому что года-то уже какие — на пенсию пора, и — на тебе! Хулиганство. Стыдно в камере рассказать. Из шестерых два парня за наркоту, один — убийство, еще два — разбой, и последний, самый молодой, — взятка в десять штук зеленых. Коль

на спецу, значит, не по первой ходке. Солидная публика. Чтоб мастью не позориться, Санька свою обычную «хулиганку» изобразил как месть менту за что-то, что будто бы было в прошлом, а про это прошлое — молчок. Никто не наседал. Напротив, нападение на мента, хоть и с вилкой, а не с пером или пушкой, все равно дело уважительное и возраст оправдывающее.

Поскольку дело было ясное, на допросы Саньку не дергали. Один раз сходил, подписал обвиниловку, и теперь — известное дело — жди суда до опухания. Колоти в домино, изучай гамбиты да книжки почитывай. Червонец светил Саньке, как месяц в небушке. Откуда-то объявился адвокат. Когда Санька в камере назвал его фамилию, камера зауважала его — адвокат-то дорогущий, только шибко «крутым» доступный. Какой-то мощняк отмазывает — так решили. Санька на этот счет таинственно помалкивал, догадываясь, конечно, что без соседа-дачника тут не обошлось. На сколько отмажет — вот вопрос! Важнейший вопрос, потому что весь душевный настрой уже давно, а после истории с валютой и вообще — на тихую жизнь у моря с бабенкой-разведенкой, и пусть с детишками даже... Все сны про то... А пока сон не идет, все думы про то же самое. И обида на себя, дурака, хоть слезами плачь! Припрятал малость валюты от братана и решил гульнуть, как в прежние геологические времена, — так-то уж расслаблялись, на материк возвратясь... Но тогда кто-нибудь из корешей обязательно придерживал за штаны от полного разносу... А в этот раз все были чужие, случайные, только и делали, что подначивали, и все смотались вовремя...

Адвокату же это обстоятельство по душе. Втолковывает Саньке, что не может он точно помнить, он ли именно пырнул мента, или кто ему вилку уже после в руку сунул. Пырнул-то куда? Чуть выше задницы, со спины то есть. Мент тоже не может быть уверен на все сто, кто именно, — свалка! К тому же освидетельствование показало сильнейшую степень опьянения Александра Михалыча Рудакина — при такой степени память отключается. Потому первичное признание подследственного сомнительно и, более того, в известном смысле в пользу... Осознание вины за антиобщественное поведение и готовность взять на себя по причине беспамятства, а вовсе не покрывания собутыльников, которых даже фамилий не знал и вообще впервые видел, что почти доказано... Если эта туфта проходит, адвокат гарантирует не более четырех лет. И шибко доволен при этом, ручки пухленькие потирает или же бороденку поглаживает.

И по нынешним адвокатским временам во время следствия не допускается адвокат. Но, знать, расстарался братан Андрюха через своего соседа, потому что нынче всякий закон тоже свою цену имеет.

Санька уверен, что, будь их сосед по деревне еще круче, чем есть, вообще выпустили бы на второй день, а за травмы еще и приплатили бы. Но сосед не шибко крут в областном масштабе, и потому, будь добр, радуйся, что всего лишь «четверка» светит вместо червонца.

А Саньке и четыре — хоть вой. Не хочет он сидеть, когда вот она, в руках мечта-синичка! Только глаза закрой — перед глазами пачки «зелени», от крови бандитской отмытые, утюгом просушенные да проглаженные. Через них новая жизнь просвечивается — на веранде в креслице-качалке, а тот же горшочек с цветком швырни — волна подхватит, совсем рядом волна-то, а бабенка мяконькая, скорее всего хохлушка, под боком хихикает по-доброму и отобедать приглашает чем Бог послал...

Очень рано понял Санька, что такое жизнь, мальцом еще понял. Жизнь — это работа. Это каждое утро вставай и топай и делай одно и то же, одно и то же. Получай за то гроши, на гроши накупай жратву, чтоб смог с утра по новой топать и вкалывать. Такую жизнь он понимал как издевательство, придуманное для человеков, чтоб поменьше думали и о другом не мечтали. Чтоб вообще ни о чем не мечтали. От этой обязаловки по детству еще надеялся спастись через учебу — так надо было выучиться, чтоб право получить присмотреться и высмотреть такое дело, чтобы и дело — без дела-то нельзя, — и свобода в деле. Став постарше, увидел: ну и что? Отличники со своими медальками шли в институты, после которых то же самое: встал утром, потопал, чего-то там наповыделывал — домой, а наутро из дому опять, от получки до получки — повеситься можно! И это при том, что страна перед тобой такая, что и жизни не хватит, чтоб всю даже бегом обсмотреть!

Вообще, для чего она, жизнь, если потом все равно помрешь? Смерть — это как пинок под ж... Тогда какой прок в жизни, если все равно пинок, что работящим, что неработящим, что умным, что неумным? И самым удачливым — им тот же самый манер. Пинок! Значит, один смысл в жизни — приятность, удовольствие. Удовольствие с неудовольствием не спутаешь. Тут четко! Хоть в этом четко! И если уж так жизнь устроена, что

от вкалывания не отвертеться, то вкалывать надо с умом, то есть точно знать, что за каждую напрягу будешь иметь распрягу и чтоб по времени распряга была поболее, — так вот только и можно обмануть жизнь, какую для людей придумали неизвестно кто: то ли сами люди, то ли бог какой, — это до лампочки.

Жизнь обмануть — не хитро, если правильно понимать распрягу, — людишки столько дуростей напридумывали — норма должна быть, так, чтоб тебе и радость, и чтоб все по закону. Норма!

Но в том-то и беда, что еще с молодости в одном деле эта самая норма Саньке никак не давалась. Водка! И ведь не алкаш. Месяцами по геологическим делам по тайге шастал и никакой нужды в водяре не испытывал в отличие от других многих, кто спал и видел бутыль. Но только в люди вышел, расслабился, и никак не заметить, как долгожданное веселье обращалось в буйство. Какие-то мелкие жизненные обиды и досады сливались в душе во взрывчатую смесь, и тогда — только повод... Который потом ни за что не припомнить — вот что противно! Если бы припомнить, то хотя бы оправдание сочинилось, — все б не так тошно было бы.

Не удалась жизнь. И не потому, что над людьми не возвысился, — того отродясь не жаждал. И не потому, что в каком-то деле людям примером не стал, — вообще на людей не оглядывался. В другом она не удалась. Жизнь. Чистых радостей, чтоб без дуроты, копилка не накопилась. По молодости девки, потом бабы, что через его руки проходили, — все с корыстью, все ждали от него охомутения... Большинство. А вот фиг тебе, говорил каждой в уме, а иногда и вслух. И лишь совсем недавно нарисовалась в душе та самая картинка про домик у моря, и хохлушка под боком. Это когда в последней экспедиции, аж на Камчатку, вдруг почувствовал неуверенность в ногах — сигнальчик, что не вечно будет он легок на подъем, — на подъеме в гору и заломило однажды в голенях, шибко заломило. Сперва было через раз, а потом и всякий раз... Отпрыгался! Отбегался! Пора подсчитывать денежки на книжке. Только считать собрался, а они сгорели. Хоть в петлю. Да, знать, судьба или бог какой его честной мечте — в поддавки, потому и подвернулась эта дурная валюта. Но опять же все испортил...

Братану Андрюхе никогда не завидовал. Наоборот — жалел. Ну обстроится, накопит добра — и что? Когда помрет, налетят

детишки, поделят, что понравится, а что не понравится, но что, может, Андрюхе самым милым было, то пожгут... Если с собой туда ничего взять нельзя, то просто позорно упираться рогом без продыху, как Андрюха. И пусть, как мечтал, жизнь из радостей не удалась, зато по смерти в его, Санькином, шмотье никто копаться не будет, потому что без последствий прожил жизнь, как она того и стоит...

С сокамерниками сошелся по-хорошему. Хотя все были круче его, но на Саньке висело «пырнул мента», а такое с кем хошь уравнивало. Санька же не уточнял, чем пырнул. Никто и не наседал, не принято.

В камере молодежь, один только сорокалетний по кличке Турок, спец по квартирам, фактически завязавший по причине сплошного невезения в последнее десятилетие, но соблазненный демонстративным разбогатением в нынешние времена соседа по подъезду. Сломал ему квартирку, чисто сломал. Ничего сбыть не успел, взяли по подозрению и теперь уже его ломали на «сознанку». Не ломался и готовился к свободе. А на чем сошлись-то? Да все на том же — на мечте о домике у моря. У обоих были заначки для мечты, и если обе заначки сложить, очень даже добрый домик вырисовывался. Турок клялся и божился дождаться Саньки, и только потом, и только вместе... А чего? Оба одиночки-холостяки, обоим никакая пенсия не светила, и вообще нынешний свет был не про них, друг другу признались в тошноте ко всяким теперешним бизнесам. Турок — Владимир Ашотович по имени-отчеству, папаня армянин из видных советских урок, давным-давно порезанный, — так вот он, Турок, характера мягкого и уживчивого, тоже мечтал о хохлушке под боком, и в отличие от Саньки у него и опыт был, одна хохлушка от него уже уходила лет пятнадцать назад, когда буйным да шибко активным был и не ценил, как надо было бы... Белобрысый, носатый, с огромными черными глазищами на сморщенном лице, он часами сидел на своей верхней шконке, скрестив ноги по-восточному, и чего-то тихо мурлыкал себе под носяру, ни в какие камерные свары не ввязывался, но иногда вдруг уже который раз начинал громко рассказывать, как отделали его менты, когда брали, как отходил в тюремной больнице и как возненавидел перестройку за то, что раньше, до перестройки, сколько раз ни брали его, никогда по яйцам не били... По почкам — это дело понятное, но чтоб по яйцам — это чисто горба-

чевские штучки! Говорил, что Саньке обалденно повезло, что ему с ходу «бошку» пушкой проломили и лишь для порядку слегка попинали, но он того уже не чувствовал, в чем тоже повезло. Санька ощупывал шрам на стриженом затылке и соглашался, что ему и верно повезло, могли бы запросто изуродовать. Еще бы! Мента пырнул!

Из окна, козырьком перекрытого, ничего не увидишь, а жизнь за ним все равно и чувствуется, и слышится, только Санька этой заоконной жизни ничуть не завидует. И не только потому, что суета там, за окном, а больше потому, что всякий людишка, что за окном гоношится, он еще в отличие от Саньки не осознал, что не живет вовсе, а именно суетится, у него, вольного, еще все впереди. Может, и камера эта — тоже впереди, потому что рано или поздно начнет наводиться сам по себе порядок, — а как без порядка? Только недолго можно. А как начнет наводиться, знай только успевай вещички собирать, потому что в такой странище, как наша, с развалу обычным трудом никак не выправиться, обязательно зэки понадобятся. И не то что при Сталине, как рассказывали, когда «следаки» мучились, людям всякие глупые вины придумывая, нынче ничего придумывать не надо. Бери через одного — не ошибешься. Очень даже быстро порядок можно навести, особенно если каждого с конфискацией. А главное — все честно и по закону. Первый не наворовавший как окажется наверху, так он и начнет. И тогда что? А то, что ему, Александру Михалычу Рудакину, как раз и повезло, что «четверой» отделался, — так вот оно все может обернуться, что нет худа без добра. Может, еще и тому самому соседу, Сергею Иванычу, случится передачку отправить. Не такую, конечно, жирную, какую Санька нынче два раза в месяц получает — в жизни так жирно не жрал, — не такую! Порядок — он всякую эту дармоту к рукам приберет. Так что соседушка и сухарикам будет рад. И братану родимому, Андрюхе, если метла чисто пометет, несдобровать ему, и вкалывание по каждому дню в смягчающие не запишется...

В камеру разрешается газетки получать. Что ни морду увидит Санька, всякой будущий срок прикидывает. Что ни морда — меньше чем на червонец не тянет. Начитается газеток, и на душе легче и светлее, даже и собственная жизнь совсем уж не такой и глупой смотрится. У соседа Сергея Иваныча поговорка была любимая: «Хорошо смеется тот, кто цыплят по осени счи-

тает!». Это когда хорошее настроение. А когда плохое, так поворачивает: «Хорошо смеется тот, кто стреляет последний!» Ну так вот! Еще не известно, кто будет смеяться... Кто вообще будет смеяться, а кто сопли по шконке размазывать.

Порой так замечтается Санька, так уверует в будущую справедливость, так зауважает свою догадливость про будущее, что забывает, где и с кем... И когда в раскрытую кормушку надзиратель кричит: «Рудакин, на выход!» — то есть к следователю, Санька не сразу соображает, что к чему, и лишь по второму окрику: «Рудакин есть?» — откликается торопливо: «Иду, иду, чо орешь!»

Для камерной молодежи чистый кайф, когда дежурит старый-престарый надзиратель по кличке Хрыч. Для всех загадка, почему он до сих пор не на пенсии. Этот, еще, наверное, бериевский сокол, вызывает заключенных по-старому, когда строго-настрого запрещалась всякая связь между заключенными разных камер. Чтоб подельники не знали, кого взяли, а кого нет, чтоб сговориться не смогли. Потому Хрыч фамилии не называет, а, всунувшись в кормушку своей сморщенной мордой, тихо, почти шепотом говорит: «Кто на «Б»?» Тут шпане веселье. Один кричит: «Брежнев!» «Нет», — равнодушно отвечает Хрыч. «Березовский!» — кричит другой. «Нет». — «Блядюкин!» — кричит третий. Хрыч косится: «А в карцер не хочешь?» Лишь на четвертый или на пятый раз откликается наконец владелец фамилии на «Б». Похоже, что Хрычу и самому нравится такая игра, потому что иногда отвечает: «Ага, значит, вот ты вместе с Брежневым и Березовским без вещей на выход».

У Саньки ходка-то уже вторая, не новичок, и вот что он подметил нового в общем настроении: за исключением разве тех, кто «по мокрянке», то есть за убийство, все злы на власть. А за что?! Иной какой-нибудь взломщик ларьков, сидя на параше с газетой в руках, прежде чем размять ее для употребления, обязательно ткнет пальцем в газету и заорет: «Нет, ну ты посмотри! Эта вот сука полстраны внаглую обворовал и меня же еще жить учит! Ну, сука позорная! Мое все дело на десять деревянных кусков не тянет, а следак у меня — аж подполковник! Им больше делать не х... подполковникам! Да я ихнюю власть с ихними законами где видал!..» Потом разомнет злобно и употребит, будто не газету употребляет, а как раз власть нынешнюю, как больше ни на что не пригодную.

Такое вот странное противоречие в сознании всяких ворюг и воров Санька никогда не мог понять. И тогда, в первую свою ходку, не понимал, когда власть другая была, и сейчас... Казалось бы, чем хилее власть, тем больше «лафы» для всех их. А вот нет же! В прежние времена в камерах и в зонах про коммунистов всякие анекдоты рассказывали, про одного Брежнева сколько... Злоба, она, конечно, была, но не было презрения, как теперь. Теперь презрение до злобы... И чего им надо?

И в прежние времена редко встречал «покаянку», а теперь вообще один базар — как научиться делать большие бабки, а не такие, за что сгорел. И еще! Никому не понятно, почему «мужики», то есть обычные люди, почему они еще вкалывают за гроши или вообще задарма. По общему приговору, не люди они уже, а скот безмозглый, если позволяют себя иметь «во все дырки»! Сама же власть как бы говорит: «Кради, если можешь!» Так нет ведь! Ну не скоты ли! Им лень мозгами шевелить, позорникам! Во бараны тупые!

Саньке стыдно, потому что в принципе он согласен, он тоже не понимает, почему еще кто-то покорно вкалывает, почему не бунтует или не ворует. А с другой стороны, сам-то он — ни бунтовать, ни воровать не хочет. А вкалывать — тем более. И братана Андрюху, если честно, слегка презирает за жадность до дела. И вообще за жадность...

Себя Санька понимает как счастливое исключение. Не через навоз, а через гармошку сделал себе сберкнижку — через собственное удовольствие. На свадьбах бывал и сыт, и пьян, и бумажку — не рублевку — уносил в сберкассу. Но вот сгорели, хана, казалось бы. И что?

В самый нужный момент когда чуть не повесился от горя, — на тебе! Считай, с неба свалились в единственный овраг в округе бумажки круче прежних. Если такое везенье выпадает, значит, что? Значит, стоит за ним, за Санькой Рудакиным, какая-то особая правда про жизнь, которую никак понимать и не надо, а только пользоваться, как душа подсказывает. А душа подсказывает все то же — домик у моря и тихая бабенка под боком! Нешто это много? Эти, шустрые, что в камере, они как его, Санькину, мечту понимают: старик, чего с него возьмешь, душой старик, а это все равно что калека, но все ж не баран, потому имеет право... За Турком, Ашотович который, они этого права не признают. Не старик ведь. Потому не уважают, но только терпят.

* * *

Андрюха — Андрей Михалыч Рудакин — с некоторых пор, с каких точно, не вспомнить, напрочь перестал осознавать себя Андрюхой. И верно ведь. Сколько можно! Уже полста с гаком, а все, кому не лень, одно и то же: Андрюха да Андрюха! Сергей Иваныч — вот что значит умный человек — первый почувствовал и однажды вроде бы невсерьез обратился как положено, по имени-отчеству, а потом уже и никак по-другому не обращался. И ведь сразу все изменилось в отношениях. Не то чтобы на равных — какое уж там равнение, вчерашний дачник-сосед, как на крылышках, возносился над людишками, и сверху ему людишки виделись, надо понимать, совсем иначе, чем когда они на одной линеечке мордой к морде. Потому и в суждениях стал, с одной стороны, как бы аккуратнее, то есть без поспешных суждений по первому впечатлению, как это бывает у немудрых людей, дескать, тот вон дурак, а тот вон вообще урод... А с другой стороны, если судил про людей, то именно как бы сверху — сверху-то, знать, люди кучками видятся и вместе со всякими обстоятельствами, которых, может, и сами не понимают, потому что на одной линеечке находятся, и кто-то, кто над ними по судьбе да по ловкости ума вознесся, тот им эти их обстоятельства запросто указать может: так и так, мол, бараны вы этакие, не в ту сторону дороги настроили, в той стороне полный бесполезняк вашему пыхтению, и нечего землю копытом рыть, а самое время оглядеться, да приглядеться, да умных людей послушать, что скажут да посоветуют.

Когда брата Саньку судили за поножовщину, Андрюха приехал на суд. Сперва в район заехал с Сергеем Иванычем повидаться да послушать, что про Санькину судьбу скажет. У Сергея Иваныча уже и контора своя, офис называется. Так себе, комнатенка в райисполкоме, надвое поделенная. В первой деваха расфуфыренная, как секретарша, значит, а во второй он сам. Обстановочка бедноватенькая... Сказал о том вскользь. Тот только головой покачал. Скромность украшает человека, ответил. И Андрюха, конечно, понял, что туфта, что так надо для пользы дела, чтоб какое нынешнее начальство завидью не ушиблось, когда б на шикарство глазом укололось. А так — сидит себе человечек с парой телефонов у казенного стола, а на столе пара бумажек да графин с водой. Да еще новшество нынешнее — компьютер. Говорят, без него теперь никакие серьезные дела не делаются. Все правильно.

Саньке, говорит, повезло. Мало того, что адвокат обязательно от червонца ототрет его, тут, оказывается, еще и амнистия на носу, на днях в Москве депутаты проголосовали. Так что через полгода быть Саньке на свободе. Другое дело, что пустой он человек, что ни в коем случае нельзя ему большие деньги на руки давать — душой он не приспособлен для больших денег. Для больших денег душа должна быть тренированная, чтоб дых не захватывало.

— Люди, — говорит Сергей Иваныч, — в отношении к деньгам на два типа делятся. Одни, чтоб их так или иначе поиметь, а поимев, тут же оприходовать. Не прибыль, заметь, получить, а как бы покончить с их существованием. То есть были деньги — стали вещи. По-человечьи, если хочешь, даже по-христиански — очень верный подход. Не хрена бумажки в культ превращать. Такие люди, скажу тебе, с правильным характером... Ну как, положим, стол, за каким сидим и беседу ведем, — он на четырех ножках, и пятая ему ни на фига. Это, я тебе скажу, дорогой Андрей Михалыч, так сказать, тактическое отношение ко всеобщему эквиваленту, то есть к деньгам...

Но есть, понимаешь ли, еще и стратегическое отношение. Что есть деньги, так сказать, в организме государственном? Кровь! Что по всем сосудам течет и тем самым мускулы наращивает и весь организм этаким образом регулирует, чтобы каждый орган свое дело исполнял и другому органу палки в колеса не всовывал. И тут-то, братец, у каждого свое понимание. У одного такое понимание, что государство — это вообще пережиток, отстойник ненужный, и потому самое время выкачать из него всю кровинушку и распределить с пользой дела для общемирового прогресса. А как Россия из века страна непутевая, то, как говорится, сам Бог велел использовать ее в мировых целях: откачать-отсосать в пробирочки, а как до общих судорог дело дойдет, куда надо для мировой пользы вспрыснуть и приобщить ко всемирной кровеносной системе, а лишнее нехай отсохнет да отвалится. Такая вот стратегия есть, все ее понимают, кому надо, да помалкивают, знай только пробирочки накапливают в забугорных холодильниках.

Великие, скажу тебе, люди к этой стратегии пристегнуты. Мы с тобой — мелочь пузатая. Нам про то даже знать-то опасно, не только что рылом соваться. Наше с тобой дело какое: делать вид, что чурки мы безмозглые, щипачи несчастные, наше дело — крохи с чужого стола собирать. А вот когда наберем этих

крох полны карманы, тогда и заявимся, как положено. Какое вот у меня на данный текущий момент делишко? Да пустячок. Кирпичный наш заводик по ветру пустить, что, честно скажу, уже на мази, а затем прибрать его к рукам со всеми нынешними законами в соответствии. И никак иначе. Все по закону...

Или вот раскручиваю я сейчас одного оболтуса, немалые, скажу, монеты в него, обормота, вкладываю. Но железно знаю, окупится. Тем более что это дело, так сказать, по культурной линии во славу района нашего задрипанного.

— Так это, — всунулся Андрюха, — может, самое время деньжата эти дармовые в ход пустить, чего им в погребе залеживаться...

— Не спеши. Лежат себе — жрать не просят. Критические моменты не исключены, для них и придержим. Но, впрочем, смотри, твоя зелень, а мой совет...

Разговор мужики вели в доме за пустым столом. Жена уж который раз совалась, чтоб стол накрыть да перекусить, как положено по-людски. Андрюха только рычал на нее, что не к месту, что разговор серьезный. А тут вдруг сам подошел к холодильнику, достал бутылку водки початую, а из посудного шкафа один стакан. На ходу налил, на ходу выпил, не морщась, как воду, и к столу уже не подсел, а остался за спиной Сергея Иваныча — тот тревожно шеей закрутил.

— Сам выпил, вам не предлагаю, — очень даже серьезно говорил Андрюха. — Если по совести, ненавижу я своего братана Саньку! Аж страшно подумать, с самого мальцовства ненавижу за всякие его выпендрежи. И деньги эти закровленные, они, я это знаю, его рук дело... Ну не в том смысле... Для него все штучки происходят, что не по правилам. Не понимаете?

Андрюха пододвинул стул к Сергею Иванычу, сел врастопырь.

— У меня в жизни все по правилам. Ну то есть, если помидор посадил, огурец на том месте ни в жись не вырастет. А у Саньки может. И если такое, то обязательно к худу для всех. Хотите знать, кто он, мой братан? Зудоносец он, вот кто. Я, может, в надобности за него и жизнь положу, но это только по братанству, как положено.

А все потому, что батяня наш его по пьянке сделал. Разве можно детей по пьянке делать? Дополз батяня до спящей мамани и проснуться ей толком не дал — минута, и Санька уже там.

А это дело такое, сам знаешь, не глаз — не проморгается. А батяня уже и храпит по-свинячьи. Знаю, не поверите, а ночами снится, что зелень эта проклятая тоже иногда в погребе по-свинячьи храпит. Потому и говорю, не пустить ли ее в дело, да чтоб подальше от деревни...

Сергей Иваныч хохотал, на стуле рискованно раскачивался — ножка-то одна с подломом...

— По твоей теории, милый ты мой человек, у нас пол-Расеюшки — сплошные недоделки. А все не так. У нас пол-России — люди задумчивые, и это, я скажу, очень даже дефектное состояние, особенно в такие времена, как наши. Но такую штуку скажу тебе еще: ты мне нравишься, потому что хозяйственный. Но и он, братец твой, мне тоже нравится. А почему? А потому, что бесхозяйственный и вообще беспутный. Только он не мой человек и для нас с тобой, вот тут ты прав, — опасный. Но засиделся. Значит, договорились, домишко мой пристроишь. Не скупись, но и не продешеви. Но в этом деле ты сам с усам. Брата жди в гости этак через годик. Подумаем, как его пристроить. Некоторые люди с виду вовсе беспутные, а как начальничком его сделаешь хотя б над двумя душами, ей-богу, преображаются. Из кожи лезут. Может, таков. Я со временем землицами вашими займусь, все одно ведь пропадают. Ты это, кстати, имей в виду. Приглядывай да присматривай. Как где какой чистый развальчик нарисуется, тут же меня и вспомни.

Только стал замечать с некоторых пор Андрей Михалыч Рудакин, Андрюха то есть, что после каждого нового разговора с бывшим соседом Сергеем Иванычем душа словно настроем меняется: до разговора был один настрой, а после — другой. Какой хуже, какой лучше, в толк не взять, только перемены эти тревожили Андрюху, потому что любил и ценил в себе постоянность — в ней была уверенность... А уверенность — это что? Это когда нет нужды каждый шаг или слово каждое обдумывать, то есть как бы притормаживать в жизни, хуже нет этого самого торможения, потому что не просто знал, но и верил, что с какого-то момента время жизни начинает ускоряться. Минуты, часы, дни — все вроде бы как и прежде. Только спрессовка другая: минут, их будто вообще больше нет, от часов счет начинается, и притом один час другой будто бы заглатывает, отчего и день короче, и жизнь сама, словно дождевая вода в бочке, то ли истекает по щелям, то ли иссякает, и не по обычному закону, но

по беззаконию или по другому закону, который объявляется над человеком, как только он за серединную длинноту жизни перешагнет. Не сам придумал, все старики так говорят. А верить им начал, когда сам почувствовал, что не та уже скорость жизненного истечения и у него самого, потому и со всякими делами спешить надо. Еще потому, что у стариков, которые уже без дела, если к ним прислушаться, одна забота — жизнь за штаны придерживать, будто она вообще вприпрыжку...

Стал ошибки допускать, каких раньше бы ни за что... Нанял на днях двух бомжей, парней-лоботрясов из бывших колхозников, чтоб обкосили болотце, что в низинке за задами его огородов. С кормами-то напряга, как ферму колхозную ликвидировали — ни купить, ни украсть. А самому уже сколь нужно не накосить, времени в обрез... Нанял. Взялись вроде бы дружно, заплатить-то обещал нормально, слову его верили. Обкосить — полдела. Просушить надо и в копешки просушенное сметать, да рубероидом накрыть, когда вдруг не дождик обычный, а ливень, — бывает же.

Сам в те дни развозил на своем «каблучке» молоко да сметану по бандитским притонам, что развелись-расстроились в районе под видом всяких спортклубов. Брали безотказно, платили повыше рыночной — выгодно. К вечеру третьего дня пришли охламоны. «Порядок, хозяин, — говорят, — дело сделано, гони монету». Знакомые парни-то, хотел тут же и рассчитаться, да для порядку решил все же, как говорится, принять работу. Пошли. Смотрит Андрюха — что-то не так с копешками. Больно аккуратны, как матрешки без голов. Шибко приземисты да пухловаты. Сунул руку в одну по локоть, и аж в глазах потемнело. Что утворили, недоделки! После ночного дождичка мокрую траву заскирдовали, сверху сухой позакидали...

Вот как стояли все рядом, который слева стоял — правой в рожу, а левой — тому, что напротив оказался, прямо по соплям! С ног поднялись да на него с приемчиками всякими. А что приемчики ихние недоученные против рудакинской ярости — измочалил обоих. В итоге все трое в кровище, что кулаки, что рожи. Но сам-то на ногах, а эти — хоть «скорую» вызывай. А на душе-то тошней тошного! Как плохо в школе ни учился, но запомнил же про помещиков сволочных, что своих крепостных работяг пороли за провинности по хозяйству. И вот сам... А сам кто? Работяга из работяг... Ну до того противно...

Под-за плечи оттащил обоих до дому, обмыл... Добро, жены не было... Пластырем рожи позалепил, деньги обещанные по карманам им рассовал, как отошли, упоил еще... Орущих песни матерщинные позатолкал в «каблучок» и отвез в Селюнино, откуда будто бы они родом, хотя домов своих указать не смогли. На скамью, что напротив бывшего магазина, выкинул...

Назад домой летел, над машиной измываясь, но и злобу и досаду сбил-таки с души, и уже совсем потемну раскидал копешки по новой на просушку, хотя к ночи да к утренней росе — напрасное дело...

Чтоб нынче жену-богомолку в упор не видеть, похватал из холодильника жратвы кой-какой, водки полстакана хлопнул и постелил себе в бане матрац, да простынь, да покрывало легонькое — душновата банька, даже если нетопленая. Зато комаров нет, не любит комарье банные запахи.

Лежал и думал о людях вообще. Вообще о людях ничего хорошего не думалось, потому что — ну где они, люди-то? Во-первых, везде разные вроде бы. Те, что в телевизоре, они все как бы ненастоящие. Можно включить, можно выключить — без разницы для жизни. Те, что вокруг, то есть в деревне, и если дачники не в счет, так то ж пьянь одна безглазастая. В район приедешь, вроде бы и суетятся все, а для чего суетятся, как нынешнюю жизнь понимают, как ее пользовать хотят, не спросишь. Не скажут. Раньше, при советской власти, и спрашивать не надо было — все жили одинаково, с одинаковым смыслом, потому что законы все были понятны: вот тот — не трожь — чапается, а этот только для понту, можно начхать... Каждый все знал, и знание другого понимал и в виду имел.

Теперь же у всякого, кто при уме, свое знание, и оно в невидимости для других, как для босых ног еж в темноте. Но то, что все для всех разом тайны стали, в том для каждого шанс есть, если настырность не потеряна, потому что коли ни про кого ничего не знаешь, то можно и не считаться ни с кем и переть, пока лоб в лоб не столкнешься. И тут уж как повезет...

С этой последней думой так вдруг залихорадило душу, что, не будь дело к ночи, вскочил бы и куда-то пошел, что-то делать начал, чего и в уме прежде не было... Такой азарт к жизни откуда-то вылупился, и придумки одна другой хлеще, как раскрутиться на всю катушку, на полную, чтоб более ни минуты без пользы... Кулаки так сжались сами по себе, что костяшки защелкали...

О жене своей вспомнил со злобой и, как был в одних трусах, спрыгнул с полка — и в дом. А жена, волосы свои еще почти и не седые распустив по пояс, руки на коленях сложив, в домашнем платьице сидит перед выключенным телевизором. Не вздрогнула и головы не повернула, когда ворвался, хлопнув дверью. Подошел, чуть склонился над ней, сказал ехидливо:

— Чо это ты перед ящиком? Перед иконкой положено, да с шепотками про всякие божественные штучки...

Не шелохнулась и будто бы даже губ не разжимала.

— Плохой человек.

Андрюха оторопел.

— Это кто плохой? Я?

— Если б хороший, тогда где дети-то наши? Нету. Игорек вон деньги прислал, а там, где для письма на бумажке, — пусто. Будто чужим долги раздает. А Наташка и вообще... Все ты.

— Я? Чего это я? — У Андрюхи вдруг голос в хрипоте увяз.

— Известно чего. Они ж с мальства для тебя не детьми были, а батраками. Вот и возненавидели все твои заботы. А я-то что страдаю? Где жись-то? А мне по закону положено с внуками... Тебе что! Тебе трактор милей всего. В тебе тракторного больше человечьего. Ушла б от тебя... Да куда уходить? Кому нужна разве? Не-а. Никому. Только тебе, чтоб по хозяйству.

— Ни хрена себе! — изумился Андрюха. — Разговорилась... Это ж, поди, тот самый поп твой косматый настрой подает! Не иначе! Ну его счастье, что поп.

Повернулась к нему, глаза подняла. Когда замуж брал, одни только глаза и были... Правда, не по красоте брал, а по домашности, и в том не ошибся. Кто еще из местных мужиков мог похвастаться такой бабой, чтоб столько лет дых в дых, без всяких там претензий и капризов? Да, видать, всему пределы есть...

— Про батюшку ты зря... Если б дорожку к церкви не нашла, ты б меня каким-нибудь утречком нашел в сарае на веревочке.

Так она говорила — спокойно, серьезно... Мурашки...

— Да ты что, мать, совсем охренела, такое бормочешь? И про детей... Я их чему научил? Вкалывать — вот чему! Разуй глаза, многих знаешь, кто б, как наши, из грязи в князи? Сыночек вон по заграницам шастает. А Наташка не за каким-нибудь охламоном замужем — за крепким, со всеми понятиями. А если б, как ты... Времена-то какие? Сучарные! Ну елозились бы у твоего подола, парень спился бы, а девка? Да им нынче одно спасение — юлой крутиться, и подальше от нас, у нас же тут сплошь

гниль одна... Понимать надо, дура ты старая, вымирает народишко, который был. Теперь другой нарождается, и мозги у него другие, и правила, чтоб выживать. Раз уж бегаешь в свою церковь, баб там поспрошай, кто как живет, тогда и остудишься слегка. Нынче либо вкалывать, как мы с тобой, либо гнить и вонять. Лично я вонять не согласен. Такой уж я есть! А дети... Да погоди еще. Обернутся они на нас, так думаю. Может... тогда и обернутся, когда увидят да поймут, что и мы в своем болоте попустому не квакаем...

Сказал про болото... Потом еще что-то говорил недолго, а в мозгах уже напрочь одно — болото!

И утром первым делом в подпол к тайничку, заклепку деревянную выковырнул, пакет с зелеными деньгами за пазуху и в баньку. Там закрылся на щеколду, вывалил долларушки из пакета, отобрал, что поновее, несколько двадцаток да пятидесяток, их — в кармашек с пуговкой, остальные посовал обратно в пакет как попало, завязал пакет узлом, почти бегом назад, домой, в подпол, запрятал, заклепку забил кулаком, землей присыпал.

А к девяти уже подкатывал на «каблучке» к бывшему сельсовету. Название у местной власти другое, а бабы в нем все те же. Вреднущие бабы. Всех давно по три раза перекупил, а ведь не дали осенью взять в аренду клок колхозом давно заброшенной земли, что почти вплотную к деревне, а к его дому особо, потому что дом с краю. Уперлись грудасто-задастые и ни в какую, бумагу под нос совали, что сверху спущена. По той бумаге хай земля буераком зарастет, а не трожь, потому что в паях числится, а за кем числится, тому она на хрен не нужна...

Теперь же дело особое. Болото, оно чисто бесхозное. Неделей раньше ходил-топтался там, елку подыскивал под косу, чтоб пряменькая да ровненькая... Не нашел, но зато убедился, еще никаких таких мыслей в голове не имея, что болото нетопкое, полметра трясинки, а ниже глина — чистая твердь. Потому сосенки да елки хорошо растут, хотя ввысь отчего-то не тянутся, кривятся да ветвями вьются.

У бывших сельсоветчиц от подозрения у кого зенки на лоб, у кого вприщур. Болото! Это что ж ты такое задумал, сукин сын, — у каждой вопрос.

— Бизнес, бабоньки! Бизнес, красавицы! — отвечал. — Буду лягушек разводить для французов. А то не слыхали, что французы лягушек жрут за милу душу?

И самодельные конвертики под их папочки аккуратненько засовывал. Одна образованная нашлась, говорит, что, мол, жрут, да не всяких, а особой породы.

— А то не знаю, — ухмылялся Андрюха, — на развод пару сотен закуплю, в другой год сколь будет, а?

Мог бы и не хитрить, честно сказать, что пруд намерен выкопать да карпов разводить на продажу — уже пошла такая мода, только до ихних мест не дошла. Но побоялся — перехватит кто из самих начальствующих идею, они, начальствующие, нынче сами до всякого бизнеса шибко охочи стали. Сидит себе скромненько на бюджетных рубликах иной мужичишка или иная бабенка, а сынок или дочка под их приглядом такой бизнес крутит под боком, что только ахнешь...

Горд был Андрей Михалыч, Андрюха то есть, что самостоятельно дело проворачивает. Без содействия, значит, своего соседа. Но и не обманывался шибко-то. Помнили или имели в виду толстозадые «сельсоветчицы», что с некоторых пор у «рудакинского кулака» — так за глаза дразнили, знал о том — сильная рука в районе. Но все равно кочевряжились из принципа, морды морщили, толстыми пальцами бумажки перебирая будто бы по делу.

Однако ж наибольших хлопот доставил землемер Сташков, по прозвищу кукурузник. Раньше-то ведь как было? Объявлялось на деревне что-то самым главным делом из всех дел. Положим, кукуруза. И пошло-поехало. Лучшие угодья под нее, а она, паразитка, растет вкривь да вкось. Но все равно — даешь! Через год-другой объявляют: «Перекос!» И под корень эту самую кукурузу. Сташков тогда главным агрономом был в селюнинском колхозе. Уперся, и ни в какую. Силос первей всего! У него одного она и росла по-путному, кукуруза эта. И силосные ямы по последнему слову — никакой гнили и смердения, как у других. Коровье дело настроил в колхозе на погляд. Доярки своим мужьям мотоциклы покупали... Только установка сверху — не попрешь! Дожали Сташкова, развернули колхоз взад, на зерновой курс. Обозлился и на всю жизнь так злым и остался. И вредным в любом деле, куда бросали.

Теперь вот, уже и старик почти, но шустрый и злой пуще прежнего. Землемерным делом заведует. В лапу взял, как милость Андрюхе оказывал. Кряхтел, морщился, ворчал, но два гектара вместо полутора, как по бумажкам, отмерил-таки. Как положено, к вечеру в дом привел старика на угощение. Напил-

ся, нажрался — ну и отвали! Так нет же! Ему надо всю политику обсудить. И коммуняки дерьмо, и демократы дерьмо, один он свет в окошке — все-то он знает и понимает, как надо и чего не надо. Вся власть нынешняя ему по именам известна. Насмотрелся телевизора. Тот дурак, тот продался, тот изворовался — всех под ноготь, как гнид поганых. А кого на их место, про то и ни слова. Никого, надо понимать, потому что вообще всему хана — народишко целиком скурвился. Туда ему и дорога!

Водяры за вечер выжрал за двоих, а ведь так и не вырубился и не сблевался, а когда Андрюха до дому его довозил, в машине рта не закрыл, власть доругивал.

Такой вот нынче напрасный мужик объявился повсеместно. Ворчать ему бы только с утра до вечера промеж телевизора. Андрюхе некогда телевизор смотреть, потому будто в другом мире живет. Потому и выживает. Ящик же этот говорящий для того и придуман, чтоб люди чужими жизнями жили в душе, тогда тело ворочается как бы само по себе без всякой пользы — руки-ноги туда, а душа, она от ящика отлепиться не может. И человечек как в гололедицу: суета есть, а дела нет.

А дело, что с прудом да рыбешкой, — это разве ж для себя Андрюха затеял? А вот и нет. Для братана своего беспутного и несчастного. Санькина затея насчет того, чтобы к морю податься, — это же чистый понт. Ну даже если и купит, жить-то на что будет? Ему ж не просто жить надо, а в обнимку с водярой. И надолго ли хватит «зелененьких»... Чего там говорить! Вот и задумал Андрюха настоящее дело для братана...

С экскаватором договорился по дешевке и с плотниками, чтоб не только домик аккуратненький поставили для Саньки на берегу пруда, но и пруд будущий обгородили с впечатлением. Пусть не у моря. Но у воды... Сиди себе командуй, собирай деньгу с бездельников. Вроде бы даже и начальник какой-никакой. Притом сам себе хозяин. А если, по счастью, бабенка какая объявится, то и настоящий дом не грех отгрохать на бережку, чтоб и с хозяйством, коль захочется.

На то на се половина «зелененьких» дармовых — уплыла, конечно. Но половина или чуть менее — осталась. И на эту свою законную половину Андрюха не претендовал. Такой уж азарт был: для себя лично всего добиться законными монетами.

Вместо одного два экскаватора приползли. Согласился. Быстрее дело сделается. Но обговорил, чтоб никаких наворотов по берегам, чтоб все разровняли... Тут и бригада столяров-хал-

турщиков притащилась вместе с лесом и кирпичом, как договаривались. Домик на сплошной фундамент — как-никак болотная окрестность. Короче, дело не пошло, а помчалось, к сердечной радости Андрюхи. Главная забота — успеть к Санькиному появлению, чтоб сюрприз. На! Хозяйничай! Выколачивай деньгу с любителей-рыбачков. Их, этих любителей, особенно из дачников — несметность. Где ни едешь, что ни яма с водой, сидит себе чокнутый какой-нибудь и ждет, когда ему малявка на крючок сядет. А там, в яме той, окромя лягушек да ротана-бычка, отродясь ничего не водилось.

Здесь же за рублик-другой — что? Да карп преотменный! Есть такая фирма, что развозит в специальных цистернах всякую рыбную живность и для разводу, и для отлова. Хоть карпа, хоть акулу — имей монету.

Лишней монеты, конечно, нет. И для начала уговорился с фирмой на триста килограммов трехсотграммового карпа. Да на кормежку, вонючая такая гадость, но за месяц сто — двести граммов прироста. А по нынешним местам то уже не рыба, а рыбища.

О себе, конечно, тоже не забывал. Крышу перекрыл «оцинковкой», веранду пристроил в солнечную сторону. В баньку воду подвел через мотор-насос.

Надюха-жена, как ни странно, с этих пор мордой только к болоту, понравилась ей Андрюхина придумка, и это хорошо, сумеет на братца-баламута повлиять. Да и поможет в чем... Хотя и досада. Ведь ясно же, не мытьем, так катаньем — лишь бы от мужа в отдалении. Ну и хрен с ней! Глядишь, и Саньку к своей религии завернет. Тогда за него душа спокойна будет.

Сколько раз за свою жизнь слыхивал Андрюха про всякие там человечьи чувствия-предчувствия. Вот, мол, посредь ночи бабка вдруг проснулась да зашлась сердцем про что-то худое, что будто бы в сей момент именно и произошло где-то с кем-то, кто сродни. День-другой проходит, и — на тебе! Известие. Погиб, помер, потонул, дурная кобыла копытом зашибла... Или еще как... По временам-то сравнили — точь-в-точь! Как раз когда башкой со сна вскинулась. Вдовушки военные, они вообще — и день тебе, и час назовут, когда их муженьки на землю упали, чтоб больше не подняться.

Не верил. Потому что в природе все просто и по причине. Если, к примеру, гвоздь в доску сунулся, значит, по ему молотком шарахнули, и никак иначе. Еще бывает, что одно с другим

совпадет по времени, так то просто фокус жизни, такие штучки и с Андрюхой случались. По мелочи, о чем и помнить необязательно.

И ничего, ну ничегошеньки в мозгах Андрюхиных не прошевелилось такого, что подсказало бы... Чтоб хотя бы настороже быть в тот самый день, когда вся его жизнь взорвалась разом и пылью обратилась. В тот самый день, когда Санька-братан из тюрьмы вернулся.

Глянул на него и ахнул только. Старик! Глаза — будто кто из них весь жизненный цвет высосал. На стриженой башке торчащие волосики впересчет. Посредь зубов дыры черные, а морда желтая, а кожа на ей вся морщинами впоперек: вот тебе и «младшенький» — так маманя при жизни любимчика своего называла...

Когда жизни взрыв готовится, то все тому взрыву в угоду складывается, будто какой мудрец мудреный каждую мелочишку наперед на бумажке просчитал и свое подлянистое «хи-хи» в роспись поставил.

Не то что в день, а именно в тот самый час, когда братец Санька у дома объявился, Андрюха запихивал в кузов «Иж»-«каблучка» бидон со сметаной и не позже десяти утра должен был с ней прикатить к проходной спортклуба «Витязь», что в шестнадцати километрах от Шипулино. Не позже — и это тоже, знать, судьбой прописано было, — потому что тот, кто за эту сметанку Андрюхе монету отсчитывал на месте, холуй бандитский, он в одиннадцать уже где-то в другом месте должон быть. Потому — точно в десять. И сегодня, а не завтра. Потому что завтра сметана уже не сметана. Конечно, когда б знать, так пропади она пропадом, сметана эта...

Не шибко большой запас времени был. На одни объятия и в обхват, и крест-накрест — минуты... Потом Санькины охи и ахи на всякие домашние новины, в дом не заходя. Тыча пальцем в часы, Андрюха пытался втолковать братану, что все потом, а щас — дела... Но Санька, как шальной, козлом вокруг него... Глаза слезятся, губы трясутся... «Свобода! — вопит. — Свобода, братишка! Навсегда теперь! Все! Отпрыгал я по жизни, понимаешь! Извини уж, невмоготу. Завтра «зелень» в руки — и на юга! Не обидься! Завтра же умотаю. Нездешний я, понимаешь...»

Тут Андрюхе кровь взаброви ударила, хватанул Саньку за плечи... А плечи-то, Господи! Никакого мяса — кости одни... Тряхнул...

— Ты чо, а? Не поумнел ни хрена? Какие юга! Ты чо, не знаешь, чего там на югах теперь? Как был ты охламон!..

Взашиворот перехватил, через калитку, мимо дома в огород, через огород к задам...

— Смотри, дурила! Вон! Для тебя дом ставлю. Пруд копаю. Будешь сидеть на бережку да деньгу сшибать с рыбачков! Какого еще надо!.. Поди в дом, в зеркало глянься! Ты ж трухлятина! Да тебя на этих югах как последнюю вошь разотрут и сморкнутся!

И швырнул его на кучу ботвы картофельной.

Как бы со стороны глянул — неужто это бывший Санька-красавчик! И вообще — неужто это братец родный?! Развалина морщистая, и только. В районе на рынке таких касаться брезговал. Копейки не подавал, потому что и жить таким незачем...

Родственность, что не в уме живет и сознается, а где-то в сердце, наверное, она, эта родственность, оттуда, где была всю жизнь, словно вытекла — как на чужого смотрел и такому посмотру не дивился даже.

— Андрюха! — застонал с кучи Санька-старик. — Да я ж понимаю, ты человек! Ты вообще... ну... известно, заботник... гигант... А я все... Я уже ничего больше... Совсем ничего... На хрена я тебе нужен? Дай мне «зеленых», сколь дашь, и я больше не отсвечиваю, будто меня нет...

Надвинулся на него, склонился. Санька вжался в ботву.

— Чего?! «Зеленых» тебе? А нету больше «зеленых» дармовых! Нету! Понял! На взятки раздал! В дело вложил! Для тебя, обормота, старался, чтоб хоть к концу жизни человеком стал! Ты всю жизнь кто был, а? Босяк, вот кто ты был! И мозги твои босячьи даже тюрьма не излечила...

И осекся. Желтая рожа братанова вдруг на глазах посерела, как у покойников бывает, губы искривились в судороге, рука, тоже посеревшая, к горлу потянулась — задыхался Санька.

— Нет, нет... — хрипел, — не то... моя доля... по закону... ну... по уговору... ты не мог...

И вдруг завыл. Противно, по-бабьи. Так бы и плюнул в рожу!

— Все! Некогда мне с тобой. Мне деньги зарабатывать надо. Дуй к болоту, там моя баба сидит. Пусть отмоет тебя сперва, а то воняешь, будто в дерьме вывалялся. Вечером говорить будем.

И зашагал крупно и злобно прочь от червя-человека, который хоть и брат родной по крови, но тошней чужого. На часы глянул и выругался длиннюще — опаздывал. Гнал «каблук» не жалея. Да и сметану не жалея тоже — лучше собьется, гуще бу-

дет. И надо же! Успел! Хмырь, что обслуживал бандючье гнездо, как раз вылупился из проходной, когда Андрюха, скрежетнув тормозами, уперся бампером в металлические ворота, едва не расплющив фары.

Хмырь сам-то из мужиков, а канает под хозяев своих — бандюгов, плечами этак шевелит и пальцы врастопырку, и говорит, будто во рту два языка и оба друг дружке мешают слова выговаривать.

— За шыто любылю тебя, землячок, дакы за это, за порядык. Отыкрывай свою жестянку, шымонать буду.

«И верно, жестянка... Не на жестянке бы сюда подкатить, а на танке... — думает Андрюха, открывая заднюю дверку «Ижа». — Подкатить да шарахнуть всем калибром по воротам! Устроились тут, спортсмены!»

Но платят в лапу, и не по рыночной. С волками жить... А со временем, глядишь, и охотник нужный отыщется — не может же долго государство по бандитским законам жить...

Только после шмона пропускают вовнутрь. И то недалеко. Полста метров — хозблок. Корпуса едва просматриваются промеж сосен. Оттуда музыка мозгодробная, гогот да блядючий визг. Повариха краснощекая сперва лезет рыльцем в бидон, нюхает. Потом пробу берет, чмокает, дает «добро». Хмырь расплачивается за воротами. Без сдачи.

И то, что успел, и то, что без сдачи... Короче, маета злобная, с которой из дому выехал, осела с души куда-то вовнутрь, знать, где-то там, внутри, запасник имеется или отстойник, где маета, осев, слегка скисает и изжоги не дает, потому что обратной дорогой уже баранку не дергал на поворотах и пальцы на ней не немели. Думал — с жалостью, — что не сложилась жизнь у братана, и это надо первей понимать. Бог с ним. Да, конечно, пусть забирает свои «зеленые»... Чуть меньше половины осталось, но то ж почти половина. На дом едва ли, а на приличную сараюху хватит. И как понял он Санькину муку, не до хором ему — лишь бы у моря осесть. Ну и пусть посидит, коль душа просит. Потом все равно обратно приползет, если выживет, зато уж смирнее будет. Может, после всего и посидят у печки парой стариканов, которым делить нечего, а только сопли про прошедшую жизнь подтирать...

Когда к шипулинскому бугру подкатывал, с которого издаля деревня открывается, душок гари почувствовал. Погода сухая стояла, по огородам картофельную ботву жгут да сорняки всякие. Но, выкатив на бугор, обмер и глазами, и всем, что в гру-

дях. В деревне сплошным пламенем, почти без дыма, полыхал дом... С краю деревни дом... Его дом! Санькин! Особенно слева... дровяник... и баня на задах — там одна краснота пляшущая... И — бах! бах! — то шифер на дровянике... Самого же дома и не видать вовсе — красной стеной опоясан... А народишку-то вокруг — и не думал, что в деревне столь душ проживает...

Рванул напрямую через покошенные поля, «жестянку» не жалея, глазам не веря, душой не принимая, будто во хмелю или в обморочности. Влетел в канавку, заглох, машину бросил, побежал, словно над землей бежал, земли не касаясь, — башка впереди, ноги сзади. Метров за триста, за двести уже знал: поздно... Крыши нет... Труба торчит... Вместо стен четыре... или пять... или более. Стены огня... Оттого и людишки вокруг без движений, как на похоронах вокруг могилы... Когда добежал до крайних, упал бородой в пыль и промеж чьих-то ног смотрел и слушал, как с шипением и треском улетает в небо жизнь, вся жизнь, что от самого сызмальства и до сегодня, и до завтра, и теперь уже до самой смерти — вся жизнь! Целиком!

Исплаканная жена рядом опустилась на землю, но не прислонясь, а только рядом. Сквозь огневое рычание вдруг чей-то визг психотный — какой-то мужик с лопатой выплясывает под самой жарой, лопатой машет, люди от него шарахнулись, чуть не затаптывая лежащего на земле Андрюху... Жена руки вперед выставила защищая...

А псих-то... Это ж Санька!

Первая мысль — ладно, хоть живой... Но вторая... Поднялся, расталкивая всех, к нему, прыгающему козлом. Разобрал, что орет. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло...» И лопатой машет, будто невидимые головы срубает. Хватанул его за плечо, развернул к себе — ну, конечно, в стельку, а глаза озверелые, как медяки-пятаки круглые, красные то ли сами по себе, то ли от пожарища.

— А-а-а! — закривлялся. — Вот и братец объявился! А я тебе — подарочек! Ты всю жись вкалывал взагиб-перегиб, а я зажигалочкой разочек чиркнул, и теперча скажи, мозгастый ты наш, сколько ты нынче стоишь? А? После моей зажигалочки?

Вдруг еще пуще озверился, оскалился желтым полузубьем, одной рукой за грудки Андрюху, а другой — лопатой взмах...

— Ты меня воли лишил, гад, а я тебя — доли! Квиты!

Пьян-то пьян, а лопату Андрюха еле из руки вырвал-выкрутил. И слегка, чтоб утихомирился, по шее его, чумного, той же

лопатой. Кинулся к огневищу, туда-суда — пустое! Нечего спасать! Совсем нечего! Не иначе, как со всех углов поджигал, гаденыш. Ведро в стороне валяется, поднял, понюхал — бензин. Лет пять назад, когда с бензином проблемы были, вкопал на задах в землю бочку в четыреста литров, скупил у районных шоферюг по дешевке бензину, залил почти до краев. Но попользовался немного. Значит, сперва бензином пообливал углы, а потом... Жена-то, дура старая, куда смотрела! А напоить-то ведь напоила, где ему еще взять, как не в домашней заначке...

Народ весь — и откуда столько набралось — вдруг начал сдвигаться влево и скоро почти весь втолпился в двор соседнего дома, что слева. Там занялся штакетный забор. Но наготове с ведрами несколько баб, прошипел и отдымился. Благо, ветер и слаб, и не в ту сторону. Да и расстояние промеж домов не то что у прочих в деревне — шагов тридцать, не меньше.

Андрюхе на соседние дома плевать. В мозгах пустота, а в пустоте горячим сгустком ярость вызревает и наружу просится. Когда бы не жар от пожарища, схватил бы кол или что под руку и помог бы огню, чтоб скорее, чтоб до пепла, чтоб полную пустоту увидеть на месте бывшего хозяйства, совсем полную, без головешек даже... Пустота лучше, чем развалины... Приедь сейчас «пожарка», не дал бы тушить. Но знал же, печь останется и будет торчать, как надгробье... И жесть с крыши в трубки посвернется, и кирпичные фундаменты — взорвать бы!

И вдруг из-за спины вопль истошный, как игла в затылок. Оглянулся — жена над Санькой склонилась горбом, а шея вытянута, что у черепахи из-под панциря.

— Убил же! Убил! — орет.

— Заткнись, дура! Если сдох — туда ему и дорога!

Хоть и в горячке был, но помнил, что слегка стукнул. Тыльной стороной... Подошел, присел.

— Убил ты его, Андрюшенька...

Вот это ее «Андрюшенька»... Сто лет не слыхивал... От этого слова свет помутился. Схватил руку Санькину, давай пульс выщупывать. Какое там! Своя рука в тряске. Лицом братан будто заострился весь, и ни кровиночки... Ухом к груди... Весь бензином пропах Санька, а жизни в грудях не слышно.

— Я ж слегка...

— Да много ли ему надо было, бедному...

— Бедному! Это мы с тобой теперь бедные с его дури. Нищие!

— Ну и пусть. Знать, так Богу было угодно...

— Чего это ему угодно?! Чтоб вся моя жизнь коту под хвост?! Не убивал я. С такого удара не помирают. От психопатства своего загнулся... Да ну, не может быть!

Схватил за плечи, давай трясти — только голова моталась, об землю стукалась. А вокруг уже и людишки... В их глаза не смотрел, знал, врут глаза, довольнешеньки, что рухнула жизнь, что теперь еще хуже их, и от этого их хитрого довольства завыть хотелось по-звериному. Или схватить ту ж самую лопату и разогнать, загнать всех по домам, чтоб и в окна не смели высовываться и беду рудакинской семьи выглядывать!

Но люди тихо расходились сами, будто отступали... И только несколько женщин присели на корточки рядом с женой и беззвучно плакали. Саньку жалели, он же любимчиком был в деревне из-за своей музыки. По сгоревшему Андрюхиному добру точно плакать не будут.

За спиной вдруг по новой затрещал раскалившийся шифер. Точно очередь пулеметная. По нему, по Андрюхе. И только теперь главная мысль: что убил! Как ни крути, а это ж тюрьма!

Чтоб враз и сума, и тюрьма — рази так бывает?! По-людскому — не бывает! Такое только женкиному Богу под силу. Тогда что же это за Бог у ней такой? Если он Бог, то должон знать, что иначе, как по-доброму, к братану не относился. Про «зеленые» соврал, будто потратил, — так не по жадности же. Как лучше хотел, потому что конченый человек был родной брат Санька, и ни в чем пред ним не виноват. Ни в чем! Наоборот как раз! Любой скажет... Кто сказать захочет... А вот захочет ли кто-нибудь доброе слово сказать за Андрея Рудакина?

Захочет! Один человек захочет. Должен захотеть. Вот к нему и надо сейчас, пока милиция не объявилась...

И тут вспомнил про свою «семерку», про свою выездную, ту, что берег и вылизывал, только в район на ней и выезжал. Держал на задах в специальном загоне под брезентухой, чтоб деревенские мальчишки какой пакости не сделали. Кинулся к заплоту, к тому, что когда-то переставил, захватывая участок давнишних погорельцев, оббежал немного и увидел — уже даже не пылает, а дымится чернотой, и только временами огонь вспыхивает, где для огня кусок живья вскрывается. Без бензина стояла. А то б и рвануло да по кускам разнесло...

Услышал дальний еще вой «пожарки». Бежать надо! И уже ни на кого не глядя — ни на Саньку-покойника, ни на жену и

баб вокруг него, — бегом туда, где «каблук» оставил. Запрыгнул, газу... выметнулся из ямы-канавки и прочь. Пустой бидон из-под сметаны громыхал сзади, будто погоня. Навстречу «пожарка» с воем. По кювету обогнул ее, хотя и дороги хватало для разъезду. По проселочной летел, амортизаторы взламывая, а как на асфальт-районку выскочил, тут уже понесся вовсю, сколь несенья в моторе заложено. Километров за шесть до района бензин кончился. На последних «фурыках» двигателя скатил «каблук» наискосяк в глубокий кювет, там набок и завалился. Зато когда «голоснул», первый же «москвичок» остановился, пара мужиков навстречу, дескать, чем помочь...

— Да хрен с ним, — отмахнулся Андрюха, — все равно бензин кончился. В район срочно надо. Потом разберусь...

— Разбомбят тачку-то...

— Хрен с ней, пусть бомбят... Срочно...

— Тебе видней.

Высадили, где попросил. Напротив «офиса» Сергея Ивановича. Сунулся было, а вот на тебе — «офис» уже в другом месте. Благо — недалеко. Добежал. Совсем другой коленкор — чей-то бывший частный дом, перестроенный, фасад камнем обложен, заборище — невысоко, но капитально, с въездом, и рыло в омоновском шмотье у ворот.

— Шеф на объекте. А ты кто?

— Я-то? Да я ноль без палочки, вот кто я с нынешнего утра!

— Без палки нынче не жись, это уж точно, — хмыкнул парень. Мог бы и намертво пасть замкнуть, но отчего-то проникся. — Хлебзавод знаешь? Там шеф.

«Вот так! — злобно восхищался Андрюха, топая на восточную окраину городка. — Уже и до хлебушка добрался... А давно ли на кирпичный заводик засматривался, как на мечту великую. Между прочим, когда заводик проглотил, про него, про Андрюху, и не вспомнил, будто и разговору не было про совместность. Да и кто я ему? Сосед по бывшей даче... Мужик-навозник... А теперь вообще...»

Нет, не верилось! Чтобы вся жизнь в один день в полный развал! Так не бывает! Может, сон? Было всего столько вокруг... И не в вещах дело, а в том, что дело было, а сам как бы посередине, куда ни оглянись, есть на что посмотреть. А сейчас — как столб в пустыне!

Про Саньку не думал, потому что не убивал его. Не может нормальный мужик копыта откинуть от шлепка по шее. В над-

рыве был братан, лопата только точку поставила. Да и вообще, если что-то числилось за Андрюхой по списку добра, если б кто такой список вел, так это как раз — Санька-братан. Предложи ему Санька, когда из тюрьмы пришел, чтоб все пополам и давай, мол, вместе, — то не колебнулся бы, тут же отписал, и не половину, а сколько б Санькиной душе захотелось, только б вместе, чтоб рядом родная душа с понятием...

Но коль Санька утворил то, что утворил, значит, чего-то он, Андрюха, в братановой душе не углядел. Ну босяк... Ну бродяга... А дом-то, он же родительский еще, его-то в пепел за что? Какой злобой заполыхать надо, чтоб гнездо палить! Но всяк в деревне скажет — и еще скажут! — что вот, мол, старшой Рудакин, то есть он, Андрюха, недобрый человек и жадный и потому никто не в удивлении за убийство, а младшенький, Санька то есть, он и с детства душевный был, музыку знал и все такое... Просто жизнь у него не сложилась, оттого несчастно жил и от братановой руки помер... Так и скажут ведь! Неправда же! Все неправда! А что, если Санька только притворялся добреньким, а сам всю жизнь завидовал...

Нет, тоже неправда. Не завидовал Санька — ненавидел он деревенскую жизнь, по-честному ненавидел, и не скрывался в том. Но вот почему с ним так случилось, того Андрюхе уже не понять, некогда понимать, да и противно.

Увидев «тачку» Сергея Иваныча напротив подъезда, Андрюха хотел было подойти к водиле да про шефа порасспросить, но огляделся на себя — в чем был, в том и приперся: брючата мятые, ботинки грязные, пиджак замызганный и протертый... А руки-то... И рожа, поди, тоже перемазана...

Подошел к машине сбоку, так, чтоб, когда выйдет, увидел. И чтоб сам позвал. А не позовет, не захочет если, тогда... Тогда и не знал, что дальше. Конец свету — вот что дальше! Но и получаса не простоял. Солнце палит, и ноги вподкос. Ушел в тень дома напротив и, как бомж последний, присел на пыльную траву, спиной на забор отвалясь. И вырубился наглухо. Снилось что-то приятное и жалостливое. Никак просыпаться не хотелось. Но кто-то над ухом: «Андрей Михалыч! Андрей Михалыч!» Злобно зенки распахнул, а рядом сам Сергей Иваныч, а за его спиной «тачка», парень-водила с охранником в удивлении...

— Значит, что я тебе скажу, Андрюха... — И часа не прошло с начала разговора, а уже «Андрюха», а не Андрей Михалыч. — ...два у тебя пути. Это теоретически два, а фактически — один.

Но теоретически два. Первый — податься в бега. Нынче запросто. И не такие, как ты, бегают. Только разница. Не таких, как ты, менты в упор не видят. А вот на таких, как ты, квалификацию поддерживают, чтоб жиром не обрастать. Видел, поди, какие у них нынче морды. Стесняются они своей мордоворотости, потому в практике нуждаются. И ты для них — находка. Это первое. Второе... Я тебе в этом случае ни в чем не помощник. Даже бабок дать не могу, поймают, расколют — мне компра. Значит, что остается? А остается, дорогой ты мой, одно: прямо сей момент топать в милицию с повинной. С повинной — само по себе плюс. И тут уж можешь на меня положиться. И адвоката обеспечу, и сам... Я ведь помимо прочего — кто? Да почетный я народный заседатель. То есть заседаю, когда хочу. Уж и не помню, когда последний раз хотел. Самое время захотеть. То, что мы с тобой знакомые, это, конечно, против правил. Но теперь не правила правят, а понятия. Философская категория...

И что мы имеем? А имеем мы убийство, мало того, что непредумышленное, но еще к тому же и совершенное в состоянии аффекта. Статья — до трех. Но при такой пачке смягчающих и сочувствующих обстоятельств выскребем самый минимум. Ну а потом, как выйдешь... Человек ты положительный, без места не останешься. По крайней мере, пока я при своем месте.

Горький для Андрюхи разговор этот происходил в офисе Сергея Иваныча, куда они вернулись сразу, как только Андрюха пробурчал ему на ухо, что брата родного убил. Заметил, и отчего-то совсем без сочувствия, что нынешний офис не то что прежний. Контора! Вся мебель не домашняя, кресла и диваны пузырятся, будто перед задницами выслуживаются, телефоны — тоже сплошной выпендреж, и этот, конечно, на столе — компьютер, по экрану зайчики бегают. А Сергей Иваныч, как в кресло сел — будто и человек другой, Андрюха растерялся, хотел по-человечески пожалиться на судьбу, что такой фортель с ним выкинула, совета попросить по-свойски, как в деревне бывало... Куда там! Язык во рту колесом, слова изо рта, что поленья корявые. Не разговор, короче, а будто напроказничал и винился перед начальником каким...

Что особо обидно — сам-то он, каким был, такой и есть, только нищий теперь... Ведь не одни «зеленые» сгорели вместе с хозяйством, но и рублики, что после государственного бандитства на книжку уже не клал, а все в шкафчик... Да и Саньку не убивал, потому что нутром не убийца — случайность. Конечно, и раньше с соседом по деревне не были они ровней, но теперь-то он и глядит по-другому, и говорит, будто по плечу похлопывает.

А что до повинения, так и сам понимал: кроме милиции, другой дороги нету. Может, вообще не совета хотел, а нормального понимания человечьего. Досада-ржа разъедала душу. Словно быть все равно надо, а жить неохота. Как теперь вот он встанет со стула, так с первого шага одно кончится, а другое начнется. Одно быдлое бытьство и останется, а жизни уже не будет. Какая жизнь в принуде и без воли, и как все это перетерпеть... Санька — дурак... Какой-то особой воли хотел всю жизнь. Дураком жил, дураком помер. Жизнь-то, она и есть воля. Как же он, дважды по тюрьмам отсидевши, такой пустяковины не понял! Дурак!

Андрюха вдруг догадался, что надо ему сейчас всю свою теперешнюю маету-муку стравить на Саньку, потому что, по совести, не только ни в чем пред ним не виноват, наоборот, баламут и раздолбай братец, он-то и виноват во всем, что сегодня, и что завтра, и, может, уже до самого конца такой жизненный пролом уже ничем не залатать, ведь и жизни осталось не половина и, как оно пойдет глядя, даже и не полполовины, а всего кусок...

Одно в утеху: не одна Андрея Михалыча Рудакина жизнь под откос, а, похоже, вообще у всего народа нынешнего крыша сдвинулась, и некуда ей иначе, как и дальше сдвигаться. В детстве белены нажирались от озорства, за что отцы и драли ремнями задницы. А нынче-то что? Вся страна точно каким бесивом обожралась, и всяк на свой манер свихнулся, а пороть некому. И если так судить, то он, Андрей Рудакин, против общей свихнутости стоял поперек, сколь сил было. А кто-то так или иначе так должен был его заломать — руками родного братца и заломали, то есть откуда не ожидал...

Заметил ли герой новейших времен Сергей Иванович Черпаков, что уходил от него мужик Андрюха Рудакин не так, как пришел? И взглядом не так, и шагом не так. Однако ж, если и заметил, то, скорее всего, на свой счет занес, что, дескать, поддержал человека в трудную минуту, верный совет дал и наперед обнадежил, вот тот и распрямился навстречу испытаниям.

Впрочем, возможно, оно так и было...

5. А поезд чух-чух-чух...

Крепкомордый парень лет девятнадцати, в синей атласной рубахе навыпуск и в черных, с блестками, джинсах, без напряги каная под олигофрена, под аккомпанемент электроники лихо орал в микрофон сущую несуразицу:

...а поезд чух-чух-чух...
огни мерцали,
огни мерцали,
когда поезд уходил...

Парень не отрабатывал положенное, он, как нынче принято говорить, ловил кайф на самом себе. Глотку имел отменную, и, если б не соответствующий знак-жест Сергея Иваныча Черпакова, никакой разговор даже за самым дальним столиком не состоялся бы. Но дал знак, официант, тоже совсем мальчишечка, подскочил к певцу-орале, и звук урезался наполовину.

Пока в специальных глиняных горшочках созревало заказанное фирменное нечто грибное, Сергей Иванович, попивая дорогущее, но воистину дивное многомарочное вино, с очевидной охотностью рассказывал мне о судьбе крестьянского сына Андрея Рудакина. Потом общение было прервано поглощением содержимого горшочков, поданных на расписных тарелочках с салфетками и фигурными вилками, — и откуда такое в районном ресторанчике?! Потом допивание вина и закусывание его громадными конфетами из белого шоколада.

С особым торжеством поведал Сергей Иваныч о том, как легко и даже весело отмазали они с адвокатом Андрея Рудакина от срока. Посидеть в следственном изоляторе ему, конечно, пришлось, но, если не считать вони и клопов, сидение его было беспроблемным — соответствующая атмосфера в переполненной камере была обеспечена, и даже паре «зверей», то есть «черным», то есть кавказцам, до того «державшим» камеру в полном беспределе, и им сумели втолковать, что к чему. В жратве вообще никаких ограничений, а жратва — она ж не на одного. Кормитель камеры, Андрей Рудакин, мужик и вообще фрайер по понятиям, в сущности, пропаханил в камере весь следственный срок, чем даже весьма необоснованно возгордился и даже малость «наблатыкался» — забыл, как в пятидесятых про таких вот «наблатыканных» говорили в народе: не столь блатной, сколь голодный — без уважения или жалости, с презрением.

Сергей Иваныч салфеточкой утерся, подытожил философски:

— Знаете, между прочим, что роднит советского мужика с советским интеллигентом? Скажу. Равно легкое впадание в блатеж. Не замечали? Ну что вы! В народе, кстати, давно уж блатных песен не певают. Не до песен. Зато по телевизору! Целые программы. Поют! Да еще с такой ностальгией. Башками трясут, глазенки закатывают. Не иначе комплекс непосаженных. Умора!

Уходить от темы я не хотел. Вклинился.

— Ну а дальнейшая судьба Рудакина? Вы в курсе?

Тут мой собеседник распрямился за столом, глазенки свои серо-зеленые выпучил, руками развел.

— Никак от вас не ожидал! Стыдно, господин писатель! А кто ж вам пару часов назад чай подавал?!

Я не устыдился. Я был потрясен.

— Как? Вот этот?! Плешивый...

— Значит, вам сюрприз! — хихикал олигарх. — По моему рассказу...

— Не только по вашему... Я в деревне...

— Да не важно! Важно, что у вас образ сложился, да? Этакий русский мужик... Почти из классики... По школе помню... Герасим, уходящий от барыни после того, как собачонку замочил. Самобытность и прочее... Так ведь? Так то ж было в проклятом прошлом. А в нашем, еще не совсем проклятом, другой народец. Вы на меня гляньте, каков я? А? Сам себе хозяин, да? И кличут не иначе как олигархом, хоть и районного масштаба. И что ж вы думаете, я в натуре сам по себе? Фигунюшки! И у меня «крыша». В области. И вам бы увидеть меня, когда я с этой «крышей» общаюсь!

Довольно хохотал, откинувшись на спинку стула.

— Ну а кто? Может, ваш брат — инженер душ человечьих, может быть, он сам по себе? Про присутствующих не говорим. Но спросить-то имеем право? Книжечки на какие шиши издаем? Ведь не пашем и не сеем. А книжечки издаем! Государство тут точно — ноль. Или другая картошка? Предположим: у подъезда «мерс» приткнулся, оттуда «новый русский»... Скромненько так... В звоночек пальчиком — дзинь-дзинь... «Уважаемый господин писатель, не позволите ли издать пару-тройку книжек ваших гениальных сочинений? А я уж вам и гонорарчик, как положено! Не откажите...» А писатель этак задумчиво и порога не переступая: «Ну, пожалуй... Позвоните через недельку...»

Не обиделись? И правильно. Если честно, с Андрюхой не все так просто было. Явился после отсидки... За спиной пустота, а в спине позвоночник-то еще пряменький, и голосок-басок хуторской... Нынче басок его слышали? Нет! Вот то-то! А поначалу басок, не иначе. Пришлось вразумить, втолковать. И не за один раз.

— Могли бы кредит дать по дружбе. Восстановился бы...

Покачал головой господин Черпаков.

— Нет. Восстановиться — полдела. А расплатиться? Просчитывал я этот вариантик. Невсерьез, но просчитывал. А если совсем честно, позарез тогда нужен был мне верный человек. Ну чтоб не вор. И чтоб полностью под рукой... К тому же не учитываете одного фактика в моей биографии: сколько я в судах-то отсидел, каких человечков насмотрелся. Еще тот опыт! А имея в виду и возраст Андрюхин... Надлом уже был. Хорохорился мужик, да только у меня глаз — что ватерпас, просек я колебание ватерлинии. Признаюсь, поднажал. Растолковал. Что дармовые бабки только раз в жизни могут в обрыв свалиться. У Бога один план про человека. А сатана фокус придумывает по проверке на вшивость. С иностранцами общаюсь, потому последнее время к русскому человеку интерес чувствую. И подметил, что проверку на вшивость русский человек, как правило, не выдерживает. Надламывается. Так что особой проблемы, чтобы из Андрюхи своего человека сделать... Не было ее. Проблемы.

Но можете вернуться, потолковать — увидите, я для него — благодетель. И поколебать не сможете. И хотите знать, почему? За этим «почему» самый главный для вас сюрприз. Деньги копит Андрюха. Как этот, ну, из классики...

— Гобсек?

— Вот! Джинсуха на нем, заметили? Как на корове седло. Купил на распродаже корейскую подделку — дешевка. И так во всем. А на что копит? На домик у моря! Один он теперь, как братец его придурок когда-то. Жена с сестрой в монастырь отшаркали. Был на освящении храма, видел. Монашки не монашки — не поймешь. Головы в платках, глаза в землю, спины горбами. Подошел к жене Андрюхиной. Зря. И узнать не захотела. Так что нет для Андрюхи Рудакина больше родины. С отвратом. Как и брат покойный...

Подпустив холоду в голос, я сказал, в глаза олигарховы глядючи:

— А все-таки не судьба Рудакина поломала, а вы. Не прав?

Пожал плечами, усмехнулся криво.

— Может, и так. Только и так можно сказать, что я ведь тоже в данном случае для него — момент судьбы.

Щедро расплатился с официантом за нас обоих. Изъявил желание подбросить меня до моей «Нивы», припаркованной у редакции. В машине он звонил по сотовому — не общались. Рукопожались равнодушно. Я ему явно надоел.

В деревню Шипулино я въехал засветло. Дождевая хмурь, что все эти дни грязным тряпьем свисала с неба, рассосалась ли, улетучилась, и спицы-протыки солнца, приседающего за сосновым бором, приятно покалывали глаза. Остановил машину напротив бывшего дома-хозяйства семьи Рудакиных. Подошел ближе. Ни одного человечьего следа — так все же почему не растащили по жердочкам и кирпичикам? Местные, допустим, по суеверию, что, мол, не пойдет на пользу. Ну а приезжие, дачники — им-то в чем тормоз? И всякие другие... Полстраны растащили, а рудакинские развалины не тронуты. Даже если б думали, что хозяин вернется, — и это не помеха.

Растащат, решил. Рано или поздно растащат. Потому что противоестественно добру пропадать. Просто пауза...

Вечерняя тишина в деревне особенная. Когда безветрие. Впрочем, если прислушаться... Вот собака пролаяла, и чудом выживший петух проорал... А где-то музыка... Точнее, след от музыки.

А под этот ритм вдруг вспомнилось контрабандой занырнувшее в память:

...а поезд чух-чух-чух,
огни мерцали,
огни мерцали,
когда поезд уходил...

Ну да! И чей же это поезд ушел, чухчухая и мерцая огнями? В слова просятся пессимистически-философские суждения-обобщения. Но я ж не совсем зря прожил жизнь, я знаю позорную тайну пессимизма: он родной брат отчаяния и двоюродный — равнодушия. Порядочному человеку не следует общаться с носителем дурных генов.

Взглядом оттолкнувшись от позаросшего пожарища, впервые за все дни пребывания в деревне вижу за рудакинскими задами воду-озерцо-пруд. Конечно, если яму выкопать, то в этих местах она непременно заполнится водой. Только я вижу и другое: два, нет, вон еще один — рыбаки на бережке. Значит, какая-то рыбица завелась... Говорят, будто бы птицы разносят. Сперва бычок появляется, а потом, глядишь, и карась. Так что завтра утром я хоть на часок, да присяду на рудакинском пруду и первого же пойманного бычка короную в золотую рыбку, которая душой готова к чудодействию, а не чудит только потому, что никто не знает толком, чего хочет.

Рассказы

КОРОВИЙ РАЗВЕДЧИК

н не пришел и не приехал — он прибыл! На машине ГАЗ-67, что с двумя ведущими и деревянной кабиной темно-зеленого цвета, с большими фарами «нарастопырку» — глаза на месте ушей — взяли и переставили для особости. Одно такое чудилище на весь район у председателя колхоза Остапа Чупрака, хохла из Полтавщины, заброшенного в зауральскую деревню партийной волей.

Сперва из машины выгрузился сам Чупрак пузом вперед, фуражкой вслед, и только потом то ли выпрыгнул, то ли спрыгнул он...

В те, послевоенные, кого можно было удивить бравостью вида, звоном металла на груди, голосом зычным да выправкой отменной? Вроде бы никого. Но удивлялись, дивились каждому неискалеченному, каждому, потому что по воле войны — то без руки, то без ноги, то с простреленной грудью, то вообще не жилец — такие все больше мужики возвращались в деревню Туманиху, что на правом, низинном берегу реки Сутоми была отстроена еще при царях Горохах людьми старой веры. Темноту религиозную вытравили, людей выправили, как тому советская власть учит, но вот с туманами что поделаешь? Наползали они, серые туманы, на деревню всякое Божье утро клубами и пластами, да так плотно, что отчаянный петушиный крик едва прорывался до людских ушей — не только глазам, но и ушам были влиятельны сутомьские туманы. Приезжавший еще до войны специалист по всяким природным чудесам даже доклад после делал в избе-читальне, что, мол, такова тут «роза ветров», что староверцы нарочно выбрали для поселения сие гнилое, но

скрытное место, что до скончания веков будут стекаться сюда туманы, отстаиваться и лишь к полудням тихо гибнуть в лугах, оставляя после себя сырость и прохладу. Что перенести бы деревню десятком километров выше по течению. Ишь ты! Перенести! А травы! А молоко, из которого, как шепотком говаривали, чуть ли не для Кремля продукты изготавливают и самолетами доставляют из области в Москву. За этим молоком одна на весь район бетонная дорога, и за дорогой той человек на *окладе* наблюдает. Оклад — что клад, лето ль, зима, ежемесячно — срок подошел — и на тебе хрустящие в руки пачкой! Здоровый мужик с бабой неработающей в специально построенном балке всю войну просидел на «броне», детей в районе в интернате содержал — не по-людски, конечно, но, значит, так надо.

Как по всей России, в четыре утра спешили доярки на ферму, как по всей России, в шестом часу пастухи выгоняли стадо в луга, но, как нигде в России, не были туманихинские пастухи уверены, что и завтра тоже выйдут на работу, потому что имели преподлейшее свойство ихние коровы: какие только наизвончайшие боталы ни привязывали им на шеи, терялись в тумане и пропадали. А находились уже кучей костей да черепом обглоданным. Потерявший корову, сотворительницу особого молока, пастух успевал по-человечески проститься с семьей и сельчанами, потому что раньше другого полудня за ним приехать не могли, туманы не пропускали, так что и на похмелку имел время, и на баньку неспешную, и на завещальные слова вопящей семье. В войну откуда набраться пастухов-мужиков? Мальчишки вершили пастушение, но чтоб не младше шестнадцати, чтоб увозу могли подлежать соответственно закону. Но были в районе судьи людьми добрыми. Давали сроку не больше того, что до призыву оставалось, мог парень в деревню заскочить и с семьей проститься, прежде чем на войну отправиться. Когда мальчишки в деревне перевелись, решено было миром, что пастушить должны вдовы бездетные, их к концу войны уже скопилось. Зато и хищников развелось в затуманинских лесах неслыханно, дважды в лето приезжали с району отстрельщики, совместно с деревенскими устраивали войну волкам и медведям, и был прок, да малый. Когда война кончилась, когда хохла Чупрака на председателя прислали, поклялся он пред бабьим населением, что более никого увозить за коров не будут, что решит он про-

клятую коровью задачу ребром, а поголовье увеличит согласно партийной линии и международному положению.

Вот и прибыл тогда в деревню Туманиху он — Федор Красников на председательском чудилище с фарами нарастопырку, чтоб туман сподручнее прошибать, прибыл в солнечный июньский полдень и явился народу во всей красе: блестящие черные хромовые сапоги и блестящий черный чуб из-под фуражки, а промеж этим — черные глазища и черные усы, два ряда медалей на одной груди и два ордена на другой, ремень офицерский с блестящей пряжкой, вещмешок на левом плече, винтовка на правом. Непострелянного солдата с пострелянным не спутаешь, бравость у него спокойная, и ноги по-особому ходят, и руки иначе отмахиваются, и в глазах чисто, и в голосе густо. По всей стране, может, и много было таких везунчиков, но в Туманихе первый объявился. Сбежавшиеся к бригадирской избе бабы, девки и мальчишки и приковылявшие мужики-солдаты стояли вполукруг молча и слушали речь председателя, из чего поняли, что привез он, председатель, в деревню нужнейшего человека, стрелка и разведчика, который — что в тумане, что без — любую, самую блудливую корову отыщет по свежеследу, а с хищниками поведет войну на полное истребление.

Отдышавшись пузом, Чупрак объявил, что определяет жить разведчика Федора Красникова ко вдове Марье Никитиной по причине ее бездетности и удобства доморасположения — третий дом от бригадирского...

Все, как один, туманихинцы повернули головы в сторону ее, счастливой избранницы председателя, и если у какой иной вдовушки и накрутилась на глаза завистливая слеза, зла в слезе не было, потому что справедлив был выбор председателя: мало что самая красивая в сути еще девка в деревне, но и блюла себя с сорок второго после похоронки на мужа — не чета иным, слабым да отчаявшимся. Ни один из приезжавших с району стрелков, что у Марьи останавливались, даже по пьянке ничем этим самым похвастаться не мог. И пусть причина Марьиной строгости была в том, что похоронке не верила, так что ж, другие тоже не верили, да позволяли... Так что награда Марье Никитиной деревней была признана, и когда она, не опустив головы, вела сквозь строй к своему дому красавца солдата, деревня смотрела ей вслед добро и сочувственно.

Что первой же ночью легли они в одну постель, никого из туманихинцев не удивило, ни у кого не вызвало осуждения. Но с нетерпением ждали поглядок, то есть обязана была Марья вскорости устроить вечеринку, без которой — не порядок, как бы не по закону сход, хотя бы и с председательского указу. Сельсовета в деревне не было, да и какой сельсовет в таком деле помощь! Поглядки — главней. Лишь на пятый день по приезде красавца, коровьего разведчика, объявила Марья о поглядках. Во дворе Марьиного пятистенка расставлены были столы казенного изготовления и самодельные, лавки стащены свои и соседские, питие и закуска выставлены с запасом, и с пяти часов потянулась деревня к Марьиному дому, к шести прибыл и председатель Чупрак, который и открыл вечеринку торжественной речью о международном положении, как положено: про суд над фашистскими палачами, где их всех, гадов, развесили по сучьям; про японцев, которым наконец накостыляли за все их прежние пакости; про американцев — чегой-то им неймется, духарятся и выпендриваются, после драки кулаками машут, шалопутные. Ну, и о своем, о нашем обо всем резонно было сказано. И лишь потом о главном — чтоб прижился в колхозе новый нужный человек, чтоб любили его и жаловали, как положено, — и тут на Марью взгляд многозначительный и поощрительный... Хоть и председатель, а все ж не сельсовет, «мир да любовь» говорить права нет, то человечьи глаза скажут, что всего главней.

После первых заглотов скучковались мужики отдельно, бабы отдельно. У первых разговор об ихнем, о фронтовом: где воевал, докуда дошел, где подстрелили... Бабы и девки, пошептавшись, песни затянули. Сперва свои, местные, потом те, что за войну. Мужики примолкли, когда Марья чистым, тихим голоском затянула любимую:

Не то в Кубинске, не то в Рязани
Не ложилися девушки спать,
Много варежек теплых связали,
Чтоб на фронт их в подарок послать...

И верно ведь, напосылались, чего только не посылали. А сколько трав всяких лекарственных насобирали по гадючьим болотам за четыре года, сколько по веснам почек березовых ободрали, сколько ягод лесных насдавали...

Получил командир батареи,
Командир молодой-молодой.
Что так ласково тепленько греют...

От мужиков к бабам по скамье переполз дедок Иван Фролов с гармошкой и подыгрывать стал не шибко в лад. Бывший деревенский гармонист сидел рядом с героем вечеринки Федором Красниковым и ревниво пошевеливал левой полоктевой культей. После других заглотов председатель гаркнул свое: «Распрягайте, хлопцы, коней», и тут уже все заорали во всю хмельную мочь и проорали от первого до последнего куплета на одном дыхании. И тут вдруг, тряхнув медалями, махнул через лавки Федор, подсел к деду Фролову и спросил громко:

— А можешь, дед, мне песню подыграть, какую скажу?

Дед виновато задвигал плечами, заморгал красными веками.

— Если слыхивал, милок, так оно можно...

— Песня «Гоп со смыком» называется.

— Гоп со с чем? — отчего-то испуганно переспросил дед.

— Я знаю! — сказал тот, с культей.

— Во! — обрадовался дед. — Артемка, он все знает, он лихой... Только...

— Сыграем! — еще громче крикнул покалеченный войной бывший деревенский гармонист Артемка. — Ты, дед, будешь мне меха тянуть, а я правой... А без басов обойдемся. Пустяковая музыка-то!

Видно, не зря встревожилась Марья, что-то поменялось в лице постояльца-полюбовника, нет, не нахмурился Федор, но будто лицом одеревенел, сидел на скамье прямо, шею вытянул, чумно глядя, как копошатся-устраиваются с гармонью Фролов и Артемка. Наконец запиликали. Сперва не пойми что. А потом, значит, то, что надо, потому что Федор вздрогнул и как-то не по-человечьи оскалился.

— Гоп со смыком — это буду я! Да, да! Так? — обрадованный, что получается, спросил Артемка.

— Не так! — отрезал Федор. — Петь я буду, а ты играй!

Голос у Федора оказался басистый, и первый куплет, вроде бы ничего особенного, ну, про какой-то город, в котором садов много и красивых девушек, а голос Федора с каждым словом будто утробного рыку набирал.

Таня там красавица жила. Да, да!
Много пареньков с ума свела. Да, да!
Русы косы, точно змеи,
Обвивались вокруг шеи,
И как роза майская цвела. Да, да!

Это почемутошное «Да, да!» словно гвозди вбивало во что-то живое и приговоренное.

Влюбился в красавицу Таню хороший парень Петя, поженились они и жили ладно. Но...

Взяли Петю в армию служить. Да, да!
Нашей Тане стало скучно жить. Да, да!
Ходит, ходит, все скучает,
Все чего-то не хватает.
Надо было Петю не любить! Да, да!

Марья свела руки к подбородку и смотрела теперь на Федора грустно и жалостливо.

Вот и война пришла. И немцы в город. И рыжий Фриц стал наведываться к Тане, а Таня поначалу боялась и пряталась. Только Фриц знал свое дело.

Перестала Таня тут бояться. Да, да!
Стала его слушать и смеяться. Да, да!
Может, Фриц ее полюбит,
И она богатой будет,
В шелк и бархат будет одеваться. Да, да!

Федор уже не пел. Хрипел, ускоряя ритм. Артемка едва поспевал своей правой...

Рыжий Фриц все чаще приходил. Да, да!
Шоколад, конфеты приносил. Да, да!
И она довольна, рада
От конфет и шоколада,
От того, что Фриц ее любил. Да, да!

Но всякому сволочизму — по заслугам. Разгромили фрицев, освободили город. И вот Петя, боевой солдат, в своем доме, а на коленях перед ним предательница. Нет, не тронули Петю ее подлые слезы, взвел затвор автомата и расстрелял гадину... Да, да!

То ли охрип Федор, то ли пущего духу набирался, дважды давал проигрыш Артемка, как вдруг Федор набычился весь, глазами — углями черными обвел баб и девок, что напротив, и заорал им в их невинные очи:

Девоньки — продажные скотины! Да, да-а-а!
С немцами ложились на перины! Да, да-а-а!

И тут вскочил, враз взлохмаченный, расшвырял скамьи, столы, баб и мужиков и шажищами будто даже вприпрыжку влетел в дом, и только наружная дверь, ватой утепленная, глухо грохотнула и сотрясла дверной переплет. Редко говорящий на своей хохлянской мове председатель Чупрак покачал широкой головой и процедил тихо:

— Але... И такэ було...

Все смотрели на Марью и будто спрашивали, она же молчала, а в молчании ответ: дескать, знаю, рассказывал, ну да ничего, заживется, ведь молод и здоров... Помолчали, тихо попели, а после снова вышел Федор Красников из избы человек человеком, и веселились, пели, плясали до звезды.

Неделю с первым петухом всякое утро уходил Федор «изучать диспозицию», с местностью округтуманихинской знакомился. Возвращался к вечеру, иногда так и не просохший от утренних туманов. А на другой неделе и первый свой подвиг свершил, привел к утру двух отбившихся коров, одна из которых — рекордистка, и быть бы беде... Но вместо беды был почти что праздник, и три вдовы, что тогда пастушили с помощью мальчишек-мальцов, выставили Федору четверть самогону, настоянного на дурных туманихинских травах. Только Федор подношение отверг, отдал обществу со словами, что, мол, трудодни ему с первого дня пишутся, а за что, он еще пока толком и не понял, потому как шастать по лесу — не есть работа, но забава. Стакан, конечно, для порядку принял и похвалил, а счастливых вдов целовал не по обязанности.

Когда потом одного волка оскалистого притащил, через пару дней другого — порядок, а вот когда подводу снарядил за медведем, опять был праздник и уже одним стаканом не обошлось, но не столько от стаканов пришлось Марье оттаскивать Федора, сколько от вдовы-девки хитроглазой Любаши, которая, стыд утратив, кричала вслед Марье, что пора, дескать, Марью раскулачивать, что права нет у Марьи одной владеть таким племенным жеребцом...

Благо, сенокосная пора подошла, и Федора подключили к делу. Не по-людски в Туманихе выходили на покосы — с полудня, а не с утра, как по всей крестьянской земле. И для Федора это было к добру, потому что, если по лесам не шастал, к ночи дурел от самогона, а к полудню только и оклёмывался. Тяжкую ошибку совершила Марья, заслоняя Федора от вдов питием.

Сначала думать начал. Сядет, нависнет над столом со стаканом в руке и думает, думает, Марьиной ласки не чувствуя, и только розовые жилки над висками туда-сюда, туда-сюда, да желваки под скулами, да кулак на столе... Мужики деревенские приходить перестали. Артемка разве только с дедом Фроловым наведывались иной раз с гармошкой, дед обучился, гармонь растягивая, подыгрывать Артемке басами. Тогда пели они втроем про краснофлотца с разбитой головой и другие печальные песни. Марья тихо плакала в спальне до последнего ухлопа двери, и после не спешила выходить, потому что, оставшись один, Федор снова думал, тяжко вздыхая и покрякивая.

Хуже, когда, надумавшись, говорить начал. Посадит Марью напротив, вперит свои черные зраки в ее лоб и сперва тихо требует:

— Давай, расскажи мне, для чего я выжил! Для чего, а?! Нет, ты зенки не прячь, смотри на меня! Смотри! Целехонек! Пол-России на брюхе проползал в разведках и Польшу всю! И ни царапины! Это для чего ж тогда? Для тебя, что ли, а? Я с самим Рокоссовским водку пил. Ты хоть знаешь, кто такой Рокоссовский? Ни хрена ты не знаешь! На меня смотри, говорю!

Широко расставлял руки, как бы показываясь ей во всей своей счастливой целости.

— Для чего ж я такой?! Для коров ваших обосранных? Какие люди гибли по делу и по случаю! Такие люди! А я сберегся. Кроме как от чириев, другой боли не знал! И ведь оставляли меня, уговаривали, так нет же! Ради суки продажной погоны скинул и скорей к ней, падле... Не знал, что падла... А как узнал — поздно! Куда глаза глядят... Тут ваш хохол и подловил меня в буфете железнодорожном. Ну, хохол! Ну, гад! И тебя, дуру, мне подстелил! Ты хоть понимаешь, что он ради международного положения тебя мне подсунул?

Марья, сдерживая слезы, качала головой, то ли соглашаясь, то ли нет, и говорила тихо:

— Когда б моего Сергуню в сорок втором не того... На что бы мне...

Федор смотрел на фотографию Сергуни на стене и хмурился. Обычная деревенская рожа, курносая, лопуховая. Он знал таких, такие нарывались на случайные пули, подрывались на разминированных полях, ломали ноги, спрыгивая с танка, путались в колючей проволоке, отставали в атаках и попадали в штрафбаты как за трусость — Федор разучился жалеть таких, из-за ихней лопуховости иной раз добрые солдаты страдали... А получается, что, будь жив курносый Сергуня, Марья и не позарилась бы... Кого же кому подсунули? И тогда вообще свирепел, царапал вышивную скатерть крепкими своими пальцами и хрипел надсадно:

— Фрицы со мной не справились! Фри-цы! А бабы! Кто я есть нынче? Ну, скажи, как моя должность называется, за что трудодни пишут! Коровий разведчик?!

— Уважают тебя... — робко отвечала Марья.

Федор ошалело мотал головой, скрипел зубами, обычно чуть обвисшие усы его выпрямлялись тогда черными стрелками, а черные брови спадали на самые глаза, и Марья вжималась в стул от страха и жалости.

— Не-е-ет! Не возьмете! Не для того Федор Красников, дивизионный разведчик, выжил на войне, чтоб коровьи хвосты ловить! Уйду! И паспорт ваш хохол отдаст мне как миленький! А не то — разнесу по щепкам! Разнесу! Сколько мне годов-то, знаешь? Да с моих годов еще такую жизнь можно отбахать...

— Конечно, можно, Федя, — торопливо соглашалась Марья, — ты еще совсем молодой. Только разве ж я держу тебя? Твоя воля...

— Моя! Одна моя воля! Захотел — пришел! Захотел — ушел! Имею право! Для чего выжил...

К концу лета поубавилось в туманихинских лугах комаров да мошки всякой, коровы вольней почувствовали себя, и что ни день, то одна, то другая отрывались в туманах от стада и убредали в залуговые леса, выискивая поляны нетоптаных трав. Весть о пропаже коровы приносили пастухи, с пастбищ возвратясь, а это уже, почитай, к вечеру. А к иному вечеру Федор успевал так набраться, что казенная винтовка на плече не держалась, когда уходил в ночь на поиск.

До сентября, до первых заморозков все обходилось — отыскивал, приводил, однажды и матерую волчицу вместе с волчатами притащил и раскидал за калиткой на посмотр и ахи баб и ребятни. Но с первого сентября по районному указу велено было всех мальчишек, что в пасьбе помогали, посадить за парты, чтоб неучами не остались. Подключили в пастуховое дело калек деревенских да инвалидов — иной и бичом щелкнуть, как требуется для коровьего страха, не мог. Заботы Федору прибавлялись, а терпение его к своей пропадающей жизни истощалось вконец. Шарахались люди от темной злобы его, хотя и уважали, как прежде, но шарахались...

Однажды в середине сентября как вечером ушел за пропавшей стельной коровой, к утру не вернулся и к полудню не вернулся, и другим вечером — нет Федора. Извелась Марья — ушел ведь, и куска хлеба не взяв, только флягу свою, еще разведческую с самогоном в загрудь сунув. Лишь ранним утром третьего дня, словно недоброе почуяв, выскочила Марья в исподнем на крыльцо и увидела Федора. Сидел на последней ступеньке, обняв винтовку, раскачивался и стонал тихо. Туман в это утро был густущий, с наворотами, уже за калиткой сплошная небыль. Федор, когда к плечу прикоснулась — мокрый сплошь, не дрогнул даже, только раскачиваться перестал и голову поднял.

— Не нашел! — ахнула Марья. — Ой, худо!

Но Федор вдруг тихо засмеялся, затрясся, к Марье не поворачиваясь.

— Чтоб дивизионный разведчик сраную корову не нашел, дура ты, баба! Беги к бригадиру, пусть подводу закладывает!

— Пошто подводу-то? — холодела Марья нутром.

— Пошто! Пошто! По то, что расстрелял я ее, суку позорную, за дезертирство, и шоб другим неповадно...

Через час у крыльца Марьиного дома уже толпа толпилась, а Федор, как ни в чем не бывало, в избе вчерашние щи доедал и не слышал гомона людского. Один советовал, что пусть говорит, будто в темноте корову за медведя принял да стрельнул; другой — что медведи с боталами не ходят, потому не поверят; третий предлагал раньше сбегать да ботало обрезать, потеряла будто. То всё мужичьи советы были. Бабы же просто тихо плакали, только Любашка-соперница висела у Марьи на плече и ревела по-коровьи.

Потом вышел на крыльцо Федор. Вышел таким, каким прибыл в Туманиху в начале лета — солдат солдатом! На левом плече вещмешок, на правом винтовка, гимнастерка под ремнем офицерским, но медали да ордена поснимал, и оттого у всех дыханье вперехват. Тут на диво ветер подул со стороны лугов и давай туман глыбами в речку сбрасывать, вся деревня вмиг как из яйца вылупилась, а солнце, на небе объявившись, солдату по глазам хлестануло, и заслезились глаза не к месту. Федор нахмурился, видно, речь сказать хотел, а со слезами на глазах какая речь... Буркнул торопливо:

— Ну, и все... Худом не поминайте...

Подошел к Марье, оторвал ее от Любаши, обнял за плечи, и так, обнявшись, вышли они за калитку и пошли по дороге к району. И когда б вновь не заревели бабы, а мужики не загомонили, то могли б услышать с конца деревни голос Федора:

Уходил наш Петя на войну. Да, да!
Обнимал любимую жену. Да, да-а-а!..

ДО РАССВЕТА

Я стою на плоской крыше высокого здания. Высокого, но не высотного. Время — ночь. Чуть за полночь. Не помню, почему я здесь стою, но мне будто и не надо помнить, почему и зачем. Мне совершенно самодостаточно, что вот стою — и все. Так надо. Ничуть не страшно. Бордюр по краям крыши по пояс. Вокруг меня звезды, то есть они надо мной и вокруг, те, что не над — то светящиеся окна. В отличие от звезд над головой они то там, то тут гаснут, будто их и не было.

Темнота, что везде, она нечистая. И не только из-за звезд, окон и рекламы. Она нечистая по существу, потому что в ней тьма звуков, оттого темнота чем-то напоминает свалку, где чего только нет, но лично мне ничего из того не нужно, ни один звук мне не близок и не дорог, поскольку я сам по себе, поскольку я стою на крыше самого высокого здания, а все, что подо мной, моего пребывания на высоте недостойно.

Я вообще имел бы право предположить, что в данный момент в мире никого, кроме меня, не существует. В принципе каждый человек имеет право иногда так предполагать, потому что реально человек воспринимает только самого себя, а все прочее — лишь как обстановку: будь то шкаф нараспашку или враздвижку, будь то живое существо — двуногое или более. Ведь, когда я буду уходить из мира, вместе со мной никто и ничто не уйдет ни по причине, ни просто за компанию. Непременно человек уходит один, значит, он один и реален, и потому уместно ему пренебрегать... И немного презирать все, что не есть он.

Если бы не любопытство! Оно, любопытство, главная причина вечной, то есть пожизненной, несвободы человека.

Впрочем, возможно, не каждого. Нынче я о себе. Я лично хотел бы узнать все про всех. Вон их сколько, окон, еще светящихся. Те, что погасли, Бог с ними, могу предположить, что они и не светились вовсе. Но те, что светятся, там такие же существа, что и я, и у каждого в мозгу работающий механизм со всякими мыслями, помыслами, замыслами, да еще сколько прочей мысленной чепухи, у которой тоже своя логика, — это-то как раз, может, и есть самое интересное — мысленная чепуха. Готов предположить, что, откройся мне тот или иной человек своей чепухой, я узнаю о нем самое главное, а обо всем прочем, чем он, человек этот, живет, уже и догадаться несложно.

Любопытство мое порой нестерпимо, как вот сейчас, в эти минуты, что стою на крыше, словно само это стояние увеличивает мои права на знание обо всех, кто вокруг и ниже меня. Еще ведь и вот что: мое любопытство абсолютно бескорыстно. Ну, совершенно бескорыстно! Не помню за собой ни одного желания более бескорыстного, чем это. И не знаю ни одного желания, сравнимого по нестерпимости с этим, никак невозможным. Невозможность злобит меня, и, задрав голову к небу с его пошлыми звездами, говорю вслух: «А вот вы, звезды, меня ни капельки не интересуете, мне плевать, есть ли вы еще или уже давно погасли. И про жизнь на Марсе или еще где — мне на это тоже плевать с самой высокой крыши в городе, к сожалению, только с крыши, потому что плевать в небо невозможно, а то бы запросто!»

А между тем окна вокруг гаснут все чаще и чаще, будто живущие за этими окнами узнали о моем желании и страхуются на всякий случай — дескать, кто его знает, психа этого, что торчит на крыше, мало ли нынче всяких ненормальных экстрасенсов и психотерапевтов, которых в былые времена жарили на кострах, чтоб в души не лезли!

Вот! Сокрытие души от постороннего понимания — оно не зря! Всегда есть, что скрывать человеку, будь он суперсвят. А если есть, что скрывать, значит, каждый не такой, каким видится. Опять же по себе знаю. Сколько раз радостно злорадствовал, когда сталкивался с глупым пониманием себя. И такой-то я, и такой-то — а все наоборот не хочешь?! Нет, не хочет! Ему так удобнее меня понимать. Ну и на здоровье, дурила!

Только вот самому-то в роли дурилы быть так-то уж обидно, ведь и меня все, кому не лень, дурят — так бы порой залез всей пятерней в мозговину, чтоб подлинность человечью познать, а

потом пальцем помахать перед носом и взглядом — только взглядом — многозначительно на должное место задвинуть. Нет, не во имя тщеславия, повторяю, — чистейшее и бескорыстное любопытство, то есть интерес...

Ночь с каждым часом становится чуть культурнее. Темнота медленно и терпеливо поглощает или растворяет в себе лишний мусор звуков. Лишний, потому что у ночи есть своя собственная звучность, которая прослушиваться только тогда и начинает, когда подчищается мусор. Я об этой тишине ничего конкретного сказать не могу, потому что она в унисон с моим внутренним голосом, то есть с моими мыслями, с моей думой про человечество, которое, чем чище ночь, тем далее от меня. В том смысле, что сам как бы отдаляюсь от человечества, что позволяет мне говорить с ним на «ты». Оно и я. Всего два реальных объекта в ночи, и мы почти на равных, но у меня преимущество: я о нем думаю, а оно обо мне нет. Я о нем знаю, а оно вообще и не догадывается, что я существую.

Секунду-другую бывает, что я устаю думать о человечестве, и тогда тревога — чего это я вдруг противопоставился... Почему на крыше? Почему не помню, как попал сюда? Но это только на секунду, потому что уже через секунду я вперяюсь взором в дальнее или недальнее окно, что не хочет гаснуть, как большинство, и тем самым словно специально привлекает мое внимание к себе, дескать, в души всего человечества проникнуть нереально, а вот выборочно, если сосредоточиться, почему бы и не попробовать, ведь для чего-то же оказался я в данном месте и в данное время без малейшей догадки — почему.

На моих глазах, хотя для глаз и незаметно, ночь все более приобретает черты породистости, меня это радует и огорчает одновременно. Прикидываю по часам, не более двух часов отпущено ночи для дальнейшего совершенства, а далее грязь рассвета, а еще через час — опять свалка и помойка — как хочешь, назови то, что именуется жизнью, и о чем столько всяческих легкомысленных, подхалимских и откровенно шкурных суждений и толкований накоплено что в литературе, что в мозгах. Скорее всего, жизнь я презираю. Не мою жизнь, личную и уже почти прожитую, — на этот счет у меня определенного мнения нет. Я презираю жизнь вообще.

«А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка». Классик сказал. Еще он же ска-

зал: «Что жизнь? Тень мимолетная, фигляр, неистово шумящий на подмостках и через час забытый всеми. Сказка в устах глупца, богатая звоном пышных фраз, но нищая значением». Ишь, как красиво умели говорить классики о жизни. Разве мне так сказать? Мне так не сказать, потому что, как женщину можно презирать, а от подола не оторваться, так и за жизнь держишься трусливо и продлить тщишься, никакой путной цели сему тщению в виду не имея. В том есть постыдство безмерное, с этим постыдством и живешь в обнимку и каких только философий не насочиняешь, чтобы последнюю каплю почтения к себе не потерять. А чтить себя хочется, так-то уж хочется, что с утра до вечера только тем и занимаешься, что придумываешь самого себя, намерения себе достойные сочиняешь и обстоятельства разные штабельком складываешь, каковые будто бы исполнению намерений препятствуют вопреки непосильным потугам твоим.

А ночь — на то она и ночь, чтоб разоблачать всю самую искусную лжу про себя. И будь я проклят, если в том нет удовольствия — раздевать себя по ниточке и выявлять уродливую наготу того, что придумано душой называть.

И ведь единственное, чем хоть как-то бы оправдывалась жизнь — во всезнании — в нем-то и отказано человеку. И, в конце концов, не всякий же человек, как я, заболевает жаждой всезнания, так почему бы ему не дать... Но стоп! Далее сама по себе попрёт теологическая тема, а там такая путаница, что лучше не всовываться!

Лучше другое — вот она, самая центровинка ночи, максимальная чистота воздуха и звучаний. Не идеальная, но лучше, чище уже не будет. И теперь будем считать... При условии — шеей не вертеть, но смотреть только вперед, имея в виду природой предусмотренный градус зрительного охвата.

Шесть! Шесть светящихся окон. Выбираю одно, то, что на верхнем этаже пятиэтажки напротив. Я чувствую — во всем теле дрожь. И руки, и губы, и колени, и все, что внутри меня, так сказать, дискретные органы жизнеобеспечения — в них тоже дрожь...

Да кто ж ты там такой, что не спишь, почему не спишь? Я хочу знать! Я знать хочу! О чем думаешь, сволочь ты этакая? Какие у тебя проблемы? Да, может, именно я способен помочь решать их, или кто-то из других неспящих... Ну, кто ты хоть? Мужик? Баба? Оба вместе? Но если ты, паразит, просто по пьянке

свет забыл потушить, а я тут трясусь над тобой, аж зрачки лопаются, тогда чтоб тебе и вовсе не проснуться!

Я не слезлив и вообще, как мне кажется, не сентиментален, но сейчас я, фактически предстарик, готов зареветь от досады и злобы. Вот это мое «я хочу!», оно имеет какое-то значение для космоса, если сам космос хоть что-то? Существует какая-нибудь связующая среда, или все в разрыве друг от друга, все само по себе?

По сути, альтернатива проста, как амеба: либо существует некий пространственный коридор общения, и тогда кто-то обязан его отыскать. И почему бы не я именно? Или ничего такого не предусмотрено вовсе, а всеобщее только — смерть?

Небытие — имя существительное! Это насмешка, да? Или подлинность, про которую ничего угадать невозможно?

Нет! Нет у меня больше сил, наверное, я сейчас упаду, и бордюр перекроет видимость, и я стану еще и слепым — мало того, что глухой, ведь не могу услышать чужой души, просто другой души, а не чужой — не могу, хотя хоть Бог, хоть кто еще — все свидетели, что захотел и сумел все прочие желания, что человеку свойственны, отринуть и всю волю одним мощным пучком туда, в окно, потому что хочу знать, узнать, а потом пусть и в то же самое псевдосуществительное — в небытие! Согласен! С полной ответственностью повторяю: согласен! И если через минуту ничего не произойдет, нет, на колени я не упаду, не дождетесь! Я переползу через бордюр и упаду совсем иначе. Не верится, но, кажется, к тому готов, и ничто во мне не воспрепятствует моему последнему поступку, к тому же я и не ощущаю в себе ничего, способного на воспрепятствие. Итак — минута пошла. Я просчитаю ее и без часов, для такого пустяка часы мне не нужны.

Но вот оно! Произнес «сорок два», и за спиной явное движение или шевеление, что-то или нечто заприсутствовало рядом со мной! Нет, не тороплюсь удостовериться, к тому же дрожь, сверхнервная дрожь, она будто в судороге сковала тело — ну и хорошо! Ждем!

Но следующее мгновение — разочарование. Я слышу шаги, обыкновенные шаги, соответственно, обыкновенного человека. Хотя в такую пору обыкновенный человек не полезет на крышу — это я подкидываю себе надежду. Некто уже у меня за спиной, точнее, за левым плечом, а, как известно, за левым плечом — место нечистой силы. Я бы и на это согласился. Хоть какая-то необычность, не банальность. Увы!

— Здравствуйте, учитель, — слышу полушепот. Кто я, не помню, но уж точно не учитель.

— Допустим, — отвечаю. — И что? Кто ты и зачем?

— Меня к Вам послали.

— Кто?

— Они.

— Они, значит. Ну, тогда все ясно. Раз они. И дураку ясно. Они взяли и послали тебя ко мне. Зачем?

— Потому что Вы учитель.

Теперь только поворачиваю голову. Он совсем рядом. Мальчишка. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать — нынешних не угадаешь, к тому же в темноте. Стрижен модно, под дебила. Ростом не плох... Не люблю низкорослых.

— Как зовут?

— Денис.

— Ну, конечно! Нынче каждый второй — Денис. На языке басков, между прочим, кто такие баски, знаешь?

— Нет.

— Не важно. Так вот на их языке Денисами зовут детей, которые при рождении вылазят ногами, а не головой, как положено.

Про басков он ничего не знает, а я знаю только то, что они существуют. Не обижается, однако же.

— Ну, и что? — говорит спокойно. — Мы вон говорим — Бог, а американцы — гад.

— Откуда ж ты знаешь?

— Да в кино. Все «май гад» да «май гад». Ни хрена себе! Для нас Бог, а для них гад!

— Ишь ты! — удивляюсь. — Тоже ведь слышал, а как-то не фиксировал. А если тему продолжить, то «гад» по древнему значению означает — змей. Тот самый, искуситель. Посланец сатаны или даже само его воплощение. Американцы поклоняются нашему сатане! Мощный аргумент для русских антиглобалистов! Тебе что от меня надо, Денис ты этакий?

— Они сказали, что Вы лучший в стране учитель по телепортации.

Тут он наваливается на меня плечом, так, не очень, но достаточно, чтобы мне почувствовать отчетливый запах алкоголя.

— Да ты ж пьяный, сукин сын!

— Немного, — отвечает смущенно и отодвигаясь от меня. — У братана новоселье. Отмечали...

— Братан — это как понимать? Брат или собандит?

— При чем здесь бандит, — обижается, — брат. Старший. Артем.

— Ну, конечно! Каждый третий нынче Артем. В мои времена были Арнольды и Леопольды, а теперь Денисы, Артемы и Гарики. Так чего ты там плел насчет телепортации?

— Сказали, Вы лучший...

Говорит, а мордой в сторону, чтоб на меня не дышать. А окно, то самое, по-прежнему светится, теперь единственное во всем доме, и сейчас бы еще раз попытаться... Пробиться... Поскольку оно одно в обзоре, то будто бы даже ближе стало, совсем близко, и, что удивительно, — шторы раздвинуты, но за всю ночь ни разу даже тень никакая не мелькнула. Неужто и вправду, какой-нибудь алкаш свет не выключил, а я тут всю душу и нервы на износ!

— И кто это «они»? И сколько их там было? И где же это «там»? Давай по порядку и вразумительно. Можешь вразумительно? Или крепко «наотмечался»?

Только теперь пытаюсь рассмотреть его в темноте. Обычный парень. Физиономия вроде бы даже и симпатичная, но, как известно, ночью весь мир симпатичнее — в том дивное свойство ночи. Но известно, ночью самые мерзкие хищники промышляют. Те, что в природе, и те, что из людей. Всякие ползуще-скользящие твари...

— Не понял. Куда ты покурить вышел?

— Так в подъезд. У мамы астма. Ну, вышел, а они там тоже стоят, курят. Ну, базар туда-сюда...

— Куда сюда базар?

— В смысле, разговор... Я как-то так, вроде, между прочим, сказал, что, ну, это... Мечта такая у меня, чтоб везде-везде побывать. Предки, они меня в Институт управления намыливают, ну, чтоб крутым быть. И лапа есть, куда сунуть. А мне как-то по кочану это дело, мне бы, говорю, по свету помотаться, поглазеть, а потом хоть в управление, хоть куда. Они мне и сказали про Вас, что Вы ученый, что эту самую телепортацию открыли, что если успею, то еще застану Вас на крыше, пока Вы куда-нибудь не того... Вот, застал. Думал, врут, а гляжу, и вправду Вы тут стоите.

— Кто «они»? Сколько их?

— Двое. Нормальные мужики. Знают Вас откуда-то.

«Нормальные мужики»! Мне это что-то напомнило, намекнулось на напоминание, но перенапрягся с этим проклятым окном, не могу сосредоточиться. Никак не могу. Ну и...

— Откуда ж они знали, что я именно здесь, на крыше?

— Может, видели...

— Значит, телепортация? Это — был тут, раз! И сразу в другом месте? Так?

— Наверно... А что, как-нибудь не так? Я научусь, я способный, все говорят.

— Ну, если все, то это совсем другое дело. Легко, однако ж, ты жить хочешь.

Тут он снова привалился к моему плечу. Тогда я мягко обхватил его и приставил к бордюру. Он не сопротивлялся, он извинялся и убеждал, что он «в норме», что просто свежий воздух на него так подействовал и что пить не привычен, что вообще не как все нынче, потому что родители «пасут», а приятели не уважают его, и это обидно, потому что однажды он даже двух крутых «укатал», хотя и не каратист и вообще ничему такому не учился. Просто сильно психанул и «укатал» запросто. Только этого никто не видел.

Эко дело! Его никто не видел! Меня всю жизнь никто не видел, в упор не замечал, и ничего, дожил до приличных лет, и жен имел, и детей. И положение в обществе, между прочим, когда оно еще было — общество. «Общество любителей русской словесности». Ну да! А я числился в оригиналах. Я был единственный в своем роде. Вообще единственный суперспециалист по вторичной поэзии девятнадцатого века.

Мне нехорошо, потому что возвращается память. Не то, чтобы я ее терял, никаких амнезий. Надеюсь... Что-то случилось, чего вспомнить не хочу. Но вот будто раковинка приоткрылась, а оттуда, как червяки, завыползали порции памяти. Пока ничего неприятного, но и приятным не назвать.

Итак, я — специалист и мозги мои по саму шкуру черепную забиты графоманией золотого века русской литературы. В свое время, чтоб хоть что-то застолбить в науке о литературе, уперся я во всяких дельвигов, козловых, языковых, грамматиных и даже остолоповых. Насчет остолоповых слабо? А вот вам! «Араб и Белый при огне вдвоем сидели: рассорились и зашумели. — Ты смеешь ли, урод, противоречить мне! — вдруг Белый закричал. — Не на смех ли природа Арабов создала для человечья рода?» Араб, конечно, врезал Белому, а я когда-то врезал самому апостолу русской литературы, обвинив его в принижении «прекрасной плеяды» малоизвестных русских поэтов, я, провинциал, в зале Академии, да в рожу маститому, пред которым даже москов-

ские гиганты литературоведения головки в шеи втягивали. А я еще и с намеком, дескать, не специально ли — Пушкин да Пушкин — единственный и случайный вопреки мрачной реальности, будто с неба упал, а не в благоприятной среде возрос и воспитался? «Маститый» культуру на роже выдержал, но я ж видел, обозлился, оскорбился. Запомнил! С тех пор на все «симпозиумы и конференции» — приглашеньице. Поприсутствовать. А на роток — платок!

Нет! Надо взять себя в руки, иначе попрут обиды и комплексы. Все в прошлом. В далеком прошлом. В столь далеком, будто его и вовсе не было. Если между прошлым и настоящим ничего логично связующего, но только шмат пустоты, то прошлое попросту не в счет. У меня в таком случае вся жизнь не в счет.

Парень, повисевший у меня на руках, ожил, башкой замотал. Извинялся.

— Так на чем мы остановились? — спрашиваю. — Телепортироваться желаем? Куда конкретно?

— Правда, да?!

Отстранился от меня и от бордюра, демонстрируя твердость ног и трезвость желаний.

— «Кто может выразить счастливцев упоение? Как вьюга легкая их окрыляет бег, браздами легкими прорезывая снег и ярким облаком с земли его взвевая... Стеснилось время им в один крылатый миг. По жизни так скользит горячность молодая, и жить торопится, и чувствовать спешит...»

— Вы... Это... Что имеете в виду?

— Я имею в виду, молодой человек с редким именем Денис, второстепенного русского поэта князя Вяземского. Но Вам его иметь в виду надобности нет. Для начала зафиксируем очевидное: Вы попали по адресу. Лично мне еще предстоит обдумать причины такого попадания. Но это мне, а не Вам. Итак, в чем же наше с Вами совпадание? А в том, что Вы хотите везде побывать, а я еще полчаса тому хотел все знать. Видите вон то окно, по-прежнему единственно светящееся? Провокация, на которую клюнуло мое старческо-шизоидное возжелание. Прежде чем узнать все, захотел я узнать, кто не спит в том окне, почему, о чем его думы и в чем его беды. А что оказалось? А оказалось, что обычный алкаш уснул при свете и с потухшей сигаретой в зубах. Почему с потухшей, понятно? Иначе сейчас мы бы смотрели на пожар...

— А как Вы узнали?

— Хороший вопрос, и потому оставим его пока без ответа. Вы же наивно, то есть очень просто и без всякой шизоидности, хотите везде побывать. Прямо скажу — не ново! «Оставя отчий край, увижу новый свет, и небо новое, и незнакомы лица, Везувий в пламени и Этны вечный дым, Кастратов, Оперу, Фигляров, Папский Рим, и прах, священный прах всемирныя столицы». Как видите, два века назад идеей Вашей был обуян опять же второстепенный русский поэт Батюшков.

— При чем здесь кастраты?

— Ну, как же! «Взбунтовалися кастраты. Входят в Папины палаты... Чем мы виноваты? Говорит им Папа строго: «Это что за синагога! Побоитеся вы Бога! Прочь долой с порога!» Н...да! Поперло из меня. Слушай, пока ты протрезвляешься для первой в твоей жизни телепортации, расскажу тебе презабавнейшую историю. Было это, когда я второй раз женился. Женился по ошалелой влюбленности. В других женщинах женщин не видел — превосходнейшее состояние души, на грани идиотизма. По причине беременности захотела моя супруга грибов. Непременно свежих. То есть чтоб я сам поехал куда-нибудь и насобирал. Приперся я без приглашения к одной дальней родственнице, что километров двадцать от города. В молодости она на меня виды имела. Славная такая бабенка. Пошли мы с ней по грибы, как положено — при шляпах и с корзинами. Несовпадение имело место. Она год тому разошлась с очередным, а я только что на очередной женился. Роковое несовпадение! Но пошли, значит. По профессии я специалист по поэзии девятнадцатого века. Не по Пушкину и Лермонтову, а по всем прочим, а их, прочих, было немало. А я специалист, до одури влюбленный в новую жену, я на эту дальнюю родственницу, естественно, никак не реагирую, как на женщину положено. И вместо того чтобы с первых совместных шагов по лесочку разъяснить суть житейской ситуации, я с этих самых первых шагов давай ей читать всяких дельвигов, давыдовых, жуковских. Когда уже грибков набрали, она — отдохнем, может? Конечно, говорю, отчего же, кстати, Катенин... У него... И опять стих. Может, присядем, говорит. Присели. А я ей из Плетнева что-то сложноязычное. И тут произошло. Она встала и со всего маху огрела меня корзиной по голове, так, что в ее корзине все грибы в крошки. Я, конечно, идиот. Она — бедная женщина... Но, Господи, как это было великолепно. У меня легкое сотрясение,

у нее слезы разноцветные по щекам. У меня сначала недоумение, потом понимание и сочувствие, а потом что? Изменил я своей красавице жене... Таково самое удивительное приключение в моей неприключенческой жизни.

Однако, молодой человек, то ж откровенное свинство — засыпать, когда некто делится с тобой самым сокровенным. Вот что значит — молодость! Прислонился к бордюру, головку, дебильно стриженную, набок и в отпад! И это правильно! Как любил говаривать наш последний генсек:

«Несть мудрости у старика, коль жизнь его была легка, когда...» и так далее. Или вот любимый мой Языков, по пушкинской мерке типичный графоман: «Счастлив, кто жребий свой из урны роковой сам избирал и вынул». Банальность — то в лучшем случае. Вот я! Вынул! Просчитал худым умишком своим, что нынче только ленивые не занимаются Пушкиным, потому — пусть им! А я занырну в глубинку поэтического мира да «всяку бабочку цветасту» пришпилю к писчему листу. Моя кандидатская — то был час торжества моего. Чего только не наковырял из вторичности — дивились провинциальные литературные мужи моей кропотливости и осиянности, ибо воистину я сиял влюбленностью в тот самый жребий, что сам «избрал и вынул из урны роковой». На докторскую натягивать уже было нечего. Пара монографий да заказные юбилейные статейки в столичных журналах... Промахнулся я, жестоко промахнулся. Теперь вот и сотни строк из «Евгения Онегина» из памяти не выну, зато какого-нибудь князя Шаликова — пожалуйста, по полной программе! «Всем сердцем верить я готов, что я любимец Муз, богов...» «Есть люди — будь им лишь приятель, то первый ты у них и Гений и Писатель». А это уже дедушка Крылов, погибший от обжорства. Даже тут — не касался я его всем известных басен, а вцепился в неизвестные, поэтически беспомощные, по замыслу тривиальные, вцепился и всякую пустяковину, как конфетку, обсосал, дескать, вот вам, верхогляды, целина неведомая! И многих, между прочим, устыдил — косились на меня с почтением.

Ах да, вспомнил! Был у меня еще один сомнительный подвиг. Некто, очень известный питерский литературовед как-то мимоходом высказался по поводу дурного влияния Батюшкова на лицейский период творчества Пушкина. Легкомысленно всунулся «маститый» в мою личную область, где я как рыба в воде. Э...эх! Как же я раздел его! Сперва обвинил в плагиатстве,

поскольку сию концепцию тьму лет до него высказал литературовед, некий Венгеров Семен Афанасьевич. А потом на двух авторских листах размазал по стене и пресловутого Венгерова, и «маститого». По самые макушки упаковал обоих цитатками — и так и этак, вперехлест и в параллель, и получилось у меня в итоге, что как раз наоборот, что именно Батюшкову обязан Пушкин жизнеутверждающей тенденцией до дней последних, в отличие от многих прочих стихотворцев пушкинского периода, кто к старости рифмовали сплошные сопли о жизненной тщете. Бред, конечно! С Венгеровым я был полностью согласен, но в том и кураж, что можешь и способен взять да и вывернуть шубу наизнанку и доказать, что так «красивше»!

Увы! Будь я не провинциал, а столичная штучка, глядишь, дискуссия сплелась бы, навар поимел. Но столичные обошли меня, как лужу, удостоили небрежной репликой и опоясались, отгородились Кремлем могучим — в его стены что стучи, что не стучи... Одно утешение, студенты мои, они ж тоже к Москве в комплексе, в их мнении я почти семестр, до очередных зачетов, ходил в бунтарях.

Оглядываюсь. Восток у меня за спиной. И там, на кромке-окоемке уже серенькая грязь зарождается. Вверх глянул — звезд нет, хоть в том добро, ночь продлится. Возможно, продлится ровно настолько, чтобы понять-сообразить, отчего мне столь ненавистен и страшен наступающий день. Заодно понять и все остальное: почему я на крыше, что за балбес посапывает на моем рукаве, почему опять пялюсь в окно напротив и какое мне до него дело... И про телепортацию — что за чушь! В общем, до того, как утренняя грязь выползет на небо и заразит, запоганит собою пространство, я обязан очиститься от всех непониманий и от того странного беспамятства, каковое на рваные куски растащило всю прежнюю жизнь.

«Что тревожиться грядущим... День грядущий скрыт от вас. Наслаждайтесь днем текущим». Это еще один из моих бывших подопечных — господин Мансуров, типичный графоман пушкинской эпохи. Ни таланта, ни ума оригинального... Впрочем, на фоне Пушкина вся моя команда, если по-честному, смотрится стыдновато. Я же в откровенно корыстных целях заставил себя полюбить всех этих вяземских, козловых, гнедичей, языковых и еще много других прочих, вообще неизвестных нормально образованным человечкам.

Да, так уж и получилось, заставил себя и полюбил, приручился и везде, где только мог, подзатаскивал на щит того или другого. Милейшего, несчастного слепца Ивана Иваныча Козлова я объявил вдохновителем Лермонтова и, нагло подтасовывая строки, доказывал, что «Мцыри» — и настроение, и ритмика стиха, и интонации целых строф — прямое влияние, если не пленение Лермонтова поэмой Козлова «Чернец», которой и сам Пушкин восхищался и посвящение по сему поводу начертал. Окончательно обнаглев, я даже объявил безапелляционно, что Лермонтов выкинул из двадцатой главы более шестидесяти строк вовсе не по цензурным соображениям, как общемнилось, но потому, что подловил себя на инверсии козловской темы. Столичные литературные тузы не снизошли до моей дерзости, зато какая-то окололитературная «шестерка» злобно отрыгнулась на мое усердие, резюмируя сурово: «Прекрасная плеяда поэтов пушкинской эпохи давным-давно оценена по достоинству и в самозванцах-адвокатах не нуждается».

И что? Если честно, права «шестерка» на все сто. Чего там! И сам порою сознавал, что ломлюсь в открытые двери. Да только иных дверей мне уже не обещалось. Залез в кузов и добросовестно изображал себя груздем. Однажды в нетрезвости я вообще предположил: все, чем занимаюсь, всего лишь хобби, а профессии как таковой вовсе и нет. Впрочем, то было время моего полнейшего разочарования во второй жене. Точнее, ушла, так что «разочарование» — скорее литературный образ моего душевного состояния, нежели суть.

Жизнь есть рай, когда любовью сердце сердцу весть дает...
Жизнь есть ад, когда взаимной связи нет у двух сердец...

Это Долгорукий, тоже один из моих. К чему, спрашивается, хранить в памяти подобную банальщину? Еще хуже — почему вспоминается такое, а не что-нибудь из классики. Знать, расплата за корысть...

Мальчишка жмется ко мне плотнее. Захолодало ему в рубашонке, попытался полой пиджака прикрыть, но он тут же очухался, закрутил головой, извиняется, что пить непривыкший. Форменный урод — в наше-то время и в его-то возрасте. И впрямь, значит, маменькин сынок, домашний мальчик. Что ему Институт управления? Нечего ему в этом мире делать — только телепортироваться к чертям собачьим. Собачьи черти — то ж не человечьи, наверняка добрые и веселые тварюги. Да и

мне бы с ним впору туда же. Мне ведь больше не с кем... телепортироваться...

И в это самое время в окне, куда все глаза проглядел, тень прошмыгнула туда-сюда. Женская тень. Значит, там женщина бодрствует, это ж меняет дело, то есть направление мысли моей обязано поменяться, и тогда, возможно, узнаю... Проникну...

— Так мы будем, а? — жалобно вопрошает мой негаданный соприсутственник на крыше.

— Что мы будем? Ты еще не протрезвился?

— Я и не пьяный вовсе, — оправдывается, — устал просто, весь день с вещами возились, у братана новоселье, говорил же. Вы не хотите меня учить?

— Ну, почему же. Учить так учить. Только сначала теория, поскольку практика без теории шарлатанство есть и безответственное легкомыслие. Так как насчет теории?

— Конечно.

— Тогда первый вопрос. Кто такой Чехов Антон Павлович, знаешь?

— Ну, да. Проходили.

— А что он до Сахалина на лошадях добирался, о том тебе известно?

— А что он там делал? Его же вроде не это... Ну, не ссылали?

— Не ссылали, он исключительно по доброй воле и по любопытству к российским просторам лошадиным способом телепортировался на Сахалин, о чем и написал пространно и нудновато.

— Понял. Смеетесь. Если не хотите учить, так и не надо.

— Обиды в сторону, господин ученик! Ты ко мне с какой фразой подъехал? Напомню. «Хочу везде побывать!» Везде! Этим словом ты выявил полнейшее непонимание пространственного закона. А смысл его в том, что пространство наполнено не только всяческими объектами, но и внутренним сознанием своей цельности. Пренебрежение же его цельностью — жестокая обида пространству, и оно за эту обиду способно мстить и наказывать обидчика. Что-нибудь ты понял из того, что я сказал?

— Нет...

— Я так и думал. Я тоже не все понял, но это не важно. Сейчас разберемся. Повторяю твою заяву: «Хочу побывать везде». То есть в каждой точке пространства. Возможно сие?

— Нет, конечно. Я имел в виду...

— А то я не знаю, что ты имел в виду. Ты возжелал перемещаться с одного места в другое, игнорируя пространство, то есть определенно нанося ему тем самым неискупимую обиду. Ведь каждая точка проигнорированного тобою пространства тоже знает себе цену и имеет законное право на интерес к ней, а ты хоп! мимо всей России и сразу на Сахалин.

— Я не хочу на Сахалин.

— Это я к примеру. Хотя насчет Сахалина — зря. Но на основе твоего проговора мы окончательно изымаем слово «везде» из формулы телепортации, поскольку несовместимо. Это ты способен понять?

— Ну, понял...

— Идем далее. Знаешь, кто такие паломники?

— Которые ходят...

— Именно! Ходят. Пешком. Иногда сотни верст. Молитвы, пост и уважение пространства, то есть Божьего мира, увеличивают их шансы на контакт с Божеством. Иначе говоря, пренебрежение к пространству есть грех. Грех же наказуем. Но это для верующих. Неверующие в подобной ситуации тоже не избегают какой-нибудь пакости для себя, только они никак не увязывают причину со следствием, потому либо все валят на случай, либо не ту причину пристегивают, углубляясь в заблуждении. Кстати, наш общенародный герой-авторитет Стенька Разин, если верить литературным сплетням, однажды в юности тоже прогулялся аж с Дона на самый Север. Правда, если опять же верить сплетням, по дороге он топориком порубал семью, что приютила его на ночь. Зато потом чисто искупился, когда по требованию братвы отказался стать бабою, но, напротив, эту самую бабу как бы из самого себя вышвырнул «в набежавшую волну». Горькими слезами плакали права человека. Радостными слезами плакала братва. Но это так, к слову. Я смотрю, парень, ты на глазах киснешь. Мы ж договорились, что сначала теория. Так как, Артем, продолжаем или завязываем?

— Артем, это мой братан. Я Денис, — отвечает парнишка и вяло, и хмуро. — Если по делу...

— Ну да, Денис. Конечно, по делу. Исключительно по делу. Только замерз ты, накинь-ка пиджак мой. Давай, давай, у меня же, видишь, пуловер, из чистой шерсти к тому же. Значит, в чем проблема? С одной стороны, пространство чувствительно к пренебрежению, с другой, и на поездах мы ездим, и самолетом летаем, а теперь еще и того круче — телепортируемся. Как быть? Спрашиваем — отвечаем. Нужно заключать договор с прост-

ранством. Кстати, с этим делом надо поспешать, глянь-ка туда, видишь? Все поэты, гении и бездари воспевают рассвет, а я тебе скажу: нет ничего более трагического, чем умирание ночи. Более того, это почти аморально. Или по меньшей мере в неизбежности рассвета есть нечто родственное нашим так называемым естественным потребностям. Подлинная суть бытия — ночь, потому что в ней угадывается небытие. А небытие...

К делу! Задача — умаслить пространство, чтоб оно не препятствовало нашей дерзости. Это мы с тобой сейчас и проделаем. Как? Выбираем небольшой пространственный коридор, ну, к примеру, отсюда, где стоим, вон до того дома, где по-прежнему светится это проклятое окно. Далее — богоданным нам способом передвижения, то есть пешим, постигаем его, сознанием фиксируя не только протяженность, но и, так сказать, видимую объемность данного пространственного коридора. Так готов ли ты к первому упражнению по освоению телепортации?

— Чо делать-то? Идти, что ли?

— Именно. Впрочем, как вижу, ты уже в меру протрезвел, и если блажь твоя была просто по пьянке...

— При чем здесь пьянка, — встряхнулся парень, — если по делу...

— Смотря что считать делом. Так идем? Нет, нет, пиджак не снимай, дискомфорт от холода не должен отвлекать тебя от выполнения упражнения. Итак, оглядываемся окрест, с горечью отмечаем первые симптомы умирания ночи, и окно чертово напротив — гаснуть оно не намерено, и с этим мы еще разберемся чуть позднее. А теперь пошли, полезли в чердак. Даже странно, такая темь, и как ты во хмелю башки себе не зашиб тут? «Неужель жребий всех — искать одной мечты?» — вопрошал когда-то несчастный Ванюша Анненков. Зря вопрошал, мечта — удел избранных. У неизбранных — желанья. Попросту похоть души и тела. Ну, слава Богу, выбрались. Постой, любезный, ты куда? Никакого лифта. Ножками! Только ножками. Что лифт, что самолет, что телепортация — равно оскорбление пространства. А нам с ним надо подружиться. Спускаться — не подыматься. Нет! Под ноги не глядим. Взором окидываем окрест, фиксируем, чем и ублажаем. Постой-ка... Сто тридцатая квартира? Здесь... Ну да... Здесь когда-то жил очень плохой человек. Очень плохой...

— Откуда знаете?

— Вовсе не знаю, чувствую. Чем-то он был плох... Да... А умер благостно. Странно, я словно вижу его в гробу. Лик светел, а ведь

был подлец, сколько людей загубил... Маета... Пошли дальше. Чувствую, отчего-то опасно мне здесь задерживаться. Слушай, а ты симпатичный хлопец, там, в темноте, несколько иные черты воображались. Может, зря мы с тобой все это затеяли? Подожди! Сто двадцать четвертая? Ну, конечно! У них такой преогромнейший дивный пес, могучая шерсть почти оранжевого окраса.

— Точно! — Парень удивленно вскидывает белесые брови. — Когда разгружались, девчонка выходила с такой собакой. Уши длинные...

— Да! Точно! Длиннущие!

— Вы тоже видели?

— Видел? Нет... Не знаю... Понимаешь, я сейчас в таком состоянии, что многое о себе не знаю и, что того страннее, не хочу, а если честно, боюсь знать. Впрочем, возможны два варианта: либо не знаю, либо знаю каким-то особым образом. Когда ты на крыше объявился, я как раз этой проблемой озадачивался.

— А телепортироваться?

— Ну да, и это тоже. Само собой. Окно то, помнишь? Вот туда я нацеливался.

— Тоже нашли себе цель! Телепортироваться, так куда-нибудь...

— Не скажи! Это кому как. Иногда самое дивное где? Да под боком! Между прочим, Пушкин ни разу не был за границей. И Лермонтов тоже. Стоп! Меня это начинает тревожить! Я и про эту квартиру знаю... Ну, конечно! Здесь жил гордец... Ни имени... Ничего... Знаю только про его гордость. Не странно ли? Он был известен и гордился известностью. Хороший человек, плохой — об этом ничего... Минуту... Кажется, он даже и умер от гордости. Разве можно умереть по такой причине? А он так... Его переставили местом ниже, он заболел и умер. А вот что, между прочим, еще в тысяча восемьсот девятнадцатом было написано-сказано, не случайно вспомнилось: «На Гений свой не полагайтесь. Хвалой людской не обольщайтесь! По смерти слава — звук пустой, земное все в земле истлеет. Блажен стократ, кто разумеет науку — править сам собой». А этот, который жил здесь, собой сам править не мог, им гордость правила, она же и убила. Кажется, он был писатель. Или поэт? Ну да! Это я тоже помню — всегда первый с ним здоровался, а он всякий раз будто ждал и, чтоб самому первым не здороваться, делал вид, что не узнает меня. А как поздороваюсь, расцветал, руки вскидывал, иногда даже за плечи обнимал. Боже мой! Да что же это такое!

Ни имени, ни лица... Знаешь, парень, давай немного изменим... Ты продолжай, как я говорил тебе, смотреть объемно, только поторопимся отсюда выбраться, что-то мне не по себе. Опасен мне этот дом. Ну, чего встал?

— А Вы правда учитель? Может, Вы просто «с приветом»...

— Любой Учитель с большой буквы непременно «с приветом», чем и отличается от обычных людишек. Всякое нарушение причинности материального мира — своеобразный «привет» от мира нематериального. Все! Топаем отсюда! «Гарун бежал быстрее лани...»

Теперь мальчишка едва поспевает за мной, и на такой скорости спуска ему не до «постижения пространства». И зачем затеял я эту игру с ним? Может быть, мне сейчас вредно одиночество? Да, скорее всего так. Догадываюсь, что у меня какая-то проблема, и мой организм самозащитительно заблокировал странным образом сознание и память. Тогда спасибо тебе, организм! И пусть все идет как идет.

Рука скользит по перилам, смотрю только под ноги, чтобы глазом опять не зацепиться за какую-нибудь квартирную дверь. И вдруг на одном из этажей ноги буквально подкашиваются, я повисаю на перилах обеими руками, чтобы не упасть. А сердце-то мое старое, сердчишко несчастное — что с ним! Может, надумало разорваться? Тогда давай, я и созрел, и готов, такая готовность, как у меня сейчас, — для любого уходящего счастье.

Мальчишка подхватывает под руку, и вовремя, колени прогнулись безвольно и пальцы соскальзывают с перил, а язык задеревенел. Мычу невнятное и дергаюсь подбородком — указывая на квартиру напротив. Номер восемьдесят один. У парня глаза на лоб.

— Ничего себе!

На роже восторг.

— Вот это да! Как вы это делаете? Точно! Это та самая, куда мой братан нынче вселился. Здорово!

Я еще весь во власти неожиданной слабости, обретаю, однако ж, дар речи.

— Худо! — говорю. — Очень худо!

— Чего худо?

— Очень! Нельзя!

— Чего нельзя-то? Нормальная хата...

— Две с... смежных и о... дна отдельная...

— Точно! Кухня — восемь. Не то, что у нас с мамкой, — пять с половиной, не провернешься, чтоб ж... не зацепиться...

Язык мне еще не совсем послушен, над каждым словом напрягаюсь — это странный, необъяснимый ужас, навеянный числом 81, подсек и ноги мои, и язык. Будто бы догадываюсь, 81 — это таинственный шифр, в котором прячется какое-то страшное и опасное содержание, а я на грани расшифровки, после чего гром с небес и всемирная катастрофа, потому что я сумел-посмел расшифровать... Все человечество будет наказано за мое легкомыслие! Потому — не сметь! Нет и нет! Я ничего не знаю про число 81! В мире миллионы чисел, и ЭТО всего лишь одно из них! Я просто обязан обмануть свой разум, от разума, только от него беды человеческие. А я нет! Я не хочу быть причиной... О! Я даже вижу, как это будет. С последним словом расшифровки молния ударит в меня, я превращусь сначала в атомы, а потом каждый атом расщепится, и пойдет всеобщая реакция расщепления материи. Земля превратится в сверхновую звезду, и вселенная утратит разум и порядок. Катастрофа вселенной, где больше уже никогда не зародится жизнь! Потому что Бог отречется от нее! Из-за блудливого любопытства моего разума, ничтожнейшей частички всеобщего мирового смысла. Он, Бог, наказал Адама смертностью за куда меньшее прегрешение... Но это же странно — почему я? Провинциальный кандидатишка провинциальных филологических наук — нелогично и смехотворно!

Надо немедленно переключиться! И не смотреть на дверь с дьявольским числом на ней. Переключиться! Спасайте меня, милые мои, из того, девятнадцатого, я ли жизнь не положил за вас! Ага! Вот и поспешил мне на помощь самый бравый из них, партизан-сабленосец! Между прочим, тезка парнишки, что помогает мне сейчас удержаться на ногах. Или не знаменательно — два Дениса. Один держит меня за локти, другой нашептывает: «Примите меч! — я не достоин брани! Сорвите лавр с чела: он страстью помрачнен! О боги Пафоса! Окуйте мощны длани. И робким пленником в постыдный риньте плен».

Ну, вот! Возвращаются силы, крепчают ноги, и сердчишко баловаться ритмами перестает. В помощи мальчишки уже не нуждаюсь, но мне приятна его тревога.

«Прости, прости. Творец! роптаниям моим... Пред благостью Твоей они пришли как дым, как тщетный звук разбитого кимвала!»

А это кто? Олин? Господи! Кто еще, кроме меня, знает о том, что он когда-то жил-существовал?.. То есть кто он был такой в действительности...

Но все! Я созрел, чтобы покинуть проклятый этаж, да и дом этот, куда, не хочу вспомнить, как попал. Отказываюсь от помощи Дениса двадцать первого века, почти твердо и почти уверенно топаю по ступеням вниз, однако ж страхуясь: на двери квартир более не смотрю, только под ноги. Но на выходе из подъезда навстречу размоднющая деваха, в подсветке лампочки-сорокапятки — лицо ангела, покровителя невинности. Принципиально отворачиваюсь, но вижу: парень мой — столб столбом и плечами уже разворачивается ей вслед. Я его за рукав и насильно из подъезда.

— Вот это да! — восхищенно.

Я его понимаю. Но я еще и знаю. Откуда знаю, не задумываюсь. Говорю ему:

— Ошибаешься. Она не просто дрянь. Она супердрянь.

— Ну да?

— Проститутка. Со своей так называемой работы возвращается. Худшая из проституток, потому что ей нравится, хоть двадцать раз в ночь и хоть с кем. Она всех людей презирает за то, что, деньги зарабатывая, иногда сущие гроши, они усталость знают, а кто-то и работу свою ненавидит. А она за сплошное удовольствие сплошные блага имеет. Хуже! С сутенером своим живет и считает, что они чуть ли не богоизбранные оба. Сущий выродок. Ну да, с лицом ангела. Но то ж не вечно. Не верит, не понимает. Страшно подумать, какая будет расплата...

— А вы-то откуда...

— Оттуда! Знаю, и все. Глянул и душу прочитал. Там и читать-то особо нечего, пара абзацев. И вообще! Секс, как заведомо лживая имитация готовности к деторождению, — горькая обида Богу, ибо удовольствие секса — это авансовая награда за готовность к продолжению рода. И ничего более. Потому и не сказано: «Совокупляйтесь!» Но сказано: «Размножайтесь!»

— Размножаются кролики, — угрюмо возражает парень.

— Увы! Но раньше времени исчезнут народы, обманывающие Бога. Зато те, что ближе к кроликам, унаследуют их достижения. А как ими распорядятся — вот в чем вопрос, а вовсе не в том: «Быть или не быть». Не быть! И вопрос не прозвучит: «Каких народов отдаленных могилы мрачные хранят?» Некому будет вопрошать, потому что не будет духовной преемственности, но только восполнение пустоты...

Буквально тащу парня из подъезда на улицу. Слава Богу! Здесь, внизу, еще ночь. Но луна... И ее лазутчики — фонари на

столбах! Пятая колонна. Агенты влияния. Луну ненавижу! Упущенье Господне — она же опошляет мудрость тьмы! И надо же, ведь целые народы поклонялись луне. Троянские герои погибли под мечами данайцев, а выжившие, явно не лучшие, основали Карфаген, и он, безусловно, должен был исчезнуть из истории без следа хотя бы за тот же «лунный психоз».

Опять же — «...Вышла из мрака с перстами пурпурными Эос». Или что-то вроде того. У Гомера. Это про богиню утренней зари. Богиню разрушения ночи. А с другой стороны, завидую. Древние умели видеть гармонию Сотворения. Мы же только по частям, мы в отличие от древних существа членистоглазые. Когда-то я тоже, как все, поклонялся рассветам, восходам солнца. Пошлость, порождение немотивированного оптимизма бессознательной дезинформации, потому что правда рассвета есть неправда жизни, истина каковой — закат... Хотя последнее время я и закаты ненавижу. Только ночь! Но давно ли такое со мной... не помню.

Прохладно весьма, но отобрать у парня пиджак не намерен. Пока он в моем пиджаке, то будто и принадлежит мне вместе с пиджаком. В этой собственности я в сей момент нуждаюсь. Кто-то же прислал его ко мне, значит, не без смысла и умысла. Жаль, что он больше ни разу не употребил слово «учитель». Жаль! А так хорошо начал.

— Теперь, — говорю, — наша с тобой задача: как можно прямее и короче выйти на тот дом. Чем прямее коридор пересечения пространства, тем мы честнее перед ним. Врубаешься, о чем толкую?

Мотает башкой. Да где ж ему понять, если я импровизирую в полном смысле на ходу.

— После теории, — разъясняю, — первая пробная телепортация с той крыши, где были, на ту, куда идем. Телепортация осуществляется по идеальной прямой. В материальной реальности такой прямоты не бывает по причине всеобщей искривленности субъективного пространства. Значит что? А то! Наша задача свести к минимуму возможную разницу между объективным и субъективным пространствами. Теперь сечешь?

Кивает, дескать — да.

Врет! Интересно, на какой стадии нашего общения он полностью протрезвится и, надеюсь, не фигурально плюнет мне в физиономию?

Обходя припертые к тротуару, даже в темноте самодовольно поблескивающие морды «иномарок», взглядом цепляюсь за

«дворняжку» — «жигуль-шестерку», что без всяких комплексов пристроилась в ряд автореспекта. Категорически не хочу ничего вспоминать-узнавать! Но невозможно, потому что неподконтрольно. Как под гипнозом, подхожу, ладонью касаюсь капота, и... пошло-поехало, будто цветные картинки перелистываю: девочка десяти — двенадцати лет в стареньком пальтишке цвета мирового пожара, местного производства и образца начала пятидесятых, в ботиночках с заплатками по бокам, худенькая, бледненькая девочка спешит в школу; через полчаса ее мамаша, не худенькая — худющая жердиночка-тростиночка в приталенном пальтишке образца военных лет, в ботиночках под названием «прощай молодость»... коричневые чулки на тонких ножках... эта желтолицая, она воспитательница детского сада, что через три квартала, это ж почти рядом, потому всегда пешком, что летом в ливень, что зимой в мороз, зато экономит на автобусе; а «ейный мужик» — так соседи старушки говорят, никогда ни по имени, ни по фамилии, но только «ейный мужик», инженерик, когда он убегает из дому на одну из своих двух работ, того никто не видит; я его вижу сейчас, пока моя ладонь на капоте «шестерки», по первому впечатлению — несчастный мужик, по второму — самый счастливый в мире, потому что одержим, потому что есть мечта, с нищего детства, и всю нищую молодость, и после молодости, а теперь вот уже наверняка. Автомобиль! Чудо человеческого прогресса! Экономия на одежде, на еде, на проездах, на бутылках из-под молока, и никаких других бутылок... Вот он уже почти может купить «единичку» и четыреста какой-то «Москвич», но обещано, объявлено скорое появление автошедевра, и он появляется, но суммы еще нужной нет на сберкнижке, зато заявлен супершедевр, и теперь давно уже подошедшую и по договоренности пропущенную очередь — реализовать во что бы то ни стало. Начальство, уважающее работягу, новатора и хорошего человека, организует ссуду, это вторая удача в жизни простого советского инженера. Первая, когда получил однокомнатную со всеми удобствами в первом в городе высотном, то есть в девятиэтажном, доме. Третья радость на подходе...

Чуть шевелю пальцами на капоте. Ну да! Вот она! «Шестая модель»! Произносится это так, словно у нас в ходу не десятиричная система, а шестиричная. И вижу: сорокалетний мужик, сверкающий от счастья глазами, с широко открытым ртом свершает магическое действо — включает скорость... За его

спиной на заднем сиденье едва не плачущая от счастья семья. Вокруг машины люди, тоже счастливые от чужого счастья, и ни одной недоброжелательной, ни одной завистливой физиономии, и не потому, что все, что вокруг, хорошие люди, а потому, что хорошие люди там, в машине. То — первый выезд семьи за город!

Из красного пальтишки местного производства со временем проросла премилая деваха, грамотно вышла замуж за главного товароведа универмага, похоронила отца-язвенника и мать-туберкулезницу, пятикратно увеличила квартиру за счет соседей, им не в убыль, но «шестерку» — убийцу родителей не сбросила в загородный карьер, не полюбовалась злорадно, как она будет стонать-скрежетать, разваливаясь на уступах карьера, напротив, все годы содержала в идеальном состоянии, и когда одна без мужа и детей по всяким личным дела, то не на мордасто-задастом «форде» цвета вороньего крыла, а исключительно на «шестерке» цвета детского поноса отчаливала от дома, бесконечно изумляя старых и новых соседей.

Знать, между временем жизни и временем жизненных видений преогромнейшая разница, потому что в действительности не держал я руку на капоте, но только прикоснулся и чуть погладил. Разве не поразительно свойство памяти выдавать «истории» продолжительностью в годы в форме единого мгновения, когда сразу как бы схватываешь и начало, и длительность, и конец «истории». Возможно даже, что в данном случае понятие времени вообще неуместно, и мысль не имеет временного измерения. Если, положим, человек действительно Сотворен и мысль, разум — частичка Божественной субстанции в нем, тогда вне человека времени не существует, и все «ученые» рассуждения о миллионах лет галактики всего лишь тараканье представление о человечьем жилье. Мне приятно так предполагать, потому что если время — фикция, то понятие вечности бред завистливого сознания. У Сумарокова Самозванец перед смертью восклицает: «Ах, если бы со мной погибла вся Вселенна!» До Сумарокова думал, что только я искушаюсь завистью к вечности, но вот и он, господин Сумароков... Он же не присутствовал при смерти Самозванца... Всю личную дурость писатели издавна щедро раздаривали своим отрицательным персонажам. Местный наш Владыка, по образованию лингвист, так он утверждает, что «Демон» Лермонтова — произведение исключительно автобиографическое.

Всего три шага от тротуара сделал, пока сии мудрые мысли обмысливал. Однако ж — три, а не один. То ли мысль все-таки имеет время, то ли время потрачено на попытку проговора мысли? А как их отделить друг от друга?

Мой Санчо Панса по телепортации нетерпеливо притирается плечом. Не хочу его разочаровывать, командирским жестом указую направление нашего движения, укрупняю шаг, жестом опять же напоминаю ему о том, что обязан он во исполнение моих инструкций оптимально вертеть шеей, фиксируя объектный пространственный коридор, каковым намерены мы достичь места назначения — пятиэтажки и по сей момент со светящимся окном. Разъясняю, что ночью легче справиться с задачей, поскольку большая часть предметности растворена в темноте — глазам облегчение. Насколько удается, походке своей придаю значение целесообразности и ритуальности одновременно. Это же хорошо, это же чудесно, что в наше время еще бывают такие вот типажи юности, пусть и в полупьяном виде — тогда да здравствует хмель, способный воссоздать наивность восприятия, доверие и почтительность к абсурду, ибо абсурд — дальний родственник чуда.

Пересекаем улицу, двором обходим одноэтажку — «химчистку», и теперь до нужного нам объекта путь почти прям, если следовать не тропинкой, а поперек дворовой пустоты мимо зловонных мусорных ящиков.

Глянул вверх да чуть восточнее — наползает мерзкая серость, еще совсем немного, и настанет то самое неполноценное ничто, где... У кого это? У Жуковского? «То было тьма без темноты... Без протяженья и границ! То были образы без лиц!» А думаю сейчас о том, как тяжко жилось Пушкину, без сомнения, сознававшему свой отрыв от современников, ведь он не просто писал иначе, он иначе мыслил. И когда призывал подмастерьев поэзии учиться у народа языку, не язык имел в виду, но честность по отношению к миру, чтобы учились называть вещи своими именами, как дано это простолюдину по причине его естественной близости к вещному миру. А потом уже из честных называний складывали бы честные стихи. Боюсь, Пушкин и сам не понимал сути личной избранности, потому впечатление, будто оправдывался, хотя порой и менторствовал и поучал. «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг...) достоин также глубочайших исследований». Эка новость!

Нынешний наш народ тоже не читает иностранных книг, более того, он вообще книг не читает. Но что-то же надо изучать изучателю, коль он сохранился в природе. Только матерщину!

И все ж не за Пушкина боль моя вечная, а за тех подопечных, кого корыстно выбрал и, как в наказание за корысть, бескорыстно полюбил.

Положим, первое, что на ум... «Меня очаровала слава! ...Она сердец и душ отрава; Нет тени постоянства в ней: Она в нас гордость поселяет, И часто с высоты честей Стремглав к ничтожеству свергает».

Ну, что это, милый Вы мой, господин Киреев! И не стыдно?

Ведь Пушкиным уже написаны и «Вещий Олег», и «Деревня», и то самое «вшколеобязательное» — «Любви, надежды, тихой славы...».

А после, потом, как вообще смели они, кто Пушкина пережил, скрипеть перьями и писать так, будто Пушкина и вовсе не было! Писать, читать друзьям, в печать запускать свою беспомощность и скудоумие?! Видимо, потребность. Она не только движет перо, но и дезориентирует, потому да будут не виновны!

Знать, так уж образовалось, что нынешняя ночь исповедальна, потому, вывернув себя наизнанку, как не признать, что столь ревностное мое отношение к пушкинской плеяде (плеяда минус Пушкин) всего лишь типичное злобство провинциала, придумавшего душевное родство с поэтической периферией начала века девятнадцатого. И любовь моя к «плеяде», она с червоточинкой. Что-то вроде любви матери к неполноценному ребенку. Мне их жалко, но в отличие от материнского чувства, мне еще порой и стыдно за них, любимых. А если стыдно, то вопрос: правомерно ли говорить о любви?

Когда случалось бывать в столицах, по улицам ходил, в рожи заглядывал и сокрушался — вот, дескать, сколько их безмозглых и пустоглазых, что по одному лишь праву рождения занимают чужие места, в то время как в провинции плесневеют и чахнут таланты, не имеющие столичного преимущества стартовых позиций. Только что-то не припомню, чтоб, когда думал о провинциальных талантах, вспоминал и в виду имел кого-то еще «окромя» себя родимого.

А со столичными талантами, какого гонору напускал, благо ростом хорош, и на многих мог свысока и с прищуром, дескать, и мы, провинциалы, не пальцем деланы, и еще посмотрим... Но

вот прошла жизнь, а посмотреть не на что! Знать, оттого и ночка темная — душе отрада, что вся реальность в ней растворена, и душу не раздражает...

Но вот мы и у подъезда, конечно же именно того подъезда, где окно — и снизу вижу — не погасло. Может, пора закончить игру, отобрать пиджак и отправить парня отсыпаться после трудов и пьянки? Но расставаться жаль и, легкомысленно усугубляя скорую развязку, на пятом этаже приказываю ему заняться легким замочком, что на петельке чердачной двери в конце полупролета, а сам после недолгих колебаний тихо, совсем робко стучу в дверь, что слева и окнами в ту сторону, откуда все глаза проглядел. Шорох шагов и тихий вопрос: «Кто?»

И что мне сказать?

— Сосед, — говорю и готов ко всему: что за сосед? И — чего надо?

Но щелкает замок, дверь приоткрывается. Женщина лет тридцати, в халате, волосы встрепаны, глаза красные от бессонницы и слез.

— Ну что, — говорит раздраженно, — жаловаться пришли, заснуть не можете? Так, может, мне ребенка подушкой придушить, чтоб не плакал и спать вам не мешал, или сами что предложите? Ну, давайте!

— Да что вы... Я... может, чем помочь...

— Вы врач?

— Нет, просто не спится что-то... вот решил...

— Неужели так слышно? Она даже не плачет, хнычет просто. А из какой квартиры? Я что-то Вас не помню.

Стою и молчу, глаза опустив, тапочки ее разношенные рассматриваю.

— Заходите, если не спится, у меня всякого снотворного полно, могу дать. Вы, смотрю, и не ложились даже. — Это она не по поводу, что я в пуловере и при галстуке, а что ботинки мои зашнурованы. — Не разувайтесь, — говорит, — я сегодня и пол не мыла. Как с яслей девочку забрала, так и кручусь вокруг. «Скорую» вызывала, говорят, ничего особенного, горлышко слегка простужено, лекарств разных надавали. А она пять минут поспит и снова хнычет. Капризничает.

Женщина мне приятна, пусть и не из красавиц. Повторяет, что не помнит меня, хотя всех соседей знает, но в голосе настороженности нет. Я же отмалчиваюсь. Я попросту растерян. Зачем зашел? И что дальше?

— Легкого чайку? — предлагает.

Не отказываюсь, но девочка в смежной комнате за шторами вместо двери зовет ее, прихныкивая, и женщина спешит к ней. Я подхожу к полураскрытому окну, и перед глазами девятиэтажка, с крыши которой всю ночь пялился сюда, на это окно, где не оказалось ничего необычного, что могло бы хоть как-то оправдать мой очевидный психический срыв или сдвиг... Оправдания нет, значит, все куда как хуже. А куда может быть хуже? Да все туда же, в сторону шизофрении. Но поскольку способен рефлектировать на эту тему — шизики не рефлектируют, — что же со мной, в конце концов?! Возможно, я совершил нечто такое, о чем не могу вспомнить или не хочу вспоминать, чтобы выжить? По крайней мере, я никого не убивал — это точно. Все прочее, что бы оно ни было, почему бы ему не объявиться, или я не рационалист по натуре, мне ли не по силам софистика, через каковую что угодно можно если не оправдать, то хотя бы подогнать под объективные обстоятельства?

Однако ж памятью не напрягаюсь... Значит, боюсь... Значит, есть чего бояться?

На крышу девятиэтажки, где простоял ночь, уже нагло заползла плесень рассвета, заползла и вырастает, вырастает, распахивается в ширину, с флангов обхватывая спящий город. Остановись мгновение — ты омерзительно!

В том доме, откуда пришел, только одно окно, плотно зашторенное, тускло светится на четвертом этаже. И вдруг снова... Дрожь... Сначала в кистях рук, не могу сжать кулаки, напрячь мускулы. Мгновение — все тело будто в лихорадке... И я знаю, почему. Окно! То не просто окно, то глазок дьявола, что упрятан в серой громадине человечьего муравейника, и уж про ЭТО окно я все знаю! Еще бы! За бордовыми шторами! Чудовище в облике чистоты и невинности. Это она встретилась нам на выходе из девятиэтажки и сделала вид, будто не узнала меня. А может, и верно, не узнала, и неузнавание — часть ее гнусной «профессии»? Кавычки я выставил как бы задним числом, потому что словом можно оскорблять кого-то или что-то... Так... Но и само *слово* подвержено оскорблениям недостойными сочетаниями.

Так было.

Божество! Оно опустилось передо мной, сидящим на ступени лестничного пролета, опустилось на колени, и мягкие, теплые руки коснулись моих щек, а в глаза — ангельский свет ан-

гельского существа. И голос из беспорочных миров воспроизвел слова сочувствия и понимания, в каковых не просто нуждался, но вымирал от нужды в них.

Пред тем, и получаса не прошло, как я получил две звончайшие оплеухи от своей наилюбимейшей, по счету второй женушки. Какие-то шмотки пришла забирать стерва. Я ведь все еще любил ее, именно стерву. В отчаянии что-то съязвил... Если честно, гадость сказал. Вот тут-то и! Сначала слева, потом справа. Я только башкой своей дурной туда-сюда, и в глазах туман. А крику-то было, крику! Лифт не работал, и я, краснощекий, брел по ступеням за ней, навсегда уходящей, брел и бормотал что-то унизительное, бессвязное. И лишь на третьем этаже опомнился, сел на ступени и сидел, обхватив голову руками.

Тщетно взывал о помощи к моим подопечным из «плеяды», ни одной подходящей строчки — знать, никто из них не получал по морде от любимых или нелюбимых женщин. Денис Давыдов, к примеру, или князь Шаликов... О Жуковском или Вяземском не говорю...

«Чья длань тебя низринула с небес? Чье мщение в единый миг сразило Могучего, как вековой утес?» Да, вот Григорьев вспомнился тогда, но разве по делу? Какой из меня, к чертям, «вековой утес»!

Так вот и сидел на ступени, вымирая, пока ангел не спустился с небес, точнее, не поднялся с нижнего этажа по причине поломки лифта.

— Тебе плохо, миленький?

Нет слов! Чистым личиком ослепленный, синими глазками очарованный, полудетскими ладошками убаюканный, нежнейшим голоском оглушенный, пытался промямлить нечто благодарственное...

— Ну, пойдем, миленький, пойдем. Где живешь-то? — проворковало существо и дивным способом вписалось в мои объятия. Как пушиночку поднял на руки и донес до своего этажа и квартиры, и до постели... И что потом было! Тело ее наисовершеннейшее — всяких афродит, артемид и прочих нефертить просим не беспокоиться! Что она со мной вытворяла! А я-то! Я-то, мужлан недотёпистый, откуда взялось! Не подозревал даже... И еще вопрос, кем больше восторгался, ею или самим собой. Пару раз мы переключали свой интерес на содержимое холодильника... К середине ночи я, как помнится, и не заснул вовсе, а потерял сознание. Выключился. И до утра вообще ниг-

де не был. Утром же родился по новой. Так вот сам по себе взял и родился из ничего. Чтобы далее жить другой жизнью, исключительно счастливой. А как же!

Так, как все случилось — так стопроцентно не бывает. А если случается то, чего не бывает, или это не чудо? Вопрос только — за что? За какие такие мои страдания ниспослано? Начал высчитывать.

Страдания, но я ж теперь новый человек и все обязан делать честно, а по-честному страдания не вычислялись. Маета, суета, комплексы, обиды — этого полно было в моей жизни. А в чьей жизни не было? Так за что? И если не за что, тогда тем более обязан принципиально пересмотреть план жизни, а по отсутствию такового составить, что вовсе не трудно, потому что, если и были у меня какие-то жизненные цели, они все в совокупности единого ее касания не стоят. Теперь я знал, что можно жить только ради женщины, чтобы была рядом всегда, и ничего нет при мне такого, от чего бы не отказался ради.

Червячком извивался лишь один вопросик: со мной все ясно, любой на моем месте ошалел бы, а она-то? Что ей во мне такого увиделось или привиделось... Пакостный вопросик, чреватый...

Слышал, как уходила поутру, если не будила, значит, так надо. Отныне все как надо. Ей!

День был нерабочий, и я до четырех часов вниз-вверх, выскочу из подъезда, головой покручу и назад. Около четырех, только вышел, подкатило шикарное авто, и она из него, как солнышко из маленькой тучки. Я навстречу пресчастливейший. Глянула на меня светло, алые губки чуть раздвинулись в полуулыбке, ручку беленькую протянула, щеки коснулась.

— Миленький, — проворковала, — спонсорскую помощь я оказываю не чаще раза в квартал. Так что уж извини...

Тут из машины парень весь в коже.

— Проблемы? — спрашивает.

— Ну, что ты, — отвечает.

Под руку его и в подъезд.

Отпятился я к скамейке, плюхнулся на край. Там еще две тетки сидели. Через полчаса все о ней знал.

От-во-рите мне те-мницу, я в те-мнице бу-ду жить!

Из-за штор вышла женщина с некрасивым, приятным лицом.

— Кажется, заснула. Мне бы тоже поспать... Не обижайтесь... Дать вам снотворного?

— Нет, нет...

Я уже у двери.

— Если что, заходите. Только... Вы из какой квартиры?

— Ну, дело в том, что я вообще не из этого дома. Так получилось. Стоял на улице, смотрел на ваше окно. Почему-то зашел... Глупо... Извините...

Посмотрела на меня пристально и, к счастью, сильно хотела спать, ни жалость, ни сочувствие не успели выразиться на лице, зевнула, прикрывая рот ладонью.

— Ну, пусть. Все равно заходите, если что...

Спиной выдавился в дверную щель.

Глянул на чердак, исчез мой ученик, кандидат в телепортанты. А пиджак меж тем подвесил, нацепил петелькой на замочек. Ишь ты...

А чего «ишь ты!» — там же в кармане деньги! Тысяча всемирномогущих американских долларов! Взлетел на полупролет, хватанул на ощупь — на месте! Хотя, стоп! Тут же вспотел. Может, опять «кукла»? Не снимая пиджака с петли, всей ручищей в карман, вытащил — они, зеленые, сотенные, все тут... Все?!

Занавес не раздвинулся, он просто упал, опал, обнажив весь до самой бесконечности горизонт памяти. Это как если бы за занавесом ожидался вид на Швейцарские Альпы, а открылось болото без конца и края. Когда меня «полуинсультнуло» по мозгам, там, на крыше, виделось мне в самом себе нечто байроновско-прометеевское, возвышенно-трагическое. Теперь же что? Да стыд один! Всего-навсего меня кинули какие-то проходимцы, что представились посреднической фирмой по перепродаже квартир. Ну, что может быть банальнее! И я из-за этого пу-стя-ка чуть было мозгами не двинулся?

Ведь сначала, когда обнаружил обман, я же помню, даже что-то вроде восторга испытывал: когда, в какой момент им удалось поменять пакет с деньгами. Я их только что пересчитал по пачкам, каждую пачку прошерстил. Порядок. Руки им, интеллигентным и вежливым, жал в благодарности — ну, как же! Упростили тошнотворную процедуру хождения по чиновникам. И лишь когда к сыну приехал, высыпали, глянули — тут у меня через минуту-другую что-то и щелкнуло в мозгах. И руки как плети, и ноги костыли... Из двадцати пачек только одна подлинная... И за то спасибо. Что, спрашивается, помешало им

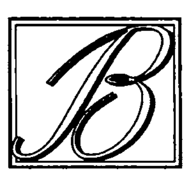
и эту пачку поменять? Неужто огрызок жалости? Знать, не все еще в Рассеюшке потеряно — сынок мой так пошутил.

До вечера трупом провалялся на кушетке, невестка пчелкой порхала вокруг. Потом куда-то ушла. А я поднялся, зачем-то ту самую тысячу в карман сунул и через весь городок туда, к своему бывшему дому, в полубеспамятстве. Чердачный замок взломать сумел. И что? Умирать-то не собирался. Не умом, телом помню. Но еще помню, что чувствовал себя возвышенно, достойно себя ощущал, как личность, подо мной был город, а я над... А потом еще этот Денис... А может, не было никакого Дениса? Не в себе ведь... Нет, ну как же! А напротив своей квартиры под номером 81 ногами ослаб — был Денис! Его «братан» в мою квартиру вселился. Ну, и на счастье. В действительности не все уж так плохо. Сын с невесткой ни слова в укор. Такие они теперь, новые. По-деловому ко всему. Пока у них поживу. Говорят, как раз у них нынче возможность появилась — на даче и газ, и воду подвести. Перееду туда, грибы буду собирать. И за дачей глаз да глаз нужен — крысятничают все, кому не лень. А на эту «милостливую» тысячу, сынок, верно, заметил, смогу тьму всякой букинистической макулатуры подкупить, глядишь, и под самую старость докторскую добыю. Я ведь, как ни глянь, единственный специалист в своем деле.

Милые вы мои: киреевы, давыдовы, грамматины, мерзляковы, козловы и глебовы, плетневы и катенины, ознобишины и долгорукие, я ведь не просто люблю вас всех и все про вас знаю от рождения до смерти, нет, не в том смысл, или, точнее, не только в том. В моем лице, практически в моем единственном лице, Россия и помнит и любит вас, так что функция моя, если хотите, социальная, она и значима и велика. И оттого не зря я прожил жизнь, и если женщины и всякие проходимцы, случалось, оставляли меня в дураках, то лично я свою партию отыграл честно, хотя и начинал с корысти. Итог важен. Вот!

Теперь только одна проблема — с лестницы этой проклятой спуститься. Что-то ноги никак...

ИНСТИНКТ ПАМЯТИ


наши бурные, трагические и достаточно кровавые дни могут ли у кого вызвать интерес судьбы людей ушедшей в прошлое эпохи? Едва ли. Понимаю это. Тем не менее отчего-то словно само по себе отодвинулось, отложилось в сторону все ранее начатое и другое, возможно, только одному мне и нужное, запросилось в рассказ, как некое обязательство, подлежащее исполнению и вовремя не исполненное. Возможно, что это всего лишь инстинкт памяти никак не хочет расстаться с видениями прошлого и требует подтверждения реальности пережитых событий и лиц, участвовавших в них.

Так или иначе, решился я рассказать о некоторых из многих, с кем сталкивала жизнь и сводила судьба, и не биографии их изложить, но исключительно своим пониманием каждого из них поделиться, а заодно еще и сказать — им ли, себе ли, — что помню и дерзость имею полагать, что памятью своею продлеваю их пребывание в мире живых, откуда мы все рано или поздно уходим, и след наш безвозвратно теряется с последним чьим-то воспоминанием о нас...

САЙК

Давно и не без огорчения заметил, что мои пристрастия к людям оппортунистичны. Отчего-то в памяти и сердце ярче отпечатываются те, знакомство, а то и дружба с которыми сопровождались постоянными, иногда длящимися годами спорами, и более того, потеряв на горизонте жизни кого-то из таковых, я словно остаюсь приговоренным к продолжению разговора-спора. Уже и и нет его давно, друга или просто попутчика по

жизни, а я все оттачиваю и оттачиваю аргументы давней полемики, досадуя и сокрушаясь, что не оказался на уровне проблемы в нужное время и слабостью своей позиции так или иначе укрепил оппонента в его заблуждении и тем чего-то не предотвратил, от чего-то не уберег, чему-то ошибочному и губительному поспособствовал.

Притом прекрасно понимаю, что чушь все это! Что, во-первых, каждому суждено прожить исключительно свою, неповторимую жизнь, как проживал или доживаю сам, даже в виду не имея чьи-то корректирующие аргументы, каковые случалось выслушивать в адрес своей судьбы, своего выбора. Во-вторых, разве существует гарантия правоты настолько, чтобы упорствовать, сокрушаться и мнить себя вершителем чужих судеб? Сам-то не сбился ли в подсчете собственных ошибок?

Всякий по себе прав! Но в таком релятивистском признании грусти куда больше, нежели оптимизма.

Передо мной ученическая тетрадь о двенадцати листах. Захлебывающимся поэтическим почерком записан на них венок сонетов — черновик, так и не ставший «чистовиком».

Вскипает плазма в бешенстве распада
На острие фотонного меча.
Еще недавним стартом горяча
Моей ракеты гулкая громада.

Дружеское прозвище его было — Сайк. До недавнего времени, до момента, когда решился писать о нем, полагал, что слово это английское и означает оно нечто среднее между «психом» и «романтиком». Именно такой смысл вкладывали в него те, кто дал ему эту кличку. Но перерыл словари и не нашел ничего похожего. Однако ж так — пылкий, восторженный, непредсказуемый и упрямый, — так понималось странное слово Сайк, фактически подменившее и фамилию и имя.

Анатолий Родыгин, сын балерины и инженера, окончил высшее мореходное в своем родном Питере, служил-работал на восточных наших морях, дослужился до капитана сейнера. Был членом Союза писателей, имел в активе два сборника стихов, но, совершенно по-детски влюбленный в морскую стихию, поэтические свои страсти понимал лишь как приложение к морским.

По причине необузданности нрава, а фактически по недисциплинированности вошел в затяжной конфликт с началь-

ством, которое наказывало ершистого капитана умно и изощренно: ставило на промысел так называемой технической рыбы, то есть била по карману команду, держало в портах дольше нужного, затягивало ремонты, чем в итоге восстановило команду против упрямца и задиры, который однажды пошел «в разнос» и устроил сущий дебош в начальственных кабинетах, за что и был изгнан-уволен без надежды когда-либо еще «покапитанить». На меньшее же он сам был не согласен, уверенный в своей квалификации и не терявший надежды на счастливый случай.

О его, опять же, истинно детской вере в счастливый случай я еще скажу, да и как не сказать, если теперь, когда вспоминаю о нем, уже давно ушедшем из мира, вся его жизнь видится со стороны состоящей из сплошных «случаев», каждый из которых вроде бы и вправду обещал стать счастливым, но чаще оказывался иным.

Я любил этого человека, я даже любил с ним ругаться, ей-богу! Ругаться с ним было удовольствием, ибо никогда не использовал он в спорах-ссорах приемы ниже пояса. Более того, он не только свою планку корректности держал на уровне, но и планке противника не давал, не позволял опускаться ниже должного. Эрудированный и образованный, он был вопиюще безыдейным, что многих отталкивало от него, потому что безыдейность в условиях, где я встретился с Анатолием Родыгиным — Сайком, почиталась грехом, и не без оснований, ибо не связывала человеку руки, но развязывала язык, за что кое-кто из «суровых» и битых жизнью держали его «за трепло» и справедливо сторонились.

Расставшись с капитанством, Анатолий вернулся в Питер и окунулся с головой в жизнь и суету писательской братии. Но поскольку, как теперь понимаю, на поэтическом поприще тех лет особого успеха не имел — не мог он выдержать конкуренции с уже тогда популярным в определенных кругах Бродским и входившим в моду Криулиным, и с другими, после канувшими в безвестность, но претендовавшими и дерзавшими, а возможно, и сам осознал предел своих способностей; как бы то ни было, по прошествии времени смертельно затосковал Сайк об утраченном «капитанстве», о море и о селедке с минтаем. Тоска эта наложилась на политический нигилизм, которым был пропитан воздух питерских кухонь и микросалонов, нигилизм, как ему и следует быть, беспочвенный, способствующий скорее

дурному, нежели умно-доброму, плюс хроническая неспособность «примкнуть» к чему-либо, чего не придумал сам, и врожденная несклонность к запою, чем иные умели снимать напряжение. В итоге задумал Сайк удрать за границу, где, как тогда считалось, только и ждут подобных беглецов, чтобы предоставить им возможность реализовать не реализованное в условиях коммунистической диктатуры.

Сколько я потом в тюрьмах и лагерях встречал таких, умных и не очень, ловких и недотеп, целенаправленных и безыдейных, как Сайк, рвавшихся туда, в «свободный мир», воистину как из клетки, и никогда не мог их понять, исполненный пред «иностраньем» паническим страхом, вовсе не понимая его как патриотизм, но именно как страх — страх, и все тут! Потому, какую б аргументацию против той или иной формы эмиграции ни имел и как бы успешно ее ни использовал, заведомо бывал неискренен, ибо более прочего боялся в жизни оказаться среди чужого языка, чужих обычаев, чужих правил. И действительное мое отношение к «беглецам», к тому же всегда рисковавшим жизнью ради «зарубежа», было сложным, замешанным на тайном уважении к тем, кто был свободен от моего страха.

Как Сайк готовился к побегу, о том он не рассказывал, но, зная его натуру, вообразить было несложно. Если не к первому встречному, то ко вторично знакомому он мог запросто обратиться с вопросом, не знает ли тот какого-нибудь «канала туда». Во всяком случае, удалось узнать ему, что есть такое место близ города Батуми, где всего лишь какие-то жалкие двадцать километров морской воды отделяют несвободу от свободы. Будучи пловцом-рыбой, Сайк радостно откликнулся на призыв-случай. Свой рассказ о побеге он, если настаивали, начинал с прощания с Питером. Попрощался он и с друзьями-писателями. Помню, какой дружный гогот стоял в камере после этого его признания, ибо, по общему мнению, из всех интеллектуальных кланов писательский был самым «иудистым».

Как бы то ни было, Сайку дали доехать до Батуми, дали налюбоваться горизонтами свободы, дали зайти в воду, где и взяли чисто, то есть на месте преступления. На первом же допросе Сайк не пытался доказывать, что просто любит ночное купание в припограничных зонах, но, напротив, поведал следователю, в отличие от Сайка владевшему искусством слушать, всю правдуматку про свою жизнь, про духовные страдания и борения, про сомнения и терзания, и когда дружески расположенный следо-

ватель-грузин предложил ему вдарить по третьему стакану краснодарского чая, статья шестьдесят четвертая, что про измену Родине, от червонца до вышки, была нарисована Сайку, как говорится, в натуре.

В следственном изоляторе вчерашний поэт и позавчерашний капитан оказался в компании грузин-урок единственным русским (тогда он еще считал себя русским) и потому не мог позволить себе стать шестеркой. На очередную брань громилы-надзирателя он, демонстрируя камере свое гражданское достоинство, по подсказке одного из урок произнес некую ответную фразу на грузинском языке, второпях не потрудившись узнать перевод.

Взбесившийся надзиратель одним ударом мохнатого кулака вышиб поэту-капитану верхние и нижние передние зубы.

Времена были не сталинские, надзирателя наказали, а Сайку за государственный счет вставили зубы «по первому номеру», чем он гордился, и верно — не отличишь от настоящих.

Гордо отверг Сайк совет адвоката использовать на суде факт мордобоя, как не имеющий отношения к делу, и, получив свой червонец (меньше не давали), отбыл в мордовский политический лагерь. В первый же день по прибытии кинулся в лагерную библиотеку и, по предчувствию, отыскал там свой сборник «морских» стихов, что открывался стихотворением «Атомоход «Ленин». Как позорную «компру» изъял книжку из фонда и уничтожил.

Политлагеря к тому времени были представлены широчайшим спектром инакомыслия, и говорят (сам Анатолий этого не подтверждал), что, мало-мальски присмотревшись к спектру, объявил он себя христианским демократом, и я лично верил в сей слушок, потому что, будучи, как уже говорилось, решительно безыдейным, отыскал он в лагерном раскладе самое аморфное и беспредметное пристанище — в сущности, если отвлечься от исторических прецедентов, словосочетание бессмысленное, допускающее безграничность толкований и ни к чему последовательному не обязывающее.

По причине «ершистости» и склонности к «правокачанию» в лагере Сайк не задержался, через пару лет схлопотал «изменение режима» и был отправлен во Владимирскую тюрьму, откуда через три года вернулся в лагерь злобным антикоммунистом, но по-прежнему без намека на какую-либо политическую плат-

форму. По горло сытый прелестями Владимирской тюрьмы, три года прокантовался в зоне, избегая осложнений. Не понимаю, как это ему удалось при его принципиальной неспособности уживаться с каким угодно режимом.

Не в обиду покойному будь сказано — свинья грязь найдет. Группа зэков затеяла побег. Я был бы крайне удивлен, если б Сайк не ввязался в это заведомо провальное, но веселое дело. За всю историю послесталинских политических лагерей был единственный случай успешного побега. Двое украинских националистов «сорвались» с одиннадцатого лагпункта, проявив изобретательность, граничащую с гениальностью. Прошли всю Россию, добрались до своей нэньки Вкраины, и только там, но не менее чем через год, были пойманы. Одного расстреляли, другому набавили срок, которого он не пережил.

В этот раз побег затеял армянский политзаключенный Степан Затикян, тот самый, который через несколько лет был обвинен в организации взрыва в московском метро и расстрелян. Из-под ближайшего к «запретке» барака они начали делать подкоп и вели его довольно успешно, учитывая полное отсутствие опыта и минимальных знаний правил подземных работ. Ковыряться приходилось лежа, сгребая землю под себя, потом землю малыми емкостями выносили из барака и рассеивали, разбрасывали по цветочным клумбам. Сайк признавался позже — страх обвала был так силен, что не позволял передышки в работе, что, выползая из подкопа по команде или по тревоге, от усталости еле добирался до кровати. Участников было семь или восемь человек, и уже в силу такого количества дело было обреченное.

Сайку, между прочим, оставалось меньше трех лет до освобождения. Как и организатору побега — Затикяну. Но последний мог, по крайней мере, рассчитывать на помощь единомышленников, родственников. Анатолий, похоже, вообще никаких расчетов не имел, для него это было просто интересно — убежать! И такой интерес оказался важнее самого смысла предприятия.

В день, когда они, по их расчетам, вышли на «запретку», «обходящий мент» заметил подозрительный провал земли. В считанные дни следствие установило всех участников дела, хотя ни один из них не сознался сам. Были разные мнения на этот счет, и кое-кто косился на Сайка — кто-то видел или слышал, как он прощался с непосвященными.

Принципиально не исключая такого варианта, уверен, что если бы позволяла ситуация, Сайк с радостью взял бы на себя все это дело и был бы преисполнен счастья, и вовсе не «ради товарищей», — все разновидности групповщины и круговой поруки были ему глубоко чужды, если не противны. Этот человек хотел жить с удовольствием, но воспитан был так, что в разряде «удовольствий» не оказывалось ничего, противоречащего принципам человеческих отношений — он был безвреден помыслами. А полную цену такому качеству дано познать немногим.

Выявленный, но недоказанный побег повлек за собой всего лишь изменение режима заключения, и Анатолий со всей компанией неудавшихся беглецов снова оказался во Владимирской тюрьме, где я с ним и познакомился.

При очередной перетасовке кого-то из камеры забрали, и в раскрытой двери появился сперва, как обычно, свернутый рулоном ватный матрас и при нем сущий доходяга с ребрами на просвет, с худущим лицом и сияющими на почти иссохшем лице глазами.

Память человеческая причудлива, но в который уже раз убеждаюсь — справедлива. Юрий Галансков, к примеру, запомнился мне улыбающимся, то есть, когда вспоминаю его, вижу улыбку, и никак иначе, словно видел его всего лишь однажды, мгновенно и при улыбке. На двух фотографиях, что сохранились, в одном случае он хипповат и надменен, в другом — грустен, но отвернусь от фотографий — и в памяти его добрейшая улыбка, а ведь был он, как сейчас модно говорить, крутым зэком — противное это слово, но в данном случае нет ему синонима, потому что такой тип поведения был нормой и названия не имел.

Анатолий Родыгин — Сайк запомнился мне с сияющими глазами, и тоже — никак иначе. Оказывается, память избирательна, она как бы фиксирует нечто сущностное в человеке и увековечивает, хотя могу предположить, что субъективность восприятия в таких случаях далеко не на последнем месте.

Состав камеры у нас тогда был почти идеален, и что это значит, объяснить непосвященным трудно. В крохотном помещении живут месяцами, а иногда и годами люди разных возрастов, характеров, привычек, разных уровней образования, с разными политическими убеждениями и «бзиками», с разным зэковским опытом. Изо дня в день двадцать четыре часа в сутки перед тобой одни и те же лица — тюрьма страшна не режимом, а людь-

ми, об одиночке мечтаешь через год сожительства как о благодати.

Однажды в камере на двоих мне попался сокамерник, в общем-то славный человек, в меру общительный, доброжелательный, но имел он одну привычку: по утрам до завтрака топтаться по камере и напевать-мурлыкать «Утро красит нежным светом». Через пять месяцев я был близок к помешательству или к убийству. Пришлось объявлять голодовку, чтоб перейти в другую камеру. Справедливостью судьбы за нетерпимость был наказан тем, что попал в камеру с мерзавцем, который значительно укоротил мне жизнь.

Это я к тому, что всякий новый человек в камере — это вероятность ухудшения ситуации, потому понятна настороженность, с которой я отнесся к появлению Родыгина — Сайка в нашем «сложившемся» камерном коллективе. Моими сокамерниками тогда были: Ярослав Лесив, украинский националист, поэт, ныне, как слышал, униатский священник; Юрий Федоров — бывший старший лейтенант речной милиции, член питерского «Союза истинных коммунистов», состоявшего из трех человек, по освобождении уехавший в Италию и там умерший; бывший уголовник Н., получивший за «треп» политическую статью и более всего в жизни мечтавший стать «чисто политическим», по характеру добрый и покладистый, наверстывал с образованием, зубрил языки, тайно стишки пописывал, страдал от неясности послетюремной перспективы: то ли стать ему «президентом США, то ль закончить ВПШ»; и, наконец, душа камеры, самый старший из нас по возрасту и по стажу заключения (двадцать третий год тянул), советский поэт, автор гимна Чечено-Ингушской автономной и (что так и не удалось проверить) якобы автор слов известнейшей песни «Темная ночь» — Александр Александрович (Сан Саныч) Петров-Агатов. О нем, если даст Бог, я расскажу еще, ибо — легенда, а не человек! Именно он встретил вошедшего в камеру Сайка с распростертыми объятиями и, пока тот ходил за остальными шмотками, поведал нам, что Анатолий Родыгин — превосходный человек, поэт-романтик, что все его просто обязаны полюбить. За Сан Санычем числилась слабость влюбляться по первому взгляду в каждого, кто с первого взгляда не очевидный мерзавец.

Родыгина перевели в нашу камеру после «строгача» — шестимесячного строгого заключения с питанием «на издых», с ограничениями всего того немногого, что полагалось по тюрем-

ному режиму, в том числе и прогулок. Видок у него потому был еще тот! На бесщечной желтой физиономии одни глаза — они сияли так, словно явился он к нам с известием о Втором Пришествии.

С прибытием Сайка вся наша камерная команда, и до того зацикленная на стихописании и поэтических дискуссиях, вообще стала походить на непрерывный поэтический семинар. Правда, этому предшествовала неизбежная коррекция политических взглядов. Понаслышке самое существенное все друг о друге знали, не будучи знакомыми. За мной, в частности, тащился хвост, что я непримиримый русский националист и еще кое-что похлеще. Потому во время нашего взаимного осторожного политического прощупывания Сайк, лукаво сияя, сообщил: «Боюсь, что с вашей платформы я буду выглядеть безродным космополитом!» На что я ответил не медля: «Ну и что? У меня, вот, похоже, грыжа начинается, а Сан Саныч, к примеру, уже десять лет как лысый. Кто из нас без недостатков? Кто кинет камень в бедного космополита?» Он расхохотался озорно и заразительно. Тут же подключился Сан Саныч, он уже месяц как прекратил писать стихи и переключился на философские эссе, над которыми мы втайне похихикивали — не силен был в философии бывший сусловский аппаратчик и крамольный поэт. Душевно глядя в глаза Сайку, Сан Саныч говорил: «Космополитизм — абсурд. Антикосмополитизм — абсурд дважды. А Тертуллиан говорил: «Верю, потому что абсурдно». Увы! Не только вера сильна абсурдом, но и жизнь, и только поэзия беспартийна! Но я не верю, Толя, что вы не любите Родину! Вы ее непременно любите, только по-своему, в других терминах. Как Лермонтов или как Чаадаев».

И тут начался диспут — обычная форма нашего существования. Тогда Сайк впервые продемонстрировал владение искусством камерного спора, это когда интуиция мгновенно и безошибочно подсказывает тебе границу спора-дискуссии и ссоры, подсказывает и управляет не только эмоциями, но словами, интонацией и мимикой, ибо любой из перечисленных компонентов при неточном его использовании способен заронить для взрастания незримое зерно неприязни, которая в камерных условиях, однажды зародившись, как правило, обратного хода не имеет, но только один — вперед к ненависти.

Типовой (но не обязательный) распорядок нашего дня бывал таков: после подъема водные процедуры, после завтрака

прогулка, затем до обеда и после обеда до ужина всякий при своем деле — кто за книгой, кто за тетрадью. И лишь после ужина — общение. В таком распорядке была едва ли осознанная подстраховка: любой, самый горячий спор, тем более если с неподконтрольным нагнетанием атмосферы, — автоматически прекращался с отбоем. Особенно-то и не разгуляешься. Ранний подъем гарантировал быстрое засыпание. Нервы пасовали перед режимом. И все же главной гарантией покоя были великое желание его и способность самоконтроля. Идеальный случай — это если в камере собрались симпатичные друг другу люди. О таком идеальном случае я и веду рассказ.

Шел семьдесят первый год. К этому времени многие политзаключенные имели на воле своеобразных шефов в Москве и Питере. Через круг случайных и неслучайных знакомых находился некто (чаще всего это бывали женщины), кто вел систематическую переписку с зэком, поставляя в письмах информацию и материалы по интересам. Я, к примеру, в то время плотно интересовался так называемым «серебряным веком», и женщина, изъявившая готовность тратить на меня свое личное время, переписывала для меня Булгакова, Франка, Струве, Шестова, Бердяева и многое другое, в чем возникала потребность по ходу работы. В неделю я получал по три-четыре толстущих письма. Нам же по режиму дозволялось отправить одно письмо в месяц, и, конечно, эти письма шли матерям или женам, добровольцу-шефу удавалось лишь привет передать да пожелания относительно очередных текстов. Тем не менее шеф-покровитель превращался в близкого человека, в друга, в члена семьи. Постепенно наши корреспонденты научились прятать в текстах информацию о «состоянии умов» и о «проказах Софьи Васильевны», то есть Советской власти — КГБ. Мы знали об арестах и следствиях, кого следует вскорости ожидать в наших краях, кому, напротив, пожелать удачи по причине скорого освобождения.

У Анатолия Родыгина шефа не было, и, ранее ужасно гордившийся, что «ходит сам по себе», затосковал он теперь, с завистью посматривая на нас, получавших толстые конверты. Через мать я передал просьбу кого-нибудь подключить к Сайку, но не так уж много было людей, готовых рисковать спокойствием простого советского человека, и та же женщина по имени Алла, что писала мне, «взялась» и за Анатолия. Искусство борьбы со скрытой безработицей — немыслимое раздувание штатов

во всяких НИИ и КБ, где люди отбывали-отсиживали положенные часы, за что и получали «зряплату», — для нас оборачивалось существенным смягчением режима.

В одном из первых писем от Аллы Анатолий получил информацию, что некая поэтесса, Наталья Горбаневская, отважная женщина и мать двоих детей, арестована, что ей грозит заключение в «психушку». Что уж он вообразил по поводу этой незнакомой ему женщины, но что-то явно навоображал, потому что почти физически заболел ее судьбой. Узнал еще, что она не замужем, значит, одинока, как и он сам, — душа его словно покинула камеру и устремилась туда, в Москву. Глаза по-прежнему сияли, но в сиянии объявилось столько неподдельной тоски, что мы всерьез озаботились его состоянием. В крохотном прогулочном дворике, где мы обычно топтались, глядя себе под ноги, он не в ритм нашим передвижениям метался из угла в угол с задранной головой к небу, вдруг останавливался и декламировал негромко, но патетично:

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

И снова несся, мешаясь и сбивая наши привычные ритмы, в противоположный угол, там вдруг опять застывал, и мы, уже слегка раздражаясь, выслушивали его нашептывания:

Ловите молнию в большие фонари,
Руками черпайте кристальный свет зари,
И радуга, упавшая на плечи,
Пускай дома украсит человечьи.

«Заболоцкий, — удовлетворенно фиксировал Сан Саныч, брал Сайка под руку и спокойно, но назидательно цитировал ему какого-нибудь только что прочитанного классика о природе женской души, о ее непостижимости и противоречивости, затем подводил к материалисту и дважды «разведенцу» Юрию Федорову, и тот, всегда голодный по причине своей комплекции, только что осиливший по моей рекомендации «Илиаду», громко зачитывал Сайку кусок о том, как питались отважные греки в перерывах между сражениями с троянцами. Блеск в Сайкиных глазах сменялся тоской, и он затихал.

В очередном письме он запросил стихи Горбаневской и через некоторое время получил, целых шестьдесят штук. Надолго выпал из общения, заучивая их наизусть, и заучил-таки. На меня стихи Горбаневской впечатления не произвели, что-то графоманское увиделось в постоянном стремлении пообщаться с «великими»: «Был Данте гвельф иль гибеллин», «Идет Ван Гог по барахолке» и прочее. Но Сайк даже в спор по этому поводу не вступал. Теперь он сочинял венок сонетов, посвященный отважной женщине, каковой Наталья Горбаневская, без сомнения, была, ибо могла в любой момент отречься от «ереси» и обрести свободу.

Сочинение Сайка — это был вопль мужчины-рыцаря, лишенного возможности примчаться, вызвать на бой злые силы и спасти даму сердца, лишенного корысти. Помню только рефрен венков: «Наташенька! Наталья! Натали!» Помню еще, что весь этот весьма изящно сделанный венок сонетов на всех нас произвел большое впечатление именно тем, что был этаким своеобразным зеркальным отражением души его автора: романтизм и сентиментальность, авантюризм и безыдейность — плевать он хотел на то, за что страдала его героиня! Она страдала — и в этом все!

Мы имели глупость уговорить Сайка послать сонеты Горбаневской. Из Владимирской суроворежимной тюрьмы в не менее суроворежимную тюрьму-«психушку» почти тетрадь текста — кое-кому на воле предстояло основательно поднапрячься, чтобы осуществить затею. Но тогда еще была полна Москва людей, сочувствующих политзаключенным независимо от характера их убеждений. Это позже «свои» отделились от «несвоих», позже кто-то был зачислен в «русопяты», «националисты», «шовинисты», а кто-то в «либералы», «демократы», «правозащитники»; про одних стали говорить, что они «узники совести», а про других — что, мол, просто «свои своих не познаша и по глупости посадиша», — но все это позже. Тогда же, в начале семидесятых, по пятерке собирали с полунищих интеллигентов, чтобы отправить бандероли политзэкам, чтобы оплатить дорогу близким, едущим на свидание, помочь женам узников растить детей и вообще сделать все возможное, чтобы облегчить судьбы хотя бы просто вниманием к просьбам и пожеланиям.

Наталья Горбаневская получила послание Анатолия Родыгина, и мы все с нетерпением ждали ее ответа.

Однажды, буквально за пять минут до прогулки, в раскрывшуюся форточку кормушки просунулась рука надзирателя,

прозвучала фамилия, и Сайк получил в руки долгожданный конверт. Никогда не забуду его радостно-смущенную физиономию — а ведь не мальчишка уже, под сорок капало бывшему капитану рыболовного сейнера, — но сиял, как любовник молодой в минуту первого свиданья! На прогулку он, конечно, не пошел — какое свидание при свидетелях!

Через час, вернувшись в камеру, мы обнаружили Сайка, сидящего в какой-то противоестественно прямой позе на нарах со странной улыбкой на лице. На наше нетерпение отвечал уклончиво, мол, хорошее письмо. Сонеты? Ну да, понравились. И вообще все в порядке. Только нам ли не знать Сайка! Мы потребовали подробностей. Интеллигентный Ярослав Лесив мягко намекнул, что, дескать, если в письме интим, то другое дело. Мы, разумеется, тоже — если интим, ради Бога, ни слова больше Разве что — руку пожать. Затрепетал наш Сайк, заметался взором, наконец достал письмо из-под подушки и дал читать.

Ох уж эти московские интеллектуалки! Одну фразу помню дословно: «Видишь ли, дорогой Анатолий, венок сонетов это в общем-то с некоторых пор область графоманских экспериментов. Вымученно-искусственное построение строфы». И далее — дружелюбно-снисходительный разбор Сайкиного крика души мэтром-профессионалом! А в постскриптуме — «посылаю тебе мое последнее стихотворение».

К началу семидесятых московские образованцы-инакомыслящие почувствовали наконец некий дискомфорт от постоянных стенаний на предмет тяжкой доли русской интеллигенции, не без оговорок вспомнили, что и народу тоже кое-что досталось от марксистских правителей. В этом ключе и было исполнено «последнее стихотворение» — что-то о раскулачивании, о насильственном переселении крестьян. Скрипели телеги, увозя мужей «от их жен». Вот это самое «от их жен» вызвало у меня приступ саркастического смеха. Обида за Сайка — а сидел он на нарах все с той же виновато-блаженной улыбкой на небритой роже — распалила мою язвительность до неприличия. Я припоминал всякие нелепости стихов Горбаневской, того же Ван Гога на барахолке, «шкоду», которая «не переставала колесами крутить», и еще что-то подобное, что без труда можно отыскать у любого поэта-любителя, тут же по горячке сочинил восьмистрочную пародию, злую и несправедливую. Вот и Сан Саныч прочитал письмо, сокрушенно покачал головой. «Умная женщина, дорогой Толя, явление нечастое. Еще Кьеркегор гово-

рил, что женщина способна достигать духовных высот, недоступных мужчине. Но если она падает, то падает ниже мужчины. В том смысле, что если женщина ущербна душой и не способна слышать чужое сердце, то она несчастна».

Юрий Федоров, читавший письмо за спиной Сан Саныча, махнул рукой и процитировал что-то из «Илиады» по поводу невеликого ума так называемой Прекрасной Елены, Менелаевой бабы. Ярослав Лесив щурился близорукими глазами, вздыхал сочувственно — перед арестом он пережил личную драму в сердечных делах, и я даже, помнится, стих накатал под впечатлением его рассказа: «К тебе ль приходят женихи, моя неверная невеста? Я написал тебе стихи всего лишь за день до ареста».

В нашу не очень-то корректную суету сочувствий вмешался Сайк, напомнил нам, что Наташа не где-нибудь, но в «психушке», что лучше б нам этой темы больше не касаться и что она, Наташа, все равно остается для него Натали и письмо ее ничего не меняет — ведь кто он для нее такой?

Вот тогда-то в его тетради, что сейчас лежит передо мной, чудом сохраненная, и появились первые строки «космических сонетов» — трагическое пророчество своей судьбы. Сказал же кто-то из известных: «Так я прожил свою жизнь, которую всю сам для себя выдумал!» Мне, например, тоже иногда кажется, что не было в моей судьбе стечений роковых или счастливых обстоятельств, но все придумано самим и исполнено весьма близко к тексту. Анатолий Родыгин — бунтарь и баламут, едва ли подписался бы под такой формулой, потому что излишнюю рефлексивность почитал за разновидность мазохизма. Он принципиально не хотел ни о чем жалеть, но каждый миг своей жизни чтил как факт, не подлежащий пересмотру:

Вскипает плазма в бешенстве распада
На острие фотонного меча.

Герой его сонетов — испытатель-космолетчик — в очередном полете сознательно нарушает график и пересекает границу, за которой возвращение на землю становится невозможным. Космический самоубийца, он «вырвался из гибельных тенет в пространства, где ни подлости, ни страха, где ни измены, ни забвенья нет»:

И тает мой ведущий в бездну след
В косматых снах оранжевых планет!

Всплывает ослепительная Вега.
Найдешь ли Ты в цепи утрат и бед
Закономерность моего побега?

«Ты» — это оставшаяся там, в микропространстве земного бытия, женщина. Ей, дескать, суждено до конца ее дней разгадывать загадку отважного и неразумного поступка. Поэты! Уж так-то хочется им быть загадкой! Понимание — банально!

Однако ж была у Сайка своя тайна или то, что он таковой почитал.

В одном «самозахвальном» стишке я когда-то начеркал: «Я сын Руси с ее грехами и благодатями ее!» К Сайку такая характеристика подошла бы еще более. Русскость его была настолько очевидной (имея в виду строй души), что у меня бы и сомнений на этот счет не возникло, когда б не его болтливость, а точнее, именно русская склонность к излишнему подчас самораскрытию-распахиванию. Когда однажды я распинался в стиле Бердяева на предмет русской души, какая-де она антиномичная да симпатичная, Сайк вдруг произнес с вызовом: «Лично я, господа русофилы, — мимо! Бо имею честь быть полукровкой, то есть с точки зрения любой из половинок моей крови — существо неполноценное, но с точки зрения синтеза, каковым являюсь, личность свободная и не имеющая никаких обязательств по отношению к так называемым полноценным, и более того, заметьте, считаю себя прообразом человека далекого будущего, когда на Земле восторжествует человечество, вываренное в котле расовых кровосмешений».

Монолог его был еще длиннее, пересказываю лишь суть, но именно «продолговатость» и демонстративная выспренность монолога, к каковым Сайк в общем-то вовсе не был склонен, скорей бывал афористичен, — в том-то мы вдруг и узрели кровоточащую рану его души, каковую сперва, возможно, кто-то нанес ему, и то была ранка, но до раны расковырял ее, несомненно, он сам и, настрадавшись болью, сочинил философию оправдания и превосходства, безусловно, для самого себя. Я же своим русофильским сюсюканьем лишь невольно спровоцировал его на реакцию. Но все это было понято позднее, а тогда, восприняв его «речугу» как абсурд, смеялся и растолковывал ему, что со стороны виднее, что если русские видят в нем русского, то таковым он и является, что я сам полулитовец по крови, да и много ли «чистых» на Руси. Но Сайк, выставив ладонь

в мою сторону, сказал с улыбкой, но достаточно жестковато: «Господа, в утешениях не нуждаюсь».

Умрут приборы и померкнет свет.
Написан заключительный сонет
О том, что я, как прежде, смел и молод,
Что в злое одиночество билет
Компостерами вечности проколот.

Да, где-то оно гнездилось в нем — злое одиночество, гнездилось и мирно уживалось с поэтической влюбленностью в жизнь, в людей, что рядом. Уживалось с «компанейством» и жесткими правилами мужской дружбы, с редчайшей способностью рыцарского отношения к женщине.

Владимирская тюрьма — это солидное заведение о нескольких корпусах. Нас, политических, было там немного, и мы имели своего «начальника» — кэгэбиста, который, как понимаю, только тем и жил, что прослушивал наши разговоры и тасовал по камерам в соответствии со своими оперативными соображениями, о чем, наверное, писал глубокомысленные отчеты. Но мы жили так, как будто его не существовало, он был для нас этакой беззубой вошью, способной иногда вызывать легкий зуд — не более того. Тем не менее именно от этого капитанишки зависело, с кем жить в камере месяц, полгода или год.

С Анатолием Родыгиным нас развели, и вторично оперативный промысел соединил нас лишь через год. Сайку до освобождения оставалось семь месяцев. Встреча была радостной. О радостях в тюрьме многое можно было бы рассказать, будь это кому-либо интересно. Но неинтересно, потому и опускаю подробности праздника встречи людей, породнившихся в тюрьме.

Я уже знал, что он получает письма от той же женщины, что пишет и мне, но его сообщение об этом прозвучало и торжественно и многозначительно. Нам разрешалось отправлять одно письмо в месяц, и я, к примеру, писал матери, а уж через нее передавал приветы, просьбы и пожелания другим, в том числе и своей корреспондентке, которую, как уже говорил, звали Аллой. Сайк же, оказывается, с некоторых пор писал именно Алле и через нее связывался с матерью. Рассказывая мне об этом, он как-то уж излишне пытливо вглядывался мне в глаза, и когда вечером того же дня, сияя как мальчишка, поведал, что не на шутку влюблен, я, помнится, только посочувствовал его легкомыслию. Любовь по переписке — что может быть пошлее — по-

пулярное занятие уголовников. Сайк даже несколько поблек в моих глазах, но, списав сию беспредметную страсть на излишний романтизм сокамерника, я снизошел до терпеливого выслушивания истории, предыстории и того прекрасного будущего, каковое виделось Сайку в скором времени по освобождении.

В этот раз мы просидели вместе недолго. Между прочим, Сайку я оказался обязанным характеристикой, которая после моего освобождения в виде так называемых «ориентировок» сопровождала меня в моих мотаниях по стране в последующие годы. В тот год у меня были некоторые проблемы со здоровьем. И однажды, за несколько дней до «привода» Сайка в мою камеру, медсестра по небрежности дала мне противопоказанное лекарство, от которого у меня немедля началось сильнейшее отравление. Дело было в субботу, когда в тюрьме, кроме медсестры, никого, хоть сдохни. Сдыхать я не хотел, начал шуметь, то есть стучать в дверь камеры, требуя врача. Дверь же — что броня танка, крепка и непоколебима. Я пытался вышибать ее табуреткой и нанес кое-какой ущерб стальным пластинам в виде вмятин. В понедельник появился врач, я был спасен, а сломанная табуретка изъята.

Ирония — одно из средств нашего выживания. Рассказывая другому, вновь прибывшему сокамернику эту историю, Сайк изображал, как я головой пробивал стальную дверь, и демонстрировал следы моих успехов. «Наш железный Бородин» — эта Сайкина шутка какое-то время ходила по камерам.

Каково же было мое изумление, когда через несколько лет один милицейский «опер» дал взглянуть мне на «ориентировку», что пришла в райотдел из Москвы. Дословно: «Являясь убежденным антикоммунистом, Бородин в среде своих единомышленников имеет кличку «железный». С этим «довеском» в характеристике я ушел и на второй свой срок через девять лет после освобождения из Владимирской тюрьмы. Но за несколько месяцев до освобождения узнал, что Сайк женился на своей заочнице, что счастливы они и полны планов жизнеустройства за пределами страны социализма.

Восемнадцатого февраля семьдесят третьего года у ворот тюрьмы вместе с отцом встречала меня и новая жена Сайка. В этот же вечер состоялся весьма многолюдный сабантуй на квартире подруги Аллы, на которой через три дня я женился, не имея времени на долгое ухаживание — нужно было срочно выметаться из Москвы под гласный надзор Белгородского УВД, куда меня определили на местожительство «опекуны» из КГБ.

Сайк поразил меня. Он начисто забыл, что еще совсем недавно являлся «представителем и прообразом будущего человечества, сварившегося в расовом котле». Теперь он был евреем и только евреем, обязанным жить в земле обетованной и служить своему народу верой и правдой. Служить не иначе как на флоте и не иначе как капитаном. Он зубрил иврит, изучал историю еврейской диаспоры и был столь полон сочувствия теперешнему «своему» многострадальному народу, что, зная характер Сайка, принять всерьез его новую страсть не было никакой возможности. Любая форма идейности была ему явно противопоказана.

Утверждаю, что есть такой тип человека — поэтический. Это какой-то совершенно особый способ восприятия мира в образах. Слыхивал, что в черной магии есть термин «лярва», обозначающий сотворенную воображением некую сущность, которая, «сотворившись», начинает взаимодействовать с «творцом», преображая его самого в черномагийном смысле. Поэтическое восприятие мира видится чем-то подобным, и, кстати, вовсе не обязательно при этом писать стихи, достаточно способности искусственно ритмизировать действительность, наделяя ее смыслом, о каковом она, действительность, и не подозревает. Другой вопрос — счастливы ли такие люди? Что до Сайка, то иногда мне казалось, что он умеет заставить себя быть счастливым, но иногда — что он и вправду счастлив, и тогда я завидовал ему.

«Израилизм» Анатолия, порою весьма агрессивный, мог бы поколебать наши отношения, когда б я всерьез отнесся к его очередной одержимости и когда б он не умел не перешагивать черту лояльности. У меня был свой круг близких и единомышленников, у него, похоже, свой, круги эти не соприкасались, и мы сумели и на этот раз расстаться друзьями. Из Белгорода судьба закинула меня в прибайкальскую тайгу, и там по случаю я узнал, что Родыгины отбыли-таки на «историческую родину», где радостно проходят абсорбацию, работают на уборке маслин и готовятся к окончательному внедрению в биосреду. Но не прижился... перебрался в Штаты, и...

И в письме об Израиле уже ни слова. Теперь Сайк снова стал прообразом будущего человечества, и, более того, он жил на земле, где оно, это будущее, зарождается в благоприятнейших условиях. «Я знаю, — писал Анатолий, — что здесь я буду равноправным гражданином, потому что тут всем плевать на биоспецифику моей крови. Здесь это — норма». Однако фраза о

том, что удалось им обосноваться в штате, где почти нет негров, понятие «нормы» оставляла несколько открытым.

За границей Родыгины не изображали себя борцами за права человеков, потому что в Штатах оказались по уши в долгах. Сайк вкалывал на конвейере пластмассового завода, прихватывал сверхурочные и выходные. Алла подрабатывала в домах богатых американцев. Оптимизма у них было много больше, чем денег, и понятно, оптимизм имел источник, который не иссякал, — это их любовь, поздняя для обоих, но зато та самая, о какой мечтают.

Я ответил ему большим письмом, где совершенно напрасно пытался подготовить его к возможным разочарованиям, упредив тоску по России, что рано или поздно, как я считал, настигнет его. Нынче по справедливости должен признать, что, скорее, напротив, провоцировал Сайка, ибо зачем мне писать и посылать ему такие вот строки:

В краю далеком и желанном,
Куда в отчаянии бежим,
Вдруг станет главное не главным,
Вдруг станет близкое чужим,
Вдруг что-то высветится в прошлом
И чей-то вспомнится упрек,
И ляжет счастью поперек
Твоя тоска о невозможном.
Сумей быть сильным, друг пропавший!

«Ностальгических соплей от меня не дождешься, — отвечал Сайк, — я на месте, и я сам себе хозяин. А вот ты».

У меня в то время и впрямь дела были худы. «Опекуны» обсели вплотную, восьмой месяц метался я по Подмосковью без работы, жена сидела с грудным ребенком, бывало, что на молоко подкидывали родители из своих учительских пенсий. Именно в это время мне, как и многим московским диссидентам, было сделано предложение об эмиграции. По прошествии времени должен признать, что это был, может быть, единственный талантливый «ход» органов. Он дал прямые результаты. Предложение делалось на редкость корректно: «Вы по-прежнему на враждебных позициях. Рано или поздно сядете. Не лучше ли уехать. Препятствовать не будем, напротив». В течение года все лидеры правозащитного движения и множество рядовых потихому перебрались за рубеж. Более того, учуяв «халяву», и те,

кто отродясь ни в каких движениях не числились, срочно вступали в какую-нибудь уже издыхающую диссидентскую организацию и на волне сматывались из Союза, обретая звание «борцов» и соответствующие «подъемные». Ранее посаженных лидеров обменяли на шпионов, оставшихся немногих, как и обещали, посадили, и к восемьдесят второму году с «диссидентством», как социальным явлением, фактически было покончено. Русская оппозиция, не имевшая в отличие от правозащитников никакой, даже духовной, поддержки у «официалов», была настолько немощной, что достаточно было ареста В. Осипова, чтобы все сошло на нет.

Сайк был в курсе наших дел и, справедливо полагая, что у меня нет выбора, обещал придержать место на конвейере, прежде чем уйти на другую работу. Четыреста долларов в неделю он мне гарантировал, намекал на иные возможности трудоустройства.

К счастью, все обошлось. Колебания, коих не избежал, были не слишком долги, нашлась-таки работа на сто двадцать в месяц — сущее счастье, и я снова мог позволить себе сочувствовать Сайку, горемыкающему на чужбине!

А Сайк меж тем сумел к тому времени переругаться с прибывшими диссидентами, в тиражной американской газете появилась его статья с вызывающим заголовком: «Пасемся, телята?!» После чего, разумеется, «кормовые эмигрантские зоны» Сайку были навсегда заказаны, и он отважно пустился в самостоятельное плавание. В очередном письме вдруг прислал фотографию, где он «запанибрата» с Барри Голдуотером, из чего, как из намека, я должен был понять, что политика, как и что прочее человеческое, ему не чужда. Намек его я всерьез не принял и был прав. Сайк по природе не был способен исповедовать что-либо, кроме собственных фантазий, а действовать, не исповедуя, почитал за аморалку.

Каким-то образом вышел он на украинскую диаспору, предложил им, куркулям, дело — этакий рыболовецкий совхоз: рыба дороже мяса, океан под боком, опытный рыболовный капитан налицо. Украинцы, как прежде израильтяне, нюхом учуяли типичного русского Васю, пообещали капитанство, если он сумеет собрать необходимый капитал для основания компании. В долг приобретя престижный автомобиль, Сайк полгода мотался по побережью, вербуя вкладчиков, а когда дело было сделано, его «кинули» внаглую, найдя более опытного капитана, не оплатив Сайку даже расходы на бензин.

Его письма тем не менее были полны оптимизма и веры в успех. Ну как же иначе! Америка — страна равных возможностей! А успех по усилиям! Какие-то друзья у него там все же нашлись, помогли оформить кредит. И Сайк покупает рыболовецкую шхуну! Из письма я мог только догадываться, в каком состоянии была эта посудина при покупке. С фотографии, где счастливая супружеская пара запечатлена на палубе, шхуна и вправду смотрелась неплохо. Но Сайк не был бы самим собой, когда б чего-нибудь не учудил. На борту шхуны красовалось ее название — «Баба-Яга»! Сайк готов был жить трудно, но чтоб весело!

Дружище, не заигрывай с темными силами! — писал я ему не без зависти. Для пробы они вышли в море, чего-то там закинули, что-то поймали, но промыслом заняться не могли, потому что не хватило денег на навигационные приборы, без которых не выдавалось разрешение. Наконец нашелся кто-то, кто согласился довести посудину до кондиции. Нужно было только перегнать ее куда-то севернее миль на сто. Обрадованные супруги поплыли навстречу счастью, но на полпути «Баба-Яга» продырявилась, отказала помпа и они тихо затонули в виду Американского континента. Как при этом спаслись, не знаю. Его писем я больше получать не мог, потому что к этому времени снова отбыл в места отдаленные.

Знаю, что друзья помогли устроиться обоим супругам преподавателями русского языка в какую-то непростую школу. Некоторое время прожили они в благополучии и покое, но, видимо, надорвался Сайк, а возможно, наоборот, покой ему был противопоказан. Он умер от инсульта за пару лет до нашей «перестройки».

Каждый, возможно, подойдя к определенной возрастной черте, однажды задает себе всякие вопросы относительно смысла жизни, и счастлив тот, кто находит ответ, хотя ответ заведомо неверный — не дано человекам знать, дано только гадать и, в лучшем случае, догадываться.

Анатолий Родыгин, думается мне, вопросом смысла бытия не задавался — слишком активно и непосредственно жил, чтобы тратить время на бесполезные вопросы. Не веровавший ни в Бога, ни в черта, отрекшийся от России и не раскаявшийся, он тем не менее жил по правилам, предусматривающим ответственность за дело и слово, и, значит, не роптал.

Я сам нарушил Свод Полетных Правил,
Я сам шагнул за скоростной порог,
Я сам себя судил, и сам обрек
И тает мой ведущий в бездну след
В косматых снах оранжевых планет!

Я отчего-то очень хочу верить, что в том числе и таких вот, как Сайк, грешных, но добросовестно платящих долги, другой поэт и капитан по духу — Николай Гумилев призывал: «Когда придет их последний час, представ пред ликом Бога с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно своего суда».

МЕДБРАТ СЕМНАДЦАТОГО ЛАГПУНКТА

Последний месяц лета шестьдесят девятого года в Мордовии был на редкость грибным. Грибы, похожие на белые, гнездами вызревали у самой «запретки» малой семнадцатой зоны. Мы могли видеть их, кто силен зрением, а кто еще более был силен воображением, утверждал, что с попутным ветерком определенно ощущает грибной запах. Последние летние месяцы — самое голодное время в зоне. Доедаются остатки прокисшей капусты, червивой картошки и прочих продуктов уже даже не вторичной свежести. А тут грибы, и будто бы даже грибной запах — рядом, рукой подать. Да ногой не шагнуть!

Белые, понятно, не про нас. Но в зоне, если пошарить, полно всяких иных, подозрительных правда, на гнилушках-деревяшках, к примеру, — почти шампиньоны. Литовцы, бывшие «лесные братья», в лесных бункерах немало времени проторчавшие, первые начали примериваться к зонным грибоуродцам. Вспомнив рассказы моей бабки-биологини, я поделился с литовцами некоторыми рекомендациями, основная суть которых в том, что, кроме бледной поганки, все прочие грибы, по крайней мере теоретически, съедобны. Литовцы затеяли грибной праздник. Но грибы без картошки — как же?

Зона семнадцатая — маленькая. Сто человек. При одном поваре. А на этой блатной должности состоял тогда премерзейший мужичок, бывший водила немецкой душегубки, в которой людей затравливали выхлопными газами. Избежавший вышки, безмерно теперь ценил он жизнь, с нуждой и без нужды захваливал советскую власть, а ее представителям в зоне разве что сапоги не вылизывал. Выклянчить у этого придурка десяток картофелин было делом совершенно безнадежным. Но в самую что

ни на есть последнюю минуту в бараке, где у полыхающей печи елозили литовцы, уже по второму разу выпаривая зонные поганки, появился наш лагерный медбрат с бушлатом под мышкой. Опустился на пол у печки, развернул и вывалил не менее двух десятков крупных и почти не гнилых картофелин. А когда стихли восторженные ахи, достал из кармана куртки две луковицы — неслыханный дефицит — и вручил их торжественно главному грибному заводиле, бывшему при немцах бургомистром города Шяуляя.

Незадолго до отбоя блюдо было изготовлено, и я там был, мед, пиво пил, и никаких капель по усам — все куда положено.

Пригласили и медбрата, который долго для приличия отказывался, но уступил настояниям и тоже отведал.

Не достань он картошки, никому бы и в голову не пришло приглашать его, поскольку числился сей медбрат в самых тайных стукачах зоны, хотя доказательств тому не имелось, но именно по этой причине, что не имелось, числился и был избегаем даже теми, про кого и стучать-то нечего было. Он, этот человек, герой моего рассказа. Давно потерял его из виду, допускаю, что жив, и потому изменю фамилию. Допустим, звали его Николай Мыльников.

Взгляду со стороны был он мужик мужиком. Молодцеват, не хил и с лица приятен. Но только если со стороны. С первой же минуты общения что-то дивное происходило с человеком: лицо искажалось гримасой угодливости и бессмысленного подхалимажа, лакейски поджимались плечи, умаляя рост, руки приходили в движение — не уследить, ноги пританцовывали, грозя отдавить вам носки. Безусловно, подобная манера поведения у кого угодно могла вызвать и вызывала очень даже определенные эмоции — исчезало всякое желание общения. Однако достаточно, бывало, только лишь едва намекнуть, дескать, знаешь, мужик, шел бы ты — и мгновенно подхалимское выражение сменялось растерянностью и недоумением, следовали извинения, полупоклоны, и спины его ни за что не дождаться — сам поворачивайся и отходи с чувством неловкости, мол, неприятный тип, но обижать все же не стоило бы.

Режим политлагеря, когда мы прибыли туда осенью шестьдесят восьмого, ничем не удивил и не поразил нас, нашпигованных информацией о «каторжности» сталинских лагерей. Мы не могли не сравнивать условия нашего существования с тем, что было до нас, как не могли не сравнивать наши жалкие срока (от трех до семи) с червонцами и четвертаками большин-

ства прочих обитателей политлагеря. Поэтому держались скромно, приглядываясь и присматриваясь к обычаям и порядкам. Но один момент режима поразил, удивил — ошарашил нас, чего угодно ожидавших, только не этого. Еженедельно по средам в политлагере свершались ритуалы политзанятий! Посещение их было обязательным, непосещение рассматривалось как грубейшее нарушение режима, и наказания за сей грех следовали незамедлительно. Абсурдность подобного режимного установления для нас, жаждущих именно здесь, за проволокой, чувствовать себя свободными от советских правил игры — игры, по сути, в баранов (ведь на воле к тому времени уже никто всерьез не воспринимал этот всесоюзный ритуал демонстрации лояльности!), — для нас подобный идеологический «бзик» лагерного начальства был наглым вызовом нашей духовной свободе. Признаюсь, много лет потом еще гордился, что первый восстал, не подчинился, создал прецедент. Меня бросили в карцер, и тут случилось, чего уже давно не случалось: политзэки самых разных «течений» поддержали — кто объявил голодовку, кто забастовку, кто «телеги» накатал, угрожая присоединиться к голодающим и бастующим. В итоге политические, то есть осужденные по семидесятой статье, получили негласное освобождение от этого дичайшего ритуала.

Но мы не составляли и двадцатой части контингента политлагерей. Для сотен тянувших лагерную лямку «за войну», то есть «полицаев», власовцев и прочих, в разной форме активно сотрудничавших с немцами, бандеровцев, «зеленых» Прибалтики, перебежчиков и шпионов, бериевских генералов и полковников, религиозных сектантов всех мастей — для них политзанятия остались обязательным свидетельством их готовности к идеологической перековке. Одним, перекочевавшим из сталинской лагерной эпохи в хрущевско-брежневскую, подобная идеологическая придурь казалась пустяком, о каковом и думать не стоит, другие, напротив, использовали лагерные политзанятия для нелишней демонстрации своей лояльности в надежде на досрочное освобождение. Еще были и такие из посаженных в конце пятидесятых, кому еженедельные политические бдения были глотками свободы — единственное, что осталось и напоминало им их прежнее бытие: ведь вся страна изучала по средам краткие и некраткие курсы истории партии и ее вождей, как раз обязательностью политсред удовлетворялась ностальгия по «свободному советскому бытию». Эта же катего-

рия зэков с трепетным энтузиазмом воспринимала принятие всяческих обязательств по труду и зарплате: борьбу за качество и количество, отчисления из зарплаты в фонды мира и пятилеток, — то есть все, что напоминало советскую действительность, было для них неким частным опровержением факта их долговременного исключения из общества.

(Кто повнимательнее, и сегодня, наверное, замечают и опознают в политических лозунгах определенных категорий вчерашних советских людей тоску именно по советской ритуальности — ведь вся жизнь была по ней расписана.)

Николая Мыльникова я впервые как следует «рассмотрел» как раз во время его «выступления» на одном из «политбдений». Происходили они, за неимением спецпомещения, прямо в бараке. Мы, неучаствующие, уходили заранее, иногда специально приурочивая к этому времени свои мероприятия и сходки.

Кто-то подозвал меня к раскрытой барачной двери и предложил полюбоваться на лагерного медбрата, как он, бывший полицай, распинается за советскую власть. Вдохновенно рассказывал Николай Мыльников о решениях последнего партсъезда и о выполнении народом его решений. Я же на суть его речи не обратил внимания, потому что отчетливо услышал во вдохновенности голоса вопящую тоску по свободе, пусть она трижды советская и вообще какая угодно, в виде ссылки или поселения, под надзором или без, в нищете и изгойстве, но чтоб без проволоки и вышек в пределах видимости — в том самое главное. Еще подумал, что ему едва ли сорок пять, то есть уже сорок пять, и если, как говорят, сидит он уже почти двадцать — ни семьи, ни детей. А женщины?

Через полчаса я начисто забыл о медбрате. У нас были свои проблемы. Ко всем этим «за войну» наше отношение было двойственным. У кого-то из них руки по локоть в крови, кто-то оказался щепкой на лесоповале, если послушать, так большинство именно из последних, — старались не слушать, чтобы не судить, но и антипатии нам, детям войны, избежать было трудновато. К тому же к концу шестидесятых большинство «сталинского призыва» уже было освобождено по амнистиям и помилованиям, в лагерях оставались, если верить официальной информации, очень уж виновные. Одним из принципов нашего существования было воздержание от излишнего любопытства, условие никем не оговоренное, но исключительно подсказанное опытом.

Откуда-то, однако же, я все-таки узнал, что Николая Мыльникова перевели в нашу зону строгого режима с режима особого, то есть самого строгого, что было явлением редчайшим. Вывод напрашивался сам: выслужился мужик. А как можно выслужиться в лагере, чтобы получить перемену режима? Ясно! Надо не просто стучать, но стучать с толком, как говорят, «нараскрутку», то есть узнать о своих сопосидельцах нечто такое, что дало бы основание для возбуждения нового следственного дела. Иначе говоря, наш медбрат мог оказаться весьма опасным человеком для любого, кому есть что скрывать.

Нам было что скрывать — мы к тому времени имели нелегальные контакты с волей, мы отправляли информацию и получали ее. На волю, то есть в Москву, ушла целая галерея портретов политзэков художника-заключенного Иванова-Сиверса, магнитофонная запись с нашими голосами (начальник зоны попросил Александра Гинзбурга отремонтировать магнитофон). В Москве всегда вовремя узнавали о сроках и поводах наших голодовок в защиту то одного, то другого заключенного, по отношению к которым применялись меры, не предусмотренные законом. Уходили на волю наши статьи и литературные опусы. Потому и была в ходу поговорка: стукач — друг человека! Он учит тебя бдить, учит культуре речи.

Мы были молоды и романтичны, режим же — только искусно циничен. Потому фактически не было борьбы, но только несовместимость со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые подчас создавали иллюзию борьбы.

Мое внимание на Николая Мыльникова впервые обратил Юлий Даниэль.

Позднее слыхивал, что до «посадки» был будто бы Даниэль этаким литературно-богемным баловнем судьбы и женщин, острословом и скептиком, — я же запомнил его другим. В отличие от своего более известного подельника, у которого отсчет норм и правил исходил исключительно из стратегии личной перспективы, Юлий Даниэль в лагере являл, рискнул бы сказать, эталон достойности поведения, каковой весьма непросто сформулировать, ибо складывается он подчас из множества сущих мелочей, что по отдельности и не фиксируются даже: от манеры общения до (поверьте!) походки или чего-то еще более пустячного. Возможно, его военно-окопный опыт сказался, возможно — свой пятилетний срок понял он не просто как возмездие государства, но как срок личной проверки по большому

счету. Как бы то ни было, но бывший советский литератор в неволе продержался солдатом, по натуре вовсе не будучи таковым.

Однажды, прогуливаясь за бараком по узкой, лишь на двоих, протоптанной дорожке, столкнулись мы с Мыльниковым, который немедля уступил нам тропу, угодливо раскланявшись, изобразив на лице исключительное почтение. Я, наверное, гримасу скорчил, потому что Даниэль, словно не согласившись, покачал головой и, когда отошли на десяток шагов, сказал укоризненно:

— Это вы напрасно, Леонид. Весьма неоднозначный, скажу вам, человек, этот Мыльников. Весьма. Приглядитесь.

Приглядываться мне вроде бы и некогда было, но в очередной раз «вырубился» из нашей компании Юрий Галансков с язвой желудка, в больницу его не отправили, поместили на больничный режим в единственную палату при лагерной санчасти, где хозяйствовал и управлялся Мыльников. Навестив Галанскова в первый же вечер после работы, я нашел там Мыльникова в роли заботливой нянечки, не имеющей в жизни никаких иных проблем, кроме здоровья наироднейшего человека. Из всех лекарств от своей смертоносной болезни Галансков признавал только соду, каковую поглощал в диких количествах. К серьезному, систематическому лечению относился с легкомысленной небрежностью, умудряясь одновременно не верить ни в излечение, ни в смерть, что уже стояла за его плечами.

Сидя в сторонке и наблюдая мельтешения Мыльникова, я, помнится, подумал, что сей медбрат, возможно, просто от природы добрый и добродушный человек, что по добродушию и бесхребетности влип в свое время в историю, таких вот, поди, война ломала особо безжалостно, а медслужба, возможно, та самая область, где он сам собой, как есть, где и должен быть, что если при этом «постукивает» на кого, так не из подлости и корысти, а по неспособности противостоять и отстоять себя перед «опером». Таким, как он, лагерь ничего не дает — только отнимает, и в своем стремлении вырваться он прав, как извечно прав инстинкт жизни перед смертью.

Короче говоря, глядя, как Мыльников спасает дорогого мне человека, я чувствовал острейшую потребность сколь возможно мудренее оправдать его в собственном мнении — чтобы и в душу не пустить, и его души не оттолкнуть. Ради первого нейтрального контакта поинтересовался происхождением его медицинских знаний и был шокирован ответом. Оказывается, деся-

тилетку он окончил в зоне, пятнадцать лет кантовался по лагерным санчастям в роли санитара, кое-чем овладел и документ получил медбратовский, так что все законно, а кое в чем и иному врачу подсказать может, ведь зэковские болезни — они не то, что у вольняшек, специфика, а уж «мастырку» любую (самопоранение), не разглядывая, «расколоть» способен.

Галансков, откряхтевшись после укола, не только охотно подтвердил мыльниковскую саморекламу, но и посоветовал мне, если есть проблема с зубами, лучшего «рвача» не искать. У меня еще свежи были воспоминания о зубной врачихе одиннадцатого лагпункта, по кличке «Эльза Кох». Эта стерва только делала вид, что обезболивала, тащила зуб медленно, раскручивая корни по часовой, разрывая десну, а если пациент вскрикивал, отпускала зуб, наклонялась к самому лицу и вопрошала со злобным ехидством: «Ой! Нам больно? А когда на советскую власть клеветал, небось не стонал?? Срок-то какой? Шесть? Мало! Быстро забудешь! Зато кресло это запомнишь! Открывай пасть!» Слышал позже, что плохо кончила. Ошпарили каким-то раствором.

Польщенный похвалой Галанскова, Мыльников раскраснелся совсем по-детски и больше жестами и мимикой, чем словами, высказал немедленную готовность — хоть завтра — заняться моими зубами. Профессионально почуяв во мне труса, заверил: «Новокаину — залейся! Если противопоказаний нет, проблемы нет! А?»

Увы! Я не был еще готов довериться самоучке-лепиле. Мыльников предложил чайком побаловаться, мне предложил, а Юрию отказал — противопоказано. Юрий закапризничал, заявил, что уйдет, если не дадут. Мыльников начал уговаривать его, чуть по головке не гладил. Я дивился их отношениям — непоколебимого политзэка и стукача, мой срок пребывания в лагере еще был слишком мал, черно-белые тона восприятия окружающего еще довлели, еще диктовали упрощенные формулы мнения, но я уже чувствовал их неправедность и потому охотно согласился на чай. В руках Мыльникова появилась гитара, я подумал, что это для меня, поскольку был увеселителем нашей компании, но Мыльников, умело подтянув струны, взял несколько аккордов и довольно приятным голосом изобразил «Ехали на тройке», а потом что-то украинское, малоизвестное.

— Я ведь, братцы, хохол, между прочим, чистокровный! — сказал вдруг Мыльников, словно тайну нам открывал.

— А чего ж ты тогда по-хохлянски не гутаришь и со своими братьями бандеровцами не общаешься? — спросил Галансков.

Мыльников захихикал, заподмигивал.

— Да я это, как бы с другого боку. Ковпаковец я.

— Ну да! — откровенно усомнился Галансков. — За какой же такой партизанский героизм тебе четвертак вломили?

Мыльников закатил глаза к потолку и с чувством пропел куплет песни, популярной у бандеровцев: «Я покидая тэбэ, Вкраина, останий раз ще подывлюсь».

Ни на секунду не поверив «ковпаковству» Мыльникова, я поспешил сменить тему. Еще бы! Какого полицая ни спроси, он непременно нарасскажет, что был насильно мобилизован, и не столько немцам служил, сколько партизан да разведчиков всяких спасал. Однажды решил, что не мне судить этих людей, но в моей воле воздерживаться от общения.

Нюх у Мыльникова — что надо! Мое отношение просек с ходу, вспомнил, что очередной процедуре срок подошел, засуетился, замельтешил. Я взял гитару, перестроил на «сибирскую семерку» — особый гитарный лад, унаследованный еще от бабушки, и в сопровождении галансковского подвывания и хмыканья спел отчего-то тогда любимую песню Юрия «Мой отец в октябре убежать не успел». Мыльников при этом почтительно держался где-то за спиной. Потом деликатно поинтересовался действительно редчайшим гитарным ладом. Я объяснял, показывал аккорды. Он увлекся, как юнец, сразу стал хорош и симпатичен, ни кривляния, ни гримас, слух при этом обнаружил отменный.

Галансков, добрая душа, всегда с иронией относившийся к моей, зачастую искусственной, жесткости в отношениях с людьми, наблюдал за нашей гитарной забавой с ухмылкой, привычно потирая все одно и то же место, под ребрами, где угнездилась его скорая погибель — желудочная язва, которая и достала его, всеми нами любимого человека, через два года. Но если он все же поимел эти два года — заслуга Николая Мыльникова в этом несомненная.

Но другой эпизод или случай, как угодно, послужил толчком моему интересу к лагерному медбрату. Поскольку работа в нашей зоне была сидячая — на швейных машинках мы шили рукавицы-верхонки, — многие зэки, молодые особенно, усиленно занимались разного рода спортивными упражнениями. Отсюда же повальное увлечение йогой. «Йогнутые» часами высиживали

в самых немыслимых позах, продувая ноздри и прочие природой предусмотренные отверстия, достигая каких-то там степеней самоотключения и самоподключения. Один потом рассказывал, что отключился полностью и побывал дома, увидел всех родных, другой перенесся в кабинет генерального прокурора и увидел у него на столе свое дело, не иначе как для пересмотра запрошенное, — жди амнистию! Третьему уже в который раз являлся сам Иогонанда и инспектировал успехи «погружения». Что говорить, не от добра бзиковали люди. Неосознанная жажда личной жизни, куда бы не только мент, но и сосед по нарам не мог сунуться, этакая зона личной свободы — вот в чем была нужда, подчас сопряженная с выживанием вообще.

Ни в чем подобном Мыльников замечен не был. Ни разу не видел его я ни на нашей единственной «беговой» дорожке, ни на волейбольной площадке. Он вообще производил впечатление рыхлого, расхлябистого, вихлястого мужика — как бы в точном соответствии с тем духовным образом, каковой являл всем своим поведением. Но вот однажды, по нездоровью оставшийся в зоне, торчал я у барачного окна и увидел медбрата нашего, бесцельно слоняющегося у второго барака, что напротив. Там, прислоненный к завалинке, стоял теннисный стол, давно не используемый за неимением ракеток. Мыльников подошел к нему, поковырял пальцем бортовую проломину, а потом, как бы нехотя, просто от нечего делать, уперся правой ладонью в доски и легко, без видимого напряжения, на одной руке выжался и плавно взмыл ногами вверх над столом, тщательно выровняв носки кирзовых сапог. С полминуты постоял так, не колыхнувшись, медленно опустился на ноги и побрел прочь своей неспортивной, развалистой походкой. Я знал, что ни один из наших «спортивно задвинутых» зэков не способен был исполнить подобное. Тогда-то вспомнил фразу Даниэля о «неоднозначности» медбрата и мгновенно проникся жгучим интересом к личности этого, без сомнения, необычного и странного человека.

Интерес совпал с зубными проблемами, которые губительно запустил исключительно по трусости. В тот же день, как бы случайно столкнувшись с Мыльниковым у столовой, окликнул его, затем изобразил сценку, дескать, что-то я хотел спросить или сказать — ну да! А и вправду, не займется ли он моими зубами как-нибудь на днях, это, конечно, не срочно, но однако ж. Мыльников просиял так, словно я сообщил ему о скорой амнистии.

— А чего когда-нибудь? Зачем когда-нибудь? Щас и сделаем!

Подхватил меня под руку, этак основательно подхватил-полуобнял и повлек в сторону своей санчасти. Беспросветный трус, я не был готов вот так, сразу, без соответствующей моральной подготовки, замямлил что-то нечленораздельное, тщетно пытаясь сохранить достоинство бывалого зэка. А он захлебисто рассказывал, какой был спец по зубам тот, кто его, Мыльникова, натаскивал, какие тонкости поведал ему, какие инструменты подарил, когда провожал его с особого режима на наш строгач. Я же в панике напрягал извилины, чтобы придумать какую-нибудь срочную отговорку, весомую причину, никак не позволяющую мне именно сейчас потратить время на такое пустячное дело, как лечение зубов. Но самолюбие победило, небрежно махнув рукой, внутренне содрогаясь от собственной решимости, я сказал вполне по-мужски:

— А, сейчас так сейчас. Ты уж извини, что напросился. Планов никаких твоих не нарушаю?

От радости он, кажется, был готов на руках унести меня и водрузить в им самим, как похвастался, отремонтированное и усовершенствованное зубоврачебное кресло. Я же только предупредил его, что, судя по самочувствованию, работы с моей челюстью не на десять минут и что новокаин на меня слабовато действует.

Осмотрев фронт работ, предложил мне выбор: срочно, но частично или глобально и капитально. Холодея нутром, я ответил сурово: «Валяй капитально». Он еще раз проинспектировал объект, чуть не разорвав мне рот до ушей. Я, помнится, подумал, что стиль работы его пальцев более пригоден для разборки и сборки немецкого «шмайсера» или нашего ППШ, но к отступлению сам все пути отрезал! Всадив мне пару уколов, Мыльников просиял и сообщил радостно:

— Все! Сидим, балдеем, ждем абсолютного бесчувствия!

В руках гитара. Глядя на меня влюбленными глазами, неожиданно приятным баритоном, покачиваясь и театрально томясь, затянул: «Клен ты мой опавший». Обняв березку, как чужую жену, отложил гитару, сладострастно потер ладони и полез ко мне в пасть. Как я и предупреждал, новокаин не сработал, и я задергался от прикосновения металла. Изумленный медбрат покачал головой, насупился решительно и заявил:

— Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики! Глаза закрываем, рот открываем, дышим легко, думаем о Родине!

Следующим музыкальным моментом была «Тройка с бубенцами». С моей физиономией происходило что-то необычное. Вся правая часть от подбородка до висков деревенела, безболезненно отслаивалась и зависала рядом, недоступная никаким ощущениям. Встревоженный, я одной левой частью рта вопросил: «Школько вшадил?»

— Пять! — торжественно ответил Мыльников. — Через три минуты я тебе не только зуб да корешки, но и глаз могу выдернуть — не почувствуешь!

Как потом выяснилось, сорок минут он возился со мной. Я этих минут не помнил. Медбрат добился-таки полного бесчувствия. Когда взглянул в зеркало по завершении процедур, ужаснулся. Пытался обрести речь, но Мыльников пресек бесполезные попытки и объяснил доходчиво:

— Не боись. Десны — это как тесто. Столько надергал. Разворочал. Пару дней походишь кривомордым. Смотреть противно? А и не смотри. Зато потом как глянешь по новой — сплошной Аполлон! Крайний зуб я залечил до старости.

Чумному, измученному, он еще крикнул мне вслед:

— До утра ничего не есть, утром ничего горячего.

От тех таблеток, что заглотнул, уходя, и от тех, что наглотался на ночь, проспал до обеда. Дневальный пытался разбудить утром, но, узрев мою дикую кривомордость, оставил в покое, а Мыльников оформил освобождение от работы на пару дней по причине якобы простудного флюса. Не ранее чем через неделю обрел я подобие Божие, но всю неделю Мыльникова спокойно видеть не мог — подозревал в непрофессионализме и, стыдно признаться, в злоумышленности. Мои подозрения подогревали бандеровцы, ненавидевшие медбрата по тогда еще неизвестной мне причине, строившие против него козни и в итоге через год добившиеся смещения Мыльникова с блатного места и посадившие туда своего человека. Но это произошло уже перед самым освобождением моего зубодера.

Испытывая раскаяние за недобрые чувства, в первый же выходной после полной моей косметической реабилитации нанес я Мыльникову визит благодарности, чему рад он был сверх меры, уязвленный странностью моего поведения в предшествующие дни. Явился я, как положено, с подношением всегда дефицитного кофе, с пачкой чая, тоже не менее дефицитного, — и то и другое в самой категорической форме было им отвергнуто и встречным планом выставлена мензурка со спиртом, закусь из

рыбных биточков, а кофе — само собой. То есть не я, а он дал обед в честь взаимного удовольствия установления дружеского контакта. Не любитель спирта, я лишь пригубил из кружки. Он же себя не ограничивал и, опустошив мензурку, скоро «потек», то есть созрел для доверительного разговора, на что я очень надеялся, отправляясь к нему с визитом.

— Я ведь знаю, — говорил он без обиды или горечи в голосе, — все политические меня за стукача держат. Я б это запросто опровергнуть мог, да не в моих интересах. Можешь вот такой интерес представить себе? То-то! А у меня он вот такой, мой главный интерес, чтоб меня все презирали и сапоги об меня вытирали, и всякая гнида радовалась чтоб, будто есть кто-то еще гнидистей. Опер думает, что я стучу гэбистам, а ему не доверяю, поскольку он пьянь подзаборная и по пьянке продать может. А гэбистам говорю: срок мне намотали? И вот хрен я вам стучать буду после этого! Лучше с опером дело иметь, хоть пьянь, да без крови на руках.

Зажевав последнюю каплю спирта ошметками рыбных биточков, еще больше расположился ко мне, подмигнул, кипятильник самодельный из столика вынул.

— Щас кофейку врежем, и я тебе мой главный секрет расскажу.

Передо мной был совсем другой человек. Ни следа от угодливости и подхалимства на лице — ну чисто маску снял! Движения уверенные, ни намека на суетливость, грудь колесом, глаза сверкают этаким злым озорством, и голос настоящий — мужской, без бабских интонаций, особенно раздражавших меня в прежнем общении. Жарко ему стало от спирта, рубашку снял — мускулатура атлетическая. Такой, конечно, может отжаться на одной руке. Значит, накачивает себя втайне.

Поймав мой взгляд, согнул руку в кулаке, демонстрируя бицепс.

— А это — знаешь для чего? Для сюрприза! Есть такие, кому для самоуважения надо вошь раздавить при свидетелях. Где ему вошь взять? А я тут как тут! Чего изволите? Он петухом, петухом! Я тебя щас да я тебя враз! А я ему — за что? Я ни при чем, я так, поссать вышел! Он кулаком раз! Мимо! Другой — мимо! За грудки — а я будто случайно его через себя — ой, извини, кричу, не хотел, нечаянно! Поднимаю его, пыль стрясаю с робы. Хрипит фраер от злобы, уши врозь, на губах пена! За горло большими пальцами, есть такой подлый прием, а я слегка локотком поддых — ну, в общем, кино!

— Зачем тебе все это?

Разлив дымящийся кофе по кружкам, вопреки зэковской традиции пить всем из одной, он долго молчал, насупившись, сделал глоток — не понравилось, сахару добавил, еще глотнул.

— Двадцать первый год тяну. Здесь что? Здесь малина, а не зона. А там, где бывал, как выжить — никак не выжить, если не придуряться. Еще, видишь ли, я сам по себе. Бандеровцы, власовцы, «зеленые» всякие, вот вы, политические, у вас у всех какие-то программы. А у меня только баба моя глупая. Два раза замуж без меня выходила, двух девок родила от проходящих, теперь кается и ждет, когда приду. Но я скоро приду, про то и есть мой главный секрет.

Мы уже приканчивали вторую заварку, когда заглянул в санчасть Михайло Михалыч Сорока, украинский националист еще аж с добандеровских времен. Сидел у поляков еще, общий лагерный стаж — не выговорить — за сорок уже. Авторитет у него — всеобщий, и не столько за срок, сколько за характер и этакое тихое мужество, с которым он переносил свое пожизненное заключение. Лагерные бандеровцы весьма гордились тем, что какой-то известный польский коммунист из правящей элиты в своих воспоминаниях о польской довоенной тюрьме, где сиживал вместе с Сорокой, дал последнему прекрасную человеческую характеристику, будучи притом противником «галицийского национализма» Михаила Сороки. Этот профессор лагерного быта, похоже, намного раньше меня понял смысл мыльниковского «придурства», потому что в разговоре с Сорокой Мыльников не кривлялся, быстро приготовил какие-то порошки и капли, за перегородкой что-то там осмотрел у пациента, советы давал четкие, предложил кофе, но Сорока вежливо отказался, старомодно раскланялся с нами и ушел.

После его ухода Мыльников погрустнел слегка, я же намекнул, что и мне пора бы. Встрепенулся, запротестовал:

— Я ж тебе так и не сказал моего главного секрета!

— Если секрет, то, может, и не надо?

— Может, и не надо, — согласился Мыльников, — да хочется, я ж человек, мне тоже хочется чем-то погордиться. Вы вон гордитесь, что власти не боитесь, что в рожу ей плюете, а она только утирается, а пострелять, как раньше, вас не может. Скажи, это вы сильны или власть слаба?

Удивленный постановкой вопроса, я не сразу сообразил с ответом.

— Что мы сильны — это точно. «Мы» — вообще понятие относительное, не уверен, что в нем есть реальное содержание. А вот власть, возможно, потому и не нуждается в «стрельбе», что в себе уверена. Но поскольку власть эта ненормальная, «стрельбой сотворенная», то, может, ты и прав — слаба, только мы оттого сильней не становимся, я, по крайней мере, этого не ощущаю. Мы только здесь — «мы», а на воле окажемся каждый сам по себе. А твой секрет, он в каком отношении к власти?

— В положительном! — ответил Мыльников многозначительно. — Я действительно «стучу», и не один год уже! Только не операм всяким, а прокурору по надзору, и не на вас, а на администрацию и гэбистов. Гулаговское начальство гэбистов шибко не любит. Тут, брат, все тонко. По проволоке хожу. Еще когда на «особняке» был, по чистому случаю нашел общий язык с прокурором по надзору. Неплохой мужик, между прочим. С широким пониманием. Раз, другой написал ему про оперскую глупость. Меня на этап в Саранск. Там с ним встретился. Кое о чем договорились. Через год он мне послабление выхлопотал. Перевели сюда. Я и здесь не без пользы. Хошь пример? Все знают, что наш «кум» Тамбовцев пьянь безнадежная. А почему не снимают? (Капитан Тамбовцев — начальник оперчасти.) Потому что я мешаю. Хоть пьянь, но ведь и вас нешибко достает, так? Бандероли и прочее. Гэбисты на него уже кучу рапортов в ГУЛАГ накатали. А я свою информацию — что держит «кум» ситуацию, что побеги предотвращает.

— Какие побеги? — Я аж на стуле присел.

Мыльников подмигнул лукаво.

— А Сережа, певун-то ваш.

И верно, было. Из питерской группы поэта Николая Брауна кинули нам в зону Сергея Мальчевского. Первые несколько дней ходил он по зоне с чумовыми глазами — я такое уже видел ранее. Дескать, что, семь лет торчать в этой яме?! Да нипочем! Через какое-то время подошел ко мне, отозвал в сторонку, поведал, что сидеть не будет, что высмотрел место для подкопа — из-под крыльца рабочего барака. Спросил, не соглашусь ли постоять на атасе. Безнадежность затеи была очевидной, но, понимая его состояние, я согласился. Через пару дней выяснилось, что с подобной просьбой обратился он и к Галанскову, и к Платонову, и еще, возможно, к кому-то, к кому обращаться не стоило. Короче — по зоне пошел шорох. А через неделю или чуть более, придя на работу, увидели мы свежую кирпичную

кладку по периметру крыльца. Сергей к тому времени «вошел в норму» и, сколько помню, держался достойно, а в компании нашей был любимцем по причине доброго и оптимистичного нрава. Гитарист, знаток так называемой авторской песни, от него я впервые услышал о Высоцком.

Мыльников меж тем рассказывал, самодовольства не скрывая:

— Сам понимаешь, дело тухлое. Я Тамбовцеву анонимку, мол, под крыльцом рабочего барака больно земля рыхлая. И знаешь, пьянь, а сообразил с ходу. Гляжу — кирпичики. А потом прокурору — капитан Тамбовцев предотвратил. Вот увидишь, как только освобожусь, Тамбовцева выгонят.

— Освободишься?

— Это тоже секрет. Если прокурор не темнит, уже резолюция есть.

— Послушай, а гэбисты неужто на тебя не давили?

— Еще как! Да только они знают, кто я есть.

— Ну, а кто ты есть? — спросил я, обнаглев от его откровенности. Нехорошо это прозвучало, сам почувствовал. Мыльников съежился. Показалось, что сейчас снова натянет маску придурка и выстроит дистанцию.

До отбоя оставалось не более получаса. Я опоздал на отбой, и были неприятности. Но историю Николая Мыльникова, медбрата семнадцатого лагпункта, я выслушал и пересказываю теперь, как запомнил. Ничего не ставлю под сомнение. И не только потому, что тогда, когда слушал, верил каждому слову. Тогда верил, назавтра мог усомниться — не в том причина. Жизнь человеческая в ретроспекции всегда есть немного миф. А иногда и много. Впрочем, как и жизнь человечества в целом. Это только историки-профессионалы общаются с голыми фактами, и то выстраивая их подчас выборочно в определенном порядке в угоду концепции. Массовое сознание же потребляет мифы, в которых своя правда.

А вот как выглядит миф о жизни Николая Мыльникова, рассказанный им самим.

В сорок первом ему было шестнадцать. Жил он на Украине и по рождению, как сам сказал, был хохлом из хохлов, хотя и с русской фамилией. С приходом немцев сбежал к партизанам и по способностям был определен в разведку. Полгода их небольшой отрядик попросту бичевал-нахлебничал, мотаясь по отдаленным селам в окрестностях города Путивля, пока его не прибрали к рукам комиссары Ковпака. В настоящем деле Мыльников сразу был замечен, и летом сорок второго семнадцати лет от

роду уже командовал небольшой разведгруппой. Был в авангарде, когда Ковпак со своим многотысячным соединением затеял знаменитый рейд на Карпаты, который в целом прошел успешно, если не считать, что где-то в предгорьях Карпат ковпаковский штаб попал в ловушку к бандеровцам, откуда партизанский генерал едва унес ноги. В этой заварушке Мыльников поймал бандеровскую пулю в ляжку и был оставлен в одной из деревень на излечение. А попросту брошен. Лечила его деваха, девчонка, говорила, что ей шестнадцать. Врала. Лечила не для Ковпака, а для себя, потому что «такая, брат, любовь закрутилась меж нас, что вся война побоку!». Прятала его от немцев, от бандеровцев, от партизан, от всего света прятала, страсть как забеременеть хотела, чтоб пуще привязать, да что-то не получалось.

Был будто бы маршалом Ворошиловым подписан особый приказ, по которому партизанских дезертиров велено вешать без суда, где поймают. За пять месяцев откормился, отоспался, налюбился, когда б не приказ — нипочем бы снова в лес в свой отряд не попал. В чужом проверку устроили. А какая проверка — ни документов, ни свидетелей. Особист пистолетом у виска покрутил, за грудки похватал да и в отряд. В деле снова был замечен. Везучий был. Награды заимел. Отправили в тыл на учебу. В сорок четвертом командиром взвода уже в регулярных — орден Красной Звезды, а после бухарестской операции — Красного Знамени. Войну закончил старлеем. Оставили в комендатуре какого-то румынского города. В отпуск сгонял, разыскал деваху, жениться собрался. Зимой сорок шестого хватают, скручивают, везут во Львов, из Львова в Минск. Там-де обнаружены документы о дезертирстве его из партизанского отряда. О ранении ни слова. Свидетелей — никого. Если бы только дезертирство. Следователь откапывает версию немецкой разведшколы, куда будто бы дезертировавший Мыльников попал, сбежав из отряда. Пройдя обучение, завербован и законсервирован до особой связи. Версия не с потолка — с облаков! Мыльников мог затребовать для свидетельства невесту, но ведь и ей бы пришили «глубокую консервацию».

Из его рассказа я так и не смог понять, зачем нужна была следователю липовая версия. Возможно, пугал просто.

На одном из допросов сорвался парень, заорал, обозвал подполковника СМЕРШа тыловой крысой, пообещал разобраться — угроза следователю! А тот будто бы ему и говорит: «Щенок, я разве таких видал! У меня генералы в лампасы ссали!»

«И я тогда себе велел, — рассказывал Мыльников, — сдохнуть, но доказать этому гаду, что я не вошь!»

В следственной камере какого-то областного города, куда его вывозили на очную ставку непонятно с кем, оказались с ним еще трое офицеров, званием все старше его. У всех, по их словам, были такие же туфтовые дела. Скорее всего, проступки, раздутые до дел. Один из них, майор из армейской разведки, обвинялся, ни больше ни меньше, в подрыве советско-американских отношений по заданию японской разведки. А по сути, его бойцы крепко подрались с американцами, конечно, по пьянке. Американцев было больше, кого-то из наших повязали и утащили с собой. В общем, была разборка на высоком уровне. Майору грозил вышак. Он-то и замыслил групповой побег из следственного изолятора, замыслил, продумал и осуществил.

Как они раздобыли документы, машину, оружие — Мыльников не рассказывал. Четверо боевых советских офицеров превратились в вооруженную банду, причем в банду террористическую, поскольку своей целью поставили отлов и уничтожение военных следователей — смершевцев. Почти год мотались они по Белоруссии и Украине, верша свое правосудие и, как я понял, не оставляя свидетелей, иначе разве б им продержаться столько времени. Только в мае сорок седьмого, — рассказывал Мыльников, — удалось ему захватить своего следователя.

Даже намека на раскаяние я не увидел в глазах медбрата, напротив, они, многозначные глаза его, как-то по-особому воссияли и придали лицу выражение торжественности и триумфа. В чем была суть триумфа, я понял чуть позже. Видимо, более всего боялся он, офицер-бандит, обнаружить в следователе храбреца, готового смело взглянуть в лицо смерти. Тогда, возможно, сам бы мог сломаться, «распустить сопли» — ведь рухнуло бы при этом зыбкое здание веры в то, что одни сражались, проливали кровь, гибли или выживали, а другие — им теперь власть и право измываться над выжившими — вот какое право обрели тыловые крысы, без сомнения, худшие из народа, ибо лучшие из тылов и из-под «броней» все четыре года рвались на фронт. Мразь украла победу у фронтовиков, украла и присвоила.

— Вот ты припомни, — говорил Мыльников, — если кино про боевые действия, везде наших бьют. Одни разведчики везде побеждают, все вовремя узнают и товарищу Сталину сообщают.

— Ты же сам разведчик.

— Я фронтовой — это совсем другое дело. И я-то уж знаю КПД этой разведки — мелочевка. Я знаю, как победа делалась.

— Как?

— Атакой лобовой, вот как. Мы, конечно, тоже целыми пачками в землю ложились. Но если везло и возвращались, потом шнапс глушили на вторых линиях, а пехота... а, не стоит об этом. Я тебе про своего следака доскажу.

Подсел ко мне ближе. Глаза в глаза.

— Веришь, Леха, он в ногах у меня ползал, соплями сапоги мазал.

Повезло Мыльникову. Или, наоборот, не повезло? Трусом оказался следователь. И соплями укрепил его, возможно сомневавшегося, в правоте своих действий, укрепил и усугубил.

— Я сказал ему, гниде: шанс даю тебе, сука, иди, стрелять не буду вон до того дерева. Шагов сто было. Ведь шанс! Я бы — не задумываясь. Дошел — и на рывок! Кувырком! Всяко! Верный шанс! А он ползал и плакал. Я пристрелил его, как в разведке в немецком тылу пленных фрицев пристреливали после допроса. Чаще придушивали, правда, или финкой.

Вскоре, однако, органы обложили банду. Был бой. Пытались уйти поодиночке. Двоих убили. Мыльников сдался. Об этом он сказал без сожаления. Сдался — и все. Вышак был обеспечен, но последовал указ об отмене смертной казни — был такой короткий период в истории советского законодательства. Поскольку закон не имеет обратной силы, получил Мыльников свой четвертак, и в течение двадцати лет исступленно доказывал, что, как бы там ни было, был и остается он советским человеком, тем более что дело, заведенное на него в сорок шестом, в пятьдесят седьмом было закрыто. И еще, о чем он сказал тоже без сожаления: все убийства свалил он на следствии и на суде на убитых офицеров. Второй, которого взяли, повесился в камере, так что на суд Мыльников вышел один и, как младший по званию и по возрасту из их группы, «закосил» под жертву, а затем эту версию активно развивал в бесконечных писаниях по прокурорским инстанциям.

Такова вот история медбрата семнадцатого лагпункта Николая Мыльникова, рассказанная им самим. И я вовсе не собираюсь присовокупить к пересказу обычную в таких случаях приговорку, дескать, за что купил, за то продал. Уже говорил, что истории судеб человеческих — всегда немного мифы, а в мифах своя правда, с которой никак не хочется спорить.

Летом шестьдесят девятого года Мыльникову пришла долгожданная помиловка. Мы к тому времени с ним почти подру-

жились, насколько вообще возможны дружеские отношения меж столь разными людьми и судьбами, как наши с ним. Подружились.

За день до освобождения, вечером после работы, Мыльников как-то непривычно робко вызвал меня на улицу из барака и долго говорил о чем-то пустяковом, что вовсе и не запомнилось, как бы украдкой заглядывал мне в глаза, мялся, несколько раз повторил, что ни разу в Москве не бывал, что обязательно заедет в Москву, хотя его партизанская дивчина, а теперь дважды разведенка с двумя дочками ждет не дождется. Но в Москву все равно заедет. Я никак не мог сообразить, чего он хочет. Наконец он остановился, взял меня за локоть.

— Леха, может, чего надо на волю передать, так я пожалуйста, знаешь ведь, я не растяпа, у меня не найдут.

На волю всегда было что передать. Помимо лагерной информации, одна весьма резкая статья давно залежалась. Но вдруг все сомнения насчет медбрата: слава его дурная и помиловка, на каковую не могли рассчитывать зэки с намного менее «героическим» прошлым, и даже само предложение его — ведь до лампочки ему наши проблемы — все это будто напрочь перечеркнуло мое отношение, в сущности — доверие к Мыльникову. Материалы потерять — полбеды. Людей в Москве подставить — это хуже. Я промямлил что-то, пообещал подумать, есть ли что для отправки, может, ничего и нет такого. Он, конечно, понял. Виду не подал. Сказал, до отбоя упакуется, то есть, если надумаю, до отбоя еще не поздно.

У нас этим вечером было коллективное кофепитие по какому-то поводу, компания наша, как обычно, расположилась на полянке за бараком, общение планировалось до отбоя. Дважды я будто бы по делу забегал в барак. Мыльников сидел на кровати. Перед ним на стуле стоял раскрытый и уже упакованный чемодан. Раскрытый! Он ждал! Он надеялся, что справлюсь со своими сомнениями. Я не справился.

По ранней договоренности он должен был по прибытии отписать мне о своих делах и вообще не теряться. Не отписал. Потерялся навсегда. Мне же хочется думать, что не была его обида столь большой, что написал он мне, как обещал, да только опер зажал письмо, выполняя инструкцию по пресечению контактов между заключенными и освобожденными — существовала такая инструкция.

Николай Мыльников исчез из моей жизни. Но не из памяти.

САН САНЫЧ

Один и тот же вопрос, заданный когда-то впервые, походя и без особой затребованности, — зачем живем? — с годами произносится сознанием все чаще и тревожней. Может быть, потому, что безответность, как некая объемная пустота, все же заполняется содержанием, и содержание это, исполненное символами, непереводимыми на язык понимания, становится постоянным источником душевного смятения и тоски — чувства греховного, ставящего под сомнение целесообразность Божьего мира и само присутствие Его в мире бессмысленных чередований дня и ночи, жизни и смерти, добра и зла, веры и разуверений.

Причем, с годами опять же, личный характер этого вопроса — зачем я? — как ни странно, постепенно теряет остроту, потому что бессмыслицу «личного существования» можно просчитать, высчитать и как бы подытожить и вывести из списка личных ошибок и пороков. С чужими судьбами все куда как сложнее! К недоумению по поводу видимой бессмыслицы чужих судеб примешивается жалость, странным образом порождающая раздражение, — ведь хотя бы в чужих судьбах надеешься высмотреть Великий смысл существования не человечества вообще, но именно всякого человека и через человека, а не человечество укрепиться надеждой избежать преступного отчаяния в свой последний час.

Возможно, это — все та же пресловутая жажда факта, пред которым тут-то и склонил бы голову в признательности. Но похоже, что между фактом жизни и актом жизни не всегда усматривается прямая связь. Более того, возможно, и искать ее не надо, чтобы не усугублять недоумение?

Отчего-то сии грустные мысли упреждающе напросились на бумагу именно теперь, когда вознамерился я рассказать о судьбе еще одного человека, оставившего глубочайший след в моей памяти.

Александр Александрович Петров-Агатов — так звался он по лагерно-тюремной документации. Сан Саныч — так звали его мы, его друзья и недруги.

Зимой шестьдесят восьмого года меня в числе еще нескольких моих «подельников», то есть членов разгромленной подпольной организации, из одиннадцатого лагпункта перекинули в Саранский следственный изолятор КГБ на профилактику, то есть на проверку нашего идеологического состояния и соответствующей дальнейшей квалификации и сортировки нас по сте-

пеням враждебности или лояльности не столько к советской власти вообще, сколько к самим органам КГБ. По итогам этой сортировки на одиннадцатую, самую благополучную зону из политических, я более не попал, а был переведен на так называемую «малую семнадцатую», куда «сбрасывали» тех политзэков, кто, по мнению органов, мог дурно влиять на всех остальных и был потенциально неисправим.

Однако ж на пересылке в поселке с чудным названием Явас я встретился с другой группой моих «подельников» — очередной порцией кандидатов на профилактику. И из прочих новостей о делах лагерных узнал, что прибыл на зону интереснейший человек, ранее уже отсидевший почти двадцать лет, а теперь снова посаженный за крамольные стихи на полную катушку по семидесятой статье, то есть на семь лет. Первая информация о Сан Саныче выглядела фантастически противоречивой. Он — официальный советский поэт, автор гимна Чечено-Ингушетии, он — баптист-фанатик, он — чиновник в аппарате Суслова во время войны, он — по прежним срокам совершил пять побегов из лагерей, в том числе из магаданских мест, и, наконец, он автор известнейшей песни времен войны — «Темная ночь».

Не менее, а возможно, и более того были взбудоражены мои друзья «информацией», которую принес в зону сей странный человек. Было-де ему видение достоверное, что тысяча девятьсот семидесятый год — последний год политических заключенных, что свершится в стране нашей многострадальной нечто из ряда вон выходящее и расставит все по своим местам: добро к добру, зло ко злу, и каждому будет воздано по делам его. Друзья мои, люди отнюдь не легковерные, знакомые с логикой истории вовсе не понаслышке, в «дармовые» чудеса не веровавшие, тем не менее — я это видел — были смущены пророчествами новопришельца. Всякому было видно и ясно, что ни с какой стороны резкими переменами не пахнет даже, что «машина» работает практически без сбоев, что народное сознание функционально включено в систему социально-политических ценностей, что интеллигенция «куплена оттепелью», что «органы», наконец, бдят пуще прежнего, но или Россия — не страна чудес? Или не сказано, что умом Россию не понять? Что надо только верить? Вопреки всякой логике.

Нет, конечно, никто из моих друзей не впал в соблазн, но даже легкого смущения может оказаться достаточно, чтобы расслабиться. Лишь чуть-чуть — но это уже потеря формы. И

потому, воздержавшись от высказывания своего мнения на сей предмет, я тем не менее «записал» новоявленного пророка в категорию опасных людей, вознамерился «разобраться» с ним при случае, то есть развенчать, ибо самоуверенно почитал себя наитрезвейшим человеком, не поддающимся внушениям и соблазнам.

Как уже сказал, на одиннадцатую зону меня не вернули и встреча моя с Сан Санычем отсрочилась почти на год.

В декабре шестьдесят девятого скрутило меня язвенное обострение, как никогда ранее. После долгих согласований с «опекунами» из КГБ решено было-таки отправить меня в больничную зону на стационарный режим. С благословения медбрата Николая Мыльникова заглотнул я на дорогу чуть ли не стакан двухпроцентного новокаина, в получумном состоянии был всажен в этапный «воронок», и понесся оный милицейский конь ошалело по зимним ухабистым мордовским дорогам, чуть ли не размазывая меня по ребристым перегородкам «воронковского» нутра. Мало того, что швыряло со стенки на стенку, по днищу-полу елозила запаска, то придавливая носки, то подшибая в коленках, когда пытался на корточках закрепиться в углу. Думал по наивности, что не повезло, торопится водила, сукин сын, возможно, засветло вернуться хочет. Позже узнал, понял — нет. То стиль, шик своеобразный. Конвой впереди на мягких сиденьях, сам водила тем более, а нелюдь, то бишь я в данном случае, пусть-ка покувыркается, да так, чтобы не сразу отыскал после, где голова, где ж...

Резче обычного машина развернулась влево, швырнув меня на правый борт, а потом сверхрезко затормозила — я вмазался в выходную решетку. Разве больничная зона так близко? Конвой с собакой гомонил где-то рядом с машиной. Не менее получаса прошло, когда снова захряцкала дверь «воронка», — я понял, что мы приткнулись у девятнадцатой зоны, что была, как сказывали, по пути в больничную. С обычным зэковским узлом взбирался по «воронковым» ступеням мужичок лет пятидесяти, за ним два конвойных солдатика под «раз-два-три» зашвырнули в машину еще одного, как мне показалось, покойника. Конвойный тоже залез, отомкнул решетчатую дверь, отделяющую зэков от конвоя, и велел нам, то есть мне и мужику, который почему-то был без шапки, сверкал красной лысиной, втащить в «воронковую» камеру «дохляка» — так он выразился. Втащили не без труда. Крупный мужчина, с лицом, как нынче принято

говорить, кавказской национальности, но лицом белым, как тряпка, что была намотана на его горле. Он был жив, потому что стонал и хрипел, но бездвижен был совершенно. Тот, который лысый, деловито осмотрелся и несколько скрипучим голосом распорядился:

— Запаску кладем посередине, упираемся в нее ногами, вы на той лавке, я на этой, больного кладем на колени. Езды еще час, расшибется, дорога — уже поняли какая.

Подтащили запаску на середину между лавками, лысый снял с себя телогрейку, что по-зэковски зовется бушлатом, и постелил ее на запаску. Сам остался в свитере толстой вязки с мощным воротниковым наворотом — мечта всякого зэка. Но ведь декабрь.

— Замерзнете, — буркнул я завистливо. Он не ответил. Машина уже снова заурчала мотором, и мы спешили занять позицию. Длинный он был, этот полупокойник. Голова его упиралась мне в живот, ноги взял на себя лысый и попросил:

— На рытвинах старайтесь пружинить, как в седле, приходилось в седле? Иначе он поломает себе позвоночник об запаску. Но с Божьей помощью доедем, в машине ему не умереть, я знаю.

Машина дернулась, словно отрывала от земли примерзшие колеса, скорость набрала быстро, и на первых же метрах я оценил дельность совета, наловчившись в опасные моменты зависать над скамьей, ногами упираясь в запаску, а спиной в стенку «воронка». Было не до общения. Но, улучив момент более или менее ровного движения, спросил все же:

— Кто он?

Лысый улыбнулся загадочно:

— У вас на коленях бывший гроза Кавказа!

— Неужто генерал Ермолов? — съязвил я.

— Наполовину угадали, — лысый подмигнул, — генерал, только не Ермолов, но Атакаджиев, министр внутренних дел Азербайджана, верный соратник Лаврентия Павловича Берии.

Не скажу, что при этих словах у меня отнялся язык, просто нечего было сказать — ирреальность ситуации сотворила в мозгах этакий стоп-кадр. Лысый оценил мое замешательство, молчал. Водила меж тем, словно испытывая нас на выживаемость, совсем озверел. И что за рессоры у этих «воронков»! Умеют же делать у нас некоторые вещи — у какого-нибудь обычного ЗИСа давно б колеса поотлетали.

— И Господь наш в постоянном общении с нами. — Лысый заговорил, рискуя прикусить язык на ухабах. — По толкованиям православных догматиков, Господь пребывает в высях духовных и будто бы только откликается на призыв человеческий — и это есть мерзкая ложь! Господь всегда рядом с каждым, и каждую минуту Он в творчестве. И теперь Он сотворил вот эту нашу ситуацию и прочитывает в душах наших, как по нотам, наши чувства, чувства в первую очередь, заметьте, потому что в них суть человека, а не в мыслях. Мышление — узда чувств. Тютчев сказал: «Мысль изреченная есть ложь». Это банальность. Потому что и неизреченная мысль по отношению к чувству, ее породившему, чаще всего тоже есть ложь.

Очередная встряска, подкинувшая нас к потолку «воронка», прервала богословские излияния лысого, и я тому обрадовался, надо было возражать, где, мол, в таком случае место принципу свободы воли и тому подобное. Но физическое напряжение, с которым мне едва удавалось удерживать «бериевца» почти что на весу, к тому же действие новокаина прекращалось, и жжение под ребрами росло с каждой минутой — короче, мне было не до богословия.

Лысый, отохав положенное после удара лысиной о потолочную планку, продолжал тем не менее:

— Вот вы сейчас, спасая жизнь, возможно, очень грешному человеку, если в мыслях пожелали ему смерти или просто не пожелали жизни, только это и прочтется Господом в вашей душе, а все остальное даже и не заметится. Потому что для Господа реальна только жизнь вашей души. Это ведь она, душа, создана по образу и подобию Господнему и вложена в грешную и смертную плоть. Православные начетчики толкуют по-своему.

«Воронок» меж тем сделал крутой разворот направо, и розовый пласт луча декабрьского солнца просочился сквозь грязное стекло крохотного оконца кабины конвоя и упал наискось в нутро «воронка», прямо на лицо лысого, словно специально, чтоб я рассмотрел его. Оно не было ни приятным, ни симпатичным — его лицо. Нечто среднее между ханжой и бюрократом, как они рисовались на сатирических «огоньковских» страницах. Но такова была странность внешности этого человека — не будучи симпатичным, антипатии он тоже не вызывал. В толпе, к примеру, я не обратил бы на него внимания.

Видимо, мы съехали на дорогу, ведущую непосредственно к зоне, «воронок», сбавив скорость, заваливался с боку на бок, мотор взвывал на второй передаче, овчарка, лежавшая на полу

около решетки, поднялась на ноги, с трудом удерживая равновесие. По въезде в зону мы еще долго сидели в промерзшем «воронке», и только теперь мой спутник вытащил из вещмешка шапку и напялил по самые уши. Вытянули бушлат из-под тихо стонущего «бериевца», и лысый накинул его себе на плечи. Я замерз, а он, похоже, нет. Всю жизнь завидовал морозостойким людям, пытался воспитывать себя в этом отношении — бесполезно. Мог терпеть, мог бравировать, ведь сибиряк по рождению.

— Самая пора познакомиться, — сказал лысый. — Александр Александрович Петров-Агатов, поэт и зэк с двадцатилетним стажем.

Вот так, откровенно торжественно, представился он, с кем не раз еще потом сведет меня судьба по обе стороны проволоки, сведет, разведет и сведет снова.

Уже говорил, что не биографии пишу, но мифы описываю, и в отношении Сан Саныча «мифографизм» — почти принцип, потому что имею нынче возможность проверить многое, что известно только с его слов, но делать этого не буду и не хочу. Если и присутствовал домысел в его самоподаче, вторичность его для меня несомненна. У неинтересного человека и домысел скучен и интереса не прибавляет, скорее, наоборот, вызывает раздражение и желание уличить, поставить на место. Сан Саныч же — явление дивной мутации советского человека под воздействием торжествовавшей политической стихии: ни в каком другом обществе невозможно представить подобную судьбу, подобную личность, архинетипичность которой может свидетельствовать о прошедшей эпохе, как ни странно, в ее пользу, ибо нынешняя эпоха, помимо всем известных бед и бедствий, характерна тем, что конвейерно штампует типы и типажи, узнаваемые с первого взгляда и с первого слова.

* * *

Нас поместили в разные палаты, и он пришел ко мне первым же утром, я еще и подняться не успел. Пришел со стаканом сметаны в руках и немедленно начал объяснять пользительные свойства сего продукта для желудка, пораженного язвой. Не дал мне даже возможности отказаться, кормил с ложечки и за время кормления произнес целую речь о своем восхищении фактом создания подпольной организации, к которой я принадлежал и за участие в каковой был осужден. Он уже все знал о нас

и как бы в подтверждение информированности торжественно прочитал, жестикулируя чайной ложкой, последний куплет нашего гимна:

На алтаре в древнем храме
Вспыхнули тысячи свеч.
Бейте в набат, христиане!
С нами Божественный меч!

— Прекрасно! Гениально! — шептал он мне на ухо. — Гимн-молитва о даровании права на оружие против сатанинских сил! Я уже написал о вас всех и еще буду писать! У меня есть канал! Вы все герои! Рыцари-крестоносцы!

Сколько бы кто ни знал о нас, мы знали о себе больше. Было время проанализировать и слова, и поступки — мы были честно скромны в оценках, но все же чаще приходилось защищаться от критики, потому, признаюсь, я не остался равнодушным к дифирамбам: тогда еще не знал об удивительной способности Сан Саныча влюбляться в людей. Так и просится добавить — влюбляться по-женски. Но неправильно! Сан Саныч был мужик в самом традиционно русском значении этого слова. Объяснение после нашел простое: в людях он сперва замечал хорошее, все хорошее именовал превосходным, зачастую норму принимал за достоинство и почитал своим долгом к месту и не к месту восхвалять достоинства человека или то, что в силу склонности к идеализму принимал за таковые. Долго не мог увидеть плохое, увидев, разочаровывался в человеке, иногда впадая в другую крайность, — о том еще скажу. Но, думаю, способность к ненависти у него отсутствовала вообще.

Пока я умывался, появился Юра Галансков, вывезенный на больничную зону двумя неделями раньше. Михаил Садо пришел — один из руководителей нашей организации. Он здесь был в роли кочегара. Иван Чердынцев, ныне покойный. Тогда у него обнаружили процесс в легком, от чего, кажется, он и умер после освобождения.

Неловкость, что испытывал от «ласковости» Сан Саныча, как рукой сняло, потому что Галанскова он только что по головке не гладил, а на Садо смотрел с таким откровенным восторгом, словно высматривал нимб над его головой.

Откуда-то, будто из-под кровати, вывернулся еще один тип, плюгавенький, желтолицый, сморщенный, беззубый, — этот, наоборот, на Сан Саныча пялился, как юродивый на икону, и щедро улыбался беззубым ртом.

— Познакомьтесь, — сказал мне Сан Саныч, — это мой друг по кличке Могила, бывший вор в законе, но случайно ссучившийся, что вовсе не означает дурного, просто Могилочка нарушил воровской закон, возжелав честно трудиться в лагере, за что был приговорен к «опусканию». И дабы избежать позора, выколол у себя на груди антисоветскую надпись «Раб КПСС», за что осужден по нашей статье, следовательно, Могилочка — тоже политический. Вы ведь политический, Могилочка?

— В рот фронт! — прохрипел желтолицый, вознеся сжатый кулак с желтыми ногтями. — Кофеек завариваем, Сан Саныч?

— Обязательно завариваем, дорогой Могилочка.

Я был страшно рад встрече с Галансковым и Садо, и Сан Саныч удалился с Могилой.

Встречи с родными тебе людьми на пересылках ли, в больницах, на этапах — это особая тема, совершенно бесполезная для пересказа, непережившему — не понять. И не нужно.

Через час примерно Сан Саныч объявился снова, и мы всей компанией направились в кочегарку к Садо, где, как оказалось, усилиями Могилы был «накрыт стол». После «кружки по кругу» — по лагерной традиции кофе пился из одной посуды по два глотка — Сан Саныч потребовал, чтоб я читал стихи, ибо, как он заявил, ему уже известно, что я замечательный поэт. Незамечательных людей вокруг него просто не существовало, это я понял позже, тогда же смутился, пытался объяснить, дескать, пописываю, но так себе. Он терпеливо выслушал мой лепет, согласно кивнул и сказал: «Понятно. А теперь читайте». Чутье подсказало, какие стихи он хочет услышать.

Их удаль отсвистела. Но
Предписано. Приказано:
За дело, что не сделано,
За слово, что не сказано.

Бодрячковый зэковский мажор производил на Сан Саныча алкогольный эффект. Торжественно вышел из-за стола и расцеловал меня. Зэк с двадцатилетним стажем сталинских лагерей, он умудрился сохранить в себе, пятидесятилетнем, способность к романтическому настрою. Тогда я, помнится, задался вопросом: что помогает ему выживать? К вечеру уже понял.

Я присоединился к общему требованию, чтобы он тоже почитал стихи. Поэт он был, прямо скажу, средний. Но тематика,

манера чтения, да и вся обстановка вокруг — разве станешь обращать внимание на детали и частности! Стихи его были категоричны и риторичны:

Тюрьма как сито — дрянь не проскользнет.
Все в чистоте, все в истом первороде.
Здесь иль паденье полное, иль взлет.
Средины нет. Средина на свободе!

Нам не могли не льстить подобные строки, сколь трезво мы ни оценивали бы себя. Патетизм его был заразителен. Под его влиянием все, кроме разве Юры Галанскова, по-доброму ироничного, переходили на «высокий штиль» говорения с взаимозахвалом, что со стороны, наверное, просилось бы на пародию, но «стороны» не было, а мы были счастливы.

Галансков тайно подмигнул и, словно желая представить мне в полноте личность Сан Саныча, обратился к нему с тонко наигранным недоумением:

— Что же вы, дорогой Сан Саныч, не порадуете Бородина скорой свободой от лагеря и от сволочей-коммунистов?

Сан Саныч мягко тронул за руку рядом сидящего Юрия и с очень мягкой укоризной выговорил ему:

— Юрочка, милый, вот вы и в Бога не веруете, потому что, по сути, больны не язвой желудка, а скепсисом! Ах, какая это страшная болезнь — неспособность веры! Но что есть вера, как не желание добра, когда оно столь сильно, что превращается в энергию, способную на сотворение желаемого добра. Если я какому-нибудь человеку скажу, что он человек хороший, и он поверит мне, разве не станет он оттого чуть лучше? Разве не попытается стать лучше? Вера — действенная сила, энергия, только невидимая, как электричество или магнетизм, но могущественнее.

Повернулся ко мне и, как бы определяя мою способность к вере, помедлив, поведал, что в последний год его прежнего срока было ему видение — некто ангелоподобный предстал и поведал, что в тысяча девятьсот семидесятом году состоится избавление России от коммунистического ига. Все свершится единой Божьей волей, быстро и по справедливости, но по Божеской, то есть великодушной.

— Мы все освободимся в один день. Юрочка сомневается, да и вы, наверное, тоже. Но, может, в том особое ваше счастье: не верили, не надеялись, а оно раз — и случилось! Я даже завидую вам немного, ведь неожиданное счастье — счастье вдвойне!

Признаюсь, я был весьма шокирован его страстным монологом. Лагерная вера в чудо освобождения — дело известное. Но чаще всего это свидетельство частичной и тихой, как у нас говорили, «поехнутости». Такие люди узнаваемы даже по внешнему виду.

Только я подумал обо всем таком, как Сан Саныч вдруг преобразился в одно мгновение, сложил ладони у подбородка, подзакатил глаза и произнес проникновенно:

— Помолимся, друзья! Даже если не верите, помолимся.

Безусловно, от природы был Сан Саныч натурой художественной. Его молитвенные монологи, а мне их повезло выслушать немало, были подлинными шедеврами устной импровизации. Не знаю, как бы они смотрелись на бумаге, но с голоса они воспринимались таким образом, что рефлексия не успевала вклиниться в восприятие. Более того, и после, когда он из страстного проповедника вновь и в одно мгновение превращался снова в обычного смертного, не появлялось желания проанализировать с теологической или филологической позиции его молитвенную импровизацию, обращенную исключительно к чувству, и к чувству религиозному, каковое в каждой душе присутствует, хотя бы даже пусть и в неразвитом состоянии. Причем, повторюсь, внешность Сан Саныча никак не соответствовала привычному образу человека, исполненного религиозной духовности. На этом удивительном несоответствии спотыкался всякий, кто впервые оказывался в его компании. Как уже говорил — нечто среднее между ханжой и бюрократом. Скорее неприятное лицо, чем симпатичное. Партийный чиновник районного масштаба. Главный бухгалтер производственного объединения. Когда несколько лет спустя он разыскивал меня в Иркутске, его приняли за кэгэбиста-оперативника и весьма дурно обошлись с ним.

И когда он начинал молиться, лицо его вовсе не преображалось.

Начинал он с личного обращения к Богу, и обращение это было столь достоверно, что сперва и сразу вы как бы просто признавали его право на подобный стиль и слог, но далее шло благодарение Богу за то, что Он свел его с такими замечательными людьми, представляющими, ни больше ни меньше, честь и славу России, — вы слегка смущены, но опять не успеваете смутиться по-настоящему, потому что далее — подробное перечисление достоинств каждого из присутствующих поименно на предмет особого Божьего внимания и попечения, затем моление о России, и тут патетика со слезами, а иногда и с рыдания-

ми, но — ничего общего с истерикой и кликушеством, уже у каждого слезы на глазах и небывалый душевный подъем, и такая сила любви к ближнему, что в полном смысле прозреваешь относительно несомненной ценности любой души человеческой — образа и подобия Божьего.

Вот каким чудесам обучился в сталинских лагерях бывший сусловский выдвиженец и посредственный советский поэт.

* * *

Нарушая хронологию рассказа, для полноты представления о дивных действах Сан Саныча, припомню вторую мою встречу с ним на этапе во Владимирскую тюрьму, куда везли нас группой в девять человек из разных зон.

В пересылочной тюрьме на Красной Пресне в Москве, если память не изменяет, шестого ноября семидесятого года мы отмечали пятидесятилетие Сан Саныча.

Всех отправляемых во Владимирскую тюрьму ожидали два месяца так называемого пониженного питания. Прямо скажем, весьма пониженного. Настолько, что к концу второго месяца кто послабей на прогулках, случалось, падали в обморок. Сия карательная мера была известна в лагерях, потому со всех зон нам на этап насовали уйму всякого съедобного добра, и особенно кофе — в тюрьме оно запрещено к употреблению. «Красная Пресня» последний притык перед тюрьмой, и нужно было съесть и выпить все до капли и крошки. Юбилей Сан Саныча счастливо совпадал с наличием материальной базы, потому прошел на самом высоком уровне.

В соответствии с инструкцией ГУЛАГа нас, политических, разместили в отдельной камере, девятерых на тридцать мест — простор, хоть танцы устраивай. Мы понимали, конечно, что во все времена в битком набитой пересылочной московской тюрьме кому-то из нас придется спать друг на друге, но не помню, чтоб мы шибко переживали из-за этого. Мы готовились к празднику. У каждого из нас было с собой по два больших узла или чемодана: выписки, конспекты, рукописи, подшивки. У меня и до сих пор хранятся где-то прошитые толстой ниткой страницы из журналов «Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Вопросы истории» с пометками и подчеркиваниями.

В ночь с шестого на седьмое ноября, когда надзирателям, вместе со всей страной празднующим светлую годовщину Октября, было не до нас, мы устроили в камере (в унитазах) фор-

менный костер из бумаг, на котором «изварили» все наши запасы кофе и чая, накрыли стол посередине камеры — стол был по-зэковски просто роскошен — и приступили к чествованию Сан Саныча.

Политических, собственно, среди нас было шестеро. Трое — «шурики». Так мы называли уголовников, которые в своих зонах по той или иной причине вошли в конфликт с остальным контингентом и, спасая жизнь, совершали политическое преступление, чтобы попасть в наши зоны, где их наверняка не настигнет месть бывших сопосидельников. Чаще всего писалась листовка: «Всех коммунистов на фонари!» Машина срабатывала, листовочника судили по нашей семидесятой, добавляли срок и, предельно счастливого, забрасывали в наши лагеря, где он мирно «постукивал» на нас, торговал кофе и теплыми носками. Рано или поздно устраивал дебош, и его тоже отправляли в тюрьму, где в камерных условиях сей «шурик» уже не был столь безобидным, случалось, по наущению тюремного опера устраивал провокации, драки.

Кроме троих «шуриков», Сан Саныча и меня были еще украинский националист, поэт Ярослав Лесив, питерский милиционер, член «Союза истинных коммунистов» Юрий Федоров, священник из Улан-Удэ отец Борис Заливако, отправленный в тюрьму за попытку организации православной службы в лагере, Борис(?) Быков — милиционер из Алма-Аты, член милицейской подпольной организации по исправлению советской власти. Еще двоих, увы, не помню, и это досадно.

В начале застолья было опасение, что возникнет «напряженка». Сан Саныч — баптист какого-то редчайшего толка. Как-то совместится он с православным священником? Совместились. Как говорится, на самом высшем уровне. Не знаю, каков был отец Борис на воле, в неволе он был образцом священника — непоколебимым в вере пастырем и исключительно тактичным человеком. О нем бы особый рассказ, да слишком мало знал его.

Застолье началось с православной молитвы. Притихшие «шурики» истово крестились и пытались что-то подшептывать. Сан Саныч, привычно сложив ладони у подбородка, сидел закрыв глаза. Потом поздравления и подарки: авторучки, тетради, книжки. И лишь после началось действо Сан Саныча, каковое я уже описывал. Все было как в первый раз, с той лишь оговоркой, что он никогда не повторялся. В чем я совершенно уверен, так это в том, что он не готовил и не продумывал заранее

свои молитвенные монологи. И в этот раз он всех нас довел до слез, но не о нас речь, а о трех шалопаях — они смотрели на Сан Саныча как на чудо света, потому что за короткий период совместного этапа он высмотрел в каждом из них столько и такие положительные качества, о присутствии каковых в себе они даже не подозревали. Мы тоже, положим, могли заметить, что такой-то не жмот, а такой-то храбр, но Сан Саныч провел целое исследование на этот предмет и показал им и нам, сколь перспективны сии положительные задатки, сколь весомы в совокупности характера.

Ошарашенные, они целовали Сан Саныча, трясли ему руки, одними лишь глазами клялись ему быть именно такими, какими он их увидел. Один, по крайней мере, из трех после освобождения женился, обзавелся семьей, детьми, в полноте принял православие. Я встретил его случайно в одном из московских храмов и не узнал бы, когда б он не подошел сам. Не решусь сказать, какова была в том роль Сан Саныча, но что она была, не сомневаюсь.

* * *

Возвращаясь к моей первой встрече с Петровым-Агатовым, скажу, что после нашего кочегарного застолья, утром следующего дня, я нашел Сан Саныча у постели умирающего бериевского служаки. О том, что жить ему осталось не больше недели, сказал мне медбрат у входа в палату. Генерал, однако ж, выглядел неплохо. Внешности он был весьма благообразной: чистое, мало морщинистое лицо, подвижные черные глаза, «булганинская» бородка. Дыхание у него было нехорошее, неровное, и пальцы рук нервно сжимались и разжимались. Сан Саныч кормил его с ложечки какой-то жижей или кашицей собственного рецепта. Что ж, сценка была в стиле Достоевского: жертва отхаживала палача. Уже позже я узнал, что в наши лагеря были помещены те из бериевских сподвижников, кого нельзя было сводить вместе с остальными в их спецлагере. Надо полагать, это были «говоруны», то есть щедро дававшие показания на других своих сослуживцев. Накормив, напоив генерала, Сан Саныч вытер ему губы полотенцем, осторожно пожал его трясущуюся руку, что-то сказал ободряющее на ухо, поднялся с табуретки. Слезящимися глазами провожал генерал отходящего от него Сан Саныча, потом закрыл глаза.

Предстоящий день был необычен. В лагерь приехали социологи. Такого не помнил никто за всю гулаговскую историю.

Всех осужденных по семидесятой статье пригласили в столовую. Опер зоны представил нам двух мужиков, социологов со званиями. Очень жалею, что не запомнил фамилий. Один из них поведал, что нам, то есть желающим, будут розданы анонимные анкеты с вопросами самого откровенного характера. Мы же вольны отвечать на все или выборочно. Что будто бы пославший их институт получил заверение от самых высоких инстанций, что откровенность ответов не будет иметь никаких дурных последствий для заключенных, что интересует их, социологов, истинное отношение людей подобной категории к важнейшим аспектам советской действительности, что, наконец, сам по себе допуск к политзаключенным социологов — свидетельство. И так далее.

Анкетные тетради, врученные нам, были весьма объемны. Вопросы напоминали допросы. Без сомнения, Комитет госбезопасности имел в этом деле свой корыстный интерес, но методология постановки многих вопросов свидетельствовала об очевидном участии специалистов, знающих, как нужно спрашивать, чтобы получить откровенный ответ. Мы оценили профессионализм авторов анкет и дружно откликнулись на него. Впервые нам представлялась возможность прямо и безнаказанно высказать свои суждения о революции, о коллективизации, о выборах, о конституции и ее исполнении, о вождях — от Ленина до Брежнева, о состоянии колхозов, о внешней политике, о КГБ, наконец. И целая чистая страница была предусмотрена для желающих высказаться на тему, анкетой не предусмотренную.

Полдня ушло у нас на сей вдохновенный труд. Вчетвером — Галансков, Садо, Сан Саныч и я — ушли мы в кочегарку и творили там. Сан Саныч, изучая анкету, перечитал ее не менее трех раз, обложился тетрадями и, видимо, сперва готовил черновики ответов, писал и писал. Нахваставшись дерзостью друг перед другом, мы возжелали узнать, что же накатал Сан Саныч. Попросили. Он пожал плечами, сказал, как само собой разумеющееся:

— Чуют скорый конец. Загоношились. Я переписал анкету для истории. А для них — вот тут в конце несколько строк.

Анкета его была абсолютно чиста, и лишь на запасной странице мы прочли: «Господа властители! У вас еще есть время покаяться перед людьми и Господом. Обещаю молиться, чтоб Господь простил вас».

Мы пришли в столовую, где нас ждали социологи, и в их присутствии демонстративно подписали анкеты. Немного по-

общались. На вопрос Галанскова, кто из русских философов им более интересен, услышали ответ — Чернышевский, Белинский. На имена Соловьева, Бердяева, Флоренского была такая реакция: «Ну, буржуазных всяких много было». Из чего мы заключили, что социологи сии наверняка трудятся в каком-нибудь уж очень особом НИИ.

Этим же вечером Сан Саныч зазвал меня на рандеву, когда и состоялась наша с ним первая и продолжительная беседа, то есть беседа была задумана, но обернулась она — не без моих стараний — в монолог Сан Саныча «за жись».

Иногда я перестаю видеть какой-либо положительный смысл в самом факте существования художественной литературы. Все основное, сказанное на этот предмет, мне известно — и обобщающая роль, и типизация, и искусство жанра. Но вот выстроится перед глазами реальная судьба человека, случайно встреченного, случайно выслушанного, и жалкими кажутся собственные потуги, на чужое и великое тоже смотришь с недоумением, подозреваешь подмену, худое подозреваешь в страсти человеческой к отвлечениям от жизни, к сказке, каковой является по сути литература вообще. За судьбы людские обидно становится, что свершаются они, судьбы, на наших глазах и при нашем соучастии порой, а потом исчезают будто бы даже и без следа в памяти, как сны. Когда-то дотошно штудировал гегелевские суждения о превосходстве искусства над жизнью. Чернышевского и Ленина с его «теорией отражения» читал не по обязанности, выводы из всего читанного вроде бы сделал для себя весомые, но вот уходит из жизни человек с интереснейшей судьбой, и чувствуешь себя бессильным и виноватым. Горько и скучно становится.

Что более прочего порой поражает нас в человеке? Думаю — несоответствие видимости и сути. Александр Александрович Петров-Агатов был исключительно неинтересным человеком по внешнему виду, то есть по видимости. Ни одной черточки в лице, способной обратить на себя внимание. И глаза. До Чехова и лучше Чехова сказал Гегель, что посредством глаз душа не только видит, но и сама видима в них. В глазах Сан Саныча никакой души вы бы не рассмотрели. Щелочки с ханжеским притвором. Если бы он был актером, то прекрасно сыграл бы Фому Опискина из «Села Степанчикова». Даже не сыграл, изобразил бы. Один-единственный раз Сан Саныч «вышел из образа» — во Владимирской тюрьме надзиратель на прогулке без особого умысла ляпнул какую-то гадость относительно жен заключенных, и тогда Сан Саныч рявкнул на него, да таким природным

басом, что мы, пораженные, переглянулись и отметили: «Эге! Вещь в себе этот наш Сан Саныч!»

Или на этапе в тюрьму в холодном вагоне сидит скрюченный, покачивается и что-то бормочет-брюзжит, почти смежив веки. Молится? Наклоняюсь, прислушиваюсь: «Винтовок жесткие ремни. Кругом огни, огни, огни».

Никогда не переставал я удивляться обманным несоответствиям в природе этого человека. Но самым дивным фактом его биографии конечно же были побеги, которые он совершал из каждого лагеря, куда попадал по воле гулаговского начальства. Эти факты достоверны. Пять побегов за девятнадцать лет отсидки.

Первый — на четвертом году заключения. Обманутое исключительно внешним видом — псевдосмиренностью, псевдовялостью, — лагерное начальство вопреки инструкции использовало его в роли не то рассыльного, не то посыльного, то есть в сопровождении лишь одного конвойного перемещался он между двумя близлежащими зонами. И однажды ушел. Да так, что погоня и следов не увидела. Ушел из-под Тайшета, что в Восточной Сибири. Объявился в Ташкенте, где проживала жена. Подкараулил ее, когда шла с работы, попросил одежды, денег и временного укрытия где-нибудь у знакомых. Жена добежала до ближайшего отделения милиции и сдала его, а свое заявление по этому поводу сопроводила просьбой отправить ее бывшего мужа, а теперь врага народа в такое место, откуда бы он более не смог сбежать.

Начальство к ее просьбе не прислушалось, побег хмыреподобного зэка посчитало случайностью и отправило назад в тайшетские места, хотя, как и положено, проставило на его личной карточке красную полосу, что означало — склонен к побегу, на работах вне зоны не использовать, поставить под оперативный контроль. Такие краснополосые карточки с фотографиями вывешивались на специальном стенде под занавеской на всех проходных лагеря — для пущей бдительности. Сан Саныч получил свою первую добавку к сроку.

Через год он побежал снова, но на этот раз далеко не ушел. Поймали, добавили, перевели в лагерь подальше от железной дороги. Именно оттуда и совершил автор гимна Чечено-Ингушетии свой самый фантастический по исполнению побег.

По прибытии на новое место беглец-рецидивист резко пошел на исправление, улыбался всем начальникам и нарядчикам, принимал активнейшее участие в общественной жизни зо-

ны, писал стихи в «сучью» газетку, организовал драмкружок и приступил к репетиции какой-то тогда популярной пьесы Симонова, где сам исполнял одну из главных ролей. Премьеру приурочили к прибытию нового заместителя начальника по режиму, майора по званию. Такое же воинское звание было у героя пьесы, которого играл Сан Саныч (относительно звания, возможно, я неточен). Прибывшему вовремя начальнику не дали управиться с вещами, зазвали на спектакль, как и не менее трех десятков офицеров ближних лагерей, с женами и тещами. Спектакль, по словам Сан Саныча, прошел из рук вон плохо, что едва ли было замечено, потому что начальник лагеря собственноголосно поздравил коллектив и долго колотил ладошками. После спектакля офицеры толпой двинулись к центральной проходной. Сан Саныч в форме майора какое-то время двигался с ними, выслушивая рекомендации и пожелания, затем распрощался и свернул к другой проходной, которая использовалась исключительно в производственных нуждах. Время уже было позднее и темное. Дежурный солдатик дремал и приближение офицера просмотрел. Сан Саныч устроил ему хамский разгон, что, мол, распустили вас тут! Я вам не Мартынов (бывший «по режиму»)! побегов давно не было?! почему одет не по форме?! — и заявил, что пойдет с обходом по периметру (дощатый тротуар между рядами проволоки, офицеры лагерной службы совершали такие обходы дважды в сутки, возможно, даже чаше). С первой же вышки его окликнул часовой. Обычное: «Стой, кто идет?» Служба охраны, по словам Сан Саныча, уже знала о прибытии нового «по режиму», но никто из тех, кто стоял на постах, еще не мог видеть его. На это и был расчет. Далее последовало тоже обычное: «Товарищ майор, осветите лицо!» И это был прокол. Заранее за большие деньги купленный у бесконвойника фонарик остался в «гримерной». Крикнув, что фонарь перегорел, Сан Саныч приказал часовому позвонить на производственную проходную. Перепуганный разгоном солдатик подтвердил, что по периметру идет новый «по режиму». Не пройдя половины, псевдомайор повернул назад, на проходной сменил гнев на снисхождение, поинтересовался у дежурного насчет службы, как, мол, она идет, получил бодрый ответ и не торопясь пошел к поселку.

Ушел. В бегах пробыл больше года. Кто помогал ему — не рассказывал. Но кто-то же помогал, это несомненно. И это же очень важно, что были и такие, кто ради него рисковали и свободой, и жизнью. Но самое удивительное в этом побеге было то,

что, раздобыв (где? у кого?) документы, беглец имел наглость явиться в редакцию одного республиканского журнала и проработать там нештатным корреспондентом шесть месяцев, опубликовать в журнале не только несколько репортажей, но и подборку собственных стихов под фамилией — Петров! То есть под собственной фамилией.

Как был схвачен, почему-то тоже не рассказывал. Тогда-то и попал на Колыму, куда много раньше рекомендовала упрятать его бывшая супруга. Там бежал еще дважды. Недалеко. Какой-то бывший советский разведчик после долгих просьб согласился взять его с собой. Готовились долго. Но разведчик ушел один. Почему обманул? Сан Саныч покачал головой, ответил нехотя:

— Не поверил мне. Но я не обижаюсь. Я сам никому не верил, всегда бежал один. Он отомстил мне. Каждому воздается по делам его.

Но это была шестая, последняя попытка. Я спросил Сан Саныча, зачем там-то бегал, ведь полная безнадёга! Колыма ж!

— Ну почему безнадёга? — отвечал. — Разведчик не вернулся. И другие случаи бывали. Выжить никаких шансов. Видел, как один доходяга выпускал кровь на горячую плиту, потом поджаренную ел. Правда, везло мне. Собаками ни разу не брали. Били тоже терпимо. Некоторых с первого раза забивали или калечили. Мне вот везло.

В пятьдесят седьмом репрессированные валом повалили на свободу. Борис Слуцкий писал тогда: «И вот объявили ошибкой семнадцать украденных лет». Сан Санычу ничего не объявляли. Он продолжал сидеть за побеги. Амнистия его не коснулась. Официальные инстанции на его запросы-вопли отвечали отказом. Тогда он начал писать известным писателям и поэтам. Просил походатайствовать как за коллегу — ведь бывший член Союза писателей.

Позже я читал ответы. Самым пространным был ответ Твардовского. Слог ответа свидетельствовал о том, что знакомство их в прежней жизни не было шапочным. Интонации слога были почти сердечны. Твардовский подробно объяснял, почему он не может *сейчас* ничего сделать, но обещал не забывать о судьбе коллеги по перу, советовал набраться терпения.

Помню ответ Е. Евтушенко — четыре строчки мелким почерком в самом верху машинописного: «Уважаемый Александр

Александрович! К сожалению, ничем не могу помочь Вам в Вашей беде. Кого спрашивал, все советуют обращаться в официальные инстанции».

Особенно поразило меня письмо некой Малиной, жены какого-то репрессированного поэта (какого, так мне и не удалось установить), разделившей судьбу мужа по той же самой пятьдесят восьмой статье. Освобожденная по амнистии, она отвечала Сан Санычу уже из Москвы.

«Зона, в которой я находилась, — писала Малина, — практически не охранялась. Но никому из нас и в голову не приходило бежать! От кого бежать? От Советской власти, за которую мы боролись и клали жизни? А вы, Александр Александрович, отдавали себе отчет, от кого бежали? Ведь своими побегами вы подтверждали правоту действий сталинистов. Вы тем самым как бы признавали себя виновным. Мы же верили, что справедливость восторжествует, и ждали. Страдали и умирали, но не давали повода нашим палачам. Сегодня вы расплачиваетесь за неверие в партию, в правоту нашего общего и великого дела.

Как бывшая заключенная, я, конечно, сочувствую вам и попробую написать куда-нибудь, но скажу откровенно, ваши рассуждения о вашей невиновности меня покоробили, вы попрежнему не видите разницы между партией и мерзавцами, примазавшимися к ней и нынче партией осужденными. На мой взгляд, Александр Александрович, подлинная ваша трагедия не в том, что вы сидите, когда мы уже на свободе, а в том, что вы ничего не поняли».

Оговорюсь сразу, что письма Малиной не переписывал и излагаю по памяти, но, как мне кажется, очень близко к тексту.

Это письмо поразило меня еще и потому, что годом раньше Ольге Берггольц на ее стихотворение, написанное в подобном же ключе, отвечал сам такими вот не слишком поэтическими строками:

Но ничему не научили
Вас ни этапы, ни тюрьма.
Вы снова дружно воду лили
На ту же мельницу дерьма.
Смотреть на вас нам было больно.
За эту боль совсем не зря,
Не по добру, но добровольно
Пошли мы в ваши лагеря.

* * *

Месяц пробыл я на больничной зоне Дубровлага. Месяц общения с Сан Санычем если внес какие-то коррективы в первое впечатление, то они были несущественны. К Сан Санычу приклеилось слово «пахан»; кажется, Галансков употребил его впервые, и было оно для нас не символом главаря, но синонимом «папаши», ибо произносилось с доброй иронией. Но своими проповедями скорой для всех свободы Сан Саныч стал одиозной фигурой в лагере. К нему шли за советами, за толкованиями снов. Сны — это великий дар людям, лишенным свободы. Они — как вторая жизнь, в которую окунаешься, ныряешь, грезишь. От природы не видящие снов несчастны.

Пришел однажды в палату к Сан Санычу один из тех, что «за войну», рассказал сон: едет он на грузовой машине, битком набитой людьми, так, что сидеть люди не могут и стоят в рост в открытом кузове. И вдруг впереди проволока, а люди прижаты друг к другу — не нагнуться. Но он изловчился и пригнул-таки голову. Смотрит — один в кузове, а машина несется дальше.

Сан Саныч раскрывает глаза-щелки, сияет, гладит по руке рассказчика, говорит ласково:

— Ну, это же элементарно, дорогой вы мой! Проскочил?

— Проскочил, Сан Саныч!

— Это сво-бо-да! Готовьтесь! На свободу нельзя просто так. К ней нужно готовиться.

И уходит счастливый обманутый человек. Такими и подобными обманами, подозревал я тогда, многие и многие сумели выжить, пережить и прожить свои немыслимые сроки в полусне ожиданий.

Тогда же догадывался я, что и Сан Саныч, уверовавший в придуманное видение о скорой свободе, смог пережить новый, свалившийся на него срок — первые годы его — исключительно благодаря способности к самовнушению. Ведь после двадцати лет отсидки он получил еще семь.

В пьесе Юлия Кима «Московские кухни» некто, чьим прототипом был, скорее всего, Петр Якир, ломается на суде, потому что за спиной уже отсиженный червонец:

В глазах моих все помутилось,
Ослабли ноги до колен,
Как понял я, что снова лагерь
И снова не за сучий хрен!

Петрова-Агатова с большим опозданием, но все же освободили. Перед тем он завел роман с женщиной из медперсонала лагеря. Освободившись, прихватил ее с собой, женился. С ним же жила уже взрослая дочь от первого брака. Кинулся Сан Саныч на радостях к своим бывшим коллегам, но принят был весьма прохладно. В «Новом мире» лежала его подборка стихов, как рассказывал он, по протекции Евтушенко, который на прощанье будто бы сказал ему: «Что мог, сделал, но дальше имейте в виду, что здесь каждый сам за себя».

Со слов Сан Саныча, Твардовский был в восторге от его стихотворения «Колымский тракт», которое конечно же не могло быть опубликованным по содержанию — злобный монолог старого зэка в адрес комсомольца-добровольца, приехавшего за «длинным рублем»:

И куда ни поедешь, куда ни пойдешь,
Всюду встретишь ты нас!
Всюду встретишь ты нож!

Потерпев неудачу в московских изданиях, Сан Саныч кинулся в Питер, и там ему повезло больше. Опубликовал в «Неве» повесть, стихи из тех, что менее крамольны. Остальные отдал на сохранение знакомой женщине, церковной старосте одного из питерских храмов. Та отнесла стихи в КГБ и на суде потом свидетельствовала об антисоветских взглядах автора. На новом своем суде Сан Саныч держался бойко, и дочка кричала ему из зала: «Молодец, папка!»

Вот так и оказался в наших лагерях Александр Александрович Петров-Агатов, автор гимна Чечено-Ингушетии и будто бы автор знаменитой песни военных времен «Темная ночь».

Последнему факту я до сих пор не встретил ни подтверждения, ни опровержения. Однажды по телевизору показали портреты авторов слов и музыки. Действительно, Агатов. Фото давнее, вроде бы похож. Но перед фамилией стоял инициал Б. Борис?

Да что говорить, захоти — давно решил бы я сию загадку. Но отчего-то не хотел и упрямо не хочу сейчас. Дорог миф? Наверное. Во Владимирской тюрьме в камеру однажды с обходом заглянул какой-то полковник из управления ГУЛАГа и, демонстрируя гулаговский юмор, спросил Сан Саныча, чего ж, дескать, он не прихватил с собой Богословского, то есть автора музыки знаменитой песни. Вроде бы подтверждение.

В лагерях же был популярен романс на слова Сан Саныча:

Я устал, мое застыло сердце.
За окном беснуется пурга.
Дайте мне немножечко согреться
У огня чужого очага.
Я ничем покоя не нарушу,
Не спугну семейной тишины.
Дайте только отогреть мне душу,
Вспомнить годы рухнувшей весны.
У меня на этом белом свете
Тоже были и жена и сын.
Всех нас расстреляли на рассвете.
Я воскрес. Теперь брожу один.
И прошу вас, если чье-то сердце
К вам случайно занесет пурга,
Дайте ему чуточку согреться
У огня чужого очага.

* * *

Заканчивался тысяча девятьсот семидесятый, тот самый год, в котором, согласно пророчеству Сан Саныча, мы все должны были обрести свободу. На этапе во Владимирскую тюрьму он уже не вспоминал, а мы не напоминали о его надеждах. Тюрьму, между прочим, он «заработал» за отправку на волю своих писаний о всех нас, и в особенности о членах Социал-христианского союза. Материалы эти в итоге ушли на Запад и были опубликованы в книге Джона Данлопа. «Заложил» Сан Саныча, кстати, один из тех, о ком он тоже писал в свойственной ему восторженной манере.

В его текстах каждый из нас фигурировал в роли героя или великого таланта — преувеличения был столь кричащи, что мы втайне надеялись на пропажу его писаний, что тоже случалось. И когда в семьдесят пятом в руки мне попала книга Данлопа с отдельной главой в ней — «Русский поэт Леонид Бородин», — где Сан Саныч зачисляет меня в один ряд с Пушкиным, Тютчевым, Блоком и Гумилевым, цитируя при этом слабейшие из слабых моих стихов, к тому же перевирая строки, — что и говорить, был далек от чувства благодарности за его внимание ко мне. Патетически взвинченные суждения он еще сопровождал своими стихами образца: «Идет Галансков и идет Бородин, Вагин идет и Платонов! И Русь на простор океанских глубин выходит из затхлых затонов!»

И все же даже мысли недоброй я не позволил себе о нем, обладающем дивной способностью влюбляться в людей и творить добро им на благо, хотя бы до поры разочарования.

В пересылочной тюрьме на Красной Пресне, в последний день пребывания там, дал мне Сан Саныч один немыслимый совет, за который после я благодарил его не раз. Зная, какая голодуха ожидает нас во Владимирской тюрьме, посоветовал он каждый день оставлять кусочек от хлебной пайки и отдавать кому-нибудь. Не от случая к случаю, а «ежеразно», с первого дня до последнего. Не скажу, что принял его совет всерьез, бзиком попахивала рекомендация. Но когда через какое-то время ощущение голода начало унижать мой гордый дух, я вспомнил о фантастическом совете Сан Саныча. Это совпало с переводом в нашу камеру Анатолия Родыгина — Сайка, ему-то, изголодавшемуся на шестимесячном строгаче, я и отдал первый свой «костыль» — привесок к пайке.

Сам же Сан Саныч держал пост невообразимой строгости. При нашем-то двухмесячном «пониженном питании» он ничего не ел по средам и пятницам, а во все остальные дни по меньшей мере на треть пайка делился с другими. Предрождественский «полный пост» он объявил за восемь дней до Рождества — пил то, что у нас называлось чаем, и съедал крохотный кусочек хлебной пайки. К кашам и супам не притрагивался. После утреннего «разговления» кукурузной кашей седьмого января на прогулке закачался, вдохнув свежего воздуха, и осел по стенке прогулочного дворика, при этом не побледнев, а, напротив, побагровев лицом. Мы испугались, завопили о враче, но он через пару минут оклемался и затопал по дворику.

Вообще же был он на редкость здоровый мужик. На прогулку зимой выходил без шапки, сверкая на зимнем солнце красной лысиной, в любой мороз раздевался по пояс, обтирался снегом, одевался и спокойно отгуливал отпущенное на прогулку время — и никаких разминок или зарядок.

В тот день, когда его переводили из нашей камеры в другую, с каждым из нас он прощался отдельно, отводя к окну. К окну второй ярус моей койки был ближе прочих. Я слышал — помимо напутствий каждому он прочел свой стих о нем. В Сайкином варианте фигурировали штурмующее море, отважный капитан на мостике за штурвалом, боготворящая капитана команда, лихо исполняющая его приказы, и горизонт, за которым неведомая, но прекрасная страна. Мне Сан Саныч велел верить, что я замечательный русский поэт, которому суждена мировая слава.

Но в первую очередь — я солдат России. Его стих, посвященный мне, начинался так: «Подтянутый и стройный, как лезгин, пронизанный метелями свободы, мне кажется — поручик Бородин пришел из восемнадцатого года»! Я был не «подтянутый», я был худой, и моя худоба едва не треснула в его крепчайших объятиях.

* * *

Следующий раз я сошелся в одной камере с Сан Санычем за несколько месяцев до своего освобождения. Была радость встречи, и тюремное застолье, и выспренние монологи, и пылкие споры, и чтение стихов. Но чего-то прежнего не было. Не было прежнего Сан Саныча. Он более не вышагивал по камере, разглагольствуя на темы свободы духа и рабства материи, казуальности исторических процессов и бесказуальности духовного подвига. Он вообще больше не «держал» камеру, не был ее душой, как ранее, и в камере было холодней обычного не только оттого, что зима семьдесят второго выдалась морозной.

И ранее замечались у него симптомы одной весьма распространенной зэковской «болезни», теперь они выявились отчетливо и заметно сказывались на общем состоянии. Суть этой «болезни» — панический страх перед грозящей нищетой после освобождения.

Кем мы выходили из лагерей и тюрем? Никем! В большинстве своем гуманитарии — о работе по специальности мы должны были забыть навсегда. Список городов, в которых нам запрещалось жить, независимо от прежних мест проживания, был так велик, что лучше б его и не прочитывать. В сущности, из малой строгой зоны нас просто переводили в большую и менее строгую. Многие, подчеркиваю, очень многие ни о каком продолжении политических гоношений не помышляли и вынашивали планы независимого от структуры существования, что, безусловно, было утопией. Кто-то за время отсидки потерял здоровье, кого-то бросила жена, у кого-то умерли родители — совсем как в песенке: «А дома каково? А дома никого!»

Немало было таких, кто в заключении обнаружил в себе творческие задатки и, зачастую преувеличивая степень их качества, заранее отчаивался, понимая невозможность реализации.

Проще говоря, люди «заболевали» заботой добывания денег, «заболевали» часто задолго до освобождения, а поскольку деньги и в лагере имели хождение, хотя и весьма ограниченное,

то кое-кто «прокалывался» в денежных взаимоотношениях, то есть обнаруживал элементарную жадность, а то и хищность. За Сан Санычем числился один такой неприятный эпизод, приведший к серьезному конфликту с другим зэком, уже полностью «задвинутом» на накопительстве. Но то был эпизод.

Объективности ради скажу, что и у меня в этом смысле была своя проблема — мои родители. Выйдя на учительские пенсии, они оказались практически без жилья и поддерживали свое скудное существование распродажей, по моему настойчивому повелению, моей библиотеки. Доставивший им своей судьбой столько хлопот, я тоже вынашивал фантасмагорические планы щедрого их обеспечения. В книге академика Обручева прочитал, что случилось ему перед Первой мировой по заданию двух иркутских купцов исследовать участок на байкальском побережье на предмет его золотоносности. Заключение Обручев дал положительное, но участок так и остался неосвоенным. Это место я хорошо знал, и с кем-то из сокамерников, уже и не помню с кем, мы много и всерьез обсуждали проблему минимального первоначального капитала, необходимого для осуществления золотодобывочной авантюры.

Зэковские грезы — это тоже особая тема. Буковский прекрасно описал, как он «строил замок». Свое будущее он видел на Западе — потому строил замок. Меня Запад не привлекал, и я рыл землю. Зарывался в нее. Укрыться, спрятаться от вездесущей структуры — это сладостный предсонный бред зэка в преддверии освобождения.

«Денежная болезнь» зэка — благоприятнейшая почва для «работы» с ним. Сан Саныча постоянно вызывали на собеседования, длившиеся час, два, а то и три. Возвратясь в камеру, он подолгу просиживал в бездействии, лишь для видимости держа книгу на коленях. По неписаным правилам подобные «беседы» подлежали пересказу, Сан Саныч отмалчивался. Мы не настаивали. Иногда он вдруг сообщал, что на Западе у него уже уйма чего опубликовано, что на его счету сорок тысяч долларов и пятьдесят тысяч марок, что, освободившись, он всех нас разыщет и озолотит. Поскольку из сокамерников я был первым на очереди к свободе, Сан Саныч пообещал дать мне рекомендательное письмо к Твардовскому, который немедля отвалит мне пару тысяч для первого обустройства. Я тепло благодарил Сан Саныча, хотя прекрасно знал цену отзывчивости наших «культурных» официалов — даже подыхающему с голоду мне не пришла бы в голову идея обратиться к кому-нибудь из них.

«Работа» с Сан Санычем давала свои плоды. Стал раздражительным. По редким его репликам мы догадывались, в каком направлении идет с ним работа в чекистском кабинете тюрьмы: «Вы ведь поэт, талантливый человек, ваше место в ряду ведущих работников советской культуры, что общего у вас с этими мелкими честолюбцами и бездарностями».

Мы тоже, почти каждый, «проходили» это, но пресекали на корню.

Однажды без всякого повода объявил, что хочет прочитать свое новое стихотворение. Общий смысл стиха был таков: сами не живем и другим жизнь портим. Последние строки:

В соблазняющих бесов не верьте!
Порочны людские замесы.
Мы сами и есть эти черти.
Мы сами и есть эти бесы.

Кто-то уже изготовился резко возразить, но я почувствовал, что сейчас никак нельзя допустить спора, и торопливо согласился с Сан Санычем, что так, мол, оно и есть. Что нелегальщина, подпольщина неизбежно подталкивает к «бесовству», что Достоевский это убедительно продемонстрировал в романе. Что поле битвы — сердце человека, где Бог и диавол в постоянном сражении друг с другом. Короче — подмазал Сан Санычу и видел — недоволен, изготовленный к спору, жаждет отыскать оправдания собственной ломке, но нам ли его судить, тянувшего лямку заключения уже двадцать какой-то год, и уж тем более — не мне, на суде признавшему себя виновным. Это лагерь научил меня кое-чему. К тому же такое духовное терзание прочитывалось в его в общем-то невыразительных глазах, что даже не верилось, действительно ли этот же самый человек пару лет назад учил меня, зэка-новобранца:

— Имейте в виду, дорогой Леонид, вас никто не собирается здесь перевоспитывать. Если бы они могли вас перевоспитать, они бы вас не сажали. Вас будут ссучивать. Нет им никакого дела до ваших убеждений. Им важны ваши поступки. Они не будут ломать хребет вашей души. Моральный труп им не нужен. Пусть он только хрустнет слегка, хребетик ваш, чтоб вы могли потом долго и проворно ползать в назидание всем желающим летать. И философию ползания они вам подскажут, если сами не додумаетесь. Они всю страну ссучили и заставили играть по их правилам. А ссученный народ — уже не народ. Потому они и

обречены на скорое поражение. И не от вас будет это поражение. И не от народа. Они сами провалятся в тартарары, а народ будет расхлебывать ихнюю кашу, но не расхлебает без Божьей помощи. Нет! Не расхлебает!

Присутствующий при этом разговоре упертый позитивист Юра Галансков возразил тогда, что, мол, не было в истории случая, когда бы власть сама по себе рассосалась. Чирей и тот вскрывают, иначе куда гной денется.

Сан Саныч, помнится, тогда лукаво подмигнул и сказал:

— Знаете, Юрочка, чего вы не понимаете? Что партия и народ уже давно едины. Это единственный правдивый лозунг за всю историю коммунистического правления.

Наверное, к счастью, меня скоро перевели из этой камеры, а через пару месяцев передо мной раскрылись ворота Владимирской тюрьмы, чтобы пропустить в Большую зону, где отпущено было мне судьбой погулять целых девять лет, прежде чем я снова, и по замыслу органов теперь уже навсегда, был заперт в пределах малой зоны.

С Сан Санычем же все оказалось не так-то просто. Недодавили его на этот раз, потому что, отсидевший положенное в тюрьме, был он отправлен снова в лагерь, где день в день «оттянул» свой «семерик». Из зоны доходили до меня грустные вести. Со всеми, кого боготворил, о ком писал восторженные стихи и статьи, — со всеми переругался. То одного, то другого объявлял стукачом и агентом, ему, естественно, платили тем же. Я не мог представить себе Сан Саныча в таком качестве и был рад, что не присутствую.

В семьдесят пятом в поисках трудоустройства оказались мы с женой в прибайкальской тайге, откуда нас вскорости «выдавили», чтобы не терять из виду. В Иркутске на бирже жене повезло устроиться комендантом общежития медучилища и на полставки уборщицей, и я пристроился там же на ролях кочегара, дворника и конюха. Прописывая студентов, жена и мой «замаранный» паспорт подсунула в общей пачке паспортистке, которая, не вникая, проштамповала и его. На какое-то время я исчез из поля зрения вездесущих органов. И вдруг зимой семьдесят шестого объявляется в моей «берлоге» Сан Саныч собственной персоной.

Сказал, что приехал навестить мать, которая живет где-то под Иркутском, в Москве слышал, что я тоже здесь, через паспортный стол разыскал. Безусловно, все могло так и быть, и ни-

каких дурных мыслей внезапное появление Сан Саныча у меня не вызвало. Встревожило другое. Скудное застолье сопровождалось тостами и речами, как положено. Но Сан Саныч, сократив срок пустословия, быстро перешел к делу, сообщив мне, что в Москве объявился Фонд помощи политзаключенным, основанный Солженицыным и переданный в полное и бесконтрольное распоряжение Александру Гинзбургу, который «своим» дает, а «несвоим» не дает или дает меньше, что это непорядок, а деньги там большие, что надо потребовать, чтоб Солженицын передал фонд в более достойные руки, что он, Сан Саныч, кое с кем уже переговорил в Москве на эту тему.

Лихорадочный блеск глаз-щелочек свидетельствовал, что зэковская болезнь прогрессировала в организме этого по-прежнему дорогого мне человека. Он был так же нищ, как и я. Но я был сравнительно молод, полон оптимизма и иллюзий, деньги — это было самое последнее, что могло волновать меня в то время. Сан Саныч это почувствовал и не без досады сменил тему. Мы читали стихи, вспоминали былое и расстались вполне сердечно.

Вскоре в «Литературке» появилась статья Сан Саныча, где он раскаивался в своей антисоветской деятельности, клеймил Фонд Солженицына, сообщал, что Александр Гинзбург беспробудно пропивает Фонд и что даже в пьяном виде вывалился однажды с пятого или шестого этажа своей квартиры.

Еще через какое-то время мне попал в руки журнал, выпускаемый КГБ для русских за границей, где я обнаружил подборку стихов Сан Саныча и среди прочего тот самый романс, что мы распевали в лагерях. Только не было в этом романсе строфы про расстрелянных и воскресших. Осталось хныканье про беспредметную душевную тоску.

Из поля моего зрения Сан Саныч исчез навсегда. Но мир тесен и слой тонок. Пошел слух, что у Сан Саныча неприятности с большой суммой денег, которую будто бы он взял у баптистов на какие-то гуманитарные цели. Потом другой слух, что попался он с валютой. И, наконец, последнее — что Сан Саныч снова сидит. И на этот раз «по уголовке». Освободившись со второго срока в восемьдесят седьмом, я узнал, что Сан Саныч умер в лагере где-то на одном из самых северных островов архипелага ГУЛАГа.

* * *

О чем, собственно, мой рассказ? О хороших или плохих людях? Нет! О поломанных судьбах. Не сломавшихся, заметьте, но

о поломанных! Вовсе не имею намерения подчеркивать — вот, мол, что вытворяла с людьми проклятая советская власть. Безусловно, вытворяла, и, наверное, более прочих. Но в иные времена нешто не ломались судьбы людские? Все историческое поле утыкано обломками человеческих судеб, память о которых бесследно растворилась во времени. Досада на это закономерное беспамятство скорее всего и подтолкнула меня на сии записки.

Что до Сан Саныча, как бы ни увяз он во всяких денежных делах, своего человека органы не сдали бы. Значит, полное взаимопонимание так и не состоялось. Гнулся человек, веревочкой завивался, да, видать, без узелка. Да и чувствовалось всегда в нем нечто, невозможное для предусмотрения.

Знал я одного советского поэта, вполне лояльного к власти, ни в чем крамольном не замеченного, большими тиражами издававшегося и материально упакованного вполне. Но вот за всю лояльно прожитую жизнь его ни разу не выпустили за рубеж до самой перестроечной поры. Записные бунтари и крамольники по всему миру катались и никакой тревоги у органов не вызывали. А этого даже в Монголию не пускали. Знать, были в известном Пятом управлении незаурядные психологи, способные если не просчитать, то предугадать варианты поведения того или иного гастролера. И самыми опасными, видимо, считались не еретики, логика ереси которых легко укладывалась в схему, а те, кто по духовной природе был антисхематичен и подвержен стихийности в самопроявлении. Александр Александрович Петров-Агатов, думается, был как раз из этой категории.

* * *

Их уже нет, о ком рассказал и о ком не рассказал. Их нет. И неисповедима та справедливость, по которой ты еще живешь на земле, а кто-то, чьи сроки не вышли, уже не живут.

Плохо ли, хорошо ли, но есть у меня семья, родные и близкие мне люди. Есть друзья и даже поклонники. Но однажды выстроятся в ряд лица ушедших, рядом с кем самая бурная часть жизни прожита, и не справиться с чувством сиротства и обиды. И вовсе не потому, что нет рядом этих ушедших — это как раз совсем не обязательно, а потому, что их нет вообще нигде, кроме, как кажется, только твоей памяти — а ведь это такая короткая ниточка. И я всего лишь хотел чуть-чуть удлинить ее.

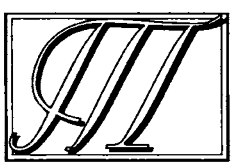
Москва,
18 апреля 2002 года

Церемония вручения Литературной премии
Александра Солженицына 2002 года
и приём по этому случаю состоялись
18 апреля в московском Доме Русского Зарубежья.
Слово от имени Жюри,
присудившего данную Премию
Леониду Бородину,
произнёс критик
Павел Валерьевич Басинский.

С ответным литературным словом на церемонии
выступил
Леонид Иванович Бородин.

Павел Басинский

Четвёртая правда Леонида Бородина

ак уж случилось, что биография Леонида Ивановича Бородина более широко известна, чем его художественное творчество.

Так случилось не потому, что Бородин как общественный деятель, в прошлом активный диссидент и правозащитник, заплативший за свою непримиримую позицию годами лагерей, отказавшийся в своё время добровольно покинуть Россию и выбравший вместо этого новый десятилетний срок, больше и значительнее Бородина-писателя, художника. И хотя есть люди, которые считают именно так, это очевидная несправедливость. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы чествовали Бородина-писателя, а не Бородина-диссидента. Полагаю (догадываюсь), что и Леонид Иванович предпочёл бы это. Ибо всякое подлинное творчество всегда шире одной, даже очень интересной человеческой судьбы.

Леонид Бородин — один из самых выдающихся русских прозаиков второй половины века минувшего и начала века нынешнего. Один из последних русских романтиков и вместе с тем мастеров социально-психологической прозы, то есть той прозы, в которой именно русское Слово достигло высочайших вершин Искусства.

Бородин написал не много, но при этом сумел охватить самые разные пласты российской жизни, и современной, и исторической. Кто он? Городской писатель, «деревенщик», певец природы или историк? И то, и другое, и третье. Но самое главное — это потрясающая по охвату галерея живых человеческих лиц, которые, согласно Константину Леонтьеву, и являются самым ценным достоянием нации, её подлинным богатством. «Будут лица, будут и произведения, и деятельность всякого рода», — писал философ в письме к Н. Н. Страхову. Творчество

Бородина ясно свидетельствует, что, по крайней мере, лица в России ещё сохранились.

Но здесь же заключена и главная загадка творчества Леонида Бородина.

Любопытно, что Бородин, проживший очень напряжённую жизнь диссидента и правозащитника и, следовательно, имевший свой особый роман с Властью, практически отказался излить этот роман на бумаге. Только одна его вещь, повесть «Правила игры», непосредственно посвящена истории заключения. Но и она не частый гость в «избранных» писателя. В остальных же, главных его произведениях («Расставание», «Третья правда», «Женщина в море», «Царица смуты» другие), арест, следствие, отсидка показаны мельком и как будто неохотно. Словно незримые ножницы вырезают из «Третьей правды» всю лагерную историю Ивана Рябинина. Пятьдесят лет как корова языком слизала! Будто не было ничего! Десятки страниц посвящены таежным приключениям, истории дружбы-вражды молодых Рябинина и Селиванова, а про лагеря, в которых сформировалась душа Рябинина, молчок!

Или вот как рассказывает главный персонаж «Женщины в море» свою поездку в тюремном вагоне: «...в годы застоя рек я не переплывал. Я, в основном, переезжал их в вагонах без окон, когда по изменившемуся эху колёсного перестука догадываешься, что поезд идёт по мосту, и пытаешься представить... впрочем, речь не об этом...»

Вот так! Речь не об этом!

Поразителен сам угол взгляда и направление слуха. Что (и кто) в вагоне — это не интересно, включая и самого героя-автора с его, наверное, не самыми весёлыми мыслями. Интересно, что снаружи?

Парадокс Бородина-романтика (а в том, что он именно романтик, кажется, никто из критиков не сомневается) заключается в том, что он крайне придирчиво, порой несправедливо жёстко относится к собственной судьбе, к собственным внутренним переживаниям и всегда выступает адвокатом других людей, мучительно, затрачивая порой неоправданно громадный запас внутренних интеллектуальных и — что самое важное — нравственных сил, старается понять и реабилитировать человека, который, по логике судьбы самого Бородина, должен быть ему либо неинтересен, либо антипатичен.

Вот факт, который я долго не мог себе объяснить. Середина 80-х годов. Начало «перестройки». Бородина досрочно осво-

бождают из заключения, при этом даже не оправдывают, а только амнистируют. И в это же время начинают шататься насиженные позиции тех, кто Бородина, собственно, и посадил, то есть его, грубо говоря, палачей. И кто же в скором времени становится объектом его пристального художественного внимания? О ком его думы? О некоем, хотя и вымышленном (но реально угадываемом в собирательном смысле), Павле Дмитриевиче Климентьеве, цэковском бонзе, который, видите ли, не согласился с духом перемен и ушёл в отставку. Это его, а не себя, не своих, наконец, товарищей, пытается постичь Бородин, ему посвящает своё перо, свой мозг, свои переживания. И перед нами вырастает удивительный по психологической глубине человеческий образ, в котором символически отразилась недавняя эпоха.

Самопожертвование? Но кому? И — за что?

Андриан Селиванов в «Третьей правде». Да разве этот хитрющий мужик, всю жизнь дуривший не только властям, но и односельчанам головы, «убиец», на счету которого много погубленных людей, жмот, работавший только на себя, должен был стать любимым героем Бородина? А ведь стал! Не Рябинин, отсидевший полжизни и пришедший к вере, но именно Селиванов. Вот он бредёт, покряхтывая и, как всегда, придуриваясь, к дому вернувшегося Рябинина. И с какой же художественной тщательностью изображает его автор, как старательно и художественно безупречно он затягивает момент его встречи с Иваном, всматриваясь и всматриваясь в его согбенную фигурку. И наоборот, в изображении Рябинина есть что-то неуверенное, скоротечное. Набросок, а не человек.

Не потому ли, что именно в Андриане Селиванове увидел Бородин образ той не разгаданной ни одним из «звездачей» и ни одним из белогвардейцев народной правды, которая позволила народу сохранить свою душу и лицо, не растранжирить их ни на одну из «идей» и не дать их погубить сторонним от народной правды людям? Вот и уголовникам не удаётся убить Селиванова:

«Но разве ж это смерть?!

— Во жизнь собачья! — сказал он громко. — Помереть и то по своей воле не дадено...

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой рану и поспешно заковылял к вокзалу».

Впрочем, и уголовников не обошёл Бородин своим художественным вниманием. И здесь он остался писателем не то что-

бы бесстрастным или беспристрастным, но щедрым на человеческое понимание другого мира. Что интересного он находит в Людмиле, дочери крупной спекулянтки, предавшей собственную мать и сбежавшей с любовником в Турцию? Но и в Людмиле есть какая-то загадка, связанная с её беспредельной любовью к морю. Автор-герой не знает моря. Он хорошо знает реки, которые текут в строго заданном направлении. Столкнувшись со стихийной, «морской» природой Людмилы, автор как истинный художник застывает в изумлении перед непознанным и чуть ли не растворяется в нём.

Откуда это в Бородине? Где источник этого загадочного сердечного любопытства?

Некоторый ответ подсказывает его новелла «Встреча». В немецком плену в первый же месяц войны сталкиваются два человека. Один — бывший учитель музыки, отсидевший в советском концлагере. Второй — кадровый офицер, капитан, в котором учитель узнаёт лагерного начальника, нанёсшего ему в своё время чудовищное, несмываемое оскорбление. Случайно оба оказались в побеге. Ненависть к обидчику столь велика, что учитель избивает капитана и уходит один. Но пути их, преследуемых фашистами, постоянно пересекаются. Наконец их ловят и ведут на расстрел.

«Поддерживая Самарина, Козлов повернулся к нему лицом и с больной улыбкой сказал:

— Прощаться будем. Может, перед смертью скажешь, за что морду бил?

Самарин взглянул ему в лицо, хотел ответить словами, которые придумал заранее. Эти слова должны были быть словами прощения. Он почти вплотную приблизился к Козлову и вдруг увидел, что у того нет фиксы. Он чудовищно ошибся.

— Боже мой! — вскрикнул Самарин».

Он просто обознался. У лагерного капитана был металлический зуб («фикса»), а у этого нет. Но дело не в «фиксе», конечно. Дело в том, что в ненависти своей он не распознал хорошего человека. Все силы душевного узнавания поглотили обида и ненависть.

Вот чего больше всего на свете страшится Бородин. Не распознать человека. Не постичь его сокровенной внутренней правды, которая всегда «третья», потому что её не выбирают из двух, потому что её вообще не выбирают, как не выбирал Анд-

риан Селиванов своей судьбы, странным образом ставшей судьбой «при Рябинине», при его доме, его жене и дочери.

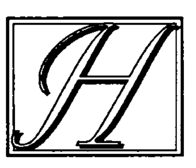
Своя «третья правда» есть у Климентьева. Она малоубедительна в глобальном смысле, но понятна в смысле личном, человеческом. Это «правда» простого деревенского пацана, однажды увидавшего мальчишку на коне и в военной форме (через деревню проходил отряд колчаковцев). «Случилось так, что остановился он напротив Пашки и, опустив поводья, смотрел на него с высоты седла печальным взглядом. Пашка бросил на землю ворох травы, что тащил для телёнка, и исподлобья, снизу вверх уставился на чистенького солдатика-мальчугана, на его погоны, лампасы, на револьвер и на руку, беленькую и тоненькую... Но особенно поразили Пашку его глаза. Были они детскими и недетскими одновременно. И пряталось в них что-то такое, отчего Пашка почувствовал обиду и даже стыд, хотя ничего обидного во взгляде мальчишки не было. Но стояла за ним другая жизнь, непонятная и недоступная, и вся она, эта другая жизнь, словно подсматривала и обижала его этим подсматриванием. В грязной рубахе, в грязных штанах, босой, стоял он, опустив руки, нахмурившись и не отводя взгляда. Взгляд отвёл тот... Возможно, именно с того дня, не сразу, разумеется, — постепенно стал отдаляться он от деревенской жизни и к девятнадцати годам сознательно возненавидел деревню, весь быт её лапотный...»

Кто бы мог подумать, что встреча с белогвардейским мальчиком стала первым шагом для перехода Пашки Климентьева в стан «звездачей», предательства родной деревни и народной жизни в целом?

А у главной героини «Женщины в море», Люды, это «правда» молодости и красоты. Она права, какая есть, и автору нечего против этого возразить.

Но есть и «четвёртая правда», правда художника. Правда доверия к Божьему миру, который создан не нами и не нами может быть до конца постигнут. Это «правда» переживания «чуда и печали». Чудо — это мир, это люди, какие есть. Печаль же от несоответствия разума человеческого этому неслыханному чуду. И здесь источник горького романтизма Леонида Бородина.

Леонид Бородин


а определённом возрастном рубеже человек, подводя ему видимые итоги своей жизни, фиксирует в сознании, что в его жизни было необходимым, неизбежным, всей судьбой удостоверенным, а что — случайным, лишь привнесённым частными обстоятельствами вопреки всему плану жизни, каковой, конечно же, опознается человеком в полной мере тоже только ретроспективно.

И в этой связи должен признаться, что ещё до совсем недавнего времени единственно неизбежной, продиктованной всей совокупностью обстоятельств мне виделась та форма социальной активности, в которой прошла большая часть жизни. Эта форма обеспечила главнейшую мою удачу, которая равнозначна счастью в самом великом смысле: мне повезло прожить жизнь в состоянии максимальной духовной свободы, каковая вообще возможна в обществе.

В этом отношении не оставила меня удача и теперь, предоставив журнальные страницы, содержание которых не подвластно ни экономической нужде, ни политической конъюнктуре.

Но именно по этой самой причине, по причине удачливости судьбы, долгое время своё писательство я воспринимал как нечто случайное, необязательное...

Многие годы я зарабатывал на хлеб трудом, далёким от профессии, и писательство объявилось и утвердилось как отдых, как способ душевного выживания в ситуациях, способных пожирать душевный оптимизм, данный всякому человеку от рождения.

Хорошо писалось в камере, когда было можно, в кочегарках под рёв моторов, в таёжном зимовье под стук дождя по рубероидной крыше. И когда в конце восьмидесятых личные обстоятельства изменились к лучшему, решил, что всё... Нет мотива-

ции, нет действия. Скоро, однако, выяснилось, что не так... Что — привычка. Что не писать невозможно. И когда уже к пятидесяти годам получил, наконец, читателя, когда узнал, что кому-то нравится то, что делаю, тогда только началась осторожная переоценка того, что считал всего лишь случайным увлечением. К сожалению, поздно. Потому так и не дорос до солидного многопланового жанра — романа, каковой всегда почитал высшим продуктом (если так можно сказать) литературного труда.

Но как раз благодаря «писательству» я и стал сотрудником литературного журнала. Бесконечно благодарен Владимиру Крупину, предложившему мне эту работу именно в тот момент, когда я с удручающей ясностью осознал, что в идущей вразнос смуте мне места нет...

Ещё в восемьдесят четвёртом году, в лагере особого режима, вдруг, без всякой видимой причины, возник у меня острейший и даже какой-то нервный интерес к событиям начала семнадцатого века. В Москве жена, обложившись книгами, переписывала по моей просьбе источники, документы времён русской Смуты. Еженедельно я получал по два-три толстущих письма и буквально заглатывал их содержание. Первую главу будущей повести о Марине Мнишек удалось отправить письмом. Но тогда дальше первой главы дело не пошло. Через шесть лет, однажды достав и перечитав её, я вдруг сел за пишущую машинку. Новая русская смута была уже в полном разгаре, и было едва ли обоснованное ощущение, что я всё о ней знаю. Кроме сроков. Кроме результата.

Как грибы-полупоганки росли и множились политические партии и движения; самозванцы-оборотни, как когда-то казачьи банды, хищно рвали на куски страну; краснобаи-демагоги безжалостно забалтывали насущные проблемы... И случайно занырнув в журнальное дело, я вдруг обнаружил для себя точку опоры. Внутри литературного процесса, каковой, как и всё на одной шестой, корчился в судорогах распада, расслоения, перерождения, зримым и ощутимым при всём том обнаружился фактор сопротивления распаду.

Первое время, где-то до середины девяностых, это сопротивление походило скорее на некий консервативный осадок. Некоторая часть литераторов упрямо отказывалась замечать и отражать в своём творчестве факты языковой смуты. Но позднее, когда, не имея никаких иллюзий относительно престиж-

ности профессии и материального благополучия, в литературу пошла молодёжь, духовно формировавшаяся уже во времена смуты, когда в значительном числе своём она продемонстрировала принципиальное игнорирование жаргона в языке, похабства и пошлости в сюжете, когда она в той или иной форме признала своё ученичество у великой русской литературы, КАК тогда было не вспомнить в своё время измочаленное и будто бы даже приевшееся суждение классика о том самом — великом и могучем, который не может быть дан НЕ великому народу. Но только великому. То есть прежде прочего способному возрождаться, восставать и восстанавливать ту систему ценностей, которая и обеспечивает ему бытие в истории.

Сегодня, куда ни глянь, всё везде плохо. Но, оглядываясь и вглядываясь, положим, в тот же семнадцатый век, легко предположить озвучивание кем-то, удрученным ситуацией, известных строк:

С Россией кончено! На последях...

И так далее.

И восемьдесят лет назад, когда эти строки прозвучали, они отражали реальную, видимую и ощутимую объективность. Куда уж реальнее, когда брат на брата, аки звери...

Но ведь и сегодня в какой-нибудь литературно неинформированной аудитории прочитай я эти строки, как будто мной только что написанные, никто б не усомнился...

Не нужно ли кому земли, республик и свобод,
Гражданских прав...

Ну как же! Только и слышим: «Нужно! Нужно! Много и немедленно!»

Людям моего поколения в общем-то равно легко быть и пессимистами и оптимистами, поскольку исхода нам не увидеть. Но мы можем оказаться виновными перед теми поколениями, которым жить после нас, потому как, сколь бы ни были мы мало слышимы, совершенно исключать наше влияние на общество нельзя. Отсюда — мы не можем позволить себе роскошь поддаваться чувству безысходности.

Факт и вера — вот две главных мотивации активности человека. Фактам человек склонен подчиняться, факты имеют тен-

денцию порабощать сознание. Вера же требует напряжения, потому что очень часто она вопреки...

Но как сохранить в душе позитивную пропорцию факта и веры? Игнорирование факта чревато. Утрата веры губительна.

Много лет назад, задолго до нынешних событий, в труднейшие для меня дни таким образом сформулировал я своеобразную инструкцию для контроля над самосознанием.

Первое: когда факты, провоцирующие отчаяние, обступают стеной, когда за ней, за этой стеной, блекнут и исчезают символы веры, тогда следует вспомнить и уже не забывать, что факты есть всего лишь объект избирательной способности человека, а способность эта отнюдь не самодостаточна и вовсе не первична относительно духовного состояния человека.

И второе: когда окружающая тебя так называемая «объективность» вырывает почву из-под ног и опускает небо до уровня потолка, когда под воздействием этой объективности начинаешь чувствовать себя бессильной и бесполезной щепкой в море, тогда...

Тогда надо находить в себе мужество быть необъективным!

Знаю. Проверял. Действует! Ибо необъективно в человеческой душе самое главное чувство, данное ему Богом, — любовь. Любовь к матери, к другу, к женщине, к Родине, наконец. И только сквозь призму этого богоданного чувства способны открываться человеку невидимые до того перспективы Добра и Правды в богочеловеческом значении этих слов.

ОБ АВТОРЕ

Леонид Иванович Бородин родился в 1938 году в Иркутске. Заочно окончил педагогический институт в Улан-Удэ в 1962-м. Преподавал в школах-интернатах на Байкале и в Ленинградской области. В 1965-м сблизился с тайной политической организацией «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов» (ВСХСОН), за что в 1967-м был приговорен к 6 годам лагерей строгого режима.

В заключении написал первые литературные произведения: «Повесть странного времени» (1969), «Встреча» (1970). После освобождения в 1973 году учительствовать не дали; работал на железной дороге под Москвой, на санэпидемстанции во Владимирской области — и продолжал писать: «Гологор» (1974), «Третья правда» (1979), «Год чуда и печали» (1981), «Расставание» (1984). В конце 70-х книги Л. Бородина начали выходить на Западе — по-русски и в переводах на европейские языки.

В 1982 году вновь арестован и осужден на 10 лет лишения свободы как «не вставший на путь исправления». Освобожден на волне перестройки в 1987 году. С 1990-го его книги публикуются на родине. С 1992 года и поныне является главным редактором журнала «Москва». Среди написанного в последнее десятилетие прошлого века — повести «Женщина в море» (1990), «Божеполье» (1993), «Ловушка для Адама» (1994), «Царица смуты» (1996).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

МОСКВА, 18 апреля 2002 года

Бородин, Леонид Иванович.

Б83 Третья правда : избранное / Леонид Бородин. – М. : Русскій міръ : Моск. учеб., 2007. – 480 с. : портр. — (Серия «Литературная премия Александра Солженицына»). – ISBN 978-5-89577-104-4.

Агентство CIP РГБ

В книгу избранных произведений известного русского писателя Л. И. Бородина вошли его повести «Третья правда», «Ловушка для Адама», «Бесиво», а также рассказы «Коровий разведчик», «До рассвета» и «Инстинкт памяти».

УДК 821.161.1-3Бородин Л.И.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Литературная премия Александра Солженицына

Леонид Иванович Бородин

ТРЕТЬЯ ПРАВДА

Повести, рассказы

Руководитель проекта *В. Е. Волков*
Редактор *А. Т. Волобуев*
Художник *В. В. Покатов*
Технический редактор *Т. В. Покатов*
Корректор *О. Г. Наренкова*
Верстка *Т. Е. Постникова, Е. П. Селиванова*

Сдано в набор 14.03.2007. Подписано в печать 07.06.2007.
Формат 60×90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Печ. л. 30,0. Тираж 5000 экз. Заказ № 9276.

ЛР № 071422 от 07.04. 1997.
ООО Издательство «Русский Мир»
125438, Москва, Онежская ул., 13, корп. 2

Отпечатано в ОАО «Московские учебники
и Картолитография»
125252, Москва, ул. Зорге, 15

ISBN 978-5-89577-104-4

9 785895 771044

В серии
«Литературная премия Александра Солженицына»,
выпускаемой издательством «Русскій міръ»,
вышли в свет следующие книги:

Константин Воробьев
ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..
Избранное

Евгений Носов
ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
Повести и рассказы

Александр Панарин
РЕВАНШ ИСТОРИИ
Российская стратегическая инициатива в XXI веке

Инна Лиснянская
ШКАТУЛКА
В которой стихи и проза

Ольга Седакова
МУЗЫКА
Стихи и проза

Юрий Кублановский
НА ОБРАТНОМ ПУТИ
Стихи и статьи

Владимир Топоров
«БЕДНАЯ ЛИЗА» КАРАМЗИНА. Опыт прочтения

Литературная премия Александра Солженицына учреждена Русским Общественным Фондом и вручается ежегодно с 1998 года. Ею награждаются писатели, живущие в России и пишущие на русском языке, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. Кроме того, с 2002 года Премия присуждается за труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также за значимые действующие культурные проекты.

В книгах серии «Литературная премия Александра Солженицына», выпускаемой издательством «Русскій міръ», публикуются избранные сочинения лауреатов этой Премии.